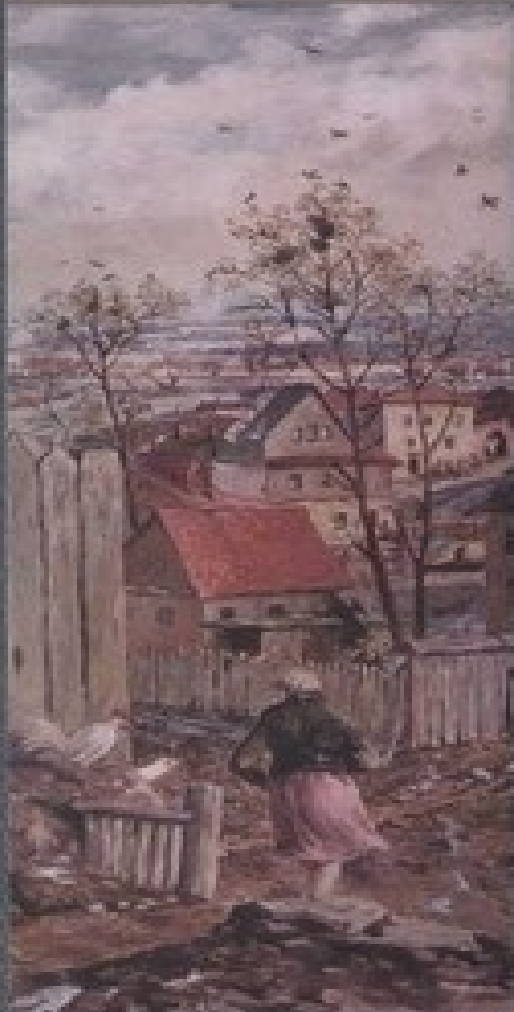


# ЗАБОЛОЦКИЙ



Валерий  
Михайлов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Первой же своей книгой «Столбцы» (1929) Николай Заболоцкий раз и навсегда утвердил своё имя в русской поэзии. Признанный теоретик стиха и литературный критик Ю. Н. Тынянов подарил молодому поэту свою книгу с надписью: «Первому поэту наших дней». Но «Столбцы» стали единственной книгой, которую Н. Заболоцкому удалось составить самому. Новаторские опыты поэта подверглись жесточайшей идеологической критике. В дальнейшем у него вышли ещё три сборника стихов, сильно урезанные цензурой. Испытав на редкость драматическую судьбу (восемь лет заключения в ГУЛАГе), Николай Заболоцкий после долгого вынужденного молчания сумел вновь вернуться к поэзии и создал в 1940–1950-х годах — уже в классической манере — десятки лирических шедевров. Знатоки литературы при жизни ставили Заболоцкого вровень с Тютчевым, Боратынским. А один из наших современников таким образом определил его место в русской литературе: «Боратынский — стал крупнейшим поэтом XIX века в XX, Заболоцкий — станет крупнейшим поэтом XX века в XXI». Книга Валерия Фёдоровича Михайлова — первая биография в серии «ЖЗЛ», посвящённая великому русскому поэту, замечательному переводчику Николаю Алексеевичу Заболоцкому. знак информационной продукции 16+

---

- [В. Ф. Михайлов](#)
  - [Глава первая](#)
    - [Имя собственное](#)
    - [Несколько слов о жанре жизнеописания](#)
    - [Призвание](#)
    - [Искания](#)
    - [К новому космосу](#)
    - [Сияющая дудка](#)
  - [Глава вторая](#)
    - [Мужики на брёвнах](#)
    - [Родство](#)
    - [В начальной школе](#)
    - [Энергии и смыслы, заключённые в имени](#)
  - [Глава третья](#)
    - [В семейном кругу](#)

- [Отец. Посвящение](#)
- [Глава четвёртая](#)
  - [Портрет художника в отрочестве](#)
  - [Стихи как спутники воспоминаний](#)
  - [Готовясь к отплытию](#)
  - [Прощальный взгляд на город детства](#)
- [Глава пятая](#)
  - [Тёплый переулок](#)
  - [В Политехнический и далее по курсу](#)
  - [Расставания и встречи](#)
- [Глава шестая](#)
  - [«В похоронном свисте революций...»](#)
  - [Сады познания](#)
  - [Проба голоса](#)
- [Глава седьмая](#)
  - [Свой среди своих](#)
  - [Понятие дружбы](#)
  - [Петроградская сторона](#)
- [Глава восьмая](#)
  - [Пирожки с Рыссом](#)
  - [Не случайное соединение различных людей](#)
  - [«Звезда бессмыслицы»](#)
- [Глава девятая](#)
  - [Загадки замысла](#)
  - [«И всюду сумасшедший бред...»](#)
  - [Новые ополченцы](#)
- [Глава десятая](#)
  - [Успех и скандал](#)
  - [Толкование сновидений](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
  - [Предчувствие перемен](#)
  - [Детгиз](#)
  - [Женитьба](#)
- [Глава двенадцатая](#)
  - [Колыбельная бездны](#)
  - [«Торжество земледелия»](#)
  - [Травля](#)
- [Глава тринадцатая](#)
  - [Золотое утро](#)

- [Дело обэриутов](#)
- [На перекрёстке утопий](#)
- [Воздух времени](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
  - [Новое превращение](#)
  - [В середине 1930-х](#)
  - [Ах, грузинские переводы...](#)
  - [Удел литератора](#)
  - [Переход](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
  - [Под неусыпным оком критики](#)
  - [«Вот до чего мы дожили...»](#)
  - [Уроки тюрьмы](#)
  - [Этап](#)
  - [Источник правды](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
  - [На общих работах](#)
  - [«Я — чертёжник»](#)
  - [Пригвождённый к молчанию](#)
  - [Сто писем](#)
  - [Добиваясь справедливости...](#)
  - [Война](#)
- [Глава семнадцатая](#)
  - [Костёр на пересылке](#)
  - [В Кулундинских степях](#)
  - [«Баллада о баланде»](#)
  - [Поминальная милостыня](#)
  - [В селе Михайловском](#)
  - [Снова вместе](#)
  - [В Караганде](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
  - [На птичьих правах](#)
  - [Переделкино](#)
  - [Светает — пора!.](#)
  - [Весна послевоенная](#)
  - [«Живая людская душа...»](#)
  - [На перепутье](#)
  - [Проверки на дачах](#)
- [Глава девятнадцатая](#)



- [Творец дорог](#)
  - [Уроки правописания](#)
  - [Верный человек](#)
  - [Снова в Грузии](#)
  - [Третья книга](#)
  - [Глава двадцатая](#)
    - [Своя квартира](#)
    - [Слова-светляки](#)
    - [«Агентурно характеризуется положительно...»](#)
    - [Купель древнерусского эпоса](#)
    - [«Вечно светит лишь сердце поэта...»](#)
  - [Глава двадцать первая](#)
    - [Голос иволги](#)
    - [Середина века](#)
    - [Семейная драма](#)
    - [В городе Тарусе](#)
    - [Последняя жизнь](#)
  - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
  - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО](#)
  - [ЛИТЕРАТУРА](#)
  - [СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

**В. Ф. Михайлов**

**Заболоцкий: Иволга, леса отшельница**

# **Глава первая**

## **ДУША, ПОЛНАЯ ТАЙН**

## Имя собственное



В середине двадцатых годов прошлого столетия молодой ленинградский стихотворец Коля Заболотский вдруг начал подписывать свои изредка появляющиеся в печати сочинения именем Николай Заболоцкий.

Друзья, знакомые и приятели немного удивились, но расспрашивать, что да почему, по-видимому, не стали. В конце концов дело хозяйское, сегодня зовёшься так, завтра эдак. В те годы сменить имя было за обычай, тем более в творческой среде. Подумаешь, чуть-чуть подправил свою исконную вятскую фамилию в ударении и написании. Зазвучало, правда, немного на польский манер, но в общем даже чётче, благозвучнее. Словом, привыкли постепенно, да и выбросили из головы...

Время-то какое тогда было — время псевдонимов. Ярких, звонких, громких! В прошлые десятилетия в общественной жизни негласно властвовало народовольчество. Как отголоски этого движения вместо какого-нибудь заурядного Петрова вдруг являлся загадочный Скиталец. Или же неприметный и непритязательный Пешков неожиданно становился Максимом Горьким. Каково! Такие имена сразу же врезаются в память читающей публики. Сразу видно — мятежники духа, страдальцы за народ.

Серебряный век литературы установил уже несколько иные каноны, утончённые и романтические. Разве может поэт, к примеру, называться Бугаевым? Топорно, грубовато, перед барышнями стыдно. Совсем другое дело — Андрей Белый. А Гликберг?.. эдакое и выговорить трудно. Не угодно ли — Саша Чёрный? Изящно, звучно и под стать ироническим стихам. Юная Аня Горенко выступила таинственной Анной Ахматовой. (Впрочем, не самочинно — строгий отец повелел своевольной девице: если уж не можешь не сочинять своих стишков, так хоть не позорь нашу фамилию, печатайся под псевдонимом.)

Времена революционные продиктовали новые правила. Бойкий творец рифмованных агиток Ефим Придворов сообразил: имечко-то старорежимное, пахнет лакейской. И подарил себе новое, классово-верное — Демьян Бедный. Хотя отнюдь не бедствовал... Некто Эпштейн, совершенно в том же ключе, сделался Михаилом Голодным (и он не «голодовал»). Что уж говорить о таких непривычных для кондового русского слуха фамилиях, как Дзюбин и Шейнкман? В советскую литературу они гордо вступили Багрицким и Светловым...

Что же касается горлана-главаря революционной поэзии Маяковского, то ему и менять ничего не надо было. Читателям он представлялся не иначе как светильником во тьме, спасительным для заблудших мореплавателей. Однако, заметим, эта фамилия, скорее всего, имела совсем другое значение: на Руси (см. словарь Даля) *маяками*, или *маклаками* назывались сводчики, посредники при продаже и купле, маклеры, прасолы, кулаки, барышники, базарные плуты.

Непревзойдённым же в своём революционном пыле стал на долгие годы (прожил более века) бывший одесский, а затем московский куплетист Александр Давыдович Брянский, взявший псевдоним по цвету знамени — Саша Красный.

Но что рассуждать о литераторах, когда сам нарком просвещения Советской республики носил странное, завораживающее имя — Луначарский. Даже не пирожное — сплошной крем. Тоже ведь псевдоним — правда, доставшийся по наследству от отчима Чарнолуского, который,

несомненно, из общей тяги к прекрасному, переставив слоги, так переименовал свою природную фамилию. Видно, и Анатолию Васильевичу, урождённому Антонову, не чуждому литературства, эта переделка приглянулась, коль скоро он с ней не расстался.

Не чурались того, чтоб зваться «покрасивше», и пламенные революционеры. Конечно, в подпольной пропагандистской работе им приходилось частенько обновлять псевдонимы, но отметим, какие из них в итоге утвердились. Джугашвили избрал стальное имя Сталин, его соратник Скрябин — железное Молотов. Ну и так далее...

Случай Коли Заболотского, недавнего ленинградского студента, до самозабвения увлечённого стихами, всё же особый.

Он не искал броскости и красоты — он словно бы подчинился духу поэзии и своего поэтического долга.

Ведь что такое поэт? Это новое качество. Это преображённое слово.

Ещё недавно, томясь неведомым зовом, ползала по земле зелёная, неотличимая от травы гусеница. Мгновение — и вот, высвободившись из засыхающего и ненужного уже кокона, это существо обретает крылышки и взлетает в воздух, в небо. Оно преображается вдруг в диковинную бабочку, предназначенную для полёта. Не так ли из стихотворца появляется поэт?

...Что там, разоблачая ползучую тварь, высокопарно утверждал в своей крылатой фразе основоположник метода социалистического реализма Алексей Максимович Горький, в молодости баловавшийся стихами? Дескать, рождённый ползать летать не может? — Ещё как может!

Чудо бабочки тому доказательство.

Бабочка белая! Бабочка белая!  
В травах горячих земля.  
Там, за притихшей лесною капеллою,  
Слышится всхлип журавля.

Речка бежит, загибая за просеку,  
Жёлтый погнавши листок.  
Бабочка белая с чёрненьким носиком!  
Лето пошло на восток.

Чуешь, как мир убегает в ту сторону —  
Горы, леса, облака?  
Сосны гудят — и старинному ворону  
Прошлые снятся века.

Сколько жилось ему смолоду, смолоду  
В гулкой лесной глубине?!  
Ты же погибнешь по первому холоду.  
Много ль держаться и мне!..

Думы наплыли, а сосны качаются,  
Жёлтый кружится листок.  
Речка бормочет. Глаза закрываются.  
Время бежит на восток...

Пусть же послышится песня знакомая  
Там, за Вечерней Звездой.  
Может, и мы здесь июльскими дрёмами  
Завтра проведем с тобой.

Годы промчатся, как соколы смелые,  
Мир не устанет сиять...  
Бабочка белая! Бабочка белая!  
Кто бы родил нас опять!

Так написал, десятилетия спустя, совсем другой поэт, Николай Иванович Тряпкин, и не подумавший расстаться со своей «некрасивой» фамилией...

Однако каждый решает по-своему — и, наверное, по-своему прав.

...В родовом его имени *Заболотский* словно бы жил Русский Север, с его просторами, лесными далями, болотами; в самом звучании дышала родная Вятская земля, окутанная долгими туманами, её реки, озёра, задумчивые небеса. Новое имя сделалось отчётливей, резче: акварель сменилась графикой. Прежняя жизнь ушла насовсем, и вслед за нею будто бы стала неуместной и та исконная напевность, что звучала в прозвании, которое носили предки.

С детства сочиняя стихи, Коля Заболотский окончательно утвердился в себе как поэт годам к двадцати пяти. И, только твёрдо, ясно и бесповоротно осознав это, сменил фамилию, доставшуюся от предков.

В новом имени *Заболоцкий* зазвучал чеканный шаг анапеста — классический ритм стихов. (Заметим в скобках — как прообраз самой поэтической классики, к которой Николай Алексеевич после ранних

новаторских опытов обратился в зрелом творческом возрасте.) Поступь решительная, пожалуй, даже фатальная, роковая. И лишь последний, безударный слог, оставшийся в неизменности, сохранил нечто от старого имени. Этот четвёртый слог был похож на выдох в пространство земли, в его открытое небо...

Поэт не мог не слышать чужеродного звука, что появился в его обновлённой фамилии, не мог не понимать, что самым этим поступком отстраняется от семьи, от своего прошлого.

Он словно бы прощался и с отцом-агрономом, и с дедами-крестьянами, и со всей *родовой*, подчёркивая своё новое качество.

Это было символическое прощание с прошлым.

Был Заболотский — стал Заболоцкий.

Была фамилия — возникло имя.



## Несколько слов о жанре жизнеописания

Говорят, чужая душа потёмки. Опровергнуть невозможно — остаётся принимать за истину. Темноватую, однако, истину...

Со временем понимаешь: да что там — чужая, когда и своя-то отнюдь не вполне ясна!

Лев Николаевич Толстой, всю жизнь пытавшийся познать себя (ну, разумеется, и человека, и мир вокруг, — даже на смертном одре он до последнего часа диктовал для записи свои мысли), как-то заметил в дневнике: «Биограф знает писателя и описывает его! Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою, только изредка, изредка кое-что из меня виднелось мне». — Не иначе накануне что-то прочёл про себя, про свою жизнь. Прочёл — и подивился. Не столько дерзости или же наглости жизнеописателя, сколько глубине своих потёмков...

Если взглянуть «с холодным вниманьем вокруг» — ни космос души, ни уж тем более её хаос понять просто невозможно. И это касается не только чужой души, но и своей. А стало быть, жизнь другого или же своя — до конца непознаваема.

Наверное, один Бог знает всё и про всех. Лишь Ему открыты — во всей полноте — наши души и жизни. Расхожая приговорка «бог его знает» привычно понимается нами как «кто же это знает?». Но не отвечает ли сама она, в буквальном своём смысле, на поставленный ею же вопрос? Только Бог (как это странно ни прозвучит) и мог бы стать единственно истинным жизнеописателем. Потому что лишь Ему ведомы все поступки, мысли и чувства человека. Но не Божье это дело — писать биографии...

Наши мысли и чувства не делимы друг от друга, и, пожалуй, их лучше бы называть одним словом — *мыслечувства*. Таинственно они настояны на прапамяти — и подпитываются памятью. Духовное, душевное и физическое в человеке находится в столь сложной взаимозависимости, что всё это вряд ли возможно в точности определить словами.

Тем не менее нашего любознания ничем не унять — такова природа человека. Чем значительнее, ярче личность, тем притягательнее она как предмет самопознания человечества. И потому *замечательный человек* вызывает такой жадный, непреходящий интерес как у исследователей и толкователей, так и у обычных людей — вне зависимости от того, когда он жил на свете и насколько известна правда о нём и его земном существовании. Не оттого ли биография — вечный жанр литературы?

Естественно и очевидно: ни одна такая книга, даже самая выдающаяся, не может исчерпать своей темы — жизни того или иного человека. Но даже и множество книг, посвящённых одному герою, не в силах установить окончательную истину: предмет исследования всё равно останется недостижим, как ускользающий в непомерную даль горизонт. Всякий раз это только попытка приблизиться к тому, что столь же недостижимо, как и влекуще...

Так надо ли писать биографии? Вот, к примеру, прозаик Михаил Попов недавно придумал хлёсткий афоризм: «„ЖЗЛ“ — враньё о реальных людях, беллетристика — правда о вымышленных». Куда как верно на первый взгляд.

Однако есть Творец с его Творением — и есть творцы с их творениями.

Биограф пытается приблизиться к истине, доступной лишь Творцу.

Да, жизнеописатель обречён на поражение. А беллетрист? Неужто он в самом деле воображает, что знает то, что ведает лишь один Творец? Правда беллетриста — вымышленная; его реальность, как бы ни была правдоподобна, — мнимая. Он принимает воображаемое за действительное. А пишет — *из себя*, сознательно или бессознательно придавая персонажам свои же собственные черты. Беллетрист, по сути, познаёт самого себя — а это дело бесконечное. Он, как и жизнеописатель, пытается понять человека, Творение Божье, приблизиться к тому, что до конца понять невозможно.

«Суди люди — суди Бог...» — задорно поётся в народной песне.

Людской суд нам известен — суд Божий не ведом.

## Призвание

— Я только поэт... — однажды, под конец жизни, признался Заболоцкий.

В записи Наталии Роскиной, близкой тогда ему женщины, а говорил он, по её воспоминанию, «в минуту душевного растворения», фраза немного длиннее. Но мы пока избираем именно эти начальные слова, потому что они важнее всего — и с точностью формулы выражают его существо, его душу, смысл и предназначение его жизни.

Он понял, что стал наконец поэтом в голодном и холодном Ленинграде 1920-х годов, когда начали появляться новые по качеству стихи, составившие позже его первую книгу «Столбцы».

Друг детства и юности, Михаил Касьянов, писал в своих воспоминаниях, как однажды в 1933 году в Питере пришёл к Николаю в гости после долгой разлуки. В дом Заболоцких на Большой Пушкарской его привёл их общий товарищ и земляк Николай Сбоев:

«...Жены с младенцем не оказалось. По-видимому, она с кричащим первенцем была отправлена на житьё к своей маме, чтобы младенец не мешал поэтическим занятиям папы. Мне это, по правде сказать, не понравилось. <...> К тому же Сбоев был крёстным отцом Никиты, так что родителям его приходился кумом. Так как мы с Наташей и не думали крестить своих двух ребят, то это мероприятие меня тоже несколько удивило.

Николай Алексеевич встретил нас обоих гостеприимно. Была небольшая выпивка и закуска. Обо мне он сказал: „Ты, Миша, не похудел, а как-то ссохся“. Заболоцкий был тогда уже во славе. Вышла его книжка „Столбцы“, вызвавшая большие отклики — и положительные, и отрицательные».

Заболоцкий подарил ему в тот день машинописный экземпляр «Столбцов» и сделал такую надпись:

«Дорогому М. И. Касьянову,  
старому другу туманной юности. Впредь до будущей книги.  
Н. Заболоцкий. 17. 03. 33».

Николай Алексеевич вложил в сборник несколько своих новых стихотворений, написанных от руки, — они предназначались для «Второй

книги», которую он готовил к печати.

И вот самое главное:

«Посидели, поговорили. Вспоминали, как вместе голодали в Москве. Николай Сбоев прибавил, что и в Петрограде в 1921–1922 годах „мы с Николой (так он звал Заболоцкого) голодали немало“. Николай Алексеевич вдруг оживился и начал вспоминать, как он тогда голодал, лёжа от истощения в кровати, но и в то же время вырабатывал собственный стиль, так что время петроградской голодовки было для него плодотворным».

Там, там из гусеницы рифмоплётства вылетела на божий свет чудная бабочка его поэзии!..

Итогом поисков стали *столбцы* — совершенно нового уровня стихи.

Это были уже не ученические опыты — он отыскал собственный голос, на редкость самобытный и выразительный, который сразу же сделался различаем во всём пространстве русской поэзии.

Как вдруг возникли эти новые стихи?

Вопрос сложный, до конца не объяснимый, глубинно связанный с тайнами души и творчества. Многописание тут ни при чём. Вопреки расхожему постулату материалистов, в поэтическом деле количество не переходит в качество. Примером тому — многопудовая продукция графоманов. Новое качество — самопроизвольный рост таланта, вспышка молнии, космический взрыв, порождающий ещё одну звезду.

В случае раннего Заболоцкого, конечно, бросается в глаза то, насколько сильно повлияли на него не только уроки Хлебникова, но и творчество живописцев, таких как Брейгель, Босх, Анри Руссо, в особенности Павел Филонов — его современник, с которым поэт был лично знаком. Однако это лишь видимая составляющая той непостижимой внутренней работы, что проделал поэт в поисках самого себя.

В студенческом журнале «Мысль» было напечатано его стихотворение под необычным названием «Сизифово рождество» — угловатое, наивное, нарочито самоироничное. (Впоследствии Заболоцкий безжалостно сжигал свои ранние стихи, как «серьёзные», так и шуточные, — и сохранилось совсем немного: то, что удержала память его друзей или же что чудом уцелело в старых архивах.)

Просвистел сизый Ибис с папируса  
В переулки извилин моих,  
И навстречу пичужке вынеслись  
Золотые мои стихи.  
А на месте, где будет лысина

К двадцати пяти годам,  
Жолтенькое солнышко изумилось  
Светлейшим моим стихам.  
А они, улыбнувшись родителю,  
Поскакали в чужие мозги.  
И мои глаза увидели  
Панораму седой тоски.  
Не свисти, сизый Ибис, с папируса  
В переулки извилин моих,  
От меня уже не зависят  
Золотые мои стихи<sup>[1]</sup>.  
(1921)

При всей незамысловатости строк в них живёт и сияет, словно цветик-семицветик, по-детски чистая любовь к стихам. К стихам как таковым — не важно, своим ли, чужим (да разве бывает чужим то, что любимо: оно уже своё). Без этой любви, естественной как дыхание, поэтов не бывает, ими попросту не становятся.

Может быть, лучше всех это чувство выразил Антиох Кантемир: умирая, он напоследок обратился к своим стихам: «Примите последнюю мою к вам любовь, прощайте!..» Или вспомним Пушкина, как он приподнялся со смертного ложа в своём кабинете, заставленном по стенам фолиантами, и сказал книгам: «Прощайте, друзья мои!..»

Конечно же, повлиял на рождение поэта Заболоцкого и сам город, в котором он тогда жил. Невероятный до умопомрачения!..

Петербург, Петроград, Ленинград... чего только не водилось в его промозгом, прямом, мгlistом воздухе, замешенном на миазмах отсыревших каменных дворов-колодцев и всех человеческих страстей, — но и, одновременно, дивно мерцающим своими белыми ночами, великой историей и такой же великой литературой. Недавняя российская столица не только хранила в своём архитектурном размахе имперскую волю Петра и дышала ясной чистотой Пушкинского духа, — тут, казалось, незримо жили изломы кривых зеркал (и зазеркальности) Гоголя, душевные бездны и мистические прозрения Достоевского и многое-многое другое.

О том, как серьёзно относился молодой Заболоцкий к поэзии, можно судить по мемуарному очерку Беллы Дижур, которая в начале 1920-х годов училась с ним в питерском Педагогическом институте. Вспоминая те годы, она пишет:

«...Неизменно вижу рядом с собой розовощёкого, светлоглазого мальчика из Уржума.

Это был ещё не тот Николай Заболоцкий — поэт трагической судьбы, автор блистательных стихов, переводчик „Рыцаря в тигровой шкуре“ и даже не автор нашумевших „Столбцов“.

Но уже тогда — в ранней молодости — лежала на нём печать какой-то „особости“. Сдержанный, молчаливый, с холодными глазами, он выглядел очень значительным, при весьма ординарной внешности.

<...> ...в среде сверстников он всегда был как бы старшим, держался особняком и подружиться с ним было не легко».

Но всё-таки познакомились и подружились — когда юная поэтесса с химико-биологического факультета (а Заболоцкий учился на литературном и был редактором институтской стенной газеты) вдруг увидела напечатанным своё стихотворение, которое она «опустила в почтовый ящик» даже без подписи.

«Был он не старше меня (на самом деле старше на три года. — В. М.). Но держался очень солидно, за всё время беседы ни разу не улыбнулся, расспрашивая об Екатеринбурге, откуда я приехала, о любимых поэтах, поморщился, когда я среди любимых назвала Бальмонта».

Уже следующим вечером они вместе гуляли по улицам... «Коля говорил о Бальмонте. Это плохой поэт. Надо читать Лермонтова, Гейне. Спросил, как у меня с немецким. Гейне хорошо читать в подлиннике. <...>

Потом мы пили морковный чай и ели кашу из турнепса, которую мои подружки по общежитию сварили во время моего отсутствия.

Такие чаепития и прогулки повторялись не однажды».

И наконец — самое поразительное:

«Иногда Коля отказывался от еды. Говорил очень серьёзным голосом: „Я ещё сегодня не писал стихов“.

На гостеприимную настойчивость моих соседок отшучивался: „Кто не работает — тот не ест“. А иной раз говорил стихами: „Душа обязана трудиться и день и ночь“.

Много лет спустя я прочла эти строки в одном из сборников Заболоцкого.

Господи! Оказывается, я была свидетельницей рождения этих прекрасных строк!»

Стихотворение «Не позволяй душе лениться», откуда эти слова, относится к 1958 году, последнему году Николая Алексеевича Заболоцкого на земле.

Не позволяй душе лениться!  
Чтоб в ступе воду не толочь,  
Душа обязана трудиться  
И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,  
Тащи с этапа на этап,  
По пустырю, по бурелому  
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели  
При свете утренней звезды,  
Держи лентяйку в чёрном теле  
И не снимай с неё узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,  
Освобождая от работ,  
Она последнюю рубашку  
С тебя без жалости сорвёт.

А ты хватай её за плечи,  
Учи и мучай дотемна,  
Чтоб жить с тобой по-человечьи  
Училась заново она.

Она рабыня и царица,  
Она работница и дочь,  
Она обязана трудиться  
И день и ночь, и день и ночь!  
(1958)

...Казалось бы, поэзии в этом произведении маловато, зато назидательности с лихвой. Казалось бы, это просто зарифмованная волевая установка самому себе. Но так ли он нуждался в подобном самопонукании?

К тому времени Заболоцкий хорошо знал, что протянет недолго. И это был не просто дружеский совет собратьям по рифме. Конечно же, это было обращение ко всем, кто остаётся на земле. Признание напоследок — может быть, самое важное в его жизни.

Он прощался — и вспоминал себя, свою жизнь, свои испытания («тащи с этапа на этап» — это же и о многолетней неволе, о лагере!..).

Прикрывшись лёгкой, добродушной самоиронией, поэт со всей серьёзностью поведал о том, какой закон положил самому себе в юности.

И словно бы ненароком признался в том, что всю жизнь прожил по этому суровому — нравственному, а по сути религиозному — закону.

По свидетельству тех, кто знал Заболоцкого в петроградской молодости, он вёл жизнь самую аскетическую и «даже подвижническую». Например, в чтении отвергал беллетристику, предпочитая не тратить время попусту.

В поэтической программе обэриутов, написанной в 1928 году, он, дав краткую выразительную характеристику своим товарищам — Константину Вагинову, Игорю Бахтереву, Даниилу Хармсу, Борису Левину, сказал о самом себе следующее:

«Н. Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя. Развёртывание действия и обстановка играют подсобную роль к этому главному заданию».

Точно так же, как в творчестве, он сколачивал и уплотнял до отказа свою собственную жизнь.

В феврале 1928 года 25-летний Заболоцкий, в быту то молчун, то насмешник, пишет письмо своей хорошей знакомой, студентке Кате Клыковой, — в скором будущем она станет его женой. Пишет с предельной откровенностью, так, будто предупреждает её, оберегая от того, чтобы не сделала неверного шага, — и в то же время прямо давая понять, на что обречена жена поэта: «Моя жизнь навсегда связана с искусством — Вы это знаете. Вы знаете — каков путь писателя. Я отрёкся от житейского благополучия, от „общественного положения“, оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его — я ничто».

Что здесь невольно вспоминаешь?..

«И пришли к Нему Мать и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Мать и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: мать Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8: 19–21).

Поэзия стала его верой и служением, его *словом Божиим*.

Писатель Вениамин Каверин был знаком с Николаем Заболоцким с молодости. В своих поздних воспоминаниях он, стараясь быть



максимально точным, признаётся:

«Мы были друзьями. Это не была полная, окончательная откровенность, та близость, при которой между друзьями нет и не может быть никаких тайн. Между нами была известная сдержанность, — может быть, потому, что я инстинктивно чувствовал в нём эту черту. Он был человеком глубокой мысли и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Всё выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действия, свершения. Думая о нём, невольно вспоминается библейское: „В начале было Слово“.

Я не сразу понял по молодости лет ту главную черту, которая кажется мне для него необычайно характерной: что происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него — всегда и неизменно было связано для него с сознанием того, что он был поэтом.

Это вовсе не было ощущением учительства, стремлением поставить себя выше других. Это было чертой, которая морально, этически поверяла всё, о чём он думал и что он делал. Ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни. Он был честен, потому что он был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом. Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом».

Сам Николай Алексеевич никогда про то не говорил, своё писательство называл — в автобиографии и в очерке «Ранние годы» — обыденным словом *профессия*. И лишь изредка прорывалась наружу энергия высокого напряжения, которой он жил в глубине души и которую целиком отдавал своему служению.

Не потому ли самым мучительным воспоминанием за восемь лет неволи, в которой он перенёс и пытки, и временное помешательство рассудка, и смертельные опасности, и голод, был для него один случай, произошедший, по-видимому, в лагере близ Комсомольска-на-Амуре. Это неизбывное видение преследовало его до кончины, спустя годы и годы по освобождении.

...Серый строй заключённых, в котором стоял и он, истощённый, не знающий, протянет ли ещё день-другой. Начальник конвоя в упругих ремнях, ретиво рапортующий самому начальнику лагеря. И вдруг небрежная реплика того, кто принимал смотр, для кого их жизни были не дороже, чем пыль под сапогами:

— Ну, как там Заболоцкий — стихи пишет?

— Никак нет. Говорит: больше никогда в жизни писать не будет.

— Ну то-то...

В записках жены Заболоцкого, Екатерины Васильевны, ни слова об этом, хотя наверняка Николай Алексеевич рассказывал ей про тот случай. Должно быть, она, оберегая память о муже, посчитала необходимым умолчать о произошедшем. А вот Наталия Роскина в своих литературных мемуарах «Четыре главы» не однажды обращается к этому:

«Он редко и мало рассказывал мне о годах своего заключения, но один эпизод рассказывал даже несколько раз, и с большим волнением. <...>

И когда он в лицах изображал мне разговор этих двух начальников, в глазах его было что-то зловещее».

И ещё:

«Он рассказывал про голод, холод, про другие тяготы, про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые человек перестаёт есть и спать... и обо всём этом он говорил ровным тоном, не меняя выражение. И только когда он вспоминал, как начальник лагеря сказал — „не пишет, ну то-то“, — в глазах его появлялся злой, отчаянный огонь.

И это мне понятно, ибо ни к чему на свете не относился он с таким благоговением, как к стихам, и ничто на свете не могло сравниться для него со смыслом и назначением его поэтического призвания».

Не потому ли самодовольная реплика начальника лагеря не забывалась, продолжала вызывать в Заболоцком гнев и неизгладимую муку?

Сам он это никак не объяснял. Можно представить, каково ему было восемь лет терпеть ежедневную пытку немотой — писать стихи запрещалось. Да и как бы он мог это делать, когда все силы уходили на то, чтобы выжить. Смеем предположить, что страдал он не только потому, что в нём был предельно унижен поэт и оскорблён Божий дар, — Заболоцкого с каждым годом, проведённым в неволе, всё сильнее угнетал тот неисполненный поэтический долг, который ему — и только ему — надлежало осуществить в короткой человеческой жизни.

А теперь закончим ту фразу, которую в минуту душевного растворения, незадолго до своей кончины, он сказал Наталии Роскиной:

«Я только поэт, и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несёт смерть».

## Искания

Мы знаем: заключение не сломило Заболоцкого — и «социализм» не убил в нём поэта.

Однако, если разобраться, не только социализму — никакому политическому режиму — поэты, в истинном их призвании, не нужны. Более того, любой власти поэты, по существу, враждебны. И уж кто-кто, а политики это ощущают каким-то звериным чутьём, всей своей *чёрной кровью*.

Но нет худа без добра.

Размышляя о поэтической судьбе Николая Заболоцкого, Наталия Роскина, несмотря на своё сугубое неприятие советского строя, пишет вполне объективно:

«Установить меру удушения его таланта, вообразить, кем бы он мог стать в ином обществе — невозможно. Невозможно сравнить то, что было, с тем, чего не было. Разумеется, мы не читали бы „Горийской симфонии“, напечатанной во „Второй книге“ в 1937 году, но, может быть, мы не читали бы „Иволги“ и „Противостояния Марса“. Впрочем, я не берусь здесь судить о поэзии Заболоцкого, а хочу сказать только одно. Общество, призванное, казалось бы, оберегать своего поэта, всегда делает всё возможное, чтобы сократить и без того короткое расстояние между поэтом и его смертью. *Оно же создаёт питательную среду для его таланта, насыщая её трагизмом неслыханной силы* (курсив мой. — В. М.).

Как писал ещё Кюхельбекер: „Горька судьба поэта всех племён, / Тяжеле всех судьба казнит Россию...“

Всех племён и всех веков...»

Что же, в чём-чём, а уж в этом «обществе» никак не откажешь. Будто мало ему того трагизма, которым пронизана вся человеческая жизнь.

Однако, по счастью, не одни лишь беды и печали одолевают душу — жизнь задаривает её и радостью.

Семилетним мальчиком, в самую пору созревания личности и сознания, Заболоцкий очутился на родине своих дедов в Уржумском уезде, в селе Сернур, где отец получил новое место — до этого семья жила под Казанью на ферме. В детской памяти на всю жизнь запечатлелись сказочные, дремучие леса, влекущие своей красотой и вечной тайной. Природа пробудила в подрастающем отроке жажду познания мира, и эта радость надолго осталась в нём как самое горячее чувство. Вспоминая свои

ранние годы, Николай Алексеевич писал в конце жизни:

«Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях! Помнится мне Епифаниевская ферма — поместье какого-то старозаветного богатея-священника — чёрный дряхлый дом из столетних брёвен, величественный огромный сад, пруды, заросшие ивами, и бесконечные уголья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьёв, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях».

...Промёрзшие кочки, бруснига.  
Смолистые запахи пней.  
Мне кажется: новая книга  
Раскрыта искателю мне.  
Ведь вечер ветвист и клетчат.  
Ах, вечер, как сон в Октябре,  
И сосны, как жёлтые свечи  
На Божьем лесном алтаре...  
(1921)

Этот набросок восемнадцатилетнего сочинителя, с неуклюжими ещё строками, похож на зелёную травинку, что пробилась меж камней избитой петроградской брусчатки, однако в стихах уже содержится предчувствие грядущего пути.

Драгоценным воспоминанием детства остался и отцовский книжный шкаф, наполненный книгами. Вятский агроном Алексей Агафонович Заболотский, первый человек умственного труда в длинном ряду своих предков-земледельцев, с 1900 года выписывал «Ниву» с приложениями к ней — собраниями русской классики, которые сам же прилежно переплетал и выставлял на полки вместе с новинками, купленными по случаю. «Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудрёное содержание. Наставление гласило: „Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать

книгу нелегко. Для многих книги — всё равно что хлеб“», — вспоминал Николай Алексеевич в автобиографическом очерке «Ранние годы».

Глава семьи не часто заглядывал в свой шкаф: он скорее уважал литературу, чем любил. Однако сын воспринимал ту календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства. «К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления, — признавался он. — Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам ещё не вполне понимая смысл этого большого для меня события».

Поэт отличается от обычного стихотворца прежде всего тем, что имеет собственный, неповторимый голос. Заболоцкий довольно долго искал себя, не обольщаясь отголосками чужого вдохновения, которые заметно слышались в его поначалу подражательных стихах. Магия знаменитых русских лириков начала XX века истаявала постепенно, уступая собственному поэтическому мироощущению. Обширное, вдумчивое и критическое прочтение русских и зарубежных поэтов постепенно вырабатывало в нём способность ясно и трезво смотреть на свои стихи. По натуре он был человеком познания, исследователем глубин бытия — и всё больше понимал, что дерзость творческих исканий плодотворна лишь на твёрдой основе таланта, безупречного чувства языка и усвоения всей предыдущей поэзии. Естественно, прежде чем образоваться, его поэтическая личность прошла долгое учение и «обработку».

Помогла не только беззаветная любовь к чтению, но и природные способности к музыке, в особенности к рисованию. И ещё одно. «У Коли была феноменальная память, — отмечает Белла Дижур в рассказе об их юношеской дружбе в самом начале 1920-х годов. — Он не раз удивлял меня. Неожиданно прервав разговор, он, имитируя мои интонации, начинал читать какое-нибудь моё стихотворение, услышанное полгода назад. И при этом снисходительно замечал — это у тебя недурно получилось». Филолога Григория Гуковского, знатока русской литературы XVIII века, Заболоцкий поразил «феноменальной начитанностью и зрелостью — пусть необычных, пусть парадоксальных суждений», касаясь «русского классицизма». Впрочем, Гуковский справедливо считал, что неожиданные открытия Заболоцкого «выдают в нём не столько исследователя, сколько оригинального поэта».

Сам Николай Алексеевич в автобиографии 1948 года, вспоминая времена своего студенчества в Педагогическом институте им. А. И. Герцена, куда он поступил «по отделению языка и литературы

общественно-экономического факультета», говорит, что становиться педагогом вовсе не собирался, а хотел лишь получить литературное образование, необходимое для писательской работы. Признётся: много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину, но «собственного голоса не находил». Можно вообразить, что испытывал при этом пылкий молодой автор, интуиция и ум которого заметно опережали в то время развитие его поэтического дарования. В автобиографии про это сказано коротко: «Считался способным студентом и одно время даже думал посвятить себя всецело науке. Но привязанность к поэзии оказалась сильнее, и мечты о научной работе были оставлены».

Эти его думы о «науке»... Наверное, в первый и последний раз за всю жизнь Заболоцкий дрогнул, заколебался в своём призвании, засомневался в том, верно ли выбран путь. И сомнения объяснимы.

В начале 1920-х годов сильный аналитический ум Николая значительно превосходил качество стихов, которые тогда им сочинялись. Свидетельство тому статья «О сущности символизма», помещённая в студенческом журнале «Мысль» Педагогического института им. А. И. Герцена. Единственный номер журнала вышел в марте 1922 года, и представлял он собой тетрадь в два десятка листов, сшитых нитками. В небольшом по объёму тексте девятнадцатилетний автор даёт характеристику символизма «в сфере его внутренней философии», высказывая заодно свои мысли о поэзии.

«Поэт, прежде всего, — созерцатель, — пишет он. — Созерцание, как некое активное общение субъекта с окружающим его миром, всегда ставит ряд вопросов о сущности всякого явления. Вещи спрашивают о своём существовании, и поэт спрашивает о существовании вещей. Вопросы теории познания делаются логически неумолимыми. <...> Вступая в сознание, вещь не приемлется в своём бытии, но содержание её, присутствующее в познающем субъекте, подвергается воздействию субъективности его познания. <...> В поэзии реалист является простым наблюдателем, символист — всегда мыслителем».

В этой теоретической работе, несомненно, сказался и личный опыт. Хотя сам Заболоцкий никогда не относил себя к символистам, это поэтическое движение, конечно же, оказало на него немалое влияние:

«Душа символиста — всегда в стремлении к таинственному миру объектов, в отрицании ценности непосредственно воспринимаемого, в ненависти к „фотографированию быта“. Она видит жизнь всегда через призму искусства. Такое искусство, конечно, не может не быть несколько аристократичным по своему существу, замкнутым в области творения

своего мира. Своеобразная интуиция символиста целиком направлена на отыскивание вечного во всём не вечном, случайном и преходящем».

Молодой Николай Заболоцкий уверенно осмысливает теоретические убеждения и методы символистов, начиная с Эдгара По, Верлена, Бодлера и заканчивая Бальмонтом, Брюсовым и Андреем Белым. В заключение он убедительно опровергает взгляды поэта Льва Эллиса, автора книги «Русские символисты». Эллис понимал символизм не просто как художественное направление, а как средство, и разделял «идейный символизм» на несколько разрядов: моралистический (Ибсен), метафизический (Рене Гиль), индивидуалистический (Фридрих Ницше), коллективный, соборный и т. д.

«Символизм есть всегда самоцель, поскольку стремление приобщиться Эльдорадо является самоцелью этого же рода, — заключает Заболоцкий. — Певец Бранда и „безумный язычник“ Ницше говорит нам слишком много своего, цельного и безусловно оригинального, так что элементы символизма, если они и присущи их поэзии, то настолько отходят на второй план, что делаются едва заметными.

Но не в этом ли и заключается своеобразная литературная преемственность, что каждое последующее литературное движение обрабатывает предшествующее, вводя на первый план оригинальные положения и литературные формы».

В этом выводе молодого поэта вполне определённо сказано о смысле и направлении его исканий, о том, каким путём он шёл, определяя свой собственный, отличный от других, поэтический голос.

А сама статья — пример того, как серьёзно штудировал Заболоцкий уроки «отцов». Его зрелая поэзия говорит, что не менее вдумчиво он учился и у «дедов» и «прадедов» — поэтов XIX и XVIII веков, как внимательно и любовно читал «Слово о полку Игореве», русские летописи.

## К новому космосу

Михаил Касьянов, однокашник Заболоцкого по Уржумскому реальному училищу, вспоминал, как впервые увидел своего будущего закадычного товарища. Лобастый паренёк — четвероклассник, как ему показалось, немного смущался, но взгляд имел твёрдый. Про стихи, которые сочинял с детства, Коля считал, что это уже на всю жизнь. Другу как-то сказал: «Знаешь, Миша, у меня тётка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит: „Если кто почал стихи писать (так и сказал — почал), то до смерти не бросит“».

В *столбцах*, где Заболоцкий «придвигает» вплотную к глазам зрителя «голые конкретные фигуры», сколачивает и уплотняет до отказа «предмет», он о поэзии и стихах и говорит не напрямую, а *предметно* и *фигурно*: они как бы растворяются в словесной ткани, воплощаясь в том или ином образе.

Вот стихотворение «Дума» (1926). Здесь то, что классики называли музой, вдохновением, поэзией, творчеством, выступает у Заболоцкого в образе «ночь». Он даже прибегает к просторечию, как в русских говорах (на взгляд педантов от грамматики — неправильных, но на самом деле своевольных и верных истинному чувству языка):

Приди, мой ночь!  
Ведь ты была,  
и Пушкину висела сверху,  
и Хлебникову в два ряда  
салютовала из вагона.  
.....  
Приди, мой ночь!  
На этом мире  
я чудным вымыслом брожу,  
гляжу в стекольчатые двери,  
музыкой радуюсь, дыша,  
сжимаю белые колени  
в пылу полуночного бденья,  
приди, мой ночь!  
Мне стало больно,  
Что я едва-едва велик.



.....  
И вот, моленью тихо внемя,  
духовная приходит ночь.

К тому же 1926 году относится известное стихотворение «Лицо коня». Вроде бы оно о животных, которые «не спят» и «во тьме ночной (заметим, снова *ночь*, или же иначе — время вдохновения. — В. М.) / стоят над миром каменной стеной». Однако в образе «коня», похоже, не только животное, но и мифический Пегас, да и поэт, сочинитель, творец стихов:

Лицо коня прекрасней и умней.  
Он слышит говор листьев и камней.  
Внимательный! Он знает крик звериный  
и в ветхой роще рокот соловьиный.

И, зная всё, кому расскажет он  
свои чудесные виденья?  
Ночь глубока. На тёмный небосклон  
восходят звёзд соединенья.

И конь стоит как рыцарь на часах,  
играет ветер в лёгких волосах,  
глаза горят как два огромных мира,  
и грива стелется как царская порфира.

И если б человек увидел  
лицо волшебное коня,  
он вырвал бы язык бессильный свой  
и отдал бы коню. Поистине достоин  
иметь язык волшебный конь.

Мы услышали бы слова.  
Слова большие, словно яблоки. Густые  
как мёд или крутое молоко.  
Слова, которые вонзаются как пламя,  
и, в душу залетев, как в хижину огонь,  
убогое убранство освещают.  
Слова, которые не умирают

и о которых песни мы поём...

Именно коню — наверное, тому же самому, волшебному — Николай Заболоцкий «поручает» во второй «Ночной беседе» (1929) поведать про своё, дорогое сердцу видение — могилу Хлебникова и высказаться о самом поэте:

— «Но не всюду ходит разум  
победителем познания, —  
сказал конь, и стали разом  
наплывать воспоминания. —  
Вижу я погост унылый  
с новгородскими крестами,  
там на дне сырой могилы  
кто-то спит, шепча устами.  
Кто он, жалкий, весь в коростах,  
полусъеденный, забытый,  
житель бедного погоста,  
грязным венчиком покрытый?  
Почему вода целует  
его ветхие ладони?  
Птица нежная тоскует  
перед ним, как на иконе?  
Вкруг него толпятся ночи,  
руки бледные закинув,  
вкруг него цветы бормочут  
в погребальных паутинах.  
Вкруг него, невидны людям,  
но нетленны, как дубы,  
возвышаются умные свидетели его жизни —  
Доски Судьбы.  
И все читают стройными глазами  
домыслы странного трупа,  
и мир животных с небесами  
тут примирён прекрасно-глупо.  
И сотни-сотни лет пройдут,  
и внуки наши будут хилы,  
но и они покой найдут

на берегах такой могилы.  
Так человек, отпав от века,  
зарытый в новгородский ил,  
прекрасный образ человека  
среди природы заронил!»

«Вкруг него толпятся *ночи...*» — *вдохновение* толпится.

*Ночь*, что «Пушкину висела сверху», многожды толпилась и над тем, которого склонные к насмешке и глуму балагуры-современники небрежно нарекли «Председателем земного шара». А он — заронил среди природы прекрасный образ человека.

Имена двух самых дорогих учителей названы.

Пушкин и Хлебников.

Космос и хаос — новый хаос, который, несомненно, должен преобразоваться в новый космос.

## Сияющая дудка

В новом поэтическом языке, создаваемом Николаем Заболоцким в его *столбцах*, гармония классицизма была отринута. И музыка прежней поэзии исчезла:

Но я — однообразный человек —  
взял в рот длинную сияющую дудку,  
дул, и, подчинённые дыханию,  
слова вылетали в мир, становясь предметами.  
Корова мне кашу варила,  
дерево сказку читало,  
а мёртвые домики мира  
прыгали словно живые.  
(«Искусство». 1930)

Эта длинная сияющая дудка, если и выдыхала гармонию, то какую-то совершенно иную, нежели гармония классической русской поэзии.

В *столбцах* мысль и живопись заслонили собственно музыку, изрядно потеснив её на второй план в той широкой, резкой и яркой картине бытия, которую создавал поэт.

Но прошло время — и музыка в поэзии Заболоцкого взяла своё, будто бы заново омытая чистой, животворной влагой вечной гармонии.

В 1940–1950-е годы взгляды Николая Алексеевича Заболоцкого на поэзию сформировались полностью. И он перед концом жизни выразил их с удивительной простотой и образностью, силой и ясностью в двух небольших по объёму заметках. Эти заметки невозможно не привести — так много они говорят о самом поэте.

Первая, по-видимому, предназначалась к печати, однако появилась уже по его смерти:

«Сердце поэзии — в её содержательности. Содержательность стихов зависит от того, что автор имеет за душой, от его поэтического мироощущения и мировоззрения. Будучи художником, поэт обязан снимать с вещей и явлений их привычные обыденные маски, показывать девственность мира,

его значение, полное тайн. Привычные сочетания слов, механические формулы поэзии, риторика и менторство оказывают плохую услугу поэзии. Тот, кто видит вещи и явления в их живом образе, найдёт живые и необыденные сочетания слов.

Все слова хороши, и почти все они годятся для поэта. Каждое отдельно взятое слово не является словом художественным. Слово получает свой художественный облик лишь в известном сочетании с другими словами. Каковы же эти сочетания?

Это прежде всего — сочетания смыслов. Смыслы слов образуют браки и свадьбы. Сливаясь вместе, смыслы слов преобразуют друг друга и рождают видоизменения смысла. Атомы новых смыслов складываются в гигантские молекулы, которые, в свою очередь, лепят художественный образ. Сочетаниями образов управляет поэтическая мысль.

Подобно тому как в микроскопическом тельце хромосомы предначертан характер будущего организма, — первичные сочетания смыслов определяют собой общий вид и смысл художественного произведения. Каким же путём идёт поэт — от частного к общему или от общего к частному? Думаю, что ни один из этих путей не годится, ибо голая рассудочность неспособна на поэтические подвиги. Ни аналитический, ни синтетический пути в отдельности для поэта непригодны. Поэт работает всем своим существом, бессознательно сочетая в себе оба этих метода.

Но смысл слова — ещё не всё слово. Слово имеет звучание. Звучание есть второе неотъемлемое свойство слова. Звучание каждого отдельно взятого слова не имеет художественного значения. Художественное звучание возникает также лишь в сочетаниях слов. Сочетания трудно произносимые, где слова трутся друг от друга, мешают друг другу, толкаются и наступают на ноги, — мало пригодны для поэзии. Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться друг с другом, словно влюблённые в лесу, подмигивать друг другу, подавать тайные знаки, назначать друг другу свидания и дуэли. Не знаю, можно ли научиться такому сочетанию слов. Обычно у поэта они получаются сами собою, и часто поэт начинает замечать их лишь после того, как стихотворение

написано.

Поэт работает всем своим существом одновременно: разумом, сердцем, душой, мускулами. Он работает всем организмом, и чем согласованней будет эта работа, тем выше будет её качество. Чтобы торжествовала мысль, он воплощает её в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль — Образ — Музыка — вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт.

1957».

Вторая заметка была написана для выступления в Италии, куда Заболоцкий отправился с делегацией советских писателей и где намечался диспут с итальянскими писателями об оптимизме и пессимизме. Это рукопись в два листа на машинке. Готовя окончательный текст, поэт вычеркнул название «Почему я не сторонник абстрактной поэзии».

Его выступление прозвучало на одном из диспутов с итальянскими поэтами в октябре 1957 года:

«...Я — человек, часть мира, его произведение. Я — мысль природы и её разум. Я — часть человеческого общества, его единица. С моей помощью и природа и человечество преобразуют самих себя, совершенствуются, улучшаются. Но так же как разум ещё не постиг всех тайн микрокосма, он и в области макрокосма ещё только талантливое дитя, делающее свои первые удивительные открытия.

Я, поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружают меня всюду. Растения во всём их многообразии — эта трава, эти цветы, эти деревья — могущественное царство первобытной жизни, основа всего живущего, мои братья, питающие меня и плотью своей, и воздухом, — все они живут рядом со мной. Разве я могу отказаться от родства с ними? Изменчивость растительного пейзажа, сочетания листвы и ветвей, игра солнца на плодах земли — это улыбка на лице моего друга, связанного со мной узами кровного родства.

Косноязычный мир животных, человеческие глаза лошадей и собак, младенческие разговоры птиц, героический рёв зверя напоминают мне мой вчерашний день. Разве я могу забыть о нём?

Множество человеческих лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной

тайн, — что может быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского сообщества?

Невидимые глазу величественные здания мысли, которые, подобно деятельным призракам, высятся над жизнью человеческого мира, укрепляют во мне веру в человека. Усилия лучшей части человечества, которое борется с болезнями рода людского, борется с безумием братоубийственных войн, с порабощением одного человека другим человеком, мужественно проникает в тайники природы и преобразует её — всё это знаменует новый, лучший этап мировой жизни со времён её возникновения. Многосложный и многообразный мир со всеми его победами и поражениями, с его радостями и печалью, трагедиями и фарсами окружает меня, и сам я — одна из деятельных его частиц. Моя деятельность — моё художественное слово.

Путешествуя в мире очаровательных тайн, истинный художник снимает с вещей и явлений плёнку повседневности и говорит своему читателю:

— То, что ты привык видеть ежедневно, то, по чему ты скользишь равнодушным и привычным взором, — на самом деле не обыденно, не буднично, но полно неизъяснимой прелести, большого внутреннего содержания, и в этом смысле — таинственно. Вот я снимаю плёнку с твоих глаз: смотри на мир, работай в нём и радуйся, что ты — человек!»

Далее шло заключение, где было: «Холод одиночества и абстракции пугает меня. Мне по-человечески жаль художника, отделившего себя от мира искусственной стеною. Холодное солнце абстракции не греет его душу, и горькая радость уединения питает его творчество безжизненными соками. Мы — дети мира. Мы — в мире, и мир — в нас. И в этом заключается высокое удовлетворение поэта».

Вместо этого вычеркнутого абзаца Заболоцкий вписал ручкой: «Вот почему я не пессимист».

## **Глава вторая**

# **СЕРНУРСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ**



## Мужики на брёвнах

Неисповедимы пути, по которым в мир является поэт.

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа», — сказано в Евангелии от Иоанна (Ин. 3:8).

В русском переводе — «дух», но в подлиннике — «ветер»: Иисус сравнивает Дух Божий с ветром. Русское слово «Дух» разом выражает эти два значения: и ветер — дыхание, дуновение, и Дух Божий, возрождающий человека для новой жизни.

Поэзия — тоже ветер, дыхание, Дух, ибо она от искры Божией.

Весной 1903 года ветер поэзии прошумел над одной из ферм под Казанью — родился поэт Николай Заболоцкий...

Лобастый младенец в матроске испытующе и серьёзно смотрит на нас с одной из первых его фотографий 1904 года. Ребёнок стоит, ещё неуверенно, на резном крыльце дома. Молодая мать, в белой блузке и длинной чёрной юбке, заботливо поддерживает своего годовалого первенца. Рядом отец, уже в годах, солидный, статный, с пышными усами и густой бородой. Он в тёмном сюртуке, на голове картуз. Родитель тоже прислонил руку к сыну — опора!..

А на другом раннем снимке Коле уже три-четыре года, и запечатлён он в студии художественной фотографии Казани. Ладный малыш чуть наклонил голову вперёд, словно бы упёрся в пространство и ненароком бодает его. Кожаная кепочка сдвинута на затылок, открывая высокий выпуклый лоб; на ногах кожаные сапожки. Степенный себе паренёк!.. Куда он всматривается так вдумчиво, так наивно и внимательно, широко открыв светлые глаза? Не в самого ли себя этот сосредоточенный взор? Мальчик явно думает свою детскую думу — и созерцает нечто.

В младенчестве я слышал много раз  
Полузабытый прадедов рассказ  
О книге сокровенной...

.....

О, тихий час, начало летней ночи!  
Деревня в сумраке... И возле тёмных хат  
Седые пахари, полузакрывши очи,  
На брёвнах еле слышно говорят.

И вижу я сквозь темноту ночную,  
Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг,  
То спутанную бороду седую,  
То жилы выпуклые истомлённых рук,  
И слышу я знакомое сказанье,  
Как Правда Кривду вызвала на бой.  
Как одолела Кривда в состязаньи  
И Правды нет с тех пор в стране родной.  
Лишь далеко на Океане-море...  
На белом камне, посредине вод,  
Сияет книга в золотом уборе,  
Лучами упираясь в небосвод.  
Та книга выпала из некой грозной тучи,  
Все буквы в ней цветами проросли,  
И в ней записана рукой судеб могучей  
Вся правда сокровенная земли.

.....  
Как сказка — мир. Сказания народа,  
Их мудрость тёмная, но милая вдвойне,  
Как эта древняя могучая природа,  
С младенчества запали в душу мне.  
(«Великая книга», первая редакция. 1937)

Ещё раньше, в *столбцах* было у него стихотворение «Отдыхающие крестьяне» (1933), в котором та же самая картина: «толпа высоких мужиков», по обычаю сельского отдыха восседающая важно на брёвнах.

Царя ли свергнут или разом  
скотину волк на поле съест,  
они сидят, гуторя басом,  
про то да сё узнав окрест.

Как всегда у него в *столбцах*, тут, вместе с прямым взглядом на «предметы», — наив и необыкновенная серьёзность, лубок и гротеск.

Вечерние посиделки приманивают многих. Порой кто-то приносит «длинную гармошку», балалайку — и народ устраивает пляски: «многоногий пляшет ком, / воет, стонет, веселится».

Но старцы сумрачной толпой  
сидят на брёвнах меж домами,  
и лунный свет, вися столбами,  
висит над ними как живой.  
Тогда, привязанные к хатам,  
они глядят на этот мир,  
обсуждают, что такое атом,  
каков над воздухом эфир.  
И скажет кто-нибудь, печалась,  
что мы, пожалуй, не цари,  
что наверху плывут, качаясь,  
миров иные кубари.  
Гром мечут, искры составляют,  
живых растеньями питают,  
а мы, приклеены к земле,  
сидим, как птенчики в дупле.

Как птенчики в дупле, верно, были и крестьянские мальцы, под покровом сумерек с жадным любопытством прислушивающиеся к тому, что гуторят раздумчивые старики. Как и отцов с дедами, их волновали тайны окружающего мира и томила жажда познания. Это-то — в «простых» крестьянах и в самом себе — и поразило душу будущего поэта.

Тогда крестьяне, созерцая  
природы стройные холмы,  
сидят, задумчиво мерцая  
плазами страшной старины.  
Иной жуков наловит в шапку,  
глядит, внимателен и тих,  
какие есть у тварей лапки,  
какие крылышки у них.  
Иной первоначальный астроном  
слагает из берёзы телескоп,  
и ворон с каменным крылом  
стоит на крыше, словно поп.

Не тогда ли, в самом раннем детстве, Заболоцкий ощутил в себе, как в

бородатых сельских старцах — самодеятельных натурфилософах,  
непреодолимую тягу к знаниям и потребность открыть тайны земли и  
неба?

А на вершинах Зодиака,  
где слышен музыки орган,  
двенадцать люстр плывут из мрака,  
составив круглый караван.  
И мы под ними, как малютки,  
сидим, считая день за днём,  
и, в кучу складывая сутки,  
весь месяц в люстру отдаём.  
(«Отдыхающие крестьяне», первая редакция. 1933)

## Родство

Удивительно, но из воспоминаний детства больше никто, кроме этих безымянных мужиков на брёвнах, не вошёл в стихи Заболоцкого. Ни отец, ни мать, ни деды, ни братья с сёстрами... А ведь, казалось бы, ни один поэт не может в творчестве пройти мимо своего родословия — хотя бы потому, что это вернейший путь понимания самого себя.

Заболоцкий — смог.

Как художник, он, конечно же, бежал любого «фотографирования» действительности, изображения конкретных людей. Но, возможно, дело в ином. Как бы то ни было, поэт посчитал ненужным объяснять это. Впрочем, что же и объяснять? Стихам не прикажешь...

...В сентябре 1954 года у Николая Алексеевича случился тяжелый инфаркт. Он мог погибнуть — спасла «скорая помощь». Два месяца Заболоцкий пролежал дома. По свидетельству его сына, Никиты Николаевича, ставшего потом его биографом, Заболоцкий провёл это время в неподвижности, мало-помалу приучаясь к движениям. Никаких дел и посещений. У постели больного была лишь жена, Екатерина Васильевна, да время от времени навещали врач и медсестра.

Обессиленный недугом,  
От товарищей вдали,  
Я дремал. И друг за другом  
Предо мной виденья шли.

Эти строки из чудесного стихотворения «Бегство в Египет», написанного в 1955 году, к которому мы ещё вернёмся...

Вероятно, в бесконечные дни бессилия и вынужденного безделья приходили к нему, в ряду других, порой фантастических видений, и картины его детства, о котором прежде не было времени вспоминать.

Предположение вполне допустимо: по выздоровлении, в том же 1955 году, Заболоцкий написал очерк «Ранние годы» — замечательную по ясности духа и чистоте слога автобиографическую прозу.

«Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. Деревня расположена на высоком берегу реки Вятки, рядом с городищем, где, по преданию, было укрепление

ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода или Пскова. Возможно, что и наши предки приходятся сродни этим своевольным колонизаторам Вятского края.

Прадедом моим был некий Яков, крестьянин, а дедом — сын его Агафон, личность, как мне представляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был физически необычайно силен, гнул в трубку медные екатерининские пятаки и в то же время отличался большим простодушием и доверчивостью к людям. В николаевские времена он двадцать пять лет прослужил на военной службе, отбился от крестьянства и, выйдя в отставку, записался в уржумские мещане. Работал он где-то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крымскую войну разнёсся слух о бедствиях русской армии, дед мой стал во главе дружины добровольцев и повёл её пешком через всю Россию на выручку Севастополя. Вернули его откуда-то из-под Курска: Севастополь пал, не дождавшись своего нового защитника».

Севастопольская одиссея деда Агафона сама по себе послужила бы иному писателю сюжетом, — Заболоцкий же вспомнил о ней лишь на излёте жизни, в нескольких словах, да и то с еле скрытой добродушной усмешкой. Однако простодушный патриотический порыв деда, несомненно, оценил вполне: сам был такой же закваски. Недаром чуть дальше, в том же очерке ему пришло на память, как в 1912 году, в столетие Бородинской битвы, вместе с другими уличными мальчишками он «бредил» Кутузовым, Багратионом и другими героями «двенадцатого года». Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, они с пиками наперевес носились по сельским садам, сражаясь с зарослями крапивы — Бонапартовым войском. В этих побоищах девятилетний Коля неизменно был казачьим атаманом Платовым. По его словам, он никогда не соглашался на более почётные роли, ибо Платов представлялся ему образцом российского геройства, удали и молодечества.

Правда, поэтическое воображение всё же вмещалось в рассказ Николая Алексеевича о деде. Агафон Яковлевич Заболотский ко времени Крымской войны никак не мог быть «двадцать пять лет» на военной службе: в 1855 году ему как раз и было от роду 25 лет. Разумеется, и дружину добровольцев он возглавить не мог по своему низкому, унтер-офицерскому званию. Никита Заболоцкий в жизнеописании отца-поэта сообщает, что дед отбывал военную службу неподалёку от родных мест, а во время Крымской кампании и вовсе оказался в Уржуме. «В 1855 году, когда по высочайшему повелению было собрано Вятское ополчение во главе с генералом П. П. Ланским, в его уржумскую дружину вошёл и Агафон Заболотский, —

пишет биограф. — Он принимал участие в обучении ратников и в составе дружины отправился на выручку осаждённого Севастополя. Однако путь был слишком длинен, и, когда Севастополь пал, ополчение вернули домой откуда-то из-под Владимира». Лесничим же дед стал лишь по выходе в отставку, когда записался в уржумские мещане. В семье сохранилось ещё одно, кроме сгибания медных пятак, предание о его огромной физической силе: однажды во время переправы через реку Вятку дед Агафон «чуть ли не за хвост вытащил из полыньи провалившуюся под лёд лошадь».

...В конце 1950-х годов двоюродный брат поэта, Леонид Владимирович Дьяконов (вятский писатель, известный своими произведениями для детей), отыскал на старом кладбище в Уржуме могилу деда Агафона. На каменном памятнике с металлическим крестом сохранилась надпись:

«Здесь погребено тело отставного унтер-офицера Уржумской местной команды Агафона Яковлевича Заболотского.

Скончался 1 февраля 1887 г. Жития его было 57 лет.

Спи, дорогой отец, до радостного свидания».

Другого деда поэта, по материнской линии, звали Андрей Иванович Дьяконов. Он был учителем в уездном городе Нолинске Вятской губернии, а потом мелким служащим на почте. Николай Алексеевич его и не видал: мать, Лидия Андреевна, рано осиротела.

Но продолжим рассказ поэта о детстве:

«Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его жену, мою бабу, тихую, безропотную старушку, которую дед держал в страхе Божиим. На фотографиях рядом с дедом она выглядит весьма слабым и смиренным созданием. Не думаю, что жизнь её с супругом была особенно сладкой. Деда она пережила: Агафон умер ещё в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском сельскохозяйственном училище на казённую стипендию. Отец стал агрономом, человеком умственного труда. <...> По своему воспитанию, нраву и характеру работы он стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убеждённый практик, он около сорока лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, чуть ли не треть уезда перевёл с трёхполья на многополье и уже в советское время,

шестидесятилетним стариком, был чествуем как герой труда, о чём и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нём с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собою, с красивой чёрной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддёвке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства.

Семью он старался держать в строгости, руководствуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детства, но уже и среда была не та, и времена были другие. Женился он поздно, в сорокалетнем возрасте, и взял себе в жёны школьную учительницу из уездного города Нолинска, мою будущую мать, — девушку, сочувствующую революционным идеям своего времени. Брак родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно представить себе, что толкнуло друг к другу этих людей, столь различных по воспитанию и складу характера. Семейные раздоры были обычными картинами моего детства.

Я был первым ребёнком и родился в 1903 г. 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом...»

В свидетельстве, выданном Варваринской церковью города Казани, говорится: «Вятской губернии города Уржума мешанин Алексей Агафонов Заболотский и его законная жена Лидия Андреева, оба православного вероисповедания, сын их Николай рождён апреля двадцать четвёртаго, крещён двадцать пятого...»

...Однако что же побудило Заболоцкого так резко отозваться о родительском браке? Только ли семейные раздоры, которые, конечно же, чрезвычайно тяжелы и болезненны для ребёнка? Это остаётся вопросом, скорее всего неразрешимым. В конце концов благодаря «этим людям» — отцу и матери — он и появился на свет.

Не берёмся судить, в чём причина этого прохладного, отстранённого отношения. Вряд ли тут прегрешение против пятой заповеди: отца, Алексея Агафоновича, Заболоцкий любил и *чтил*, как, наверное, и мать, Лидию Андреевну (хотя почему-то почти ничего не поведал о ней в автобиографическом очерке). Возможно, сказалось извечное, унаследованное от отца стремление Николая Алексеевича к разумному устройству жизни, в том числе и личной.

Хотя он прекрасно знал, что его семье жилось очень непросто. Вслед



за ним родились сёстры Вера и Мария, брат Алексей. Денег не хватало, а семейных забот и хлопот было выше головы. «Когда мне было лет шесть, у отца случилась какая-то служебная неприятность, в результате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период в жизни отца: некоторое время он был без работы, в Кукморе служил даже не по специальности — страховым агентом и выпивал с горя. Впрочем, период этот длился недолго: в 1910 г. мы перебрались в родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил место агронома в селе Сернур».

## В начальной школе

Волостное село Сернур было небольшим, с церковью и волостным правлением, с бедной школой и захудалой больницей. С примыкающими к нему деревнями Нурбель и Низовкой село составляло одну большую улицу. Её пересекали две короткие улочки. Кругом сады, рядом, под пригорком, речка. «Недалеко от школы, — писал Заболоцкий, — поселились и мы в длинном бревёнчатом доме, разделённом перегородками на отдельные комнатки-клетушки».

Л. Дьяконов в очерке «Детские и юношеские годы поэта» приводит воспоминания сестры поэта, Веры Алексеевны, о доме в Сернуре:

«У нас был отдельный дворик, заросший зелёной травкой, с заложенными в нём отцом цветниками. Мальвы, гвоздики, левкой, настурции, резеда и петунии и нежно-голубые лабелии запомнились, видимо, Коле на всю жизнь.

За домом был небольшой запущенный сад, спускающийся к мелкой речушке и ещё подальше — к ключу, откуда весь окресток носил воду.

Весной, когда всё зеленело и распускались берёзки, в лесу (в нескольких верстах от села) марийцы из соседних деревень устраивали моление».

Насчёт цветов у родительского дома в воспоминаниях Заболоцкого ни слова. Его поразило другое. Прелестный и радостный растительный мир округи — а рядом такая убогая человеческая жизнь, жалкая, скудная... «Особенно бедствовали марийцы — исконные жители этого края. Нищета, голод, трахома сживали их со свету. Купеческое сословие, дома священников — они стояли как-то в стороне от нашей семьи: по скудости средств отец не мог, да и не хотел стоять на равной ноге с ними. Мы, дети, однако ж, знали между собою, у нас были общие интересы, игры».

В селе Сернур Коля пошёл в школу. Учился старательно. Замечал: крестьянские мальчишки худо-бедно, но одеты, обуты, а рядом за партами марийские детишки, изнурённые нуждой. Запоминались больше строгости учителей. Священник отец Сергей за погрешности бивал линейкой по рукам и ставил на горох в угол. А самое сильное впечатление о жизни в Сернуре таково: «Однажды зимой, в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ, марийский мальчик Ваня Мамаев, в худой своей одежонке, с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замёрз до полусмерти и

получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой чёрной завистью».

Смысл этой детской зависти, скорее всего, можно разгадать так: сверстник Ваня Мамаев по усердию своему ненароком *отличился* — и прикоснулся к чему-то заветному. В мальчике Коле, уже начитавшемся книг, проснулось желание действовать. В душе, ещё вполне не осознающей себя, проклюнулись стихи. И то, что извечно сопровождает начинающих сочинителей, — томительное предчувствие влекущей, как бездна, ненасытимой жажды. Пушкин называл её прямо и просто — *желание славы*.

Слово уже очаровало юную душу.

В отцовском книжном шкафу было много книг: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой, Державин, Шекспир, история Карамзина, Кольцов, Никитин, Алексей Толстой, Фет, Лесков, Гюго.

...Минувшим летом мне довелось побывать в Сернуре. И век спустя стоит в селе то деревянное двухэтажное здание начальной школы, где учился Коля Заболотский. Теперь в этом доме этнографический музей. В комнате-классе Н. А. Заболоцкого хранятся старинное собрание сочинений Достоевского из личной библиотеки отца-агронома, портативная переносная печатная машинка поэта, подаренная ему Евгением Шварцем, сигаретница — это передали в дар музею дети Николая Алексеевича. А бревенчатый дом, где он жил, не сохранился. Зато уцелел узкий навесной мостик через глухой овраг с ручьём на дне, по которому сбегал со своего пригорка мальчик Коля, торопясь в школу. Так же, как и век назад, щёлкают и заливаются в густых зарослях невидимые соловьи, так же цветёт сирень...

Но, кроме литературы, было и другое.

Однажды отец взял его в поездку по окрестным деревням. И Коля своими глазами увидел, как в берёзовой роще, перед белоствольными деревьями, марийский шаман заклинал своих языческих божков. Эти берёзы считались священными. Глухая дробь бубна... несвязные выклики... осязаемый трепет душ тех, кто собрался вокруг... Мальчик всем существом почуял тёмную, властную силу слова.

...Позже, в Петрограде, молодой поэт сполна хлебнул полугенияльного, полубезумного речитатива Велимира Хлебникова, ознакомился и с тупой, односложной бессмыслицей пальцем деланного «заумника» Алексея Кручёных. Как-то, разбирая абсурдистские опыты своих товарищей, Николай вспомнил то камлание шамана-марийца и с

усмешкой заметил своему другу Шурке Введенскому: «Куда тебе и другим!.. Вот это была настоящая заумь!»

## Энергии и смыслы, заключённые в имени

Итак, с бумажной иконки сияющего от счастья Вани Мамаева на уязвлённого завистью Колю взглянул Николай Чудотворец. Кто знает, что увидел он в строгих, взыскующих глазах святого? Может, вопрос: а ты? что ж не проявил такого же, как приятель, усердия? А ещё моим именем зовёшься...

Нет сведений о том, кто дал Заболоцкому имя. Возможно, родители, а скорее, как и полагалось по заведённому православному обычаю, поп в церкви, который окрестил младенца.

Священник выбирал имя по святцам, сверяясь с церковным календарём, кого из святителей и мучеников вспоминали православные в эти дни. Среди этих прославленных Отцов Церкви есть сразу несколько Николаев, и все они, разумеется, наречены в честь того, кого в народе душевно звали Николой-угодником.

«Имя — есть жизнь», — говорил русский философ Алексей Лосев.

Не простой звук, а заключённый в слове смысл, предопределяющий характер и судьбу человека.

Слово — действительно: в нём содержатся не разгаданные ещё до конца энергии.

Нынешние учёные проделывали опыт: читали над комнатным цветком молитвы — и растение распускалось, расцветало, крепло; а вот от ругани и проклятий — хирело и даже погибало. Но в старину люди знали это без всякой науки, потому что жили по вере. Несмотря на все достижения науки, истинное знание ещё недоступно человеку. Оно вроде айсберга: материальное, факты на поверхности, а мистическое ведение где-то в глубине. Слова это касается прежде всего: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

Высочайшие умы посвятили свои работы разгадке философии имени. Один из них — отец Павел Флоренский, автор исследования «Имена».

Отец Павел намеревался составить толкование самых распространённых человеческих имён, однако своё исследование не успел завершить. По счастью, среди тех имён, которые им изучены основательно, есть имя Николай.

Рассуждения Флоренского об этом имени невольно сравниваешь с тем, что нам известно о жизни и судьбе Николая Алексеевича Заболоцкого. И кажется, что многое, хотя, конечно, не всё удивительно совпадает с

действительностью. Так ли оно на самом деле? Как бы то ни было, перед нами предстаёт если и не полный, то эскизный психологический портрет того, кто когда-то, мальчиком, в захолустном селе Сернур сгорал от «чёрной» зависти, глядя на «лаковую картинку» с изображением Николая Чудотворца.

Вот выдержки из статьи Флоренского, которые, по нашему мнению, довольно точно соответствуют Заболоцкому. Они приближают нас к пониманию его личности, характера и образа жизни. Сопроводим некоторые из этих цитат небольшими, *на живую нитку*, комментариями.

\*

*«Духовное пространство Николая ограничивается не потому, что именно так выражает себя вовне структура его личности, а потому что такова структура внешней среды, принимающей на себя его деятельность».*

Воображение Заболоцкого вряд ли знало пределы, коль скоро его равно влекли и глубины древности, и тайны языка, и бесконечное будущее человечества, что рисовал в своих мечтах и планах Циолковский.

Но... «структура внешней среды»! Понятно, какой была эта структура во времена Сталина. Вождь предвидел скорую схватку с Западом, он хорошо помнил, как в Гражданскую войну Антанта с Японией, от Мурманска до Дальнего Востока, пытались на куски разодрать бывшую Российскую империю. Он отказался от ленинской блажи мировой коммуны и принялся железной рукой строить новую империю — социализм «в отдельно взятой стране». Только мощная империя могла бы выстоять в будущем столкновении и избежать гибели.

Страна виделась ему армией. А в армии — все бойцы, писатели не исключение. Вождь зорко и твёрдо *нас* это своевольное стадо, которое так и норовило разбредиться по разным сторонам. Неспроста же к середине 1930-х годов разогнал множество литературных групп и объединений, грызущихся между собой. Вместо них был образован Союз советских писателей, эдакое министерство литературы. Даром что форму не пошили, как инженерам и железнодорожникам. А то бы ходили — кто с вечным пером, а кто с лирами на погонах.

*«Для Николая наиболее характерно действие, направленное вовне. Оно может показаться на первый взгляд похожим на женскую*

*беспредельность, бесконечность и хаос, стремящийся разливаться, пока не встретит препятствия. Но это сходство — лишь кажущееся: та, женская мощь, беспредметна и нерасчленённа, и препятствие встречается ею пассивно, как нечто нежданное и случайное. Напротив, Николай сам из себя сознательно направляется действием на некоторый объект, который им же избирается. Он предвидит его и хочет его, и без него не было бы и самого движения».*

По натуре Заболоцкий — человек действия. Его основа — вера в разум.

Избираемые Заболоцким «объекты действия», начиная с молодости, а может быть, с детства, были ясно и чётко определены. Он презирал безволие, никогда не плыл по течению. Он предвидел и хотел того, что стремился достичь. Как в поэзии, так и в «житейском плане».

С детства он почуял, что станет поэтом. И всеми силами души хотел этого. Но одним «хотением» не ограничился — деятельно стремился к тому, чтобы развить своё дарование и вполне овладеть поэтическим мастерством.

И добился своего. Его «версификационную выучку» один из исследователей (Алексей Пурин) назвал «феноменальной».

Студентом, в Ленинграде начала 1920-х годов, даже загибаясь от голода, он продолжал — *сознательно* — создавать свой стиль. И создал — неповторимый, сделавший его первую книгу «Столбцы» явлением в русской поэзии.

И в быту, по цельности характера, был таким же.

В неволе, например, думал, как по освобождении кормить семью, — и для этого изучал армянский язык, предполагая заняться литературными переводами. На поселении в Караганде сразу же обратился с письмом в Союз писателей Казахстана, предложив переводить казахских поэтов. Ему не ответили. Языка он, конечно, не знал, но тогда много поэтов пробавлялось переложениями с подстрочников. И в случае положительного ответа Заболоцкий по своей добросовестности наверняка бы занялся изучением казахского — ведь грузинский он потом основательно освоил. Писатели Грузии оказались к нему благосклоннее. Сотрудничество продлилось с десятков лет, книги выходили одна за другой. Впоследствии был издан в Москве трёхтомник великолепных переводов — как современных авторов, так и классики.

*«Николай... хочет воздействовать на некоторый определённый объект, сознательно и по чувству долга, и устремляется к нему, потому*

что решил так».

В точности о Заболоцком: решения он принимал в ясном сознании, тщательно обдумав — а исполнял последовательно, будучи человеком долга.

*«... В своей деятельности идёт, или, точнее, бросается — по прямой и никогда не сумеет и не захочет обойти помеху, но или сметёт её своим натиском, или признает её непобедимой и отскочит в противоположную сторону, опять по прямой, к новому объекту воздействия».*

Прямолинейность, а она была свойственна поэту, отнюдь не тупая инерционность или же отсутствие воображения, но — следствие прямооты нрава и чувства собственной правоты.

В творчестве он шёл напрямую, не считаясь ни с кем и ни с чем. Его натиск был ошеломительным, недаром уже к двадцати пяти годам поэт в «Столбцах» заговорил новым, совершенно необычным в поэзии голосом.

В дальнейшем курс партии, конечно, стал ему, как и другим новаторам, изрядной «помехой». Была ли она «непобедимой»? В конце концов поэт мог писать в стол. После сокрушительной критики «Столбцов» со временем он постепенно начал переходить к форме классической. Но от прежнего опыта не отрёкся, даже в поздних стихах видна львиная хватка автора «Столбцов». Был ли переход к классике естественным ходом его развития как поэта? Мнений по этому поводу множество, и они противоречат друг другу, но всё же вопрос остаётся открытым.

В быту Заболоцкий, столкнувшись с непреодолимым препятствием, бывало, «отскакивал» в «противоположную сторону». В последние годы произошла семейная драма — жена, совершенно неожиданно, ушла на какое-то время к другому. Заболоцкого это ошеломило. Но тут же он устремился — «опять по прямой, к новому предмету воздействия».

*«В самом себе Николай не находит простора и предмета самораскрытия. Он слишком рассудочен, чтобы прислушиваться к подземному прибою в себе, и слишком принципиален, чтобы позволить себе такое, по его оценке, безделье. <...> Его жизнь — в деятельности. Деятельность эта безостановочна, потому что Николай не даёт себе ни отдыха, ни сроку, почитая её своим долгом».*

Стихиям душевной смуты Заболоцкий явно не поддавался, решительно их подавляя. Он был постоянным тружеником мысли и дела и попросту не мог себе позволить впустую тратить время. Долг же перед поэзией, а потом ещё и перед семьёй, детьми, ощущал всегда и исполнению



его отдавал все силы.

*«У Николая редко бывают сомнения, что хорошо и что плохо. Антиномии внутренней жизни далеки от него, как и вообще его мало занимает углубляться в области, где трудно дать или во всяком случае трудно ожидать чётких и деловитых решений. <...>*

*Без сомнений и колебаний, Николай всегда твёрдо знает, что можно и чего нельзя, что должно и что запрещено; в своём сознании он раз и навсегда разграничил честное от нечестного... и стойко держится его, готовый, при необходимости нарушить свой долг, ко всяким жертвам».*

Всё это словно бы сказано о Заболоцком. Что должно, честно — а что постыдно и по бесчестности непозволительно, это было у него в крови. И стойкость его поразительна: так, на следствии, несмотря на пытки, не выдал никого. Дошёл до умопомрачения, до временной потери рассудка — а не выдал...

*«Николай рассматривает себя как центр действий, сравнительно мало ощущая иные силы над собою и под собою. Он переоценивает своё значение в мире и ему кажется, будто всё окружающее происходит не само собой, органически развёртываясь и руководимое силами, не имеющими ничего общего с осуществлением человеческих планов, а непременно должно быть сделано некоторой разумной волею. Себя самого он склонен считать таковою, неким малым Провидением, долг и назначение которого — пеицись о разумном благе всех тех, кто в самом деле или по его преувеличенной оценке попал в число опекаемых им».*

Кто же не мнит себя «центром действия»? В творческой среде это общее явление.

*«...Что касается поэзии, — вспоминала Наталия Роскина, — тут он никогда не признавал ничьего превосходства даже в самых частных вопросах. Уступить, вернее сделать вид, что отступил, он мог только из вежливости».*

Значит ли это, что поэт переоценивал своё значение?..

Есть анекдот: выстроили стихотворцев, дали команду: «На первый-второй рассчитайсь!» Все разом вышли из строя. Все оказались — «первыми». (Оно, впрочем, так и есть: поэт всегда *первый*. Если настоящий — то единственный, а значит, первый.)

Преувеличенная самооценка и крайняя душевная противоречивость отнюдь не мешали Николаю Алексеевичу оставаться чрезвычайно цельной натурой. К тому же всё сдабривалось отменно умной и тонкой

самоиронией.

Обратимся снова к свидетельству Наталии Роскиной:

«Как-то, когда он причёсывался перед зеркалом, аккуратно приглаживая редкие волосы, моя Иринка спросила его: „Дядя Коля, а почему ты лысый?“

Он ответил: „Это потому, что я царь. Я долго носил корону, и от неё у меня вылезли волосы“.

И вот — воспоминание о его добродушно-серьёзном лице, которое в эту минуту я видела отражённым в зеркале, воспоминание о спокойном естественном тоне, которым он произнёс: „Я царь“...»

*«У Николая взгляд на окружающих — как у школьного учителя на учеников, у гувернёра — на воспитанников, или, лучше, у пристава, хорошего, честного пристава, в маленьком местечке — на всех обывателей. Это постоянное сознание ответственности за всяческое благополучие и порядок даже там, где никто этой ответственности на Николая не возлагает».*

*«...При таком душевном состоянии Николай не может не быть самолюбив. <...> Его неустанная деятельность, в большинстве случаев не имеющая материальной корысти, в значительной мере подвигается самолюбием, как необходимость доказать себе самому и другим и оправдать своё мнение о себе и о носимой им должности. И тогда, борясь против сомнения в нём, Николай может быть суровым и жестоким в своей прямолинейности, считая или стараясь убедить себя, что борется за правду, без которой окружающие же потерпели бы огромный ущерб...»*

*«Николай по складу своему имеет доброту и не может не иметь её, хотя бы по одному тому, что невозможно жить с постоянным чувством ответственности за окружающих и не скрасить этого чувства добрым отношением к опекаемым. Эта доброта имеет, однако, вполне определённый душевный тон. Она ничуть не похожа на острую жалость обо всём живом, которая порою щемит сердце, но бездеятельна и не понуждает оказать поддержку...»*

*«Зорким и деловитым взглядом... Николай рассмотрит построение жизни в её фундаментах, людей, с которыми он соприкоснулся, быстро оценит как и что и положит решение помочь в том-то и том-то. <...>*

*...Обладая умом чётким, силою внутреннего натиска и правдивостью,*

*он может иметь и имеет успех в науках и искусствах».*

Коли бы Заболоцкий свернул в молодости на стезю науки, он, без сомнения, добился бы многого. Хотя бы потому, что был по натуре продолжателем дела своего отца, Алексея Агафоновича.

Возможно, из него мог выйти и художник: рисовальщиком был хорошим.

*«Достигнутое Николаем, как бы оно ни было значительно, лишено благоухания. Фосфоресцирующие светлы не появятся тут: Николай говорит в точности то, что говорит, не больше и не меньше. Из какой-то обидчивости он всегда отвечает миру ответом Корделии: „Я люблю ровно столько, сколько должна дочь любить отца“, но делает это не из застенчивой гордости, а по всегдашней прямолинейности своей мысли».*

В «Столбцах» благоухания, конечно, нет. Однако в поздних стихах («В этой роще берёзовой...» и некоторых других) оно явно ощущается.

Что до фосфоресцирования, то тут Флоренский безусловно прав в своём понимании этого имени: к мистике, неопределённости Заболоцкий никак не был расположен.

*«Этот ум не склонен к созерцательности. Он может подыматься высоко, в известных случаях, но он всегда остаётся помнящим о себе и потому не приходит в интеллектуальный экстаз. Он не парит. Его нельзя назвать корыстным: но в нём присутствуют какие-то элементы расчёта и утилитарности».*

*«Он, из всех имён может быть наиболее, ценит в человеке его человеческое достоинство, держится за него в себе самом, боясь выпустить из рук, и требует его от других».*

В «десятку»!..

*«Мир природный, с одной стороны, и мир мистический — с другой, кажутся ему равно далёкими от разума и разумность исключают, человечность же — тождественной с разумностью».*

И это суждение подходит поэту, хотя мир природный, по Заболоцкому, по-своему — мыслящий, но, конечно, ещё далёк от разума.

*«Его собственная сфера — это человеческая культура, понимаемая однако не как высший план творческой природы и не как фундамент жизни горней, но противопоставленная всему бытию. Николай — типичный*

горожанин и гражданин. Он не доверяет бытию, потому что не чувствует направляющего его Логоса и в душе плохо сознаёт, что „вся Тем быша и без Него ничтоже бысть, еже бысть“. Слишком далёкий от бытия, чтобы быть заинтересованным отрицать приведённое Евангельское изречение, Николай просто не считается с ним и верит лишь в те божественные силы, которые открываются в сознательной деятельности устрояющего человеческого разума».

«Николай, как сказано, доверяет лишь разуму, — не только своему, но и Божьему, поскольку он обращён к культуре. Николай доверяет лишь сознательному усилию. Это необходимо ведёт к горячности, которая очень характерно отмечает это имя».

Что такое разум, как не одухотворённый ум?

Приземлённый ум спесив, не может не возгордиться собой. Кто заспит свой разум, тут же возомнит себя богом. Давным-давно сказано: спящий разум порождает чудовищ. С каждым веком это всё очевиднее.

Если даже поэт и сторонился церкви, всё равно он по сути своей был духовным, верующим человеком.

«...Николай прямолинейно и нарочито честен, нарочито прям, волит иметь горячую честность и честную горячность».

На первый взгляд Заболоцкий казался всем уравновешенным и степенным, порой даже скучным и заурядным. Но люди близкие знали, как он остро чувствует и переживает внутри себя. Он был не теплохладен — горяч...

В заметках и подготовительных материалах к части первой своей «Ономатологии» отец Павел Флоренский писал об этом имени:

«...Николай. Дополнить и разъяснить: В нём есть чувство священности, хотя нет мистики. Это чувство священности относится к его вере, его попечению, его управлению. Это — не просто дело, а священное дело, своего рода помазанность его на дело. Поэтому он благоговеет перед ним. Поэтому же он склонен искать себе и всяческого поддержания чрезвычайно, торжественно, и поэтому может обращаться к людям, в дух[овный] совет которых он верит и доверяет и какового опыта в себе не знает».

Замечательные по прозорливости слова!

Заболоцкий и был помазан Богом — на поэзию.

## **Глава третья**

# **РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ**

## В семейном кругу

В Сернуре семья Заболотских с годами прибавлялась: родились сын Александр, дочери Наталья и Елена. Тяжело пережили беду, случившуюся летом 1912 года, когда скончался младенец Шурочка.

Многодетному семейству приходилось существовать на одно жалованье сельского агронома. Жили в тесноте, да не в обиде. Бывало, правда, глава семьи по чрезмерной требовательности и приверженности к порядку выходил из себя — и между ним и женой вспыхивали ссоры. Конечно, это были тяжкие минуты для всех. Молодой жене казалось, что муж таким образом корит её за то, что она бесприданница. Плач, слёзы — расстроенные дети. Конечно, сказывались и разница в возрасте (Лидии Андреевне не было и двадцати, когда она вышла замуж), и материальные трудности. Но главное, к ней, которая прежде жила восторженными думами и надеждами о будущем, пришло понимание: с юными мечтами о *борьбе за народное дело* — и непременно в городе, в гуще жизни — придётся рано или поздно расстаться. И это расставание с тем, к чему она когда-то в девичестве стремилась всем своим существом, было очень болезненным.

По свидетельству сестры поэта, Марии Алексеевны, душой семьи была мать: «Всё хорошее, что в нас есть, заложено мамой. Мама была очень хорошим, умным и справедливым человеком. Любовь к людям, отвращение к лжи и обману она внушала нам с детства. У неё был удивительно чистый и свежий ум, она очень любила книги и привила нам любовь к ним».

Лидия Андреевна рано, десяти лет, осталась без матери. Отец, Андрей Иванович Дьяконов, хоть и носил звание почётного потомственного гражданина города Уржума, слыл «непутёвым» — загуливал и попросту забывал о четырёх девочках-сиротках и сыне. Лидию и других девочек взяла на попечение старшая сестра Ольга. Все они окончили Вятскую Мариининскую гимназию, Ольга, Лидия и Екатерина — с серебряной медалью, стали учительницами. Ольга Андреевна Дьяконова сочиняла и даже печатала в губернской газете стихи, собирала народные песни. Их наверняка слышал ребёнком и Коля Заболотский — не потому ли уже в его ранних стихах появились фольклорные мотивы...

Сам Николай Алексеевич в очерке «Ранние годы» совсем немного рассказал о своей матери (*мамой* он её там так ни разу и не назвал) — но её

боль и смуту понял:

«Детей у матери было шестеро, и я — старший из них. Погружённая в домашние заботы, мать старилась раньше времени и томила в захолустье. Когда-то радостная и весёлая, теперь она видела всю безвыходность своего неудачного супружества и нерастраченные душевные силы свои выражала в иступлённой любви к детям. Она чувствовала, что настоящая живая жизнь идёт где-то стороной, далеко от неё, сама же она обречена на медленное душевное умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть на свете люди, которые желают добра народу и борются за его счастье, и за это их гонят и преследуют; что сестра её, тётя Миля, сидела в тюрьме за нелегальную работу, так же как сидел один из отцовых племянников, студент, известный в нашей семье под кличкой Коля-большой, в отличие от меня — Коли-маленького. Коля-большой по временам приезжал к нам со своей неизменной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу местной молодёжи. Он славно пел свои неведомые нам студенческие песни и всем своим весёлым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ. Это была загадка, разгадать которую я был ещё не в силах».

Разгадал ли он эту загадку потом?

Всю жизнь Заболоцкий чурался политики, всячески уворачиваясь от неё. Она сама *достала* поэта и изломала ему жизнь.

Похоже, говоря про неразгаданную в детстве загадку, поэт тонко усмехается над своим взрослым тёзкой и над самим собой, и даже над матерью — её чистыми, наивными мечтами. Уж он-то познал «на собственной шкуре», куда завела эта борьба за народное счастье: как говорится, за что боролись, на то и напоролись...

Итак, Коля-большой горланил весёлые песни — в отличии от Лидии Андреевны, которая порой, в одиночестве, грустно пела запретную песню своей сестры-революционерки про погост в поле и помост на погосте, окрашенный кровью.

Заметим, без песни в доме Заболотских не обходилось. Николаю на всю жизнь запомнилась теплота домашнего очага, книги и песни — петь любили все. Впрочем, в те времена песня была за обычай — в храме, в поле за крестьянским трудом, в любой избе...

Отец прекрасно играл на гитаре, недурно пел. Мать подтягивала ему. По словам Никиты Заболоцкого, сына и биографа, в семье пели русские и малороссийские песни, а порой, хотя и путая слова, марийские. «Лидия Андреевна исполняла что-то из „Аскольдовой могилы“, пела „Виют витры“, „Стоит гора высокая“. Все вместе пели „Буря мглою небо кроет“, „Звёзды, мои звёздочки“, „Липа вековая“. Развеселившись, Алексей

Агафонович лихо отыгрывал на гитаре и, сощурившись, задорно начинал: „Уж вы, пташки-канашки мои, разлюбезные бумажки мои! А бумажки-то новенькие, двадцатипятирублёвенькие“...» Младший брат поэта, Алексей Алексеевич, говорил впоследствии, что с детства запомнил всё, что звучало в доме — от колыбельных и детских песен до романсов и оперных арий.

Николаю достались от родителей и голос, и хороший музыкальный слух, и любовь к пению. От отца перенял игру на гитаре, чуть позже освоил балалайку...

Как-то, в ноябре 1921 года, в голодном Петрограде, Заболоцкому вдруг почудилось давнее: зима, родительский дом. В ту пору вести с родины шли неутешительные: дома перебивались с хлеба на воду, отец болел, совхоз его «шатался»... А тут Николаю стало ещё известно от одной студентки, что его ближайший друг, Михаил Касьянов, сильно захворал, попал в больницу. Он кинулся писать письмо Мише, — есть в том письме такие слова:

«Просыпаясь по ночам и дрожа под своим одеялом, долго думал о тебе. <...>

Я немного нездоров. Папироса не доставляет удовольствия, мысли скачут, холодные пальцы лениво движут перо. Сегодня я вспомнил моё глубокое детство, Ёлку, Рождество. Печка топится. Пар из дверей. Мальчишки в инее. — Можно прославить?

Лежал в постели и пел про себя:

— Рождество твое Христе Боже наш...

У дверей стояли студентки и смеялись...»

Запел бы вслух — ещё громче бы засмеялись: какое же Рождество, когда на дворе пока только осень... А ведь он, подчиняясь древнему, исконному чувству, по существу, молился о друге...

Поскреби русскую душу, в её, ещё не затвердевшей, советской коросте, — а там Христос.

Времена настали другие: если прежде гнали революционеров (впрочем, со старорежимной мягкостью, по-домашнему), то теперь гнали всех *бывших* — со зверской беспощадностью (сознаём, привычный эпитет в этом случае оскорбителен для зверей: животные, в отличие от людей, массово не убивают себе подобных). Священников — тех преследовали и уничтожали чуть ли не в первую очередь.

В своём очерке «Ранние годы» Заболоцкий ни словом не обмолвился о родословии матери, Лидии Андреевны. Неизвестно даже: знал ли он хоть что-нибудь о её предках? Коли знал — то скрывал: ему, битому-перебитому властью, приходилось быть крайне осторожным. Поэт не желал снова очутиться в неволе. Стать «повторником», то бишь опять загреметь в лагерь



можно было в два счёта: органы «бдили» с удвоенным вниманием за всеми недавними зэками. Попасть вновь под арест — значит поставить крест на своей поэтической работе и обречь семью на новые испытания. Он не имел права на это...

Лидия Андреевна носила в девичестве «говорящую» фамилию — Дьяконова. По материнской линии она была родом из семейства потомственных священников. Среди её старинной родни были в основном приходские священнослужители, а кроме них — морские офицеры, флотский вице-адмирал. Разумеется, в государстве оголтелого богоборчества даже такое отдалённое родство люди старались держать в тайне.

Священники по духу своему и по роду деятельности неразрывно связаны с искусством слова. Недаром у родной тётки будущего поэта по материнской линии проявилась тяга к литературному творчеству, а его двоюродный брат стал писателем. Есть все основания предположить, что художественный дар передала Николаю Заболоцкому его мать, Лидия Андреевна. Такого мнения, в частности, придерживается замечательный поэт Светлана Сырнева, живущая в городе Кирове, с которой недавно мы долго разговаривали о Заболоцком. От отца же Николай Алексеевич явно унаследовал свой огромный естественно-научный пыл...

Про отца, Алексея Агафоновича, Николай Заболоцкий сказал в своём очерке, что тот был «умеренно религиозен». О своих же религиозных взглядах умолчал. Вполне возможно, что и говорить-то было почти не о чем: поэт верил больше в человеческий разум, способный преобразить жизнь к лучшему, нежели в высшие силы. Ему была близка отнюдь не мистика, а *положительные* — естественно-научные — знания о мире и природе. И в этом он, несомненно, следовал отцу-агроному, убеждённому практику созидательного труда.

У отца на Епифаниевской ферме были и новые, ухоженные полянки с девятипольным севооборотом и, тут же по соседству, с трёхпольным — захудалые участки, которые обрабатывались по старинке. Так, наглядно, Алексей Агафонович приучал к передовой культуре земледелия своих упрямых и косных земляков. Мужики частенько навешали ферму и заглядывали на огонёк к самому агроному, чтобы потолковать о хозяйстве, об урожаях. У того дома была даже устроена небольшая лаборатория, где Алексей Агафонович показывал своим недоверчивым подопечным, как определять всхожесть семян, оценивать качество почвы и вносить в неё минеральные удобрения.

Любознательный сын Коля прислушивался к разговорам — и вскоре

завёл в чулане собственную лабораторию, в которой с важностью демонстрировал братишке Алексею — по-домашнему Лёле, Лелюхе — различные химические опыты. Повзрослевший Лелюха впоследствии писал старшему брату: «С раннего детства, кроме увлечения стихами, мне вспоминаются твои занятия химией. Помнишь, как в чуланчике в Сернуре ты мудрил с колбами и пробирками? Все обычные химикалии — серу, купорос и прочие — я впервые увидел и запомнил в твоих руках. Потом это увлечение сменилось другим — журналом „Жулик“. Далёкие, милые времена нашего детства!»

Алексей Агафонович Заболотский по вечерам в домашнем кругу любил порассуждать «о вечности и бесконечности», как подшучивала над мужем Лидия Андреевна. Близкие, бывало, слегка посмеивались над философствованием главы семейства, видно, считая это чудачеством. И лишь старший сын всерьёз слушал отца: недаром позже, в молодости, Николая сильно увлекли космические идеи «калужского мечтателя» Константина Эдуардовича Циолковского. Научный прогресс и его достижения были главным, что виделось отцу и сыну в будущем человечества. Но как соотносились между собой религия и наука в уме и душе молодого поэта?

Николай Сбоев, земляк и студенческий товарищ Заболоцкого, в своём мемуарном очерке «О юности поэта» припомнил один эпизод из их петроградской молодости: «...склонности к религиозным переживаниям молодёжь не имела, кроме меня. Н. А. Заболоцкий как-то раз сделал даже попытку повлиять на меня в сторону отвлечения от религиозных настроений и высказал тот практический аргумент, что атеистическое, естественно-научное мировоззрение недоступно для насмешки, тогда как верующего оскорбить очень легко».

Довольно странный «практический аргумент».

Знания относительны, они только бесконечно приближаются к истине, не в силах её до конца постигнуть, — то есть сами по себе уязвимее для насмешки. Тогда как Бог непоругаем, и оскорбить верующего, у кого Он в душе, в принципе невозможно. Наверное, естественно-научное мировоззрение казалось тогда молодому поэту абсолютной истиной. Для человека же, уверовавшего в науку, религией становятся знания.

Вспомним ещё и то, что студенты-земляки жили в стране, где воцарился вульгарный материализм, открыто глумившийся над «мракобесием» верующих, — и, вполне вероятно, Заболоцкий хотел попросту уберечь своего друга от неприятностей.

Но возможно и другое. Не свидетельствует ли «аргумент» молодого

поэта косвенным образом о том, что и сам Николай был отчасти склонен к религиозным переживаниям, но скрывал их от посторонних. Святыня на то и святыня, чтобы хранить её в тайне, в самой глубине души. Согласно библейской заповеди, не должно метать бисер перед свиньями.

В любом случае чужая святыня была для Заболоцкого не менее дорога, чем своя.

Эта участливость, как и обострённое чувство человеческого достоинства, конечно же, не возникают сами по себе. Они ненароком воспитываются в семье, словом и делом близких. И отец, и мать были людьми твёрдых нравственных правил, людьми долга. Лидия Андреевна всю себя отдавала детям. Алексей Агафонович отнюдь не только проповедовал среди окрестных крестьян передовые земледельческие навыки, но и стремился, насколько возможно, помочь им в жизни. Глядя на родителей, подраставшим братьям и сёстрам без лишних слов становилось понятно: добро должно быть деятельным. Никита Заболоцкий выбрал в своём жизнеописании характерный пример из жизни своего отца:

«Первый год его работы на сернурской ферме был очень неблагоприятным — неурожай подкосил крестьянские хозяйства, в округе наступил голод. Нужно было как-то помочь крестьянам. Обратимся к свидетельству марийского писателя и краеведа К. К. Васина, который писал: „А. Заболотский и его друзья-учителя и почтовые работники решили открыть для детей в селе бесплатную столовую. Собрали между собой деньги, но так как все они были людьми небогатыми, то денег оказалось мало. Тогда Заболотский написал в Петербург Шаляпину, который был уроженцем Вятской губернии, и попросил его как земляка помочь в осуществлении доброго дела. Шаляпин откликнулся на просьбу, прислал денег, и столовая была открыта“. Этот факт отмечен и в „Журнале Уржумского уездного земского собрания“, где, кстати, неоднократно упоминается земская деятельность агронома Заболотского — участие в организации сельскохозяйственных выставок, чтение лекций по земледелию на сельскохозяйственных курсах и для общественности. Недаром Лидия Андреевна, бывало, с гордостью говорила о муже: „Все в округе уважают Алексея Агафоновича. С его мнением и в земстве очень даже считаются“».

С февраля 1917 года в России переживали новую революционную смуту. Началась она в столице, Петрограде, но постепенно дошла и до окраин. С германской войны возвращались солдаты, вздыг распропагандированные эсерами, большевиками, анархистами. Местные самодельные «демократы» подливали масла в огонь: кричали на

митингах, разбрасывали листовки-агитки, создавали различные комитеты, которые только-то и могли, что будоражить умы и плодить беспорядок и разруху.

В Сернуре на Епифаниевской ферме тоже обнаружили недовольные — не всем по нраву был строгий и требовательный агроном Заболотский. Как ни сторонился Алексей Агафонович всяческой политической возни, всё равно не уберёгся. Однажды к нему в дом завалилась кучка шумных, возбуждённых крестьян с его же хозяйства и малознакомый мужик в солдатской шинели предъявил хозяину ордер на обыск. Подросток Коля с изумлением разглядывал солдата с ружьём, размахивающего перед лицом отца листом бумаги. О чём он кричит? Что в избе прячут оружие и продовольствие? Бред да и только!

Ничего, разумеется, эти мужики не нашли — ни в комнатах, ни в чулане.

Зато юный сочинитель нашёл превосходный материал для задуманного им шуточного журнала.

Однако отец, уже наслышанный о первом номере «Жулика», потребовал на просмотр рукописный журнал сына — и решительной рукой вырвал страницы с бойкими сатирическими виршами о незваных гостях. Глава семьи отнюдь не был расположен к сомнительным, по его мнению, шуткам на такую тему.

Всё бы это, конечно, забылось, если бы не свежая память брата Лелюхи — она удержала кой-какие строки. По отрывкам воссоздаётся картина: некий «Скворцов», забравшись на «бочонок», — очевидно, дело происходит на митинге «активистов», — толкает речь:

— Вы, ребята, не шумите,  
Не кричите, не орите!  
Покричать бы сам я рад,  
Что долой, мол, агронома, —  
Снаряжайте вы солдат,  
Пусть поищут они дома...  
Пулемёты есть большие  
И заряды к ним стальные...

Алексей Агафонович, прочитав стишки в журнале «Жулик», недолго думая бросил вырванные листы в печку.

Так, ещё подростком, будущий поэт впервые столкнулся с цензурой.

Тогда это его, конечно, только позабавило...

Отца он послушаться не мог, но на его действия тут же откликнулся новыми шуточными виршами. И эти строчки тоже сохранила нам цепкая память младшего брата:

Я — первый номер «Жулика»,  
Обиженный судьбой, —  
Истерзанный цензурою,  
Нещадною рукой.  
Листы мои повыдраны,  
В огонь пошли стихи...

Второго номера «Жулика», по-видимому, уже не последовало...

Мнение отца было для сына самым весомым. Домашние, бывало, слегка посмеивались над склонностью почтенного агронома к толкованиям «о вечном и бесконечном». Один Николай был серьёзен и не разделял общего настроения. Брат, Алексей Алексеевич, будучи уже в пожилом возрасте, впоследствии писал племяннику Никите, собиравшему сведения о жизни Заболоцкого: «...я не помню, чтобы Коля шутил по этому поводу. Отца он всегда любил и очень уважал. Уже в послевоенные годы в одном из писем он писал мне, что отцу он обязан очень многим, что от него в большой степени наследовал он и свои творческие возможности... Слов нет, все мы очень обязаны и нашей маме, мягкой, доброй, сердечной...»

В отличие от других детей, тянувшихся к матери, для старшего брата авторитетом был отец и его жизненный пример.

С отцом у Николая Алексеевича связано самое дорогое, что было в детстве, — это совершенно очевидно, если судить даже только по одному автобиографическому очерку «Ранние годы».

В 1913 году, десятилетним мальчиком, Коля впервые расстался с домом — переехал, чтобы продолжить учёбу, за полсотни вёрст в уездный Уржум. Как бы ни было ему интересно в этом «большом городе», поначалу наверняка грызла тоска по родному крову, по родителям, по брату и сёстрам. Как и другие мальчишки, приехавшие издалека, он жил в ожидании заветных каникул. Да случалась и нечаянная радость...

«По временам из Сернура приезжал отец и забирал меня к себе в номера Потапова. Здесь мы вели роскошную жизнь — лакомились икрой, копчёной рыбкой, сыром. Всё это были деликатесы, недоступные нам в обычной жизни. На рождественские и пасхальные каникулы отец увозил

меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих детских воспоминаний. Отец ездил на паре казённых лошадей в крытой повозке или кошевых саниах. Он был в тулупе поверх полушубка, в огромных валенках — настоящий богатырь-бородач. Соответственным образом одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали ноги меховым одеялом и уже не могли под тяжестью одежды двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на козлы, разбирал вожжи, вздрагивал колокольчик на дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый день пути при 20–25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистающая на снежных пустынях полей, развёртывала передо мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел, пел и визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развевая свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади, и протяжно покрикивал ямщик, похожий на рождественского деда с ледяными сосульками в замёрзшей бороде. По временам мы ехали лесом, и это было сказочное государство сна, таинственное и неподвижное. И только заячьи следы на снегу да лёгкий трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнувшей с ёлки и уронившей в сугроб целую охапку снега, говорили о том, что не всё здесь мертво и неподвижно, что жизнь продолжается, тихая, скрытная, беззвучная, но никогда не умирающая до конца».

Прервём на мгновение это дивное воспоминание о дороге домой.

По свидетельству близких и родных, Николай Алексеевич не любил рассказывать о себе, о своём детстве, о родительском доме, о жизни в Сернуре, Уржуме, а позже в Москве и Петрограде. Никита Заболоцкий считает, что отец не склонен был обнаруживать историю формирования своей души. И происходило это не только потому, что не хотел-де касаться дорогих его сердцу воспоминаний: «Было в начале жизни поэта нечто такое, что позднее он постарался изжить в себе, — что-то несоответствовавшее его дальнейшей жизненной программе, болезненно отзывавшееся в нём. Подобно тому как он упорно вырабатывал правильную речь, избавляясь от характерного вятского выговора, освобождался он и от юношеской провинциальной сентиментальности и наивности. Потом, в письмах 1928–1929 годов, он писал: „За моей спиной так много неудач, лишений и слабости...“ — и сетовал на то, что пока ещё недостаточно отвердел, чтобы быть учителем жизни, то есть, как он понимал, — поэтом».

Никто не знает человека лучше его родных. Однако это объяснение

всё-таки не кажется нам до конца полным и убедительным. Почему люди молчат о себе, о своём самом дорогом? Возможно ли, если даже захочешь, *сказаться*? Определяя словом *нечто* — некое чувство, таящееся в душе, — мы разрешаем, то есть избываем в себе это *нечто*. Оно живое, многосложное, неразъёмное, его лучше бы вообще не трогать. Что останется в душе, если невзначай выдашь сокровенное? Золотая рыбка живёт в глубине морской, а вытащенная на берег становится серой. Коль скоро мысль изречённая есть ложь, то как же тогда искажается, повреждается то неизречённое, что люди пытаются выразить словом...

Тем драгоценнее эти воспоминания о ранних своих годах, что поведал Заболоцкий почти на излёте жизни, после «звоночка» тяжелейшего инфаркта. Будто бы заранее прощаясь с жизнью, дал он волю своей душе...

И сколько истинной свежести в его рассказе, сколько целомудренной радости!..

«Совсем другой была природа под пасху. Она оживала вся сразу и, окончательно ещё не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным, еле слышным звоном таял снег; ручьи уже начинали свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. И реки, эти замёрзшие царственные красавицы, вздрагивали, покрывались туманом и уже грозили нам неисчислимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в разводье. Лошади успели проскочить, но тяжёлая повозка провалилась и упёрлась передком в твёрдую льдину. Вода хлестала через нас по меховому одеялу, и мы были на волосок от гибели. Но добрые кони вынесли, и опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей, грязной избе, окружённые полуголыми ребятишками, и с полатей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела на нас дряхлая лысая старуха — существо, лишь отдалённо похожее на человека. Домой приезжали поздно, при свете звёзд, когда всё село уже спало и только в нашем доме светился огонёк: домашние ждали нас».

## Отец. Посвящение

После оскорбительного обыска в его доме старому агроному стало неуютно на Епифаниевской ферме, которую он поднял когда-то из праха своими трудами и усилиями.

Дети, подрастая, перебирались на учение в уездный Уржум — подались вслед за ними из обжитого Сернура и отец с матерью. В Уржуме Алексея Агафоновича, как самого опытного в сельском хозяйстве уезда, вновь поставили во главе фермы, куда был согнан весь породистый скот, отобранный у помещиков. Никита Заболоцкий в своей книге пишет:

«Семье предоставили дом, где расположилась и лаборатория агронома. Возобновились опыты на полевых участках, в плодовом питомнике, на пасеке. В 1919 г., когда создалась угроза прорыва армии Колчака к Уржуму, А. А. Заболотский эвакуировал племенной скот в отдалённые деревни, заразился там тифом и долгое время не мог оправиться. После болезни он возглавлял Уржумский совхоз (бывшую ферму), занимался общественно-просветительской работой. В 20-х годах создал в Уржуме краеведческий музей и передал в него свою коллекцию, собранную во время поездок по деревням Уржумского уезда. Среди прочих экспонатов были там древние рукописи на плотной, похожей на пергамент бумаге, куски старинной кольчуги, зуб мамонта, гербарий местных растений... Для музея А. А. Заболотский составил таблицы, отражавшие природу края и структуру его сельского хозяйства».

Любопытную подробность из тогдашней жизни припомнил младший брат поэта, Алексей Алексеевич: однажды по просьбе отца Николай нарисовал плакат-диаграмму познавательного толка — «Полезьа и вред, приносимые нашими птицами».

Казалось бы, незначительный случай. Но воображение поэта — стихия, живущая сама собой. Спустя годы *птицы* уже по-хозяйски залетели в стихи Заболоцкого. Не могли не залететь: ведь они, и по одиночке и стаями, жили, летали и пели в творениях Велимира Хлебникова, его любимого поэта, — и надо же было им куда-то деваться после того, как тот расстался с земной жизнью.

Сначала это было воспоминание детства:

Колыхаясь еле-еле  
всем ветрам наперерез,



птицы лёгкие висели,  
как лампы среди небес...

Конечно, речь о жаворонках. Висят они, незримые в воздухе, а серебристое их пение — как свет, что льётся с небес. И потому они — что лампы. Поют-светят — воле, природе, жизни, Богу.

Их глаза, как телескопики,  
смотрели прямо вниз,  
люди ползали, как клопики,  
источники вились. <...>

А это уже не только жаворонки — а птицы вообще, смотрящие с высоты на землю. Пусть эта вышина преувеличенная — воображению это легко представить.

Мышь бежала возле пашен,  
птица падала на мышь.  
Трупик, вмиг обезображен,  
убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,  
мышку пальцами рвала,  
изо рта её водица  
струйкой на землю текла. <...>

Детская сказочка, да и только!..

Жаворонки уже исчезли — появились пернатые хищники, расклёвывающие свою жертву. Это показано без прикрас, во всей наивной простоте и физиологической, в общем-то отвратительной наготе. Как резко меняется благостная картина, нарисованная в первой строфе! Но так — в жизни, в природе, так устроен мир, — и автор прямо, взором естествоиспытателя смотрит на вещи.

И сдвигая телескопики  
своих потухших глаз,

птица думала. На холмике  
катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,  
в тарантасе я сидел  
и своих несчастий долю  
тоже на сердце имел.  
(«Птицы». 1933)

Отец, Алексей Агафонович, не однажды брал с собой в поездки по деревням сына Колю. Тогда ли ещё мальчик представлял себе птицу, рвущую в камыше пойманную мышь? Тогда ли впервые задумался о природе, где всякая тварь для другой служит пищей?..

В 1933-м доля несчастий Заболоцкого куда как возросла в сравнении с детскими. Голодная молодость в российских столицах... чрезвычайно трудный путь к себе — поэту... обруганная, как редко даже в те беспощадные годы, первая книга стихов... ни матери, ни отца уже не было на земле — этих своих переживаний поэт не поверил и стихам...

В коротком стихотворении «Птицы» он слегка набросал тему, к которой вскоре обратился в одноимённой поэме, — по крайней мере тут уже есть пара героев: учитель, ещё невидимый, и ученик, познающий природу.

В том же 1933 году Николай Заболоцкий написал три «натурфилософские», как их обычно называют, поэмы: «Деревья», «Птицы» и «Облака» (последняя не сохранилась).

Поэма «Птицы» поначалу имела посвящение — «Памяти моего отца».

Заметим, Николай Алексеевич крайне редко посвящал кому бы то ни было свои произведения. (К примеру, матери, Лидии Андреевне, не посвятил ничего, да и образ её нигде не проглядывается в его стихах.) Этим посвящением поэт, очевидно, указывает на то, что прототипом старого учителя-естествоиспытателя в поэме является его отец-агроном.

Сам облик Алексея Агафоновича время от времени мелькает в поэме. Правда, внешняя примета лишь одна — косматая борода. (Учитель, обращаясь к птицам, говорит: «Мягкий мой рот в бороде шевелится косматой» или позже, беседуя с малиновкой: «...Мы с тобою, малютка, / тоже, наверно, два облачка, только одно с бороною, / с лёгким другое крылом — и оба растаем навеки».) Но важнее внутреннее сходство: речь учителя, его тон, необыкновенно сердечный разговор с птицами и со своим

учеником, который ведёт мудрец, чувствующий, что скоро покинет этот мир. В образе учителя явственно видно то высокое, что было смыслом для Алексея Агафоновича Заболотского, всю жизнь положившего на познание природы и гармоничное устройство жизни всех обитающих на земле существ.

Несомненно, реальный агроном А. А. Заболотский весьма далёк от того собирательного образа учёного-естествоиспытателя и преобразователя природы, который создан воображением поэта в «Птицах». Николай Заболоцкий презирал, особенно в первый период своего творчества — время «Столбцов», голимое «фотографирование», считая его наглым искажением сути.

Учитель в поэме желает разом преподать урок и своему молодому ученику, и птицам, которых он призывает к себе — наблюдать за опытом в лаборатории.

Опыт, что он затеял, сам по себе жесток — препарирование, по существу вивисекция голубя.

Спрашивается, почему для опыта избран (в конце концов не учителем — а поэтом) именно голубь?

В Ветхом Завете говорится о ритуальном убийстве голубей — как богоугодной жертве.

Именно голубь из ковчега приносит в клюве Ною масличную ветвь — как знак того, что Божье наказание потопом закончилось и вода сошла с поверхности земли.

В Новом Завете с голубем связано святое: «...я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 1:32). Потому и славянам голубь представляется святой птицей.

Возможно, для того голубь и понадобился Николаю, Заболоцкому: в нём он нашёл символическое средоточие смыслов человеческой истории и всей жизни человечества.

Учитель передаёт свои знания ученику с помощью сурового опыта. Он словно бы направляет руку и скальпель своего молодого последователя, подробнейшим образом расписывая его действия. Иначе тот не поймёт строения голубя и не сможет выполнить когда-нибудь высшего предназначения науки, состоящее, по убеждению учителя, в слиянии сознания всех живых существ, более того, в соединении всего сущего на земле — и, на этой основе, в преобразовании самой жизни:

Если бы воля моя уподобилась воле Природы,  
если бы слово моё уподобилось вещему слову,

если бы всё, что я вижу — животные, птицы, деревья,  
камни, реки, озёра, — вполне однородным составом  
чудного тела мне представлялись — тогда, без сомнения,  
был бы я лучший творец, и разум бы мой не метался,  
шествуя верным путём. Даже в потёмках науки  
что-то мне и сейчас говорит о могучем составе  
мира, где все перемены направлены мудро  
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы  
в новые были отлиты, лучшего вида сосуды.

По мнению Никиты Заболоцкого, тут «квинтэссенция» мысли автора:

«Вот к чему стремился Заболоцкий — осознать всё сущее равно в могучем составе чудного тела природы. И тогда смерть исчезает, а разум человека делается общим достоянием и животных, и птиц, и деревьев, и даже камней, рек и озёр. Это чудное тело, вместившее всё сущее в мире, вечно живёт и развивается по своим, высшим законам, основанным на нравственной чистоте и гармонии».

Вполне вероятно, что эти же устремления ощущал Николай Заболоцкий и в своём отце — по крайней мере, именно Алексей Агафонович пробудил и воспитал такие чувства и желания в своём сыне.

Однако художественная ткань поэмы гораздо богаче, разнообразнее того, что заключено в этой *квинтэссенции*: поэт, по своему существу, шире и противоречивее философа, а уж тем более натурфилософа.

Благие устремления героя поэмы, возможно, в какой-то мере и совпадали с мировоззрением автора, но художник не мог не подметить того, что желания учителя весьма далеки до их осуществления. Да и сам главный персонаж осознаёт, что его наука — ещё «потёмки»: он лишь угадывает «могучий состав мира» и «мудрость» его движения к переустройству, к тем заветным «лучшего вида сосудам».

Предчувствие — ещё не есть твёрдое знание. «Лучшим творцом», при всей гениальности, можно стать только на человеческом уровне. Разум, как его ни обожествляй и ни усовершенствуй, Богом тебя не сделает: в лучшем случае приблизит к Богу, если, конечно, самодельного творца не занесёт гордыня — известно куда и к кому. Истинный Творец — один. И человек, как бы его высоко ни поднимали мечты, в глубине души понимает это.

Недаром, по расчленении голубя, учитель погрузился. До этого он с благодушной сердечностью напутствовал «острый ножик» ученика — и вот перед ними жалкая кучка тонких косточек, нервов, сосудов. Всё, что

осталось от сизокрылого красавца-голубя, который ещё недавно был небесной птицей, летал, гостил на колокольнях, ворковал, приближаясь к подруге голубке.

голубь больше не птица и вместе с подругой на крышу больше не вылетит он. Даже если бы мы захотели органы снова сложить и привесить к костям, и сосуды так протянуть, чтобы кровь побежала по жилам, мускулы так сочетать, как прежде они сочетались, чтобы всё тело прежний приняло вид, — и тогда бы голубь не ожил... Бессильна рука человека — то, что однажды убито, — она воскресить не умеет.

Вивисектор — отнюдь не Творец, умеющий и создавать, и воскрешать...

Зачем же убит голубь?

Зачем учитель призывал птиц в свидетели своего опыта над ним, зачем так искренне и добродушно уверял пернатых обитателей природы, что его жертва «не кровава»? Ещё как кровава!

Литературовед Евгений Яблоков в статье «Мистерия анатомического театра» заметил про учителя, что это его утверждение явно противоречит фактам, но «...возможно, подразумевает, что действия героя не являются жертвой в принципе, не имеют символического характера. Тем самым он вступает в скрытую полемику с Ветхим Заветом, одобряющим кровавые жертвы, в частности ритуальное убийство голубей».

Яблоков обращает наше внимание на характерную подробность: «...в поэме подробно описана поза привязанного голубя: растянутые к углам доски крылья и лапы образуют *крестообразную* фигуру». Филолог заключает:

«Отрицание идеи кровавой жертвы вводит оппозицию ветхозаветной и новозаветной парадигм и, соответственно, двух модусов отношения к голубю. Коллективная трапеза, во время которой съедается его тело, ассоциируется с причастием, но характерно, что лирический герой и ученик не участвуют в „ритуале“, потребляя мясо другого живого существа (коровы. — В. М.)...»

Что ж, весьма по-научному. Говорят, что учёный язык точен, — наверное, так оно и есть, не берёмся судить. Впрочем, филологический язык понять ещё можно — в отличие, к примеру, от нынешнего

философского, который воспарил к таким высотам точности, когда по-русски звучат, кажется, одни лишь междометия.

Литературовед напоминает о состоявшейся в Петербурге в 1903 году бурной дискуссии по поводу смертельных опытов учёных над животными. Тогда Иван Павлов, будущий знаменитый физиолог, с негодованием отвергал доводы мнимых гуманистов, которые называли исследователей палачами и обвиняли их в мучении животных. Павлов называл это плохо замаскированными проявлениями вечной вражды и борьбы невежества против науки, «тьмы против света». Естествоиспытатель отнюдь не палач и не мучитель — он действует в интересах истины, для пользы людей и вполне ощущает драматизм своего положения. В силу высшего гуманизма он преодолевает в себе естественное чувство жалости к живым тварям, которые служат ему материалом для исследований.

Евгений Яблоков замечает:

«Однако на этом фоне фабула поэмы Заболоцкого тем более парадоксальна: вивисекция здесь, в сущности, самоцельна, в действиях лирического героя нет очевидного практического смысла. Вначале намечена „учебная“ задача — „строение голубя... узнать“; в итоге же констатируется неспособность найти источник жизни... <...> образ голубя у Заболоцкого придаёт ситуации символический смысл: перед нами сюрреалистическая метафора отношений разума и бытия».

*Лирический герой* — изобретение литературоведов. Заметим попутно, это — довольно условное определение того, что на самом деле является одним из *состояний* поэта, если угодно — личин, каковых, естественно, может быть великое множество, как и душевных настроений. Но личины отнюдь не отменяют авторского лика, который, существуя сам по себе, всё равно в них просвечивает. «Мадам Бовари — это я», — утверждал Флобер, и уж он-то знал, что говорил. И Лев Толстой в «Анне Карениной» предстал, конечно, далеко не только в образе Левина...

Просим прощения, мы немного отклонились от толкования главного в мысли Евгения Яблокова: мы полностью согласны с тем, что Заболоцкий создал в картине опыта с голубем некую сюрреалистическую метафору «отношения разума и бытия». Неспроста весь ужас этого «сюра» чувствует самая юная, незащищённая душа — мальчик-ученик. В тот миг, когда видит тучи птиц, слетающих на призыв учителя:

Ну-ка, мальчик, придвинь свою доску. Но что там случилось?..  
Ты побледнел и к окошку бросился. Чьи это крики  
ветер донёс до меня? Крики всё громче и громче.

Птицы! Птицы летят! Воздух готов разорваться,  
Сотнями крыл рассекаемый. Вот уж и солнце померкло,  
крыша пошла ходуном — птицы на ней. А другие  
лезут в трубу. Третьи к стеклу прислонились,  
кажут мне клювы свои, дают стекло, друг на дружку  
прыгают, бьются, с криком щеколду ломают. <...>

Мальчик бессознательно, глубиной крови ощущает в себе древний ужас своих доисторических предков, которых некогда, в геологические времена, расклёвывали страшные крылатые хищники-великаны...

Но и сам старик-учёный тоже напуган, хоть и пытается шутить и сохранять благодушие в голосе:

Птицы, чур меня, чур! Стойте, я сам! Подождите!  
Ты, сорока, чёрт бы побрал тебя! Вечно  
хочешь вперёд заскочить. Перестань своим клювом дубасить!  
Полно стучать по стеклу. Сломаешь стекло — не поставишь  
новое... <...>

Сюрреалистично и само желание учителя объять необъятное, его притязания на удел «лучшего творца».

«Образ голубя», трапеза птиц и участников опыта, наверное, затем и понадобились Николаю Заболоцкому, чтобы столкнуть историческое и доисторическое, языческое и христианское, предугадывая будущее «отношений разума и бытия».

Евгений Яблоков точно распознаёт мотив инициации в поэме.

Так и Алексей Агафонович Заболотский сознательно или же ненароком *посвящал* своего сына Колю — когда беседовал с ним, окружал книгами, брал с собой в поездки по деревням, благоволил его химическим опытам, поручал рисовать просветительские диаграммы.

«Таким образом, — приходит к выводу Яблоков, — мотив инициации двусмыслен: если в обыденно-профессиональном (то ли исследовательском, то ли прозекторском) плане лирический герой и мальчик, по-видимому, преуспели, то в аспекте „духовно“-мистическом потерпели (ожидаемое) фиаско. Заметим, что ученик не принимает участия в прогулке с птицами и его отсутствие никак не объясняется. С содержательной точки зрения это логично: в заключительной части поэмы

доминирует темя личной смерти, которая мальчика „пока“ не касается. Но возможно и иное объяснение: лирический герой сам „вернулся“ к детскому состоянию, так что образы взрослого и ребёнка взаимно „аннигилировали“ — проводы птиц... (движение *вслед* за ними) означают выход во временной хронотоп, где формальный возраст не имеет значения».

Старому учителю в поэме — после инициации — остаётся одно: вечный покой. Оттого, наверное, и разговор его последний — с птицами и учеником — так проникновенен и сердечен: он завершил свои труды и прощается с жизнью:

Тихий закат над землёю повис. Красноватые пятна  
на пол ложатся от стёкол. Таинственный отдых природы  
близок. Мальчик, открой-ка нам дверь и вечернюю шляпу  
дай мне с гвоздя. Привет тебе, ясный мой вечер,  
вечер жизни моей, и старость моя! Скоро-скоро  
лягу и я отдохнуть, и над вечной моею постелью  
пусть плывут облака, и птицы летят, и планеты  
ходят своим чередом. И чем ближе мой срок, тем всё больше,  
птицы, люблю я вас. Малые дети Вселенной,  
крошки, зверушки воздушные, жизни животной кусочки,  
в воздух подъятые, что вы с таким беспокойством  
смотрите все на меня? Что притихли? Давайте-ка вместе  
выйдем отсюда и солнце проводим на воздух.

Ну, шагайте дети мои. <...>

Приближается ночь, и с нею, как в сказке, появляется Сон — ходит по дворам, постукивает в колотушку.

...Всё-то ходит,  
всё-то смотрит: «Кто тут не спит ещё? Я вот его!»  
Только эти,  
эти только слова, и больше ни слова не надо...



Тут, видно, и должна была окончиться поэма.

Она уже до предела напоена грустью.

Сон — прообраз смерти, растворения в вечности — и сам уже похож на последнюю сказку.

Однако Заболоцкому хотелось видеть поэму напечатанной. Рукопись он передал другу, Николаю Степанову, с тем чтобы она была опубликована в журнале «Звезда». Спустя некоторое время, как пишет в своей книге об отце Никита Заболоцкий, поэт с женой пришёл к Степановым и снова просмотрел текст, а потом «...сделал небольшие исправления, снял посвящение и дописал конец поэмы. В новых заключительных строках чётко декларировалась мысль автора о роли человека в преобразовании природы».

Концовка, что и говорить, куда как оптимистична — она о победительной силе разума, в который, несмотря ни на что, верит учитель:

...Земля моя, мать моя, знаю —  
твой непреложный закон. Не насильник, а умный хозяин  
скоро придёт человек, и во имя всеобщего счастья  
жизнь перестроит твою. Знаю это. С какой любовью  
травы к травам прильнут! С каким щебетаньем и свистом  
птицы птиц окружают! Какой неистленно прекрасной  
станет Природа! И мысль, возвращённая сердцу, —  
мысль человека каким торжеством загорится!

Праздник природы, в твоё приближение — верю!

Разделял ли тогда поэт вполне эту веру своего героя? Окружавшая его реальность, — как справедливо заметил Евгений Яблоков, — «не внушала особенного оптимизма насчёт перспектив разума». Ещё бы!..

К 1933 году Заболоцкий, вдрызг разруганный литературной критикой за «Столбцы» (согласно «духу времени», многие статьи ничем не отличались от политического доноса), сполна ощутил, как давит художника «окружающая среда», загоняя его в убогую идеологическую клетку. Да и какой была обстановка в стране? Весной 1933 года, после нескольких лет сплошной, насильственной коллективизации на селе, во многих районах и краях свирепствовал массовый голод. Кремлёвские «лучшие творцы» проводили «раскулачку» — сводили на нет по-настоящему лучшее крестьянство. Мужиков под арест или того хуже — к стенке, семьи — вон

из домов, имущество и скот — колхозу. Обобществляли до квашни, до кошки под лавкой и тополя во дворе. А потом всех, от мала до велика, этапом — за сотни и тысячи километров: на север, в Сибирь, на Дальний Восток — в тундру, в леса и болота, в безлюдную и безводную азиатскую степь. Кто не погиб дорогой или на месте от голода и болезней, тот сгодился стране как самая дешёвая рабочая сила. Власть решила, что подневольный труд — самый эффективный, хотя на самом деле всё было совсем наоборот. Сталин публично приравнял коллективизацию по значению к «Великому Октябрю». Ещё бы, исполнялась заветная мечта его учителя Ленина — искоренить мелкого собственника. Лишь полное порабощение крестьянства в крестьянской стране могло «настоящим образом» утвердить советскую власть. Позже вождь назвал примерное число людских потерь в ходе этого «Малого Октября» — 10 миллионов человек.

Николай Заболоцкий, хотя и был горожанином, понимал, конечно, что происходит в стране. Знал из разговоров с товарищами, по глухим слухам «с мест», умел читать газеты между строк. На памяти были и недавние картины людских бедствий в годы Гражданской войны. Кроме того, к нему приходили вести с вятской отчины...

Всё это могло пошатнуть его убеждения о торжестве человеческого разума. Но мы знаем и другое: Заболоцкий мыслил *временами*, а не *текущим моментом*. Верил в *истину* — не отводя, впрочем, глаз и от фактов. И ему, разумеется, хотелось, чтобы «землю» перестраивал ко всеобщему благу «не насильник, а умный хозяин», о чём сказано в дописанных в окончании поэмы строках.

Не *насильник*... — это написано как раз в ту голодную годину, про которую в народе говорили: «В тридцать третьем году люди падали на ходу».

Бодрая, светлая концовка о будущей победе человеческого разума поэме «Птицы» не помогла: она долго пролежала в журнале и так и не была напечатана. Лишь послужила потом литератору-доносчику Н. Лесючевскому материалом для разоблачительного отзыва в органы — в Ленинградское управление НКВД, где «шили» большое дело на писателей Северной столицы. Выполняя задание чекистов, этот скверноподданный писал в своей статье, предназначенной для следственного дела:

«В 1937 г. при полной, активной поддержке Горелова Заболоцкий пытался опубликовать в „Звезде“ стихотворение „Птицы“. Это — несомненно, аллегорическое произведение. В нём рисуется (с мрачной физиологической детализацией) отвратительное кровавое пиршество птиц,

пожирающих невинного голубка. Таким образом, „творчество“ Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма».

В последней фразе трёхкратным повторением Лесючевский копирует стиль Сталина, — тот был большой любитель таким способом вколачивать в сознание масс, как гвоздь в бревно, какой-нибудь лозунг или же простую, как мычание, мысль...

Как заметил литературовед Евгений Яблоков об этом доносе «сентиментального стукача», негодование Лесючевского могло быть куда сильнее, если бы он осознал, что анатомированию в поэме подвергнута не мёртвая птица, а *живая*...

\*

В творчестве большого поэта, если внимательно разобраться, всё взаимосвязано, пронизано тонкими живыми нитями духовного и образного родства. Конечно же, имела свой отзвук и поэма «Птицы». Ровно через 20 лет после неё Николай Заболоцкий написал стихотворение «Сон» — о своём лагерном не-существовании, всей своей сутью отрицающем истинную человеческую жизнь. Впоследствии поэт утверждал, что видения «Сна» ему попросту однажды приснились и оставалось только записать увиденное.

Жилец земли, пятидесяти лет,  
Подобно всем счастливый и несчастный,  
Однажды я покинул белый свет  
И очутился в местности безгласной.

Начальные строки невольно напоминают Дантово начало сошествия в круги ада — «Земную жизнь пройдя до половины...» (Позже мы ещё вернёмся и подробно поговорим об этом потрясающем стихотворении, а пока лишь отметим его сходство с тем, что было в поэме «Птицы».)

В новом стихотворении Заболоцкого опять, как в поэме «Птицы», возникает пара героев, один из которых стар, а другой млад. Причём мальчик появляется в самом окончании — и самым загадочным образом:

Со мной бродил какой-то мальчуган,

Болтал со мной о массе пустяковин.  
И даже он, похожий на туман,  
Был больше материален, чем духовен.  
Мы с мальчиком на озеро пошли,  
Он удочку куда-то вниз закинул  
И нечто, долетевшее с земли,  
Не торопясь, рукою отодвинул.  
(«Сон». 1953)

По толкованию Евгения Яблокова в статье «В поисках души. „Юбилейные“ стихи Н. Заболоцкого начала 1950-х годов», этот «туманный» мальчик — «...конечно, „двойник“ героя, сходного с дымом (наличие разновозрастных „двойников“ подтверждает тезис об „инициационном“ подтексте „Сна“). Отправляясь вдвоём ловить рыбу, они как бы уподобляются пародийным апостолам — „ловцам человеков“; однако ничто земное (= человеческое) их не интересует, так что беззаботный покой в безмолвном и „неоухотворённом“ мире вряд ли может быть отождествлён с райским блаженством: если это и нирвана, то вполне „безблагодатная“».

Пожалуй, что мальчуган из стихотворения «Сон» действительно «двойник» героя, насколько двойником может быть ученик у старого учителя в поэме «Птицы», которые очень напоминают сына Николая и агронома Алексея Агафоновича в реальной жизни. Или же этот «двойник» — мальчик Коля, растворившийся во взрослом поэте Николае Заболоцком.

Не с самим ли собой — мальчиком, оставшимся в собственной памяти и похожим уже на туман, беседовал в потустороннем лагерном мире заключённый Николай Заболоцкий? «Масса пустяковин», о чём «болтал» мальчуган, наверное, частью воплотилась в слове — потом, когда незадолго до кончины поэт писал свои воспоминания о детстве «Ранние годы». А «озером» виделась ему прожитая жизнь: в глубину его и закидывалась наудачу удочка...

Что же тогда оно — *нечто, долетевшее с земли*?

Да, конечно, это — земное: обычная жизнь, быт, с их суетою, беспорядочностью... Но и, должно быть, другое, что очень трудно, а может, и до конца невозможно определить словом — даже тому, кто сам это *нечто* пережил. Что-то неразъёмно-цельное, сложное, как и бывает всегда в живой жизни. Его нельзя отбросить насовсем, оно в самом тебе, оно и есть ты, — его только можно *отодвинуть* в надежде на лучшие времена...

Напряжённая творческая жизнь, которую вёл молодой поэт в Ленинграде, не оставляла ему времени ни на что иное. Связь с родительской семьёй почти прервалась. В 1926 году безвременно, не дожив до старости, умерла от тифа его мать, Лидия Андреевна. Старший её сын не смог проститься с ней. Отец, Алексей Агафонович, тяжело хворал; дочь Вера забрала его к себе в Вятку. «В начале 1928 года Заболоцкий ездил в Вятку навестить своих родных, — сообщается в книге Никиты Заболоцкого. — <...>У родных Николай Алексеевич пробыл недолго — недели две. Вероятно, это было его последнее свидание с больным отцом».

Когда в 1929 году вышла первая книга «Столбцы», поэт отправил её отцу. Алексей Агафонович, уже безнадежно больной, успел поддержать книгу в руках. Дарственная надпись была простой и сердечной:

«Дорогому папе — благодарный сын.  
Н. Заболоцкий. 12 авг. 1929 г.».

Вскоре старый агроном скончался.

Остаётся добавить, что при жизни Николая Заболоцкого лишь восемь строк из его большой поэмы «Птицы» появились в печати — их привёл в 1937 году Николай Степанов в статье о новых стихах своего друга.

По смерти поэта первая публикация была в журнале «Москва» в августе 1968 года.

А полностью поэма «Птицы» вышла в свет только полвека спустя после её создания — в 1985 году.

## **Глава четвёртая**

# **УРЖУМСКИЙ РЕАЛИСТ**

## Портрет художника в отрочестве

Тема *посвящения* у Заболоцкого, как говорится, — сквозная.

В поэме «Птицы» учитель посвящает ученика — в жизни отец посвящал сына.

Так, Алексей Агафонович постепенно знакомил своего первенца Колю с миром природы, с наукой её познания, словно бы ненароком вводя сына в дело своей жизни. Точно так же, повзрослев, и сам Николай Алексеевич захотел в своё время передать нечто сокровенное, важное сыну Никите. Это естественное отцовское желание было в поэте гораздо острее, чем когда-то у его отца-агронома: ведь Заболоцкий в 1938 году попал в неволю и на целых восемь лет разлучился с семьёй. Его старшему, Никитушке, было в год ареста отца всего шесть лет...

В январе 1941 года Николай Заболоцкий пишет из лагеря сыну, поздравляя его с днём рождения:

«Вот тебе уже 9 лет. Ты уже совсем большой, милый. Мне было 9 лет в 1912 году. В то время праздновали 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Мы, дети, очень увлекались рассказами об этой войне. Летом мы целыми днями играли в войну: наделали себе из бумаги треуголок, из палок — сабель, пик, ружей и храбро сражались с крапивой, которая изображала собой французов. В 9 лет я отлично знал, кто такие были Наполеон, Кутузов, Барклай де Толли. Памятники Кутузову и Барклаю стоят около Казанского собора. Мама объяснит тебе — кто такие были эти люди.

Когда я хочу себе представить тебя, то вспоминаю себя девятилетним мальчиком. И это уже совсем не тот Никитка — маленький, которого я оставил в Ленинграде около 3-х лет назад. Придётся нам с тобой снова знакомиться, сынок».

Литературовед Игорь Лощилов замечает: «Слова из письма дают новый угол зрения на художественную задачу очерка, созданного в 1955 году, когда сыну исполнилось 23 года. В том письме отчётливо виден исток замысла, воплотившегося через много лет...»

Лощилов сравнил письмо 1941 года с тем, что рассказано в очерке о детских играх 1912 года: всё сходится, Заболоцкий лишь чуть подробнее развил тему. Новое «знакомство» тем более необходимо: страна испытала за небольшой отрезок времени величайшие перемены, безвозвратно унёсшие прошлую жизнь: «Выведенная за скобки текста перспектива

времён, совмещающая исторический и лично-биографический опыт (1812–1912–1941—1955), сообщает небольшому очерку художественный объём. Мир, окружавший автора в годы казанско-сернурско-уржумского детства, становится своего рода Атлантидой, навсегда исчезнувшей после революции и „великого перелома“, в окружении двух мировых войн».

Однако вернёмся на Вятскую землю, в довоенный 1913 год.

«Уржум, ближайший уездный город, был в шестидесяти верстах от нашего села. В Уржуме было реальное училище, отлично оборудованное в новом корпусе, построенном на средства местного земства — одного из передовых земств тогдашней России. В 1913 г., десятилетним мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: „Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!“ — не без улыбки вспоминал Заболоцкий в очерке „Ранние годы“. — И действительно, сначала всё шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам — русскому языку, Закону Божьему, арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, каюсь, малодушно всплакнул, сидя на своей парте. К счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидел ошибку, и задачка решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия».

При всей его нерасположенности к разговорам о своём прошлом — о детстве, о родительском доме, о юности и молодости в столицах — в этом очерке поэт вдруг нараспашку открывает свою душу. Таких радостных, светлых страниц, блещущих всеми красками, всею полнотой жизни, больше у Заболоцкого не сыскать!..

«Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красного кирпича собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома, — звуки, ещё никогда в жизни не слышанные мною! А городской сад с оркестром, а городовые по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей!

А эта милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы — все как одна! — на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой



всячины! <...>

И вот я — реалист».

После однообразной сельской жизни всё в Уржуме представлялось ему великолепным, всё приводило в восторг. Училище казалось просторным, в светлых классах всё необходимое; новые друзья-товарищи — выдумщики на проказы. Отлично смотрелась чёрного сукна шинель с жёлтыми кантами и золотистыми пуговицами — а к ней ещё и фуражка с лаковым козырьком и блестящим гербом. Манил еженедельный городской базар на площади перед острогом, где торговали всем на свете и сновали домохозяйки с озабоченными и вдохновенными лицами. Особенно же привлекал театр, где ставил спектакли любительский драматический кружок.

Этот восторг первооткрытия остался в Заболоцком на всю жизнь так же свеж и ярк, как когда-то в отрочестве. Наверное, он потому-то и уходил от расспросов о прошлом и хмурился, замыкаясь, что берёт в себе до поры до времени эти воспоминания как самое близкое сердцу и дорогое.

Поначалу мальчик, оторванный от семьи, видно, сильно тосковал по дому. Его устроили «на хлеба» к одной уржумской хозяйке по имени Таисия Алексеевна. В комнате ровесник, такой же ученик. «Нас кормят, нам стирают бельё, за нами приглядывают, и всё это стоит нашим отцам недёшево — по тринадцать рублей с брата в месяц. Наш надзиратель „Бобка“, а то и сам инспектор могут нагрянуть к нам в любой вечер: после семи часов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но где же набраться силы, чтобы выполнять это предписание? Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф „Фурор“, а там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина! Приходится идти на то, что старшие наряжают меня девчонкой и тащат с собой на очередной киносеанс. Всё как-то сходило с рук, но однажды мы попались: в наше отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил скандал. К счастью, в этот вечер горела городская лесопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. В кондуит мы всё же попали, но это было полбеда».

Уездный город... казалось бы, что в нём может быть интересного и тем более необычного? Но для разгорающегося день ото дня поэтического воображения отрока, недавнего жителя села, это волшебный кладёз новых знаний и впечатлений. Захолустный, покойный Уржум, ничем в общем не знаменитый, крошечный в размерах громадной державы, сам того не ведая, бурно развивал в юном реалисте способности, заложенные от рождения, исподволь воспитывал и закалял характер. И главным для отрока Коли было, конечно, его реальное училище, которое он любил и которым

гордился.



*Дом при Уржумской ферме, где располагались квартира Заболотских, лаборатория, контора и небольшой магазин. Алексей Агафонович, отец поэта, заведовал фермой с осени 1917 года. Рисунок с фотографии начала XX в.*



***Храм Святителя Митрофана, епископа Воронежского. Уржум. Начало XX в.***

В Уржуме имелось ещё и городское мужское училище — а женская гимназия была одна-единственная. Естественно, мальчишеские школы соперничали между собой, добиваясь девичьего внимания. Реалисты надевали по праздникам голубую парадную шинель, и за это городские дразнили их «яичницей с луком». Никто не сомневался: завидуют! Ведь как кавалеры они без труда «забивают» городских.

Это «забивают» было не столь далеко от буквального смысла слова.

«Иной раз эти распри принимают серьёзный оборот, — не без удовольствия вспоминал Николай Алексеевич в „Ранних годах“. — В городе существует заброшенное Митрофаниевское кладбище — место свиданий и любовных встреч. Бывают вечера, когда по незримому телеграфу передаётся весть: „Наших бьют!“ Тогда все реалисты, наперекор всем установлениям и порядкам, устремляются к Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудиями боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, обёрнутые вокруг ладони. Медная бляха, направленная

ребром на противника, действует как булава и может натворить немало бед. Почти всегда победителями выходили мы, реалисты, но кое-когда достаётся и нам, если мы проморгаем нужное время».

Сказано с хорошим знанием дела.

«Митрофания» — старую церковь Святителя Митрофана Воронежского и разросшийся вокруг неё живописный сад — Заболоцкий вспомнит позже, в дальневосточном лагере. В мае 1939-го он писал в Уржум жене Екатерине Васильевне, куда она после ареста мужа перебралась с детьми из Ленинграда, — там, рядом с его роднёй, всё же легче было выжить. Рассказывал, что остро представляет себе весну в городе детства и что воображает, как в митрофаниевском саду будет хорошо гулять летом его мальчику и девочке...

А тогда, ещё до германской войны, он спешил по утрам в училище, щёлкал каблуками перед строгим инспектором Силяндером, встречающим на лестнице учеников, старался, как и все, прошмыгнуть мимо зоркого ока этого педантичного немца, неумолимо требующего, чтобы бельё было свежим, а обувь начищенной до блеска. Потом общая молитва в актовом зале с огромным парадным в золотой раме портретом императора — с пением, с главой из Евангелия, которую читал жиденьким тенором их законоучитель отец Михаил, и, наконец, совместное исполнение гимна «Боже, царя храни...». Лишь после всего этого дети «с облегчением» разбегаются по классам. Рутин, поднадоевший ритуал... но школа и учит прежде всего дисциплине и порядку.

Само же обучение было налажено превосходно. Недаром Заболоцкий запомнил по именам почти всех учителей, начиная с директора, хотя тот в младших классах не преподавал. Незаурядный математик и прекрасный шахматист, Михаил Фёдорович Богатырёв был статен, вальяжен, живописно седовлас, и малыши с замиранием наблюдали, как швейцар Василий, помогая директору снять пальто, почтительно величает его «вашим превосходительством».

Общей любовью реалистов стал учитель истории Владислав Павлович Спасский. Он был ещё молод и, в отличие от всех других учителей, носивших форменные сюртуки, надевал «гражданский» пиджак, «правда, с теми же лацканами и пуговицами». Принятыми учебниками он явно пренебрегал. «Основными движущими силами истории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои формулировки, которые заставлял записывать в тетрадь, и требовал от нас хорошего их понимания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его ответах — уделом его была неизменная двойка в дневнике.

Это обстоятельство долгое время обескураживало нас, но со временем мы поняли, что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это обстоятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был малоразговорчив, сосредоточен и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и гордились тем, что он был нашим классным наставником с первого класса».

По воспоминаниям Михаила Касьянова, в Реальном училище была неплохая библиотека. Владислав Павлович Спасский говорил о ней, что если бы произошла мировая катастрофа, вся земля погибла и остался бы один Уржум, то можно было бы восстановить всю культуру по содержанию книг этой библиотеки. А ведь в Уржуме была ещё и городская публичная библиотека, куда постоянно ходили реалисты и гимназистки.

Увлекательно вёл свой предмет учитель естествоведения. Кроме того, он был любитель посмеяться и накануне каникул уморительно читал ученикам ранние рассказы Чехова, хохоча при этом первым.

«Фёдор Логинович Логинов (на самом деле — Ларионов. — В. М.), учитель рисования, красавец-мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный баритон и недурно пел на наших концертах», — рассказывает Заболоцкий в очерке «Ранние годы».

Похоже, тут много личного: сам Николай Алексеевич с детства проявлял способности и к рисованию, и к пению.

Любопытно, что рисование наряду с математикой считались в реальном училище самыми важными предметами. Причём обучали основательно, почти как художников: реалисты должны были владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. Живописью увлекались чуть ли не все, и в училище были свои художники-знаменитости. Класс для рисования располагался амфитеатром (так были устроены и все другие классы), был чист, светел, кругом копии античных статуй, и, самое главное, у каждого ученика имелся собственный мольберт. Немудрено, что Коля весьма отточил своё мастерство портретиста и карикатуриста (шаржами и шуточными рисунками «баловался» и взрослый Заболоцкий).

Запомнился ему и великолепный гимнастический зал, оснащённый турником, кожаной «кобылой», брусьями, канатами, шестами. «На праздниках „сокольской“ гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трёхцветными поясами, и любоваться нашими выступлениями приходил весь город», — с явным удовольствием добавляет он.

Впоследствии, будучи уже студентом, Заболоцкий, давая пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, с гордостью отметил: «...ни одна

из них не шла в сравнение с нашим Реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах от железной дороги».

И это не «местный патриотизм», это вполне справедливо. Приехав в Уржум, я первым делом отправился в бывшее Реальное училище. Это каменное здание, которое было одним из самых высоких и красивых в Уржуме, и через сто лет — одно из самых внушительных в городе, оно по-прежнему служит делу образования: теперь это городская гимназия. Красный кирпич, из которого оно сложено, потемнел, но не обветшал. Классы, что были прежде, конечно, давно перестроены, однако рекреационный зал с его высоченным потолком и огромными светлыми окнами поражает своими размерами. Да, с размахом построили уржумские купцы училище для своих потомков!..

Так уездные города учили и воспитывали для державы своих сыновей. В провинции к образованию относились, может быть, уважительнее, чем в российских столицах.

Автору этих строк довелось побывать в Ельце, в старинной гимназии, где когда-то отроком учился Иван Алексеевич Бунин, привезённый отцом из далёкой орловской деревни. Он тоже обитал у хозяйки «на хлебах», и также его забирал к себе в гостиницу отец, когда приезжал по делам в уездный город: гулял с сыном, угощал вкусными деликатесами. В доме, где жил Бунин, в тесных комнатках обычного елецкого особняка, теперь музей его имени. Неподалёку в сквере памятник — бронзовый Иван Бунин задумчиво сидит на скамье. Беззаботные летние девушки легкомысленно садятся ему на колени, обвивают рукой и, смеясь, фотографируются на память. А вот в Уржуме памятника Заболоцкому нет. Конечно, Елец покрупнее Уржума (в своё время едва губернским городом не стал), а стало быть, побогаче. Но разве в этом дело? Дело просто — в памяти. Или, может, кому-то кажется, что Бунин и Заболоцкий по таланту несопоставимы? Это не так, ещё как сопоставимы. Но что говорить о райцентре Уржуме, когда не вспомнили о Заболоцком и в Петербурге-Ленинграде, где он долго жил до ареста. И в Москве, где ему — как великому русскому поэту — давно, казалось, пора бы воздвигнуть памятный монумент.

Разумеется, как и во всякой школе, в Уржумском реальном училище шло негласное противостояние между учениками и учителями. Отрочество мало расположено к соглашательству. Мир или война! Юношей, тех уже томят «взрослые» чувства, — и тогда вступает в полную силу поговорка: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Отрокам же надо, чтобы стал хорош и по хорошу, и по милу. Иначе вражда!..

Мальчишеских дурачеств было достаточно, признаётся Заболоцкий в «Ранних годах», но любопытно, что проявлялись они лишь в отношении немногих, особенно нелюбимых нами учителей.

Всем классом, дружно, как по уговору, ненавидели «француженку» — Елизавету Осиповну Вейль. «Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных буклях, старая дева, и во всех её манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гуляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у неё не было общего языка, она была придиричива и нажила себе среди нас немало врагов. В первом же классе мы однажды устроили на её уроке целое представление. Старая дева имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она величественно открывала свой ридикюль, вынимала платочек, и мы были обязаны сказать ей хором: „А вотр сантэ!“ [„будьте здоровы!“]

Пашка Коршунов принёс в класс нюхательного табаку и в перемену, перед французским языком, покуда мы все развлекались в зале, рассыпал табак по партам, причём изрядное количество его попало и на учительскую кафедру. Начался урок. Всё шло по заведённому порядку, уже было выяснено, какое „ожордви“ [„сегодня“] число и кто из учеников „сонтапсан“ [„отсутствует“], как вдруг учительница вынула платок и чихнула.

— А вотр сантэ, — сказали мы, и занятия продолжались.

Но вот француженка чихнула во второй, в третий, в четвёртый раз.

— А вотр сантэ! А вотр сантэ! — отвечали мы.

И вдруг и справа и слева послышались чиханья, сперва лёгкие и короткие, потом всё более ожесточённые и наконец превратившиеся в сплошное безобразие. Старушка же, закрывшись платочком, чихала непрерывно, слёзы ручьём текли по её лицу, и класс, сам изнемогая от нестерпимого зуда в носу и глотке, кричал, захлёбываясь:

— А вотр сантэ, а вотр сантэ, мадемуазель!

Кончилось дело тем, что француженка выбежала за дверь, и Пашка Коршунов в одну минуту замёл все следы своего преступления. Явился инспектор. После уроков мы два часа простояли на ногах всем классом. Пашку Коршунова мы не выдали».

О дальнейшей судьбе учительницы Николай Алексеевич вспоминает только то, что: «В первые дни революции, когда я учился в четвёртом классе, в квартире француженки были выбиты камнями все окна, и с тех пор она исчезла с нашего горизонта. Нечего говорить о том, что по-французски мы были „ни в зуб ногой“».

Зато «немку» — преподавательницу немецкого языка Эльзу Густавовну — в классе уважали. «В своём синем форменном платье, педантично-аккуратная и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот свободный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое впечатление».

Последнее признание в первую очередь относится к самому себе: Заболоцкий неплохо владел немецким — в подлиннике читал Гёте, одного из любимейших своих поэтов.

В классе не любили и ни во что не ставили законоучителя отца Михаила. По общему мнению, это был великий путаник и жалкий неудачник. Окончил юридический факультет — а потом принял духовный сан. Был невиден собой, вечно недомогал и говорил бабьим тенорком. «Жена ему ежегодно рожала по очередному младенцу, и это тоже смешило нас». (Дети часто жестоки к слабым — закон стаи.) Как-то школьные озорники прибили ему калоши гвоздями к полу — батюшка, надевая их, едва не растянулся и упал бы, если бы не швейцар Василий. «На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве кита и всем ставил или пятёрки, или единицы. Уважать его оснований не было».

Вятские краеведы установили: после 1918 года незадачливый отец Михаил стал расстригой и работал учителем русского языка в школе села Турек. (В то время большевики уничтожали «попов» как класс... а детей, видно, уже было в его семье немало, вот и бежал подальше из города в село, чтобы как-то их прокормить.)

Из одноклассников Коля сразу же подружился с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гимназии. «Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными тёмными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу же сделавший большие успехи по этому предмету».

Тут же набросан и собственный портрет: «Сам же я был в детстве порядочный увалень, малоподвижный, застенчивый и втайне честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать говорила мне в детстве: „Ты пошёл бы погулять, Коля!“ — я неизменно отвечал ей: „Нет, я лучше посижу“. И сидел один в молчании, и мне нисколько не было скучно, и голова моя была, очевидно, занята какими-то важными размышлениями».

По позднему признанию поэта, с Мишей Ивановым его сблизила противоположность темперамента при общем сходстве интересов: оба



поклонялись искусству. «Наша дружба была верной и прочной за всё время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, делились самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы!»

Портрет тогдашнего Заболоцкого «со стороны» оставил Михаил Касьянов, с которым они сошлись чуть позже в Реальном училище: оба сочиняли стихи:

«В то время, когда я впервые с ним познакомился, Николай был белобрысым мальчиком, смирнягой, со сверстниками не дрался, был неразговорчив, как будто берёт что-то в себе. Говорил он почти без жестов или с минимальными жестами, руками не махал, как мы, все остальные мальчишки, фразы произносил без страсти, но положительно, солидно. Страсть и оживление в спорах я увидел в нём уже позднее, в юности».

Приглядевшись потом к закадычному другу, Михаил Касьянов отметил характерную его особенность:

«В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьёзностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то весёлое, а иногда и горькое озорство. Впоследствии оно проявилось, по-моему, более откровенно в некоторых стихотворениях его „Столбцов“».

Однако страсти в этом малоподвижном увальне и смирняге — ещё и в отрочестве — кипели нешуточные.

Достаточно сказать, что он всё время пребывал в состоянии влюблённости, чем сильно отличался от своего друга Миши Иванова, верного одному-единственному предмету воздыхания. Собственно, иного трудно было бы и ожидать от сочинителя, который, как уже известно, с малолетства читал стихи и понабрался от поэтов «всякой всячины».

У поэтов — оно только так и не иначе. Как важно усмехнулся над собой — уже в наше время — другой поэт, Юрий Кузнецов:

И не одну любил я беззаветно,  
Хотя и на лету — но глубоко.

Вряд ли стоит относить эту катастрофическую влюбчивость к одной лишь легкомысленности — ведь это ещё, кроме всего прочего, и невольное воздаяние красоте как таковой, в ком бы её и в какой «пропорции» ни доводилось разглядеть.

Вот что, со своей невозмутимой шутливостью в тоне, вспоминает о себе отроке Николай Заболоцкий в очерке 1955 года:

«Оба мы были влюблены — постоянно и безусловно. Разница была лишь в том, что Миша (Иванов. — В. М.) никогда не изменял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перельман, — мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж если говорить по правде, то ещё в Сернуре я был безнадёжно влюблён в свою маленькую соседку Еню Баранову. Её полное имя было Евгения, но все, по домашней привычке, звали её почему-то Еня, а не Женя. У Ени были красивые серые глаза, которые своей чистой округлостью заставляли вспоминать о её фамилии, но это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих мучительных колебаний я однажды совершенно неожиданно сказал ей басом: „Я люблю вас, Еня!“ Еня с недоумением и полным непониманием происходящего подняла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав их, я побагровел от стыда, повернулся и ударился в малодушное бегство. Через несколько дней после этого события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в реальное училище, а её — в гимназию. И надо же было так случиться, что ежедневно утром, по дороге в школу, мы непременно встречались с нею, и она смотрела на меня так вопросительно, так недоумевающе... Я же, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, несчастный, мстил ей за своё невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь — бледная, как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В своей круглой гимназической шапочке со значком, загадочная и молчаливая, она была, безусловно, воплощением совершенства, но объяснить с нею я уже не мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней этот краснощёкий реалистик, какие пламенные стихи посвящал он её красоте!»

Ничего из этих пылких отроческих сочинений, конечно, не сохранилось: Заболоцкий безо всякого сожаления уничтожал свои ранние стихи, не придавая им никакого значения и не желая выставлять кому бы то ни было то, что никак не могло быть совершенным.

Зато о юных своих «романах» поведал — как обычно, с лёгкой насмешливой улыбкой:

«Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие предметы воздыхания, и среди них — курносая и разбитная Нина Пантюхина. С этой девицей был у меня хотя и не длинный, но деятельный роман. В начале немецкой войны мы собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимназистка. Реалист носил кружку для денег, гимназистка — щиток с металлическими жетонами, которые прикалывались на грудь жертвователям. Во всём этом деле моей неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, прежде чем дёрнуть

за ручку звонка, мы, да простит нам Господь Бог, целовались с удовольствием и увлечением. Таким образом я мало-помалу начинал постигать искусство любви, в то время как мой бедный друг Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал о своей красавице и не дерзал даже близко подходить к ней!»

У поэта влюбчивость не проходит с отрочеством — в юности она только усиливается. О ранних сердечных увлечениях Заболоцкого — то ли ещё в Уржуме, то ли в Москве, где он недолго жил после Уржума, да не удержался, — осталось ещё одно свидетельство.

...Декабрь 1921 года, Петроград, Николаю 18 лет. Он пишет в Москву самому близкому товарищу, Мише Касьянову. Послание довольно путано, порой импульсивно, что в общем-то Заболоцкому было несвойственно, порой риторично — и явно писано под сильным влиянием настроения. Однако оно много говорит о его характере, о постоянно растущем в юноше художнике и ещё о том, как влюбчивость в нём, несмотря ни на что, постепенно преобразуется в способность любить:

«...Часто мне кажется, и давно уже, что наша жизнь до невозможного неинтересна была бы, если бы все мы были в своих поступках и словах вполне искренни. Человек есть до безобразия неинтересное существо, если он ни к чему не стремится и, следовательно, не настраивает себя на известный тон, соответствующий его цели. Когда я сплю, я противен. Когда я говорю с интересной женщиной — я, без всякого сознательного желания, перерождаюсь и всеми силами хочу показать себя не таким, какой я есть на самом деле. Глухарь, когда он токует, делается привлекательным.

При оценке жизненных явлений некоторые люди, по их словам, имеют „выполне выработанные“ критерии, как-то: искренняя любовь, благородство, подлость и пр. Их суждения мне непонятны и смешны. Всякая устойчивость глубоко противна человеческой натуре, вечно разве только одно: стремление от человека. Это стремление проходит под лозунгом стремления к счастью. Нет, счастье не в человеке — оно где-то вне его, куда он, однако, и стремится.

В моей жизни было одно событие, когда я лишь один раз отходил от этого стремления. Это была моя любовь к Ире. Странно, Миша, что до сих пор мне иногда кажется, что я люблю её. Недавно я её видел во сне. Был какой-то хаос, поющая душа и питерское безлюдье. И я увидел её лицо и взгляд. И упав, я плакал, плакал без конца. Я не мог посмотреть на неё.

Мучительная боль проходит нескоро. Как-то странно всё это: вероятно, потому, что она не любила меня — оттого моё чувство иногда начинает просыпаться с необычайной болью.

Ах, какая она нежная, стройная, эта Ира...

Как я люблю её и как я ненавижу её. <...> Эх ты, Мишка, Мишка, упустили мы с тобой нашу Иру — нежную, ласковую, хорошую — ну, мне-то и бог не велел её трогать, а ты-то что, разиня?

Ах, как больно, Мишуня, ведь так и всё проходит — и всё и всё пройдёт. <...> И забудем мы нашу Иру, нашу Ирочку, Иру, Иру. И забудем мы всё, всё. Всё это и будет смерть».

(Речь тут — об уржумской гимназистке Ирине Степановой, предмете воздыханий Миши Касьянова. В своих не предназначавшихся для публикации воспоминаниях «Телега жизни» он пишет, как они с Ирой целовались на скамеечке «у Митрофания» — «преимущественно, в тёплое время года». Оказывается, и молчаливый Коля был к Ире равнодушен, просто не вставал на пути у друга. Через несколько лет и Миша, и Ира охладели к былому увлечению. Повзрослевший Касьянов не без улыбки вспоминал, как одно время они с Ирой собирались прочесть «Что делать?» Чернышевского: «...начали, но осилить не могли из-за удивительной нудности и скуки этого великого произведения».)

...А друг уржумского отрочества Миша Иванов кончил трагически. Реальная жизнь уже скоро сломила хрупкого душой юношу.

Один из оболтусов в классе, в последние годы ученичества, соблазнил предмет его тайной любви, Нину Перельман, и бросил её. Неизменный же и молчаливый её поклонник, вспоминал Заболоцкий в «Ранних годах», сошёл с ума в Москве, куда поехал поступать в художественное училище. И через несколько лет умер в Уржуме, у своих родных.

## Стихи как спутники воспоминаний

Заканчивая то письмо, Николай признался Мише Касьянову:

— Я сегодня точно пьяненький.

Не обошлось, разумеется, без стихов — друзья, как водится, обменивались новыми сочинениями.

«Небесная Севилья» — не иначе! Вычурно, на чужой манер: что-то от Северянина, что-то от Ахматовой, что-то от Маяковского — в общем, седьмая вода на киселе Серебряного века.

Стынет месяцево ворчанье  
В небесной Севилье.  
Я сегодня — профессор отчаянья —  
Укрепился на звёздном шпиле.  
И на самой нежной волынке  
Вывожу ригурнель небесный,  
И дрожат мои ботинки  
На блестящей крыше звёздной.

В небесной Севилье  
Растворяется рама  
И выходит белая лилия,  
Звёздная Дама,  
Говорит: профессор, милый,  
Я сегодня тоскую —  
Кавалер мой, месяц стылый,  
Променил меня на другую.  
(1929)

Настроение, возможно, и своё — да образы и слова чужие...

Ещё не один год понадобится молодому стихотворцу, чтобы переплавить пережитое, передуманное, прочитанное в свои — *заболоцкие* — стихи.

В 1955-м жизнь уже прожита — точнее, почти прожита; всё, чему было суждено пройти, прошло; так и оставшаяся без фамилии Ира — напрочь забыта. Какие же стихи приходили к Николаю Заболоцкому в том

самом 1955 году, когда он, медленно перемогая последствия хвори, писал автобиографический очерк «Ранние годы»?

Именно в этом году появилось его хрестоматийное стихотворение «Некрасивая девочка», в котором вопрос о *красоте* поставлен ребром. Сюжет прост: девочка, видом словно лягушонок, её уже сторонятся играющие дети — страшненькая! — а она совсем не замечает этого и живёт чужой радостью, как своей, — и, ликуя и смеясь, счастлива.

Ни тени зависти, ни умысла худого  
Ещё не знает это существо.  
Ей всё на свете так безмерно ново,  
Так живо всё, что для иных мертво!  
И не хочу я думать, наблюдая,  
Что будет день, когда она, рыдая,  
Увидит с ужасом, что посреди подруг  
Она всего лишь бедная дурнушка!  
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,  
Сломать его едва ли можно вдруг!  
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,  
Который в глубине её горит,  
Всю боль свою один переболит  
И перетопит самый тяжкий камень!  
И пусть её черты нехороши  
И нечем ей прельстить воображение, —  
Младенческая грация души  
Уже сквозит в любом её движении.  
А если это так, то что есть красота  
И почему её обожествляют люди?  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Конечно, возможны придирки: не всякий прекрасный сосуд пуст, как и не во всяком неказистом сосуде мерцает огонь. (Да и само слово «мерцает» вообще-то значит — «меркнет», «гаснет».) Только к девочке из стихотворения всё это никак не относится: она душой безупречна.

Отклики на это стихотворение и его оценки, как тогдашние, так и последующие, были самыми противоречивыми, самыми полярными. Одни толкователи упрекали Заболоцкого в сентиментальности и дидактике,

другие — восхищались его отзывчивостью и человечностью. Противопоставляя прекрасный *сосуд* внутреннему *огню*, или, иначе, красоту физическую — духовно-нравственной красоте, Заболоцкий словно бы спорит со всеми временами и пуще всего со своим веком и спрашивает: что же важнее — материя или душа? Не убоившись, он прошёл по самому лезвию риторики и дидактики, чуждых сути поэзии, и до предела, до крайности заострил свой вопрос. А ответа — не дал, переложил его тяжесть на читателя. Хотя, очевидно: его симпатии — на стороне «некрасивой девочки» — души.

Очевидно и другое: на закате жизни он, человек от природы увлекающийся, влюбчивый, сумел и в дурнушке разглядеть ту вечную красоту, которая присутствует в мире как бы сама по себе. Вспомним недавно приведённое письмо Михаилу Касьянову, написанное в 18 лет, где он говорит о счастье, что оно «не в человеке», а «где-то вне его», куда человек стремится. Так и *красота* — она где-то вне человека, но она — есть, видимая *глазами сердца*, — и, лишь устремляясь к ней всей душой, человек обретает её в самом себе.

Разумеется, Николай Заболоцкий — не первый из поэтов, кто, по старинному говоря, зрел сердечными очами то, что не видят обычные люди. Так, Лев Толстой любовался своей некрасивой княжной Марьей Болконской, по её прекрасным глазам следя высокую красоту души. Так и Пушкин сразу же увидал в «любезной калмычке» из «кибитки кочевой» ту, что достойна любви не меньше, чем светская красавица. (Хотя, вероятнее всего, эта «дикарка» была хороша собой, просто принадлежала по крови к «красным девкам половецким».)

Словом, Николай Алексеевич Заболоцкий, прожив очень нелёгкую, полную испытаний жизнь, смотрел уже на мир глазами истинного мудреца.

Отроческая и юношеская влюбчивость, чаще всего увлечённая внешней привлекательностью, преобразилась в нём — он стал способен любить истинную красоту.

Тогда же, в 1955 году, был написан цикл «Осенние пейзажи» из трёх небольших стихотворений. Особенно замечательно второе восьмистишие — «Осеннее утро»:

Обрываются речи влюблённых,  
Улетает последний скворец.  
Целый день осыпаются с клёнов  
Силуэты багровых сердец.  
Что ты, осень, наделала с нами!

В красном золоте стынет земля.  
Пламя скорби свистит под ногами,  
Ворохами листвы шевеля.

Жизнь — уносится всё быстрее, и уже со свистом...

*Пламя скорби* — прощание с земной отгоревшей или же ещё не отгоревшей любовью, — хочешь не хочешь, а прощаться придётся со всем, что было дорого тебе на этом свете.

И, наконец, ещё одно, совершенное, чудесное стихотворение этого года — «Бегство в Египет»; оно явно говорит о спутнице его жизни — Екатерине Васильевне.

Ангел, дней моих хранитель,  
С лампой в комнате сидел.  
Он хранил мою обитель,  
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,  
От товарищей вдали,  
Я дремал. И друг за другом  
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем  
В тонкой капсуле пелён  
Иудейским поселенцем  
В край далёкий привезён.

Перед Иродовой бандой  
Трепетали мы. Но тут  
В белом домике с верандой  
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,  
Я резвился на песке.  
Мать с Иосифом, счастливы,  
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса



Отдыхал, и светлый Нил,  
Словно выпуклая линза,  
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,  
В этом радостном огне  
Духи, ангелы и дети  
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея  
Возвратиться нам домой  
И простёрла Иудея  
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,  
Нетерпимость, рабский страх,  
Где ложилась на трущобу  
Тень распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился...  
И у лампы близ огня  
Взор твой ангельский светился,  
Устремлённый на меня.

Сон, причудливая дремота больного... но какое близкое сердцу видение! У Заболоцкого, может быть, впервые, по крайней мере, в позднем творчестве появляется — хотя бы и смутно, далеко не так отчётливо, как в Священном Писании, — образ евангельского младенца, образ Спасителя.

«Духи, ангелы и дети / На свирелях пели мне...» — таких светлых строк в его поэзии ещё не было...

Точно так же, наверное, пел Христу когда-то в храме чистый душой мальчик Коля. ...Да, позавидовал тогда в детстве, на Рождество, своему сверстнику Ване Мамаеву, награждённому за праведные труды бумажной иконкой Николая Чудотворца, — но, может быть, с мыслью: а разве я столь же ревностно не служил Иисусу?..

Ясные видения сна в конце искажаются бессознательным полубредом: Иудея, в предпоследней строфе, чудится спящему поэту весьма похожей на его собственную страну, с её жуткими современными реалиями —

нищетою, злобой, нетерпимостью, рабским страхом и едва ощутимой, почти уже потусторонней памятью о Христе Спасителе: «Где ложилась на трущобу / Тень распятого в горах». Будто бы это он уже сам, а не Младенец со Святым семейством, вернулся из далёкого Египта — то есть из его детской счастливой жизни — в изуродованную режимом, обезверенную родную страну.

Долго шло восстановление после тяжёлой болезни. Два месяца в неподвижности, а потом надо было заново приучаться к движениям. Поэт с женой строго выполняли все предписания врачей и внимательно следили за течением болезни. Когда выздоравливающему разрешили принимать друзей, первым его навестил Евгений Шварц.

Спустя год Евгений Львович записал в дневнике: «Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич ещё полёживал. Я начал разговор как ни в чём не бывало, чтобы не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: „Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена“. И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что, кроме жизни с её литературными новостями, есть ещё нечто, хоть печальное, но торжественное. <...> Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа. Опустилась на колени и обула его. И с какой лёгкостью, с какой готовностью помочь ему.

Я был поражён красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну вот и всё».

Какая поразительная подробность! Бытовая вроде бы — но духовная по существу. Она без слов свидетельствует о том, что Заболоцкий не только видел и безошибочно чувствовал подлинную красоту в окружающем мире — он знал её и в личной жизни.

## Готовясь к отплытию

Удивительно, но в «Ранних годах» Заболоцкий почти ни слова не говорит о своём призвании и деле всей жизни — о поэзии.

Про чтение — а оно, несомненно, было запойным — вскользь, по случаю; точно так же — про сочинительство, которого наверняка было не меньше, чем книгочейства.

И то и другое стало главным в его жизни, начиная с Сернура — и в Уржуме только возросло.

Правда, писал он свой очерк многие годы спустя отроческой и юношеской поры — а к тогдашним опусам своим был строг, как никто другой.

Ни строчкой давнишней не обольстился — потому впоследствии и сжигал ранние произведения. Пожалуй, будь его воля — не оставил бы ничего.

Благо, что-то небольшое осталось в памяти друзей и знакомых, уцелело в старых письмах. Конечно, ничего особенно интересного, самобытного в этих стихах нет, — Заболоцкий был совершенно прав в оценке своих ранних сочинений, — но они показывают, с чего он начинал, как мыслил — и, кроме того, невольно говорят о нём самом как человеке.

Екатерина Васильевна Заболоцкая впоследствии вспоминала, что поэт хранил до 1938 года самодельную книжицу под названием «Уржум», куда он в 1919 году переписал свои юношеские стихи: «Это была им самим сшитая книжечка размером поуже тетради, сантиметров около двух толщиной... Помнится, там было много стихотворений о природе — о берёзе в инее, о сверкающем снеге, о звёздном небе. Было там и стихотворение „На смерть Кошкина“, которое упоминается в „Ранних годах“».

Михаил Касьянов свидетельствует, что в 15 лет Николай сочинил шутивную поэму «Уржумиада» про жизнь в родном городке, в которой упоминались и сам Миша, и общие их друзья: Борис Польшнер, Николай Сбоев, а также знакомые гимназистки Нюра Громова, в которую пылко и безответно был влюблён Миша Касьянов, и Шурочка Шестопёрова. От поэмы осталось лишь шесть строк, посвящённых Коле Сбоеву, любителю патриархальщины:

Прохожий этот, так и знай, —

Философ Сбоев Николай.  
Он отрицает всю культуру:  
Американские замки,  
В аптеках разную микстуру,  
Пробирки, склянки, порошки.

По этому отрывку трудно о чём-либо судить, хотя заметно: будущий поэт, а покуда уржумский реалист, был хорошо знаком с «бытовыми» ироническими поэмами Пушкина и Лермонтова, сочинёнными ими также по молодости для приятельского круга — от избытка жизни и забавы ради.

Но вот совсем другое — и уже интересное.

В письме домой Николай набросал восемь строк для младшего брата Алёши:

Здравствуй, Лелюха,  
Жареный ватруха!  
Как ты поживаешь?  
Из ружья стреляешь?  
Я твоё письмо получил,  
Чёрным квасом намочил.  
Прощай, Лелюха!  
Твой брат Колюха.

Казалось бы, куда как непритязательно — но до чего же естественно и непринуждённо пишет Колюха, как хорошо знает и чувствует живую русскую речь, с её игровыми перевёртышами женского рода на мужской («Жареный ватруха»).

И ещё одно стихотворение, посвящённое малолетней сестрёнке Наташе:

«На сунду́ке, на горшо́ке», —  
Говорит Наташа.  
Как хотите, понимайте —  
Это воля ваша.

И закрывши «гла́зами»,  
Водит нас Наташа.

Как хотите, понимайте —  
Это воля ваша.

«Старая и новая», —  
Говорит Наташа.  
Как хотите, понимайте —  
Это воля ваша.

Прихотливые ударения в детских словах Наташи изначально свойственны опять-таки народным русским говорам, — и это тонко почувствовал юноша Заболоцкий. Недаром потом он, взрослым, с удовольствием и без особого труда писал стихи для мальчиков и девочек в детских журналах Питера.

Кстати, строка «Старая и новая» в последней строфе касается *власти*: в родительском доме всюду обсуждали, какая власть лучше — прежняя, царская, или новая, советская. Лишнее свидетельство того, какое незначительное место смолodu занимала политика в душе Заболоцкого: над *властью* — устами ребёнка — можно было лишь слегка позабавиться. По-настоящему его волновала только поэзия.

Если изыски и красоты поэтов Серебряного века «дарили» его литературщиной, то живая обыденная речь учила истинному чувству русского слова.

О круге чтения подрастающего уржумского реалиста свидетельств крайне мало. Одно из самых важных принадлежит другу юности Михаилу Касьянову:

«Октябрьская революция дошла до нашего города в конце ноября (по старому стилю). Учебный 1916/17 год закончился, по правде говоря, кое-как. Осенью мы снова собрались в реальном. После Нового года в Уржум пришла книжка какого-то журнала, в которой были напечатаны „Двенадцать“ Блока, его же „Скифы“ и одно стихотворение Андрея Белого. <...>

Николай вразумил меня относительно чеканной краткости и эмоциональной насыщенности стихов Анны Ахматовой, которые он очень любил. Бальмонта и Игоря Северянина мы к 1919 году уже преодолели. Маяковского мы тогда ещё знали мало. Только к лету 1920 года до Уржума дошла книжка „Всё сочинённое Владимиром Маяковским“. А до этого нам становились известны лишь отдельные стихи и строки Маяковского. Их привозили из столиц приезжавшие на побывку студенты. Николай

относился к Маяковскому сдержанно, хотя иногда и писал стихи, явно звучавшие в тональности этого поэта. <...>

В начале 1920 года Николай написал своего „Лоцмана“, стихотворение, которое он очень любил и считал своим большим и серьёзным достижением.

...Я гордый лоцман, готовлюсь к отплытию,  
Готовлюсь к отплытию к другим берегам.  
Мне ветер рифмой нахально свистнет,  
Окрасит дали полуночный фрегат.  
Вплыву и гордо под купол жизни  
Шепну богу: „Здравствуй, брат!“

Стихи были характерны для нашего молодого задора. С этим настроением мы вступали в жизнь и на меньшее, чем на панибратские отношения с богом, не соглашались».

Задор, конечно, похвальное дело, только «лоцманы» выводят корабли из гавани, а к «другим берегам» ведут капитаны. «Вплыву» — темно по смыслу... Вероятно, молодой автор, житель сухопутного Уржума, немного напутал в морской терминологии или же Михаил Касьянов ненароком запомнил что-то в стихотворении. Однако в этих неказистых строках всё-таки передано то волнение, которое охватывает юношу перед будущей дальней дорогой. Понятно, эта дорога — творчество, полёт вдохновения, поэзия.

## Прощальный взгляд на город детства

Едва пролетел первый год в Уржуме — время восторженных открытий, новых знакомств и дружб, — как началась германская война. Отроку Коле было в 1914 году 11 лет и учился он во втором классе. От Вятского края война была далеко и почти никак не ощущалась. Но однажды в Реальное училище пришли недавние выпускники, а ныне молодые прапорщики. Они отправлялись на фронт и заглянули попрощаться с учителями. В защитных куртках и ремнях, в погонах, с саблями на боку, новобранцы гляделись настоящими воинами, и мальчишки мучительно завидовали будущим героям. Однако вскоре разнёсся слух: одного из тех, кто приходил в училище, убили. В памяти Коли осталась лишь его фамилия — Кошкин. «Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и всё реальное училище хоронило его на городском кладбище, — пишет он в своём очерке. — По этому поводу я написал весьма патристическое стихотворение „На смерть Кошкина“ и долгое время считал его образцом изящной словесности».

Собственно, «Ранние годы» и заканчиваются германской войной: Россия вступала в новый этап своей истории, вскоре обернувшейся крахом империи. Заболоцкий описал только самое начало грядущих перемен:

«Во всех домах появились карты военных действий с передвигающимися флажками, отмечающими линию фронта. Вначале всё это занимало нас, особенно во время прусского наступления, но затем, когда обнаружилось, что флажки передвигаются не только вперёд, но и назад, и даже далеко назад, — игра постепенно приелась, и мы охладели к ней. И только буйные крики пьяных новобранцев да женский плач, которые всё чаще слышались у воинского присутствия, напоминали нам о том, что в мире творится нечто страшное и беспощадное, ниславо не похожее на это безмятежное передвижение флажков в глубине уржумского захолустья».

«Страшное и беспощадное» постепенно приближалось и к Уржуму.

В те несколько лет до Октябрьской революции 1917 года тут шла ещё обычная жизнь. Николай учился, сочинял, много читал (в городе было «две приличные библиотеки»), на вечерах в Реальном училище или в гостях у друзей пел под гитару и даже исполнил главную роль в оперетте под странным названием «Иванов Павел». Этот музыкальный спектакль устроили в доме Польнеров, где обитал «на хлебах» его друг Миша Касьянов. Другой спектакль поставил учитель рисования Ларионов в

Реальном училище: в «Ревизоре» Коля сыграл роль зрителя училищ Хлопова. (Так мало-помалу он набирался опыта держать себя на сцене — потом, в начале литературной жизни в Петрограде, это ему весьма пригодилось.) «Ревизор» имел такой успех, что постановку через некоторое время перенесли на сцену городского самодеятельного театра «Аудитория», где всякий раз публики было много.

После Февральской революции 1917 года и падения царской власти жизнь в городе стала оживлённей и беспокойней. 1 мая по главной улице прошла такая большая демонстрация, что Михаил Касьянов, вспоминая её, впоследствии писал: «Никак нельзя было поверить, что в Уржуме живёт столько народа. Наверное, все окрестные деревни пришли в город...»

В Реальном училище образовался «Союз учащихся», благодаря свободе получивший право в лице своих представителей посещать «святая святых — заседания педагогического совета». В училище стали устраивать «субботники» — приуроченные к субботе вечера музыки и художественного чтения. Николай Заболоцкий тут же ввёл в репертуар чтение иронических стихов и с особым успехом декламировал непревзойдённого остроумца Алексея Константиновича Толстого:

«Верь мне, доктор (кроме шутки!), —  
Говорил раз пономарь, —  
От яиц крутых в желудке  
Образуетя янтарь!»

«Здорово выходило у Николая: „Проглотил пятьсот яиц“ с большим таким и очень убедительным „о“, — вспоминал Михаил Касьянов. — Михаил Быков (председатель „Союза учащихся“. — В. М.) пытался приучить публику даже к Маяковскому и для этого, чтобы напугать буржуев, прочёл стихотворение „Вот так я сделался собакой“».

Германская война сменилась Гражданской. Пояса пришлось подтянуть, и молодые реалисты на каникулах устраивались на службу, чтобы подработать денег. Миша Касьянов летом 1918 года стал делопроизводителем, его примеру последовал и Коля Заболоцкий.

Осенью, когда вновь собрались на учёбу, приятели встретились.

«В клубах табачного, в основном махорочного, дыма мы с Николаем читали друг другу свои стихи, критиковали их, осуждали, восторгались и снова осуждали, — вспоминал Михаил Касьянов. — Из посвящённого мне стихотворения Николая помню:



...В темнице закат золотит решётки.  
Шумит прибой, и кто-то стонет.  
И где-то кто-то кого-то хоронит,  
И усталый сапожник набивает колодки.  
А человек паладин,  
Точно, точно тиран Сиракузский,  
С улыбкой презрительной, иронически узкой  
Совершенно один, совершенно один.

Мне это стихотворение очень понравилось, особенно последние четыре строки. Оно накидывало на меня романтический плащ. Но Николай мог быть иногда и коварным другом. Нельзя было распознать, когда он говорит серьёзно и когда посмеивается над тем, кому посвящает свои творения».

Заметим, умение выщучивать что-либо или кого-либо с невозмутимо серьёзным видом сохранилось у Заболоцкого на всю жизнь, со временем сделавшись виртуозным. Скрытой или полускрытой иронией, а порой и самоиронией он наделял и устную речь, и свои стихи.

Михаил Касьянов в «Телеге жизни» пишет о друге Коле, что в том всегда была заметна «работа мысли». И замечает: «В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьёзностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то весёлое, а иногда и горькое озорство. Он, показывая перстом в небеса, любил произносить: „Высшим чуем чуй, поэт!“»...

А первая строка этого, казалось бы, умозрительного стихотворения была связана с одним недавним случаем из жизни Николая. Вот как описывает это происшествие его сын и биограф Никита:

«Летом 1918 года во время каникул Николай Заболоцкий поступил на работу секретарём сельсовета в одном из сёл в окрестностях Уржума. Вокруг города шныряли многочисленные банды, для борьбы с которыми в Уржум были направлены отряды латышских стрелков. Однажды бандитам удалось ограбить уржумское казначейство и бежать по направлению к Казани. В погоне за одним из них латышские стрелки попали в село, где служил Николай, и стали допрашивать работников сельсовета. Оказалось, что молодой секретарь действительно видел преследуемого, но не знал, конечно, что его следует задержать или сообщить о нём в город. В результате Николай был сам задержан и отправлен в уржумскую тюрьму. Вообще, латышские стрелки зверствовали в городе хуже всяких банд. В

центр и, кажется, самому Кирову, земляку уржумцев, стали поступать многочисленные жалобы населения. Для их проверки была прислана специальная комиссия, после чего стрелки-чекисты были выведены из Уржума, а арестованные ими — освобождены. Так что в тюрьме Николай пробыл недолго. Но появилась строка о решётках, которые золотит заходящее солнце, а в семье долго вспоминали, как Лидия Андреевна носила передачи сыну».

Летом 1919 года Николай снова устроился на службу, теперь уже в городе. Армия Колчака прорывалась к Уржуму, и всем учреждениям было приказано перебраться в село Кичму. В глазах Михаила Касьянова, ставшего свидетелем этой эвакуации, запечатлелась живописная картина. По главной улице тащится обоз из трёх-четырёх крестьянских телег, гружённых тюками с бумагами и канцелярским инвентарём. На одной из подвод плачущая машинистка. За телегами пешком шагают служащие, и среди них его друг-поэт Коля. С виду, как всегда, невозмутим, важен и решителен.

«Не помню теперь, в каком таком серьёзном учреждении работал тогда Николай, — вероятно, в самом уисполкоме. Впрочем, вскоре на ближайшем к нам участке фронта наступило улучшение. Колчаковские части были отброшены. Через полторы-две недели положение выровнялось, и Николай, всё такой же важный, как победитель вернулся в Уржум».

Существенную подробность о настроениях молодого поэта во времена Гражданской войны сообщил Никита Заболоцкий: «Много лет спустя Николай Алексеевич признался жене, что сочувствовал тогда белому движению и подумывал, не вступить ли ему в армию Колчака. Но, видимо, решил, что слишком молод, да и не в том его судьба».

Стало быть, Заболоцкого политика всё же волновала и тревожила — даже смолodu. Однако он не позволил, чтобы эта мутная стихия захватила его сознание. Душа безвозвратно принадлежала стихам, а поэзии место — *над схваткой*. Злоба дня — дело временное, стоит ли подчиняться временному?..

Он всё яснее осознавал: по окончании реального училища, — впрочем, теперь оно называлось «единой трудовой школой», — надо уезжать в столицу. Учиться дальше, набираясь ума-разума, крепнуть в мастерстве — и, наконец, сказать в поэзии своё собственное слово. Без этого не бывает настоящих поэтов. Уездный город был уже тесен, как старая одежда, из которой вырос.

Прощальный взгляд на родной город в очерке «Ранние годы» — уже не из отроческой его поры, а из 1955 года. В этом взгляде не осталось ничего

от того первоначального восторга, который некогда ощутил мальчик, покинувший своё скромное село Сернур. Он далёк от лирики — отфокусирован, отчётлив, как дагеротипный снимок, и разве что сдобрен внутренней добродушной иронией:

«Маленький захолустный Уржум впоследствии прославился как родина С. М. Кирова. В моё время это был обычный мещанский городок, окружённый морем полей и лесов северо-восточной части России. Были в нём два мизерных заводика — кожевенный и спиртоводочный, в семи верстах — пристань на судоходной Вятке. Отцы города — местное купечество — развлекались в Обществе трезвости, своеобразном городском клубе. Было пять-шесть церквей, театр в виде длинного деревянного барака под названием „Аудитория“, земская управа, воинское присутствие, номера Потапова и ещё кого-то, весьма основательный острог на площади, аптека, казарма местного гарнизона. Гарнизон состоял из роты солдат под командой бравого поручика, в перчатках и при шпаге. Существовала пожарная команда с её выдающимся духовым оркестром. На парадах по царским дням мы имели удовольствие наблюдать всё это храброе воинство. Парад принимал настоящий генерал, правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле двигающаяся развалина, одетая в древний мундир, белые штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, воинство брало „на караул“, и еле слышный старческий голосок поздравлял его с тезоименитством государя императора. Воинство гаркало в ответ, неистово подавал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговременно по чарке, взывали на своих трубах и литаврах, и рота дефилировала к казарме. Толпа торговков, шумя и толкаясь, провожала своих любезных восторженными взглядами и восклицаниями».

И ещё:

«Большим воскресным событием был еженедельный базар на площади перед острогом. Сюда съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо, муку, дрова, пеньку и всё то, что можно было вывезти из деревни. <...> Бойко работала „монополька“. Начиная с полудня вокруг неё лежали живые трупы, слышался бабий вой, воздух наполнялся смрадом пережжённого спирта, песнями и руганью. Не отставало от „монопольки“ и Общество трезвости. По крутым его ступенькам посетители зачастую съезжали на спине и лишь с помощью городского могли подняться на собственные конечности».

Бывший уржумский реалист вполне реально смотрел на вещи...

В 1955-м его жизнь — и он, конечно, понимал это — была на излёте. Тяжкая сердечная хворь не оставляла особых надежд. Каждый человек

перед земным концом задумывается о Боге — неверующие не исключение. Не потому ли и Заболоцкий в глазах жены, без сна и отдыха сидящей у его постели, вдруг разглядел нечто ангельское. Что мерещилось ему в полубреду ночных видений? Возможно, что-то подобное тому, что описано им в стихотворении «Бегство в Египет». А может, сюжет, схожий с евангельским, был просто игрой воображения? Поэт ничего не пояснил — да это и не очень важно. Глаза подруги, его ангела-хранителя по жизни, — вот что было важнее всего.

После того что открыла ему болезнь, Николай Заболоцкий не мог не вспомнить в очерке о детстве того, что связывало его с православной верой, с Богом, с церковью. Лирика в этих церковных воспоминаниях смешалась с прозой жизни. Но ничего надумывать сверх того, что было, он, разумеется, не стал. И рассказал точно и правдиво, а где и с улыбкой о своём религиозном «опыте»:

«Каждую субботу и воскресенье мы обязаны были являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, построенные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимназистки в своих белых передничках — в левом. За спиной дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасовое стояние на ногах, и притом на виду у инспектора, удручало всю нашу братию. Мудрено было жить божественными мыслями, если каждую минуту можно было ожидать замечания за то, что не крестишься и не кланяешься там, где это положено правилами. Но тихие всенощные в полутёмной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и, когда девичьи голоса пели „Слава в вышних Богу“ или „Свете тихий“, слёзы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одетые в не гнущиеся стихари, двое или трое из нас ходили зажигать и тушить свечи перед иконами, помогали в алтаре и потихоньку попивали „теплоту“ — разведённое в тёплой воде красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи служками, мы несли ещё и другие, не установленные начальством и совершенно добровольные обязанности. Пачки любовных записок переходили с нашей помощью от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, но мы быстро освоились с ним и почти никогда не попадались в лапы начальства».

Весь этот короткий автобиографический очерк Заболоцкого — просто

чудесен по ясности и точности слога, по своей музыке. Недаром филолог Наталья Корниенко назвала «Ранние годы» «кристально чистым по пушкинскому звуку» и пришла к выводу, что очерк выделяется «на фоне образов детства, как его писали современники поэта».

В послереволюционные годы Николай увлёкся музыкальными собраниями, незамысловатыми спектаклями в театре «Аудитория», где однажды поставили даже оперу — «Аиду». Артисты пели под сопровождение одного рояля, но это никого не смущало — своей собственной оперой Уржум законно гордился! В то время в город, спасаясь от голода, хлынули из российских столиц артисты и художники — и нашли здесь, особенно среди старшеклассников, всеобщие любовь и поклонение.

А сам «гордый лоцман» уже вовсю готовился по окончании единой трудовой школы — к *отплытию*...

**Глава пятая**

**МОСКВА БЬЁТ С НОСКА...**

## Тёплый переулок

Где ж ещё и учиться, как не в столице!..

Весь 1919 год шестнадцатилетние реалисты Коля и Миша примеривались к тому, что по окончании школы они уедут в Москву. Желание — дело одно, а действительность — совсем другое. В стране бушевала Гражданская война, косили народ эпидемии, голод — и все эти беды вплотную подступали к Уржуму. Из Москвы-то и бежали на окраины, в небольшие города и сёла, чтобы выжить, подкормиться, переждать худые времена. «Был 1919 год — самый чумный, самый чёрный, самый смертный из всех тех годов Москвы», — писала Марина Цветаева об этом времени. Юным уржумцам надо было дождаться, когда столичная жизнь хоть немного наладится, иначе было немудрено сгинуть почём зря. Благо до завершения среднего образования им оставался ещё год.

Правда, учёба уже не очень-то занимала друзей-сочинителей: они вовсю окунулись в то, что можно было бы назвать, за неимением других образцов, культурной жизнью Уржума. Была она столь же разнообразной, сколь и суматошной. Городок, по мнению Михаила Касьянова, вполне отражал собою бурную эпоху, переживаемую страной:

«Известия с фронтов, то тревожные, то победные, экспедиции за хлебом, кулацкие восстания в уезде, красный террор... На этом фоне вспоминается один богемный дом Уржума, дом учительницы музыки и ревнительницы искусств Лидии Евгеньевны Шеховцовой. У неё бывали разные люди: и уездные власти, и артисты, и реалисты. Хозяйке было за сорок, и она любила окружать себя молодёжью. В её доме бывало шумно и весело. Меня ввёл туда Гриша Куклин, который под руководством этой учительницы занимался мелодекламацией. Коронным номером Гриши в этой области было стихотворение:

Мне вчера сказала Карменсита:  
„Я хочу мантилью в три дуката,  
Чтоб была нарядна и богата  
И савойским кружевом обшита“

и т. д.».

На этих изысканных сборищах Николай певал «молодым баском»

известный романс о трёх юных пажах, навеки покидающих «свой берег родной», — весьма возможно, ощущая при этом, что вот скоро им самим с товарищем Мишей суждено попрощаться с берегами Уржумки и Вятки. Особенно выразительно у него выходили последние строки:

Кто любит свою королеву,  
Тот молча идёт умирать.

Друг Миша тоже неплохо пел эту песенку, только считал, что королевы у них разные. В отличие от простодушного приятеля Николай чуял в словах и в стихах далеко не один буквальный смысл — и, вполне вероятно, под «королевой» подразумевал ещё и музу.

«Вторым, уже не богемным, домом, где бывали часто Николай и я, была квартира приехавших в Уржум „на подкормку“ двух подруг учительниц — Нины Александровны Руфиной и Екатерины Сергеевны Левицкой, — вспоминал Михаил Касьянов. — Нина Александровна преподавала литературу в реальном и вела класс, где обучался Николай. Екатерина Сергеевна работала учительницей естествоведения в уржумском высшем начальном училище. Нина Александровна была худенькой девушкой с лучистыми синими глазами, по наружности похожая на ангела, точнее на Элоа, рождённую из слезы Христа. В обращении она была проста и вместе с тем обаятельна. Предмет свой она вела вдохновенно и с большим знанием дела. <...>

В гости к Нине Александровне и Екатерине Сергеевне мы всегда приходили вдвоём с Николаем, читали свои стихи или сообщали, говоря высоким стилем, о своих творческих планах. Мы выслушивали и принимали (иногда и не принимали) советы, которые нам давали обе эти милые девушки».

Конечно же, «учительки» убеждали даровитых реалистов, что тем нужно совершенствоваться в образовании — и непременно в Москве. Весной 1920 года девушки вернулись в столицу и напоследок оставили свой адрес, пообещав, что обязательно подыщут им жильё, когда парни приедут. Оба — и Коля, и Миша — решили поступать на историко-филологический факультет Московского университета.

С начала выпускного года друзья уже запасались командировками, характеристиками, сушили сухари. Помощи от своих домашних не ждали: в семьях кое-как сводили концы с концами, где им содержать в Москве студентов! У Николая отец перенёс тиф, ослабел, работать, как прежде, не



мог — а младших детей надо было как-то поднимать...

«К лету 1920 года у нас всё было готово, — пишет Касьянов. — Ранним июльским утром я с котомкой за плечами отправился из города в Шурму, чтобы перед отъездом повидаться с родными. На мосту через Уржумку я встретил гуляющего Владислава Павловича Спасского, нашего учителя. „Здравствуйте, Касьянов! Куда вы?“ Я объяснил ему наши намерения: „Едем с Заболотским в Москву поступать на историко-филологический факультет“. Вместо ожидаемого мною одобрения реакция Владислава Павловича была совсем другой. Он вдруг разволновался: „Не делайте этой глупости. Я сам всю жизнь жалел, что пошёл по такому пути и стал историком, да ещё педагогом. Идите в какой-нибудь технический институт, в крайнем случае на медицинский факультет“.

С этим прощальным напутствием любимого учителя мы и отправились „под купол жизни“».

...Многие годы спустя, в 1959-м, Михаил Иванович Касьянов, фронтовик, заслуженный врач, отозвался на просьбу Екатерины Васильевны Заболоцкой и рассказал всё, что вспомнил о юности поэта. А потом, будучи уже на пенсии, написал книгу собственных мемуаров, назвав её пушкинскими словами — «Телега жизни». Издавать книгу отнюдь не собирался, как никогда в жизни не стремился печатать свои стихи. Литературовед Игорь Лоцилов, прочитав рукопись, заметил: «...специфика жизненного материала и своеобразный стилистический „кураж“ свидетельствуют о том, что мемуарист трудился ради „удовольствия от письма“, от воспоминаний о прошедших годах. Читателями „Телеги“ автор предполагал, вероятно, круг близких родственников и друзей: более „для пользы и увеселения“ внуков, нежели Человечеству».

Если бы не этот верный друг Заболоцкого, мы бы вряд ли узнали, как прошёл тот московский, 1920 года, короткий по времени отрезок жизни поэта. По крайней мере никто другой не представил бы нам это в таких живых и ярких подробностях.

Вот как они — поутру своего студенчества — садились в *телегу жизни*:

«Когда мы с Николаем Заболотским решили поехать в Москву, к нам присоединился третий компаньон — Аркашка Жмакин (Аркадий Николаевич). Он собирался поступать в Москве в какое-то высшее техническое учебное заведение. Я сел на пароход в Шурме и встретился с Николаем и Аркадием в Цепочкине. Мы поехали до Котельнича, где внедрились в поезд. Посадка была ужасной. Помятые и почти раздавленные, мы очутились в тамбуре набитого до краёв и больше

пассажирского поезда. Потом нам удалось попасть в коридорчик около уборной. Там и ютились с нашими тремя большими мешками сухарей и другими более мелкими пожитками. Тащились от Котельнича до Москвы что-то около четырёх суток в жаре, духоте и тесноте. Как-то ночью у нас стащили один из мешков с сухарями, что резко уменьшило наши ресурсы и сказалось впоследствии на рационе.

Наконец мы прибыли в столицу и вышли на Каланчёвскую площадь. В письме Нины Александровны, полученном перед нашим отъездом из Уржума, было изъяснено, что она и Екатерина Сергеевна живут в одном из переулков на Пречистенке и что туда идёт от Каланчёвки трамвай № 17. Однако сесть на этот вид транспорта с нашими вещичками нечего было и думать. Пришлось идти пешком. После длительного хождения трое пилигримов добрались до земли обетованной. Это был Штатный переулок. Наши покровительницы, к счастью, были дома. Оказалось, что они уже подыскали нам жильё. Знакомая им женщина сдавала одну из своих двух или трёх комнат с тем, чтобы её обеспечили на зиму топливом. Мы дали такое твёрдое обещание и в тот же день поселились на новом месте в Тёплом переулке.

Обещание не было обманом. Дело в том, что наши знакомые сделали для нас ещё одно доброе дело: они включили нас в список какого-то учреждения на заготовку дров. Скоро все мы трое отправились в компании с другими такими же никчёмными лесорубами в какой-то подмосковный лес и там заготовили в течение недели шесть кубометров дров. Из этого количества мы должны были получить половину. Следует отметить, что наших дровишек мы так-таки никогда и не получили. В результате мы обманули нашу хозяйку, но совершенно не были повинны в этом.

Приехали мы в Москву задолго, примерно за месяц до экзаменов, довольно быстро съели почти все наши запасы и сели на голодный паёк. <...> Дела наши были совсем неважными».

Компаньон Жмакин быстро сошёл с круга: месяца через полтора-два друзья проводили его в Уржум, так толком и не поняв, поступил ли куда Аркашка, успел ли поучиться... Скорее всего уехал из-за голодухи. Николая и Михаила на историко-филологический факультет приняли — но кормить не обещали. Филологам и продовольственные карточки-то не отоваривали. Выход был один — идти на медицинский факультет: студенты-медики были «милитаризованы» и получали «колоссальный паёк» — по фунту хлеба ежедневно. А что, если учиться сразу на двух факультетах? — подумали ребята. — День отдавать медицине, а вечерами заниматься литературой!.. Конечно, за двумя зайцами погонишься... Но

другого не оставалось: жить-то как-то надо.

В Лепёхинском общежитии для студентов-медиков друзья сдали экзамены и были приняты на первый курс. Вскоре выяснилось: с пайком строго, выдают лишь тем, кто посещает все практические занятия и вовремя сдаёт зачёты. Трудов на весь день, и на литературу времени не остаётся.

Хозяйка же, что осталась без дров, смотрела волчицей, гнала с квартиры. Но с жильём вдруг повезло. В том же Тёплом переулке друзей присмотрела для своей нужды семейная пара торговцев мануфактурой. Держатели лавки боялись, что их уплотнят, а затем и оттяпают часть просторной квартиры — и заблаговременно побеспокоились: предложили студентам комнату на постой. Топлива с них уже не требовали, зная про дровяную историю. «Иногда по ночам мы с Николаем под предводительством самого хозяина выходили на улицу ломать деревянные заборы, — вспоминал потом Касьянов. — Словом, как-то отапливались, но, несмотря на название переулка (Тёплый), в нашей комнате, да и во всей квартире не было особенно тепло».

Жизнь пошла заведённым чередом. Утром шагали в университет; по дороге заходили в советскую чайную в Хамовническом переулке. Там имелся бесплатный кипяток в большом чайнике, который можно было подкрасить заваренной морковкой из другого чайника поменьше, и ко всему этому давали немного «повидлы». «Хлеб, конечно, свой; а, как известно, „хлеб свой, так хоть и к попу на постой“, — вспоминал Михаил Касьянов. — Из чайной мы шли в анатомический театр, где занимались остеологией. До миологии Николай, кажется, уже не дошёл».

Медицина, конечно, Николая нисколько не занимала — сгодилась разве что для шуточных стихов. Ещё в сентябре он сочинил гимн студента-медика, живописавший их с Мишкой жизнь, и песней подбадривал себя по дороге:

Утром из чайной,  
Рано чуть свет,  
Зайдёшь не случайно  
В университет.

Не бог весть что, но зато от припева текли слюнки:

Торты и сдобные хлебы,

Сайки, баранки, какао.  
Эй, подтянись потуже,  
Будь молодцом!

Первые две строки припева являлись плагиатом, — поясняет Касьянов. — На дверях хамовнической чайной сохранились жестяные вывески с указанием на наличие в бывшей тут когда-то булочной этих мифических в 1920 году продуктов. Призыв же к подтягиванию животов «плагиатом отнюдь не являлся».

В аудитории сонной  
Чувства не лгут —  
На Малой Бронной  
Хлеб выдают.  
На Малую Бронную  
Сбегать не грех,  
Очередь там небольшая —  
Шестьсот человек.  
Улица Остоженка,  
Пречистенский бульвар!  
Все галоши  
О вас изорвал.

Сапоги Николая были действительно того... отвалились подмётки. И хотя той осенью в Москве стояла сухая солнечная погода, молодой поэт «важно вышагивал в сапогах с надетыми на них галошами».

Заметим: несмотря на все передряги, семнадцатилетний Николай нисколько не утратил бодрости духа и своей невозмутимой важности.

## В Политехнический и далее по курсу

В автобиографии 1948 года Николай Алексеевич Заболоцкий написал о своей юности в Москве, а затем и в Петрограде всего несколько строк. Поведал, что существование в провинциальном городке его мало устраивало, и потому он рвался в центр, к живой жизни, к искусству. И что желание сделаться писателем окрепло в нём лет с пятнадцати.

«Весной 1920 года я окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят на первый курс историко-филологического факультета Первого Московского университета. Однако устроиться в Москве мне не удалось, и в августе 1921 года я уехал в Ленинград и поступил в Педагогический институт им. А. И. Герцена по отделению языка и литературы общественно-экономического факультета. Педагогом я быть не собирался и хотел лишь получить литературное образование, необходимое для писательской работы. Жил в студенческом общежитии. Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил. <...>

В 1925 году я окончил институт. За моей душой была объёмистая тетрадь плохих стихов, моё имущество легко укладывалось в маленькую корзинку».

В этих словах вместились целых шесть лет жизни — и каких! Исключительно редких по накалу постижения мира, искусства, литературы — и громадных по объёму той внутренней работы, которую он проделал в поисках самого себя.

И всё начиналось в Москве, которая, несмотря на трудности быта, много дала для его становления как поэта, для самовоспитания и закалки духа.

В Москве он пробыл всего-то около года, зато сполна ощутил живую литературную жизнь — в том неповторимом размахе, который принесла в неё революция.

Марине Цветаевой чудилось, что в столице был тогда «миллиард поэтов» и чуть ли не каждый день появляется новое литературное течение. «Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле чёрные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб-студия, — театр и танец пожирают всё. — Но — свободно, и можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед».

«Свободно» тут — ключевое слово: для поэта, особенно молодого,

безбывность и определяет бытие.

«Жили мы от пайка до пайка, который (в том числе и печёный хлеб) выдавался раз в месяц, — вспоминал Михаил Касьянов. — При таких условиях хлеба никак не могло хватить. Сушить его нам было негде. Уже на третьей неделе после выдачи пайка мы доедали, размачивая в воде, последние засохшие кусочки, а в последнюю неделю перед новой выдачей обходились без хлеба. В студенческой столовой, в общежитии на Грибоедовском переулке, нас питали какой-то бурдой из капусты и картошки (зимой — всегда мороженой) на первое и такой же картошкой, обычно со свеклой — на второе. В день получения пайка каждому из нас давали по полтора больших квадратных солдатских каравай хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селёдку или воблу. После получения всех этих благ мы незамедлительно шли в чайную (на этот раз в университетскую), резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали всё это кипятком. Никакие пирожные никогда впоследствии не доставляли мне такого яркого наслаждения, как эти послепайковые трапезы. Мы вдвоём съедали за один присест четверть каравай, фунтов пять не меньше хлеба. <...>

Месяца два нам выдавали паёк аккуратно в срок и полностью. Потом выдачи стали уменьшаться, да и задерживались. Запасов у нас никаких не было. На Смоленском рынке мы продавали свою кое-какую и совсем нелишнюю одежонку и покупали съестное, чтобы совсем не отощать. <...> Некоторым подспорьем в меню являлись мороженые яблоки, которых тогда в Москве было много.

Эта медицинская и пищевая стороны представляли собою часть нашей жизни. Для Николая медицинская сторона не имела самостоятельного значения, однако к еде он был склонен не меньше меня».

День, хочешь не хочешь, приходилось отдавать медицине. Зато вечера принадлежали тому, что влекло по-настоящему. В театры, за отсутствием денег, проникали «зайцами» и обычно во время антракта. Обоим нравились искромётные, феерические постановки Мейерхольда. Как-то на спектакле «Зори» по пьесе Эмиля Верхарна один из актёров прервал свой монолог и зачитал свежую фронтовую сводку о взятии Красной армией Перекопа — зал грохнул рукоплесканиями. Такого не позабудешь: история творилась на глазах вместе с искусством.

Ещё интереснее было в Политехническом музее, где часто проходили вечера поэзии. Юноши не раз слушали Брюсова и Маяковского с их новыми стихами, выступления пролетарских поэтов Кириллова, Герасимова, Гастева и других.

Касьянов не без удивления отмечал про себя, как сдержанно, с прохладцей его товарищ воспринимает поэзию Маяковского. Поэт-трибун славился своим чтением: как-то был в ударе и замечательно прочёл «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». В другой раз Маяковский выступил с чтением только что написанной поэмы «150 000 000». Врезалось в память, как взятый поклонниками в плотное кольцо поэт со стола, откуда читал стихи, бросил в разгорячённую толпу очередную шутку: «Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник». Николай, как и все, был захвачен чтением и остроумными репликами поэта с эстрады, которые тот, как звонкие пощёчины, раздавал в споре своим противникам. Но всякий раз повторялось одно и то же: стоило Маяковскому закончить декламацию, как Заболоцкий в своих впечатлениях об услышанном снова возвращался к сдержанности, больше похожей на иронию.

Впрочем, эта ирония всего ярче сказалась в другом.

«Однажды, — рассказывает Касьянов, — когда мы после окончания вечера в Политехническом музее спускались по лестнице в густой толпе, Маяковский сходил вниз рядом с нами и даже наступил мне на правую стопу. Николай по этому поводу долго надо мной издевался и советовал мне сдать эту стопу в музей. При наших встречах с Ниной Александровной и Екатериной Сергеевной Николай несколько раз повторял одну и ту же шутку — хватал мою ногу, поднимал её кверху для всеобщего обозрения и возглашал: „Смотрите, вот эта нога“».

Конечно же, смеялся он отнюдь не над товарищем. Это был наглядный способ высмеять площадное в поэзии, зарифмованную «злобу дня», ну и то густопсовое тщеславие, без которого немислима эстрада.

Чаще и охотнее всего друзья посещали кафе «Домино» на Тверской. Там было тесновато, зато как-то теплее — может, оттого, что атмосфера была свойской. К тому же в кафе можно было перехватить чего-нибудь в буфете — то стакан простокваши, а то, если повезёт, тарелку каши. В «Домино» они слушали остроумные вирши Арго и Адуева, стихи имажинистов Шершеневича, Мариенгофа, Кусикова. Миша Касьянов был ярым поклонником Вадима Шершеневича, восхищался богатством и неожиданностью его образов — Заболоцкий же отзывался об этом поэте скептически: дескать, в стихах много невнятицы, да и звучат неважно...

«Часто бывал в кафе Сергей Есенин, русский круглолицый паренёк, начинавший входить в славу своими стихами: „Я последний поэт деревни“, „Хулиган“ и другими в таком же стиле, — вспоминал Касьянов. — Ходили

мы в это кафе почти всегда только вдвоём с Николаем, так как наши знакомые по вечерам преподавали в каких-то школах и были заняты. Возвращаясь ночью, мы декламировали стихи и часто натыкались на патрули, которые принимали нас за пьяных, но, удостоверившись в нашем трезвом состоянии и проверив документы, отпускали с миром. Грабители на нас ни разу не нападали, по-видимому, из-за нашего скромного одеяния, да и взять с нас действительно было нечего».

Разумеется, для Заболоцкого эти походы были интересны не просто знакомством с «живыми» поэтами, с манерой их чтения. Он схватывал на лету новые веяния в поэзии — и осмысливал, изучал, подвергал критическому разбору происходящие в литературе явления.

Николаю было 17 лет, он ещё не вышел из поры стихийного ученичества, хотя, надо полагать, относился к нему, согласно своей натуре, вполне осознанно. Без сомнения, он отдавал себе отчёт в том, что подражание и стилизация — естественный и необходимый этап, который должен пройти каждый молодой поэт, прежде чем отыщет свой собственный голос, язык и стиль. Об этом, собственно, говорят сами его тогдашние стихи. Правда, от них мало что уцелело, но и по тому, что сохранилось, видно, что на пути к себе он перепробовал множество стилей и манер. Примеры для подражания находились — от классиков прошлых веков, известных и полузабытых, до современников, тех, кто был на слуху, — а вот безусловных кумиров у него явно не было. Обладая цепкой памятью, он пытался постичь русскую поэзию во всём её объёме и поначалу делал это больше по наитию, нежели осознанно. Вряд ли тогда он понимал, что *собственный голос* не появляется сам по себе. Форму определяет содержание. Если внутри тебя ещё не «созрело» собственное содержание, то откуда же взяться и неповторимому голосу.

По воспоминаниям Михаила Касьянова, бывали деньки, когда они с Николаем забрасывали к чертям должное — медицину с её анатомическими опытами — и, как в желанный омут, бросались в опыты поэтические, наперебой сочиняя триолеты, октавы, сонеты, буриме. Конечно, эти экзерсисы больше были шуточной игрой, нежели занятием серьёзным, однако всякий опыт, даже вроде бы и бесполезный, имеет свой смысл. Не таким ли способом отсеивается в конце концов всё ненужное?..

К плодам этих забав относится иронический сонет Николая, названный им *вульгарным*:

Пошли мы с Ванькой в променаж  
Вдоль по Тверскому по бульвару.



Тут я вошёл, конечно, в раж  
И, значит, дамского товару  
Заворотил словечек пару,  
Такую — хоть по морде мажь.  
Она сказала мне: «Нахал» —  
И батистовенький платочек  
Тотчас, как тряпка, мокрым стал.  
Люблю антиллитигентных дочек.  
А так — какой же я нахал?  
Я даже скромный, между прочим.

Учительница-опекунша Нина Александровна Руфина наставительно сказала, что сонет не может быть вульгарным, что это понятия несовместимые, — но сочинителя нисколько не переубедила.

Конечно, это экспромт, озорство. Быть может, в нарочитой грубоватости языка и тона кто-то разглядит лишь задетое достоинство попавшего в столицу провинциала? Наверное, не без того... Однако куда явственней в этом «вульгарном» сонете другое — молодой поэт чувствует, что ему тесно в отживших свой век классических формах стиха, и резко отстраняется от их мертвящей красоты.

Совершенно из другой оперы было новое стихотворение, в духе «пушкинских подражаний древним». Михаилу оно так понравилось, что он тут же записал миниатюру, — так и дошла она до нас:

Грозный Тартар бурей стонет,  
Тени лёгкие летят,  
Дубы чёрные скрипят,  
Радость светлую хоронят.  
Где-то там горит заря,  
Ароматы ветер носит.  
Верю — радость в сердце бросит  
Золотые якоря.

Не отражение ли это их студенческой полуголодной жизни, с её преодолевающим хаосом, сквозь мглу которого всё-таки светит надежда?..

Этой надеждой была — поэзия.

Как-то двое товарищей читали свежую книжку «Динамостихи» —

«кажется, Садофьева». Автор клеймил Бальмонта: дескать, его крикливые сонеты «солнца, мёда и луны» — дело конченное и «рабочим не нужны». Как вспоминает Касьянов, Николай, хоть и не любил Бальмонта, всё же обиделся на автора стихов и сказал: «Ну что же, разве кроме рабочих и писать не для кого?» — Понятно, обиделся не за Бальмонта, а за поэзию: утилитарное отношение «пролетарских поэтов» к стихам, по сути, было оскорбительным для этой вольной стихии.

От большой поэмы, которую тогда же сочинял Николай, — её действие развивалось одновременно в лирическом и эпическом планах, воображаемом и реалистическом, современном, — в памяти Касьянова осталось лишь четыре строки:

Коломбина не знала, что её мишурное платье  
Отражает багровые блики огней...

.....

По снежным полям скрипит обоз —  
Голодной, холодной Москве везут хлеб...

Приведём один из самых ярких отрывков из воспоминаний Михаила Касьянова, ненароком показывающий его друга в момент зарождения того стихотворения, откуда, похоже, начинается настоящий Николай Заболоцкий:

«Иногда днём, когда не было практических занятий, мы пропускали лекции и уходили в Румянцевскую библиотеку, читали там разную изящную литературу, заглушая голод частым курением. Однажды, проходя по курительной комнате от двери к окну, Николай сказал: „Как тут трещит паркет“. Вдруг в глазах у него появился блеск. Он бросил недокуренную „цигарку“ и сейчас же ушёл в читальный зал. А вечером Николай прочёл мне своё новое стихотворение:

Из окон старой курильни,  
Где паркет трещит лощёный,  
Посмотри на дряхлую площадь.  
Там ещё не падают зданья,  
Там ещё не ропщут скифы,  
Голубые глаза округлив.  
Там за поездом автомобилей  
Еле скачет на чалой кляче

Мирликиец жёлтый и злой.  
Ковыляют за ним скифы,  
И мальчишка ловит сопливый  
Малиновую епитрахиль.  
В окне старой курильни  
Хохочет охочий Арий  
И тощих пощёчин ждёт».

В прихотливом этом видении 1920 года проглядывает подлинный Заболоцкий — создатель «Столбцов». Стилизация тут сгущается, рождая живую плоть ассоциаций, ритм своевольничает, отдаваясь настоящему дыханию стиха, взгляд на действительность, историю и миф из общего превращается в самобытный. По преданию, святой Николай Мирликийский на Никейском соборе ударил по щеке ересиарха Ария, — каковы бы они ни были на самом деле, — в стихотворении возникают, словно живые.

«Тощих пощёчин» — невозможно забыть или не заметить...

Тогда, под осень нового, 1921 года, и наметилось расставание двух друзей-сочинителей из Уржума. Один всё твёрже выходил на поэтическую стезю — другой удалялся по дороге медика. И впоследствии, припоминая прошедшее, Михаил Иванович Касьянов уже точно понял это:

«Во всех несерьёзных и серьёзных упражнениях в стихосложении, которыми мы занимались дома, а иногда и публично, в гостях у наших знакомых или у их друзей, Николай всегда забивал меня быстротой и лёгкостью, с которыми он слагал свои буриме и другие поэтические мелочи. Окончательно он убил меня во время встречи нового, 1921 года. Это было где-то в Замоскворечье у знакомых наших знакомых в большой, почти нетопленной, комнате. На столе стояло весьма скромное (в складчину) угощение. После еды мы страшно дурачились: играли в какие-то подвижные игры вроде жмурок, немного танцевали, ставили театрализованные шарады. Наконец все уgomонились и решили заняться более интеллектуальными развлечениями. Было предложено объявить конкурс на скорость создания эпиграммы на любого из присутствующих. Николай мгновенно написал четыре строки, посвящённые Екатерине Сергеевне Левицкой:

Ваша чудная улыбка  
Есть улыбка Саламбо.  
Вы — прекраснейшая рыбка,

Лучше воблы МПО.

(Московское потребительское общество)

Я же всё ещё рожал свой каламбур, безнадежно отстал и совсем осрамился. Так постоянные неудачные для меня соревнования с Николаем постепенно отучили меня от стихосложения. Я всё больше и больше стал интересоваться медициной».

## Расставания и встречи

С начала 1921 года студентам в Москве стало ещё голоднее. Усиленный паёк на медицинском факультете сняли. Хлеба выдавали всё меньше: сперва по полфунту, потом по четвертушке и, наконец, по восьмушке (50 граммов). Медицина Николаю была неинтересна, есть было нечего — пришлось ему вернуться в Уржум.

Тяжко было возвращаться восвояси, ничего не добившись.

Домашним жилось нелегко; отец с трудом восстанавливался после болезни. В Уржуме тоже было голодно, хотя и не так, как в Москве. Кругом разруха, эпидемии «испанки» и тифа.

«Весной всей семьёй вскопали землю на дедовской „ободворице“ и грядки у дома, — пишет Никита Заболоцкий. — Всё лето с нетерпением ждали урожая картофеля, гороха, овощей, без которых было немыслимо прокормиться зимой. Николай неохотно помогал в домашних делах и большую часть дня отсиживался на своём чердаке — читал, занимался, писал стихи. Вместе с младшим братом с ужасом наблюдал он оттуда, как мимо их дома к кладбищу тянутся подводы с трупами людей, умерших от голода, брюшного тифа и жестокого гриппа. Покойников везли прямо в телегах, без гробов, едва прикрыв белым покрывалом».

Что до Михаила Касьянова, то он остался в Москве и вскоре совсем обессилел от недоедания. К сессии у него из еды были лишь кислая капуста и бутыл с постным маслом. На экзамены шёл, шатаясь от головокружения. С трудом сдал сессию и сразу же отправился домой. Путь долгий, а на дорогу выдали только соль и спички, на которые хлеба не выменяешь. Когда добрался до своей Шурмы и вступил на порог, родной дядя не признал в тощем оборванце своего племянника. Замахал руками: «Не подаём! Не подаём!» Все каникулы Миша отъедался да отсыпался под своим кровом. Потом перебрался в сельскую школу — друзья поселили его в пустом классе, где в тишине и покое Касьянов принялся за стихи. «Онегинскими строфами изложил я впечатления от своей дороги из Москвы в Шурму, написал октавами письмо Борису Польнеру в Уржум, — вспоминал он. — Вскоре получил от Бориса письмо в прозе, а от Николая в стихах. Николаево послание было написано на обороте каких-то дореволюционных бланков по страхованию недвижимого имущества, по-видимому, заимствованных в каком-нибудь учреждении. Стихи на случай сохранились...»

Здорово, друг, от праздной лени  
Или от праведных трудов,  
Но пред Шурмою я готов  
Сегодня преклонить колени!  
Прими, задумчивый поэт,  
Мой легкомысленный привет!

Долготерпению во славу  
Не разбирай моих затей.  
Здесь не гекзаметр, не хорей,  
Здесь не Онегин, не октавы —  
Но просто сброд из всяких строк,  
Не знаю, будет ли в них прок.

.....  
Итак, поэт, проходит лето,  
И осень в воздухе плывёт,  
Уж Муза зимней вьюги ждёт,  
И валенки уже надеты  
На Музиных святых ногах —  
Такой пассаж. Ну прямо — ах!

А я, переменив решение,  
В Лито лечу стремленьем злым.  
Послал прошение заказным  
И жду ответного решения.  
О. Н. О. решил не задержать  
Поэта командировать.

Итак, быть может, через месяц  
Или, быть может, через два  
Тебя я встречу, голова,  
В Москве. Ну, покрехтим, брат, вместе  
Или при случае вдвоём  
Слезу единую прольём.

Как видим, после первой неудачной попытки устроиться в Москве восемнадцатилетний Николай отнюдь не пал духом — он собирался с силами, желая вернуться в столицу и продолжить образование.

Лито, куда он летел «стремленьем злым», было Литературным отделом Народного комиссариата просвещения — и там работала творческая студия Валерия Брюсова. Известный поэт преобразовал эту студию в 1921 году в новый, Высший литературно-художественный институт. Туда, по предположению Никиты Заболоцкого, и намеревался поступить на учёбу его отец, и «О. Н. О.», то есть отдел народного образования, по-видимому, обещал поддержку.

Но это — планы. О работе  
Моей теперь поговорим.  
Я чистым стал, как херувим,  
Отбросив чёрные заботы.  
Иначе: мыслью не грешу,  
Стихов любовных не пишу.

Писал я драму. Были люди,  
Средневековый мрачный пыл.  
Но я, мой друг, увы — застыл  
На «Вифлеемском перепутье»,  
Зовётся драма так моя —  
Конца же ей не вижу я!

Далее несколько строф с упрёками: друг ленится, не пишет: ну, коли валяешься — так пиши хотя бы в своей кровати!

А в ней, во славу всей России  
Иль докторской своей души,  
Октавами хотя пиши  
Рецепты от дизентерии.  
Помилуй бог — ведь ты талант,  
Не медицинский арестант!

По этим отрывкам ясно: молодой Заболоцкий видел в своём ровеснике поэтический дар — и потому никак не мог смириться с мыслью, что товарищ напрочь увяз в медицине.

Ну, не сердись. Прощай покуда...

Хоть драма всё ещё вчерне —  
Но надоела страшно мне  
Листов исписанная гряда.  
Пиши ко мне в Совхоз. Прощай.  
Твой Заболотский Николай.  
21. 07. 1921.

Миша Касьянов наконец-таки отошёл от московской голодухи и приехал в Уржум повидаться с друзьями. К тому времени Николай уже передумал ехать в Москву — теперь он собирался в Петроград.

Что заставило его переменить решение? Сын-биограф пишет: родители упрекали Николая, что он недостаточно заботится о семейных нуждах. Отцу и матери хотелось, чтобы их первенец не витал в облаках, а получил надёжную профессию, дающую кусок хлеба. «Возможно, эти разговоры в какой-то степени повлияли на Николая. Он посоветовался со школьным товарищем Н. Резвых, приехавшим на каникулы и уже окончившим первый курс Петроградского педагогического института, и решил, отказавшись от Лито, тоже поступить в Педагогический институт. Педагогом он быть не собирался, но профессия учителя могла оказаться не лишней, примирив его с желаниями родителей и дав запасной шанс в жизни».

Так и разошлись пути-дороги Николая и Михаила.

Поначалу, конечно, часто обменивались письмами, но постепенно переписка угасла. Касьянову, с головой ушедшему в медицину, было не до стихов, хотя о друге не забывал. В декабре 1924 года, приехав на каникулах в Ленинград, пытался найти Заболоцкого, но встретиться так и не удалось.

До 1932 года Михаил Касьянов работал врачом в Саратове, потом вернулся в Москву. Наверное, через земляков отыскал адрес Николая, послал ему весточку: по-видимому, интересовался жизнью, творчеством и просил прислать книгу стихов. Заболоцкий ответил письмом — от 10 сентября 1932 года:

«Дорогой Миша,

рад, что отыскался твой след. Книжка „Столбцы“ — единственная моя книжка стихов. Она вышла в 1929 году и разошлась в несколько дней как в Ленинграде, так и в Москве. Переизданий не было до сих пор, т. к. книжка вызвала в литературе порядочный скандал, и я был причислен к лику нечестивых. <...> Что касается самой книжки, то последний экземпляр её похитили у меня более года тому назад, и даже в своей работе теперь я



пользуюсь чужим экземпляром. Но этой зимой я надеюсь выпустить первый том, в который „Столбцы“ целиком войдут. <...>

Что написать о себе? В маленьком письме трудно рассказать всё. После того как судьба разъединила нас, литературой заниматься я не перестал. Писал много, но первых результатов добился только в 26 году, то есть через 5 лет после Москвы. Критика обвиняет меня в индивидуализме, и поскольку это касается *способа писать, способа видеть и думать*, то, очевидно, я действительно чем-то отличаюсь от большинства ныне пишущих. Ни к какой лит. группировке я не примыкаю, стою отдельно, только вхожу в Союз советских писателей. У меня много врагов, но много и друзей. <...> О своей личной жизни: три года как женат, и женат удачно, растёт сынок Никитушка, ему семь с половиной месяцев, весь в отца, и очень мне нравится. Когда будешь в Ленинграде — обязательно заезжай ко мне, вспомним старину, почитаем стихи, выпьем доброго ленинградского пива. В Москву я едва ли поеду — стараюсь избегать Москвы, так как мне не нравится московский литературный люд, хотя и там есть много моих друзей.

За эти годы доносились до меня смутные слухи, что ты женат, имеешь детей и усердно врачуешь болящих. Напиши мне о своей жизни. <...>

Из старых уржумцев здесь Коля Сбоев и Лиля Польнер — супруги. Они часто бывают у нас, и мы дружно живём с ними. Коля Резвых тоже здесь — он женат, родил дочку. Вижусь с ним редко...»

Встретились Николай и Михаил лишь в августе 1933 года, когда Касьянов вновь оказался в Питере...

С тех пор уже не переписывались. Михаил Касьянов на время отошёл от врачебной практики — в московской аспирантуре писал кандидатскую по патологической анатомии. В конце 1930-х годов узнал, что его старый товарищ «разделил участь многих других порядочных людей — был сослан». Целое десятилетие он ничего не слышал о поэте.

\*

В 1939-м судьба забросила Касьянова на войну — сначала это была «Польская кампания», а потом — Финская. Военным врачом прошёл и всю Великую Отечественную, дослужился до полковника — начальника патолого-анатомической лаборатории Второго Белорусского фронта.

«В начале 1947 года (вероятно, в феврале) в один из воскресных дней, включив радио, я с удивлением услышал голос чтеца, чрезвычайно

похожий на голос Н. А. Заболоцкого, — вспоминает он. — Но этого и быть не могло, он же — в ссылке, а оттуда не возвращаются. Читалось „Слово о полку Игореве“ на современном русском языке. После окончания передачи диктор произнёс: „Новый перевод ‘Слова о полку Игореве’ читал автор, поэт Николай Заболоцкий“. Я ахнул: значит, он вернулся. Сейчас же я написал Николаю Алексеевичу открытку на адрес радио с просьбой зайти. Недели через две, в марте, когда я только что вернулся с работы и повесил на стенку (на плечиках) свой китель с орденскими и медальными ленточками, как раздался звонок и пришёл Заболоцкий. Поздоровались. Он сразу бросил взгляд на мой китель и сказал: „За какие же подвиги ты получил все эти ордена и медали?“, показывая на планки. Я был потрясён прозвучавшей в голосе Николая Алексеевича горечью и смущённо произнёс: „Ну, я всё-таки с первого и до последнего дня был на войне“. От обеда Николай Алексеевич отказался и попросил чаю покрепче. После чая он немного отмяк и сказал: „Ты извини, это я неудачно сказал“. Поговорили о его будущем».

И самое главное впечатление о той послевоенной встрече:

«Потом прочёл последние (так он сказал) написанные им стихи — это была „Гроза“. Впечатление у всей нашей семьи было громадное. Даже бабушка, далёкая от поэзии, была потрясена. Я Христом Богом молил Николая дать мне возможность записать это стихотворение сейчас же с голоса, но он отказал: „Не надо. Это всё теперь будет напечатано“. Я, признаться, не очень в это поверил».

Зря не поверил: «Гроза» действительно вскоре появилась на страницах новой книги, изданной в 1948 году.

Что касается впечатления — да, *громадное*. Не иначе! Это как после лёгких напевов ранних стихов, после балалаечного брянчания шуточных куплетов, услышанных в молодости, и, наконец, после режущих слух и будоражащих ум «Столбцов» — в комнате вдруг зазвучал бы могучий небесный орган.

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,  
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.  
Всё труднее дышать, в небе облачный вал шевелится.  
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,  
Человеческий шорох травы, вещий холод на тёмной руке,  
Эту молнию мысли и медлительное появление

Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Так из тёмной воды появляется в мир светлоокая дева,  
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,  
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево  
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,  
Удивлённая, смотрит в дивном блеске своей наготы.  
И, играя громами, в белом облаке катится слово,  
И сияющий дождь на счастливые льётся цветы.

Встречались они и позже — в 1954 году: Касьянов навестил Заболоцкого на его квартире в Москве. Но разговор уже «не очень-то клеился».

А последнее свидание было в апреле 1956 года. Михаил Иванович с товарищем — оба с жёнами — «напросились» в гости к Заболоцким:

«Опять было угощение с сухими винами и более крепкими напитками вроде коньяка. Разговор был общим. Я передал Николаю десятка два моих стихов, напечатанных на машинке. Екатерина Васильевна сказала: „Давайте почитаем“. Но Николай запротестовал: „Нет, сейчас читать нельзя“. Подтекстом тут было, что стихи — это святыня и нельзя их читать за пиршественным столом».

Всё правильно понял Михаил Иванович Касьянов: стихи для Заболоцкого как были, так и остались — *святыней*...

**Глава шестая**

**...А ПИТЕР БОКА ПОВЫІТЕР**

## «В похоронном свисте революций...»

С петроградского снимка 1921 года, посланного домой в Уржум, смотрит почти что мальчик — белокурый, опрятный, в косоворотке: на переносице овальные окуляры, взор внимательный, скорее задумчивый, чем грустный. Этаким робкий, прилежный ученик; уголки губ чуть опущены — признак печали, — хотя юноше всего-то 18 лет. На обороте этой старой фотографии была надпись: «От сына Коли — студента Петроградского института имени Герцена». Для отца с матерью, наверное, и снимался на память.

Как непохож на этого примерного студента карандашный автопортрет 1925 года! Вроде бы тот же человек — да совсем не тот, хотя и прошло-то совсем немного лет. Рисунок — в манере кубизма: лицо в квадратах, ромбах, прихотливых многоугольниках светотени; линии резки, изломаны. Особенно поражают глаза: они расширены, суровы, пытливы и как будто бы искажены страстью, в которой и воля, и целеустремлённость, и мука. Сумасшедший взгляд — и предельно трезвый! Взгляд человека, беспощадно требовательного к себе и окружающему миру, человека, взыскующего правды жизни, какой бы эта правда ни была.

Фотопортрет отразил лишь внешность, рисунок же — внутреннюю жизнь, да заодно и пять лет петроградского студенчества. Как раз тот отрезок времени, когда Заболоцкий, вечно полуголодный, а то и вовсе голодая, вырабатывал собственный стиль, отыскивая свой способ писать, думать и видеть.

Август 1921 года, когда он приехал в город на Неве, был солнечным, тёплым и даже жарким. Больше всего его поразили тогда два события, произошедшие в канун его приезда: кончина Блока и гибель Гумилёва. О первой трагедии напоминали афиши с приглашением на вечера памяти поэта, расклеенные на городских стенах; о второй — шептались повсюду, в попытке узнать подробности. «Сколько утрат — умер А. Блок, уехал из России А. Белый, Н. Гумилёва — расстреляли», — позже писал Николай своему другу Мише Касьянову в письме от 11 ноября 1921 года.

Судьба, конечно, не зря изгнала Заболоцкого из Москвы и привела в Питер. Тектонический разлом эпохи, всей русской истории особенно ярко отразился именно здесь. К тому же юному провинциалу, желающему во что бы то ни стало получить хорошее литературное образование, куда как больше подходил, да и соответствовал по характеру Петроград,

превратившийся после революции в провинциальный город, нежели Москва с её столичной суетой.

Ещё недавно блестящая столица могучей империи, *колыбель революции*, Петербург-Петроград на исходе Гражданской войны стал похож на город-призрак. Революция не пощадила своей *колыбели*: из города словно бы выпили кровь. Прежде наполненный бурлящей жизнью, он сделался полуживым: населения вдвое, если не втрое меньше; кругом запустение; заводы и фабрики стоят — нет ни сырья, ни топлива. В пролетарском центре стало впятеро меньше рабочих: заводской и фабричный люд просто разбежался по деревням, чтобы прокормиться и выжить. На земле это было ещё возможно — но не на мостовых.

Несчастье оказалось городу к лицу.

«...Именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда», — писал впоследствии поэт Владислав Ходасевич в очерке «Диск» — воспоминаниях о Доме искусств, или «Диске», где он жил рядом с Мандельштамом, Зощенко, Фединым, Шкловским и другими известными личностями. И так развивал свой образ:

«Москва, лишённая торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нём насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрёл ничего нового, — но он утратил всё то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании её есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинает касаться и Петербурга: там провалились торцы, там посыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломалась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад ещё был прекрасен, и трава, кое-где пробившаяся сквозь трещины тротуаров, ещё не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей».

Собственно, это уже был не *Петербург* (понятие всё-таки дореволюционное, а если исторически — довоенное), а — *Петроград*.

«В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно, — продолжает Владислав Ходасевич. — <...> Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен, и пахло морем. <...> Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчётливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но ещё не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъёме. Голод и холод не снижали этого подъёма, — может быть, даже его поддерживали. Прав был поэт, писавший в те дни:

И мне от голода легко  
И весело от вдохновенья.

Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и пред которым поставила ряд серьёзных вопросов, относилось к литературе с особым, подчёркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики».

Вот в какую необыкновенную пору Петрограда попал сюда восемнадцатилетний, никому не известный сочинитель.

В общежитии он устроился в одной комнате с приятелями по Уржуму: Николаем Резвых, Борисом Польшером, с которыми вместе учился в Педагогическом институте, и Аркадием Жмакиным из Технологического. Как и в Москве, земляки держались вместе, стараясь поддерживать друг друга.

Но и в Питере студентам было не легче, чем в столице. Недаром, в ответ на «удручающее» послание Михаила Касьянова из Москвы, Заболоцкий воскликнул в письме от 7 ноября 1921 года: «Трудно жить, невозможно жить!» Над юношами висела постоянная угроза голода: в любой момент их могли лишить довольствия, и без того скудного. Проучились всего-то ничего, а снимут паёк — так и вовсе распустят на все четыре стороны на месяц-другой. «Всё это сейчас ещё крайне неопределённо, а потому — мучительно, — писал Николай другу. — Практические дела с каждым днём всё хужеют — бунтует душа, а жизнь не уступает. Проклятый желудок требует своих минимумов, а минимумы

пахнут бесконечными десятками и сотнями тысяч... А душа бунтует — но, увы, и она просит того же...»

Однако как уберечь последние гроши, когда в книжных лавках столько интересного! Николай не удержался — купил объёмистый том Давида Гинцбурга о русском стихосложении, «Опыты» Валерия Брюсова и ещё одну книгу по стихосложению, «сортом-двумя ниже», — «Версификацию» Николая Шебуева. Да набрал ещё стихотворных сборников и литературных журналов:

«Теперь читаю, используя всякую возможность. Хочется, до боли хочется работать над ритмом, но обстоятельства не позволяют заняться делом. Пишу не очень много. Но чувствую непреодолимое влечение к поэзии Мандельштама („Камень“) и пр. Так хочется принять на веру его слова:

Есть ценностей незыблемая скала...  
И думал я: витийствовать не надо...

И я не витийствую. По крайней мере, не хочу витийствовать. Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким вдумчивым строфам, тяготение к сильному смысловому образу. С другой стороны — томит душу непосредственная бессмысленность существования».

Обстановка в городе была напряжённой, сложной: не прошло и полгода с Кронштадтского мятежа, жестоко подавленного властью. Тысячи моряков, ещё недавно бывших «честью и славой революции», были перестреляны и казнены за то, что хотели «Советов без большевиков». А в августе, по делу так называемой Петербургской боевой организации Таганцева, были расстреляны несколько десятков человек, в том числе и поэт Николай Гумилёв, — арестованных же было около тысячи...

Гнетущая атмосфера террора и порождаемого им страха была вполне ощутимой для всех в опустошённом Гражданской войной Петрограде — и вызывала душевную смуту: «Есть страшный искус — дорога к сладостному одиночеству, но это — Клеопатра, которая убивает. Родина, мораль, религия, — современность, — революция, — точно тяжкая громада висят над душой эти гнетущие вопросы. Бессмысленно плакаться и жаловаться — быть Надсонами современности, но как-то сами собой выливаются чёрные строки:



В похоронном свисте революций  
Видишь ты кровавые персты?  
Мысли стонут, песни бьются —  
Слышишь ты?  
Это мы — устав от созерцанья, —  
От логически-невыполненных дел —  
В мир бросаем песни без названья,  
Скорбью отягчающий размер.  
Отнял мир у нас каждое желанье,  
Каждый плач, и ненависть, и вздох,  
И лица родимого страданье  
Топчет грязь подбитых каблуков.  
Как далёк восход зари последней!  
Как пустыня тяжкая щемит!  
И стоим — оплёванные тени,  
Подневольные времён гробовщики.

Проклятая, да, проклятая жизнь! Я запутался в её серых, тягучих нитях, как в тенётах, и где выход?»

Николай искал опоры в себе, в книгах — и почти ничего не находил. Однако продолжал этот нескончаемый душевный труд, незаметно сам для себя укрепляя и закаляя волю:

«Толстой и Ницше одинаково чужды мне, но божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него бога. И бьюсь. Так живёт и болит моя душа.

Конечно, все силы приложу для того, чтобы остаться здесь. Это всё же необходимо; иначе будет трудно. Но пусть будет то, что будет...

Ты пиши. Жду от тебя писем. Ведь моя жизнь так одинока, в сущности. Соседи по квартире знают меня, как грубого, несимпатичного полумужика, и я — странное дело — как будто радуюсь этому. Ведь жизнь такая странная вещь — если видишь в себе что-нибудь — не показывай этого никому — пусть ты будешь для других кем угодно, но пусть руки их не трогают твоего сердца. И в сущности, это почти всегда так и бывает. Я знаю многих людей, которые инстинктивно показывают себя другими, не теми, что есть. Это так понятно. <...>

Конечно, было бы хорошо, если бы ты как-нибудь перекатил сюда. У нас предполагается основание небольшого кружка Поэтов, причём, кажется, будет возможно и печататься. Подумай над этим и напиши мне.

Писем от тебя жду всегда. И радуюсь им».

Неизвестно, что ответил Касьянов другу. «Перекатить» он, конечно, не смог...

Где-то рядом с Николаем жили и дышали с ним одним воздухом Ахматова, Мандельштам и другие поэты, которых он читал в Уржуме и Москве, но он, кажется, и не думал заявиться к кому-нибудь из них со своими стихами, — по крайней мере ни в одних воспоминаниях нет даже и намёка на это. Вообще говоря, в своей поэтической молодости, Заболоцкий, по-видимому, и не пытался представиться ни одному из мэтров. Отчасти, наверное, из самолюбия, отчасти же понимая: из того, что написано, показывать нечего. (Потом, когда появилось своё, — идти за «благословением» было уже незачем.) Но скорее всего, он изначально решил до всего дойти собственным умом, без чьих бы то ни было советов и подсказок.

Обитатель «Диска» Владислав Ходасевич, сравнивая академические пайки в Москве и Петрограде, пришёл к выводу, что петроградцы получали гораздо меньше да и «подвоза продуктов приходилось ожидать часами».

По поводу пайков успел перед смертью печально усмехнуться Александр Блок:

Верь, читатель, — он не проза  
Свыше данный нам паёк.  
Ввоза, вывоза, подвоза  
Ни на юг, ни на восток...

Паёк *академический* выдавали по специальному списку. Куда было студентам до академической роскоши!.. Так что вряд ли Николаю и его сотоварищам по комнате в общежитии было «от голода легко». Всё свободное от учёбы время уходило на поиски заработка и добывание пищи. Вот что писал Заболоцкий Михаилу Касьянову в ноябре 1921 года: «Мой дорогой Миша, прости — за 3 месяца моего петроградского житья не послал тебе ни одного слова. Почему? Ни одной минуты не уделил ещё себе из всего этого времени — обратился в профессионального грузчика — физическая работа — всё время заняла до сих пор — сюда ещё присоединяется хроническое безденежье и полуголодное существование. 3 месяца убиты на будущее. Работал в порту по выгрузке кораблей — за эту работу получу скоро различных продуктов (шпику, муки, сахару, рыбы и пр.) общей стоимостью на один-полтора миллиона. Кроме того, заработал

тысяч 400 на лесозаготовке. На всё это думаю немного подправиться — весь обносился и исхудал, так что меня в институте многие почти не узнают. Пока с продовольственной стороны мы — я, Аркадий и К. Резвых (Борис не вынес и укатил в Уржум) различаем 3 периода в своей жизни. I картофельный, II мучной и сейчас III — жировой. Отделяется один от другого — расстройствами желудков. Сейчас живу более или менее сносно, но холодище мешает заниматься. Только что начинаю посещать лекции и начинаю зарываться в глубины человечества — сумерийские, хамитские и пр. и пр. эпохи. С журналом дело не ладится. Паёк прибавили: 1 ф. хлеба, 4 ф. крупы, 5 ф. селёдок, 1 — масла, 1 — сахару и пр. Голодать кончаю. Зато отупел совершенно и плачу над самим собой. Ничего не пишу или очень мало. Иногда выступаю на концертах — публика относится с удивлением и нерешительно хлопает».

И чуть далее:

«Живу в обществе Аркадия и Кольки Резвых. Математика и желудок. Одиночество. В Институте много славных ребят, но толку мало. Бабья нет, да и не надо. <...>

Дома положение плохо. Отец болен, совхоз шатается и пр.

Пиши мне стихи. Здесь Мандельштам пишет замечательные стихи. Послушай-ка:

Возьми на радость из моих ладоней  
Немного солнца и немного мёда,  
Как нам велели пчёлы Персефоны. <...>»

Если Николая и навещало порой вдохновение, то не весёлое:

...Но день пройдёт печален и высок.  
Он выйдет вдруг походкой угловатой,  
Накинёт на меня упругое лассо  
И кровь иссушит на заре проклятой.  
Борьба и жизнь... Пытает глаз туман...  
Тоскует жизнь тоскою расставанья,  
И голод — одинокий секундант —  
Шаги костяшкой меряет заране...

Поэзии в этих неуклюжих строках и угловатых рифмах нет — лишь

сумбурный выплеск чувств, не дозревших до стихов. Память о прочитанном «выдала» юному сочинителю готовые образы: Майн Рид кинул в подарок *упругое лассо*, Пушкин с Лермонтовым подарили *дуэлью*. Борьба за существование показалась поединком со смертью, где голод уже отмеряет шаги до барьера...

Так действовал на восемнадцатилетнего Заболоцкого Питер.

## Сады познания

В письмах 1921 года из Петрограда, собственно, меньше всего — о самом Герценовском педагогическом институте. На уме у юноши одна поэзия да ещё наивное желание научиться писать стихи с помощью пособий по версификаторству. Но что могут дать теоретики этого премудрого искусства, вроде Гинцбурга или Шебуева, не снизошедшие за отсутствием таланта до, так сказать, практики? Одно дело — Камасутра, и совсем другое — любовь. Своенравная муза почему-то всегда отворачивалась от учёных знатоков теории стихосложения: коли они вдруг начинали петь, то выходило не лучше, чем у механических соловьёв. (Валерий Брюсов, может быть, не в счёт, талант у него был, хотя больше — поза и роль мэтра, теоретика-практика, усиленно играющего мускулами и перепробовавшего весь арсенал размеров и рифм. Только вот сугубое мастерство нимало не прибавило поэзии его стихам.)

Человек, обладающий даром, сознательно или же бессознательно, ищет прежде всего поэтического содержания, а оно даётся не познаниями в стихосложении, но живой жизнью: впечатлениями, переживаниями, всем опытом ума, памяти и сердца. Версификация — дело последнее и, кажется, не очень-то и нужное, а может, не нужное вообще. Не от избытка теории глаголют уста — а от *избытка сердца*. Содержание само находит себе форму, всякий раз — единственно возможную. Ритм и интонацию подсказывает сама стихия рождающегося слова. Русский язык словно бы изначально предназначен для поэзии, ведь *стих* и *стихия* — однокоренные слова. Давным-давно они органично перешли из греческого в старославянский, а затем и в современный русский язык, чтобы определить нечто, подобное *творению*. Не сам ли Бог-Слово благословил этими понятиями русскую поэзию...

Понимание всего этого пришло к Заболоцкому через годы и годы после его петроградской юности, а тогда он только интуитивно приближался к сути поэзии и к тайнам мастерства.

Сам великий город в его прекрасной нишей нагоде незримо выковывал дух в юном художнике, прибывшем сюда из глубин России по наитию ума и сердца.

Несмотря на революционные потрясения, Северная столица сохранила костяк своей знаменитой академической школы, так что почерпнуть из кладезя знаний молодым людям было у кого.

Разумеется, для Николая важнее всего были стихи. А институт, образование — постольку-поскольку. Педагогом он быть не собирался, хотя считался способным студентом и даже одно время испытал малодушный соблазн свернуть с назначенного пути и посвятить себя «всецело науке». Но так и так хорошее образование ему было необходимо. Громадные пробелы в знаниях сделались для него очевидными сразу же при поступлении в Педагогический институт.

Его экзаменовал декан общественно-экономического факультета профессор Василий Алексеевич Десницкий, известный литературовед. Десницкий был чрезвычайно яркой и незаурядной личностью. Он родился в Нижегородской губернии и был из «духовного звания» (отец — дьякон). Там же, в Нижнем Новгороде, окончил духовную семинарию, а потом увлёкся революционными идеями и примкнул к социал-демократам. В молодости познакомился с Максимом Горьким и дружил с ним до самой смерти писателя. Получил ещё одно образование — историко-филологическое. По натуре был учёным-созидателем и педагогом-организатором. Десницкий глубоко изучал русскую классику: Пушкина, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Горького и других; воспитал десятки известных литературоведов и педагогов. Его учениками считали себя такие выдающиеся учёные, как академик Виктор Максимович Жирмунский, Борис Викторович Томашевский, Павел Наумович Берков.

Василий Алексеевич Десницкий, собственно, и создал Герценовский институт в Питере: через посредничество Горького обратился в 1918 году к Ленину (с которым был знаком по партийной работе), предложив создать высшее педагогическое учебное заведение нового типа — с полным университетским образованием. Проект Десницкого был тогда же одобрен декретом наркома просвещения. Под новый институт отдали здание бывшего Императорского Воспитательного дома на набережной реки Мойки.

Василий Алексеевич умел разбираться в людях — и разглядел в юноше Заболоцком, поступавшем на литературное отделение факультета, немалые творческие задатки. Декан не раз выручал молодого студента на регулярных «чистках», когда бдительные комиссии выискивали в рядах студентов и преподавателей тех, кто происхождением относился к «имущим классам». Хотя отец Николая был из крестьян и всю жизнь проработал на земле, для советской власти образца 1920-х годов он был «эксплуататором», потому что занимал должность агронома. За такое сомнительное родство его сын мог в два счёта вылететь из рядов студентов. Если бы не партийное прошлое Десницкого и не его авторитет, жизнь

Заболоцкого сложилась бы иначе. Точно так же Десницкий помогал и своим коллегам: в 1921 году, обратившись с письмом к Ленину, он вызволил на свободу известного историка Николая Александровича Рожкова.

Осенью 1947 года комиссия по организации семидесятилетнего юбилея В. А. Десницкого обратилась к Николаю Заболоцкому, лишь недавно отбывшему срок заключения, с просьбой написать стихотворение в честь педагога для специального выпуска институтских «Учёных записок». Сочинять подобные вещи поэт, понятное дело, не любил, как пишет об отце его сын Никита, — да почти никогда и не принимался за такое. «В отношении близких ему людей прибегал в таких случаях к шуточному жанру — писал добродушно-иронические, шутливые, по его выражению, „стишки“, предназначенные исключительно для домашнего пользования». Но Василия Алексеевича Десницкого поэт уважал по-особому, испытывая огромную благодарность к своему заступнику.

Когда поэта арестовали в 1938 году, Василий Алексеевич был одним из немногих, кто его защищал перед властями. Десницкий обратился с письмом к Сталину, сказав, что высоко ценит своего бывшего ученика как поэта и что тот никак не может быть «врагом народа». С вождем он был лично знаком ещё по большевистскому подполью и обращался к нему, как прежде, называя — Коба и подписываясь своей партийной кличкой — Лопата. Что Коба ответил Лопате и ответил ли вообще, неизвестно — только участи арестованного это ходатайство никак не переменило.

В декабре 1947 года Николай Алексеевич сердечным письмом поздравил с семидесятилетним юбилеем своего учителя:

«Сколько раз за эти годы мы с Катей вспоминали Вас как отца родного и вместе с этим вспоминали нашу молодость и Герценовский институт. <...> Я очень хорошо помню, как в августе 21 года, когда на стенах города были расклеены афиши о траурных вечерах по поводу смерти Блока, Вы впервые экзаменовали меня, принимая в институт; как я безбожно путал Пугачёва со Стенькой Разиным, но зато назубок знал символистов вплоть до Эллиса, и как Вы тогда мне сказали, что в голове у меня порядочная каша и что если и есть в ней что-нибудь порядочное, — то это безусловное желание учиться. В сущности говоря, тогда решалась судьба этого вятского паренька; эту судьбу решали Вы, и Вы решили её человеколюбиво и правильно. А в институтские годы сколько раз Вы охраняли меня! <...> Всегда, вплоть до последних лет моего отсутствия, я чувствовал Вашу внимательную и направляющую руку».

А в мае следующего года послал Десницкому письмо со

стихотворением «Садовник», ему посвящённым:

Но, если есть награда за труды, —  
Что может быть отраднее сознания  
Садовника, взрастившего сады  
На каменистых склонах мироздания?  
.....  
В его садах — избыток дивных сил,  
Их не убьют ни засухи, ни стужи...  
Учитель мой! Ты не сады растил —  
Ты строил человеческие души.  
И далее:  
Согретый солнцем сталинских идей  
И до конца поверив в человека,  
Ты вызвал к жизни тысячи людей —  
Строителей невиданного века.  
.....  
Поистине, сегодня счастлив ты,  
Живых сердец взыскательный садовник!

Что и говорить, юбилейное стихотворение Заболоцкий сочинил добросовестно. Однако это дело техники — не вдохновения. Муза, конечно, поморщилась: человекоугодничество. Муза, она хоть и мифическое существо, но крайне привередливое, и такое ей не по нраву. Но не отвернулась насовсем, простила — потому что любила Заболоцкого.

Никита Заболоцкий в своей книге написал, что отец, как обычно, прочитал стихотворение своему другу Николаю Леонидовичу Степанову. Тот, по всегдашней своей осторожности, предостерёг: в образе садовника уже давно грузинские поэты воспевают Сталина: «Как бы не сочли недозволенной дерзостью уподобление мудрому садовнику не вождя, а профессора-литературоведа, не усмотрели бы в этом какой-либо нежелательный смысл. В то тревожное время приходилось учитывать даже такие едва уловимые нюансы». Заболоцкий не внял предостережению, посчитав, судя по всему, что вполне обезопасился непременным «солнцем сталинских идей».

Сам он не смог приехать на юбилей учителя: в Подмосковье жил в то время «на птичьих правах», да и денег не водилось. Но в Ленинград как раз собиралась его жена, Екатерина Васильевна, — ей надо было присмотреть



за небольшим наследством — дачей, которую ей оставил дядя. Выпускница Герценовского института, она и передала стихотворение бывшему декану. За обедом в доме Десницкого на Кировском проспекте профессор с женой подробно расспросили её о Заболоцком. «За чаем, когда Василий Алексеевич ушёл в свой кабинет, его жена Александра Митрофановна сказала, что они читали „Садовника“, что Василию Алексеевичу неудобно хвалить воспевающее его стихотворение, но оно ему понравилось, и он даже пожелал, чтобы после его смерти „Садовника“ прочли на его могиле».

Всё это по-человечески трогательно, но собственно к поэзии отношения не имеет, — истинную цену стихотворения Заболоцкий, конечно, понимал лучше других.

Однако вернёмся ко временам его обучения в Петрограде.

«Характерными чертами студенческой жизни 20-х годов была самостоятельность, возможность и способность отстаивать на дискуссиях и семинарах свою точку зрения, широта интересов, — пишет Никита Заболоцкий. — Не было ещё возникшей позднее самоизоляции специалистов. Гуманитарии заинтересованно общались с биологами, физиками, математиками. Писатель Геннадий Гор, учившийся в то время в Петроградском университете, вспоминал: „Рядом со мной жили студенты: физик, биолог, этнограф... В Университете между ‘физиками’ и ‘лириками’ не было китайской стены. Филологи заглядывали на лекции Ухтомского, Филипченко, Хвольсона (профессора — физиолог, генетик, физик. — Н. З.), а биологи и физики — на заседания университетской литературной группы“. Похоже, что подобное общение студентов разных факультетов существовало и в Педагогическом институте. В конце 1921 года все они с одинаковым интересом слушали организованные здесь в пользу голодающих платные лекции крупных учёных: литературоведа В. А. Десницкого — о зарубежной литературе; историка Н. А. Рожкова — о теории познания; ботаника, будущего президента Академии наук В. Л. Комарова — о естествознании и этике. <...>

Разговоры о теории относительности, о чувствительности растений, о развитии генетики сменялись спорами о театре Мейерхольда, о живописи Шагала и Малевича, о новых течениях в литературе. Такая атмосфера взаимопроникновения гуманитарных и естественных знаний соответствовала ещё в детстве возникшему стремлению Заболоцкого к целостному постижению окружающего мира.

Прилежно занимался Николай и по институтской программе — увлечённо слушал лекции по истории искусств известного археолога и искусствоведа Б. В. Фармаковского, успешно работал в семинаре по

древнерусской литературе профессора Д. В. Бубриха, старался не пропускать лекций популярного у студентов В. А. Десницкого. Наиболее активные студенты Педагогического института и Петроградского университета ходили слушать лекции в существовавший тогда Институт истории искусств, где преподавали В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Л. В. Щерба, Б. М. Эйхенбаум и другие видные учёные. Трудно себе представить, чтобы Заболоцкий, увлекавшийся в студенческие годы филологией, тоже, хотя бы выборочно, но посещал эти лекции».

## Проба голоса

Удержаться в Питере, при беспросветной жизни впроголодь и постоянной угрозе «чисток» юноше было очень и очень нелегко. В 1923 году от недоедания у двадцатилетнего Николая обострилась цинга, он даже попал в больницу. Вышел оттуда, прихрамывая от боли в ноге, и одно время ходил, опираясь на палку. А ведь ещё недавно был сельским здоровяком, с густым румянцем на щеках. Тогда же, в 1923-м, его впервые и заметила худенькая улыбчивая первокурсница из Пединститута Катя Клыкова: не по летам серьёзный молодой человек, опершись на самодельную трость, о чём-то оживлённо беседовал с приятелями. «Посмотри, вон тот, с палочкой — Николай Заболоцкий, поэт», — сказала ей подруга...

По немногим сохранившимся стихам того времени видно, что поначалу на сердце у этого студента была тяжкая смута. В «Небесной Севилье» (1921) речь идёт от первого лица, которое называет себя выпренно и странно — «профессором отчаянья», страдаемым «тоской». Этими же мотивами пронизано стихотворение «Сердце-пустырь», датированное 1921–1922 годами:

Прозрачней лунного камня  
Стынь, сердце-пустырь.  
Полный отчаянием каменным,  
Взор я в тебя впери.  
С криком несутся стрижи, —  
Лёт их тревожен рассеянный,  
Грудью стылой лежит  
Реки обнажённый бассейн.

О река, невеста мёртвая,  
Грозным покоем глубокая,  
Венком твоим жёлтым  
Осенью сохнет осока.  
Я костёр на твоём берегу  
Разожгу красным кадилом,  
Стылый образ твой сберегу,  
Милая.

Прозрачней лунного камня  
Стынь, сердце-пустырь.  
Точно полог, звёздами затканный,  
Трепещет ширь.  
О река, невеста названная,  
Смерть твою  
Пою.

И, один, по ночам — окаянный —  
Грудь  
Твою  
Целую.

Это стихотворение, вместе с двумя другими, Заболоцкий поместил в первом и последнем номерах самодельного студенческого журнала «Мысль». Очевидно, оно отражало его поиски ритма, но, возможно, было дорого ему и тем, что запечатлело тогдашние настроения. Однако похоже, что душевная смута, отчаяние и тоска усугублялись подсознательным пониманием того, что это пока ещё не самостоятельные стихи, что свой голос ещё не найден. А будет ли найден — ещё вопрос. Потому он, перед лицом звёздной вечности, так обострённо и ощущал своё окаянное одиночество. Тем не менее — в поисках себя — решительно прощался с прошлой жизнью и прошлыми стихами...

Мудрено сочинителю, тем более молодому, заговорить в русской поэзии собственным, неповторимым голосом — как только что проклюнувшейся в ночи звезде засиять на небосклоне, усыпанном сверкающими светилами. Но именно такую задачу Николай себе и ставил, на меньшее не соглашался. Это отнюдь не авторские амбиции — а условия существования истинного художника; не тщеславие — но честолюбие. Иначе просто нельзя тому, кто по-настоящему уважает поэзию и свой труд в ней.

Молодой Заболоцкий целенаправленно, упорно и последовательно шёл к самому себе, изучая прошлых и современных поэтов и одновременно подвергая взыскательному суду свои стихотворные опыты.

Чем серьёзнее художник, тем более и одинок. Одно дело — примеривать, подражая, чьи-то личины, и совсем иное — стать самим собой.

Поэт и художник Игорь Бахтерев впоследствии вспоминал один из эпизодов молодости — посиделки «отцов-основателей» обэриутства в доме Даниила Хармса, — по времени это примерно 1926–1927 годы. Молодые поэты то ли в шутку, то ли всерьёз затеяли опрос: кто на кого хотел бы походить?

Хармс ответил не сразу — и неожиданно для всех:

— На Гёте. — И добавил: — Только таким представляется мне настоящий поэт.

«На тот же вопрос ответил и Введенский:

— На Евлампия Надькина, когда в морозную ночь где-нибудь на Невском беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками.

Надькин — популярный в те годы персонаж из „Бегемота“, ленинградского юмористического журнала. Длинноносый человечек символизировал обывателя нэповских лет. Выбор оказался не случайным, у меня и моих друзей было немало случаев убедиться в этом.

Вспоминаю и собственный ответ. Моделью для подражания оказался Давид Бурлюк, „только с двумя глазами“ — счёл я необходимым оговориться.

Игра продолжалась, очередь дошла до Заболоцкого.

— Хочу походить на самого себя, — ответил он не задумываясь.

Запомнились не только серьёзно прозвучавшие слова, но и то единодушие, с которым их встретили Хармс, Введенский, Леонид Липавский. Стоило Заболоцкому скрыться за дверью, тут же его обвинили в эгоцентризме, мании грандиозо, многих других грехах, в равной мере незаслуженно.

Безрезультатно пытался я напомнить, что Заболоцкий действительно никому не подражает, а ему подражали многие. Примеров подражания каждый из нас знал множество.

Всегда и во всём оставаясь самим собой, он не был подвержен распространённому недугу (иначе не скажешь) играть заранее придуманную для себя роль. Актёрство не на сцене — в жизни — было не только чуждо, глубоко отвратительно Заболоцкому».

Без сомнения, точно так же думал Николай и несколькими годами раньше, когда только определялся как поэт, когда никаких «первых результатов» ещё не было и, уж конечно, когда ему ещё никто не подражал.

В студенческой жизни ему некогда было предаваться отчаянию и тоске. Заболоцкий деятельно участвовал в создании институтского кружка поэтов, который был назван «Мастерской слова», выступал на вечерах с чтением своих произведений — впрочем, без успеха и видимого одобрения

слушателей. С поэтами в рядах будущих педагогов Николай как-то не сошёлся. Среди них выделялся Николай Браун, впоследствии довольно известный стихотворец. В отличие от Заболоцкого, с его ещё не перебродившими мыслями и чувствами, смутными образами и метафорами, Браун сочинял свои ясные, благозвучные стихи в полном согласии с традицией.

«Литературная молодёжь Педагогического института более сочувствовала Брауну, — пишет Никита Заболоцкий. — В ходу были артистический эффект, яркая внешняя образность, склонность к декадентству. К Заболоцкому относились несколько свысока. <...> Кое-кто пытался покровительствовать ему и наставлять на путь истинный, что, конечно, отталкивало молодого человека с остро развитым чувством достоинства. Он стал избегать откровенных высказываний о своих взглядах и последовал совету, данному им Касьянову: „Если видишь в себе что-нибудь, не показывай этого никому, — пусть ты будешь для других кем угодно, но пусть руки их не трогают твоего сердца“.

Постепенно Николай стал отходить от активного участия в „Мастерской слова“. В результате, когда с февраля 1923 года в издательстве „Прибой“ начал выходить общегородской студенческий литературный и общественно-политический журнал „Красный студент“ и молодые литераторы института стали в нём печататься, Заболоцкого среди них не оказалось».

Писать стихов он, конечно, не перестал, но, наверное, стал строже относиться к публикациям — как собственным, так и своих ровесников. Вряд ли его устраивал уровень творчества студентов, коль скоро даже о стихах лучшего из них, Николая Брауна, Заболоцкий отзывался чем дальше, тем пренебрежительнее. Николай Леонидович Степанов позже припомнил обычный отзыв в 1930-е годы своего друга о Брауне: «Ему бы только молочные бидоны возить» — что касалось, вероятно, усиленного внимания Брауна к звучности стиха.

После стихотворения «Сердце-пустырь» и до 1926 года из стихов Заболоцкого не сохранилось почти ничего. То ли он всё уничтожил (скорее всего), то ли никому из друзей стихов не показывал и потому ни один из знакомых ничего не уберёг. Известно только, что на старших курсах института Заболоцкий писал шуточные экспромты своей однокурснице Ане Ключевой, а подруге её, Кате Ефимовой, посвятил вполне серьёзное стихотворение «Любовь», которое сам же потом и сжёг.

Полный курс обучения Заболоцкий завершил в 1925 году, но до весны 1926 года у него оставалась задолженность по педагогической практике в

школе. А свидетельство об окончании института он получил лишь в 1927 году...

В августе 1933 года в Ленинграде встретились три друга по юности в Уржуме: Заболоцкий, Касьянов и Сбоев. Михаил заговорил о совместном с Николаем московском голодном житье-бытье, а Сбоев в ответ сказал, что, дескать, и в Петрограде в 1921–1922 годах они с Николой немало поголодали. Тут, по словам Касьянова, Николай Алексеевич вдруг оживился и признался: петроградская голодовка была для него временем плодотворным. Лежал он тогда в кровати без сил от истощения — но «в то же время вырабатывал собственный стиль».

Николай Сбоев оставил свои воспоминания, и начало их относится к осени 1925 года, когда он приехал в Ленинград «для приискания себе места в жизни». Стало быть, с Николой они голодали не ранее 1925 года. Очевидно, Касьянов, передавая слова друга, запомнил точную дату и ошибся на три года.

Разумеется, над созданием своего стиля Заболоцкий думал все годы студенчества, но в 1925 году, по-видимому, в его «наработках» появились явные проблески. Дорогое воспоминание!..

Вот что пишет непосредственный участник событий Николай Сбоев в очерке «Мансарда на Петроградской (Заболоцкий в 1925–1926 годах)»:

«У меня был хороший адрес: Ленинград, ул. Красных Зорь, д. 73/75, мансарда, комн. 5.

Этот адрес я предпочёл другим из-за значительности и звучности слов: „Ленинград“ и „мансарда“.

Комната 5 до моего приезда была достаточно заселена: в ней жили студенты Педагогического института Блохин Александр Михайлович — тверяк, Заболотский Николай Алексеевич — из Уржума и Резвых Николай Петрович — также из Уржума.

Товарищи потеснились, отвели мне угол и помогли склотить из большого ящика сооружение для сна.

Жили в нужде; во владении этой братии были предметы фабричного производства — примус, чайник, котелок для варки пищи, связка бутылок для керосина. Другие предметы индивидуального пользования были привезены из дома — это были плетённые из ивы корзины, складные ножики и кое-какая посуда.

Н. П. Резвых был обладателем карманных часов — единственного предмета роскоши на четверых.

У нашей комнаты площадью примерно в десять метров потолок был скошен по ходу крыши, и воздуху в ней было маловато. Окно давало свету

достаточно. Вид из окна был превосходен: за Большой Невкой мы любовались частью Выборгской стороны до Политехнического института и Сосновки. Паровое отопление работало исправно, но всё же при северном ветре вода в чайнике застывала.

Стипендия у студентов в ту пору была, видимо, очень незначительна — питались „во вся дни“ чёрным хлебом с кипятком. Но в какие-то дни благополучия бывал и приварок — каша с постным маслом или варёная треска. Теперь такой трески нет — нет такого запаха: от одной сваренной трещины дух шёл по всем проходам и комнатам мансарды. Нередко бывали дни полного безденежья у всей братии; флегматичные особи в эти дни томились на ложах своих, а другие изматывали последние силёнки, мыкаясь по стогнам града в поисках любой работы, но работы не было. <...>

В один из таких голодных дней Н. П. Резвых поднялся с топчана, мрачно, без звука исчез.

Бедняга не вынес и продал часы (память об отце); принесённую им снедь мы все вкушали в молчании».

Как бы туго ни приходилось, друзья были духом бодры: читали стихи, спорили о политике и искусстве, пели. «Общее пение допускалось в редких случаях по причине чрезвычайного проникновения звуков во все норы мансарды. Пели мы: „Вечерний звон“, „Быстры, как волны...“, „Вниз по матушке по Волге...“, „Чёрный ворон“ и из духовных песнопений — „Хвалите имя Господне...“, „Се жених...“, „Чертог твой...“. Голоса у всех были изрядные, выходило вполне хорошо, особенно в части духовных песнопений».

Изощрялись в шутках, особенно по поводу тяжёлого воздуха крошечной комнаты поутру; Заболоцкий и Резвых рисовали весёлые карикатуры. «Помню, что один из наших товарищей по Уржумскому реальному училищу, Польшнер Борис Александрович, уже успел к тому времени окончить экономический вуз и работал бухгалтером в Сарапуле. Он сразу же там женился, что вызвало в нас, „саврасах без узды“, и жалость, и насмешки. Этому человеку было сочинено сообща письмо по поводу поспешной женитьбы и перехода к размеренной сытой жизни. В письме описывалась вольная жизнь четырёх отроков в тесной келье с картинкой поклонения в стихарях топору, парящему в воздухе, с надписью: „О, топоре святой, како висиши на воздусе, ничем не держомый, зело блистающ!“ <...>

Рвение к учёбе в Пединституте у трёх студентов отсутствовало».

Николай Резвых вскоре порвал с обучением. А Николай Заболоцкий,



который окончил институт «скорее для проформы», уже определился и для товарищей, и для многих других как литературный работник.

«Помню, — говорит в конце своего очерка Сбоев, — в 1926 году Н. А. пригласил меня в Дом печати на вечер, посвящённый его поэзии. Зал был полон сочувственной для Н. А. молодёжью. Выступил и я с одобрением его поэзии — в смысле доходчивости для всех живых и простых людей».

Институт был позади; работы не было, ни временной, ни постоянной. Осенью 1926 года кончалась отсрочка от военной службы, которую давали студентам, и Николая должны были призвать в армию. Он по-прежнему жил в мансарде, надеясь, что до призыва не выселят... Но главное — к Заболоцкому наконец пришли те стихи, которых он так долго ждал — совершенно новые и для себя, и для всех, кто знакомился с ними.

## **Глава седьмая**

# **ЗНАКОМСТВО С «ЧИНАРЯМИ»**

## Свой среди своих

Легенда — это быль, разбавленная и преобразованная временем. Происшедшее, мало того что каждым видится по-своему, — изменяется даже в самой совершенной памяти и приобретает вид образа.

Ни Даниил Хармс, ни Александр Введенский, ни Николай Заболоцкий не оставили свидетельств о своей первой встрече, — это сделал полвека спустя их товарищ Игорь Бахтерев в своём *невыдуманном рассказе* «Когда мы были молодыми».

Судя по его воспоминаниям, встреча произошла в 1925 году — «на дебюте» Заболоцкого в Ленинградском союзе поэтов. Сам Бахтерев не был прямым свидетелем того события, но его рассказ подтверждается другими современниками. Так, философ Яков Семёнович Друскин в статье «Чинари» сообщает, что с Заболоцким и Олейниковым «мы (то есть Введенский, Липавский, Хармс и я)» познакомились в середине или в конце 1925 года. Тамара Липавская пишет в своих воспоминаниях, что в том же году Введенский познакомил её с Николаем Алексеевичем.

Никита Заболоцкий считает, что будущие обэриуты впервые встретились на вечере поэзии летом или осенью 1925 года.

Итак, место действия определено точно, хотя дата немного «плывёт».

Вот как описывает Игорь Бахтерев это памятное для литературы 1920-х годов знакомство:

«— Приняли интересного человека. Советую обратить внимание, — шепнул Хармсу бессменный секретарь Союза поэт Фроман.

Мало кому известного Заболоцкого объявили последним. К столу подошёл молодой человек, аккуратно одетый, юношески розовощёкий.

— А похож на мелкого служащего, любопытно. Внешность бывает обманчива. — Введенский говорил с видом снисходительного мэтра. Читал Заболоцкий „Белую ночь“, кажется, в более раннем варианте, чем тот, который помещён в „Столбцах“. Триумфа не было, — настороженное внимание, сдержанные аплодисменты. „Чинари“ переглянулись, не сговариваясь встали и пошли между рядов навстречу поэту. Назвав свои фамилии, жали ему руку, поздравляли. Хармс громогласно объявил: он потрясён, такого с ним не бывало. Введенский: ему давно не доводилось слушать „стоящие стихи“, наконец повезло — дождался.

После собрания отправились на Надеждинскую, к Хармсу. Пили дешёвый разливной портвейн, читали стихи. Между „чинарями“ и

Заболоцким завязались приятельские отношения».

Стихотворение «Белая ночь» датировано июлем 1926 года, — возможно, Заболоцкий читал что-то другое? Игорь Бахтерев вполне мог ошибиться, потому что сам не был на том вечере поэзии и пересказывал с чужих слов. Вообще, его воспоминания вольны и прихотливы, и вряд ли стоит ждать от них документальной точности. Достоверно одно: стихи Заболоцкого так поразили его молодых собратьев по перу, что они быстро сошлись и подружились.

Судьба с чрезвычайной точностью свела этих трёх молодых людей. Впрочем, не встретиться и не сойтись между собою они просто никак не могли.

Заболоцкому в то время было 22 года, Введенскому — 21, Хармсу — 19 лет. Все трое были необыкновенно одарены и жаждали обновить поэзию. Предшественником своим они видели Велимира Хлебникова.

По мнению Якова Друскина, слово «чинарь» придумал Александр Введенский:

«Произведено оно, я думаю, от слова „чин“; имеется в виду, конечно, не официальный чин, а духовный ранг. С 1925-го по 1926-й или 1927 год Введенский подписывал свои стихи: „Чинарь авторитет бессмыслицы“, Даниил Иванович Хармс называл себя „чинарём-взиральником“. <...>

В одной из записных книжек Хармс упоминает Леонида Савельевича Липавского как теоретика „чинарей“.

В конце двадцатых годов, когда я прочёл Введенскому одну несохранившуюся свою вещь, скорее литературного, нежели философского характера, он причислил или „посвятил“ и меня в „чинари“.

К „чинарям“ принадлежал также и поэт Николай Макарович Олейников».

Яков Друскин толковал неологизм поэта Введенского всерьёз, возводя понятие «чинарь» в «духовный ранг». Однако оно близко по корню к жаргонному словцу «чинарик» (окурок), весьма расхожому как раз таки в 1920-е годы. Конечно же, Введенский его знал и, выдумывая свой термин, ещё и озорничал. Недаром Игорь Бахтерев в одном из своих рассказов («В магазине старьевщика») говорит, что Александр Введенский, назвавшись «чинарём», «расплодил столько ему подобных, сколько сумел» — «чтобы было перед кем шуметь пятками»: сначала наградил «тем весёлым именем» свою привратницу, потом управдома, «не говоря о долговязом» — то бишь своём друге Данииле Хармсе.

До своего «чинарства» Хармс с Введенским ходили в «заумниках», которых возглавлял и окормлял своими мыслями поэт Александр Туфанов.

Возрастом Александр Васильевич годился ученикам в отцы. Начинал он когда-то с обычных, традиционных стихов, потом побыл и символистом, и акмеистом, и эгофутуристом, пока наконец не увлёкся «звуковой ориентацией» и не провозгласил высшей поэзией заумь. По определению Игоря Бахтерева, основатель *ордена заумников* называл свои стихи аллитерационными — «с заменой осмысленного слова бессмысленной фонемой».

В литературном Петрограде Туфанов был, что называется, колоритной фигурой. «Человек удивительного добродушия и неисчерпаемого оптимизма, невысокого роста, горбун, он ходил в тяжёлых сапогах, с палкой, прихрамывая. Длинные, по традиции поэтов, волосы, прямые и гладкие, свисали ему на лоб. Он постоянно откидывал их за ухо» (Лев Гумилевский, редактор журнала «Вольный плуг»). Туфанов видел себя продолжателем поэтического дела Хлебникова, но полагал, что идёт дальше: вместо хлебниковского «воскрешения слов» он предлагал возвратиться к праоснове языка — «звуковым жестам». В знак своего «продолжательства» присвоил себе звание — Председатель земного шара зауми.

Игорь Бахтерев набросал его живописный портрет:

«В двадцатые годы в типографии ленинградского кооперативного издательства „Прибой“ работал нелепого вида корректор, именовавшийся „старшим“, один из лучших корректоров города. Длинные, иной раз не расчёсанные пряди волос спускались на горбатую спину. Нестарое лицо украшали пушистые усы и старомодное пенсне в оправе на чёрной ленточке, которую он то и дело поправлял, как-то странно похрюкивая.

Особенно нелепый вид корректор приобретал за порогом типографии. Дома он сменял обычную для того времени широкую, без пояса, толстовку на бархатный камзол, а скромный самовяз на кремовое жабо. И тогда начинало казаться, что перед вами персонаж пьесы, действие которой происходит в XVIII веке. Его жена, Мария Валентиновна, ростом чуть повыше, вполне соответствовала внешности мужа: распущенные волосы, сарафан, расшитый жемчугом кокошник. В таком облики появлялись они и на эстраде, дуэтом читая стихи уже не корректора, а известного в Ленинграде поэта А. В. Туфанова».

Даниила Хармса и самого тянуло к зауми, знакомство с Туфановым только усилило этот интерес. Какое-то время он открыто подражал мэтру заумников, причём не только в стихах, но и в эпистолярной прозе. Своей будущей жене Эстер Русаковой он обращал такие письма:

«Гирейся сиверий старайный каранда, супинся сдвиго-ной минется

шерсти. Глазофиоли здвойнились разворотели зовись на секунду наивным чуродом. Границь изостенный пламенькой в нестенах огрошно и скушно орнаментно вдруг. Там плещут поленья головочным меном и миги мигают минет. Ростиньки оправны и вредны забульки кидаешь гостинец — разврат — пистолет. Прорады плазняются и стихится струнно, каберним веселкой в препляс полонез. Полубются, голубостенкой задвинулся, стиль — да дорай да дуды...»

Любопытно, что же молоденькая девушка поняла в этом пассаже, как, впрочем, и во всём письме?..

На вечерах поэзии Хармс церемонно читал труфановский шедевр «Весна», в котором якобы сопрягались фонетики русская и английская:

Сиинь соон сийй селле соонг се  
Сиинг сеельф синк сигналъ сеель синь...

(и далее в том же духе).

Сам же будущий обэриут сочинял в то время (проставляя собственной рукой ударения в неологизмах):

баба́ля мальчик  
трёсте́нь губка  
рукой сара́товской в мыло уйду  
сырым седе́ньем  
щени́ща ва́льги  
кудря́вый носик  
платком обу́т —  
капот в балах  
скольжу трамва́ем  
Владими́рскую поперёк  
посе́льницам  
сыру́нду сваи  
груби́ть тата́рину  
в окно...  
(«От бабушки до Esther». 1925)

И так далее. Чем бы дитя ни тешилось...

С этим и подобными стихами Даниил Хармс попытался в 1925 году вступить в Союз поэтов — однако товарищи по цеху как-то не поспешили его принимать, предложив представить что-нибудь ещё.

Чуть ли не каждое произведение Хармс оканчивал словом «всё», а некоторые опыты вершил своим именем и поэтическим адресом: «Школа чинарей Взирь зауми». Одной из знакомых невозмутимо разъяснил: «взирь» возникает не сама по себе, а надо для начала влезть на шкаф и посмотреть на комнату сверху, тогда-де увидишь всё иначе. Стало быть, дело — в точке зрения: мне сверху видно «всё». (Наверное, с таким же успехом можно было бы устроить «взирь» зауми из глубин — встать на голову и оглянуть ту же комнату, — разве что сие созерцание мира, по акробатике своей, не так удобно, как с высот шкафа.) Впоследствии Александр Кобринский, биограф Хармса, заметил: «Этот взгляд сверху был во многом родствен супрематическим картинам Малевича, в которых видели изображение с высоты птичьего полёта». Художники-авангардисты, без сомнения, немало повлияли на творчество «чинарей», — к этому мы ещё вернёмся.

Всё же чуть внятнее и «членораздельнее» стихотворение «Вьюшка смерть» (1926), написанное в духе народной песни и посвящённое Сергею Есенину, который погиб в Ленинграде в конце декабря 1925 года (орфография и пунктуация сохранены):

ах вы сени мои сени  
я ли гуслями вяжу  
приходил ко мне Есенин  
и четыре мужика

и с чего-бы это радоваться  
ложкой стучать  
пошивеливая пальцами  
грусть да печаль

.....  
для тебя ли из корёжины  
оружье штык  
не такой ты Серёжа  
не такой уж ты

.....  
а летами плюй его  
до белой доски и сядь

добреду до Клюева  
обратно закинуся...

«До Клюева» «чинари» добредали — и, видно, не раз; запросто заходили к художникам Малевичу и Мансурову: старые мастера охотно принимали молодёжь. Наверняка слушали от него рассказы о Есенине и посмертный «Плач по Сергею Есенину». Игорь Бахтерев оставил весьма забавный рассказ о том, как однажды они вчетвером заявили на чаёк к поэту. Наверняка что-то подсочинил или позаимствовал у других мемуаристов, баек про клюевские чудачества ходило множество, — но вполне могло быть и так, как в рассказе:

«Входим и оказываемся не в комнате, не в кабинете широко известного горожанина, а в деревенской избе кулака-миroeда с дубовыми скамьями, коваными сундуками, киотами с теплящимися лампадами, замысловатыми райскими птицами и петухами, вышитыми на занавесях, скатертях, полотенцах.

Навстречу к нам шёл степенный, благостный бородач в посконной рубахе, молитвенно сложив руки. На скамье у окна сидел паренёк, стриженный „горшком“, в такой же посконной рубахе.

Всех обцеловав, Клюев сказал:

— Сейчас, любезные мои, отрока в булочную снарядим, самоварчик поставим...

Отрок удалился.

— Я про тебя понаслышан, Миколушка, — обратился он к Заболоцкому, — ясен свет каков, розовенький да в теле. До чего хорош, Миколка! — и уже хотел обнять Николая, но тот сладкоголосого хозяина отстранил.

— Простите, Николай Алексеевич, — сказал Заболоцкий, — вы мой тёзка и скажу напрямик.

— Сказывай, Миколка, от тебя и терновый венец приму.

— Венца с собой не захватил, а что думаю, скажу, уговор — не сердитесь. На кой чёрт вам весь этот маскарад? Я ведь к поэту пришёл, к своему коллеге, а попал не знаю куда, к балаганному деду. Вы же университет кончили, языки знаете, зачем же дурака валять...

Введенский и Хармс переглянулись.

— Прощай чаёк, — шепнул мне Даниил.

Действительно, с хозяином произошло необыкновенное.



Семидесятилетний дед превратился в средних лет человека (ему и было менее сорока) с колючим, холодным взглядом.

— Вы кого мне привели, Даниил Иванович и Александр Иванович? Дома я или в гостях? Волен я вести себя, как мне заблагорассудится?

От оканья и благости следа не осталось.

— Хочу — псалом спою, а захочу — французскую шансонетку. — И, сказав, продемонстрировал знание канкана.

Мы не дослушали, ближе-ближе к двери — и в коридор, смотрим, стоит в темноте отрок со связкой баранок.

— Чего же вы, граждане, наделали? Злобен он и мстителен. Уходите подобру-поздорову. <...>

— Жалею, что с вами связался, — сказал на прощанье Введенский, — теперь к нему не зайдёшь».

Александр Введенский писал в те времена примерно такое:

Было дело под Полтавой  
нет не дело а медаль  
мы дрались тогда со шведкой  
чуть что вправо мы налево  
тсс видим побежала  
юбку синюю порвала  
я кричу остановись  
чуть что вправо  
мы налево за сосною под Полтавой  
голенький сидит Мазепа  
говорит был бы Фёдором  
было б веселей  
тут всё войско моё  
зарыдает навзрыд  
закричит заговорит  
вот несчастный какой  
с той поры здесь и трактир  
(1925)

Если доискиваться в этих задорных, бойких строках хоть какого-то смысла, но не иначе, некий шутейный царь Пётр сочинял, да, беспеременно, весьма набравшись, так что позабыл и про логику, и про знаки препинания.

Это произведение под названием «Отрывок», среди десятка подобных, автор представил в Ленинградское отделение Союза поэтов — на предмет вступления в оный. Времена в литературе были ещё настежь распахнуты всем на свете формальным поветриям, и Введенского приняли...

На поэтических выступлениях он любил читать своё «Начало поэмы» (1926):

верьте верьте  
ватошной смерти  
верьте папским парусам  
дни и ночи  
холод пастбищ  
голос шашек  
птичий срам  
ходит в гости тьма коленей  
летний штык тягучий ад  
гром гляди каспийский пашет  
хоры резвые  
посмешищ  
небо грозное кидает  
взоры птичьи на Кронштадт...

Ну, и так далее, как говаривал Хлебников, когда ему наскучивало читать собственные стихи...

Публика — молодёжь, студенты — конечно, не слишком была довольна и шумно сетовала: непонятно!..

Вот для таких молодых сочинителей Николай Заболоцкий сразу же стал своим.

## Понятие дружбы

Сошедшись с общительными «чинарями», Николай естественным образом вскоре познакомился и с другими представителями русского авангарда. Среди них самыми заметными фигурами были художники Казимир Малевич и Павел Филонов. Создатель супрематизма и теоретик, Малевич возглавлял Гинхук — Государственный институт художественной культуры; Филонов руководил Школой аналитического искусства. Оба отрицали в искусстве академизм — и были при этом непримиримыми противниками. Малевич был властителем мёртвого царства абстракции и геометрических фигур — Филонов всюду видел живое: в микрокосме и макрокосме.

Павел Николаевич Филонов произвёл на молодого Заболоцкого особенно сильное впечатление — и как творец, и как личность. Возможно, Заболоцкий в середине 1920-х годов среди других учеников-любителей брал уроки рисования в «школе Филонова». Об этом говорит его карандашный автопортрет 1925 года и портрет земляка и товарища Николая Сбоева.

Литературовед Дмитрий Максимов в очерке «Заболоцкий» (1983) вспоминал, как впервые побывал у него дома на Конной улице в её пересечении с Перекупным переулком — район Старого Невского, неподалёку от Александро-Невской лавры: «Комната Николая Алексеевича, снятая у хозяина, была не только маленькой и скромной, но и почти пустой, необжитой, как бы временной, с едва заметными признаками мебели. Но, к счастью, он жил в ней в одиночестве — не то что в годы студенчества и позже, когда в тесной мансардной клетушке ему приходилось ютиться с тремя товарищами. Бросалась в глаза лишь одна примечательная подробность: стены комнаты были обвешаны цветными картинками, изображавшими фигуры каких-то причудливых человечков. Заболоцкий не скрывал, что это были его работы, в которых он откровенно подражал Филонову. Николай Алексеевич объяснил мне, что Филонов — его любимый художник и что он с ним встречается. (Филонов пользовался большой популярностью, имел много учеников и был экспонирован в Русском музее значительно полнее, чем в наше время.)».

Другому тогдашнему знакомому, Исааку Синельникову, Заболоцкий однажды рассказал о посещении мастерской Павла Филонова:

«— В комнате холодно. Дымит „буржуйка“. На ней — жестяной

чайник. Художник дует на озябшие руки и снова берётся за кисти. Говорит, что приезжали богатые американцы. Предлагали переехать в Америку или хотя бы продать картины. Он им ответил: „Я русский художник, и мои картины принадлежат России“».

Хармс носился с идеей создать «твёрдую Академию левых классиков» — так он обозначил весной 1926 года ближайшую задачу «левофланговцев» в своей записной книжке. Возможно, подразумевалось, что под сенью этой академии произойдёт более тесное соединение с левыми художниками, работающими в изобразительном искусстве, в театре и кино. Не просто же так они беседовали с Казимиром Малевичем. И недаром же художник, подарив Даниилу свою книгу «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика», сделал такую, весьма наставительную надпись: «Идите и останавливайте прогресс». Конечно, теперь её в точности не растолкуешь — но собеседники-то, наверное, хорошо понимали, о чём идёт речь. (По предположению Валерия Шубинского, Хармс должен был уяснить следующее: авангард уже достиг своей вершины, и его искусство, чтобы избежать самоповторения и тем более падения, нуждается в новом качестве, в обновлении изнутри — только это и «остановит прогресс».)

Заболоцкий живо интересовался авангардистами — в первую очередь Малевичем и Кандинским, но, как уже говорилось, больше всех был расположен к Филонову, внимательно изучая его аналитический метод постижения природы и человека. Филонов был по натуре подвижник-аскет, требовал от учеников предельной преданности искусству и непрестанного совершенствования. Заболоцкий обладал таким же сильным характером и так же беззаветно любил поэзию. Сходились они и в тяге к «плоти» искусства — предмету, вещи в полноте их ощущения всеми человеческими чувствами и, одновременно, в глубинном понимании их символической сущности, которая, впрочем, также выражается предметно — словом или кистью. Оба шли от частного к общему, а не наоборот — по формуле, выведенной художником: «Общее есть производное из частных, до последней степени развитых».

Суть своего метода Павел Николаевич Филонов выразил в письме своей ученице Вере Шолпо (и наверняка то же самое говорил всем своим молодым последователям):

«Все существующие течения пошлите ко всем чертям и действуйте как исследователь-натуралист (как в точных научных диссертациях). Основую учения о содержании примите вот что: „видящий глаз“ видит только поверхность предметов (объектов), да и то видит только под известным

углом и в его пределах... „знающий глаз“ видит предмет объективно, т. е. исчерпывающе полно. <...> „Видящий глаз“ не видит ничего, кроме цвета и формы. <...> Но „знающий глаз“ говорит мастеру-исследователю не только это — он говорит, что в любом атоме, консистенции, образовавшей периферию, в любом атоме самой поверхности происходит ряд преобразующих, претворяющих процессов, и мастер пишет эти и многие иные явления „форму изобретаемую“ в любом нужном случае».

Если вспомнить *столбцы* Заболоцкого, которые стали появляться со второй половины 1920-х годов, то совершенно очевидно, с какой хищной соколиной зоркостью работает его «видящий глаз», избирающий самые неожиданные, яркие и выразительные художественные подробности, — и, одновременно, как точно и глубоко проникает в предметы и характеры его «знающий глаз», столь же хищно выклёвывающий суть вещей и явлений. Конечно, это говорит не только о хорошо усвоенных уроках Павла Филонова, но, наверное, столь же показательно свидетельствует о природном сходстве, если не родстве творческого дарования Заболоцкого-поэта с художником.

Филонов говорил молодым: «...упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело, или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветком».

Цвет, а значит — свет, теплота, клетчатка, цветок — всё это жизнь: и атом, и космос Филонова пронизаны жизнью. Тогда как в атоме и космосе Малевича одна голая математика с геометрией, безжизненное пространство, абстракция, холод, пустота, смерть...

Никита Заболоцкий пишет в биографии отца: «Филонов мог показать Николаю Алексеевичу картины из цикла „Ввод в мировой расцвет“ и другие полотна, на которых запечатлены его представления о будущем гармоническом мире. На картинах „Ломовые“, „Коровницы“, „Крестьянская семья“ Заболоцкий узнавал воплощение собственных представлений о будущем братстве людей и животных. Рассматривая „очеловеченные облики“ коров, коней, волка и лица изображённых рядом людей, он мысленно произносил строки своего стихотворения 1926 года „Лицо коня“:

Лицо коня прекрасней и умней,  
Он слышит говор листьев и камней.

Через всю жизнь пронёс Заболоцкий впечатление и от большого полотна „Цветы мирового расцвета“, где за фантастическими переливами цветных граней явно угадываются люди-цветы как некие совершенные образования будущего. Рассматривая картины, поэт думал о месте человека в сложной структуре мироздания, о том, что космическая материя создаёт из своих микрочастиц человека и его интеллект, а человеческий разум отражает и одухотворяет космос. Но вместе с тем как ещё слаб и несовершенен человек, как тяготят его мелкие житейские слабости и повседневные заботы!»

В творческой автохарактеристике, данной в статье «Поэзия обэриутов», Заболоцкий назвал себя поэтом голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя, — весьма похоже, что это отвечает заветам Филонова, призывавшего идти от частного к общему. Поэт говорил, что его стихи следует слушать и читать «более глазами и пальцами, нежели ушами»: в этом упоре на созерцание, «осознание» уплотнённых поэтических образов, сознательном отказе от музыкальности произведения в пользу его зримой сущности и заключается для раннего Заболоцкого смысл той жизни, которую он запечатлевал в стихах. Только так, по его мнению, читателю-зрителю могла раскрыться тёплая связь «клетчатки цветка с цветком».

Жизнь — она в малом атоме и в бесконечно великом космосе, одинаково непомерных сознанию. В программном стихотворении 1926 года «Disciplina clericalis» («Духовном уставе») Николай устами *Хлои* и учит сам себя, свою «трубадурскую душу»:

Встань, гордец, бумаг водитель,  
Развяжи свои глаза:  
Розовой водой омыты,  
Поднимаются миры.  
В бёдрах узкая Кастилья,  
А в листочке, погляди, —  
Приклеились без усилия  
Те же Ева и Адам.

И другой персонаж этой небольшой стихотворной пьесы, *Филосо́ф*, заключает:

Пойте, пойте, хвалите, хлещите в ладоши —

Я вещам воспеваю хвалу,  
И раструбы веков мой голос множат,  
Он, как башня, стоит на юру.

.....  
И не доски — а сёстры, не железы — а братья,  
Где рука твоя, Смерть, покажи!  
Пойте, пойте, хвалите, валитесь в объятья,  
Целовайтесь, никто не дрожи!

(Пародийное в этом стихотворении, — так, Алексей Пурин, например, считает, что «ещё достаточно простое пародирование глуповатой и тавтологической велеречивости Бальмонта» неожиданно разрешается «зощенковскими интонациями» двух последних строк, — всё же не отменяет того серьёзного содержания, что поэт высказывает в таком виде — наверное, опасаясь, чтобы не было излишней патетики.)

Знакомство с Павлом Николаевичем Филоновым, беседы с ним, несомненно, «развязали» глаза молодому поэту.

Никита Заболоцкий говорит, что живописный метод был изначально близок его отцу и он с успехом стал использовать этот способ в стихосложении. И замечает: «Однажды, десять лет спустя, говоря врачу о своих психических особенностях, он специально отметил присущее ему чрезмерно развитое зрительное воображение. Такая способность видеть мир глазами художника и мыслить пространственными образами в значительной мере повлияла на разработку собственного поэтического метода. Чёткое представление о взаимном расположении предметов, использование деформации пространства, подбор метафор по принципу подобия формы и цвета, изображение натюрмортов — всё это говорит о том, что интерес поэта к художникам, особенно левого толка, не был праздным».

Хармсу, похоже, больше по душе был Малевич, — ему посвящено стихотворение «Искушение» (1927), — но и Даниил и Александр Введенский, как и другие обэриуты, в своём манифесте выступили в защиту обоих вождей русского авангарда.

Четверть века спустя, приближаясь уже к закату, Заболоцкий написал одно из лучших своих стихотворений — беспредельно грустное, но согретое какою-то потусторонней сердечной теплотой. Оно обращено к товарищам молодости, что в конце концов оказались самыми близкими и дорогими его душе, — единственными, которые по-настоящему и нужны

были ей. Николай Алексеевич, сам испытанный долголетней неволей, едва уцелевший, уже знал о злосчастной судьбе своих собратьев, сгинувших на изломе времён. Он назвал стихотворение «Прощание с друзьями».

В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадями своих стихотворений,  
Давным-давно вы обратились в прах,  
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,  
Где всё разъято, смешано, разбито,  
Где вместо неба — лишь могильный холм  
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке  
Поёт синклит беззвучных насекомых,  
Там с маленьким фонариком в руке  
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?  
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?  
Теперь вам братья — корни, муравьи,  
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сёстры — цветики гвоздик,  
Соски сирени, щепочки, цыплята...  
И уж не в силах вспомнить ваш язык  
Там наверху оставленного брата.

Ему ещё не место в тех краях,  
Где вы исчезли, лёгкие, как тени,  
В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадями своих стихотворений.

Написано в 1952 году, когда Заболоцкий заново утвердился в себе и для читающей публики как поэт. Мифическая птица Феникс, сгорев, возрождалась из пепла — он же, онемев согласно студёным законам времени и места, восстал из лагерной *пыли*. Причём — в совершенно



новом качестве: высокая классика сменила смелое новаторство. Может быть, оттого и звучит в этом стихотворном расставании некая особая тоска отстранённости, разъединённости с прежней жизнью, с той, когда на вершине творческого взлёта, в молодом пылу, всё на свете ещё казалось ему цельным, неподвластным распаду. И другое, несказанное, дышит в стихах: он ещё пока здесь — но уже и там, с ними...

С этим потаённым настроением, вдруг вырвавшимся наружу, Заболоцкий и жил по освобождении из заключения, да, судя по всему, и прожил все последние годы.

Почуяла его состояние и, возможно, лучше других поняла одна лишь Наталия Роскина:

«Как он был одинок! Многие люди называли себя его друзьями, и среди них есть такие, которые едва знали его. Но сам он, доброжелательно относясь к Каверины, Чуковским (Николаю Корнеевичу и его жене), Томашевским и другим старым ленинградским знакомым, никого из них друзьями не считал. Исключение, впрочем, делалось для тех, кто особенно близок был ему в страшные годы: это Евгений Львович Шварц и Николай Леонидович Степанов. Об этих людях он говорил с сердечностью, которая отнюдь не была ему вообще свойственна. <...> Он прямо просил меня любить Степанова. Но вообще он не связывал понятие дружбы с душевной близостью, как большинство людей. „Вот мои друзья“, — сказал он мне, указывая на открытую страницу сборника „День поэзии“, где впервые было напечатано стихотворение „Прощание с друзьями“. Речь шла о Хармсе и Введенском, и показать можно было только на эту страницу: после этих мученически погибших поэтов могил не осталось. Единомышленники, товарищи-обэриуты, ближайшие интимнейшие друзья по стихам — не существовали. Заболоцкий остался, вернулся к жизни, но уже совсем не к той, что была — в кругу этих друзей — в тридцатых годах. И дружбу свою он похоронил с ними».

Значит, основой дружества для Заболоцкого было лишь то, единственный раз в жизни вдруг накатившее волной чувство поэтического родства, которое он испытал, познакомившись с Хармсом и Введенским. При всём различии характеров, темпераментов и творческих исканий что-то глубинное их соединяло. И соединило, пусть ненадолго — как птицу-тройку, запряжённую своевольной, но твёрдой рукой поэтической музыки, имевшей на уме свои далёкие и точные расчёты.

По воспоминаниям Николая Леонидовича Степанова, Заболоцкому нравились стихи Хармса. Особенно высоко он ценил «Комедию города Санкт-Петербурга». Эта драматическая поэма, написанная как раз в

начальное время их дружбы, в 1926–1927 годах, полностью не сохранилась, уцелела только вторая часть, и по ней трудно составить представление о том, что так задело Николая. Не отголоском ли этой первой, неизвестной части было стихотворение Заболоцкого «Восстание», написанное 20 августа 1926 года?

Довольно пространное стихотворение предваряет посвящение: «Фрагменты Даниилу Хармсу, автору „Комедии города Петербурга“». Ни в первое издание «Столбцов», ни в другое поэт не включил это произведение, действительно фрагментарное, ассоциативное, может быть, целиком предназначенное для нового друга, а не для печати. Реалии Октябрьского переворота, старого режима, Гражданской войны причудливым образом мешаются в нём с полуфантастическим сюжетом. В сущности, это эскиз какой-то картины из недавней истории, набросок, своими резкими карикатурными и гротескными чертами очень похожий на стиль знаменитых «Столбцов»:

И видит он: стоят дозоры,  
На ружьях крылья отогрев,  
И вдоль чугунного забора  
Застекленевшая «Аврора»  
Играет жерлами наверх,  
И вдруг завывла.  
День мотался  
Между корон, между папах,  
Брюхатых залпов, венских вальсов,  
Мотался, падал, спотыкался,  
Искал царя — встречал попа,  
Искал попа — встречал солдата,  
Солдат завёл аэроплан,  
И вот последняя граната,  
Нерасторопна и брюхата,  
Разорвалась...  
.....  
Россия взывала...

Впрочем, отношение Заболоцкого к стихам — собственным и чужим — было прихотливым и постоянно менялось. И всё же даже незадолго до кончины он не раз говорил Степанову, что собирается съездить в

Ленинград, дабы попытаться отыскать рукописи безвременно погибшего Даниила Хармса.

Друзья молодости представляются ему — *в широких шляпах, длинных пиджаках*, но очень похоже, что это лишь сомнамбулическое видение, главное в котором — *с тетрадями своих стихотворений*. Отнюдь не так чинно и степенно выглядели в жизни «сыны годов двадцатых» Данька и Шурка: по молодости и задору они ещё были увлечены футуристической забавой рядиться в необычное и менять личины, дабы эпатировать публику и обращать на себя внимание. Чудачили вовсю.

Даниил был сыном старого революционера Ивана Павловича Ювачёва. В 1884 году его отца-народовольца приговорили к смертной казни, заменённой потом пятнадцатилетней каторгой. Он выдержал четыре года одиночки в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, а затем был каторжником на Сахалине. В заключении стал истовым христианином; освободившись, сочинял проповеднические книги, занимался наукой.

Революционное прошлое отца не помешало эксцентричному сыну выбрать себе вызывающий псевдоним — Хармс. Судя по созвучию — не иначе как в память о книжном герое Конан Дойля Шерлоке Холмсе, рассказами о котором зачитывался в школе. К новой фамилии были подобраны все внешние атрибуты этого эстета сыска: клетчатый пиджак, шерстяные гетры, котелок, английская трубка, трость. В этом изысканном наряде (который ему, по признанию знакомых, весьма шёл) молодой человек с невозмутимым видом прогуливался по ленинградским проспектам, обглоданным революцией и Гражданской войной, да ещё и вёл на поводке экзотического вида собачку — крохотного репинчера по кличке Кеппи, в просторечии — Кепку. Хармс был высок, худ, на старинный манер элегантен, весомо вежлив, с чеканной звучной речью. Вряд ли только для того, чтобы дразнить обывателей, был придуман «Даниилой» — этот, понынешнему говоря, *прикид*, с которым он, судя по всему, сроднился. Несомненно, это был образ, с помощью которого поэт отгородился от, так сказать, текущего момента. Режим... ну что ж, какой уж достался — а он будет сам по себе, в своей шутовской рыцарской кольчуге. И ещё... За парадоксальным складом ума и поведения Хармса скрывался заданный как программа иррационализм. Обычаи нового мира всё острее воспринимались им как театр нелепости и — если глубже — как театр абсурда, той разрушительной бессмыслицы, которая поразила и страну, и мир, уничтожая гармонию и культуру.

Александр Введенский был внуком священника, отец, поначалу военный, пошёл на гражданскую службу и дослужился до статского

советника. Мать, дочь генерал-лейтенанта, была замечательным врачом, известным всему Петербургу, и благодаря её высочайшему профессионализму в советские годы семью не тронули за «социально-чуждое происхождение». Впрочем, Александр в анкете, в графе «сословие», на всякий случай всё же исправил первоначальное «сын врача» на «мещанин», — возможно, по наущению умной и предусмотрительной матери.

Введенский не выдумывал экзотических нарядов, предпочитая «классику»: отлично сшитый и отглаженный костюм, белоснежная сорочка. Впрочем, на поэтические вечера, не отставая от приятелей, частенько являлся с причудливо разрисованным лицом. Женщинам он нравился: красив, весел, остроумен — художественная натура, да и только! Увлекался он не только стихами и театром, это был ещё и азартный игрок, заядлый картёжник, посещавший игорный клуб. С мужчинами Введенский порой бывал не так лёгок в обращении: коль что-то не по душе, смотрел свысока и отпускал заносчивые реплики. От него исходило греющее тепло природного обаяния... а то вдруг без видимой причины сквозило холодом, будто в благодатном веществе душевного излучения неожиданно проглядывали какие-то странные, неизъяснимые лакуны, пустоты. Возможно, он тогда проваливался в свои неотступные мысли, совершенно не соотносимые с действительностью и тем более с обыденностью. Потому что только две вещи по-настоящему всерьёз волновали его и занимали ум — тайна времени и тайна смерти.

Начинающему литератору Исааку Синельникову запомнился вечер в ленинградском Доме учителя с участием друзей Заболоцкого:

«В одном из роскошных залов бывшего юсуповского дворца поэты читали стихи. Вдруг в зал входят Хармс и Введенский. На них вместо шляп что-то вроде красных абажуров. На щеках — чёрные фестоны. Они проходят к столу, за которым сидят участники вечера, и ложатся на ковёр. Лежат и слушают, иногда даже аплодируют. Особенно громогласно рукоплескали они Николаю Тихонову, читавшему „Фининспектор в Бухаре“, действительно великолепное стихотворение.

Николай Алексеевич особенно ценил Хармса. Он часто повторял его стихотворение „Мы бежали, как сажени, на последнее сраженье“, восхищаясь ритмом.

— Как это гипнотизирует!»

Эти строки из «Стиха Петра-Яшкина-коммуниста». Вот произведение (в авторской орфографии и пунктуации), что так восхищало молодого Заболоцкого:

Мы бежали как сажени  
на последнее сражение  
наши пики притупились  
мы сидели у костра  
реки сохли под ногою  
мы кричали: мы нагоним!  
плечи дурые высоки  
морда белая востра  
но дорога не платочек  
и винтовку не наточишь  
мы пускали наши взоры  
вёрсты скорые считать  
небо падало завесой  
опускалось за лесом  
камни прыгали в лопату  
месяц солнцу не чета  
сколько времени не знаю  
мы гнались за возами  
только ноги подкосились  
вышла пена из уста  
наши очи опустели  
мох казался нам постелью  
но сказали мы нарочно  
чтоб никто не отставал  
на последнее сражение  
мы бежали как сажени  
как сажени мы бежали  
! пропадай кому не жаль!  
ВСЁ Чинарь  
*Даниил Иванович Хармс (1926 — нач. 1927)*

Как видим, в последнюю строку вдруг залетела, непонятно откуда, испанская пунктуация (не символ ли мировой революции?). А вообще ритм действительно завораживающий, упруго играющий в беге, словно норовистый иноходец. Только вот одно неясно: куда такими размашистыми скачками мчался коммунист-Яшкин? Впрочем, цель ничто — движение всё. А может, даже и пуще того: движение ничто — ритм всё...

Исаак Синельников замечает в своих воспоминаниях:

«Хармс и Введенский писали пьесы „Моя мама вся в часах“, „Елизавета Бам“ и другие... Их ставил на сцене Дома печати очень оригинальный режиссёр Терентьев. Пьесы были демонстративно абсурдны. Кто бы мог предположить, что в наше время будет пользоваться успехом на Западе „театр“ абсурда, предшественниками которого были Хармс и Введенский!»

Ничего удивительного.

Не русским ли довелось хлебнуть сполна бешеной браги революции!.. Кого-то она опьяняла, вдохновляла, другим мутила головы. Но лишь поэты, начиная с Александра Блока (поэма «Двенадцать»), прозревали, какие провалы и бездны таит этот сумасшедший бег неизвестно куда, эти *сажени на последнее сражение*...

## Петроградская сторона

Хармс и Введенский были родом из Питера. Там-то *обэриутство* и зародилось — и понятно почему...

Яков Друскин в очерке «Чинари», написанном через пятьдесят с лишним лет после событий, неспроста первым делом упоминает про группу ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка), возникшую ещё до Октябрьской революции и просуществовавшую несколько лет (в неё входили такие видные лингвисты и филологи, как Виктор Шкловский, Юрий Тынянов, Роман Jakobson, Борис Эйхенбаум). Он пишет и про другое объединение писателей, названное «Серапионовы братья» (Михаил Зощенко, Николай Тихонов, Всеволод Иванов, Михаил Слонимский, Вениамин Каверин и другие). Петербург — Петроград — Ленинград в начале XX века слыл поэтической столицей: это был бурлящий творческий котёл, школа искусств, мастерская формальных новшеств. ОБЭРИУ — Объединение реального искусства — естественным образом пришло на смену своим предшественникам — и вызвало их интерес и, если и не горячую, но поддержку. (Название объединения — эта несколько *пируэтская* аббревиатура, через некоторое время утвердившаяся, — словно бы подчёркивает изощрённость формальных поисков.)

Обэриуты в общем-то чудом успели появиться. Попали почти под раздачу: в тот короткий период советской истории середины — конца 1920-х годов большевикам, по занятости более важными делами, было ещё не до изящной словесности, и лишь в начале 1930-х они добрались до писателей, окончательно окоротив их свободу в печатании произведений.

...По прошествии лет времена новых опытов и дерзких экспериментов подверглись трезвому анализу, и далеко не все первоначальные восторги писателей и читателей остались разделёнными знатоками словесности. Так, поэт Юрий Колкер в статье «Заболоцкий: жизнь и судьба» весьма скептически отзываясь о творческой атмосфере той поры, в которой появились обэриуты:

«Эпоха [в эстетике] на дворе стояла вот такая: Виктор Шкловский утверждал, что не-странное лежит за пределами художественного восприятия; композитор Сергей Прокофьев не понимал, „как можно любить Моцарта с его простыми гармониями“; поздний Пастернак о себе тогдашнем скажет: „Слух у меня был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими вокруг. Всё нормально сказанное

отскакивало от меня“.

Мог ли начинающий поэт, не слишком образованный деревенский юноша, противиться поветрию, не воспринять императива эпохи? Не мог — или, во всяком случае, не смог.

И грянул на весь оглушительный зал:  
— Покойник из царского дома бежал!  
Покойник по улицам гордо идёт,  
его постояльцы ведут под уздцы;  
он голосом трубным молитву поёт  
и руки ломает наверх.  
Он — в медных очках, перепончатых рамах,  
переполнен до горла подземной водой,  
над ним деревянные птицы со стуком  
смыкают на створках крыла.  
А кругом — громобой, цилиндров бряцанье  
и курчавое небо, а тут —  
городская коробка с расстёгнутой дверью  
и за стёклышком — розмарин.

Сейчас эти стихи вызывают лишь оторопь, и не своею неожиданностью (какое там!), а только беспомощностью, неумелостью, растерянностью их даровитого автора».

Это стихотворение («Офорт») написано в январе 1927 года (когда, заметим, «не слишком образованный деревенский юноша» уже получил высшее образование в одном из лучших ленинградских институтов) и включено Заболоцким в первую книгу «Столбцы» — стало быть, сам поэт вполне серьёзно относился к произведению. Его современник и последователь Дмитрий Максимов далёк от столь резкой, как у Юрия Колкера, оценки. Он видит тут сатирические мотивы, близкие русской поэзии предыдущих веков, издёвку над «фигурной экзотикой» и «уродливо-потешными причудами и гримасами» истории и городского быта, «сюрреалистическую» игру в духе Хлебникова, а ещё более — Брейгеля, Анри Руссо, Шагала и, «может быть», Босха, но в первую очередь — Павла Филонова. (Ещё раз заметим: сложные ассоциативные связи в ранних стихах Заболоцкого свидетельствуют отнюдь не о его «деревенской темноте», но скорее о начитанности, некоторой «перегруженности» культурой и переизбытке воображения, хотя немного и отдают



неестественностью, деланостью.)

Но истина, пожалуй, где-то посередине...

Впрочем, и мнение Юрия Колкера весьма резонно: у раннего Заболоцкого бывали и не такие провалы, если, конечно, относить «Офорт» к художественным неудачам. (На наш взгляд, например, эта фантазмагория чересчур криклива и вычурна, — но зачем-то ведь поэту понадобилось её печатать и даже воспроизводить в «Столбцах» 1958 года?..)

Взглянем хотя бы на явный экспромт, датированный поэтом с редкими для него подробностями: «12/IX [1926]. Н. Заболоцкий. После посещения худ. Филонова»:

я голого не пью и не люблю  
и эту тоже не люблю а знаю  
сейчас я ей открою белый рот и  
перепонку заведу над жаброй  
теперь душа не спи пошто вокруг стола  
дымок твой развиваться начинает  
а тут во рту в тринадцать молоточков  
мир ежедневный запекает

Вот уж где «Николу» занесло! Тут Филонов (как явление) — в ещё неперевавленном виде. Впрочем, Заболоцкий, по-видимому, отдавал себе отчёт в качестве этого стихотворного ребуса, коль скоро не поместил в своей книге. А если и сохранил стишок, так не иначе в память о сильнейшем впечатлении от знакомства с художником и его творениями.

Но вернёмся к истории «чинарей», в скором времени обернувшихся обэриутами...

Яков Друскин был свидетелем того, как зарождалось это литературное содружество.

Он учился в Петроградской общественной гимназии имени Лидии Даниловны Лентовской — известной благотворительницы, собравшей в 1906 году под кров этого учебного заведения талантливых преподавателей из числа «неблагонадёжных». Естественно, дух в гимназии был довольно свободный. Учеников гимназии (впоследствии трудовой школы) звали «лентовцами». В школьном литературном кружке «Костёр» и сошлись трое стихотворцев: сын философа Алексеева-Аскольдова, преподавателя логики и психологии, Вова Алексеев и его приятели Шура Введенский, «взбалмошный, порывистый, мобильный» (как его описывала одна из его

учительниц), и «много обещавший юный поэт-идеалист» Лёня Липавский (старший брат которого стал впоследствии известным богословом Лосским). «Трудный» для педагогов Шурка учился в одном классе с красивой и яркой девочкой, Тамарой Мейер (своей будущей женой, а затем, с 1931 года — женой Липавского). В компании сочинителей Липавский был теоретиком и «арбитром вкуса». Друскин пишет о его редком даре — «умении слушать», то есть способности сразу же понимать собеседника, причём лучше и глубже, чем он сам понимает свои мысли. «Любил он немногих — и его любили немногие. Мнением его интересовались, с ним считались, но в то же время его боялись. Он мог и прямо сказать, что плохое — и говорил».

Поначалу молодые сочинители увлекались символистами (кумиром был Александр Блок), затем акмеистами, футуристами (сильнее всех — Велимир Хлебниковым) и кубофутуристами. В старших классах сообща написали поэму «Бык Будды» — «сочувственную пародию на футуризм», как отозвалась об этом несохранившемся произведении Тамара Мейер, писали вместе и другие стихи. Однажды послали свои лирические опусы Блоку с просьбой высказать своё мнение. Что он писал в ответ, неизвестно. На письме юношей осталась лишь сделанная рукой поэта помета о том, что получил послание 20 января 1921 года, ответил 23-го. И слова: «Ничто не нравится, интереснее Алексеев».

В гимназии-школе на всех них неизгладимое впечатление произвели уроки учителя русского языка и литературы Леонида Владимировича Георга. «Я не помню, — замечает Яков Друскин, — учил ли он нас грамматике, но он учил нас истории русского языка — учил, например, как произносились юс большой и юс малый, рассказывал, что в слове „волк“ в древнерусском языке вместо буквы „о“ писали твёрдый знак, а в болгарском — и сейчас пишут. Он учил нас не только правильно писать, но и понимать, чувствовать и любить русский язык. <...> Мы проходили и былины, и „Слово о полку Игореве“, причём читали не в переводе, а в подлиннике, и затем уже переводили с его помощью. Если сейчас Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Чехова я люблю и считаю их лучшими писателями XIX века не только русской, но и мировой литературы, то обязан этим Георгу. Его суждения не только о литературе, но и по самым различным вопросам из жизни и даже философии были всегда оригинальны, интересны и неожиданны: например, утром он мог сказать одно, а после уроков — противоположное тому, что сказал утром, причём оба суждения — тезис и антитезис — разрешались не в софистическом, порождённом преимущественно логикой, синтезе, а как-то

удивительно дополняли друг друга, создавая какое-то особенное настроение, строй души. Он практически учил нас диалектике... Педагогическую систему Георга я назвал бы антипедагогической».

В начале 1920-х годов Липавский учился на философском факультете, Друскин — на историческом. Введенский сперва поступил в университет на правовое отделение, но потом бросил. «По некоторым сведениям, — сообщает исследователь его творчества Анна Герасимова, — он перевёлся на китайское отделение восточного факультета, чтобы учиться вместе с Т. А. Мейер (эта женщина, сыгравшая немалую роль в жизни поэта, в 1932 году вышла за Л. Липавского и взяла его фамилию), но вскоре Мейер была „вычищена“ из университета, вслед за ней ушёл и Введенский». Что же, порыв естественный, вполне в духе вольного поэта... Состав приятельской компании изменился: Алексеев откололся, зато Друскин подружился с Введенским.

«В то время, — пишет он, — мы жили на Петроградской стороне Ленинграда: Александр Введенский — на Съезжинской, Леонид Липавский — на Гатчинской, а я — между ними, на Большом проспекте. <...> В 1922–1923 годах Введенский почти каждый день приходил ко мне — и мы вместе шли к Липавскому, или они оба приходили ко мне. У Введенского мы бывали реже. Весной или летом 1925 года Введенский однажды сказал мне: „Молодые поэты приглашают меня прослушать их. Пойдём вместе“. Чтение стихов происходило на Васильевском острове на квартире поэта Евгения Вигилянского. Из всех поэтов Введенский выделил Даниила Хармса. Домой мы возвращались уже втроём, с Хармсом. Так он вошёл в наше объединение. Неожиданно он оказался настолько близким нам, что ему не надо было перестраиваться, как будто он уже давно был с нами. Когда я как-то рассказал ему о школьном учителе Георге, Хармс сказал мне: „Я тоже ученик Георга“. В начале нашего знакомства Хармс был наиболее близок с Введенским. С августа же 1936 года вплоть до своего вынужденного исчезновения в августе 1941 года — со мной».

Итак, «чиныри» стали предшественниками обэриутов, и, естественным образом, ядро «чинарей» составило и основу нового объединения.

Яков Друскин пишет:

«В 1926 году возникло объединение „Обэриу“. Сейчас это слово известно всем любителям поэзии. Наиболее одарённые обэриуты — Константин Вагинов, Николай Заболоцкий, Александр Введенский и Даниил Хармс. Что общего между „поэтом трагической забавы“ эллинистом Вагиновым и Заболоцким? Что общего между этими двумя поэтами, с одной стороны, и Введенским и Хармсом, с другой? „Обэриу“

возникло как дань тому времени, а также потому, что молодым малоизвестным поэтам было легче выступать и печататься как участникам литературной организации».

К «чинарям» примыкал поэт Николай Олейников. Он был всех старше (на пять лет взрослее Заболоцкого). Донской казак, воевал на Гражданской войне в рядах Красной армии, единственный среди новых друзей коммунист. Яркий его портрет оставил в своих дневниках Евгений Шварц: «Это был человек демонический. Со страстью любил дело, друзей, женщин и — по роковой сущности страсти — так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать — обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому могучим разрушителем... Был он необыкновенно одарён. Гениален, если говорить смело».

Возможно, всё это несколько преувеличено, но отдадим дань впечатлению, которое производил Олейников на своих товарищей. Лидия Гинзбург считала Николая Макаровича одним из умнейших людей, каких ей случалось видеть, отмечая его тонкий вкус, изощрённое понимание всего, гротескное остроумие. Олейников не успел толком получить образование, но был начитан и эрудирован. В «поэта» никоим образом не играл, к футуристическому эпатажу младших товарищей относился с насмешкой, если не с издёвкой, да и стихи сочинял большей частью «на случай». При всей своей любви не щадил и классиков: так, в балладе «Чревоугодие» без колебаний переиначил патетическую «Любовь мертвеца» Лермонтова: «Любви мне не надо, *Не надо страстей*, Хочу лимонада, / Хочу овощей...»

Здесь необходимо сделать существенное замечание о персональном составе «чинарей» и обэриутов, чтобы не было путаницы. Собственно, суть его чётко сформулировал писатель Валерий Шубинский в своей книге о Хармсе: «...членом ОБЭРИУ формально не был Николай Олейников, которого Друскин причисляет к кругу „чинарей“. Но у этого были внешние причины: как член партии и государственный служащий, Николай Макарович не мог участвовать в публичных выступлениях сомнительной в глазах властей литературной группы. Когда в октябре 1927-го на вечере в Капелле Хармс и Введенский пригласили его принять участие в импровизированном чтении, осторожный донской казак отказался: в зале были „ребята из обкома“, и галантно составил компанию оставшейся в одиночестве Тамаре Мейер. И ни в одном выступлении обэриутов вплоть до 1930 года он не участвовал. Но, судя по всему, он воспринимался

членами ОБЭРИУ как свой, как полноправный участник содружества. <...> А вот Липавский и Друскин в круг обэриутов никогда не входили. Более того, судя по записным книжкам Хармса, в обэриутские годы и сам он несколько реже, чем прежде, и куда реже, чем после, общается с двумя выпускниками гимназии Лентовской».

К середине 1920-х годов Липавский бросил стихотворчество, занялся наукой; к философии потянуло и Друскина. Однако общение бывших «чинарей» с философами не прерывалось, более того, в их компании появились и новые люди...

«Что же объединило на многие годы столь разных на первый взгляд поэтов и философов? — задаётся вопросом Яков Друскин и сам же отвечает: — Это было литературно-философское содружество пяти человек, каждый из которых, хорошо зная свою профессию, в то же время не был узким профессионалом и не боялся вторгаться в „чуждые“ области, будь то лингвистика, теория чисел, живопись или музыка».

По мнению Друскина, в «чинарстве» они пребывали недолго, года до 1927-го, пока Хармс с Введенским ещё подписывали этой задорной кличкой свои стихи. Поскольку никаким манифестом или же — пуще того — официальной бумагой этот союз не был скреплён, он так или иначе должен был преобразоваться. Так из воздуха творчества, мысли и дружества соткалось *обэриутство*.

## **Глава восьмая**

# **ДРУЗЬЯ-ОБЭРИУТЫ**

## Пирожки с Рыссом

Встречались друзья и на поэтических выступлениях, и в театре, где ставили свои пьесы, но обычно — по домам. Чаще всего у Липавского или Друскина. Введенский был «безбытным»: в его тесной комнате стояли одна простая железная кровать да пара табуреток; Хармса, напротив, находили чересчур «бытным»: в его удобной квартире всё разложено по полочкам и словно бы противится чужому безалаберному вторжению.

Поэтические посиделки с трудом поддаются достоверному описанию, потому что они сами — поэзия. У такого общения особый воздух: в лучшие свои минуты он буквально искрит. Это атмосфера совместного чувствования и мышления: кипение идей, пылкие речи, подогретые темпераментом и, разумеется, вином, остроты, пикировки, споры, смех, песни... — для молодых творцов это просто одно из самых необходимых условий существования.

«Собирались надолго, засиживались до утра», — вспоминала через десятилетия, в 1973 году, Тамара Александровна Липавская. В её комнатке на Кронверкской улице часто сходилась вся честная компания, а бывало, кто-нибудь забежал сам или с товарищем.

«Не помню, почему ко мне должен был прийти в гости Евг. Рысс, — пишет она. — Я знала его очень мало и поэтому пригласила Даниила Ивановича Хармса и попросила позвать всех других, в том числе и Николая Алексеевича. Кроме того, я сказала, что будут пирожки с рисом. <...>

Пришли все, кроме Рысса; пока ждали его, велись серьёзные разговоры на разные темы. Николай Алексеевич говорил о стихах, и в частности о стихах Введенского.

Он говорил о метафоре, которая, пока жива, всегда алогична, если же алогичная метафора, говорил Николай Алексеевич, перестаёт для поэта быть только средством, то есть только поэтическим приёмом, и становится самоцелью, то она превращается в бессмыслицу. Николай Алексеевич называл это материализацией метафоры. Возможно, что всякую бессмыслицу в стихах он считал только материализованной метафорой, — только я не помню, ведь сказано это было почти полвека тому назад, в то время, когда он писал „Столбцы“. <...>

Рысса всё не было. Он вообще не пришёл. Вдруг Даниил Иванович совершенно неожиданно и совершенно серьёзно спросил:

— Где же пирожки с Рыссом?

В другой раз у меня были только Даниил Иванович и Николай Алексеевич. Они пели дуэтом „Уймитесь, волнения страсти...“ Глинка. Даниил Иванович был исключительно музыкальным, и он часто прерывал пение, сердился на Николая Алексеевича, поправлял. Николай Алексеевич терпеливо и безобидно выслушивал объяснения, и они снова начинали петь. Упорству их можно было только удивляться, они начинали снова и снова, прерывали пение чуть ли не по десять раз. Потом спели всё-таки весь романс. Очень Николай Алексеевич любил петь.

Жили мы бедно, угощение бывало скромное. Любимым было — жареная картошка с постным маслом, с чесноком или луком, а то и просто чай с булкой без масла. Одевались плохо, в том числе и Николай Алексеевич (кажется, в шинели). И вот в одну из таких скромных трапез Николай Алексеевич говорил о том, что работать должны все, невзирая на неудачи и прочие обстоятельства, каждый день, и что сон лучше, чем жизнь».

Яков Друскин замечает, что разговоры велись преимущественно на литературные или философские темы. («Философские» — скорее всего, характеристика более поздних встреч, начала 1930-х годов: некоторые из этих бесед попытался воспроизвести в своих записях Леонид Савельевич Липавский, так и назвав этот своеобразный дневник — «Разговоры».)

«Мы читали и совместно обсуждали многое из того, что писали, — вспоминает Друскин. — Иногда спорили, чаще дополняли друг друга. Бывало и так, что термин или произведение одного из нас являлось импульсом, вызывавшим ответную реакцию. И на следующем собрании уже другой читает своё произведение, в котором обнаруживается и удивительная близость наших интересов, и в то же время различия в подходе к одной и той же теме.

Бывали у нас и расхождения — и часто довольно серьёзные, однако на непродолжительное время, но одновременно ощущалась такая близость, что бывало, один из нас начинает: „Как ты сказал...“, а другой перебьёт его: „Это сказал не я, а ты“.

Велись разговоры и на личные темы, но близость наша была не просто дружбой, а сотворчеством очень разных и очень близких по мироощущению людей».

В конце 1920-х годов общались, конечно, непринуждённее, легче — просто моложе были...

Осенью 1926 года Николая Заболоцкого призвали в армию. Годичную службу отбывал в Ленинграде же, на Выборгской стороне, в команде краткосрочников пехотного полка.



В черновике автобиографии 1948 года — об этом несколько слов, заключённых в скобки, а затем вычеркнутых: «Служба была не лёгкой, но зато хорошо слаженной, сытной и дисциплинированной». *Сытной* — весьма немаловажно для молодого человека, которому в студенчестве пришлось изрядно поголодать, а слаженность и дисциплину он уважал.

Новобранцам запомнился первый вечер, когда они валились с ног после утомительной строевой подготовки: в тёмной казарме вдруг раздался степенный и звучный бас Николая Заболоцкого: ну, вот — осталось ещё 364 дня. — Грохнул хохот!..

Как-то в полк на Выборгской к Заболоцкому и Вигилянскому, с которым они вместе проходили службу, наведались друзья-поэты. По этому случаю Хармс сочинил стишок про «отроков послушных / в шлемах памятных и душных <...>/ с пятилучною звездой / с верхоконною ездой», пообещав в заключение:

ждите нас в конце недели  
чай лишь утренний сольют  
мы приедем под салют.

Николай не остался в долгу. Выбравшись в увольнительную на поэтический вечер в город, зашёл к Даньке. Однако застал его крепко спящим и не стал будить. Присел за стол — и живо набросал целое послание, в котором фантастический сюжет с вымышленным шуточным персонажем по имени Гарфункель из пьесы Хармса и Введенского «Моя мама вся в часах» соседствовал с явью — мирно посапывающим на кровати другом, в ногах которого свернулась калачиком собачка Кеппи:

Пошли на вечер все друзья.  
Один остался я, усопший,  
в ковше напиток предо мной  
и чайник лезет вверх ногой,  
вон паровоз бежит под Ропшей,  
и ночь настала...

Ушедшие друзья попадают отнюдь не на поэтическое, а совсем на другое сборище в какой-то подозрительной избушке, где веселится всякий сброд, а некая дева заявляет им, что все они «Гарфункеля сыны», и далее с

приходом этого Гарфункеля начинается «страшный ад». Однако, хоть «на утро там нашли три трупа», всё заканчивается почти благополучно:

Придёт Данило, а за ним  
бочком, бочком проникнет Шурка.  
Глядят столы. На них окурки.  
И стены шепчут им: «усни,  
усните, стрекулисты», это —  
удел усопшего поэта, —  
а я лежу один, убог,  
расставив кольца сонных ног,  
передо мной горит лампада,  
лежат стишки и сапоги  
и Кепка в виде циферблата  
свернулась около ноги.  
*Н. Заболоцкий 12. III. 1927*

Разогнавшись на Гарфункеле и Кеппи, Заболоцкий тут же сочинил шуточный совет, велел в записке Хармсу по прочтении изорвать (уже тогда, в молодости, ему, очевидно, было неловко за свои скоропалительные опусы — и он по возможности от них сразу же избавлялся). Но Даниил, проснувшись, просьбе не внял, поскольку имел привычку хранить всё — даже, казалось бы, и вовсе не нужные клочки бумаги с парой случайных слов, своих или чужих. Так и уцелел этот стишок, обращённый к *стрекулистам* — как в старину величали бойких писак:

Бросьте, бросьте, стрекулисты,  
разные стишки писать.  
если на руку не чисты,  
это нечего скрывать.  
Занимайтесь лучше делом,  
специальность избери,  
поворачивайся смело,  
а лениться — чёрта с три.  
Данька будет генералом,  
Шурка будет самоваром,  
Шурка будет течь да течь —  
генералу негде лечь.

Игорь будет бонвивантом  
с некоторым к-хе! — талантом.  
Заболоцкий у него  
будет вроде как трюмо,  
повернул — извольте видеть,  
как любить и ненавидеть,  
а поставил вверх ногой —  
будет окорок лихой.  
Так трудясь понемногу  
проживём — и слава богу,  
а теперь смелее в путь,  
папиросы не забудь!  
12. III. 1927

Игорь Бахтерев вспоминает, что друзья донимали его, призывая брать пример с «уравновешенного, во всём положительного» Заболоцкого, — тот и передразнил приятелей, написав о себе, что «будет вроде как трюмо». И ещё, в объяснение этого послания исключительно для своих:

«В тот вечер мы спешили на выступление, а Введенский вышел из комнаты и пропал. Отсюда и взялся аллегорический самовар. „А теперь смелее в путь, папиросы не забудь!“ Так, обращением к тому же Введенскому, заканчивается стихотворение. Александр не вынимал изо рта папиросу, оставлял где попало коробки „Казбека“».

У Заболоцкого была особая манера шутить — схожая с той, с какою вышучивал всё на свете Олейников, но добродушнее. Тамара Александровна Липавская называла это — «двойной юмор». Всё дело было в интонации и выражении лица, спокойном и невозмутимом, с которыми он читал свои экспромты или же отпускал остроты. Однажды Николай преподнёс ей листок, названный потом «Описание Тамары», где бисерным почерком были начертаны с дюжину коротких эпиграмм. Тут было и «Пожелание друга», а рядом и «Описание ножки», а также другие *описания*: ручки, носика, волосиков, ротика и т. д. В стишке про ножки, разумеется, не обошлось без Пушкина:

Александр Сергеевич Пушкин  
ножки дамские любил.  
Я же, Коля Побрякушкин,  
жизнь на этом загубил.

Сии ножки я увидя,  
моментально пал во гроб.  
Так я помер, не обидя  
всех, кого обидеть мог.

Или другой стишок — «Ушко и ноготок»:

Сие ушко  
как ватрушка.  
Ноготок  
как электрический ток.

По свидетельству Липавской, свои стихотворные шутки Николай выговаривал таким тоном и с такой улыбкой, что неприятные строки превращались «в обличение банальности»:

«Таково, мне кажется, шуточное стихотворение:

Ах, прекрасная Тамара,  
если б были Вы свидетель  
страсти пышного пожара  
в месте том, где добродетель  
для себя нашла приют, —  
где? Вот в этом месте! Тут!  
*Друг Коля*

При словах: „Где? Вот в этом месте! Тут!“ — Николай Алексеевич с нарочито серьёзным лицом с размаху ударял себя в грудь с левой стороны. Он знал этот стишок наизусть, ему он очень нравился, и некоторое время, при встречах, Николай Алексеевич говорил его вместо обычного приветствия, с тем же жестом и серьёзным выражением лица, сквозь которое проскальзывала его улыбка — немножко искривлялся рот в левую сторону и сверкал золотой зуб. Только тот, кто знал Николая Алексеевича и его серьёзную манеру острить, мог бы полностью оценить юмор этого стихотворения».

На военной службе Николай пробыл год, и она пошла ему явно на пользу: окреп, закалился, выработал выносливость. В летнем военном

лагере в Красном Селе под Ленинградом была не только строевая подготовка, но и тактические занятия, стрельбы, пешие многокилометровые броски с полной выкладкой. Кто знает, не будь этого сурового мужского опыта, удалось бы ему или нет выдержать потом, после ареста, изнурительную до предела тяжесть лагерей?..

Русской поэзии же осталось в память от этого года несколько стихотворений, предвосхищающих будущую первую книгу, среди которых и чисто военное — упругое, энергичное, *выносливое* — «Поход»:

Шинель двустворчатую гонит,  
В какую даль — не знаю сам, —  
Вокзалы встали коренасты,  
Воткнулись в облако кресты.  
Свертелась бледная дорога,  
Шёл батальон, дышали ноги  
Мехами кожи, и винтовки —  
Стальные дула обнажив —  
Дышали холодом.

.....  
Плакат войны: война войне.  
На перевале меркнет день,  
И тело тонет, словно тень.

.....  
И шёл, смеялся батальон,  
И по пятам струился сон,  
И по пятам дорога хмурая  
Кренилась, падая. Вдали  
Шеренги коек рисовались,  
И наши тени раздевались,  
И падали... И снова шли...  
Ночь вылезала по бокам,  
Надув глаза, легла к ногам,  
Собачья ночь в глаза глядела,  
Дышала потом, тяготела,  
По головам... Мы шли, мы шли...

В тумане плотном поутру  
Труба, бодрясь, пробилла зорю,  
И лампа, споря с потолком,

Всплыла оранжевым пятном, —  
Ещё дымился под ногами  
Конец дороги, день вставал,  
И наши тени шли рядами,  
По бледным стенам — на привал.

## Не случайное соединение различных людей

Творческие сообщества возникают стихийно, как-то сами по себе.

При всей разности характеров, дарований и вкусов поэтов по молодости всё же тянет друг к другу — так невольно притягивает одну к другой частицы с противоположными зарядами. Один талант довлеет другому согласно силе поэтического тяготения и неведомому взаимовлиянию энергий. Кроме всего прочего, сказывается и жажда обычного человеческого общения. Так было и с будущими обэриутами, которые поначалу образовали свой «Левый фланг».

Творческая их программа, иначе платформа, тоже вылеплялась стихийно и была выражена в слове далеко не сразу. Каждого беспокоило, не ограничит ли сообщество его поэтическую свободу. Особенно это тревожило Заболоцкого, человека обязательного, но по натуре вольного. По воспоминаниям Игоря Бахтерева, Николай сразу же обговорил условия, и все согласились: «...имейте в виду, мы не школа, не новый „изм“, не точно обусловленное направление. <...> Участников содружества будут сближать не общность, а различие, непохожесть. У каждого своё видение мира, мироощущение, свой арсенал приёмов выразительности. И всё же должны быть принципы, идеи, одинаково близкие для всех. Поэтической зыбкости, эфемерности, иносказательности каждый из нас противопоставляет конкретность, определённую, вещественность, то, что Хармс назвал „искусство как шкаф“. Каждый должен остерегаться надвигающейся опасности излишнего профессионализма, который становится источником штампов и нивелировки».

Идею о независимости поэта, высказанную Заболоцким, больше всех поддерживал Введенский, поэт исключительно самобытный. Однако именно с Введенским у Заболоцкого были самые существенные творческие разногласия, которые он немедленно выразил. 20 сентября 1926 года написал открытое письмо, озаглавленное — «Мои возражения А. И. Введенскому, авторитету бессмыслицы» (именно так, с дефисом в предпоследнем слове).

Молодой поэт высказывается с теоретической основательностью, что была ему присуща ещё со студенческих времён, когда он писал статью о символистах. С предельной чёткостью определяет пункты своих возражений: бессмыслица как явление без смысла; антифонетический принцип; композиция вещи; тематика. Он исходит из того, что каждое

слово является носителем определённого смысла. Но вот такое сочетание, как известные словесные «обрубки» Алексея Кручёных «Дыр, бул, щыл», смысла не имеет, это уже заумь.

«Вы, Поэт, — пишет Заболоцкий, — употребляете слова смыслового порядка, поэтому центр спора о бессмыслице должен быть перенесён в плоскость сцепления этих слов, того сцепления, которое должно покрываться термином *бессмыслица*. Очевидно, при таком положении дела самый термин „бессмыслица“ приобретает несколько иное, своеобразное значение. Бессмыслица не от того, что слова сами по себе не имеют смысла, а бессмыслица от того, что чисто смысловые слова поставлены в необычайную связь — алогического характера». В формальном смысле всё это — метафора. Эта новая метафора сначала алогична, но с течением времени обретает логику. «Обновление метафоры могло идти лишь за счёт расширения ассоциативного круга — эту-то работу Вы и проделываете, Поэт, с той только разницей, что Вы материализуете свою метафору, т. е. из категории средства Вы её переводите в некоторую самоценную категорию. Ваша метафора не имеет ног, чтобы стоять на земле, она делается вымыслом, легендой, откровением. Это идёт в ногу с Вашим отрицанием темы».

На редкость образно и в то же время резко выразился Заболоцкий и по поводу «убиения фонетики», то бишь звучания стиха: «Только гласная может заставить стихи плыть и трубить, согласные уводят их к загробному шуму. Смена интонации заставляет стихотворение переливаться живой кровью, однообразная интонация превращает её в безжизненную лимфатическую жидкость, лицо стихотворения делается анемичным. Анемичное лицо — Ваш трюк, Поэт, но я принципиально против него возражаю».

Столь же решительно не нравится ему то, что Введенский избегает сюжета или «хотя бы» единства темы. «Кирпич отжил своё, пришёл бетон. Но бетонные постройки опять-таки покоятся на металлической основе...» Одна лишь мозаическая лепка «оматериализованных» метафор ничего не скрепляет. Без полнозвучного звучания и крепкой обновлённой композиции, по его убеждению, стихотворения попросту нет. «На Вашем странном инструменте Вы издаёте один вслед за другим удивительные звуки, но это не есть музыка». (Тут надо бы заметить, что и у самого Заболоцкого в те годы *музыки* в стихах, по сути, не было, — и, может быть, это замечание подсознательно относится и к своему творчеству...)

И, наконец, выбор темы: у Введенского он «отпал». Заболоцкий заключает:



«Стихи не стоят на земле, на той, на которой мы живём. Стихи не повествуют о жизни, происходящей вне пределов нашего наблюдения и опыта, — у них нет композиционных стержней. Летят друг за другом переливающиеся камни, и слышатся странные звуки — из пустоты; это отражение несуществующих миров. Так сидит слепой мастер и вытачивает своё фантастическое искусство. Мы очаровались и застыли — земля уходит из-под ног и трубят издали. А завтра мы проснёмся на тех же самых земных постелях и скажем себе:

— А старик-то был не прав».

Замечательно, что 24-летнего Николая Заболоцкого — в пору становления и поэтических экспериментов, в пору создания «Столбцов» — уже всерьёз тревожит, необходимо ли такое камерное искусство — жизни, иначе говоря, тому, чем живут обычные люди (хотя об этом вроде бы ни слова).

...Многие годы спустя Юрий Колкер в своей статье о Заболоцком чрезвычайно точно заметил, каким важным для поэта событием была *посадка*:

«В лагерях произошло неожиданное.

„Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти не встречал людей, серьёзно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир — это только маленький островок в океане равнодушных к искусству людей“, — пишет он жене из ГУЛАГа в 1944 году. Это открытие ещё больше подтолкнуло его в русло традиции. Словесный изыск, которым он жил в молодости, потерял смысл. На „островке“ поэту стало тесно»...

По написании «Возражений» Николай, по-видимому, Александра не нашёл. Отдал Хармсу с просьбой вручить адресату. Но Даниил, однако, не передал, опасаясь, как предполагает исследователь творчества Введенского Анна Герасимова, «открытых разногласий внутри ОБЭРИУ».

По версии Игоря Бахтерева, своим новым названием группа «левофланговцев» обязана ему. Директор ленинградского Дома печати, старый большевик Николай Павлович Баскаков, с интересом следил за выступлениями молодых поэтов-авангардистов — и осенью 1927 года предложил им создать в своём доме секцию. Работайте-де по собственному плану, но под контролем правления. Директор выдвинул одно условие: сменить название группы — на том основании, что слово «левое» приобрело политическую окраску. Не нравилось ему и слово «авангард», которое было в ходу у новаторов Запада. «Каким же словом обозначить новую секцию? — пишет И. Бахтерев. — Вопрос оказался не из простых.

Думали все — и Заболоцкий, и Хармс, и Введенский — безуспешно. Особенно трудно оказалось выполнить собственное требование — не дать возможность появиться новому „изму“. В конце концов повезло мне. Я предложил назвать секцию Объединением реального искусства. Сокращённо Обериу. Название было признано удовлетворительным и без особого энтузиазма принято с поправкой Хармса: затушевать слово, лежащее в основе, заменить букву „е“ на „э“. Так и напечатано в журнале Дома печати. Впоследствии „э“ исчезло, здравый смысл победил».

Вполне возможно, что всё было не совсем так, как излагает Игорь Бахтерев: обсуждали же название группы — все. Любопытна больше не замена буквы «е» на «э», а другое — откуда в конце сокращённого названия вдруг появилась буква «У»? Очень ведь похоже, что ОБЭРИУ ненароком рифмуется с ОГПУ — весьма известной тогда аббревиатурой, зловещей тенью сгущающейся над повседневной жизнью граждан советской России. Кто-то же из них первым бросил эту опасную шутку, папахивающую издёвкой и чёрным юмором... кто — Хармс, Введенский, Заболоцкий? Ясно, что не Бахтерев... И самое главное: по свидетельствам современников, Заболоцкий расшифровывал ОБЭРИУ как Объединение *единственно* реального искусства.

Итак, несхожесть талантов всё же не помешала обэриутам объединиться и выступить со своим манифестом. Он был выражен не в прямой декларации, а в виде двух статей: «Общественное лицо ОБЭРИУ» и «Поэзия обэриутов», написанных, по свидетельству современников, в основном, если не полностью, одним Николаем Заболоцким.

«Громадный революционный сдвиг культуры и бытия, столь характерный для нашего времени, задерживается в области искусства многими ненормальными явлениями. Мы ещё не до конца поняли ту бесспорную истину, что пролетариат в области искусства не может удовлетвориться художественным методом старых школ, что его художественные принципы идут гораздо глубже и подрывают старое искусство до самых корней. Нелепо думать, что Репин, нарисовавший 1905 г., — революционный художник. Ещё нелепее думать, что всякие Ахры несут в себе зерно нового пролетарского искусства, — говорится в первой статье. — Требование общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревенскому школьнику, мы приветствуем, но требование *только* такого искусства заводит в дебри самых страшных ошибок. В результате мы имеем груды бумажной макулатуры, от которой ломаются книжные склады, а читающая публика первого Пролетарского Государства сидит на переводной беллетристике западного буржуазного писателя».

Самих пролетариев обэриуты насчёт искусства, конечно, не спрашивали, да и спросив — вряд ли бы получили вразумительный ответ, но, совершенно очевидно, сами сидеть на задворках старого искусства не желали. Они заявили протест против того, что из академии вытеснена «школа Филонова», художнику Малевичу не дают развернуться в архитектуре, а режиссёру Терентьеву — в театре. «Нам непонятно, почему т. н. Левое искусство, имеющее за своей спиной немало заслуг и достижений, расценивается как безнадёжный отброс и ещё хуже — как шарлатанство. Сколько внутренней нечестности, сколько собственной художественной несостоятельности таится в этом диком подходе».

Искусство, по их мнению, должно идти «левым путём», и только этот путь может вывести «на дорогу новой пролетарской культуры».

Теоретиков того водилось множество — как левых, так и правых, — и все клялись пролетариатом и революционностью: по советской России бродил призрак социалистического реализма и всё очевиднее становился явью. «Леваки» болезненнее всех других ощущали эту опасность, угрожающую творческой воле художника, а если разобраться, то и жизни. Гражданская война лишь недавно отбушевала на фронтах сражений, но, разумеется, просто так не исчезла, обернувшись политической борьбой на партийных съездах. В литературе и искусстве шли не менее яростные, не столько творческие, сколько идеологические столкновения.

Статья-декларация «Поэзия обэриутов» (1928) в своей теоретической предпосылке тоже в общем-то заклинание и попытка отстоять своё место под солнцем и право на новаторство в искусстве:

«Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, — честные работники своего искусства. Мы — поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы — творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни и её предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она перехлёстывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывает её со всех сторон. И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тину „переживаний“ и „эмоций“, ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм. Кто-то и посейчас величает нас „заумниками“. Трудно решить, что это такое — сплошное недоразумение или безысходное непонимание словесного творчества? Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своём творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной

шелухи, делается достоянием искусства. <...>

Мы расширяем смысл предмета, слова и действия. Эта работа идёт по разным направлениям, у каждого из нас есть своё творческое лицо, и это обстоятельство кое-кого часто сбивает с толку. Говорят о *случайном* соединении *различных* людей. Видимо, полагают, что литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров — а не подмастерьев, художников — а не маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает, чем связан с остальными».

В доказательство неслучайности соединения обэриутов Заболоцкий, перу которого наверняка принадлежит эта статья, даёт краткие, яркие и точные творческие портреты своих товарищей и — самого себя. Так, буквально нескольких слов ему хватило, чтобы выразить суть Константина Вагинова как художника, с его фантаσμαгорией мира, как бы облечённой в туман и дрожание. «Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев, которые живут и дышат по-своему...» В Данииле Хармсе подмечено его самое главное качество — выявлять смысл вещей в их взаимоотношениях, столкновении: «В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла». Об Александре Введенском сказано уже не так резко, как раньше в «Возражениях», — возможно, за год с лишним Заболоцкий несколько изменил свой взгляд на поэта. Однако, несмотря на это, мнение о творчестве Введенского осталось всё-таки прохладным и каким-то отстранённым. Весьма заметно, что ни разбрасывание «предмета на куски», ни «*видимость* бессмыслицы», свойственные стихам Введенского, Заболоцкому не по душе. Впрочем, он желает читателям побольше любопытства и внимания к столкновению словесных смыслов, характерных для этих стихов. И напоминает: «Поэзия не манная каша, которую глотают, не жуя, и о которой тотчас забывают».

В заключение вновь выражено твёрдое убеждение в том, что сошлись они отнюдь неспроста и не случайно, а затем, чтобы в совместной работе полнее выявить своё общественное значение. «Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет от мусора стародавних истлевших культур, — разве это не *реальная* потребность нашего времени? Поэтому и объединение наше носит название ОБЭРИУ — Объединение Реального Искусства».

Дом печати, расположившийся в прекрасном шуваловском особняке на Фонтанке, выделил в распоряжение обэриутов просторную гостиную с мягкими креслами, — впервые они получили свою площадь, до этого ведь

приходилось встречаться по квартирам. К поэтам потянулись киношники, режиссёры, актёры. В Доме печати намечался большой театрализованный вечер обэриутов «Три левых часа» с чтением стихов, спектаклем, кинофильмами и, конечно, диспутом. Заболоцкий, по воспоминаниям Игоря Бахтерева, деятельнее всех распоряжался делами вновь образованной секции:

«Всегда уравновешенный и тактичный, серьёзный, даже когда острил, Николай бывал незаменим и в кабинете высокого начальника, и среди нас, в частых случаях панических вспышек.

— Ничего не придумано, — волновался Левин, ответственный за театрализацию выступлений.

— Всё уладится, — спокойно, а главное — убеждённо говорил Николай. И улаживалось, несмотря на всю алогичность затеи. — Мне, к примеру, никаких театрализаций не нужно, — продолжал он, — каждый из нас сам себе театр».

Николай Чуковский познакомился с ним как раз в конце 1920-х годов.

«Заболоцкий был румяный блондин среднего роста, склонный к полноте, с круглым лицом, в очках, с мягкими пухлыми губами, — пишет он в очерке о поэте. — Крутой северо-русский говорок... оставался у него всю жизнь, но особенно заметен был в молодости. Манеры у него смолodu были степенные, даже важные. Впоследствии я даже как-то сказал ему, что у него есть врождённый талант важности — талант, необходимый в жизни и избавляющий человека от многих напрасных унижений. <...> Странно было видеть такого степенного человека с важными медлительными интонациями басового голоса в беспардонном кругу обэриутов — Хармса, Введенского, Олейникова».

И добавляет:

«Нужно было лучше знать его, чем знал тогда его я, чтобы понять, что важность эта картонная, бутафорская, прикрывающая целый вулкан озорного юмора, почти не отражающегося на его лице и лишь иногда зажигающего стёкла очков особым блеском».

К своему театрализованному вечеру обэриуты отпечатали броские афиши, а чтобы заманить побольше народу, фланировали по Невскому в виде «живой рекламы» — с лозунгами на пальто: «Мы вам не пироги!», «Поэзия — это не манная каша!», «Мы не паразиты литературы и живописи!» и подобными.

Вечер состоялся 24 января 1928 года. Ко всеобщей неожиданности, был аншлаг!..

Хармс выехал на сцену, стоя на чёрном лакированном шкафу, который

изнутри передвигали двое помощников. С подбелённым лицом, в длинном пиджаке с красным треугольником, в непременной золотистой шапочке с висюльками, он, по свидетельству Игоря Бахтерева, напоминал фантастическое изваяние или же неведомых времён менестреля. С вершины же шкафа он звучно вещал «фонетическими» стихами.

Бахтерев щеголял в узеньких брючках из «чёртовой кожи», задранных выше щиколоток, и по прочтении стихов вдруг выполнял заранее подготовленный акробатический трюк — не сгибаясь, падал на спину.

Чтение Константина Вагинова сопровождала классическим танцем балерина Милица Попова, — и кому больше хлопали — грустному поэту или изящной танцовщице, было не разобрать.

А Николай Заболоцкий вышел в шинели и гимнастёрке, в солдатских ботинках с обмотками, доставшимися от недавней службы, — не потому, что хотел как-то выделиться или казаться попроще, а просто приличной гражданской одежды тогда у него не водилось. Басовитый голос, простое и отчётливое чтение — студенческая публика встречала стихи с шумным одобрением. (Дмитрий Максимов в очерке «Заболоцкий» вспоминает: манера его чтения резко отличалась от бывшего тогда в ходу «есенинского» выпевания стихов и нарочитой экспрессии: Николай декламировал «чётко, императивно, мажорно, без всяких признаков „музыкального самозабвения“. Гротескный иррационализм словосочетаний сталкивался в этих стихах, и в их голосовой подаче и в их содержании с чёткостью звука, бодрствующей мыслью, определённой темой».)

Диспут был оживлённым: кто-то хвалил поэтов и артистов, другие насмехались и осуждали...

Впрочем, уже назавтра этот вечер обругала в своём отзыве ленинградская «Красная газета», заявив, что на сцене происходило «нечто непечатное»: обэриуты-де были развязны, а публика фривольна. Какой же успех без скандала и последующей печатной ругани!..

Игорь Бахтерев вспоминал, что «Три левых часа» оказалось первым и последним выступлением в большом театральном зале Дома печати. После этого вечера проходили уже в малом зале и собирали, как всегда, много народу, люди даже в проходах стояли. Особенно его поразило одно из таких выступлений весной 1928 года, которое по сути стало «персональным вечером» Заболоцкого, потому что Константин Вагинов, о котором было объявлено, заболел и не смог прийти. «Дружными аплодисментами награждали поэта собравшиеся. Многие стихи по просьбе слушателей он читал дважды. Такого в практике наших литературных вечеров, да и не только наших, не припоминаю».

## «Звезда бессмыслицы»

Ни одно объединение художников долго не существует — год, другой, третий — и всё.

ОБЭРИУ не было исключением. Его распад был предопределён — хотя бы тем, что все отцы-основатели весьма отличались один от другого и по натуре, и по дарованию.

Характеризуя Хармса и Введенского, Яков Друскин подчёркивает, что друзья принадлежали к двум противоположным, по классификации Альберта Швейцера, художественным типам. Александр относился к первому виду художников — тех, чьё творчество как будто бы не связано с их личной жизнью. Напротив, Даниил был из тех, чьё творчество столь тесно переплелось с их судьбой, что стало нераздельно с прожитым:

«И Введенский и Хармс знали это различие и ощущали его. В конце двадцатых годов Введенский сказал, что Хармс не создаёт искусство, а сам есть искусство. Хармс в конце тридцатых годов говорил, что главным для него всегда было не искусство, а жизнь: сделать свою жизнь как искусство. Это не эстетизм: „творение жизни как искусства“ для Хармса было категорией не эстетического порядка, а, как сейчас говорят, экзистенциального.

У Введенского искусство и жизнь — две параллельные линии. И они тоже пересекаются, но в бесконечности. Практически он достиг этой бесконечной точки в „Элегии“ (предположительно — 1940 год) и в „Где. Когда“ (1941) — в его прощании с жизнью. В этих двух вещах Введенский показал, что и его искусство связано с жизнью, но не так непосредственно, как у Хармса».

О Заболоцком Друскин молчит: по скупым обмолвкам общих знакомых, он, не очень понятно почему, недолюбливал поэта, и если высказывался о нём, то редко, неохотно и, что называется, сквозь зубы.

Надо сказать, что вообще, если судить по Альберту Швейцеру, художественный тип Николая Заболоцкого определить весьма трудно. Пожалуй, он где-то посередине между Введенским и Хармсом, больше тяготея к первому, поскольку ни в быту, ни в стихах не любил говорить о личном. Если Введенского и Хармса, как утверждает Друскин, объединяет «звезда бессмыслицы» — этот образ взят из эпилога большой поэмы Введенского «Кругом возможно Бог»:

Горит бессмыслицы звезда  
она одна без дна, —

то Заболоцкому эта звезда отнюдь не светила всё время, а разве что немного в молодости, а потом и вовсе для него погасла и, стало быть, с друзьями-обэриутами больше не соединяла. Уже в конце 1920-х годов их творческие пути расходились в разные стороны — и наконец разошлись. Да и человеческие связи дали трещину — у Заболоцкого с Введенским, хотя все трое и после распада группы продолжали время от времени общаться.

Исаак Синельников подметил: с самого начала Николай Заболоцкий в кругу обэриутов держался несколько обособленно. «Ему были чужды их методы пропаганды своего искусства, клоунада и эпатаж публики. Ему, как и Вагинову, это было просто не нужно, так как противоречило духу и смыслу его поэзии». Заболоцкий был не только годами старше Хармса и Введенского — он превосходил и мастерством. И это замечали не одни лишь зрители на поэтических вечерах — но куда как более умные, опытные и прозорливые слушатели его стихов. Ещё в начале 1927 года на вечер в Институт истории искусств пришли Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум и Виктор Жирмунский, и все они отметили в первую очередь талант Заболоцкого. Его стихи особенно поразили Юрия Николаевича Тынянова, который после этого вечера не раз встречался и беседовал с молодым поэтом. Позже, скорее всего по выходе «Столбцов», Тынянов подарил их автору свою книгу с надписью — «Первому поэту наших дней».

На вечерах поэзии студенческая публика частенько ошикивала Хармса и Введенского, а Заболоцкого же, куда более «понятного» ей, — шумно приветствовала, требовала читать снова и снова. Однако газетные отзывы не щадили никого из обэриутов. Так, в первой же статье после их вечера в здании Капеллы на Мойке, состоявшегося осенью 1927 года, ленинградский журнал «Жизнь искусства» писал об обэриутах, как о «мельчающих и запоздалых эпигонах Хлебникова», которые «всё ещё мечтают о заумной диктатуре в поэзии». Автор статьи Д. Толмачёв полностью отрицал «общественную актуальность» новой группы:

«Эта заумь — не хлебниковское смеющееся или грохочущее лингвистическое творчество дикаря, которому не хватает слов, а расслабленное и юродивое сюсюканье. Хаотический словесный комплекс „реального искусства“ состоит из „псевдо-детских“ выражений, обломчиков домашнего мещанского быта, из бедной, незначительной и вместе с тем претенциозной обиходной речи среднего довоенного



гимназиста. Этот гимназист, дожив до нашего времени, в лучшем случае воспринимает из окружающего... футбол и Новую Баварию (темы наиболее „актуальных“ стихов)». Последний камешек — в огород Заболоцкого, в адрес известных его стихотворений.

Однако уже через год в той же Капелле у Николая, по общему признанию, был большой успех.

В поэтическом вечере участвовали гости из Москвы, «лефовцы» Виктор Шкловский, Николай Асеев и Семён Кирсанов, которые приехали с явным желанием присмотреться к ленинградской творческой молодёжи. Потом, как всегда, состоялся диспут. В своём выступлении один из вождей новой «формальной» филологической школы Борис Эйхенбаум высоко оценил стихи Заболоцкого, назвав их многообещающим явлением в русской поэзии.

Далее взял слово Даниил Хармс. Он огласил вдруг пространную заумную декларацию, которая начиналась словами «Ушла Коля!». Исааку Синельникову это показалось неприкрытым упреком Заболоцкому, к тому времени по разным причинам в общем-то покинувшему ряды обэриутов: «Раздражение Хармса, как я думаю, объяснялось тем, что Заболоцкий оказался признанным поэтом, стал пользоваться несомненным успехом, а остальные обэриуты почувствовали себя изолированными».

Пожалуй, в этой декларации сказалась вовсе не зависть к успеху товарища, а та горечь, без которой не обходится ни одно расставание, тем более распад общего дела, которым жили не один год...

Хотя, казалось бы, зачем уж так тужить: ушла Коля, но ведь Даня осталась и Шура тоже...

Вечер, разумеется, не обошёлся без скандала:

«После Хармса выступил Кирсанов, читавший свои стихи. И тут разгорелись страсти.

Следует иметь в виду, что молодой Кирсанов мало походил на маститого поэта. В то время, о котором идёт речь, стихи Кирсанова в основном были рассчитаны на внешний эффект. Особенно прогремело четверостишие:

Мэри — наездница  
У крыльца

С лошади треснется  
Ца-ца.

Такие стихи слабо, как говорится, котировались, особенно в тогдашнем Ленинграде. И вот в то время, когда он читал стихи, сидевший рядом со мной Хармс поднял ворот пиджака, укрыл в него голову, сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Кирсанов немедленно ответил: „Я тоже умею“, и свистнул не менее оглушительно. Но когда он попытался продолжить чтение стихов, раздалось шиканье, и затем из разных концов зала слышались крики: „Заболоцкого! Заболоцкого!“ Заболоцкий, разумеется, в такой обстановке не мог выступить, но это не меняло того факта, что вечер закончился его триумфом».

**Глава девятая**  
**ПЕРВАЯ КНИГА**

## Загадки замысла

Стихи пишутся по наитию, но книга стихов — это уже замысел.

Замысел — происхождением своим — тоже из глубин наития, его изначальных субстанций, пластов. Оттуда, где слова ещё нет, где ещё мысль-чувство, а точнее — чувство-мысль: лишь постепенно вдохновением и сознанием они перевоплощаются в «виноградную плоть» поэтического образа, в стихотворение и, наконец, в книгу.

Молодому поэту Исааку Синельникову на всю жизнь запомнились уроки Заболоцкого, которые тот ненароком преподавал ему в феврале 1928 года в своей съёмной келье — узкой комнатухе с одним окном — на Конной улице старого петербургского района, лишь недавно ставшего ленинградским.

Николай был всего-то годом старше своего нового товарища, но казался ему многоопытным мастером, — впрочем, так оно и было на самом деле. Они, как это водится между поэтами, познакомились — читая по очереди друг другу свои стихи. Синельников вскоре почувствовал, что из его стихов Заболоцкому нравится далеко не всё: «Он заговорил о системе, в которую может укладываться или не укладываться тот или иной образ, эпитет. Под „системой“ он подразумевал прежде всего единство стиля. Его система требовала конкретности, точности».

Прочитав своего «Часового» (по признанию автора, сочинённого на дежурстве у знамени полка), Заболоцкий сказал, что это стихотворение станет программным в его будущей первой книге, которой уже дано название — «Столбцы»:

«— ...В это слово я вкладываю понятие дисциплины, порядка — всего, что противостоит стихии мещанства.

Тут же он осведомился, не готовлю ли и я книгу стихов. Я сказал, что книга ещё не получается.

— И напрасно. Надо писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. Тогда всё становится на своё место».

Не меньше поразили Синельникова и рукописи Заболоцкого. Стихи с карандашных черновиков были переписаны прекрасным почерком на листах плотной хорошей бумаги и бережно сшиты в тетради. Причём переписаны не чернилами, а тушью: строки — чёрной, а начальные буквы — красной. Всё это немного напоминало старинные манускрипты...

Конечно, вопрос, говорил ли Заболоцкий про «дисциплину» и

«мещанство». Одно из этих понятий тогда в действительности волновало его: *disciplina clericalis*, но то был *духовный устав*, иначе, говоря одическим штилем любимого им XVIII века, *устав его поэтического служения*. Что же до мещанства, до этого цепкого племени, непременно уживающегося со всяким режимом, то неужто обличение этого сословия могло по-настоящему занимать поэта? Мещанин, собственно, горожанин низкого разряда, как записано в словаре Даля. Буквальный смысл постепенно приобрёл образный оттенок: непритязательный городской обыватель низкого пошиба. Его жизнь — бытование в самом обычном земном смысле. Так было, так есть и так будет, — не про это ли непринуждённо пелось в прилипчивой песенке 1920-х годов: «...цыплёнки тоже хотят жить». До него ли поэту?.. у поэта другая задача, как «обличительно» бы ни звучала его лира... Но вот какой была цель Заболоцкого в его первой книге, он не раскрыл никому.

В русском языке слово «столбец» означает ряд, порядок, расположение чего-либо, в данном случае стиха, сверху вниз, стойком или вдоль — в отличие от строки, расположенной поперёк. В типографском деле столбец — колонка набранного текста. А в старину «столбец», или «столпец», означал свиток, то есть бумаги, не сшитые тетрадью, но подклеенные снизу лист к листу. В далёкой древности свиток был рукописью, книгой...

И этот каллиграфический почерк (будто бы принадлежащий, как встарь, руке монаха-писца), и эти сшитые тетради (прообразы будущих поэтических сборников, — заметим, привычка сшивать тетради стихов сопровождала поэта всю его жизнь), и эти столбцы-свитки, и эта «система», обозначающая единство стиля, — всё говорит о том, что Николай Заболоцкий мыслил как поэт не столько категорией отдельного стихотворения, сколько категорией *книги*. Книги как единого целого, как законченного — по всем «параметрам» — произведения искусства.

Литературовед Игорь Лоцилов в примечаниях к «„Столбцам“ 1929 года» (Метаморфозы. М.: ОГИ, 2014) пишет:

«Композиция сборника, состоявшего из 22 стихотворений-столбцов, воспроизводит, подобно сверхповести В. Хлебникова „Зангези“, состав гадальной колоды старших арканов таро и „тарообразную модель универсума“».

Своей неожиданной — *эзотерической* — гипотезе Лоцилов посвятил объёмистое исследование «Феномен Николая Заболоцкого» (Helsinki, 1997).

Однако обратимся к тому, что подразумевал под «сверхповестью» Велимир Хлебников, написавший несколько произведений в этом новом, созданном им самим жанре, среди которых «Зангези» — наиболее полное и

совершенное воплощение его идеи. Ведь очень похоже, что этот опыт Хлебникова действительно послужил Заболоцкому ориентиром в создании книги «Столбцы». Во «Введении» к «Зангези» Хлебников даёт образный, символический ключ к тому, что следует понимать под *сверхповестью*:

«Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: „Како веруеши?“ — каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести — повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — чёрного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из „рассказов“ есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка».

У Хлебникова в «Зангези» *камнем* сверхповести были «плоскости», как он называл прозаического характера отрывки, — у Заболоцкого в «Столбцах» такой *строевой единицей* стали *столбцы*.

Лишь два стихотворения: «Красная Бавария» («Вечерний бар») и «Футбол» ранее печатались в ленинградской литературной периодике, все остальные впервые появились в книге. Тем сильнее было их воздействие на читателя...

Сохранилось два письма Заболоцкого художнику Льву Александровичу Юдину, которого летом 1928 года Заболоцкий попросил сделать обложку «Столбцов». С Юдиным они познакомились, когда обэриуты готовили свой вечер в Доме печати «Три левых часа», — живописцу понравился скромный, весёлый и деловитый поэт, который в пёстром кругу своих приятелей показался ему «надёжнее всех их». Кооперативное издательство писателей Ленинграда, взявшееся выпустить книгу, собственных средств не имело и работало в кредит. «В этом деле нельзя рассчитывать на материальное вознаграждение, — предупреждал Заболоцкий Юдина, — ...я, например, за книгу ничего не получаю. Если Вы и не отказались бы сделать эту работу, то лишь как дружескую услугу для меня лично».

Поэт хотел, чтобы обложка была очень простой и выполнена тем же шрифтом, которым Юдин написал плакат к обэриутскому вечеру: «Шрифт своеобразный, но строгий и законченный. В нём — вся соль. С виду будто

бы ничего особенного, а приглядишься — и открывается совершенно новое дело».

Художник согласился работать без оплаты и слово сдержал. Однако в издательстве не понравилась его смелая по форме обложка, и книга вышла совсем в другом виде, обычном, затрапезном. Заболоцкий был не на шутку расстроен... К тому же «Столбцы» запоздали: поэт надеялся, что сборник выйдет осенью — «к сезону», а получилось — в феврале 1929 года. Тираж был небольшим — 1200 экземпляров.

Зато успех был ошеломительный! Книга поразила всех: и сочувствующих его стихам, и недоброжелателей...

Многие годы спустя Исаак Михайлович Синельников вспоминал, как на Конной они вдвоём с автором вычитывали гранки новой книги:

«Николай Алексеевич затопил печку. Мы сидели с ним на корточках и смотрели на огонь. Я сказал:

— Ну вот, через несколько дней выйдет ваша книга. Может быть, как Байрон, вы однажды проснётесь знаменитым.

Он улыбнулся и сказал, что сейчас другие времена и всё обстоит значительно сложнее, чем при Байроне.

Но я напроорочил: он действительно проснулся знаменитым. В журналах появились ругательные рецензии и критические статьи. Особенно возмутительной была злобная статья некоего Амстердама, который, как видно, ничего не понял в стихах Заболоцкого и всё поставил с ног на голову. Врага и обличителя мещанства этот критик превратил в апологета мещанства».

Опять-таки — в мещанстве ли дело?..

Николай Заболоцкий достиг того, к чему стремился всю юность и молодость, — создал свой поэтический язык — новый и неповторимый в русской поэзии. Заговорил в стихах с интонацией, присущей только ему. Разглядел в обыденности свою житейскую и метафизическую суть. Не только не испугался правды современности в то время, когда власть и её рапповские «шестёрки» всё наглее учили художников, как им надо думать и что писать, но и прямо взглянул жизни в лицо, в подробностях рассмотрев всё, что в ней есть, своим «знающим глазом». И сумел выразить свои чувства и мысли с исключительной искренностью, с небывалой зоркостью, с отменным пластическим мастерством.

«Столбцы» — это тоже своего рода сверхповесть. Внешне, предметно — она вроде бы о жизни легендарного города на Неве да и о жизни вообще в Советской стране середины двадцатых годов XX века. Но внутренне — это признание души о своём потайном знании сути вещей, всего того, что

окружает её и отравляет ей существование, свидетельство о том гнилом воздухе, которым она вынуждена дышать в тисках «текущего» периода послевоенной и послереволюционной истории да и во всей «глуши времён».

Но вместе с тем эта книга — не только свидетельство о времени и о фантастической зоркости художника. Это ещё — и химеры ума, молодого, но уже отравленного мерзкими испарениями эпохи и оттого въедливого, беспощадного. Разум рассудил бы жизнь и эпоху иначе, мудрее, потому что разум — это одухотворённый ум. Но откуда молодости, тем более испытанной эпохой военного коммунизма и нэпа, было набраться разума? Отсюда свойственные ей предельная резкость, категоричность, безжалостность, которыми насквозь пронизаны *столбцы*, как город, который их породил, пронизан по осени промозглым, студёным, гнилым, рваным ветром...

По своей же форме книга представляет собой то самое *зодчество из «рассказов»*, о котором говорил Хлебников в предисловии к «Зангези». Эти «рассказы»-картины поражают остротой поэтического зрения, силой и точностью кисти художника. Художественная плоть стихов, их язык искажены, изломаны — гротеском, пародией, резкой и трагической иронией, чрезмерным физиологизмом описаний, фантасмагориями — однако, как видно, иного способа рассказать об увиденном, понятом и пережитом — у Заболоцкого не было. Не это ли он и считал тем новым *единственно реальным искусством*, которое обещал читателю вместе с другими обэриутами.

Похоже, сама тогдашняя действительность, острейшим образом прочувствованная и пережитая, вся полнота — до предела и запредельно — взбудораженной души и, конечно же, всё то, что он как поэт и читатель «перепахал» в литературе, продиктовали поэту новую форму.

Поэт и эссеист Алексей Пурин в статье «Метаморфозы гармонии: Заболоцкий» обращает внимание на то, что «*Столбцы*» появились в пору расцвета ленинградской «формальной школы» филологов:

«Повышенный интерес Заболоцкого к поэтике XVIII столетия, к генеалогии русской оды — от Ломоносова до Тютчева, к жанру баллады, к литературной пародии, к прочтению „Евгения Онегина“ и „Медного всадника“ — всё это кажется напрямую связанным с исследованиями ОПОЯЗа. Знаменателен факт: итоговая теоретическая книга Тынянова — „Архаисты и новаторы“ — увидела свет в том же 1929 году, что и „*Столбцы*“.

Сказанное, разумеется, не означает, что „*Столбцы*“ — порождение



теории литературы; стихи эти возникают на сложном пересечении филологии и реальной жизни. Порою мы забываем о том, что искусство, предметом которого выступает жизнь, само — часть нашей реальности, то есть часть своего собственного предмета. Более того — в той же мере как автор ставит эксперименты над языком, жизнь ставит опыт над ним самим».

Изучал ли Заболоцкий работы филологов-«формалистов», неизвестно. Понятно другое: именно в Ленинграде шли напряжённые поиски новой поэтической формы. Новое уже витало в воздухе — и ожидало поэта, которому будет под силу воплотить это в слове.

«Начать же следует с того, что Заболоцкий синтезирует новый лирический жанр — столбцы, — продолжает Алексей Пурин. — Столбцы — странный гибрид оды, баллады, литературной пародии, фрагментов пушкинского стихотворного романа... В отличие от лирического стихотворения (в его сегодняшнем понимании), возникшего вследствие истирания, разрушения и выветривания тех же самых поэтических форм XVIII — начала XIX века и усреднения их иерархических особенностей, — столбцы сохраняют исходные иерархические черты составляющих их частиц.

Новизна жанра здесь — в особом мелкодисперсном взаимодействии высоких и низких уровней, в их взаимопроникновении; в том, что сочетание, казавшееся немыслимым, становится возможным и эстетически правомочным. Если лирические стихотворения XX века — окатанная прибоем коктебельская галька, то столбцы — мозаичные панно (столь любезные, кстати сказать, Ломоносову), оживляемые в немалой мере светом стилистического интереса. Нормальное эстетическое восприятие „Столбцов“ поэтому требует некоторой специальной подготовленности читателя».

Вспомним, чем был тогда бывший Санкт-Петербург, с его теперь уже ленинградским бытом. В минувшие два века здесь творилась русская история и создавалась русская литература, — и это словно бы запечатлелось в облике и атмосфере недавней столицы империи. По городским мостовым только недавно промаршировали пьяным «державным» шагом блоковские *двенадцать* — разухабистые апостолы революции, катастрофы, апокалипсиса. А за ними пошло-поехало... То кровавое месиво Гражданской войны, то пир во время чумы и тифа, то разруха и голод. Народ резали по живому — целыми сословиями... Потом власть дала обманную короткую передышку под названием нэп, вконец испошленную жадной гульбой и жаждой наживы, чтобы вслед за ней уж

окончательно расправиться с главным своим врагом — мелким собственником, то есть с крестьянством. Советской власти приходилось осуществлять свои цели в лихорадочно быстром темпе — в ожидании грядущей, неизбежной и, возможно, скорой войны. И почти всё это Заболоцкий видел своими глазами, ощущал на себе... Насчёт политики он в стихах не высказывался, скорее всего не считая её предметом, достойным поэзии. Но не видеть того, что происходит, не всматриваться со всей основательностью в происходящее — не мог. Как не мог не дать настоящему своей оценки...

«Знаю, что запутываюсь я в этом городе, хотя дерусь против него», — вырвалось у него редкое признание в глубоко личном письме будущей жене Кате Клыковой, написанном 12 февраля 1928 года. Наверное, и стихи из «Столбцов» да и вся эта книга отражают его «драку» с ненавистным и любимым городом, которая, кроме всего прочего, была борьбой за выживание собственной души и утверждение её в слове.

## «И всюду сумасшедший бред...»

Уже в первом столбце «Красная Бавария» (так называлась знаменитая пивная на Невском) показан апокалиптический по сути разгул обывателей, с изрядным привкусом сатанинской мессы, где христианские начала, заложенные с детства в каждого русского человека, вывернуты наизнанку:

Мужчины тоже все кричали,  
они качались по столам,  
по потолкам они качали  
бедлам с цветами пополам;  
один — язык себе откусит,  
другой кричит: я — иисусик,  
молитесь мне — я на кресте,  
под мышкой гвозди и везде...  
К нему сирена подходила,  
и вот, колено оседлав,  
бокалов бешеный конклав  
зажёгся как паникадило. <...>

Действие, — если только можно так назвать тоскливое, застывшее фантастическим студнем мертвящее собрание гуляк, — творится «в глуши бутылочного *рая*» — а за окном стоит непроглядная «глушь времён». То есть так оно — везде и всегда. И в этой пивной, и во всём мире. И это, хотя и не определено словом, — глухая обезверенность, обезбоженность, то самое внутреннее состояние человека, о котором когда-то безнадёжно больной ум в безумии своём сказал: «Бог умер». Потому-то и «рай» — «бутылочный», и

бокалов бешеный конклав  
*зажёгся как паникадило.*

Заболоцкий, хоть и отрицал религию, но богоборцем не был. Родовые и духовные корни не могли не сказаться в его творчестве, каких бы взглядов он ни придерживался и каких бы заявлений ни делал. Впоследствии писатель Борис Филиппов, определяя сущность его ранних

стихов, высказал очень точную мысль: «Поэзия напряжённого и многосложного содержания. Поэзия человека, утратившего веру. Обезбоженный — и тем самым обездуховленный мир. Но мир сильной поэтической индивидуальности, острого и сатирического ума, отнюдь не расположенного к самопоглощению себя в пресловутом *мы* коллективизма, к растворению себя в толще стереотипных Ивановых. Но может ли не поэт — поэт может! — а сама поэзия быть, по сути своей, атеистической? Нет, конечно. Ибо поэт, какими бы аналитическими способностями ни обладал его ум, прежде всего — *любовный созерцатель мира как целого*. И не только созерцатель, но в какой-то степени и творец. Мы все, конечно, творим миры, свои миры, но у художника слова этот процесс проходит наиболее ярко, непосредственно и убеждённо, а тем самым и убедительно. И творит поэт и прозаик свой мир не из общей картины сущего, спускаясь к дробности, детали, а бесконечно возвышая, очищая, перерабатывая и отвоплощая эту отдельную дробность как образ идеи целого». Ранний Заболоцкий словно бы положил себе в начале своего поэтического пути пройти через хляби и грязи земные — и по *столбцам* вершил этот путь.

Петербург — Петроград — Ленинград напрямую присутствует не только в «Красной Баварии», но и в других *столбцах*: «Белая ночь», «Черкешенка», «Фокстрот», «Обводный канал», «Народный дом», а косвенно — и почти во всех остальных стихотворениях. Но предметность места и времени лишь фон, оболочка, личина — суть же в ином. Так, белая ночь (в одноимённом стихотворении) — вовсе не природное явление начала лета, а некая дышащая гибелью среда. В «Красной Баварии» всякая песня «*бледной сирены*» — певички «в бокале отливалась *мелом*», то бишь смертью, — и в следующем, втором *столбце*, в «Белой ночи» те же «сирены» с «*эмалированными руками*» показаны в столь же мертвенных красках — «все в синеватом серебре».

Что же происходит на самом деле?

И всюду сумасшедший бред,  
и белый воздух липнет к крышам,  
а ночь уже на ладан дышит,  
качается как на весах. <...>

Это — царство гибели, смерти...

Но даже не оно по-настоящему жутко, а картина, что заключает стихотворение, возможно, самая беспощадная и страшная во всей книге:

Так недоносок или ангел,  
открыв молочные глаза,  
качается в спиртовой банке  
и просится на небеса.  
(«Белая ночь»)

Это нечто, законсервированное навечно, есть омертвелость сущего и потустороннего. По ассоциации эти строки вмещают в себя громадный мифологический и историко-культурный ряд, включающий в себя и относительно недавнее петербургское и мировое прошлое: отвратительные экспонаты Петра Великого в Кунсткамере, дьявольские фантазии Гёте о гомункуле в «Фаусте» и кошмарные видения Боратынского, запечатлённые в его «Недоноске»...

Смерть гуляет по страницам книги, будто пьяница в бутылочном раю пивной. Форварда «хватают наугад», «отравую поят», даже «шар» — бешеный футбольный мяч — хочет его замучить, — и в итоге нападающий «спит без головы» да ещё и «задом наперёд» («Футбол»); покойник, сбежавший из царского дома, «по улицам гордо идёт» («Офорт»); черкешенка «трупом падает, смыкая руки в треугольник» («Черкешенка»), В претворённом виде смерть хозяйкой наличествует в самых обычных вещах:

Сверкают саблями селёдки,  
их глазки маленькие кротки,  
но вот — разрезаны ножом —  
они свиваются ужом;  
и мясо властью топора  
лежит как красная дыра;  
и колбаса кишкой кровавой  
в жаровне плавает корявой. <...>  
(«На рынке»)

Или — про сковороду на огне:

Как солнце чёрное амбаров,  
как королева грузных шахт,  
она спластала двух омаров,

на постном масле просияв!  
Она яичницы кокетство  
признала сердцем бытия,  
над нею прокликает детство  
цыплёнок, синий от мытья —  
он глазки детские закрыл,  
наморщил разноцветный лобик  
и тельце сонное сложил  
в фаянсовый столовый гробик. <...>  
(«Свадьба»)

Даже незримое время — и оно подвластно разрушению и  
уничтожению:

А время сохнет и желтеет. <...>  
(«Новый быт»)

Но ещё больше надо всем владычествует неприкрытое безумие.  
Реалии искалеченной жизни, которые рисует Заболоцкий, при всей  
своей обыденности, фантазмагоричны: у плоти будто бы напрочь обрубали  
дух, и она живёт будто бы сама по себе:

Калеки выстроились в ряд,  
один — играет на гитаре;  
он весь откинулся назад,  
ему обрубок помогает,  
а на обрубке том — костыль  
как деревянная бутыл.

Росток руки другой нам кажется,  
он ею хвастается, машет,  
он вырвал палец через рот,  
и визгнул палец, словно крот,  
и хрустнул кости перекрёсток,  
и сдвинулось лицо в напёрсток.

А третий — закрутив усы,

глядит воинственным героем,  
в глазах татарских, чуть косых —  
ни беспокойства, ни покоя;  
он в банке едет на колёсах,  
во рту запрятан крепкий руль,  
в могилке где-то руки сохнут,  
в какой-то речке ноги спят...  
На долю этому герою  
осталось брюхо с головою  
да рот большой, как рукоять,  
рулём весёлым управлять! <...>

Апофеозом безумия в этом стихотворении («На рынке») становится встреча торговли-бабки «с плёнкой вместо глаз» с третьим калеккой — и общее их веселье ужасает своим непотребством, поданным поэтом с нарочитой пародийной лёгкостью, отчего всё только трагичнее, бездуховнее, страшнее:

...Недалёк  
тот миг, когда в норе опасной  
он и она, он — пьяный, красный  
от стужи, пенья и вина,  
безрукий, пухлый, и она —  
слепая ведьма — спляшут мило  
прекрасный танец-козерог,  
да так, что затрещат стропила  
и брызнут искры из-под ног!

И лампа взвояет как сурок.

Рыночная «лампа» венчает эту жуткую сцену, как и «лампион», что блистал на мачте у пивной «Красная Бавария».

Искусственные фонари нового бытия!..

Отнюдь не солнце, но эти выдуманные его заменители слепое освещают жизнь всем персонажам «Столбцов». Книга и заканчивается — «фонарём бескровным, как глиста», который «стрелой болтается в кустах» («Народный дом»). Не иначе петербургская, а отныне ленинградская

примета. И созвучна она знаменитым безнадёжным стихам Александра Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет...

Конечно, среди читателей «Столбцов» — и тогда, и сейчас — кто-нибудь непременно недоуменно спросит: ну почему же всё так мрачно?..

Поэт и не задаётся этим вопросом.

«Знающему глазу» — не прикажешь: он видит то, что есть, и ничего более.

Да — *тьма*. Но *тьма до свету*, как гласит пословица...

Даже природа далека от земной идиллии. Волны около бортов парохода *бесятся*, «как слепые кошки», из их «чёрных *ртов*» стекает «поток горячего стекла» («Море»), Или же стихотворение о лете, о греющихся на солнце, отдыхающих людях... но что вызывает *веселье* — у автора ли?... или у так называемого лирического героя?.. Вот что:

людские тела наливались как груши,  
и зрели головки, качаясь на них. <...>  
(«Лето»)

Весьма странная, не правда ли, картина?.. Будто что-то нехорошее, неестественное, страшное «созревает», покачиваясь, вместо голов...

Вроде бы самое что ни на есть умиротворяющее занятие — выпечка хлеба: припомним один лишь дух свежееиспечённого каравая — он же благодатен... Но что мы видим у Заболоцкого?

Спадая в маленький квартал,  
покорный вечер умирал,  
как лампочка в стеклянной банке.  
Зари причудливые ранки  
дымились упадая ниц;  
на крышах чашки черепиц  
встречали их подобьем лиц,  
слегка оскаленных от злости.  
И кот в трубу засунул хвостик.



Но крендель, вывихнув дугу,  
застрял в цепи на всём скаку  
и закачался над пекарней. <...>

Отнюдь не мирная — тревожная картина. И далее:

Тут тесто, вырвав квашен днище,  
как лютый зверь, в пекарне рыщет,  
ползёт, клубится, глотку давит,  
огромным рылом стену трёт;  
стена трещит: она не вправе  
остановить победный ход.  
Уж воют вздёрнутые брёвна. <...>  
(«Пекарня»)

Ну, и после — в подобном же роде. Хлебопёки похожи на «идолов в тиарах»; печь, поглощающая корчаги с тестом, красна от натуги, «пещера всех метаморфоз»...

Благо хоть с «младенцем-хлебом» не произошло ничего плохого: выпечен, как полагается. Даже печь довольна, словно бы родила наследника: стоит, «стыдливая, как дева / с ночною розой на груди». Разве что кот, повертев «зловонным хвостиком» и *улыбнувшись*, напакостил напоследок, оставив «болотце» в глиняном углу...

Поэт и филолог Светлана Кекова обратила внимание на звуковую атмосферу действия у раннего Заболоцкого: «Это вой, гром, крик, свист, верещание, хохот, стон и т. д. <...> Все эти звуки образуют как бы особую *смысловую сферу*. <...> Мы, таким образом, можем сделать один вывод: смысловая сфера громкого звука отсылает нас к представлениям о безумном, хаотическом устройстве мира». Другой признак безумного мира — «разнообразные инверсии»: «Книзу головой или вверх ногами располагаются в художественном пространстве „Столбцов“ самые разные герои».

Впрочем, ведь и сама жизнь после семнадцатого года перевернулась с ног на голову.

Столько всего произошло за десять лет — а что же из *нового мира* замечает автор «Столбцов»?..

Кое-что мелькает в стихах — чего прежде не водилось. Скажем, знамёна «в серпах и молотах измятых», почему-то свисающие с потолка; «пролетарий на коне», «звезды пожарик красный / и серп заветный в головах» («Часовой»). — Это из *программного*-то стихотворения!..

Главное в нём — не эти издевательские мелкие приметы, не «дисциплина и порядок» (как записано в воспоминаниях Исаака Синельникова), а —

штык ружья — сигнал к войне, —

или, иначе говоря, оружие отмщения. Кому, чему? — обывателям?.. безумному миру?.. Или же тут вообще отдалённое предчувствие грядущей войны, новой мировой схватки...

Это глубокое, ещё ничем определённым не обозначенное предчувствие уже вполне развёрнуто в одном из последующих «Часовому» стихотворений — в «Пире»:

В железной комнате военной,  
где спит винтовок небосклон,  
я слышу гром созвездий медный,  
копыт размеренный трезвон.  
Она летит — моя телега,  
гремя квадратами колёс,  
в телеге — громкие герои  
в красноармейских колпаках.  
Тут пулемёт, как палец, бьётся,  
тут пуля вьётся сосунком,  
тут клич военный раздаётся,  
врага кидая кверху дном. <...>

Кажется, много ли возьмёшь с какого-то солдатского застолья в «военной комнате», где льётся дешёвое пиво, шумит спор, дымится пар от потных тел — и всё это при тускловатом свете голой лампочки? Но поэту чудится совсем другое — он сочиняет оду штыку. Перед нами и лубок, и пародийная героическая песнь штыку — символу борьбы, войны и победы. Символу той стремительной, пока ещё дремлющей, но уже готовящейся к бою силы, которая рано или поздно проснётся от своего недолгого сна.

...Валерий Шубинский в книге «Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру» пишет, что отчуждѣнным и мрачным восприятием окружающего мира были тогда «заражены» все обэриуты — в особенности же наиболее «социально ангажированные»: Олейников, Заболоцкий, Липавский. «Особенно характерны настроения Николая Заболоцкого. В обэриутоведческой литературе его порою принято обвинять в „конформизме“, причѣм создание таких стихотворений, как „Север“, „Голубиная книга“, „Горийская симфония“, связывается с его отходом от эстетики „Столбцов“ и соответствующего мировосприятия. Но разве „Столбцы“ — книга менее „красная“, менее просоветская, чем стихи Заболоцкого середины 1930-х годов? Разумеется, ошибочно видеть в ней лишь сатиру на нэп, но ещё более ошибочно сводить её к собранию пластических этюдов. Пафос знаменитой книги Заболоцкого, особенно в её раннем, аутентичном варианте — бешено-якобинский или, если угодно, троцкистский. Уродливый торговый рай современного города для него — одно из воплощений ненавистного ему стихийного природного начала, хищничества, не просветлѣнного духом. Не случайно в книгу вошло стихотворение „Пир“ — почти шокирующий в своей откровенности гимн преобразующему бытие насилию:

О штык, летающий повсюду,  
холодный тельцем, кровяной,  
о штык, пронзающий Иуду,  
коли ещё — и я с тобой!»

Валерий Шубинский не единственный, кто считает Заболоцкого «красным». (Ещё его называют «правым» — в отличие от ближайших друзей — Хармса и Введенского — тех называют «леваками». Причѣм имеется в виду не только поэтика, но и взгляды, мировосприятие.) Казалось бы, логично, особенно в контексте его некоторых, заметим, очень немногих, откровенно «советских» стихов 1930-х и последующих годов. Только вот если уж в самом деле *красный* — то странный какой-то красный. В «Столбцах» он, к примеру, не приемлет ничего из того, что построили действительно *красные*, то есть большевики, на месте разрушенного — до основания — прежнего мира. И не от *красных* ли критиков и политиков достались Заболоцкому за его стихи бесчисленные обвинения в контрреволюционности, реакционности и прочем? Ведь краснее рапповца зверя нет... Ещё одна деталь — из лексики приведѣнного

выше четверостишия: «бешено-якобинский или, если угодно, троцкистский» пафос поэта направлен на Иуду. Но ведь Иуда, в понимании тех, кто свершил Октябрьский переворот 1917 года, как раз таки герой, — не даром ему как первому революционеру большевики — первым делом! — поставили памятник (в Свияжске) в рамках своей монументальной пропаганды. В понимании обычном, традиционном, изначальном Иуда — предатель, в первую очередь — предатель Христа... Тут всё — как в той меткой, приведённой нами чуть ранее мысли Бориса Филиппова о Заболоцком: поэт может быть атеистом, но поэзия — атеистической быть не может. Или, иначе говоря, поэт как человек может придерживаться красных взглядов, но поэзия выскажет — истинное.

Впрочем, толкование Валерия Шубинского (мы опять об этой строфе), конечно же, уместно, однако, может быть, «преобразование насилием» — лишь первый, поверхностный план оды *штыку*. Ведь вслед за этими строками идут совсем другие:

Я вижу — ты летишь в тумане,  
сияя плоским остриём, я вижу —  
ты плывёшь морями  
гранёным вздёрнутым копьём.  
Где раньше бог клубился чадный  
и мир шумел — ему свеча;  
где стаи ангелов печатных  
летели в небе, волоча  
пустые крылья шалопаев, —  
там ты несёшься, искупая  
пустые вымыслы вещей —  
ты, светозарный как Кощей!

Тебе ещё не та забота,  
тебе ещё не тот полёт —  
за море стелется пехота,  
и ты за море правишь ход.  
За море стелются отряды,  
вон — я стою, на мне — шинель  
(с глазами белыми солдата  
младенец нескольких недель).  
Я вынул маленький кисетик,  
пустую трубку без огня,

и пули бегают как дети,  
с тоскою глядя на меня...  
(«Пир»)

Не на мировую ли битву *летит* штык?..

Что же и делать ему — если не колоть; а пули, не лететь же им в пустоту, мимо солдатиков?..

В чаду заурядного веселья сослуживцев поэт словно бы дышит воздухом военного времени. Но какое время — не военное?.. Он дышал этим воздухом и прежде — в детстве и юности, когда где-то далеко шла Первая мировая война, а потом уже на его земле — Гражданская. Не слишком разрядилась атмосфера и в пору военного коммунизма. И теперь, разве не слышен его разборчивому слуху металлический лай лозунгов, похожий на лязг затворов? Кого-то всё время деловито тащили к стенке, бывало, и стучали пулемёты по глухим дворам тёмных зданий... В ушах, вьевшись в сознание, может быть, по-прежнему тонко вибрирует разрежённый, тревожный воздух расстрелов, отравленный пороховой гарью. Да и большая война, мировая, она только притворилась, что утихла: закончиться она просто не может, ведь природа человека нисколько не изменилась...

## Новые ополченцы

Вот и новый быт (из одноимённого стихотворения «Столбцов») — чем он в принципе отличается от старого? Чуток нелепых нашивок на старом кафтане — зацепились, как репей: а стоит приглядеться — и...

Выходит солнце над Москвой,  
старухи бегают с тоской:  
куда, куда идти теперь?  
Уж новый быт стучится в дверь!  
Младенец наглядко обструган,  
сидит в купели как султан,  
прекрасный поп поёт как бубен,  
паникадиллом осиян;  
прабабка свечку выжимает,  
младенец будто бы мужает,  
но новый быт несётся вскачь —  
младенец лезет окарачь.  
Ему не больно, не досадно,  
ему назад не близок путь,  
и звёзд коричневые пятна  
ему наклеены на грудь.  
Уж он и смотрит свысока  
(в его глазах — два оселка),  
потом пирует до отказа  
в размахе жизни трудовой,  
гляди! гляди! он выпил квасу,  
он девок трогает рукой  
и вдруг, шагая через стол,  
садится прямо в комсомол.

Наглядко обструганный текущим режимом младенец, в полном соответствии с установками, оборотист, смышлён и хваток: он знает, как Шариков у Булгакова в «Собачем сердце», что *в настоящее время каждый имеет своё право* и, подросши до состояния жениха, бойко заявляет попу:

я — новой жизни ополченец,  
тебе ж — один остался гроб! <...>

Он уже сидит в большой квартире и держит за рукав невесту. Только за пиршественным столом не свадебный генерал, как прежде, а, согласно новому быту, «председатель на-отвале»:

и, принимая красный спич,  
сидит на столике *кулич*. <...>

По свидетельству товарищей поэта, в оригинале было — *Ильич*.  
Ильич как кулич, а кулич как Ильич.

Примета нового мира: вон и первый горлан-главарь обличал в те годы совмещанство: «О коряги якорятся / там, где тихая вода, *а на стенке декорацией* Карлы-марлы борода».

Говорят, Заболоцкий «легко» пошёл на то, чтобы чуть подправить строку: главным для него было, чтобы всё стихотворение уцелело в книге. Понятно, почему «легко»: Ильич уже был религией, то бишь новым опиумом для народа.

...Тут припоминается один из эпизодов политической полемики 1924 года, когда «любимец партии» Николай Бухарин отправил письмо в Лондон русскому писателю православно-почвеннического направления Илье Британу. Там был такой пассаж:

«Вот вы всё бормотали мне своим исступлённым шепотком о церкви и религии, а мы ободрали церковь как липку и на её святые ценности ведём свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим; при Г. П. У. мы воздвигли свою „церковь“ при помощи православных попов, и уж доподлинно врата ада не одолеют её; мы заменили требуху филаретовского катехизиса любезной моему сердцу „Азбукой коммунизма“, закон божий — политграмотой, посрывали с детей крестики да ладанки, вместо икон повесили „вождей“ и постараемся для Пахома и „низов“... открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом... Всё это вам известно, и... что же?

Дурацкая страна!»

Мощи Ильича для Пахома — мавзолей на Красной площади действительно тогда же был открыт. Поначалу деревянный. И — вскоре в нём испортилась канализация. Известно, что изрёк по этому поводу арестованный большевиками патриарх Тихон: «По мощам и елей»...

Но вернёмся к стихотворению «Новый быт». В его окончании — апофеоз пролетарского нового быта:

Ура! ура! — заводы воют,  
картошкой дым под небеса,  
и вот супруги на покое  
сидят и чешут волоса.  
И стало всё благоприятно:  
приходит ночь, ушла обратно,  
и за окошком через миг  
погасла свечка — пятерик.

Пошлость, она и в советской Африке пошлость, — как сказал бы (может быть) картёжник Александр Введенский за игральным столом. И, разумеется, Иуда, в кого бы он ни рядился, главный пошляк как советской, так и мировой истории — и его надо колоть словом или, того лучше, штыком.

...Через несколько десятилетий другой поэт, Николай Рубцов, частушечкой отрубит — в ответ на благоприятности своего времени (цитирую по памяти):

Скот размножается, пшеница мелется,  
И всё на правильном таком пути...  
Эх, замети меня, метель-метелица,  
К... матери эх, замети!..

Брачный пир одного из таких Иуд, или же «новых ополченцев» — во всей вещной и плотской полноте — представлен в стихотворении «Свадьба».

С этим *столбцом* связана у Заболоцкого личная история.

Одним из его приятелей по Герценовскому институту был Константин Боголюбов. Они сошлись: одни судьбы и взгляды на жизнь, оба из глубинки и самозабвенно любят литературу. И тот и другой готовились стать писателями. Костя, младше на курс, сочинял приключенческие рассказы, фантастику. Как пишет Никита Заболоцкий, «оба товарища презирали сентиментальное сюсюканье, мещанское самодовольство и всепоглощающий благополучный быт».



В их студенческой компании (осталась её фотография, где сняты с десяток человек) все, конечно, были влюблены друг в друга. Николай увлекался Катей Ефимовой, Костя ухаживал за Асей Снетковой, а в него были влюблены подруги Катя Шулепова и Катя Клыкова. Про всё это все они хорошо знали: в общаге молодые чувства не скроешь. Но прошло какое-то время, и роли поменялись: Заболоцкий всерьёз потянулся к тихой и миловидной Кате Клыковой, а Костя, неожиданно для всех, женился.

«В жёны он взял женщину, по стилю жизни и по интересам совсем не похожую на тех, кто окружал его в институте... — пишет Никита Заболоцкий. — Две Кати, влюблённые в Костю и благородно уступавшие его друг другу, были обижены и разочарованы — не столько самим фактом женитьбы, сколько выбором их общего кумира. Свадьба была по тем временам роскошной. После венчания в церкви на квартире у невесты собрались приехавший из провинции воспитавший Костю дядя-священник, красивые, изящно одетые женщины, благополучные, близкие к коммерческим кругам мужчины. Была необычная для того времени обильная и вкусная еда, речи и тосты, песни под гитару. Заболоцкий тоже был среди гостей и воспринял всю эту роскошь как предательство товарищем их общих идеалов. Под звон гитары и весёлые возгласы „Горько!“ он встал из-за стола и покинул торжество.

В тот же вечер он написал своё знаменитое стихотворение „Свадьба“, в котором, явно утрируя действительность, гротескно и живописно изобразил свадебный пир...»

И далее: «...на следующее утро Заболоцкий принёс и передал стихотворение Боголюбову, тот, прочитав рукопись, не обиделся, не принял на свой счёт, а, наоборот, поздравил поэта с блестящим успехом и пригласил присоединиться к ещё продолжающемуся празднованию. Но Николай Алексеевич сдержанно откланялся и с тех пор решительно прервал не только дружбу, но и всякие встречи с Костей Боголюбовым. Общение возобновилось только через несколько лет, когда оба товарища работали в детской редакции Госиздата, но дружбы уже не было».

Это-то личное, наверное, и прибавило пылу-жару тому густому маслу раблезианской кисти, которым писана «Свадьба»:

Часы гремят. Настала ночь.  
В столовой пир горяч и пылок,  
бокалу винному невмочь  
расправить огненный затылок.  
Мясистых баб большая стая

сидит вокруг, пером блистая,  
и лысый венчик горностая  
венчает груди, ожирев  
в поту столетних королев.  
Они едят густые сласти,  
хрипят в неутолённой страсти,  
и, распуская животы,  
в тарелки жмутся и цветы.  
Прямые лысые мужья  
сидят как выстрел из ружья,  
но крепость их воротников  
до крови вырезала шеи,  
а на столе — гремит вино,  
и мяса жирные траншеи,  
и в перспективе гордых харь  
багровых, чопорных и скучных —  
как сон земли благополучной,  
парит на крылышках мораль. <...>

Безудержный разгул плоти, впрочем, увенчан — после всеобщей  
пляски — вселенской фантасмагорией:

Так бей, гитара! Шире круг!  
Ревут бокалы пудовые.  
Но вздрогнул поп, завыл и вдруг  
ударил в струны золотые!  
.....  
И по засадам,  
ополоумев от вытья,  
огромный дом, виляя задом,  
летит в пространство бытия. <...>

Свадьба, как суждено всему на свете, пропадает пропадом в «глуши  
времён»...

Подобную свадьбу — месяцем раньше — Заболоцкий уже примеривал  
на себя: столбец «Ивановы» он написал в январе 1928 года, тогда как  
«Свадьба» датирована февралём. Да и в книге эти произведения, конечно

же, недаром соседствуют одно с другим.

Ивановы-младенцы — уже подросли. Теперь они — ополченцы нового быта и дружно вышли на службу «в своих штанах и башмаках»:

Пустые гладкие трамваи  
им подают свои скамейки;  
герои входят, покупают  
билетов хрупкие дощечки,  
сидят и держат их перед собою,  
не увлекаясь быстрою ездой. <...>

Рядом с ними мечутся спутницы-подруги — хорошо знакомые нам по бутылочному раю и белым ночам сирены:

Иные — дуньками одеты,  
сидеть не могут взаперти:  
ногами делают балеты,  
они идут. Куда идти,  
кому нести кровавый ротик,  
кому сказать сегодня «котик»,  
у чьей постели бросить ботик  
и дёрнуть кнопку на груди?  
Неужто некуда идти?

Вот тогда-то, при виде этих гладких ополченцев и разодетых сирен, вырывается напрямую — до этого скрытый, не явленный наружу — настоящий авторский голос:

О мир, свинцовый идол мой,  
хлещи широкими волнами  
и этих девок упокой  
на перекрёстке вверх ногами!  
Он спит сегодня — грозный мир,  
в домах — спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,  
где ждёт меня моя невеста,

где стулья выставились в ряд,  
где горка — словно Арарат,  
повитый кружевцем бумажным,  
где стол стоит и трёхэтажный  
в железных латах самовар  
шумит домашним генералом?

И поэт открыто проклиняет этот мирок, этот трёхэтажный самоварный Арарат, с его жалким, непотребным существованием, к которому мог бы на свою погибель причалить его Ноев ковчег:

О, мир, свернись одним кварталом,  
одной разбитой мостовой,  
одним проплёванным амбаром,  
одной мышиною норой,

предупреждая и мир, и себя:

но будь к оружию готов:  
целует девку — Иванов!

Кроме этого неприкрытого монолога в «Ивановых», Заболоцкий лишь ещё дважды в книге — впрочем, не прямо, а косвенно — показывает самого себя. Первый раз — в «Белой ночи», когда он иронически отзывается о временном любовном угаре на питерских проспектах, вдруг вырывается у него гордое признание:

А музы любят круглый год.

И во второй раз — в «Бродячих музыкантах» — не совсем явно, под лёгкой маской:

Певец был строен и суров,  
он пел, трудясь, среди домов,  
среди выгребных высоких ям  
трудился он, могуч и прям.

Вокруг него — система кошек,  
система вёдер, окон, дров  
висела, тёмный мир размножив  
на царства узкие дворов.  
Но что́ был двор? Он был трубой,  
он был туннелем в те края,  
где спит Тамара боевая,  
где сохнет молодость моя,  
где пятаки, жужжа и млея  
в неверном свете огонька,  
летят к ногам золотого змея  
и пляшут, падая в века!

*Сон* — одна из сквозных тем в «Столбцах»: спит в спиртовой банке недоносок или ангел — перед тем, как открыть свои молочные глаза и попроситься на небеса; спит бедный форвард без головы; спит черкешенка, павшая трупом у Невы, что Арагвою течет; и часовой на посту, что стоит куклой, он, похоже, скорее дремлет, чем бодрствует; спит слепая бабка — рыночная торговка и т. д. Сон — иная реальность и, возможно, значит для автора «Столбцов» куда как больше, нежели притворная и лицемерная явь. Кроме того, сон — область глубин сознания, пространство фантасмагорий, которые порой говорят о человеке ту правду, что он пытается скрыть. А сон разума, то есть одухотворённого ума, — по известному выражению, порождает чудовищ.

О, весьма странные *фигуры сна* находит себе человек!

Не месяц — длинное бельмо  
прельщает чашечки умов;  
не звёзды — канарейки ночи  
блестящим реют многоточьем.  
А в темноте — кроватей ряд,  
на них младенцы спят подряд;  
большие белые тела  
едва покрыло одеяло,  
они заснули как попало:  
один в рубахе голубой  
скатился к полу головой;  
другой, застыв в подушке душной,

лежит сухой и золотушный,  
а третий — жирный как паук,  
раскинув рук живые снасти,  
храпит и корчится от страсти,  
лаская призрачных подруг. <...>  
(«Фигуры сна»)

Не те ли это младенцы, будущие или настоящие Ивановы, что наглядко обструганы новой жизнью и её бытом? (*Наглядко* — замечательно найдено слово. Фонарные столбы, на которых висят *лампионы*, это ведь бывшие деревья, обработанные пилой и рубанком.) Сон этих молодых ополченцев сторожат шкаф, который «глядит царём Давидом» и «спит в короне, толстопуз», и кушетка, что «Евой обернулась». А где-то неподалёку, в военной комнате спят винтовки, которым назначено палить по людям. А там, в большом мире

...молчанья грозный сон,  
нагие полчища заводов,  
и над становьями народов —  
труда и творчества закон.  
(«Свадьба»)

Там пока ещё спит — будущая война, и рано или поздно она проснётся...

«Столбцы» 1928 года заканчивались образом катящего по рельсам трамвая («Народный дом») — не того ли, в котором благоразумно, не быстро, а как велено едут по утрам на службу Ивановы?

И по трамваям рай качается —  
тут каждый мальчик улыбаётся,  
а девочка наоборот —  
закрыв глаза, открыла рот  
и ручку выбросила тёплую  
на приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идёт...

Чуть идёт — вот-вот приедет...

## **Глава десятая**

# **ВОКРУГ «СТОЛБЦОВ»**



## Успех и скандал

За минувшее время о «Столбцах» написано столько, что объём этого материала: книги, исследования, рецензии, отзывы и сопутствующие воспоминания — во много и много раз превышает размер того скромного томика, что вышел в Ленинграде в феврале 1929 года. Безусловно, первая книга Николая Заболоцкого стала событием, более того — явлением во всей истории русской поэзии.

«Столбцы» — не просто обычный стихотворный сборник, это — *книга стихов*, то есть единое, цельное произведение искусства. Если сравнивать, к примеру, с музыкой, то это не собрание отдельных пьес, пусть и близких по настроению друг другу, а полнокровная симфония, где всё звучащее находится в сложнейшей взаимосвязи и подчинено главной теме.

По энергии и силе поэтического излучения «Столбцы» Заболоцкого стоят в русской поэзии рядом с книгой стихов Боратынского «Сумерки» — в ряду других подобных, очень и очень немногих изданий.

Надо сказать, что ещё до выхода книги на молодёжных поэтических вечерах в Ленинграде второй половины 1920-х годов знатоки да и рядовые любители литературы поняли, какой новый, необычный и сильный поэт появился перед ними. Многие были просто-напросто поражены стихами, которые без всяких футуристических выкрутасов, свойственных тому времени, читал с эстрады обычный с виду светловолосый парень с густым детским румянцем и с детскими же вроде бы пронзительно-голубыми глазами, взгляд которых вблизи, при внимательном рассмотрении, был сильным, твёрдым и разгадке не поддавался.

«Хорошо помню первое, очень, очень острое, почти ошеломляющее впечатление от стихов Заболоцкого, которые я слышал в его чтении, — вспоминал десятилетия спустя поэт и литературовед Дмитрий Евгеньевич Максимов. — Оно вполне отвечало тому, что Цветаева в применении к каким-то совсем другим явлениям назвала „ударом узнавания“. <...>

Гротескный иррационализм словосочетаний как будто сталкивался в этих стихах, и в их голосовой подаче и в их содержании с чёткостью звука, бодрствующей мыслью, определённой темой. <...>

Больше всего останавливала внимание эта концовка (стихотворения „Белая ночь“. — В. М.). В ней ощущалась не только эпатажирующая смелость, смысловая сдвинутость, которые могли возникать в поэзии и возникали иногда на почве чисто рационалистического задания. Эти стихи

притягивали какой-то органической *странностью* („отстранение“ — не то слово!), заключённым в них невыразимым, но гипнотически действующим „третьим смыслом“, от которого кружилась голова».

Столь же острое впечатление произвели стихи из будущих «Столбцов» на Николая Леонидовича Степанова, попавшего на одно из первых выступлений Заболоцкого в Ленинграде:

«Последним читал Заболоцкий. В старенькой гимнастёрке он казался совсем юным, румяным деревенским парнишкой. В то же время серьёзность манер, круглые очки делали его похожим на молодого учёного, а лёгкая застенчивость человека, не привыкшего к эстрадным выступлениям, вызывала симпатию.

Заболоцкий сначала прочёл небольшое стихотворение „Движение“, напомнившее мне ранние футуристические рисунки:

Сидит извозчик, как на троне.  
из ваты сделана броня,  
и борода, как на иконе,  
лежит, монетами звеня.  
А бедный конь руками машет,  
то вытянется, как налим,  
то снова восемь ног сверкают  
в его блестящем животе.

(Любопытно признание самого поэта: по воспоминаниям Андрея Яковлевича Сергеева, он уверял, что по написании стихотворения он долго считал оба четверостишия рифмованными. — В. М.)

Но особенно сильное впечатление на меня да и на всех присутствующих произвели стихи о Ленинграде. Ленинграде времён нэпа с его пьяным пивным баром на Невском, с мутной накипью крикливого мещанства. Неожиданно и резко поразило стихотворение „На рынке“, по-фламандски реальные картины, живописная деятельность образов, словно перенесённых с картины в стихи. <...>

Здесь уже, бесспорно, явился поэт со своим *в*идением мира, со своим голосом. Поэт необычайной, почти наглядной осязаемости вещей, предельной изобразительной живописности образа. Тщательная выписанность натюрморта, простодушный мужицкий комизм Тенирса или Брейгеля приобретали трагическую гротескную выразительность...»

Степанов был филологом, учился в ту пору в аспирантуре

университета у Бориса Эйхенбаума. На диспуте после выступления поэтов, где кто-то насмешничал, а кто-то зло опровергал обэриутов, он взял слово и с неожиданным для самого себя воодушевлением поддержал стихи Заболоцкого. А потом пришёл к нему за кулисы, познакомился и позвал к себе в гости. Обнаружилось, что оба любят Хлебникова, — Степанов тогда уже начал работу над изданием его первого собрания сочинений. Когда они встретились у Николая Леонидовича на Бронницкой, долго по очереди читали своего кумира — его поэмы «Поэт и русалка», «Три сестры», «Ночной обыск». «Хлебников всегда оставался одним из его любимых поэтов...» — написал Степанов в мемуарном очерке.

После того вечера они стали друзьями — и, как оказалось, на всю жизнь...

Николай Степанов первым же и сразу откликнулся в печати на «Столбцы»: уже в марте 1929 года в журнале «Звезда» появилась его статья о только что вышедшей книге, с толковым разбором и точными определениями поэтики Заболоцкого.

«Отказ от „поэтической поэзы“ ведёт у Заболоцкого к объективной этичности его стихов, они очень „не лиричны“, — писал молодой филолог. — Заболоцкий входит в поэзию как заботливый хозяин, уверенно расставляющий вещи по местам. Слово у него прочно прикреплено к предмету, материально. <...>

„Густое пекло бытия“ („Народный дом“), пафос быта и плоти вещей — делают стихи Заболоцкого полнокровными. Обязательность, почти лубочная живописность слова — одна из основ поэтического метода. <...>

Образ у Заболоцкого при всей своей „физиологичности“ — эксцентричен. Баснословность и осязательная вещность слова — изменяет пропорции предметов, они кажутся сдвинутыми зрительной фантаσμαгорией».

Литературовед отметил эпичность стиля, его изобразительную силу и весьма точно определил архаичную «родословную» *столбцов* — их жанровое и внутреннее сходство с одой и сатирой Державина, с XVIII веком русской поэзии. Интересен его вывод о том, что, «двигаясь в последних вещах главным образом в сторону сатиры, Заболоцкий приходит к пародийному разрешению лирики», свойственному Козьме Пруткову. И дело тут, по мнению Степанова, отнюдь не в «почётных традициях», а в поэтическом родстве, проявившемся в результате пересмотра «поэтического инвентаря».

Из поэтов молодых, но уже достаточно известных книгу Заболоцкого горячо приветствовали Николай Тихонов и Эдуард Багрицкий.

Павел Антокольский вспоминал, что ещё до знакомства с Николаем Заболоцким («в 1928-м или 1929 году») слышал из уст Багрицкого стихотворение о форварде: «Он читал стихотворение восторженно, задышающимся, астматическим голосом, — читал наизусть. Очевидно, прочёл его в журнале „Звезда“, где оно было напечатано в 1927 году».

Антокольский впервые увидел Заболоцкого дома у Тихонова — и был поражён совсем не «поэтическим» обликом молодого поэта и его безыскусной манерой чтения: никакой экспрессии! «Но странное дело — экстравагантность образной структуры, неожиданность и смелость тем сильнее действовали на слушателя, чем меньше заботился об этом автор».

Это чтение в гостях у Николая Тихонова произошло ещё до выхода «Столбцов» — и отмечено оно одним замечательным эпизодом:

«Рядом со мной была моя жена Зоя Бажанова, актриса театра Вахтангова. Внезапно она вспыхнула и сказала нечто, что могло, казалось бы, и смутить, и даже оскорбить поэта:

— Да это же капитан Лебядкин!

Я замер и ждал резкого отпора или просто молчания.

Но реакция Заболоцкого была совсем неожиданна. Он добродушно усмехнулся, пристально посмотрел сквозь очки на Зою и, нимало не смутившись, сказал:

— Я тоже думал об этом. Но то, что я пишу, не пародия, это моё зрение...»

По выходе книги Заболоцкий прислал её в дар Антокольскому. «Читал я её с интересом, близким к жгучему. Чувство сенсации, новизны, прорыва в область, никем ещё не обжитую до Заболоцкого, главенствовало над всеми прочими чувствами. Думаю, что то же самое испытывали очень многие, не только поэты. Может быть, для иных это „то же самое“ оборачивалось ощущением скандала. Но это были не лучшие читатели и не лучшие поэты».

К тем, «не лучшим» читателям вернёмся чуть позже, а пока всё-таки о тех, кто был по-хорошему впечатлён книгой.

Юный сочинитель Семён Липкин прочёл «Столбцы» по совету Багрицкого: стихи поразили его «не только оригинальностью содержания, трагизмом абсурда, не вымышленно-литературного, а того, который возникает из-за разрыва между духовно-прекрасным и угрюмо-низменным, — поразили... и классичностью формы, той строгой простотой, с которой слово двигалось в строке».

Огромное впечатление произвели «Столбцы» в студенческие годы на будущего исследователя древнерусской литературы академика Дмитрия

Сергеевича Лихачёва. Он признавался: до сих пор их очень люблю...

Подытоживая подобные свидетельства, исследователь словесности из США Борис Филиппов впоследствии писал в статье «Путь поэта», что книга Заболоцкого стала своего рода откровением для литераторов, столичного студенчества и высших слоёв интеллигенции. «Через месяц её нельзя было купить ни за какие деньги. Книгу переписывали от руки, буквально выучивали наизусть». И, как видно, не без гордости добавлял: «У пишущего эти строки был не только печатный, но и рукописный, и машинописный экземпляр „Столбцов“».

Впрочем, среди собратьев «по цеху», высоко чтимых Заболоцким, его стихи не всем пришлись по душе. Борис Пастернак в ответ на присланную в подарок книгу ответил вежливой, но сдержанной благодарностью — и только. По воспоминаниям Бориса Слуцкого, Заболоцкий «с доброй улыбкой рассказывал», как Осип Мандельштам «разделявал под орех его стихи»...

Но вернёмся к отзывам на «Столбцы» в литературной периодике конца 1920-х годов.

В апреле 1929 года с рецензией в «Красной газете» выступил критик Валерий Друзин. Он принадлежал к РАППу — Российской ассоциации пролетарских писателей, — члены которой обычно недолго думая рубили сплеча всех, «кто не с нами». Как это ни странно, его отзыв был довольно объективным, выделяющим стихи Заболоцкого из общего ряда серых и беспринципных публикаций:

«Смысловая острота и грубая, ничего не боящаяся предметность дают возможность выпуклого показа картин».

Рецензент отметил, что гротескная манера, «снижающая традиционно-высокое и превозносящая „штаны“», вовсе не банальное обличение обывательского быта, «над которым... лишь ленивый не издевается», а протест против «безысходного уродства извращённого в пропорциях мира». Впрочем, тут же оговариваясь насчёт «темы красной казармы» в стихотворении «Часовой»: не отнёсся ли поэт к ней, как к обывательскому быту, — и вопрошал: «Неужели и здесь сатира?»

Вывод его был хоть и поверхностен, но по-своему справедлив:

«Мир Заболоцкого („О мир, свинцовый идол мой...“) — это показанный острейшими современными поэтическими средствами достаточно известный в русской поэзии „страшный мир“».

Без путеводных указаний, разумеется, не обошлось:

«Перед Заболоцким — мастером стиха стоит очень трудная задача — преодолеть своих „идолов“, „истуканов“ и „кукол“, выйти к более широкой

и ценной тематике, приблизиться к основным задачам молодой революционной поэзии».

В майском номере журнала «Октябрь» появилась — без подписи — рецензия Ильи Фейнберга, ставшего впоследствии известным пушкинистом. Критик предметно разобрал поэтику «Столбцов», заметив, что для неискущённого читателя она слишком сложна и потому круг тех, кто её по-настоящему оценит, «ограничен».

По его мнению, Заболоцкий использовал в стихах «эффект кривого зеркала». Поэт «дискредитирует» систему старого обывательского быта, и это делает его произведения «объективно полезными, хотя бы автор субъективно непосредственно к тому и не стремился».

Его заключение (заметим, высказанное в 1929 году, задолго до классических стихов *позднего* Заболоцкого) весьма прозорливо: «...едва ли можно теперь предсказать дальнейший ход работы Заболоцкого, поскольку „кривое зеркало“ вряд ли сможет надолго остаться его единственным инструментом».

Последний из акмеистов, поэт Михаил Зенкевич в обзоре стихов в журнале «Новый мир» (1929, № 6) сказал, что «Столбцы» привлекают внимание необычным для молодой поэзии «лица необщим выраженьем». По его мнению, хотя бытовые темы и крайне прозаичны, Заболоцкий сумел не впасть в стихотворную юмористику типа Саши Чёрного, а удержался на высоте «станковой» лирической поэзии. Посетовав на «часто тусклые рифмы», он пожелал Заболоцкому «более широкого кругозора» и разнообразной и богатой формы.

Литературовед Надежда Рыкова в журнале «На литературном посту», обозревая поэтические новинки, с похвалой отозвалась о Николае Тихонове, чьё «не ослабевает большое и ценное дарование», отметила стихи «выдвигающегося» Николая Брауна и, наконец, высказалась о книге Заболоцкого: «...текущий год подарил нам замечательные „Столбцы“ Заболоцкого, интереснейшего поэта с большим будущим».

Доброжелательные отзывы о книге в скором времени прервались и напрочь исчезли. Замечания рапповца Валерия Друзина Заболоцкому оказались цветочками... В печати слышались совсем другие голоса, и откровенная ругань со временем только крепла. А потом началась неприкрытая травля...

Впрочем, победно шёл по стране 1929 год — год *великого перелома*. После нэпа и форсированной индустриализации началась другая кампания — коллективизация на селе, поначалу заявленная добровольной, но уже вскоре сделавшаяся насильственной, *сплошной*. Партия дала установку:

ликвидировать кулачество как класс, что по-русски значит — уничтожить. Сталин выдвинул руководящий тезис: по мере приближения к построению социализма классовая борьба будет только обостряться. Звучит солидно, по-научному, как открытие.

Впрочем, как же ей, этой борьбе, не обостриться, если одних мужиков тысячами ставили к стенке, а других, с многодетными семьями, десятками тысяч погнали под дулами винтовок туда, где Макар телят не пас. В ближайшие несколько лет население крестьянской страны уменьшилось на десять миллионов человек. Эту цифру назвал сам вождь в беседе с приезжим журналистом. Впрочем, цифра была приблизительной: всех не пересчитаешь...

Никита Заболоцкий пишет, что первой книжке отца с годом выхода явно не повезло: сложное и совсем не подходящее было для неё время. Тут надо бы добавить: а позже такая книга и вообще бы не появилась в печати на свет божий...

«Российская ассоциация пролетарских писателей моментально отреагировала на изменения во внутривполитической обстановке и использовала новую ситуацию для подавления тех явлений в литературе, которые не укладывались в прокрустово ложе рапповских требований, — справедливо замечает биограф. — В обращении к членам Всероссийского союза писателей рапповцы провозглашали: „Получилось так, что классовый враг создал для себя агентуру в рядах советской литературы. Получилось так, что некоторые попутчики восстановительного периода в реконструктивный период социалистического строительства... перестали или перестают быть друзьями, спутниками, попутчиками пролетариата — объективно смыкаются с враждебными ему силами“ („На литературном посту“, 1929, № 17)».

Рапповцы, а вслед за ними и общесоюзные издания сначала «били» из всех своих орудий по Борису Пильняку и Евгению Замятину — за «белогвардейщину», а затем под огонь яростной критики попал Николай Заболоцкий.

Первой ухнула гаубица критика Алексея Селивановского, одного из руководителей РАППа: в № 15 журнала «На литературном посту» он напечатал огромную статью «Система кошек. О поэзии Н. Заболоцкого».

Критик доказывал, что «уродливые фантазмагии и больные видения Н. Заболоцкого» отнюдь не «детские сказочки», что это поэт весьма хитрый, себе на уме, пытающийся обмануть читателя.

«Основная беда Заболоцкого — в пустоте и бесцельности его метаний.  
<...>

Вот почему книга „Столбцы“, при всех попытках её автора сохранить ироническую маску на своём лице, раскрывает перед нами образ отщеплённого от общественного бытия индивидуалиста, всё духовное бытие которого (в эпоху социалистической революции!) поглощено без остатка темнотой, пошлостью, животностью, сохранившимися в нашей действительности. <...>

Заболоцкий гаёрствует, юродствует, кривляется, пародирует Козьму Пруткову. <...>

Такая позиция отщепенца-индивидуалиста обусловила и все стилевые особенности творчества Заболоцкого, которые социально чужды делу выработки стиля пролетарской поэзии, а технологически реакционны при всей бесспорной оригинальности их».

Ярлык найден: *отщепенец-индивидуалист...* — многим критикам ещё пригодится...

Однако редакция этого журнала «боевой марксистской критики» была недостаточно удовлетворена своим же литературным начальником и сопроводила его статью заявлением: «Социологический эквивалент поэзии Н. Заболоцкого вряд ли полно раскрывается в статье т. Селивановского. Есть моменты в поэзии Заболоцкого, сближающие его с новобуржуазной литературой, — во всяком случае, дальнейшее развитие этого поэта позволит, несомненно, с большей точностью и определённой вскрыть социальный смысл его поэзии».

Злоба дня требовала быть не только святее папы римского, но ещё и святее того, кто святее папы римского. Вот почему один литературный критик неусыпно бдил за другим и, чуть чего, тут же сигнализировал. Большинство этих литературных конвоиров будто бы работали по принципу «Критик критику шьёт политику».

Литератор Никандр Алексеев, один из руководителей Западно-Сибирского отделения пролетарско-колхозных писателей, в «Комсомольской правде» (декабрь 1929 года) уже уверенно, как нечто не требующее доказательств, называл Заболоцкого «реакционнейшим поэтом». И крыл по пролетарски-колхозному журнал «На литературном посту» за отсутствие бдительности, дескать, разве можно было печатать сомнительную статью Надежды Рыковой?..

Заголовки последующих обличений поэта в прессе говорят сами за себя: «Распад сознания», «Система девок», «Троцкистская контрабанда в литературоведении» и прочее.

В оголтелую кампанию вместе со столичными изданиями включились и «на местах». Вот один из образчиков:



«За истёкший зимний период „Столбцы“, несомненно, наиболее своеобразное и в то же время наиболее тревожное явление на поэтическом фронте.

Тематика Заболоцкого явно реакционна. <...>

Стихотворение „Новый быт“ похоже на издевательство. <...>

Заболоцкий является выразителем... мироощущения буржуазии в момент её социального краха и духовного распада. И оно ничего не имеет общего с реалистическим мироощущением пролетариата. <...>

Нужно насторожиться. Нужно суровой критикой и бдительным разоблачением предотвратить возможность появления подражателей и учеников у Заболоцкого. Нужно неустанно разъяснять чуждость и враждебность этого сумбурного, релятивистского мироощущения. И внимательно следить — куда идёт от „Столбцов“ поезд Заболоцкого: на восток или на запад?

Последние стихи Заболоцкого не дают возможности утверждать, что его направление — в сторону Москвы» (статья Вл. Вихлянцева «Социология бессмысленки» в журнале «Сибирские огни», 1930, № 5).

Жанр литературной критической статьи плавно сливался с жанром политического доноса, и к середине 1930-х годов они (статья и донос) стали практически неразличимы. Так сказать, близнецы-братья...

Недаром ГПУ, а затем НКВД стали пользоваться при *оформлении* арестованных писателей, то есть при составлении обвинительных заключений, услугами литераторов. (Заметим, *оформить* — словцо из профессионального жаргона органов следствия, обозначающее — завести дело, подвести под трибунал. Автору этих строк однажды довелось случайно услышать азартный диалог за шахматами двух стариков-пенсионеров. Дело происходило в обычном городском дворе. «А вот я тебя оформлю!» — приговаривал в пылу сражения один. «Нет, это я тебя сейчас оформлю!» — горячился другой. Сначала я никак не мог понять, о чём это они?.. И лишь потом догадался, где и кем прежде работали заядлые дворовые шахматисты.) Причём «докладные» литераторов иногда становились главным доказательством виновности подозреваемого. Сколько среди таких литературных помощников органов было энтузиастов-добровольцев, а сколько призванных, равно как и то, насколько щедро поощрялись или оплачивались их услуги, в общем не столь важно. Для нашей книги важно то, что один из таких литераторов-экспертов (Лесючевский) сыграл роковую роль в судьбе Николая Алексеевича Заболоцкого. Произошло это в 1938 году...

Вот, наверное, почему с таким недоумением перечитываешь теперь

статьи, касающиеся первой книги поэта: порой просто трудно разобрать, что же перед тобой — литературная критика или же печатный донос?

Но продолжим...

Ю. Либединский (пролетарский писатель, критик; «Звезда», 1930, № 1):

«Но, товарищи, в том-то и дело, что самая основная и трудная задача художника состоит в умении отличать поверхность явления от его действительной сущности, от его диалектического движения. Это у Заболоцкого отсутствует. Он не видит действительной переделки общества — пролетариатом. И в этом заключается порочность его мировоззрения».

Либединский был из ленинградских рапповцев. К тому времени они уже обнаружили у Заболоцкого «элементы новобуржуазности» и на своём активе в резолюции об «углублении классовой борьбы в поэзии» записали, что он из тех поэтов, которые требуют «серьёзнейшего внимания». Взяли на заметку — понятно, как будущего или настоящего «врага».

А. Горелов (секретарь Союза писателей Ленинграда; «Стройка», 1930, № 1):

«„Безумие“ Заболоцкого нужно рассматривать не как приём изображения действительности, а как следствие распада некоего социального сознания. <...>

Стихи его несут печать социального проклятия, они уродуют всё, что попадает в прокрустово ложе их строк...»

Это пристрелка, а вот прицельный залп:

«Творчество Н. Заболоцкого — это огоньки на могилах. В процессе гниения трупа на поверхность земли прорываются газы, вспыхивающие голубым свечением. В этих могильных огоньках есть своя поэзия, своя красота. Стихи Н. Заболоцкого — те же могильные огоньки, светящиеся подлинной поэзией. Поэзией отчаяния. Н. Заболоцкий — один из наиболее реакционных поэтов, и тем опаснее то, что он поэт настоящий. <...>

Весь строй этой поэзии находится в кричащем противоречии с жизненной доминантой наших дней. Поэзия безумия всесветной передонощины, развиваясь, может уйти только в кривые закоулки откровенной мистики. Туда уходят „столбцы“ поэта Заболоцкого».

Всех откровеннее был «лефовец младшего призыва» Пётр Незнамов, выступивший в журнале «Печать и революция» (1930, № 4).

«В поэзии у нас сейчас провозглашено немало врагов-друзей. Их, с одной стороны, принято приканчивать, а с другой — творчеству их рекомендуется подражать, — цинично рассуждал он. — Таков Гумилёв. В литературе он живёт недострелянным; и в ней сейчас бытуют не только его

стихи, служащие часто молодым поэтам подстрочником, но и его формулировки».

Незнамов обрушился на одну из таковых:

Высокое косноязычье  
Тебе даровано, поэт... —

назвав эти строки «буржуазной формулой», которая теперь неприемлема, ибо «косноязычить во время социалистической стройки» никак не позволено.

Следом критик обрушился на своего коллегу Селивановского, посмеявшегося назвать книгу Заболоцкого «крупным событием закончившегося литературного сезона»: такой оценки, по его мнению, может заслуживать лишь тот поэт, что «льёт воду на социалистическую мельницу».

Заболоцкого он обвинил не только в косноязычии, но и в принципиальном юродстве, писании для «литературных снобов», в «чувственной экспансии», назвав его в конце концов «каким-то половым психопатом»: «О чём бы он ни писал, он свернёт на сексуал». И отказал поэту даже в праве на новаторство:

«Нет, поскольку стихи этого прожжённого стилизатора принимают всерьёз, надо раз навсегда сказать, что новаторство — не чудачество. Право на эксперимент — это вовсе не право на неменяемость, и без общественной работы стиха, без работы на деле пролетариата не существует».

В итоге стихи Заболоцкого критик назвал «общественно-дефективными». Вывод вполне бы сгодился следователям Главного политического управления:

«Пришла пора посмотреть на поэтическую продукцию политически: работает или не работает поэт на пролетарскую революцию и если не работает — исключается. Мы за прекрасную нетерпимость».

*Политически* — стало быть, не допускать *недострелянность*, как в случае Николая Гумилёва: «прекрасную нетерпимость» нужно доводить до логического конца.

Заболоцкий под огнём рапповской критики не терял присутствия духа. Публично он не отвечал — возможно, следуя аристократическому завету Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, / И не оспаривай глупца». Но завёл листок бумаги, куда выписывал «жемчужные зёрна» из статей и фельетонов про себя, вроде: «певец-ассенизатор», «отщепенец-индивидуалист» и т. д. «В компании друзей он важно зачитывал этот перечень, — пишет Никита Заболоцкий, — и все весело смеялись и шутили, хотя догадывались, что скоро им будет не до смеха».

Исаак Синельников вспоминает, что однажды поэт сказал ему: «Нашёлся какой-то критик-кретин, который обвинил меня в нимфомании. Кстати, вы не знаете, что это такое? За это судят?»

По-видимому, речь шла о Незнамове, обозвавшем его «половым психопатом».

В другой раз, высказываясь о своих оппонентах, Заболоцкий произнёс: «Одно дело, когда говорят: пиши о чём угодно, не касайся только одного. И совсем другое, когда рапповцы требуют: пиши только об одном и больше ни о чём. Это существенная разница».

Никита Заболоцкий задаётся вопросом: отразилась ли критика «Столбцов» на дальнейшем творчестве отца и связано ли изменение творческого лица поэта в 1929–1930 годах с этой критикой? И отвечает: «Факты биографии говорят о том, что сложный процесс развития мысли и творчества Заболоцкого нельзя однозначно свести к такой простой зависимости».

Но, возможно, настоящий ответ дан самим Николаем Алексеевичем Заболоцким в одном карандашном наброске прекрасного стихотворения. Поэт, по-видимому, не считал его законченным (на полях остались варианты строк) и не включил в основное собрание своих стихотворений. А может быть, и так: оставил — для самого себя...

Разве ты объяснишь мне — откуда  
Эти странные образы дум?  
Отвлеки мою волю от чуда,  
Обреки на бездействие ум.

Я боюсь, что наступит мгновенье,  
И, не зная дороги к словам,  
Мысль, возникшая в муках творенья,  
Разорвёт мою грудь пополам.

Промышляя искусством на свете,  
Услаждая слепые умы,  
Словно малые глупые дети,  
Веселимся над пропастью мы.

Но лишь только черёд наступает,  
Обожжённые крылья влача,  
Мотылёк у свечи умирает,  
Чтобы вечно горела свеча!  
(1957? 1950-е)

## Толкование сновидений

Настоящие стихи можно толковать сколько угодно — их не убудет.

Поэзия неисчерпаема: за слоем слой, за гранью грань, за глубиной глубь, за далью даль.

Расщеплённое ядро атома выделяет небывалую по силе энергию, но она со временем тает, видоизменяется, как всё материальное; поэзия же и по прошествии времени не исчезает и не изменяется, её «радиоактивность» не слабеет ни на малую «дозу». (Видоизменяются лишь её толкования — потому что каждый читатель видит, понимает, чувствует по-своему.)

Поэзия — явление слова, духа — и, стало быть, духовное материальнее материального. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» — так начинал любимый ученик Христа своё благовествование (Ин. 1: 1–5).

Но то — *в начале...*

То, что будет *в конце*, святой Иоанн рассказал в видениях, данных ему в Откровении.

Поэт Фёдор Тютчев же кратко выразил *конец* — в земном образе:

Когда пробьёт последний час природы,  
Состав частей изменится земных:  
Всё зримое опять покроют воды,  
И Божий лик изобразится в них!  
(«Последний катаклизм». Не позднее 1829)

Кто знает, может, ему тоже было видение...

«Кругом возможно Бог» — назвал свою поэму Александр Введенский: в названии и вопрос и утверждение...

«Столбцы» Николая Заболоцкого очень похожи на видения — фантастические в своей «голой» реальности и реальные в своей фантастичности. Это будто бы чудовища, порождённые сном разума (полным его забытьём, «отключкой») — и пророческие видения, которые зрит человек в тонком сне. Возможно да и скорее всего, что сам поэт разгадать истинное значение своих видений не может — как и не может не

выразить их. Земная жизнь напоминает сон, приснившийся душе в её вечной после-жизни, здесь на земле нам неведомой. Потому, конечно, и толкования этих видений-сновидений весьма приблизительны по отношению к подлинному их значению.

И заурядная действительность — при определённом состоянии души и ума и сверхчувствительности — может предстать видением, порой кошмарным, фантастическим. Товарищ молодости Заболоцкого Дмитрий Максимов, которого мир «Столбцов» поразила «какой-то новой... играющей волей и остротой», писал: «Было очевидно, что стихи эти породила встреча с какими-то страшилищами косного, бездуховного мира, обступившими поэта на полусимволической Конной улице и многих ей подобных, а может быть, и более того — явившимися в его сознании как выражение косных мировых сил в их универсальной космической сути». Пожалуй, что так оно и есть...

Михаилу Зощенко первая книга Николая Заболоцкого показалась вполне зрелой по мастерству, но вместе с тем весьма тревожной:

«Некоторые стихи там просто хороши.

Картины старой, неизменённой ещё жизни удавались Заболоцкому с большой силой. <...>

Однако, несмотря на это, общее впечатление от книги скорее тягостное. Чувствуется какой-то безвыходный тупик. Нечем дышать и не на кого автору взглянуть без отвращения.

Там есть ужасные стихи:

О, мир, свернись одним кварталом,  
Одной разбитой мостовой,  
Одним проплёванным амбаром,  
Одной мышиною норой.

Это восклицание слишком эмоционально для того, чтобы его рассматривать в каком-нибудь ином плане или вне душевного состояния автора. Это восклицание поражает и тревожит: как много надо, однако, потерять, чтоб так сказать. <...>

Мир поэта, „зажатый плоскими домами“, кажется слишком уж тягостным.

И тут скорее предмет для психоанализа, чем материал для критика. <...>

...я не знаю примера, чтобы поэт, попавший в этот „мир“, сумел бы

уйти из него».

Деликатный Михаил Зощенко напечатал эти строки только тогда (в середине 1930-х годов), когда убедился, что Заболоцкий в своих новых стихах «вышел из этого тупика победителем», показав свою «значительную силу», — и горячо и сердечно поздравлял его с этой победой.

Осмысление *столбцов* — велось и продолжается уже чуть ли не век, и, вероятно, оно ещё не окончено. Всё по той же причине: стихи — настоящие.

Но талант Заболоцкого не отрицали и самые яростные гонители поэта. Собственно, его стихи потому и вызвали волну оголтелой критики, что были исключительно даровиты, «радиоактивны». (Так, Михаила Булгакова, лишь только начала печататься его «Белая гвардия», забросали в печати десятками ругательных рецензий...) Подлинные глубины «Столбцов» открылись читателям и учёным далеко не сразу.

«Поэтику „Столбцов“ Заболоцкого обычно выводят из социальных условий нэпа, видя в ней инструмент трагической сатиры на „мещанство“. Эта точка зрения, ныне привычная, развивалась когда-то и мной, — пишет литературовед Ирина Роднянская в статье (работа напечатана в её сборнике исследований в 1989 году), рассматривающей книгу поэта в художественной ситуации 1920-х годов. — Но накопившееся за минувшие годы знание о философском пути поэта позволяет, не отвергая такой интерпретации, скорректировать и дополнить её».

Сравнивая первую книгу Заболоцкого с блоковским циклом «Город», Роднянская пишет, что атмосфера «Столбцов» — «атмосфера посюсторонней фантасмагории, трезвой жути»:

«Если воспользоваться как рабочей метафорой демонологической притчей Вяч. Иванова, то в городских стихах Блока властвует и сияет прельстительный Люцифер, придающий злым началам жизни обманчивую красоту (негативное призрачное отражение красоты истинной и доброй), а в „Столбцах“ наступает черёд демону развала и разрухи Ариману, преемнику Люцифера, не имеющему собственного лица и действующему инкогнито, исподтишка, словно всё кривится, качается и заваливается само собою».

Зыбкую композицию книги Роднянская сравнивает с описанием одной из картин Павла Филонова — «Перерождение человека», сделанным современным исследователем Владимиром Альфонсовым: к «...многорукому, многоногую сгустку безвольно тянутся, чтобы слиться с ним, фигуры людей».

«Это и есть формула единства, какую находим у молодого



Заболоцкого: „Многоногий пляшет ком“. Целое не разрастается из малого зерна собственной идеи, а сбивается в кучу неведомо кем и как.

Однако „Столбцы“ — явление большой поэтической силы, иначе о них не стоило бы говорить. В них есть мрачное величие жизни, неподдельная, хоть и смещённая патетика».

Алексею Пурину принадлежит следующая мысль:

«„Столбцы“ — „чистая поэзия“, в самом лучшем значении этих слов, разъяснённом выдающимся современным философом Мерабом Мамардашвили: „То, что мы называем искусством, рождается посредством искусства же. Поэтому оно и является искусством для искусства. <...> Нас может поразить лишь то, что было в нашей жизни, или было, но не разрешилось. И чтобы это вспомнить, оказывается, нужны определённые конструкции. <...> Гюго писал в письме Бодлеру: ‘Вы подарили нам новое содрогание’. Но не ‘содрогание’ описано в стихотворении Бодлера, а стихотворение Бодлера, написавшись, сделало возможным эту судорогу в мире... Задача построения художественного произведения есть задача создания поля или пространства, строго заданного, для рождения вот такого рода мнимых ощущений“ („О философии“).

Иными словами, подлинную читательскую эмоцию — „не смех и не слёзы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения“, как говорил Набоков, — писатель может вызывать только эстетическим способом. Стихотворение — не пасхальное яйцо и не рождественская открытка, а хитро расставленная поэтом сеть, в которую ловится читательская душа. Если Заболоцкого и можно назвать „поэтом мысли“, то под мыслью здесь следует понимать такую сноровку и счётку ловкого птицелова».

\*

Обратимся теперь к одной удивительной особенности в *столбцах*, которая не сразу бросается в глаза — тем не менее она была подмечена вдумчивыми его современниками, а затем и исследователями.

Сохранилась шутливая надпись Заболоцкого на экземпляре «Столбцов», подаренном Николаю Олейникову:

«Стишочки Ваши прочитавши,  
я обрадовался как.  
Целу ночку был не спавши —  
сию книжечку писал.

Между прочим получивши  
её в подарок от меня,  
себе на грудку положите,  
сказавши: как люблю тебя.  
*Сочинил в минуту вдохновения*  
*Н. Заболоцкий*  
*Р. S. Равному гению земли.*  
(1929)»

Литературовед Лидия Гинзбург, хорошо знавшая обэриутов, довольно много общалась и с Николаем Заболоцким. В её альбоме есть шуточный «Драматический монолог с примечаниями», несколько стилизованный под XVIII век, сочинённый Заболоцким майским днём 1928 года, когда они разговорились за чаем о путешествиях. Этот пространный экспромт явно послужил писательнице поводом сделать интересное наблюдение о поэте: «...ранний Заболоцкий именно в шуточных стихах считал возможным открыто и прямо говорить от первого лица. В серьёзных стихах того же времени авторское „я“ спрятано. Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру».

По мнению Лидии Гинзбург, Заболоцкий освобождался таким образом от «стародавних культур», «от их носителей — всевозможных лирических героев, вообще от обычных форм выражения авторского сознания».

Тем не менее исключение из этого правила есть, и мы к нему ещё вернёмся. Но пока приведём рассуждение А. Пурина об этой характерной особенности раннего Заболоцкого:

«Что... мы можем сказать о душе „Столбцов“? Каково их говорящее я, их лирический субъект? Как этот лирический субъект соотнесён с теми объектами внешней реальности, о которых идёт речь? Какая эмоция им движет? И оказывается, что в этом плане „Столбцы“ — очень проблематичная книга: она поражает удивительной отъединённостью говорящего я от внешнего мира, почти полным отсутствием этого я в изображённом. Всё душевное движение лирического субъекта здесь как бы ограничено созерцанием, зрением; окружающее практически не проникает в я глубже цветочувствительных колбочек глазного дна, а я также не делает никакого шага ему навстречу. Мир подвергается жёсткой экспансии созерцания, но ничего из увиденного нельзя тронуть — посредством осязательного или эмоционального жеста. Что-то вроде кинематографа.

Понятно, за счёт чего достигается этот эффект — за счёт

стилистической мозаичности, проложенной охлаждающим льдом пародии. Вопрос — зачем, из какого внутреннего побуждения используется такой интеллектуальный инструментарий, какое авторское переживание он моделирует?»

Подводя итоги глубокого разбора самых *страшных столбцов*, Алексей Пурин приходит к выводу, что стихи Заболоцкого рисуют не внешний, а внутренний облик мира, застывшего между двумя мировыми войнами, — его, этого мира, психическое состояние.

Сверхреализм этого искусства, по мысли Пурина, показывает человека в непереносимом, умертвляющем приближении; лишь по слабым намёкам — «струйкам тепла в ледяном дисгармоническом мире» — можно догадаться, что поэт всё же ищет первозданную гармонию.

«Реальность, в соответствии с этим (вероятно — правильным) взглядом, — неустранимо дисгармонична. А закон творчества состоит в том, что гармонией может быть только сумма реальности и дополнительного к ней искусства, — заключает А. Пурин. — Поэтому всегда дисгармоничным будет и это второе слагаемое; отчего оно не становится менее прекрасным, ибо его смысл — в постоянном воссоздании „первоначальной красоты“. Реальность есть гармония минус искусство; это уравнение нам по сей день решает удивительная русская литература, в том числе — блистательные „Столбцы“ Заболоцкого».

А теперь — про *исключение из правила*. Единственное стихотворение раннего Заболоцкого, написанное, вероятнее всего, всё-таки от первого лица, — это «Руки» (1928). Само по себе оно незамысловатое, в художественном смысле незначительное. Оно появилось в газете «Ленинградская правда» в 1928 году вместе со стихотворением «Обед» — и к *столбцам* явно не относится, лишь написано в одно с ними время. Заболоцкий не включил ни в книгу 1929 года, ни во вторую книгу, ни в полный список *столбцов* так называемую «Венецианскую книжку». Эта книжка — рукописный сборник, переплетённый в кожаный переплёт с золотым тиснением, купленный в Венеции во время единственной зарубежной писательской поездки. В этой самодельной книжке Николай Алексеевич, составляя своё литературное завещание в 1957 году, собрал 46 *столбцов* 1926–1933 годов в окончательной редакции.

Подводя итоги своего литературного труда, поэт тем не менее стихотворение «Руки» не уничтожил. Оставил для себя.

Что-то личное и очень важное — сохранил себе на память...

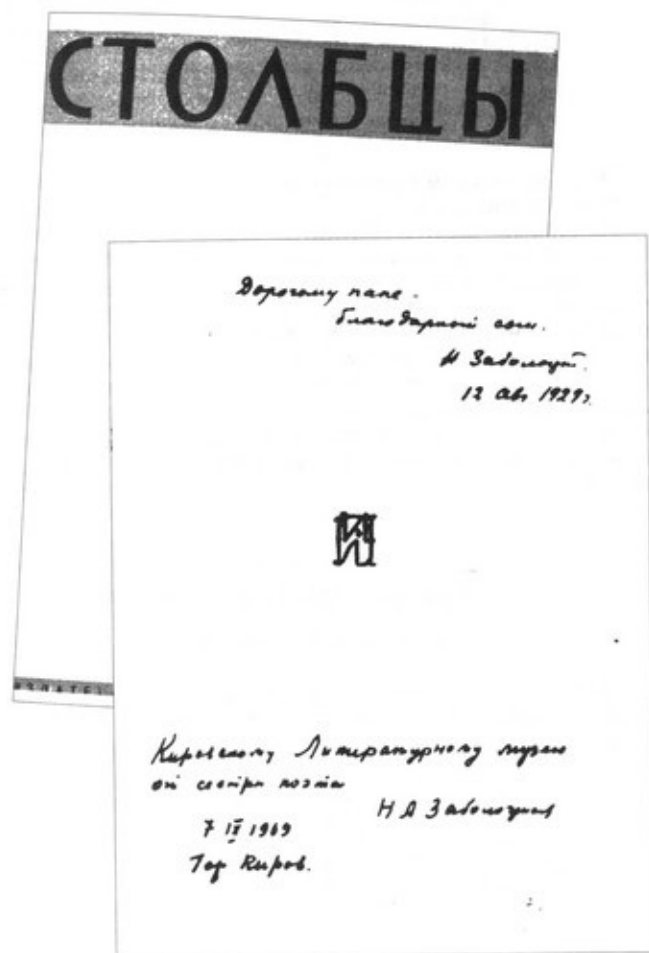
Всё это очень похоже на дневниковую запись...

Удивительно в этом произведении и то, что каждый стих начинается с

большой буквы. В конце 1920-х — начале 1930-х годов поэт, как правило, всё начинал — со строчной. А с прописной — это характерно для позднего Заболоцкого...

Пером спокойным вам не передать,  
Что чувствует сегодня сердце, роясь  
В глубинах тела моего.  
Стою один — опущенный по пояс  
В большое горе. Горе, как вода,  
Течёт вокруг; как тёмная звезда —  
Стоит над головой. Просторное, большое  
Оно отяготело навсегда, —  
Большая тёмная вода.  
Возьму крупницами разбросанное счастье,  
Переломлю два лучика звезды,  
У девушки лицо перецелую,  
Переболею до конца искусство,  
Всегда один, — я сохраню мою  
Простую жизнь. Но почему она,  
Она меня переболеть не хочет?  
И каждый час, и каждый миг  
Сознания открывается родник:  
У жизни два крыла, и каждое из них  
Едва касается трудов моих.  
Они летят — распахнуты, далече,  
Ночуют на холодных площадях,  
Наутро бьются в окна учреждений,  
В заводские летают корпуса, —  
И вот — теплом обвеянные лица  
Готовы на работе слиться.  
Мне кажется тогда:  
Какая жизнь!  
И неужели это так и нужно,  
Чтоб в отдаленье жил писатель  
И вечно неудобный, как ребёнок?  
Я говорю себе: не может быть,  
И должен я совсем иначе жить.  
Не может быть!  
И жарок лёт минут,

И длится ожиданье,  
И тонкие часы поют,  
И вечер опустился на ладони,  
И вот я увидал большие руки —  
Они росли всегда со мной,  
Чуть розоватые и выпуклые, и в морщинках,  
И в узелочках жил, — сейчас они тверды,  
Напряжены едва заметной дрожью,  
Они спокойные и просятся к труду.  
Я руки положу на подоконник —  
Они спокойнее и тише станут,  
Их ночью звёзды обольют,  
К ним утром зори прикоснутся,  
Согреет кожу трудовое солнце,  
Ну, а сейчас...  
Сейчас пускай дрожат, —  
Им всё равно за мыслью не угнаться,  
Она растрескалась, летит, изнемогая,  
И всё-таки ещё твердит:  
Простая,  
Совсем простая — наша жизнь!



**Экземпляр книги «Столбцы» с дарственной надписью отцу (1929),  
позже переданный сестрой поэта Кировскому литературному музею  
(1969)**

О каком большом горе тут речь?

О несчастной любви?..

Или плохие вести из Вятки?..

Может, это предчувствие полного сиротства?..

Отец в 1928-м был плох; в июле Николай ездил на родину, навестил его и родных, видел всё собственными глазами. В следующем, 1929 году Алексей Агафонович ещё успеет, в начале осени, подержать в руках первую тоненькую книгу сына, но вскоре после этого покинет белый свет.

А мать скончалась в 1926-м...

А его *рукам*, которые *просились к труду*, — им в конце 1930-х и позже, в лагере, в ссылке, предстоит много потрудиться...

## **Глава одиннадцатая**

# **НА РУБЕЖЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ**



## Предчувствие перемен

По молодости человек не очень понимает себя и свою жизнь, не поспевает за чувствами. Молодость — как весенняя река, ещё не пришедшая в себя после разлива...

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!  
Лишь именем одним я называюсь, —  
на самом деле то, что именуют мной, —  
не я один. Нас много. Я — живой.  
Чтоб кровь моя остынуть не успела,  
я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел  
я отделил от собственного тела!  
И если б только разум мой прозрел  
и в землю устремил пронзительное око,  
он увидал бы там, среди могил, глубоко  
лежащего — меня! Он показал бы мне —  
меня колеблемого на морской волне,  
меня летящего по ветру в край незримый, —  
мой бедный прах, когда-то так любимый.

Это — начало стихотворения «Бессмертие», написанного Николаем Заболоцким в 1937 году. (Потом поэт исправил произведение и даже сменил название — на «Метаморфозы».)

Хотя стихотворение в общем-то о вечной природе и вечной жизни человека в природе, Заболоцкий выразил в нём и то ощущение, с которым он жил поначалу бессознательно, потом осознавая, — и оно напрямую касается его характера.

Это лишь снаружи он казался друзьям, товарищам и знакомым натурой на зависть уравновешенной, степенным тружеником, любителем и знатоком порядка и спокойствия. На самом деле всё было не так. Что жило, полыхало, жгло, а потом тлело внутри — никто не знал, а может, даже и не догадывался. Только стихи открывали душу, но много ли тех, кто по-настоящему понимает стихи...

Поэты все — не от мира сего, а Заболоцкий был — поэт, и самый что ни на есть истинный.

Поэту рядовому — присуща сумасшедшинка; поэту большому — свойственно тайное безумие. (Разумеется, высокое — а не то, что лечат в клинике, — от остроты чувств, от глубины разума.)

Впрочем, видать попа и в дерюжке: бывают подробности, которые говорят о том невероятно обострённом восприятии жизни и мира, что отличает поэта.

Чрезмерный, какой-то даже неестественный порядок на столе Александра Блока в его кабинете поражал современников, — они не могли и представить, что такая аккуратность — видимое следствие упорной, безнадёжной борьбы с ужасающим разрушительным хаосом, что царил в его душе и в конце концов одолел свою жертву.

Николай Заболоцкий, как и Блок, был аккуратист — говорящая примета!..

По внешности его принимали за кого угодно, только не за поэта. Как-то не вязался простой на вид белобрысый парень, явно из провинции, то ли мелкий конторщик, то ли педантичный бухгалтер, с романтическим образом печального сочинителя. Но как раз таки этот невыразительный облик и говорил о том, что он — в чрезвычайной степени поэт.

В городских стихах Блока, «трагического тенора эпохи», властвовал и сиял демон Люцифер, — в городских стихах Заболоцкого царил демон развала и разрухи Ариман.

Заметим, что город был один и тот же — Санкт-Петербург, он же Петроград, Ленинград; лишь по времени разница, но небольшая — каких-то два десятилетия.

Заболоцкий появился в Петрограде в год смерти Блока, чуть ли не в дни похорон (ещё афиши о прощании были целы и не заклеены другими), — словно бы один поэт пришёл на смену другому, чтобы рассказать, что произошло с городом, со всей страной.

Блок, конечно, не знал и не мог знать стихов Заболоцкого (да их тогда, настоящих, ещё и не было). Заболоцкому же не по душе были стихи Блока. К тому же он считал его поэтом XIX века, что, конечно, не так: Блок, одновременно, поэт и XIX столетия, и XX. Возможно, это отрицание, больше похожее на отталкивание, как раз таки говорит о чрезвычайной внутренней близости поэтов...

Один тяжело вздыхал:

Как тяжело ходить среди людей  
И притворяться не погибшим...

Другой признавался:

Чтоб кровь моя остынуть не успела,  
я умирал не раз...

Иначе: один — погиб, потому что *жил*; другой — умирал, чтобы *жить*. И там, и тут суть — в *жизни*. В жизни — на пределе сил и возможностей...

Теперь о характере...

«Я знала Заболоцкого недолго, но очень близко, и мне соблазнительно думать, что я знала его хорошо, но знать его хорошо было, пожалуй, невозможно. Это был необыкновенно противоречивый человек, ни на кого не похожий, а временами непохожий и на самого себя. В нём были такие душевные изломы, которые не хочется не только доверить бумаге, но даже для себя называть словами», — пишет в своих воспоминаниях Наталия Роскина. Она застала поэта в пору глубокой душевной смуты, когда от него ушла жена, Екатерина Васильевна. Выбитый из колеи, которая казалась устоявшейся навек, он был сам не свой — а может, и наоборот — превратился в себя первозданного, с тем характером, который был дан ему от рождения.

Мемуарный очерк Роскиной, женщины умной, самокритичной и откровенной, отличается честностью, непосредственностью, искренностью. Он исключительно ценен как свидетельство о таком скрытном человеке, как Заболоцкий, ибо лишь близким, домашним он, наверное, открывался в полноте своей душевной сложности... но открывался ли до конца, это ещё вопрос.

Опустим подробности и перейдём к выводам, сделанным Роскиной:

«Вспоминая нашу короткую совместную жизнь, я могла бы открыть ещё один ящик историй, в которых бы всё противоречило всему. Это были бы истории о его щедрости и его скупости, о его высокомерном презрении к людям и о глубочайшем к ним сочувствии; о том, как он мог всё понять, и о том, как он не понимал — нарочно не хотел или не умел, как теперь узнать...

В нём смешалось трогательное и жестокое, величавое и беспомощное, аскетическое и барственное. Но это был поэт, и антипода поэту в нём не было.

Он был, что называется, рождён поэтом. Ахматова была рождена исключительной личностью, — в неё был вложен поэтический дар, но я

думаю, что в неё мог бы быть вложен дар математики, танца или вообще никакого дара, и она всё-таки осталась бы великой. Заболоцкий же был именно поэтом, поэтическое было в нём гипертрофировано и вытесняло всё».

\*

В конце 1920-х — начале 1930-х годов Николай Заболоцкий переживал внутренний надлом — конечно, не такой мучительный, как на закате жизни, но достаточно значительный и сильный.

Ему было 25 лет — и он достиг своей цели: стал поэтом.

Обучение в университете было окончено; годичная служба в армии осталась позади. Житейская нужда торопила его найти постоянное место работы: вольным художником, на редкие гонорары — не проживёшь.

От обэриутов он уже на деле отошёл, *общее* с ними, то бишь это самое обэриутство его уже не занимало. Личных связей не порывал, но всё больше замыкался в себе, в своём творчестве. «Индивидуалист» — верно заметили оппоненты; но чем индивидуальнее поэт — тем больше как поэт.

Пришла пора определиться и с личной жизнью: жениться или же остаться вечным отшельником. Николай был способен и на последнее — но, разумеется, понимал, что правильный выбор — семья. Общие пути — самые верные, в его роду анахоретов не водилось. Он и сам в душе уважал патриархальные обычаи. Единственное, что волновало Заболоцкого: не помешает ли семья стихам? Однако он уже почувствовал в себе свои возможности, свою силу, и понял, что способен противостоять быту. Работать в самых неприхотливых условиях он научился уже давно... Конечно же, обстоятельно прикидывал, как устроить семейную жизнь. Вывод был твёрдым: семья нужна такая, чтобы она стала надёжным тылом...

Но самым важным для него была поэзия — и в стихах тоже наметились едва различимые перемены, которые сулили в недалёком будущем основательный перелом в поэтике.

По выходе первой книги, раз и навсегда утвердившей его в литературе, другие *столбцы* дописывались как бы сами по себе, дополняя полотно его реалистических фантазмагорий недостающими чертами и подробностями. Однако он чувствовал: скоро широкое мозаичное панно будет завершено. И тогда счастливо найденный неповторимый стиль станет уже непригоден: для новых тем, нового содержания потребуются другой поэтический язык.

Это иное всё осязательнее забрезжило в черновых набросках и в стихах конца 1920-х годов. Появились мотивы натурфилософии («Обед», «Ночные беседы»), возникли земные и космические, с элементами мистики, утопии («Меркнут знаки Зодиака...»). Даже лирика (а вместе с ней отвергнутая в обзирности музыка) пробилась робкой зеленью меж камней его петербургской мостовой, избитой в «Столбцах» железом социальной сатиры:

А на воздухе пустынном  
птица лёгкая кружится,  
ради песенки старинной  
своим голосом трудится.  
Перед ней сияют воды,  
лес качается велик,  
и смеётся вся природа,  
умирая каждый миг.  
(«Прогулка». 1929)

Чем туже сжимались идеологические «революционные» тиски, тем дружнее писатели-«попутчики» тянулись в детскую литературу. Понятно, им казалось, что там отдушина. Островок, где нет мелочных придирок и рапповского конвойного надзора. Если там и была воля, то, конечно, относительная, но, что несомненно и существенно, — формальные поиски только приветствовались. Детский ум — живой, свежий, никакими парадоксами его не смутишь, никакими страшилками не запугаешь, — наоборот, ребятам от этого только интереснее. Эксцентричному Хармсу и беспечному Введенскому только туда и лежал путь, поскольку все остальные дороги были для них уже перекрыты. Кроме того, там, в детском издательстве, уже работали их добрые приятели — Николай Олейников и Евгений Шварц. Весёлые и остроумные выдумщики, они были знакомы ещё по Донбассу и в Питере шли рука об руку. Рядом с ними работали писатели постарше — Самуил Маршак и Борис Житков.

В декабре 1927 года в записной книжке Хармса появилась запись о том, что Олейников и Житков организовали Ассоциацию писателей детской литературы. «Мы (Введенский, Заболоцкий и я) приглашаемся». Николай Олейников задумал детский журнал по названию «Ёж» (сокращение: «Ежемесячный журнал») и убеждал товарищей работать вместе.

В годы нэпа детская литература молодой Советской страны переживала расцвет. Её основание положил — в общем-то совершенно неожиданно для себя самого — влиятельный литературный критик Корней Чуковский, который, развлекая своих собственных детей, сочинил «Крокодила», а затем и другие сказки: про Мойдодыра, Муху-цокотуху, Айболита, Бармалея и ещё — про Тараканище.

В детской литературе с начала 1920-х годов подвизался поэт Самуил Маршак, которому, впрочем, куда как лучше собственных стихов удавались переводы из классиков английской поэзии. Маршак издавал журнал «Воробей», ставший потом «Новым Робинзоном», и, наконец, возглавил Издательство детской литературы — Детгиз. Он внимательно присматривался к даровитой молодёжи, желая отыскать новых авторов и сотрудников. Обэриуты подходили идеально. По натуре — дети, хотя и довольно взрослые: горазды на проделки, обожают игру слов, неистощимы на фантазию, на смелое новаторство.

Тем временем рифма ОБЭРИУ — ОГПУ (почти что *пушкинская*, даром

что советская), ненароком или же с умыслом оброненная кем-то из бывших «чинарей», становилась всё ощутимее, звучнее...

В середине февраля 1928 года за подпольную троцкистскую деятельность, действительную — не надуманную, был арестован покровитель обэриутов Николай Баскаков. Отныне в Доме печати сделалось для них неуютно, о театрализованных вечерах можно было забыть. Ничего не получилось и с изданием стихов — не «прошёл» даже коллективный сборник. По всему было заметно, что власти подвергали большому сомнению лояльность «леваков», чуть ли не всех без исключения, а уж тем более таких непредсказуемых, как обэриуты. В то новое пролетарское искусство, которое обещала дать читателю группа, никто из политического и культурного начальства, конечно, не поверил.

Словом, всё сошлось — и почти все участники объединения единственно реальной литературы мигом оказались детскими писателями. Помпезное здание на Невском проспекте, с «крылатым шаром» над башней, до революции принадлежавшее фирме «Зингер», где на одном из этажей расположился Детгиз, стало им новым приютом. Естественно, вместе с обэриутами в сотрудниках оказались молодые художники-авангардисты — оформители книжек и журнала. Самуил Яковлевич Маршак впоследствии вспоминал: «В своё время я привлёк эту группу поэтов, изоцрявшихся в формальных, скорей даже иронически-пародийных, исканиях. Самое большое, чего я мог ждать от них вначале, — это участие в создании тех перевёртышей, скороговорок, припевок, которые так нужны в детской поэзии. Но все они оказались способными на гораздо большее... <...> все они оказались при деле, работали в журнале, а Заболоцкий даже взял на себя такие большие и трудные задачи, как вольный перевод „Тиля Уленшпигеля“ и „Гаргантюа и Пантагрюэля“. Всё это не могло не сказаться благоприятно на их отношении к жизни и литературе».

Маршак не зря упомянул о переложениях этих двух шедевров, написанных отнюдь не для детей: стишата «для заработка» у Николая Заболоцкого явно не получались. Выходило что-то весьма заурядное, как в рифмованном рассказе про мальчика Карлушу — тёзку того самого *Карлы-Марлы*, что висел *декорацией* во всевозможных конторах:

В немецкой деревне сапожник живёт,  
Стучит молоточком и взад и вперед,  
Во рту у него полдюжина гвоздей  
Различных фасонов, различных мастей.

Он выплюнет гвоздик, прибьёт на сапог,  
А новый гвоздик в ладошку — скок!

Кроме старательности, тут ничего не видно...

Шурка (Введенский) — тот по крайней мере не морочил голову ни себе, ни детям. Беззаботно строчил халтуру по заказу, в согласии с «идеологией» и педагогическими установками. Так, когда потребовалось «разоблачить» Рождество (власти перенесли празднование Нового года с Рождества на 1 января, то есть указали всю гулять во время Рождественского поста), Введенский принялся «бороться против ёлки», защищая таким образом леса от вырубki деревьев, а детские души — от «опиума народа»:

Только тот, кто друг попов,  
ёлку праздновать готов.  
Мы с тобой — враги попам,  
рождества не надо нам.

У Даньки — Даниила Хармса — получалось всех лучше, веселее и задорнее, и склонность к некоему абсурду во всём, что он писал и делал, тут была вполне уместна. В его домашнем кабинете на абажуре висело, среди портретов-карикатур, изображение мрачного дома с надписью: «Здесь убивают детей». Хармс всю забавлялся чёрным юмором на эту тему — хотя, похоже, лишь для себя. Может, обязателька надоедала?.. Но его стишата для детей были непредсказуемы, бодры и смешны:

Иван Иванович Самовар  
был пузатый самовар,  
трёхведёрный самовар.  
В нём качался кипятилок,  
пыхал паром кипятилок,  
разъярённый кипятилок;  
лился в чашку через кран,  
через дырку прямо в кран,  
прямо в чашку через кран.



Пьют чай тётя Катя, дедушка с бабушкой, внучка-девчонка и даже Жучка с Муркой — эти кипяточек с молоком. А Серёжа проспал, пришёл неумытый, но потребовал чашку побольше. Дальше, разумеется, урок и наизидание:

Наклоняли, наклоняли,  
наклоняли самовар,  
но оттуда выбивался  
только пар, пар, пар.  
Наклоняли самовар,  
будто шкаф, шкаф, шкаф,  
но оттуда выходило  
только кап, кап, кап.

Самовар Иван Иванович!  
На столе Иван Иванович!  
Золотой Иван Иванович!  
Кипяточку не даёт,  
опоздавшим не даёт,  
лежебокам не даёт.  
ВСЁ.  
*Даниил Хармс 1928*

Или:  
ИВАН ТОРОПЫШКИН

Иван Торопышкин пошёл на охоту,  
с ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.

Иван, как бревно, провалился в болото,  
а пудель в реке утонул, как топор.

Иван Торопышкин пошёл на охоту,  
с ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.

Иван повалился бревном на болото,  
а пудель в реке перепрыгнул забор.

Иван Торопышкин пошёл на охоту,  
с ним пудель в реке провалился в забор.

Иван как бревно перепрыгнул болото,  
А пудель вприпрыжку попал на топор.  
*Даниил Хармс 1928*

Валерий Шубинский, биограф Хармса, пишет:

«Читая записные книжки Хармса даже 1927–1928-го, а тем более 1929–1930 годов, видишь несколько другого человека — не того, который предстаёт под пером мемуаристов. Мрачные, а порою истерические исповедальные монологи... и метафизические отрывки чередуются с проблесками убийственно-абсурдного, без улыбочки, обэриутского юмора, но никогда — с искромётным и безоглядным весельем. Значит ли это, что Хармс, каким он был в детской редакции Госиздата, — маска? И значит ли это, что детский писатель Хармс — лишь форма компромисса с социумом? Думается, нет. Детская литература давала Даниилу Ивановичу нечто большее, чем просто возможность заработка. А стиль общения, принятый в „Еже“, позволял ему иногда становиться ребёнком. Не исключено, что в тайной ребячливости Хармса и был секрет его „детоненавистничества“: в настоящих детях он видел своих низкорослых кривляющихся двойников, своих конкурентов, а может быть, и потенциальных обидчиков. Но дети не отвечали ему взаимностью: им нравились и стихи его, и рассказы, и сам он — смешной рослый дядя в гетрах, замшевой курточке и кепочке. Выступления Хармса в школах и детских садах имели грандиозный успех. Не меньше восхищали детей фокусы с шариками из-под пинг-понга, которые он показывал — и во время публичных выступлений, и в гостях у знакомых».

Признанием успеха товарища у детского читателя стала и дружеская пародия, сочинённая как-то Заболоцким и Шварцем на «Ивана Торопышкина» (пунктуация сохранена. — В. М.):

По дороге я бегу  
на ногах по сапогу  
тут сапог и там сапог  
лучше выдумать не мог

Но однако же могу

на ногах по сапогу  
не сапожки — чистый хром.  
лучше выдумать не мом

Но однако же мому  
на ногах по самому  
как же сам то на ногах?  
Лучше выдумать не мах!  
(Начало 1930-х)

После неудачи со стихотворением «Хорошие сапоги» Заболоцкий вскоре перешёл на рассказы и очерки, подписывая их то инициалами, то псевдонимом «Яков Миллер». Откуда взялся этот псевдоним? Может, в память о том немецком мальчике Карлуше, историю про которого рассказал сочинитель в своем первом стихотворении для детей? Или сказалось увлечение, ещё с юности, немецкой поэзией, «божественным Гёте»? Похоже, не обошлось и без самоиронии: сочинялось-то для заработка... а заодно Заболоцкий, возможно, прошёлся по поводу своей внешности. Как бы то ни было, за природный румянец, аккуратность и педантизм в работе, что делало урождённого вятича немного похожим на немца, работники Детгиза звали его между собой — Яшей Миллером.

Что же до «стиля поведения» в издательстве, то он был таким же непосредственным, как детвора. И, конечно же, молодые возрастом писатели сочиняли экспромты, сыпали остротами, слегка подкалывали друг друга. А иногда, засидевшись, попросту бесились...

Однажды в это солидное детское издательство два молодых автора, Леонид Пантелеев и Григорий Белых, принесли свою книгу «Республика ШКИД». Принялись искать начальство... «Вдруг видим... навстречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди... — писал в своих мемуарах Пантелеев. — Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.

— Что вам угодно, юноши? — обращается к нам кучерявый.

— Маршака... Олейникова... Шварца... — лепечем мы.

— Очень приятно... Олейников! — рекомендуется пышноволосяй, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.

— Шварц! — протягивает руку его товарищ». Писательница Софья Богданович, жена Виктора Гофмана, вспоминала про это золотое время

Детгиза:

«Часто я встречала Заболоцкого в Детгизе. В те годы люди, имевшие какое-нибудь отношение к детской литературе, постоянно собирались в редакционном помещении как в литературном клубе. В просторной светлой комнате за небольшими столиками сидели редакторы, читая рукописи или разговаривая с авторами, а на широких подоконниках устраивалось несколько посетителей, пришедших по делу или просто поболтать. Подоконники эти обладали какой-то особой притягательной силой: нигде не сиделось так уютно и не разговаривалось так непринуждённо. Вскоре компания возле окон увеличивалась: подходили закончившие переговоры авторы и кое-кто из редакторов. Самыми частыми и самыми желанными гостями „клуба“ были Евгений Львович Шварц и Николай Михайлович Олейников — редакторы Детгиза и детских журналов „Чиж“ и „Ёж“.

Наделённый необыкновенным обаянием, Шварц в любом обществе сразу становился своим и незаменимым. Человек по-настоящему остроумный, он никогда не стремился поразить собеседников тонкими остротами и не стеснялся сказать просто смешную глупость. Но спокойный и даже слегка назидательный тон, каким произносилась эта глупость, и серьёзное выражение его красивого лица заставляли слушателей покатываться со смеху. Шварцевские шутки и поддразнивания не задевали. Каждый не лишённый чуткости человек понимал, что подсмеивается он беззлобно, для поднятия настроения, для общего веселья.

Николай Алексеевич Заболоцкий чувствовал себя на подоконнике Детгиза так же хорошо, как у себя дома в уголке дивана. Он негромко, но весело и искренне смеялся каждой шутке; ласково и даже благодарно смотрел на Шварца. Казалось, что эти минуты непосредственного веселья служили для него какой-то разрядкой. Ведь за его сдержанностью и молчаливостью всегда чувствовалась очень напряжённая внутренняя жизнь, и, вероятно, очень нелёгкая».

Тут же, в большой комнате Детгиза, Николай Олейников на пару с Евгением Шварцем, бывшим актёром, разыгрывал целые представления. Закадычные друзья изображали страстную, непримиримую борьбу за сердце редакционной красавицы Генриетты Давыдовны Левитиной, или просто Груни — ни мало не заботясь о том, что молодая дама уже отдала своё сердце законному супругу.

Олейников мгновенно входил в образ «Макара Свирепого» — этим псевдонимом он подписывал свои детские пародийные стихи. (Мало кто знал происхождение этого псевдонима. Макаром звали его отца, твёрдых устоев природного казака. В Гражданскую войну Николай, воевавший за

красных, однажды добрался до родного дома, чтобы найти там спасение от плена и возможной гибели. Но отец не пощадил сына, предавшего заветы: выдал его белякам. Накануне расстрела Олейникову, избитому до полусмерти, удалось бежать...) Итак, Олейников, сделав злобное лицо, обличал своего соперника — и при этом, обращаясь к предмету воздыхания, картинно прикладывался рукой к сердцу. А Шварц, в позе презрения, выразительно молчал, надменно усмехаясь. Любезной Груне ничего не оставалось делать, как, слегка краснея, включаться в игру приятелей-озорников...

Я влюблён в Генриетту Давыдовну,  
А она в меня, кажется, нет —  
Ею Шварцу квитанция выдана,  
Мне квитанции, кажется, нет, —

с выражением декламировал Олейников. И далее — с ещё большей страстью в голосе:

Ненавижу я Шварца проклятого,  
За которым страдает она.  
За него, за умом небогатого,  
Замуж хочет, как рыбка, она.

Дорогая, красивая Груня,  
Разлюбите его, кабана!  
Дело в том, что у Шварца в зобу не,  
Не спирает дыхание, как у меня.

И, задыхаясь от гнева:

Он подлец, совратитель, мерзавец —  
Ему только бы женщин любить...

Пауза — потом с достоинством:

А Олейников, скромный красавец,  
Продолжает в немилости быть.

Я красив, я брезглив, я нахален,  
Много есть во мне разных идей.  
Не имею я в мыслях подталин,  
Как имеет их этот индей!

И, наконец, простодушный призыв:

Полюбите меня, полюбите!  
Разлюбите его, разлюбите!

Написано в том же 1928 году...

Недолго им уже оставалось наслаждаться своей свободой, а кому, как Николаю Олейникову, и жизнью...

Никита Заболоцкий пишет в жизнеописании отца: «Нередко вся редакционная компания приглашалась в благополучный дом Генриетты Давыдовны. Полуголодные писатели и художники ценили возможность вкусно и сытно поесть и выпить дорогого коньяка. Любителя сыра Заболоцкого особенно привлекала выставляемая на стол на особой фаянсовой дощечке головка настоящего голландского сыра. После застолья разговаривали, сочиняли стихотворные экспромты, слушали заграничные пластинки, танцевали. Хозяин, В. Р. Домбровский, иногда тоже участвовал в застолье. Он был снисходительно-радушен, подливал в рюмки коньяка, играл на рояле. Вряд ли гости его жены знали, что уже в 1929 году он был начальником Секретно-оперативного управления Ленинградского ОГПУ. Вскоре его подпись появится под обвинительным заключением по сфабрикованному в конце 1931 года „делу об антисоветской группе писателей в детском секторе Ленгосиздата“. Позднее Домбровский пал жертвой той репрессивной машины, в создании которой сам же участвовал, — в 1937 году он был расстрелян.

Трудно сложилась жизнь и Генриетты Давыдовны — с 1937-го по 1955 год ей пришлось пережить семнадцать лет тюрьмы и лагерей. После освобождения, в мае 1956 года, она посетит в Москве Николая Алексеевича, и они долго будут вспоминать невозвратные дни своей

молодости и неповторимую атмосферу редакций ленинградских детских журналов конца 20-х годов».

Заболоцкий отработал в журналах Детгиза больше двух лет — сначала в «Еже», а затем в «Чиже» («Чрезвычайно интересном журнале»). Молодой Ираклий Андроников, которого Евгений Львович Шварц чуть позже устроил на работу в издательство, увидев его впервые, изумился: «Вот уж никогда не подумал бы, что это автор „Столбцов“». Немногословный, серьёзный, степенный, в круглых очках, румяный блондин был вечно в редакционных трудах, на ходу латая бреши в очередном выпуске журнала. Новичок, впрочем, сразу же отметил ненарочитый юмор поэта, весомые реплики и отчётливо выраженное чувство собственного достоинства. «Почти всю комнату занимал огромный редакционный стол. Мне отвели место справа от Заболоцкого. Он был тогда совсем молодым. Но решительно всем внушал глубокое уважение. Обстоятельность, аккуратность его вызывали во мне не только почтение, но и сладкую зависть. Всё у него было в срок».

Однако ничто не мешало Николаю походя шутить в рифму — экспромты он любил всю жизнь.

Поскольку роль героя-любownika была в редакции уже занята — одна на двоих: Шварца и Олейникова, — Заболоцкий отвёл себе более скромную — тайного воздыхателя, боримого страстью, но держащего себя в руках. Первую красавицу коллектива он воспел в четверостишии «Красота Груни», где не преминул подчеркнуть свои достоинства:

Я как заведующий приложениями  
замечаю красоту,  
но как знакомый с дамскими внушениями  
себя, конечно, в рамках соблюду.

Генриетте Давыдовне Заболоцкий преподнёс самодельную книжку «Ксении» — шуточные миниатюры на манер античных поэтов. К стишкам издательский художник сделал три своих рисунка и подписал: «П. И. Соколов рисовал в пивной 21 марта 1931 г.». Кстати, там — в одноимённой миниатюре, сразу же пояснялось, что такое стишки:

То, что мы зовём стишки,  
есть не боле, чем мешки:  
плохо сшиты, хорошо ли —

в них картошка, но не боле.

Было там стихотворение «Бесполезная учёность»:

Был Терентий сухорук,  
знал он тысячу наук,  
лишь одной не знал науки —  
как сухие двигать руки.

(Не намёк ли на недуг товарища Сталина — тот в малолетстве повредил руку. Впрочем, возможно, совпадение: Заболоцкий мог ничего и не знать...)

Среди прочего было несколько небольших басен: то весьма солёных, то с философской подкладкой. Приведём самую невинную:

НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛКА  
Однажды Пуп, покинув Брюхо,  
пошёл гулять и встретил Ухо.  
— С дороги прочь! — вскричал Пупок. —  
Я в этом мире царь и бог!  
— Не спорю, — вымолвило ухо,  
услышав грозные слова, —  
ты царь и бог, но только — брюха,  
а здесь, мой милый, — голова.

Читатель! Если ты не бог,  
проверь — на месте ли пупок.

Одна из эпиграмм другого цикла этой книжки имела предысторию. Вступив во Всероссийский союз писателей, Заболоцкий оказался в одной организации с рапповскими критиками Друзиным, Либединским и другими. Друзин как-то однажды на литературном вечере принялся нагло его поучать, что и как писать. Поэт не пожелал выслушивать поучения и покинул зал. Либединский же писал на него статьи-доносы... Рапповцам в ответ досталась эпиграмма:



## ВРАСТАНИЕ В БЫТ

Я отнынеосоюжен —  
я для мира не пропал —  
мой наставник — Валька Друзин,  
Либединский — мой капрал.

Вернувшись в Москву из лагерей, Генриетта Давыдовна Левитина принесла Николаю Алексеевичу ту старую самодельную книжку «Ксении», чтобы его стихи вернулись в архив поэта.

Но шутливых экспромтов Заболоцкого, видно, было много, коль скоро художник «приложений», то есть журналов «Ёж» и «Чиж», Генрих Левин записывал их в специально заведённую тетрадь. К сожалению, сообщает сын поэта, эта клеёнчатая тетрадка пропала в ленинградскую блокаду.

Сохранились лишь «фольтики», как называли между собой работники издательства различного рода стихотворные шуточки. Они уцелели благодаря поэтессе и переводчице Эстер Соломоновне Паперной. Как-то на заседании редколлегии «Ежа» в 1928 году, пояснила она, Николай Алексеевич подсовывал ей эти «графоманские загадки», и вид у него при этом был лукавый. Видимо, развлекал сотрудницу, а скорее незнакомку, заодно и коротая заседательскую скуку... Вот некоторые из этих «фольтиков»:

Отверстие, куда макаю  
Из древа сделанное средство.  
Как звать тебя не понимаю,  
Хотя меж нами и соседство.  
(Чернильница)

Или:

Печени оно есть враг,  
Дабы ввергать ту печень в гнев.  
Однако всякий, кто ослаб,  
Его глотает к счастью дев.  
(Пиво «Степан Разин»)

Между прочим слегка прошёлся молодой Заболоцкий и по символу новой власти, — а это уже *политика* — потом он с презрением называл её «химией»:

Хлебный злак чем срезать можно,  
Также гвоздь чем можно вбить,  
На дощечке осторожно  
Может всяк совокупить.  
(*Серп и молот*)

\*

Разумеется, детская литература в 1920-х годах отнюдь не была островком писательской свободы, — в подцензурной литературе Советской страны таких мест уже давно не водилось. Разве же можно было пустить воспитание детей на самотёк? Это же — подрастающее поколение, будущие строители мировой коммуны! Работой среди детей, как совершенно справедливо считали большевики, надо заниматься *настоящим образом*, как учил (правда, по другому поводу) Ильич.

Надежде Константиновне Крупской, по собственной бездетности, видно, ничего другого не оставалось, коль скоро она решила приняться за воспитание широких масс детворы. (У Инессы Арманд — «товарища Инессы», которая после Октября *боролась* с традиционной семьёй, хотя бы имелся некоторый личный опыт борьбы с таким косным социальным институтом, как семья, поскольку она бросила и мужа, и своих четверых детей, чтобы целиком отдаться революции, — а тут...)

Многочисленные «теоретические» работы Крупской по педагогике, казалось бы, не оставляли времени ни на что другое, но Надежда Константиновна всё же выкраивала минутку, чтобы проследить за писателями: вдруг не так воспитывают, как следует? Она подвергла критике Корнея Чуковского за его книжки для детей, ранее уже изданные: «Чудодерево» и «Что сделала Мура». Крупская пришла к выводу, что «сказочки» про «буржуйских Мурочек» малышам не нужны. После «закрытой» рецензии вдовы вождя книжкам живо перекрыли кислород, и они не вышли.

Потом запретили «Крокодила». Чуковский смог отстоять свою книгу, но Крупская выступила уже открыто, в газете «Правда», и заявила: хотя про

животных детям узнать, конечно, интересно, но эта книжка ребятам не нужна, ибо это «буржуазная муть».

...Не в это ли самое время Николай Олейников, редактор журналов «Ёж» и «Чиж», выскакивал вдруг в издательский коридор на четвереньках и радостно вопил: «Я верблюды!!!» (Каково было бы, если попался бы в таком виде на глаза Крупской!..) Разумеется, как член партии, он читал газеты, в которых тогда же стал мелькать неологизм «чуковщина» — этот литературно-политический ярлык создала другая видная вдова, жена покойного председателя ВЦИКа, «начальница» всей детской литературы, Клавдия Тимофеевна Свердлова. Впрочем, возможно, оттого и кричал, что верблюды, потому что начитался этих газет.

Чуковский ещё какое-то время боролся за свои книги, однако потом, в декабре 1930 года, сдался — покаялся публично в той же газете «Правда». Пообещал не писать больше сказок про крокодилов — а придумать новые, про «Детскую Колхозию». (Обещания не выполнил.)

«И всё же после долгих мытарств (выпавших в начале 1930-х годов и на долю Даниила Хармса) детских писателей оставили более или менее в покое, а книги „Чуковского и писателей его группы“ более или менее благополучно переиздавались. Почему? — пишет В. Шубинский. — Для советского общества в 1920–1930-е годы был характерен культ ребёнка как „нового человека“, формирующегося в новое, послереволюционное время, лишённого родимых пятен классового общества. Во многих произведениях, особенно относящихся к 1930-м годам, этот культ приобретает трагический характер. Чистый, совершенный „новый человек“ обречён — он погибает, так и не став взрослым, как пионерка Валентина в поэме Багрицкого, как гайдаровский Алька, как Настя в платоновском „Котловане“. За этим стояло подсознательное сомнение в успешности нового антропологического проекта.

В самом деле, проект этот стал давать сбои с самого начала. Именно антропологическая утопия была причиной широкого государственного финансирования детской литературы. Но та литература для детей, которая выходила из-под пера талантливых „попутчиков“, не соответствовала идеологическим задачам, а другой просто не было».

(Заметим: даровитые, каждый по-своему, Эдуард Багрицкий и Аркадий Гайдар — ничтожные величины рядом с гениальным Андреем Платоновым; соответственно можно толковать и образы, созданные ими. Место ли великану в одном ряду с людьми обычного роста, причём он ещё и оттеснён на задворки... — это вызывает вполне «сознательное сомнение». Что до «антропологического проекта», то, несмотря на его

изначальную утопичность и все издержки, в государственно-политическом смысле большевикам он всё-таки удался: поколение молодых патриотов победило фашистское нашествие в 1945 году, а потом заново построило страну. Впрочем, любовь к Родине выдумали отнюдь не большевики, они просто воспользовались тем, что было в народе.)

Николай Заболоцкий, конечно же, видел, как сужаются и без того не слишком широкие рамки детской литературы. И — отыскал свою нишу, где бы он мог остаться самим собой. Это были переводы-переложения зарубежной классики — в первую очередь знаменитой книги Франсуа Рабле. Серьёзная, трудоёмкая работа — а не стишки-поделки по идеологическому заказу.

Через несколько лет в статье «Рабле — детям» («Литературный Ленинград», 1935) Николай Заболоцкий обвинил детские обработки дореволюционного времени в искажении и выхолащивании классических шедевров:

«Книгу пропускали через благонамеренную педагогическую цензуру и причёсывали её на тот манер, который только и считался приемлемым для „нежного возраста“, — и заметил: — Рабле на русском языке для детей до сих пор не обрабатывали. Моя обработка — первая».

Поэт пояснил причины, по которым он выбрал Рабле:

«Потому что книга Рабле — одна из самых значительных во французской литературе и одна из наименее известных у нас.

Потому что тема книги — сатирическое изображение старинной королевской Франции, папства и вообще католичества — близка нам своей революционностью и независимостью.

Потому что полнокровный оптимизм Возрождения, пронизывающий эту книгу, близок и понятен нашей эпохе».

*Сатира — и революционность...* конечно, тут сказано не только о книге, которой 400 лет в обед, но и в защиту своих обруганных *столбцов*. Хоть не прямо, а косвенно — Заболоцкий отстаивал свою правоту.

## Женитьба

Во втором, расширенном издании воспоминаний современников о Заболоцком, книге довольно объёмной (составители Е. В. Заболоцкая, А. В. Македонов, Н. Н. Заболоцкий), о женитьбе поэта почти ни слова. Хармс и Введенский, понятно, мемуаров оставить не могли — но почему промолчали другие? Нечего сказать? Или не захотели? А если в оригиналах очерков что-то и было, так подсократили редакторы-составители?.. Даже один из ближайших друзей по жизни, Николай Леонидович Степанов, не обмолвился ни словом. Правда, Степанов был деликатен и всегда отличался осторожностью... Из хороших знакомых времён Детгиза лишь Софья Богданович, жена Виктора Гофмана, в доме у которых любил гостить молодой автор «Столбцов», скупно обронила:

«В 1930 году Заболоцкий женился на Екатерине Васильевне Клыковой, сделался домоседом и всё реже и реже появлялся в нашей компании. Потом разные события в его и моей жизни окончательно развели нас».

Удивительна и другая деталь: ни в пору знакомства, ни во время влюблённости и «жениховства» Николай не посвящал стихов Кате Клыковой. Скорее всего, он и не писал их. Благодарные строки, обращённые к жене, появились гораздо позже, любовные — только на закате жизни, да и то, пожалуй, высекла их, словно огонь из камня, семейная драма. (Удивительнее же всего то, что цикл «Последняя любовь» обращён одновременно к двум женщинам: Екатерине Васильевне, которая ушла от мужа, и к Наталии Роскиной, с которой он тут же сошёлся, не в силах вынести одиночества.)

Вообще-то до знакомства с Катей Клыковой Заболоцкий сочинял стихи девушкам, коими увлекался. Влюблённый, тем более поэт, иначе просто не может. По характеру крайне влюбчивый (в чём сам с улыбкой признавался), Николай с отрочества посвящал *предметам своих воздыханий* чувствительные признания. То же самое наверняка было и в молодости, потом случалось всё реже и реже. Но и в пору знакомства, товарищеских отношений с Катей Клыковой Заболоцкий ещё писал любовные стихи — студентке Кате Ефимовой (не известны, скорее всего, уничтожены). Почему же обаятельной Кате Клыковой, глаза которой излучали тихое радостное сияние, стихов не досталось?

Весьма вероятно, что в пору их разгорающегося сближения Катя Клыкова ждала от него, уже довольно известного молодого поэта, стихов —

однако получала она лишь письма. Николай то сообщал ей, что умеет писать стихи, «как умеют немногие», то вдруг признавался: «Я ещё не научился по-настоящему писать стихи». И, словно бы отвечая на невысказанные желания девушки, которых не мог не ощущать, добавлял: «Вот когда я смогу в своих стихотворениях выразить мою любовь к Вам, они станут подлинной поэзией».

Чувство, даже самое великое, не обязательно сразу выражается в слове. У каждого поэта всё происходит по-своему, если вообще происходит. Валерий Брюсов был «спец» в любовной тематике, но большой вопрос: любил ли он кого-нибудь из тех, кому писал стихи? Александр Твардовский вовсе не писал стихов о любви, но это отнюдь не значит, что он не любил или же не «увлекался»...

Судя по всему, Заболоцкий так и не написал тогда Кате (женщина такое хранит) ни одного любовного признания в стихах. Для настоящей любовной лирики ещё не пришло его время, а отделаться «дежурными» стихами он не мог. Последнее говорит лишь о серьёзности чувства к девушке и уважении к ней.

Да и совсем другое его обуревало: он был всецело занят *столбцами*.

О «личной жизни» думал трезво — и, как всегда, воображал самое крайнее:

О, мир, свинцовый идол мой  
.....  
ужели там найти мне место,  
где ждёт меня моя невеста <...>  
(«Ивановы». 1928, январь)

Примыкает к *столбцам* и его едкое стихотворение «Мечты о женитьбе» (любопытно, что каждый стих здесь начинается с прописной буквы — большая редкость у Заболоцкого в те годы!..):

Через двадцать или тридцать лет  
Стану я, наверно, лыс и сед.  
Вот и встанет тогда передо мной  
Вопрос о женитьбе моей роковой.  
Всю жизнь врачуя,  
Как больного, болеющего грыжей,  
В тот миг ужасный полечу я

В объятия бесстыжей.  
Уж гроб, пронзительно летая,  
Вокруг меня жужжит всю ночь,  
Уж пальцев судорожная стая  
Своё перо прогонит прочь;  
И, убелясь своею сединой,  
Я буду двигать челюстью ослиной  
И над красоткою шептать:  
«О милая, быть может, спать  
Пора». И вот перстом дрожащим  
С табачным жёлтым ноготком  
Я проберусь по ножке восходящей  
И, заливаясь хохотком,  
Два мерзкие бесстыдные словечка  
Шепну в ушко. Застонет свечка,  
Застонет юность, обернувшись вспять,  
Застонет тёплая квадратная кровать,  
И под костлявым стариковским тазом  
Две хари на стене причмокнут разом.  
(Август 1928)

Один из литературных критиков зарубежья, Вячеслав Завалишин, предполагает, что это стихотворение написано под влиянием эссе Владимира Набокова о стихах английского поэта Руперта Брука (сочинения писателей-эмигрантов тогда ещё доходили до советских читателей), — последний с отвращением описывал неизбежно грядущую дряхлость тела и омерзительную старческую похотливость. Но вполне возможно, что Заболоцкий, всерьёз задумавшись о личной судьбе, просто прикидывал прелести позднего брака.

Современные исследователи жизни и творчества поэта, в отличие от авторов сборника «Воспоминания о Н. Заболоцком», не столь церемонно обходятся с неизбежной темой «личной жизни». Так, Юрий Колкер в статье «Заболоцкий: жизнь и судьба» (2003) пишет:

«Чтобы понять поэта, приходится вглядываться в его личную жизнь. До эпохи романтизма это было не обязательно. Можно читать Франсуа Вийона, не зная, что он был убийцей. Жизнь и творчество шли параллельно. Но вот является Байрон со своим Дон Жуаном, а за ним Пушкин с Натальей Николаевной, и мы видим другую параллель: судьба

строится как художественное произведение. У иных (например, у Максимилиана Волошина) — как главное произведение всей жизни.

О любовных приключениях Заболоцкого почти ничего не известно. Мальчишкой (в Москве, где он начинал учиться) он был безответно влюблён в какую-то Иру — и „плакал“ по ней (по его словам) ещё в Питере. В 1921-м он пишет приятелю из Питера в Москву: в институте „бабья нет, да и не надо“. Затем — лагуна на целых девять лет, возникшая не без помощи тех, кто распоряжался наследием поэта. Не исключено, что в этот период Заболоцкий относился к женщинам — в духе времени и его круга — чисто потребительски. Обэриуты были шалуны и циники. Хармс не пропускал ни одной юбки; Олейников говорил: „женщина что курица; если однажды тебе принадлежала, то уж и дальше никогда не откажет“. Он и Заболоцкий „ругали женщин яростно“ (вспоминает Евгений Шварц; Хармс соглашался, но без ярости). Стало быть, опыт у Заболоцкого был — и, нужно полагать, сплошь негативный. Однако в 1930 году, к удивлению друзей, Заболоцкий женится — на выпускнице того же педагогического института Екатерине Васильевне Клыковой, тремя годами его моложе. Так началось его возвращение к основам. „Вера и упорство, труд и честность“ — вот жизненное кредо вчерашнего озорника-обэриута из его письма невесте (1928). На этих принципах и закладывается его брак, да ещё — на чисто крестьянском домострое. Пылкой влюблённости — не видим. Это был осмотрительный, хорошо рассчитанный шаг разумного эгоиста, согретый, понятно, взаимным влечением. Душа, главный человеческий капитал, вкладывалась в предприятие надёжное. Семья должна была стать щитом от внешнего мира, всегда чуть-чуть враждебного художнику, да и человеку вообще, иногда же — и просто кровожадного. И Заболоцкий не промахнулся. В 1932 году он пишет тому же приятелю: „Я женат, и женат удачно“».

Юрий Колкер приводит запись из дневника Евгения Шварца о Екатерине Васильевне: «Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых я встречал в жизни» — и сопровождает этот «чудесный портрет» своими размышлениями: «Екатерина Васильевна была стройна, застенчива, темноглаза, немногословна. Прямой красавицей её не назвать (красоты ведь не душа ищет, а другое начало в человеке; вспомним, как по-разному женились Пушкин и Боратынский). Будь Екатерина Васильевна красавицей, Шварц сказал бы; „одна из красивейших женщин“; будь она необычайно умна, отметил бы ум. Нет, она была женщиной в своём традиционном предназначении: жена, мать, хозяйка. На ранних снимках она привлекательна и женственна. В ней угадывалась восточная, хочется



сказать, половецкая кровь. С мужем держалась она едва ли не с робостью — и не вмешивалась в разговоры его шумных и весёлых гостей».

Недаром он вспомнил про Боратынского. Тот, веком раньше, тоже, удивив друзей, неожиданно взял в жёны *некрасивую* — Настасью Львовну Энгельгардт, и вскоре они сошлись *душа в душу*, так и прожив всю жизнь.

Замечательно, что Заболоцкий почти в точности повторил фразу Боратынского — молодого мужа.

У Боратынского было: «Я женат и счастлив» (из письма Н. Коншину).

У Заболоцкого: «Я женат, и женат удачно».

(Разумеется, счастье и удача — несколько разные вещи, но не будем придираться к словам: оба нашли единственно подходящих им жён.)

Настасья Львовна и Екатерина Васильевна схожи друг с другом и в отношении к творчеству своих мужей.

*Настинька* обожала стихи Боратынского ещё невестой, а женой — была его первой читательницей и помощницей. Она была предана мужу чуть ли не фанатично...

Катя тоже была на редкость преданной женой. Восемь лет ждала арестованного поэта, воспитывая одна двух малолетних детей; при первой же возможности поехала к нему с детьми в ссылку, чтобы жить семьёй. А насчёт стихов... тут лучше всего привести отрывок из воспоминаний Наталии Роскиной: «...когда я целиком отвергла одно его стихотворение („На рейде“ — 1949, напечатано в 1956), — то есть что значит „отвергла“ — просто сказала, что оно мне не нравится — он мне ответил, что нам надо расстаться, так как видимо мы совсем друг друга не понимаем. Я расхохоталась, и ему стало неловко, он сделал вид, что пошутил. <...> Заболоцкий был изумлён, что о его стихах я могу говорить так холодно-критически. Он сказал: „А Екатерина Васильевна любит *все* мои стихи. Для неё каждое моё стихотворение — это воскресение“».

В своих рассуждениях Юрий Колкер берёт за основу здравый смысл, и они во многом справедливы. Однако его выводы о сугубо рациональном подходе поэта к выбору жены, кажется, всё же несколько утрированы. Да, «пылкой влюблённости» вроде бы нет — но всегда ли она видна? всегда ли выставляется напоказ? Кто знает, что было у Заболоцкого на душе...

Что же касается расчётливости, то это похвальное свойство вряд ли основное у поэта, будь он и трижды крестьянином и любителем домостроя.

Тут всё дело не в уме — в глубине интуиции. Вот благодаря ей Заболоцкий и «не промахнулся».

Впрочем, чтобы предметней, что ли, разобраться, надо, пожалуй, обратиться к прямым свидетельствам. Больше всего их в биографии поэта,

написанной Н. Н. Заболоцким, который приводит письма своих будущих родителей из личного архива...

Первокурснице Кате Клыковой было 17 лет, когда она впервые увидела своего будущего мужа. Подруга кивнула ей на кучку парней-старшекурсников, что-то горячо обсуждающих.

— Посмотри, вон тот, с палочкой — Николай Заболоцкий, поэт.

Тогда, в 1923-м, Николай какое-то время после цинги прихрамывал, опираясь на самодельную трость.

Катя запомнила тот случай и годы спустя рассказала о той встрече подростку сыну.

Екатерина Васильевна была дочерью казака, сосланного за бунт под Питер, — Василия Ивановича Клыкова. В семье было пятеро детей, и Катюша была младшей. В три года осталась сиротой: умерла мать. В доме появилась строгая деловитая мачеха. Отцу, разнорабочему, помог брат Андрей Иванович, образованный и предприимчивый биржевой маклер: у Василия Ивановича появилась небольшая лавочка. Но тот не преуспел: любил мечтать, читать стихи, копать в огороде, а потом и заболел. Катя, как видно, от отца пристрастилась к чтению и полюбила стихи. После революции Андрей Иванович лавку быстро закрыл, опасаясь неприятностей от новой власти, и Василий Иванович с семьёй переехал в небольшой городок Любим Ярославской области — от греха подальше. Там отец Кати вскоре умер. Андрей Иванович забрал трёх младших девочек к себе в Петроград, где у него, служащего, были квартира и дача. Племянницы подрабатывали дворничихами...

С Николаем Заболоцким Катя познакомилась позже, весной 1926 года, когда он, уже окончив учёбу, приходил в Педагогический институт на практику. В их студенческой компании, что часто собиралась вместе, она была влюблена в его друга Костю Боголюбова, а Коля был сильно увлечён Катей Ефимовой.

Никита Заболоцкий пишет:

«Катя Клыкова жила у своего дяди в просторной квартире на Большой Пушкинской, недалеко от студенческого общежития. Коля Заболоцкий иногда приходил к ней и читал ей стихи Мандельштама, Гумилёва, Клюева, Вагинова, реже — Хлебникова, из старых поэтов — Ломоносова, Державина, Баратынского, ну и, конечно, собственные стихотворения. Любил стихотворение Есенина „Есть одна хорошая песня у соловушки...“ — читал его не спокойно, как стихи других поэтов, а с надрывом, иногда пел под аккомпанемент гитары. Однажды пришёл вместе с Боголюбовым. И Катин дядя Андрей Иванович Клыков, заметив своим острым взглядом

влюблённость племянницы, сказал:

— Твой Костя — пустой человек, а вот Заболоцкий — это да, это человек самостоятельный, из него толк будет».

Но что для влюблённой девушки дядин совет!..

Отношения с Колей оставались товарищескими. В конце года, зимой, Катя порой навещала Николая в его воинской части на окраине Выборгской стороны, где он отбывал краткосрочную службу.

Поэт живёт воображением. Много ли надо было влюбчивому Заболоцкому, чтобы почувствовать нечто к этой хрупкой обаятельной девушке...

В июле 1927 года ему выдался случай передать Кате одно поручение Кости Боголюбова, который уезжал из города и не мог сам отнести рукопись своей повести в издательство. Николай сопроводил это дело довольно пространном письмом, в шутку стилизованным под военные эпистолы позапрошлого века:

«Государыня моя Екатерина Васильевна!

Чрезвычайные обстоятельства, кои предвидеть было не в силах человеческих, заставляют меня обратиться к Вам с настоящей реляцией. 1-го дня сего месяца получил я от известного Вам магистранта изящных наук Боголюбова некое послание. <...>

Исполняя волю помянутого магистранта пересылкой Вам сего известия, не могу, однако, обойти молчанием того легковесного и непочтительного языка, коим изложен сей игривый отрывок. О том, что я веду с Вами, Государыня моя, — „благонамеренные шашни“ — лишь поселянам или купцам писать пригодно, но вряд ли магистру изящных наук, коий для обозначения сего предмета иные, гораздо совершенные и возвышенные слова найти в силах.

Когда-то известные пииты наши и Расины: Ломоносов, Тредиаковский, а особливо Сумароков — к тому предмету многие фигурные обозначения прилагали, как то „сердечный огонь“, или же „дуновение зефиров“, или же „пучина страсти“ и многое другое. К тому же название труда своего „удивительным“ не к лицу науке и истинной Добродетели, то и история наша не раз подтверждала. Когда Дидерот о достоинствах трудов своих спрошен был — так отвечал: „Токмо ко псу под хвост и пригодны“. Сие, хотя и грубое, но фигуральное выражение — действительности во многом отвечало. Мыслью я, что и всем прочим пиитам и магистрам держаться его стоит, ибо прогадать на нём невозможно, но прослыть скромником — возможно весьма. А истинную Добродетель великая Скромность венчает. Далее, Государыня моя, в превеликое я был введен замешательство

помянутым поцелуем, коий от магистранта нашего оторвался, но к прекрасным губкам Вашим прилепиться ещё не успел и задержался на моих руках — наподобие дилижанса, задержанного в пути ненастной погодой. Сей поцелуй пять суток носил я до сего дня, пока с превеликим облегчением его по назначению придумал. <...>

О себе скажу немногое — дни свои провожу на парадах и протчих батальных учениях. Немилосердное солнце жжёт невыразимо, но что может сокрушить дух нашей славной Армии? Сказать в точности не могу — когда в С. Петербург приехать сумею, но не раньше конца сего месяца. С нетерпением сего числа ожидаю, тогда надеюсь посетить и Вас, Государыня моя, чтобы насладиться приятной беседой и лицезрением прекрасного образа Вашего.

До той прекрасной минуты, Государыня моя, почтительным слугою Вашим и поклонником пребывать имею:

секунд-маиор *Н. Заболоцкий*».

По письму видно: Костя Боголюбов уже заметил, что Коля Заболоцкий положил глаз на его подругу, но не придавал этому значения. Уверен: не соперник. И Заболоцкий хорошо понимает товарища, чьё самомнение его также не смущает. То, что он хотел сказать, — сказано.

После военных лагерей Николай вернулся в Питер, зашёл на Большую Пушкарскую к Кате. Одет он был странно: шинель, солдатские ботинки в обмотках, а на голове обычная кепка в клетку. Екатерина Клыкова в своих записках вспоминала:

«Заболоцкий пришёл с каким-то особенно лукавым и многозначительным видом. Когда мы вышли из полутёмной кухни-прихожей, я увидела на его щеках нарисованные чёрной тушью фигуры — что-то вроде трезубца с переломанной под прямым углом ручкой и ромб. Я поняла, что он хочет удивить прохожих. Мы торжественно, под руку прошли по Большому проспекту, свернули на Каменноостровский. Начинало смеркаться. Ни один встречный не обратил на нас внимания! Когда мы вернулись, я не могла удержаться от смеха».

Это были времена поэтических вечеров «чинарей», любителей эпатажа. Однако Николай на вечерах выступал не разрисованный, — это он, должно быть, решил позабавить Катю прелестями «футуризма» да и вновь усмехнуться над ребяческими чудачествами друзей-поэтов, слегка посмеявшись над собой.

Разумеется, он, как и Хармс, боялся семьи, опасаясь утонуть в болоте быта (Введенский, тот не заморачивался, беззаботно плыл по течению, уверенный: *кривая вывезет*, да и *прямая* тоже...). Писательство, само по

себе, школа одиночества, и поэт в ней вечный ученик. Но охота пуще неволи — а Катя влекла по-настоящему...

Николай принялся за письмо девушке: по сути, это и объяснение, и дневник.

«9 февраля 1928 года.

Друг мой, родная моя девочка!

С этого дня Вы стали бесконечно родным для меня существом, и сейчас, когда я думаю о своей работе и жизни, — всё это неразрывно связано с Вами.

Если Вы когда-нибудь полюбите меня, — я сделаю всё, чтобы Вы были счастливы. Я сделаю это. Иначе нельзя и бессмысленно жить. Ваша любовь для меня спасение и счастье. Если бы и моё чувство было для Вас дорого!

Пойдёмте вместе! Надо покорить жизнь! Надо работать и бороться за самих себя. Сколько неудач ещё впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие минуты человек поколеблется — его песня спета. Вера и упорство. Труд и честность. Давайте же вместе, родная моя, милая! Одного Вашего взгляда достаточно, чтобы поддержать меня, я тоже научусь помогать Вам. Вместе мы горы своротим. <..> Боже мой, какой восторг, как безысходно, как сладко я люблю вас».

Предупредив прямо, что он отрёкся от всего ради искусства и без него ничто, Заболоцкий критически разбирает себя в надежде на то, что вдвоём — с *подругой* — слабости и трудности будут преодолены:

«Мы вместе — будем лучше и чище — в особенности — я. За моей спиной так много неудач, лишений и слабости, и теперь, когда я близок к своим первым успехам, — Ваша любовь будет порукой за хорошее — будущее. За старые времена — я озлобился, но не очень, я загрязнился — но, наверное, всё-таки не до конца, дайте мне Вашу руку — я буду твёрд, как никогда. <...>

Мне 24 года — уже немало. К жизни я присмотрелся. Но я недостаточно активен. Теперь, впрочем, — стал лучше. Я многого не умею делать. Не умею ладить со многими людьми, не умею хозяйственно жить, часто бываю груб и заносчив — вон, видите, сколько грехов! Зато умею писать так, как умеют лишь немногие, зато люблю Вас с такой нежностью и теплотой, какие редко приходят к человеку.

Решайте! Я искренен перед Вами и не боюсь Вашего ответа. Но он должен быть правдивым — перед Вашей совестью.

10-е. Сегодня тоска. <...> Сегодня я окончательно понял, что за эти годы если я кого и могу полюбить со всем восторгом и болью любви, но

только — Вас. <...>

Знаю, что недостойн Вас. Знаю, что мерзость я, грязь и ничтожество. <...> Но ещё я знаю, что могу любить Вас — со всею тяжестью и упорством. <...>

12 февраля 1928 года. Любовь моя безысходная, всё теперь понял, без Вас — не жизнь. Прошу вашей руки. Решайте».

Катя Клыкова в смятении: она-то любила другого. Сестре Лиде писала: «...Меня избаловал Заболоцкий. Он любит меня так, как умеем любить я и ты. Он просил меня быть его женой. Я не знаю, что делать. Я люблю его, но не так, как любила Костю, совсем по-другому. <...> Я ничего не ответила Заболоцкому. Он знает, что я люблю Костю. Я плачу, когда он говорит, что любит меня, что думает обо мне и каждое утро и вечер целует мою карточку. И он знает, что плачу я потому, что так я любила Костю. Ох, грешная я душа. Начинаю мечтать о том, как мы, я и Заболоцкий, будем жить. Заболоцкий так меня любит. Вот два дня не звонил мне, и я сержусь. Видимо, и я его уж не так не люблю. А Костя сегодня венчался в церкви.

Я сказала, что не хочу думать о замужестве, пока не сдам все зачёты, а выходить замуж не намерена, пока не защищу дипломную работу. Заболоцкий составил мне расписание, когда какой зачёт сдавать, и будет следить за мной. Это хорошо. Но он такой смешной, этот Заболоцкий, неуклюжий и росту такого же, как я. И потом, он белобрысый и с голубыми глазами и курносый. Если я выйду за него замуж, то у нас будут белобрысые, большеротые, как галчонки, ребята и курносые. <...>

[Р. С.] Лида, я должна любить Колю и должна быть его женой...»

\*

В 1928-м ничего не решилось...

Пылкие признания не отменяют сомнений; возможно, признаниями только заклинают эти сомнения. Но и сомнения, в свою очередь, не отменяют признаний; может быть, лишь сдерживают то, что может прорваться наружу...

К тому же в предвоенные десятилетия сразу жениться не торопились: было принято «проверять» отношения — и это длилось порой по несколько лет.

В августе 1929 года Николай неожиданно поразил Катю своим письмом:

«Катя!

Ты уже чувствуешь, что со мной что-то происходит. Позволь мне рассказать тебе об этом. Я тебя не люблю и жениться на тебе не могу. Я знаю, что это — скандал, что это, наверное, нечестно, особенно после той огласки, которую я придал нашему делу. <...> Всё кончено. Простимся и постараемся забыть о том, что было. <...> Все женщины сейчас очень далеки от меня. Часто мне кажется, что судьба готовит мне одинокую жизнь — вместе с моей работой, которой всё отдано. <...> Я буду рад встретиться с тобой когда-нибудь потом, — когда мы будем только друзьями.

Прощай. Коля».

Что произошло и произошло ли что-нибудь вообще, непонятно.

Никита Заболоцкий объясняет это новыми сомнениями Николая Алексеевича в целесообразности семейной жизни, которая может помешать творчеству. «К тому же, — пишет он об отце, — бывая в домах своих друзей, он встречал там интересных женщин, и порой они нравились ему. И хотя эти увлечения были несерьёзны и ни к чему не обязывали, он считал, что интерес к женщинам неприличен для женатого человека».

Это похоже на правду. Заболоцкий по цельности натуры и максимализму не признавал никаких отклонений от абсолюта чистоты и верности — однако был и влюбчив, увлекался, как всякий поэт. Вероятно, он и в себе ненавидел это непостоянство (в чём оно выражалось, можно только догадываться) и не прощал себя. Быть нечестным к той, которую любил, он не хотел — и потому рубил сплеча.

...Тут уместно хоть немного разобраться в той, довольно тёмной, истории его отношений с Александром Введенским. Их молодая хорошая дружба и даже душевная близость на рубеже 1930-х вдруг разладились. Мемуаристы не очень проясняют, какая же кошка пробежала между поэтами; вероятно, никто толком так ничего и не понял. Некоторые исследователи считают, что поэты разошлись мировоззренчески: Введенский шёл к Богу, и потому рационалист, прогрессист Заболоцкий его всё больше раздражал. Расходились они и во взглядах на текущую политику: Введенский был к ней с оттенком презрения равнодушен, тогда как Заболоцкий явно надеялся, что революция разбудит созидательные силы коллективного разума и устроит мир на справедливых началах. Конечно, дело было не только в разнице взглядов и мировоззрений. Даниил Хармс был примерно таких же убеждений, как Введенский, но с Николаем-то они не рассорились. Тут замешалось что-то ещё, скорее всего, личное...

Известна эпиграмма Заболоцкого на Введенского, хоть она и мало что объясняет по существу.

## РАЗДРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ВВЕДЕНСКОГО

Ты что же это, дьявол,  
живёшь, как готтентот,  
ужель не знаешь правил —  
как жить наоборот?

Кто такие готтентоты и как они жили? В народном творчестве этого южноафриканского племени люди ещё очень близки к животным...

Их общие друзья по-разному объясняли этот разрыв. Липавский видел причину в том, что Заболоцкому претило безответственное «краснобайство» Введенского. Друскин же многие годы спустя поведал о том, что Заболоцкий случайно услышал телефонный разговор Введенского с какой-то дамой, и он показался ему в моральном смысле неприемлемым. Мгновенное отвращение — это правдоподобно.

Коль скоро Заболоцкий не выносил такое, можно легко представить, как он был нетерпим и к самому себе, когда замечал даже намёк на нечто подобное...

Однако тот решительный, категоричный отказ Кате Клыковой вскоре был изрядно смягчён. В письме от 29 октября 1929 года Николай пишет:

«Катюша, получил письмо. Ты просишь многого. Конечно, я не учитель жизни. Наверное, когда-нибудь буду им, когда отвердею. Но пока — нет. <...>

Не надо говорить о львах-сердцеедах. Конечно, я менее, чем кто-либо другой, гожусь для этой роли. По существу, я веду очень одинокую жизнь, и до этой жизни нет никому дела. До стихов есть дело, а до меня — нет. Да я и не в претензии: того и заслуживаю. Искусство похоже на монастырь, где людей любят абстрактно. Ну, и люди относятся к монахам так же, и, несмотря на это, монахи остаются монахами, т. е. праведниками. Стоит Симеон Столпник на своём столбе, а люди ходят и видом его самих себя — бедных, жизнью истерзанных, — утешают. Искусство — не жизнь. Мир особый. У него свои законы, и не надо их бранить за то, что они не помогают нам варить суп.

Изолированный от искусства — я — человек неполный и плохой. Очень многие из мужчин, мне знакомых, относятся к людям внимательнее и сердечнее, чем я. За всю мою жизнь ни одна женщина не была счастлива со мной. Дома говорили, что я — себялюб и груб. Я же думаю, что чувства, в недостатке которых меня упрекают, просто переключились во мне и идут по другой дороге».



Далее он участливо расспрашивает Катю о жизни и работе, уверяя, что он хорошо — как только может — относится к ней. И посылает ей новые стихи: «Почитай от скуки. За них меня похваляют — как ты найдёшь? <...> Может быть, эти стишки и тебе к настроению придутся».

А послал он — знаменитую впоследствии фантасмагорическую колыбельную «Меркнут знаки Зодиака...».

В канун 1930 года Заболоцкий переехал из своей комнатёнки на Конной улице в большую комнату на Большой Пушкинской. Хозяйку уверил, что жениться пока не собирается.

Но 30 января появился в дом, где Катя Клыкова квартировала у родни, — и забрал её и немногие её вещи к себе.

Вскоре к ним в гости пришли его друзья: Хармс, Шварц и Олейников.

В дневнике Евгения Львовича Шварца осталась запись об этом событии:

«Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Тёмное платье. Худенькая. Глаза тёмные. И очень простая. И очень скромная».

И самое поразительное:

«Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всём длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали».

То, что молчал Хармс, было вполне естественным: Даниил был по натуре деликатен, — а вот что Олейников не молвил ни слова, было удивительным: он-то открыто издевался и глумился над всяким, не щадя и друзей. Так, например, Заболоцкого, стихи которого ему нравились, прозвал Фомой Опискиным — за то, объяснял Николай Степанов, что Заболоцкий не только повсюду внедрял порядок, но и настойчиво отстаивал свою правоту. (Фома Опискин у Достоевского в «Селе Степанчикове» — ещё и показной праведник, тиран...) Впрочем, другим от ядовитого язычка Николая Макаровича доставалось куда как больше, чем поэту. Недаром Маршак, одна из главных его «жертв», как-то огрызнулся эпиграммой: «Берегись Николая Олейникова, / Чей девиз: никогда не жалей никого».

Как-то после пришли к Заболоцким Каверин, Степанов и Гофман — по-семейному, с жёнами. Видно, появились неожиданно: молодым их нечем было угощать, и хозяин дома срочно побежал в магазин...

А потом однажды заглянул Введенский: был тих, в добром расположении духа, поцеловал молодой жене руку... Он явно пытался восстановить хорошие отношения с Заболоцким — но ничего не вышло,

Николай так с ним и не помирился...

## **Глава двенадцатая**

# **ЗНАКИ ЗОДИАКА**

## Колыбельная бездны

В 1929 году, после выхода «Столбцов» или около этого, у Заболоцкого в новых стихах вдруг появляются колыбельные мотивы. Вроде бы знакомые, но весьма странные — словно бы напетые потусторонними голосами. Детского в них — только магическая важность сказки и теплота интонации. А содержание... На земле смерть в образе искусителя-смеха — *чёрного смеха* — смеётся над мёртвыми и живыми; на небе сборище чудовищ и уродцев устраивает сатанинский шабаш.

Фантастические картины с завораживающей лёгкостью и непринуждённостью укладываются в размер четырёхстопного хорея — самого что ни на есть *детского* размера, излюбленную метрическую форму сказок, загадок, считалок, колыбельных песенок...

Речь о двух стихотворениях, написанных, по-видимому, друг за другом: «Искушение» и «Меркнул знаки Зодиака...».

В «Искушении» смерть мало того что насмехается над усопшей девой, мстя ей за что-то, но и соблазняет её — разумеется, понарошку — новой жизнью:

Холмик во поле стоит,  
дева в холмике шумит:  
«Тяжело лежать во гробе,  
почернели ручки обе,  
стали волосы как пыль,  
из грудей растёт ковыль.  
Тяжело лежать в могиле,  
губки тоненькие сгнили,  
вместо глазок — два кружка,  
нету милого дружка!»

Смерть над холмиком летает  
и хохочет, и грустит,  
из ружья в него стреляет  
и тихонько говорит:  
«Ну, малютка, полно врать,  
полно глотку в гробе драть, —  
мир над миром существует,

вылетай из гроба прочь!  
Слышишь — ветер в поле дует,  
наступает снова ночь.  
Караваны сонных звёзд  
льются сверху, словно слизь.  
Кончен твой подземный пост.  
Ну, попробуй, поднимись!»

Жуть могильного и поднебесного сменяется жутью земной:

Дева ручками взмахнула,  
не поверила ушам,  
доску вышибла, вспрыгнула,  
хлоп! — и лопнула по швам.  
И течёт, течёт бедняжка  
в виде маленьких кишок,  
где была её рубашка,  
там остался порошок.  
Изо всех отверстий тела  
червяки глядят несмело,  
вроде маленьких малют  
жидкость розовую пьют.

Была дева — стали щи... <...>

Далее в эту inferнальную колыбельную — с ещё большей теплотой и, возможно, с тайным глумлением — вплетается напев самого сказочника: он заговаривает смех и уверяет девицу: только встанет солнце — и она мигом воскреснет. Но как?..

Над омерзительной картиной разложения брэнной плоти вдруг звучит напев в духе русской народной песни:

Из берцовой из кости  
будет деревце расти,  
будет деревце шуметь,  
про девицу песни петь,  
про девицу песни петь,

сладким голосом звенеть:  
«Баю-баюшки-баю,  
баю девочку мою!

Ветер в поле улетел,  
месяц в небе побелел.  
Мужики по избам спят,  
у них много есть котят.  
А у каждого кота  
были красны ворота,  
шубки синеньки у них,  
все в сапожках золотых,  
все в сапожках золотых —  
очень, очень дорогих...»

Та же примерно история повторяется и во второй части стихотворения — только теперь речь о мужике-калеке...

*Перерождение* отжившего тела — вот что обещает природа, заговорившая голосом автора. И того же самого перерождения то ли требует, то ли просит у природы сам умерший человек:

Смерть, не трогай человека,  
не хули прекрасный свет <...>

Он томится в «каземате природы» и «заступом долбит» тюремные стены небытия. Ему чуждается *кто-то*, тихими шагами приближающийся — не иначе затем, чтобы его спасти:

«Друг далёкий, друг прекрасный,  
зову пленника внеми:  
пусть рассыпется ужасный  
каземат моей земли.  
Всё, что скрыто, позабыто,  
недоступно никому,  
пусть появится открыто  
удивлённому уму.

И над трупом всей природы,  
над могилой жития  
человек — дитя свободы —  
бросит заступ бытия».

Заболоцкий, похоже, убеждён, что человеческий ум способен одолеть природу и возродить прах к новой жизни. Всё это созвучно с *философией общего дела* — утопическим учением Николая Фёдорова о месте человека во Вселенной, о воскрешении всех почивших предков силой человеческого ума — разве только у Заболоцкого, в отличие от Фёдорова, ни намёка на религиозную основу этого *общего дела*.

...Кстати говоря, Александр Введенский тут же откликнулся на «Искушение» стихотворением «Всё», посвятив его Николаю Заболоцкому. Оно написано бойким четырёхстопным ямбом и в насмешливом тоне. Несмотря на пародийный дурашливый сюжет, стихотворению Введенского, как всегда у него, присуща какая-то запредельная важность содержания: пожалуй, это сама тайна смерти, которую он пытается выразить в слове. В отличие от Заболоцкого он понимает кончину как метафизический акт...

Но ещё более страшная и загадочная и при этом совершенно завораживающая колыбельная — «Меркнут знаки Зодиака...». Это стихотворение написано, быть может, не столько для читателя (разумеется, взрослого), сколько для себя.

Магию этих стихов все ощутили сразу же; не утрачена она и поныне.

Вениамин Каверин, отметив любовь поэта к Анри Руссо и Пиросмани, говорит, что стихи Заболоцкого лишь внешне похожи на полотна художников-примитивистов, а главное в его творчестве — «выходы» в иное поэтическое сознание, связанные со способностью видеть мир глазами ребёнка. «Без зоркости детского зрения, сопровождавшего его всю жизнь, они (стихи. — В. М.) не могли бы состояться. Знаменитое стихотворение „Меркнут знаки Зодиака...“ построено на детском отношении к простейшим существам и предметам. <...> Это — колыбельная, в которой за голосом, укачивающим ребёнка, чувствуется уходящее в сон детское сознание. <...> Но самоуспокоение только чудится, и детская колыбельная вдруг превращается в нравственный самоотчёт».

Наталия Роскина начинает свой мемуарный очерк с признания: «Всю молодость я бормотала себе и своей дочери „Знаки Зодиака“. „Меркнут знаки Зодиака над просторами полей... Спит животное Собака, дремлет птица Воробей...“ Автор этих стихов был для меня фигурой нереальной. Я

никогда ничего не слышала о нём лично. Он казался сгинувшим, ушедшим в небытие, — так же как и Олейников. „Страшно жить на этом свете, в нём отсутствует уют... Ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут“. Что-то я знала о Хармсе, Введенском. Целая поэтическая струя в новой литературе, стихи, полные ума, таланта и мрачного блестящего юмора — всё оказалось подрезано. То ли есть, то ли нет. Есть, да не прочесть»...

Но вернёмся к стихотворению...

Пока тускнеют в небе знаки зодиака — символические знаки человеческой судьбы — уснуть предлагается ни много ни мало — под созерцание, настоящее или воображаемое, поднебесного сатанинского бала:

Толстозадые русалки  
улетают прямо в небо, —  
руки крепкие как палки,  
груди круглые как репа.  
Ведьма, сев на треугольник,  
превращается в дымок,  
с лешачихами покойник  
стройно пляшет кекуок.  
Вслед за ними бледным хором  
ловят Муху колдуны,  
и стоит над косогором  
неподвижный лик луны.  
Меркнут знаки Зодиака  
над постройками села,  
спит животное Собака,  
дремлет рыба Камбала.  
Колотушка тук-тук-тук,  
спит животное Паук,  
спит Корова, Муха спит,  
над землёй луна висит.  
Над землёй большая плошка  
опрокинутой воды.  
Леший вытащил бревёшко  
из мохнатой бороды,  
из-за облака сирена  
ножку выставила вниз,  
людоед у джентльмена



неприличное отгрыз.  
Всё смешалось в общем танце,  
и летят во все концы  
гамадрилы и британцы,  
ведьмы, блохи, мертвецы.

Н-да, чем не успокоительное, не смиряющее, не умиротворяющее!..  
Под такое-то, конечно же, вмиг уснёшь...

И снова, как и в «Искушении», откуда ни возмись, возникает то ли голос рассказчика-сказочника, то ли автора. Он, этот голос, возвращает к действительности, вернее — соотносит фантастические видения с тем, что происходит на земле, в настоящей жизни, хоть и никак о ней — в подробностях — не говорит:

Кандидат былых столетий,  
полководец новых лет —  
Разум мой! Уродцы эти —  
только вымысел и бред.  
Только вымысел, мечтанье,  
сонной мысли колыханье,  
безутешное страданье  
то, чего на свете нет...

Высока земли обитель.  
Поздно, поздно. Спать пора.  
Разум, бедный мой воитель,  
ты заснул бы до утра.  
Что сомненья? Что тревоги?  
День прошёл, и мы с тобой —  
полузвери, полубоги —  
засыпаем на пороге  
новой жизни трудовой. <...>

Что в действительной жизни на земле? — Страдания, сомнения, тревоги... И *новая трудовая жизнь* — если всерьёз понимать это избитое клише советских газет.

Эти стихи — будто колдовское заклинание. Они окутывают сознание

— и читателя и своё, авторское — завораживающим меркнувшим колыханием поднебесного света, внушая невыразимую прямым словом истину о покое в мире беспокойном, о целительном сне в страшной, приносящей страдание яви.

Филолог Александр Жолковский в большой статье «Загадки „Знаков Зодиака“» подробнейшим образом исследовал сложные связи колыбельной Заболоцкого с другими подобными колыбельными — «самому себе» (Афанасия Фета, Фёдора Сологуба), а также с иным исходным поэтическим «материалом» — и пришёл к интересным заключениям. По его мнению, Заболоцкий — «по стопам Случевского и Сологуба — передоверяет свой авторитетный лирический голос некой иррациональной инстанции. Эффект усилен тем, что, хотя приметы колыбельного жанра задаются... с самого начала... однако прямая адресация на ты (к убаюкиваемому) и ключевые маркеры („спать пора. <...> / Засыпай скорей и ты!“) появляются лишь в ходе диалога с „бедным разумом“. Этот массивный структурный удар по разуму представляет собой самую оригинальную находку МЗЗ (стихотворение „Меркнули знаки Зодиака...“. — В. М.), смелую, но опирающуюся на свойства жанра и его эволюцию. Гротескно обращая классическую пушкинскую формулу

Да здравствуют музы, да здравствует разум!  
Ты, солнце святое, гори!  
Как эта лампада бледнеет  
Пред ясным восходом зари,  
Так ложная мудрость мерцает и тлеет  
Пред солнцем бессмертным ума,  
Да здравствует солнце, да скроется тьма! —

а, вернее — симметричную ей гойевскую („Сон разума порождает чудовищ“, 1797), Заболоцкий, в сущности, констатирует, что единственной возможной реакцией на шабаш чудовищ является усыпление разума».

Вывод Александра Жолковского таков:

«Как я попытался показать, интертекстуальная клавиатура МЗЗ представляет собой виртуозный коллаж пёстрого множества дискурсов: фольклорных и литературных, живописных и джазовых, поэтических и прозаических, классических и гротескных, романтических и декадентских, традиционных и современных, „высоких“ и „низких“. Может быть, именно благодаря этому стихотворение было обречено на мгновенный и

непреходящий успех».

Всё это, конечно, так и есть. Но *коллаж*, как бы сложен и виртуозен он ни был, — всё-таки «постройка», продукт сознания, мастерства. Поэзия же — нечто большее...

Поэт, признавался Николай Заболоцкий, работает всем своим существом. *Всем* — которого и сам не может до конца постичь. И своими шедеврами поэт обязан в первую очередь отнюдь не сознанию, не уму и даже не разуму — а наитию, инстинкту, интуиции. В самом слове «вдохновение» запечатлены: дыхание, вдох-выдох, воздух, дух, — они и одухотворяют строки, и живут в них.

Такие стихи, как «Меркнут знаки Зодиака...», выплёскиваются ещё и поэтическими глубинами, океаном подсознания. В них поэт постигает, что же по-настоящему творится в жизни, предчувствует будущее.

Душа будто бы заранее готовит его к тем испытаниям, которых не избежать.

## «Торжество земледелия»

Книгу «Столбцы», пожалуй, можно читать как *поэму* — поэму в стихотворениях (есть же романы в рассказах): все *столбцы* внутренне связаны — «сшиты» — между собой множеством заметных и почти незаметных связей, нитей. У молодого Заболоцкого явно был эпический замах, точнее — эпическое начало. Оно и подвигло его на создание «Столбцов». По мере осуществления замысла это начало окрепло и утвердилось. Естественным образом, дробность мозаики уже не устраивала поэта. Следующим этапом должна была непременно стать полнокровная поэма.

Тема, что называется, не заставила себя ждать.

Летом 1928 года Николай побывал на родине, в Вятке, где у брата жил отец, Алексей Агафонович. В последний раз он видел отца — постаревшего, больного. Возможно, и беседовал с ним, уже немощным, если тому было по силам разговаривать. И, конечно, невольно перебирал в памяти сернурские картины: как бородатый могучий агроном, показывая дремучим крестьянам-гостям свои полянки, пытался просветить упрямый и неговорчивый мир. Вечный разум в лице отца боролся с вечной же крестьянской косностью — впрочем, без особого толку. А редкие досужие отцовские разглагольствования о *вечном* и *бесконечном*: домашних они тогда раздражали, но только не мальчика Кольку, который чувствовал, слушая отца, непонятное волнение. Это были мечтательные рассказы о мудром устройении земли и неба, о человеке — венце природы, которому суждено понять земное и небесное — и переделать жизнь по-разумному.

Земляное, крестьянское проснулось в поэте — и то горделивое и в то же время благодарное чувство, которое внушал ему в детстве отец, никому не известный за пределами своего села учёный-самоучка, преобразователь природы, до конца преданный делу мудрого обустройства земли и жизни.

В книге Никиты Заболоцкого есть замечательный эпизод, который ярче всех рассуждений говорит о том, что исподволь зрело тогда в душе молодого поэта:

«Летом 1928 года Заболоцкий продолжал встречаться с Катей Клыковой — приходил к ней на Большую Пушкарскую, читал стихи. Катин дядя и его жена часто уезжали на свою загородную дачу (станция Сиверская), оставляя племяннице рубль на неделю, так что жить ей приходилось впроголодь. Заболоцкого она угощала чаем и самой

примитивной едой. Запомнилось ей, как в одну из встреч поставила перед собой белую фаянсовую миску с плавающей в воде очищенной морковью. Николай Алексеевич пришёл в восторг — ярко-оранжевая морковь была не только вкусна, но и очень красива. Не тогда ли, особенно отчётливо представив себе живую сущность растений, задумал он вскоре написанное стихотворение „Обед“?»

Это стихотворение, как и колыбельные мотивы в «Искушении» и «Знаках Зодиака» — предтечи нового этапа в творчестве Заболоцкого.

«Обед» написан с той же предельно трезвой беспощадной зоркостью, что свойственна всем *столбцам*: автор видит *смерть* в любой её земной личине, не отводя глаз от физиологически неприятных вещей. Но в то же время он простодушно, с какой-то языческой сердечностью сочувствует всякому живому растительному существу, тем более что оно безгласно, бессловесно:

Мы разогнём усталые тела.  
Прекрасный вечер тает за окошком.  
Приготовление пищи так приятно —  
кровавое искусство жить!

Картофелины мечутся в кастрюльке,  
головками младенческими шевеля,  
багровым слизняком повисло мясо,  
тяжёлое и липкое, едва  
его глотает бледная вода —  
полощет медленно и тихо розовеет,  
и мясо расправляется в длину  
и — обнажённое — идёт ко дну.

Вот луковицы выбегают,  
скрипят прозрачной скорлупой  
и вдруг, вывёртываясь из неё,  
прекрасной наготой блистают;  
тут шевелится толстая морковь,  
кружками падая на блюдо,  
там прячется лукавый сельдерей  
в коронки тонкие кудрей,  
и репа твёрдой выструганной грудью  
качается атланта тяжелей.

Прекрасный вечер тает за окном,  
но овощи блистают словно днём.  
Их соберём спокойными руками,  
омоем бледною водой,  
они согреются в ладонях  
и медленно опустятся ко дну.  
И вспыхнет примус венчиком звенящим —  
коротконогий карлик домовой.

И это — смерть. Когда б видали мы  
не эти площади, не эти стены,  
а недра тепловатые земель,  
согретые весеннею истомой;

когда б мы видели в сиянии лучей  
блаженное младенчество растений, —  
мы, верно б, опустились на колени  
перед кипящею кастрюлькой овощей.  
(1929)

Светлая патетика последних двух четверостиший, которая начисто отсутствует в «Столбцах», лучше всего свидетельствует о том неприкрытом волнении, что испытывает Заболоцкий на подступах к поэме «Торжество земледелия».

Наброски поэмы — в виде трёх «Ночных бесед» — появились уже в начале 1929 года, как раз тогда, когда выходила в свет его первая книга. Первая «Ночная беседа» датирована февралём 1929 года, вторая — написана 3 марта, под третьей — даты нет, но год тот же — 1929-й.

Первые две беседы стали начальными главами поэмы. Остальные пять глав были написаны в течение 1929–1930 годов. Сохранился листок, на котором Николай Алексеевич пометил даты, когда он окончил пролог и семь глав поэмы, а начинается запись со строки: «Статья в *Правде* июль 33 г.» — рецензии, в которой главная газета страны «громила» его поэму.

Литературоведы, в попытке понять, откуда взялось пышное название поэмы, вспоминают написанную в XIX веке книгу Тимофея Бондарева «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство». Но *торжествовать*-то ни в прошлом веке, ни тем более в конце 1920-х годов

особого повода у русского земледельца не было. Стране «Колхозии», о которой собирался, да так и не собрался сочинить для детей новые сказки будущий *всесоюзный дедушка Чукоша*, до торжеств было как до неба. Крестьян не только ободрали как липку, уничтожив и сослав в тундры и пустыни лучших из них, но и обрекли на рабский труд. Тех, кто уцелел в сплошной коллективизации и остался дома, закрепили почище, чем во времена крепостного права: паспортов, а значит, и свободы передвижения и выбора места жизни, колхозники не знали чуть ли не до 1960-х годов.

В начале 1929 года, задумывая большую современную поэму, Николай Заболоцкий, конечно, ничего этого знать не мог. Он — по-своему, памятуя, как тяжело бились за урожай сернурские мужики на своих крохотных участках, — был воодушевлён государственной идеей совместного крестьянского труда на земле, тем паче что мужикам должны были прийти на помощь машины и передовые технологии. Поэт наверняка следил за газетами: исследователи его творчества нашли, что «хронология создания поэмы сложным образом пересекается с хронологией установочных документов власти». А эти установки в первую очередь содержались в статьях вождя, товарища Сталина. (Статья «Год великого перелома» недаром появилась в «Правде» 7 ноября 1929 года — в годовщину Октября: Сталин давал знать, что *революция продолжается*, — он и потом публично приравнивал коллективизацию к *Великому Октябрю*. В 1917 году большевики взяли власть в стране — в 1929–1933-м — покорили народ, иначе — крестьян в крестьянской стране... 2 марта 1930 года там же вышла не менее известная сталинская статья «Головокружение от успехов», в которой он журил активистов за «перегибы на местах». Потом были и другие *установки*...) Заболоцкий мог проследивать, и наверняка знал, парадную поступь *обобществления* — но вряд ли ведал изнанку дела: перегибы оказались цветочками — волчьи ягоды поспели позже...

Откуда они, питерские жители, вообще могли узнать о том, что на самом деле творится в крестьянской России? О правде можно было лишь догадываться — по лающим, как овчарки, и лязгающим, как винтовочные затворы, лозунгам газет да по тёмным слухам, по глухому народному ропоту, что разносили в Ленинграде домработницы досужих горожанок — обездоленные деревенские бабы, за кусок хлеба нанимавшиеся в квартиры.

Но Заболоцкий как поэт жил не злобой дня — а своими воспоминаниями, мечтами и воображением.

Он был убеждён: жизнь на земле следует преобразовать на разумных началах. Ведь что может увидеть мужик из своего окошка?

Тут природа вся валялась  
в страшно диком беспорядке. <...>

*Беспорядка* не терпел ни отец-агроном, ни сын-стихотворец.  
Отец улучшал, как мог, обработку земли; и сын вторит ему — только  
видит перед собой сказку:

Идёт медведь продолговатый  
как-то поздним вечерком.  
А над ним на небе тихом  
безобразный и большой  
журавель летает, с гиком  
потрясая головой.  
Из клюва развивался свиток,  
где было сказано: «Убыток  
дают трёхпольные труды».  
Мужик гладил конец бороды.  
Задумался, стало быть...

Рассуждения крестьян о душе, о жизни и смерти в первой главе поэмы  
— явно воспоминание о детстве в Сернуре, о тех вечерних посиделках *на*  
*брёвнях* и мужичьих толковищах, которые невзначай подслушал  
любопытный малец Колька Заболотский... Крестьяне, обутые «в  
большие валенки судьбы», степенно рассуждают о природе, как она «...  
мучит, превращает в старика»; о душе почившего человека, что «...  
пресветлой ручкой машет нам издалека, её тело — словно тучка, платье  
вроде как река». «Тёмных» мужиков вразумляет *солдат*: он уж повидал  
мир, навоевался, и хотя «никогда не знал молитвы», нахватался ума-разума.  
А теперь решил: пора перевернуть деревню, переделать её заново:

«...Уверяю вас, друзья:  
природа ничего не понимает  
и ей довериться нельзя <...>».

Животные, «сидящие» в хлеву, *бык* и *конь*, «душой природы овладев»,  
тоже толкуют — но уже о своих вековых животных страданиях в



рабстве у человека. Они разумны по-своему: *бык* ощущает на себе «сознания печать», тоскует о скорой гибели; *конь* заявляет:

«...В моём черепе продолговатом  
мозг лежит как длинный студень.  
В моём домике покатом  
он совсем не жалкий трутень.  
Люди! Вы напрасно думаете,  
что я думать не умею <...>».

Среди людского племени животные нашли только одного человека, который понимает эти страдания — и «прекрасно-глупо» примиряет «мир животный с небесами». *Бык* не знает, как его имя, помнит лишь, что это создатель «Досок Судеб» (то есть Велимир Хлебников) — но он отпал от века, зарытый «в новгородский ил». И только память о нём жива, ведь он

«...прекрасный образ человека  
в душе природы сохранил».

Яркими, хотя и шаблонными, мазками (сундуки, монеты, молитвы) Заболоцкий рисует образ кулака, битву солдата с душами предков. И становится всё очевидней, что перед нами искусный лубок, утопия, где прошлое смешалось с настоящим, фантастика — с действительностью, игра воображения — с мечтой.

В главе «Начало науки» не сам ли уже автор напрямую провозглашает здравицу новой сельской яви (хотя, впрочем, приветствие это и содержит изрядную долю сомнения):

Слава миру, мир земле,  
меч владыкам и богатым!  
Утро вынесло в руке  
возрожденья красный атом.  
Красный атом возрожденья,  
жизни огненный фонарь,  
на земле его движение  
разливает киноварь.  
Встали люди и коровы,

встали кони и волы,  
вон — солдат идёт багровый  
от сапог до головы.  
Посреди большого стада  
кто он — демон или бог?  
И звезда его крылата  
блещет словно носорог.

Мечтам *солдата*, по-видимому, также достались заветные мысли Заболоцкого, — они о *сознательном* единении людей с миром природы — животными и растениями:

...Над Лошадиным институтом  
вставала стройная луна,  
научный отдых дан посудам  
и близок час веретена.  
Осёл, товарищем ведом,  
приходит, голоден и хром,  
его, как мальчика, питают,  
ума растение развивают.  
Здесь учат бабочек труду,  
ужу дают урок науки,  
как делать пряжу и слюду,  
как шить перчатки или брюки.  
Здесь волк с железным микроскопом  
звезду вечернюю поёт,  
здесь конь с капустой и укропом  
беседы длинные ведёт.  
И хоры стройные людей,  
покинув пастбища эфира,  
спускаются на стогны мира  
отведать пищи лебедей.

(Откуда в поэме появился этот герой — *солдат*, проводник нового, передового? Понятно, он олицетворяет активистов из города, «двадцатитысячников», мобилизованных и призванных из города, из рабочей среды для проведения на селе коллективизации. Но и к личности

самого Заболоцкого он, кажется, имеет отношение, недаром поэт доверил ему «озвучить» некоторые свои натурфилософские мысли. «Солдат Дуганов» — один из псевдонимов поэта в детских изданиях «Ёж» и «Чиж»; к тому же Николай после службы в армии, за неимением другой одежды, одно время носил *солдатское*: шинель, гимнастёрку, ботинки...)

В главе «Младенец — мир» борец с мотыгой и сохой *тракторист* политически грамотно провозглашает новый век на селе — чуть не словами тогдашнего гимна — «Интернационала»:

Мы же новый мир устроим  
с новым солнцем и травой.

И вот, наконец, наступает само *торжество земледелия*: машинный рай, довольные крестьяне в разнообразных трудах... *Солдат* славит «равноденствие машин, <...> ...добрые науки и колхозы-города», а потом, «подняв фиал» с пивом, пьёт «для утоленья», ведь он сделал всё, что нужно.

Отныне

председатель многополья  
и природы коновал,  
он военное дрекольё  
на серпы перековал.

То бишь — *перековал мечи на орала*.

И тяжёлые, как дома,  
закачались у межи,  
медным трактором ведомы,  
колесницы крепкой ржи.

Может, где-то обобществление и пошло на пользу крестьянам, но далеко не везде. В действительной колхозной жизни было не так, как в поэме у Заболоцкого, а совсем наоборот: вместо братания с животными резали в отчаянии скот или же он, согнанный в общие стойла, погибал от истощения без хозяйского присмотра. А «у межи» вскоре закачались

опухшие от голода люди, собирая по весне гнилые зёрна, за что бедолаг ещё и судили по новому закону о пяти колосках...

Но вернёмся к финалу *торжества земледелия*: деревянную соху глодают черви, на её останках вырос унылый лопух. В колхозе же — благоденствие:

Крестьяне, сытно закусив,  
газеты умные читают,  
тот — бреет бороду, красив,  
а этот — буквы составляет.  
Младенцы в глиняные дудки  
дудят, размазывая грязь,  
и вечер цвета забывудки  
плывёт по воздуху, смеясь.

...Но не издёвка ли вся эта благодная картина?

Или всё — всерьёз?..

Ответить не просто. Сам поэт дал некоторые объяснения (о них позже), когда *каялся за грехи* после оголтелой критики поэмы в центральной печати, — но эти речи предназначались опять-таки для печати и к тому же были заботливо отредактированы его осторожным другом Николаем Степановым, который всячески хотел уберечь Заболоцкого и сохранить его для литературы.

Приведём мнение современного исследователя литературы Валерия Шубинского, автора биографии Хармса «Жизнь человека на ветру», которое напрямую касается поэмы «Торжество земледелия»:

«Жанр романтической мистерики, восходящей ко второй части „Фауста“, вполне соответствовал утопически-натурфилософским интересам Заболоцкого. Именно в эти годы он зачитывается философскими брошюрами Циолковского и вступает в переписку с их престарелым автором. При этом собственно технические идеи калужского самородка ему были мало интересны — он и не мог бы их, видимо, понять. <...>

Мысли Заболоцкого об очеловечивании и просветлении природы вызывали у его друзей лишь ироническую реакцию. Несомненно, отец, который „учит грамоте коров“, из хармсовского стихотворения „Он и мельница“, — беззлобная шутка в адрес друга. Более углубленный характер носил диалог и спор Заболоцкого и Введенского. На рубеже тридцатых (по свидетельству Друскина, которого в данном случае трудно заподозрить в

пристрастности) Введенский был особенно близок именно с Заболоцким. Но тесная дружба двух великих поэтов закончилась разрывом, связанным в том числе и с мировоззренческими различиями. Некоторые литературоведы видят прямую полемику с рационалистическим, прогрессистским мировосприятием Заболоцкого в поэме Введенского „Кругом возможно Бог“. Если герой Заболоцкого, Солдат, ведёт спор с Предками, воплощающими дурное постоянство природного, физиологически-самодостаточного мира, то „сумасшедший царь Фомин“, герой мистерии Введенского, в своём посмертном путешествии насквозь проходящий через время, спорит с Народами, которые знают, что „человек есть начальник Бога“, что

над землёю звёзды есть  
с химическим составом,  
они покорны нашим уставам,  
в кружении небес находят долг и честь.

Ответ Фомина полон сарказма:

Господа, господа,  
все предметы, всякий камень,  
птицы, рыбы, стул и пламень,  
горы, яблоки, вода,  
брат, жена, отец и лев,  
руки, тысячи и лица,  
войну, и хижину, и гнев,  
дыхание горизонтальных рек  
занёс в свои таблицы  
неуёмный человек.  
Если создан стул, то зачем?  
Затем, что я на нём сижу и мясо ем.  
Если сделана мановением руки река,  
Мы полагаем, что сделана она для наполнения  
нашего мочевого пузыря...  
...Господа, господа,  
а вот перед вами течёт вода,  
она рисует сама по себе.

Мир вещей, которые существуют „сами по себе“, „как линии в бездне“, вне всякой внешней цели, — вот единственный возможный источник спасения, но человечество, пойдя по рационалистическому, прагматическому пути, закрыло его для себя. Таков ответ Введенского — наследника Руссо и романтиков — Заболоцкому — наследнику Вольтера и Гёте. Спор был связан, конечно, и с политикой. „Торжество земледелия“ не случайно посвящено коллективизации. Разумеется, Заболоцкий, выбирая тему, думал и о публикационных перспективах, но для него обращение к подобным сюжетам не было проявлением „конформизма“ и не требовало какого бы то ни было насилия над собой. Он искренне сочувствовал революции, сочувствовал преобразованию мира на основе разума и коллективизма. Введенскому всё это было по меньшей мере чуждо.

Хармс в этом идейном споре был всецело на стороне Введенского».

Наверное, Заболоцкий в самом деле верил, что коллективный труд преобразует село. Только, начиная поэму, он, конечно, не предполагал, что коллективизация по методам и скорости сразу же станет *зверской*. Да и что он знал о тогдашней деревне? Лишь редкие обрывочные сведения доходили до него от родных, впрочем, уже перебравшихся в областной город Вятку. Заметим также, что «городские» поэты не утруждали себя, сочиняя что-либо о сельской жизни. (Примером высокомерного хамства и снисходительного панибратства может служить стишок Маяковского о селянах из поэмы «Хорошо»: «Сидят папаши, *Каждый хитр*: Землю попашет, / Попишет стихи».)

Надвигающуюся с коллективизацией трагедию, народную беду — Заболоцкий не почуял. Его занимало другое: литература, будущее разумное устройство жизни и мира, натурфилософия...

Странно же смотрелась эта «романтическая мистерия», или, проще говоря, стихотворный лубок на фоне реальных событий. Сама по себе поэма-то — как художественное произведение — отнюдь не плоха: крепко сделана, нова, свежа, озорна, — но есть же ещё и правда жизни...

А может, Заболоцкий и впоследствии не понял, что за беда случилась в 1931–1933 годах?.. (По крайней мере больше к этой теме он не возвращался.)

И вообще, знал ли правду?

В народе ведь тогда сочиняли другое — и куда как короче. То какую-нибудь горькую частушку запустят, вроде:

Мы в колхозе работáли,  
Да и доколхозились:

Было двадцать пять лошадок,  
Двадцать — уелозились.

То ещё короче — в четыре слова вместив ту самую правду жизни,  
которой начисто нет в поэме:

Серп и молот —  
Смерть и голод.

Единственное свидетельство о том, знал ли поэт что-либо по существу этой народной трагедии, загубившей почём зря миллионы крестьян, удалось отыскать лишь в книге Никиты Заболоцкого:

«При встречах друзей обойти в разговорах политические темы *не всегда удавалось*. Как-то в начале 1933 года к Заболоцкому пришёл Олейников и стал взволнованно говорить о положении в стране, о голоде на Украине и юге России, об отчаянном положении крестьян. Выходец из казаков, член партии, участник Гражданской войны, он лучше его друзей разбирался в событиях и теперь не мог сдержать свойственного ему яда и скептицизма. (Вообще-то тут скорее речь должна была бы идти не о „яде и скептицизме“, которые Олейников никогда и не сдерживал, а о человеческой, гражданской боли. — В. М.) Это была *опасная тема, которой лучше было не касаться*, чтобы не будоражить скрытые сомнения. Но на этот раз была веская причина для разговора — Олейникова мобилизовали в продотряд, направляемый в деревни для изъятия у крестьян последних остатков хлеба, и он пришёл посоветоваться, как ему уклониться от участия в государственном грабеже. В конце концов после семидневного почти полного отказа от пищи он умело имитировал или вызвал подлинное обострение язвенной болезни и был забракован медицинской комиссией. Заболоцкий свято хранил тайну товарища и *лишь спустя много позже рассказал о случившемся жене — в ней он был уверен*».

Вот и всё...

Что же до поэмы «Торжество земледелия», так она не понадобилась ни мужикам на селе (которые её вряд ли читали), ни власти с её мамаевой агитпроповской ордой (эти-то прочли, но отвергли)...

## Травля

Поэма вышла не сразу. Сначала, в 1929 году, в журнале «Звезда» появились «Пролог» и седьмая глава — «Торжество земледелия». И только в мае 1933 года в том же журнале «Звезда» поэма была напечатана полностью.

Не обошлось без происшествий. Цензура вдруг задержала уже отпечатанную книжку журнала (несколько номеров успели разойтись) и потребовала исправить главу третью, где речь шла о кулаке. Заголовок «Изгнанник» был изменён на «Враг». (Почему бы сразу не — «Враг народа», да заодно и сопроводить сноской — «осуждён по 58-й статье»: политически зрелый читатель только бы порадовался.)

«Вскоре после выхода журнала Николай Алексеевич стал получать письма с отзывами о его поэме, — пишет Никита Заболоцкий. — Так, в записке, датированной 11 мая 1933 года, Б. М. Эйхенбаум писал: „Прочитал в ‘Звезде’ Ваши стихи — и должен выразить Вам свой восторг. ‘Торжество земледелия’ — это большое, монументальное искусство. Для меня это — Бах, как Рубенс, как Дюрер, как Шиллер отчасти“. (При чём тут глубоко религиозный Бах, а также Рубенс и Дюрер, малопонятно. — В. М.). <...>

Но не в добрый час были опубликованы стихи Заболоцкого. Не спасло их расформирование писательской организации РАПП, не помогло новое название главы „Враг“. Произведения Заболоцкого всегда оказывались как-то не ко времени. Страшный голод гулял по деревням и сёлам, только что организованные колхозы были на грани развала — а тут вдруг печатается поэма под издевательским, с точки зрения власти, названием „Торжество земледелия“, в которой проповедуются совершенно новые, непонятные пролетариату цели преобразования сельского хозяйства. (Заметим, победных реляций об успехах колхозов в печати было тогда столь много, что заголовок поэмы, разумеется, издевательским отнюдь не выглядел; другое дело — содержание поэмы. — В. М.) Критики искали в поэме классовую борьбу, партийное руководство строительством колхозов, победные рапорты об урожае, а находили жалобы быка и коня на их убогое существование, мечты о научной организации всей земной жизни и о воспитании разума животных. Поэт не ставил и не мог ставить перед собой цель отразить реальную трагедию насильственной коллективизации. (В то время, когда писалась поэма, насильственность коллективизации была ещё неочевидной, это стало явным позже, а сначала печать подавала кампанию



исключительно как добровольное объединение крестьян. — В. М.) А тем, кто писал о поэме, до реальности не было никакого дела, так же как и до натурфилософских концепций Заболоцкого».

Словом — началось!..

У литературных критиков Заболоцкий со «Столбцов» был на прицеле, но там его темой было «мещанство», политикам малоинтересное, здесь же — «великий перелом», важнейшая государственная кампания.

О. Бескин в «Литературной газете» (июль 1933 года) *бил*, ещё не слишком точно целясь, однако политические обвинения уже прозвучали:

«Стихи и поэмы Заболоцкого... являются иллюстрацией тяжелейшего вида хронической формалистической горячки. <...>

Эта идиллическая „философия“ Заболоцкого совсем не невинна. Эта бредовая идиллия объективно (хочет этого Заболоцкий или нет) *противопоставлена строительству социализма*, бесклассового общества, осуществляемому в обстановке напряжённейшей и многообразной классовой борьбы... <...> это не просто заумная чепуха, а *политически реакционная поповщина*, с которой солидаризируется на селе и кулак, а в литературе — Клюевы и Клычковы. <...>

Я не имею возможности в газетной статье остановиться на мистичности Заболоцкого, вполне естественном следствии его идеалистической настроенности, я прохожу мимо его любви к славянской архаике, демонстрирующей как бы нарочитый языковый уход от духа современности. Не могу я подробно остановиться и на специфической черте его поэтики — на примитивизме. <...>

Примитивность, чисто детский по своей обнажённости приём, является в нашей действительности весьма удобной формой протаскивания чужого мироощущения во всех родах искусств».

Залп на поражение ухнул из главной партийной газеты «Правда» (21 июля 1933 года): статья В. Ермилова называлась «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов» и вполне годилась для обвинительного заключения в уголовном деле:

«А нового в поэзии Заболоцкого столько же, сколько в любом старом-престаром буржуазном пасквиле на социализм. Его поэма „Торжество земледелия“, напечатанная в № 2–3 ленинградского журнала „Звезда“, и является самым ординарным *пасквилем на коллективизацию сельского хозяйства*».



***Шарж на Николая Заболоцкого, автора поэмы „Торжество земледелия“. Художник Б. Малаховский. 1930-е гг.***

Как руководящий и направляющий пропагандистский орган, «Правда» заодно поправила и «младших товарищей»: «Наша критика обязана была вскрыть перед широким читателем этот смысл поэмы Заболоцкого. Между тем „Лит. Газета“, поместившая статью т. О. Бескина о „Торжестве земледелия“, ухитрилась не заметить в этой поэме пасквиля на социализм и „растеклась мыслью по древу“ в рассуждениях о субъективном идеализме, формализме и... преувеличении роли трактора».

После статьи в «Правде» новые рецензенты, разумеется, стали бдительней.

В огромной статье Е. Усиевич в «Литературном критике» (1933, № 4) говорилось:

«Подведём некоторые итоги. Заболоцкий в помещённых во 2–3 номере „Звезды“, тщательно подобранных и тесно связанных стихотворениях развил враждебную пролетариату идеологию, начав с поэтической

пропаганды субъективного идеализма и закончив пародией, циничным издевательством как над материализмом как основой мировоззрения пролетариата, так и над его политической и социальной борьбой и над осуществляемым им строительством социализма. Он сделал это под маской юродства и формалистических вывертов, что помешало некоторой части критиков сразу рассмотреть *яркую классовую враждебность его произведений*, что помогло этому произведению проскользнуть через контроль соответствующих органов».

Выводы «работали» на упреждение *классово враждебных вылазок* и возможного вредного влияния на других поэтов:

«Заболоцкий — автор сложный, нарочито себя усложняющий и массовому читателю малодоступный. Опасность его творчества заключается не в действии его на широкие слои советского читателя, ибо такого рода действенностью его стихи не обладают.

Опасность творчества Заболоцкого заключается в том, что его настоящее мастерство, с одной стороны, и формалистские выверты, которыми он, *маскируя свои враждебные тенденции*, влияет на ряд молодых вполне советских поэтов, с другой — создают ему учеников и поклонников в таких литературных слоях, за которые мы должны с ним драться, *разоблачая как врага*, показывая, чему служит его утончённое и изощрённое мастерство, каковы функции его стилизованного примитивизма, его поддельной наивности и наигранного юродства. Нужно сорвать с Заболоцкого эту маску блаженного, оторванного от коллектива, занимающегося „чистой поэзией“ мастера, чтобы предостеречь от учёбы у него близких нам молодых, талантливых поэтов, от которых талант Заболоцкого заслоняет классовую сущность его творчества».

Вскоре «Правда» вновь *ударила* по поэту (30 августа 1933 года, статья С. Розенталя «Тени старого Петербурга»): «О Заболоцком „Правда“ уже писала. *Его юродствующая поэзия имеет определённо кулацкий характер*. Корни поэзии Заболоцкого в стихах Клюевых и Клычковых — крепких „мужичков“, привлечённых декадентами и мистиками в российскую словесность, тех „людей из народа“, которыми пыталась заслониться от надвигающейся революции кликушествующая интеллигенция Мережковских, Бердяевых и Философовых. Нельзя забывать и о Вагинове, труположествующем поэте».

Бойкие политические куплетисты, конечно, тоже подключились к кампании травли Заболоцкого: в литературных изданиях замелькали пародии, эпиграммы. Но самым пафосным было длинное рифмованное обличение, которое сочинил, изучив статьи в «Правде» и других изданиях,

Мих. Голодный («Красная новь», сентябрь 1933 года):

ПОЭТУ ЮРОДИВЫХ

Поэт юродивых,  
Вы долго молчали.  
Дурманила головы  
Книга «Столбцы».  
Из комнаты смеха  
Кричали, мычали  
Рождённые бредом  
Ослы и скопцы.

В железо оковано  
Старое слово,  
Концы без начала,  
Отбиты узлы.  
В кривых зеркалах  
Вы нашли его снова,  
Купили и продали  
Из-под полы.

.....  
Передо мной  
«Торжество земледелья».  
Поэма без формы,  
Где всё — кутерьма.  
Сидит на полях  
Неживое веселье,  
Виденье кретина  
Во мраке ума.

.....  
Поэт юродивых,  
Душёнку на бочку!  
Смотрите, ребята,  
Вот мир его — весь:  
Смесь ужасов тёмных  
Под красным листочком,  
Смятеньиц, желанийц  
Червивая смесь.

А рядом дороги  
Удачи и счастья,  
Сияющий полдень  
Без тени обид,  
Идеи, как знамя,  
Как зарево, страсти, —  
Юродство в рогоже  
В сторонке стоит. <...>

Ну, и ещё в таком же барабанном духе — про «железную поступь второй пятилетки», про то, что «кончается царство юродивых!»:

Я вижу, как жизнь  
Под уздцы ведут.  
И я говорю вам, поэт счастливых:  
— Шапки долой —  
Торжествует труд!..

«Под уздцы» — конечно, не очень точно: точнее было бы — *под конвоем*.

Что же — у «поэта счастливых» всё — по-комсомольски, только вот поэзией не пахнет...

Отметим и другое: как сильно раздражает малограмотных, косноязычных О. Бескина и Мих. Голодного корневое, старинное слово, что совершенно естественно звучит в стихах Заболоцкого («словесная архаика», «старое слово», «Клюевы и Клычковы» и пр.): косвенно они и сам русский язык обвиняют в неблагонадёжности, контрреволюционности, противопоставляя ему советский новояз, упрощённый, уплощённый и начисто оторванный от тысячелетней истории русской словесности...

Вот уже и журнал «Звезда», напечатавший поэму Заболоцкого, исправлял свою «ошибку». М. Витенсон (1934, № 2) писал: «„Торжество земледелия“ Заболоцкого, например, обнаруживает, на мой взгляд, не случайную, а органически цельную, объективно вредную художественную концепцию. <...> Заболоцкий выступает носителем буржуазной товарно-фетишистской идеологии. Вместо того чтобы проникнуть в сущность явлений, представить общественные отношения в их прозрачной форме, Заболоцкий затемняет их».

В сентябрьской же книжке журнала «Красная новь» за 1933 год, вместе с агиткой Мих. Голодного, вышла пространная статья Ан. Тарасенкова «Похвала Заболоцкому» — о поэме, о «Столбцах» и новых стихах. Начал литературный критик как бы за здравие — вроде бы похваливая яркие эпизоды и формальную новизну поэмы, но уже вскоре выяснилось, что это понарошку, что это лишь форма издёвки:

«А теперь давайте кончать этот весёлый маскарад. Зажжём в зале свет. Все лампочки. Давайте сорвём маски, смоем румяна и сурьму.

Костюмерная Державина и Хлебникова забрала взятые напрокат наряды; ушли актёры... Цирковые служители увели дрессированных зверей.

Вы видите: вот стоит на сцене — *главный механик и режиссёр только что разыгранного фарса, маленький человечек со взглядом инока с картины Нестерова. Он постарел, оброс бородой и завёл честную канцелярскую толстовку. Он тихонько улыбается из-под мохнатых бровей.*

Ба, да это, кажется, старый знакомый... Разве не его мы видели этой весной в одном из колхозов Северного Кавказа? Он вписывал трудодни в толстую, большую книгу. У одного из колхозных лодырей и пьяниц оказалось по этим записям ровно столько же трудодней, сколько у двух ударниц, вместе взятых, у двух красных партизанок-пулемётчиц... Мы разоблачили его и выгнали из колхоза.

Наша бригада перебралась на Среднюю Волгу. Он, сам того не зная, следовал за нами. Мы обнаружили его в одной из самарских деревушек в роли хранителя колхозного инвентаря...

Почему-то все хомуты и сбруя оказались смазанными свежей лошадиной кровью, от запаха которой прыдали ушами жеребцы и кобылы, дико раздувая ноздри, рвали упряжь и ржали, уносясь в разные стороны.

*Человечек* стоит на пустой сцене и улыбается... Он переплёл указательные, безымянные и средние пальцы обеих рук и медленно вращает друг вокруг друга большие.

Нужны ли особые аргументы для доказательств той простой и очевидной истины, что рука именно этого человечка дёргала верёвки, от движения которых прыгали куклы этого вздорного балагана? Он притворился юродивым, инфантильным сказочником и разыграл перед нами хитрый и гнусный пасквиль на коллективизацию.

Он представил величайшую в мире борьбу людей как бессмысленное и вздорное времяпрепровождение. Он плясал, гаерствовал, высовывал язык, отпускал скабрёзные шуточки там, где речь шла о деле, руководимом

ленинской партией, руководимом её вождём, стальным большевиком со стальным именем.

Зачем были нужны все эти продолговатые медведи, безумные ручейки и ослы, достигнувшие полного ума и поющие свободу в своём хлеву? Зачем нужна была имитация новаторства, на поверку оказывающегося заплесневелой архаикой?

Давайте ответим на этот вопрос в стиле нашей действительности, в стиле беспощадного социалистического реализма:

*Поэма „Торжество земледелия“ — кулацкая поэма.*

Мы строим новый социалистический мир с ясным, разумным планом в руках, вооружённые всей сокровищницей человеческих — мысли, знания, техники.

Естественно, что одна из новых масок остатков последнего капиталистического класса будет маской юродства, балаганного шаманства и кривляния. Кулак надевает эту маску потому, что дело его класса окончательно скомпрометировано в глазах многомиллионных масс трудящихся, потому, что по непреложным историческим законам гибнущий класс обращается за помощью к юродству и чертовщине. Это маска последней самозащиты и последних попыток перейти в контратаку на отдельных участках фронта.

Эта маска должна быть сорвана».

Публично поддержал Заболоцкого и его стихи один лишь Николай Тихонов. Но как поддержал — точнее бы сказать: не осудил. Однако намекнул при этом — поэту нужна *перековка*, перевоспитание в духе эпохи.

В журнале пролетарской культуры «Резец» (№ 7–8, 1933 года) Тихонов, в отличие от литературных политиканов, заговорил о главном — о поэзии. Упомянув Прокофьева, Корнилова, Заболоцкого, Тихонов сказал: чтобы понять того или иного поэта, надо брать его поэзию целиком: «...и если он захватил, если дал содержание, которое я запомню хотя бы на некоторое время, если я увижу новое понимание мира, меня окружающего, и — я уже рад, а уже потом я полезу в мастерство, полезу в печёнки, буду спорить и ломать стулья.

Я возьму Заболоцкого. Если взять с точки зрения формальной его „Торжество земледелия“ — ясны его предки, дяди, отцы, — это Хлебников. Это особо ново? Нет. Это было в XVIII веке, и тогда это объяснялось по-иному; значит, Заболоцкого надо брать в плане сегодняшнего дня. Некоторые говорят, что это стихи для детей, потому что в них коровы и лошади говорят, и они говорят только будто бы в детских стихотворениях. Так ли это? Заболоцкий — это единство особых поэтических приёмов. Что

из него получится дальше — мы не знаем. Можем мы на него *воздействовать?* *Может, и имеем на это мандат от эпохи.* Но унижает ли его, что коровы у него говорят? Нет. Все, когда читают его, говорят: „это — да, *настоящий поэт*“».

Вскоре Николай Тихонов выразился куда более определённо. Выступая в конце мая 1934 года на Всесоюзном поэтическом совещании, он сказал о поэме «Торжество земледелия» как об эксперименте особого рода:

«Привлекать пародийно-эпиграммный жанр для изображения коллективизации — это ошибка, и в первую очередь ошибка политическая.

Почему Заболоцкому показалось, что поэма удалась ему? Потому что он мастер чрезвычайно рассудочного стиха и, аллегорически расставив фигуры, он думал, что огромную важность придаёт им соответствующий архаически-аллегорический язык, где кулак будет посрамлён голой логикой, где будут действовать не герои, а маски героев, где заговорят даже животные. Получилось наоборот, этот пародийный (стиль? язык? — В. М.) сделал всю поэму двусмысленной, и автор ничего не мог ему противопоставить.

Оценка советской критикой и советской общественностью этой поэмы была очень жестокая... то, что Заболоцкий человек талантливый, спору нет. Я не буду тут ничего нового прибавлять к критике этого поэта, но я хочу *поставить вопрос: где может Заболоцкий применить свой своеобразный талант, развивая его в сторону, нужную советской поэзии?*

*Заболоцкому надо поставить перед собой вопрос: а что дальше? Потому что поэту с таким богатым арсеналом выразительных средств остаётся или совершить внутреннее самоубийство, уничтожить этот арсенал, истощив его на произведениях, не пригодных для нас, или же подумать о том, как выйти из этого положения».*

Наверное, Тихонову хотелось вывести поэта из-под огня — как товарища в бою, спасти его для литературы. Но условие, им поставленное, было не менее жестоким, чем критика: или развивайся в советскую сторону, или же исчезни для литературы («внутреннее самоубийство»). Иначе говоря, не будешь петь «с нами» — не станешь и печататься. Однако это условие — литературного функционера, а не поэта (вроде как — *я не художник слова, я — начальник*). Поэт знает, что отнюдь не он приказывает слову, а слово — ему. Пиши, что пригодно для нас, — это можно сказать ремесленнику, и тот, конечно же, напишет. А поэту диктует муза — вдохновение (если кратко называть то растущее в нём творческое содержание, которое само по себе требует разрешения в слове).

При этом все прекрасно понимали, что стоит на кону: или ты



жертвуешь поэзией — или пожертвуешь свободой, а то и жизнью.

\*

Николай Заболоцкий, естественно, не желал быть подпольным писателем, и ему пришлось искать выход из положения.

Ритуал «проработки» в партийной печати подразумевал публичное осознание своих ошибок и в той или иной форме обещание исправиться — то есть своеобразное покаяние. И то и другое унижительно для взрослого человека и зрелого художника, но Заболоцкому было ещё хуже. Дело в том, что у него в Ленинградском издательстве была уже набрана вторая книга — «Стихотворения. 1926–1932», куда он включил *столбцы*, новые стихи и поэму «Торжество земледелия».

Поначалу предисловие должен был написать известный в Ленинграде человек, соратник Кирова, Владимир Павлович Матвеев, за спиной которого было яркое революционное прошлое и участие в Гражданской войне. Матвееву Заболоцкий был явно интересен: однажды он пригласил поэта и его друга Николая Степанова к себе в гости — и запомнился последнему прямоотой суждений: «Говорил остроумно и резко о таких вещах, о которых мы обычно решались говорить лишь в самом близком кругу».

Немудрено, что с предисловием вскоре вышла заминка: должно быть, Матвеев был прям и резок не только в домашнем застолье, но и в среде партийных бюрократов. Вместо него вступительное слово написал ответственный редактор издательства И. А. Виноградов, но и его статью кто-то *наверху* или в цензуре строго отредактировал. Рукопись же самой книги стихов с тех пор цензоры принялись трясти, как имущество заключённого при «шмоне».

После статьи Ермилова в «Правде» вопрос о книге был и вовсе закрыт: набор рассыпали.

«Никогда в жизни Николай Алексеевич не имел больше возможности составить сборник своих стихотворений для печати так, как ему хотелось, — не считаясь с требованиями издательств, — пишет Никита Заболоцкий. — А оттиски корректуры неизданной книги сохранились, один из них Заболоцкий переплёл в тёмно-красный переплёт и бережно хранил в своём домашнем архиве. Только более чем через полвека по этому архивному экземпляру сборник „Стихотворения. 1926–1932“ был воспроизведён в составе книги „Вешних дней лаборатория“, выпущенной издательством

„Молодая гвардия“ в 1987 году. <...>

Николай Алексеевич не хотел верить, что его мировоззрение и поэзия не пригодны для отечественной литературы, но и задуматься было над чем. И он надолго перестал писать собственные стихи. После окончания поэмы „Облака“, летом 1933 года и до декабря 1934 года, им не было написано ни одного стихотворения. В декабре 1934 года он создал два стихотворения, в 1935 году — тоже два, и лишь в 1936 году наступило некоторое оживление. В этот период всю свою творческую энергию он направил на переработку для детей и юношества зарубежных классических произведений и на переводы иноязычной поэзии».

Но что для молодого, полного замыслов поэта переложения и переводы! Конечно, они по-своему интересны и дают подпитку воображению, к тому же позволяют как-то прокормить семью, но, если говорить прямо, что это, как не иная форма «внутреннего самоубийства».

28 марта 1936 года в Ленинградском доме писателей им. Маяковского прошла дискуссия о формализме, на которой было дано слово и Заболоцкому. В канун выступления он показал заранее написанный текст другу, Николаю Леонидовичу Степанову, который куда как лучше его разбирался в литературной политике. Вот как Никита Заболоцкий описывает дальнейшее:

«Прочитав текст выступления, Степанов пришёл в ужас.

— Коля, что же ты делаешь? — воскликнул он. — От тебя ждут признания ошибок и отказа от прежних заблуждений, как они полагают. Вот и нужно каяться — ничего не поделаешь! Такое время. А ты мечешь бисер перед свиньями...

— Ну, дорогой Николай Леонидович, у поэта должно быть достоинство. Самому превращаться в свинью тоже не стоит.

Степанов, увидев упрямое выражение на лице друга, ещё больше забеспокоился. Он считал своим долгом спасти большого поэта для русской литературы и иного выхода, кроме как покаяться, не видел. Со слезами на глазах он начал убеждать Заболоцкого переделать выступление:

— Ты очень хорошо написал о Кирове, о Севере. Нужно закрепить успех — брось им ещё кость. А когда успокоятся, будешь писать своё. Рисковать нельзя. Да ведь и новые твои стихи прекрасны. Может, и в них — твой путь? Ещё кабы кто не стукнул о твоих хороших отношениях с Матвеевым. Сам знаешь...

Разговор кончился тем, что оба сели за стол и вместе стали править текст выступления. Под диктовку Степанова Заболоцкий вписал первые фразы: „В статьях ‘Правды’, направленных против формализма, я нахожу

ответ на те сомнения и вопросы, которые встали передо мной за последние годы. В этих статьях я вижу выражение внимания и заботы, которые партия уделяет нашему искусству“. Затем добавил слова о порицании увлечения новой формой в отрыве от содержания и сократил рассуждения о строении природы и будущем союзе человека и природы».

Вероятно, так оно и было... Заболоцкий, разумеется, и сам хорошо понимал, что надо «бросить им кость», иначе не стал бы советоваться с предусмотрительным Николаем Степановым.

Его выступление было напечатано в газете «Литературный Ленинград» 1 апреля 1936 года. Вообще-то дискуссия о формализме была вызвана редакционной статьёй в «Правде» «Сумбур вместо музыки» — об опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», но заодно уж *чистили* всех ленинградских формалистов. Выступление вышло под ритуальным заголовком «Статьи „Правды“ открывают нам глаза», — конечно, имелись в виду и прежние статьи руководящего органа партийной печати о стихах Заболоцкого. Поэту пришлось объясняться и за «Столбцы»:

«В этом году исполняется десять лет моей литературной работы. Настало время оглянуться на пройденный путь, спокойно присмотреться к своим удачам и неудачам, оценить их с точки зрения тех взглядов, к которым я пришёл теперь.

После того как были написаны „Столбцы“ и завершился период моей работы, мне стало ясно, что дальше этим путём идти нельзя. Живописание вещей, лепка фигур, натуралистические зарисовки мещанства — всё это было бы хорошо, если бы слово было освещено мыслью, если бы все эти явления были изображены в ясно осознанной исторической перспективе. Этого почти не было в „Столбцах“. Изображение вещей и явлений в ту пору было для меня самоцелью. В этом заключался формализм „Столбцов“, ибо формализм есть самодовлеющая технология, обедняющая содержание. В некоторых стихах, явно экспериментальных, формалистические тенденции выступали ещё резче. В ту пору мне казалось, что совершенствовать форму можно независимо от содержания и что эти эксперименты представляют самостоятельный интерес. Конечно, это была ошибка.

Но „Столбцы“ научили меня присматриваться к внешнему миру, пробудили во мне интерес к вещам, развили во мне способность пластически изображать явления. В них удалось мне найти некоторый секрет пластических изображений. Значит ли это, что каждый молодой поэт должен начинать с того, с чего в своё время начинал я? Нет, не значит. Есть более прямой путь. Совершенствовать технологию можно, лишь

совершенствуя содержание, неотделимое от него. Иначе неизбежно попадёшь в формалистический тупик. В этом отношении мой пример — урок для молодых поэтов».

За исключением существенных признаний в поэтических достижениях первой книги, речь прямо-таки производственника, осознавшего, что часть его продукции была — того... бракованной. Но «Столбцы», на самом деле, были его поэтической высотой (довольно многие исследователи считают — главной), предметом гордости, книгой, которую в течение всей жизни он композиционно совершенствовал и улучшал. В воспоминаниях Наталии Роскиной есть точное наблюдение: «Трудно, на мой взгляд, нанести большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его или похвалить его за отказ от поэтических исканий его молодости. Именно эти искания, эти годы провозглашения его поэтической личности остались в его памяти лучшими. Именно ими он безгранично дорожил, и, отказываясь судить о „политике“, всячески устраниаясь от неё, он сознательно строил свой духовный мир на верности и твёрдости своих поэтических идеалов. В этом была и сила его, и его постоянство, и он сам».

Конечно, признание «ошибок» было *костью*, брошенной в пасть дракона, чтобы не сгинуть, уцелеть — как поэту и как человеку, и, наверное, к этим покорным формулировкам они пришли совместно с Николаем Степановым.

Но далее в выступлении слышен уже собственный голос Заболоцкого: «В 1929 г., в самом начале коллективизации, я решил написать свою большую вещь и посвятил её тем грандиозным событиям, которые происходили вокруг меня. Я начал писать смело, непохоже на тот средний безрадостный тон поэтического произведения, который к этому времени определился в нашей литературе. В это время я увлекался Хлебниковым, и его строки:

Я вижу конские свободы  
И равноправие коров...

глубоко поражали меня. Утопическая мысль о раскрепощении животных нравилась мне».

(Вообще-то говоря, могла прийти в голову мысль не только о *раскрепощении животных*, но и о *закрепощении крестьян*. Даже горожанину, далёкому от села, но внимательно читающему газеты, вскоре после начала «великого перелома» было понятно, что это отнюдь не

добровольное объединение крестьян в коллективы, а жёсткая и всё более ужесточающаяся принудилровка. Но, видно, участь людей не так занимала Заболоцкого, как равноправие коров...)

«Я рассуждал так: вместе с социалистической революцией человечество вступает в новую эру своего существования. Вместе с человеком начинается новая жизнь для всей природы, ибо человек неотделим от природы, лучшая, передовая её часть. В борьбе за существование победил он и занял первое место среди своих сородичей — животных. Человек так далеко пошёл, что в мыслях стал отделять себя от всей прочей природы, приписал себе божественное начало.

Он мыслил так: я и природа. Я — человек, властелин, с одной стороны; природа, которую я должен себе подчинить, чтобы мне жилось хорошо, — с другой. Такое чувство разобщённости с природой прошло через всю историю человечества и дошло до наших дней, до XX века, века социальных революций и небывалых достижений точных наук. Теперь дело меняется. Приближается время, когда, по слову Энгельса, люди будут не только чувствовать, но и сознавать своё единство с природой, когда делается невозможным бессмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человечеством и природой, душой и телом.

На другой же день после всемирной революции, думал я далее, человечество не может не заметить, что, уничтожив эксплуатацию в самом себе, оно само является эксплуататором всей остальной „живой“ и „мёртвой“ природы».

Далеко же занесло поэта его воображение!.. Никакой всемирной революции не произошло, да она и не предвиделась. Восстания «красных» в Германии и Венгрии давно и быстро подавлены; пролетариат в передовых странах капитала вовсе не торопится свергать своих правителей; да и вообще социалистическая революция случилась совсем не там, где предсказывал Маркс. Всем здравомыслящим уже понятно: мировая революция — это утопия; лишь пропаганда по инерции долбит про всемирную коммуну, хотя на самом деле политики уже готовятся к новой войне...

Но продолжим цитату:

«...Человечество, проникнутое духом бесклассового общества, не может не ужаснуться, окинув разумным взглядом свою прошлую борьбу с природой, приводившую к вымиранию целых видов животных и задерживающую до сих пор развитие и усовершенствование многих видов. Человек бесклассового общества, который хищническую эксплуатацию

заменял всеобщим творческим трудом и плановостью, не может в будущем не распространить этого принципа на свои отношения с порабощённой природой. Настанет время, когда человек — эксплуататор природы превратится в человека — организатора природы. <...> Вот в кратких чертах та утопическая концепция, которая и интересовала меня шесть-семь лет назад, когда я писал „Торжество земледелия“. Передо мной открывалась грандиозная перспектива переустройства природы, и ключом к этой перспективе были для меня коллективизация деревни, ликвидация кулачества, переход к коллективному землепользованию и высшим формам сельского хозяйства. Об этом я и хотел писать в своей поэме.

Как я теперь понимаю, уже сам замысел поэмы был неблагоприятен в том отношении, что он соединял воедино реалистические и утопические элементы. Получилось так, что утопический элемент нарушил в моей поэме все остальные пропорции, благодаря чему, в частности, было до некоторой степени смазано отображение классовой борьбы. Недооценка реалистической правды искусства привела к идилличности, к пасторальности поэмы, что шло вразрез с действительностью. Поэтому-то читатель, или, по крайней мере, часть читателей, воспринял поэму в каком-то ироническом, пародийном плане. Этому восприятию способствовали ещё не изжитые формалистические приёмы стиха».

Итак, Заболоцкий высказал свои натурфилософские взгляды, образно запечатлённые в поэме, подкрепив их «Энгельсом» и примерным покаянием в грехах формализма. На дворе стояло время победившего метода социалистического реализма, под знаменем которого теперь действовал единый — вместо прежнего разнобоя творческих группировок — Союз советских писателей. Шутка Козьмы Пруtkова о введении в России единомыслия оказалась пророческой (правда, Россия была уже не прежней, «царской», а советской, каковой шутник не ведал и ведать не мог), — и писатели должны были всё активнее утверждать своим словом это единомыслие в умах и сердцах читателей.

Далее в своём выступлении поэт высказал решительное возмущение той разнузданной критикой, которой его подвергли в печати за поэму «Торжество земледелия». Накануне Николай Степанов уговаривал его не связываться с оппонентами и вычеркнуть свои возражения, но Заболоцкий настоял на своём:

«— Ну, уж это я оставляю. Имею же я право защищаться!»

И он высказался:

«А критика? Помогла она автору? Членораздельно и толково объяснила она ему, в чём согрешил он перед читателем? Две небольшие

цитаты в достаточной степени ответят нам на этот вопрос.

1930 год. Журнал „Печать и революция“. Статья о „Столбцах“. Об авторе „Столбцов“ говорится так:

„Наш весельчак, наш сыпнотифозный... язык его развязывается только около выгребных ям, а красноречие его осеняет лишь тогда, когда он соседствует с пивной или спальней... О чём бы он ни писал, он свернёт на сексуал. У него даже дом, ‘виляя задом, летит в пространство бытия’. Эти стихи не свежи. Они что-то среднее между второй молодостью и собачьей старостью. Если же говорить о стихе, то по стилю это напоминает постель“».

И далее:

«Кажется, ни над одним советским поэтом критика не издевалась так, как надо мной. И каковы бы ни были мои литературные грехи, всё же подобные статьи и выступления не делают чести новой критике. Автора они ещё больше дезориентируют, отталкивают от искусства. Вот и всё их значение. Кому это идёт на пользу?»

Такого отпора от него никто не ждал, и, судя от отзывам на выступление поэта, самокритику его и возражения рецензентам участники дискуссии в основном одобрили...

**Глава тринадцатая**  
**СВЕТ НАСТОЯЩЕГО — ТЕНЬ**  
**БУДУЩЕГО**



## Золотое утро

...Но вернёмся в 1930 год, в июль.

Поэма «Торжество земледелия» закончена, пишется другая. Молодая семья Заболоцких впервые в Крыму, поехали на море отдохнуть. Впрочем, какой там отдых: поэт этому совсем не обучен, да и не желает учиться. Ему в жизни как-то всё время не до отдыха было... Николай даже гулять не любит: что без толку слоняться?.. «На третий день крымской жизни, лёжа на пляже, он сильно обжёг спину и был доволен, что теперь с полным основанием может оставаться дома и в своём любимом положении — лёжа на животе — читать и писать стихи, — пишет Никита Заболоцкий. — Вероятно, в те дни было написано стихотворение „Человек в воде“, заканчивающееся строчками:

А на жареной спине,  
над безумцем хохоча,  
инфузории одне  
ели кожу лихача».

Не свой ли портрет на пляже Заболоцкий невзначай набросал в этом стихотворении?

Словно череп без волос.  
как червяк подземный бел,  
человек, расправив хвост,  
перед волнами сидел.  
Разворачивая ладони  
словно белые блины,  
он качался на попоне  
всем хребтом своей спины.

Эдакое нелепое отдыхающее существо явно земноводного происхождения!..

Но какими оно занято мыслями?.. Впрочем, что за думки могут вообще появиться в голове под гнётом солнца, когда «каждый маленький сустав / <...> распарен и раздут»? Разве что такие же распаренные и

раздутые, наивные, вроде бы пытающиеся то ли шутить, то ли что-то понять, как в стихотворении «Вопросы к морю»:

Хочу у моря я спросить,  
для чего оно кипит?  
Пук травы зачем висит,  
между волн его сокрыт?  
Это множество воды  
очень дух смущают мой.  
Лучше б выросли сады  
там, где слышен моря вой.  
Лучше б тут стояли хаты  
и полезные растенья,  
звери бегали рогаты  
для крестьян увеселенья.  
Лучше бы руду копать  
там, где моря видим гладь,  
сани делать, башни строить,  
волка пулей беспокоить,  
разводить медикаменты,  
кукурузу молотить,  
деве розовые ленты  
в виде опыта дарить.  
В хороводе бы скакать,  
змея под вечер пускать  
и дневные впечатленья  
в свою книжечку писать.

Да, видать, совсем разморило на солнце! Или автор ещё не отошёл от своего *земледелия!*..

Лишь чуть спустя, очухавшись, он вспомнил сочинения Платона и написал нечто в духе *столбцов*:

...Море! Море! Морда горба!  
Вечной гибели закон!  
где легла твоя утроба,  
умер город Посейдон.  
Чуден вид его и страшен:

рыбой съедены до пят,  
из больших окошек башен  
люди длинные глядят.  
человек, носим волною,  
едет книзу головою.  
осьминог сосёт ребёнка,  
только влас висит коронка;  
рыба пухлая, как мох,  
вкруг колонны ловит блох.

И над круглыми домами,  
над фигурами из бронзы,  
над могилами науки,  
пирамидами владыки —  
только море, только сон,  
только неба синий стон.  
(«Подводный город». 1930.  
Орфография сохранена)

Однажды Заболоцкие отправились из Феодосии в Коктебель к Максимилиану Волошину, стихи которого, как пишет сын, Николай Алексеевич знал и уважал. «Максимилиан Александрович вышел к посетителям в белых широких штанах с манжетами у колен и длинной белой рубашке навыпуск. Золотой обруч придерживал его длинные седые волосы. Он был красив и приветлив, гостей пригласил пройти в дом и после непродолжительного разговора позвал свою жену Марию Степановну, чтобы и она приняла участие в разговоре. В конце встречи оба поэта прочитали по одному из своих стихотворений (Волошин — о Богородице)».

Николай уже сильно привязан к жене, без неё ему скучно. Летом следующего года, когда его вновь призвали в армию, он часто пишет Кате из Пскова бодрые *домашние* письма, в которых слышна теплота и нежность.

«...Сидя на берегу реки Великой, вспоминаю тебя, мой дурачок».

«Здравствуй, маленький дурачок!

Уже восемь дней, как я в лагерях, рожа стала красная от солнца, шкура с носа слезла, каждый день купаюсь, ем за десятерых, бегаю какать за полверсты на рысях, а ночью в палатке свободно вешаем на воздух топор и

другие довольно тяжёлые вещи. Одним словом, жизнь идёт вовсю, и я мало-помалу превращаюсь в настоящего взводного. <...>

Взял общественную нагрузку по специальности — выпускаю ротную газету — „Ильичёвку“. Сегодня выпустил уже первый номер, красноармейцам очень нравится, я туда написал раёшник. <...>

Сегодня получил первое письмо от тебя... от 14 июля. Рад, что благополучно с Фомкой, ты кушай как следует и не думай ни о чём».

Фомкой они зовут между собой будущего сына (и действительно — потом родился мальчик).

*«9 августа 1931*

Маленький мой,

не писал тебе это время, потому что всё время прошло в походах. Было три довольно больших похода, ходили, ходили, не спали ночей, несколько раз переходили вброд реки. Были очень тяжёлые минуты. Измучаешься до того, что на остановке ткнёшься под куст и спишь как мёртвый.

Теперь всё прошло, вчера вернулись из последнего похода под проливным дождём. Но, удивительное дело, — здоровье хорошее, только ноги болят, все мускулы ноют от бедра до пят...

Очень беспокоюсь за тебя — долго не было писем».

Закалка пригодилась: не на войне — в лагерях. Без этого вряд ли бы выдержал испытания...

Жена зовёт мужа в письмах — «милый Колюня», рвётся к нему, да командиры не разрешают: негде останавливаться. Сообщает, что на даче замечательно. «Обед стряпать не надо, ягоды ем с утра до вечера. Земляника. Скоро будет малина, чёрная и красная смородина. Завтра буду варить варенье из земляники, чтобы ты, мой маленький, тоже попробовал сиверской земляники. <...> Наш самый маленький дурачок живёт хорошо, растёт, очевидно».

25 января 1932 года родился первенец, только назвали его не Фомой, а Никитой.

Жили они по-прежнему в съёмной комнате, куда Заболоцкого вообще-то пустили как холостого. «Но Вера Михайловна, хозяйка квартиры, и её домоправительница Христина так привязались к Заболоцким, что в первые месяцы увезти мальчика не разрешили, — пишет в биографии отца Никита Заболоцкий. — Добрая старая эстонка Христина каждый день заходила в комнату, чтобы вытереть пол, останавливалась у кровати, опираясь о щётку, любовалась здоровым младенцем и произносила всегда одну и ту же фразу:

— Он смотрит и думает, что за чучела пришёл».

Николай перешёл из «Чижа» в Союзфото (эту организацию возглавлял В. П. Матвеев) в попытке заработать на кооперативную квартиру. Катя с ребёнком всё чаще жила на даче дяди на Сиверской — благо усадьба была хорошо устроена, только в морозы дом промерзал и даже на одну комнату, где топили печь, уходило слишком много дров. Ей помогала по хозяйству домработница Ириша, приехавшая, чтобы не пропасть, из голодающей и разорённой псковской деревни в Питер. Вероятно, она рассказывала Николаю и жене, что же на самом деле происходит на селе...

Но и горожанам было голодно и нелегко.

«...Очень трудно стало доставать деньги, — писал Николай жене. — Их нет ни у кого».

«Получил сахар за июнь — 2 кило 600 граммов, Выдавали кило сыру — не мог взять за отсутствием денег».

«Получил банку консервов, 2 ½ кило перловой крупы и 2 кило трески».

Летом 1932 года Заболоцкий снова на военных сборах, на этот раз в белорусском Могилёве. «Остановились в Орловской гостинице, — сообщает Кате. — Взяли общий номер на 12 человек — по 2 рубля с рыла. Ребята подобрались хорошие, все комвзвода запаса, быстро спелись друг с другом, и теперь все дела ведём вместе, коллективно и друг друга держимся. Выходит складно и ладно. Вчера вечером ходили гулять в здешний городской сад, и я вспомнил старое уржумское время — так всё здесь провинциально и незатейливо».

Его чувство к жене, к семье только крепнет — это видно по письму из Ленинграда на Сиверскую от 19 февраля 1933 года:

«Без вас мне здесь по-настоящему скучно, и чувствую себя часто просто несчастным человеком. Милые мои дурачки, папка вас любит обоих очень, хотя и не любит говорить об этом. Я вот всё думаю о том, что ты сказала мне, — будто я только когда-то раньше любил по-настоящему, а теперь не то. Да, не то, дурачок, но это не значит — меньше. Это значит — иначе, по-другому, — ведь уж больше трёх лет, как мы поженились, было время образоваться чувству глубокому и постоянному. Потеряй я тебя теперь — что было бы со мной? Раньше я думал, что искусство — вся моя душа, а теперь оказалось — только половина. А другая половина — ты да Никитка. И обе половины милы, и обе должны существовать и друг друга поддерживать. <...>

Что плохого у нас сейчас? То, что живём отдельно.

Что хорошего? Прекрасный сынок, выходит книга.

Всё-таки перевес в хорошую сторону, а плохое есть перспектива

исправить».

Екатерина Васильевна сильно скучала без мужа, вынужденного находиться в городе, и жила его редкими приездами. Вспоминала, как он гулял по саду с младенцем сыном, как смешно разговаривал с хозяином огорода — белым петухом, который, наставив на собеседника то один, то другой глаз, что-то важно отвечал человеку на своём петушином языке. Но ярче всего ей запомнился один эпизод весны 1933 года. В ту пору на даче гостили родственники, и они с мужем и ребёнком перебрались этажом выше, в мансарду: «С Никитушкой в руках я раскрыла большое окно маленькой летней веранды и позвала Николая Алексеевича. Было так хорошо! В саду цвели белые и синие лупиносы и сверху казались свечами, подымающимися из зелени, пели птицы, за огородом стоял амбар...»

Наверное, ту же самую радость испытал тогда и Заболоцкий: вскоре у него появилось стихотворение «Семейство художника» (оно датируется в книгах 1932 годом, но Никита Заболоцкий убеждён, что написано именно в 1933 году):

Могучий день пришёл. Деревья встали прямо.  
Вздохнули листья. В деревянных жилах  
вода закапала. Квадратное окошко  
над светлою землёю распахнулось,  
и все, кто были в башенке, сошлись  
взглянуть на небо, полное сиянья.

И мы стояли тоже у окна.  
Была жена в своём весеннем платье,  
и на руках Никитушка сидел,  
весь розовый и голый, и смеялся,  
и глазки, полные великой чистоты,  
смотрели в небо, где сияло солнце.

А там внизу — деревья, звери, птицы,  
большие, сильные, мохнатые, живые,  
сошлись в кружок и на больших гитарах,  
на дудочках, на скрипках, на волынках  
вдруг заиграли утреннюю песню  
Никитушке — и всё кругом запело.

И всё вокруг запело, так что козлик —

и тот пошёл скакать вокруг амбара.  
И понял я в то золотое утро,  
что смерти нет и наша жизнь — бессмертна.

## Дело обэриутов

В советскую пору как никогда расцвели аббревиатуры... ОБЭРИУ — Объединение единственно реального искусства — было последней крупной творческой группой, которая заявила о своей творческой самостоятельности. Конечно, это был вызов социалистическому реализму и делу пролетарского искусства. РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей — естественным образом тут же стал самым яростным противником и критиком обэриутов. ГПУ — Главное политическое управление — поначалу было как бы над схваткой, присматривалось и к тем, и к другим. Но потом власть решила: пора навести порядок в разбредшихся кто куда творцах искусства, которое *принадлежит народу*. Обэриуты попали под репрессии; РАПП был распущен, но членов ассоциации не преследовали: всё-таки свои. Тогда как обэриуты — явные враги: абсурдисты, иррационалисты. Проповедники абсурдизма, они и господствующую в стране идеологию тоже считают абсурдной и тем самым отрицают её. А вот этого большевики не терпели...

10 декабря 1931 года Хармс и Введенский были арестованы. Взяли под стражу также поэта-заумника Туфанова, художников Калашникова и Воронича, молодого работника Госиздата Андроникова, а чуть позже задержали Бахтерева. Все они подозревались в создании нелегальной антисоветской группировки литераторов.

Даниила Хармса задержали на квартире Калашникова, где частенько собирались все обэриуты.

Пётр Петрович Калашников, по натуре свободный художник, жил без семьи, был немного писателем, а на жизнь подрабатывал рисованием таблиц. У него была богатая библиотека: редкие издания, оккультно-мистическая литература, которой особенно интересовались обэриуты, и Николай Заболоцкий в том числе. (После приговора эта библиотека в 5429 томов была конфискована органами ГПУ.) В доме Калашникова устраивались литературные чтения, обсуждения новинок, ну и, конечно, там велись всяческие общие беседы. На огонёк заглядывали писатели, художники, актёры: нигде так свободно не говорилось о литературе, о жизни, о политике. В издательстве не повольничаешь: даже Хармс опасался там посторонних ушей. Про Дом писателей нечего и говорить: в нём хозяйничали рапповцы и царил тупой и занудный официоз. О взглядах самого Калашникова можно судить по его показаниям на допросе, правда,



не собственноручным — записывал следователь. Пётр Петрович признавался, что он сторонник идеальной конституционной монархии — «в такой монархии не будет надобности в жандармах и в охране»; он жалел четыре миллиона белоэмигрантов, эту «огромную культурную силу», вынужденную покинуть страну; возмущался методами коллективизации на селе; сомневался в том, что инженеры, проходившие по делу Промпартии, были вредителями: «истинно русская интеллигенция не способна на вредительство», большевики просто хотели переложить с себя на них вину в хозяйственных неудачах. Словом, это были взгляды довольно большой части русской интеллигенции...

Аресту обэриутов предшествовала кампания в печати по разоблачению детских писателей-«вредителей». Никита Заболоцкий приводит в своей книге характерный случай:

«В обед или после работы редакционная компания переходила на другую сторону канала Грибоедова и обосновывалась в „Культурной пивной“. Говорили здесь обо всём, не касались только политических тем — понимали, что кто-то за ними следит и докладывает об их „благонадёжности“ куда следует. Иногда передавали друг другу газету или журнал с очередной разгромной рецензией. В апреле 1930 года Олейников молча протянул Заболоцкому молодёжную газету „Смена“ с заметкой о последнем выступлении обэриутов Б. Левина и Ю. Владимирова в студенческом общежитии Ленинградского университета. В заметке говорилось: „Обэриуты далеки от строительства. (Образчик рубленой — по смыслу — речи того времени, типа тоста Шарикова: „Желаю, чтобы все!“ — В. М.) Они ненавидят борьбу, которую ведёт пролетариат. Их уход из жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглёрство — это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их поэтому контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага, — так заявило пролетарское студенчество“».

(Понятно, почему после такой «артподготовки» никого из обэриутов арест не удивил...)

Печать называла Хармса «реакционным жонглёром», Введенского — «классово враждебным». Заболоцкому же приклеили ярлык — «кулацкий поэт» (заметим, за два года до выхода «Торжества земледелия», когда это клеймо стало «нормой»). Один из оппонентов дошёл до того, что «разоблачил» и его псевдоним «Яша Миллер», под которым Николай изредка печатал свои непритязательные, в общем-то халтурные детские стихи. При этом рецензент ещё и обвинял Заболоцкого в том, что поэт, получив «достаточный отпор марксистско-ленинской критики», решил-де

спрятаться под выдуманным именем...

В августе 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об издательской работе», которое прямо указывало, что характер и содержание книг должны «целиком и полностью отвечать целям социалистической реконструкции». Сочинитель Сергей Васильев в момент откликнулся стишком в «Литературной газете» — о том, что хватит читать о птичках и Коньке-Горбунке, которого «трактор опередил». Он гневно вопрошал:

А где же классы,  
Борьба и массы?..

...В литературе в то время было двое Васильевых — Павел и Сергей. Порой их путали. Однажды Пашка Васильев, безмерно одарённый и столь же буйный нравом, позвал с приятелями Сергея в ресторан. Заказал огромную яичницу. А когда официант принёс шипящую сковороду, разом опрокинул её на голову своего бездарного однофамильца — с криком: «Не позорь фамилию!» Кутерьма, драка... Пошёл ли тому урок на пользу? Ну, это вряд ли, хотя кто знает...

Одновременно с арестом Хармса на его квартире прошёл обыск. Изъяли рукописи, переписку и «10 мистикоокультурных книг».

В ДПЗ (ещё одна аббревиатура!) — Доме предварительного заключения — начались допросы. Следствие тогда было ещё мягким, заключённых не пытали, хотя и само содержание молодых людей под стражей — разве же не пытка?.. Все допрашиваемые охотно откровенничали и оговаривали себя и друг друга — вероятно, поддаваясь на посулы следователей смягчить наказание. (Впрочем, большинство протоколов начертаны рукой дознавателя, а не подозреваемого — тот лишь подписывал...)

Хармс на первом же допросе заявил, что он человек «политически не мыслящий», но с политикой советской власти в области литературы не согласен и желает свободы слова. Полуграмотный стиль следователя особенно заметен в протоколе второго допроса: «Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся идеологом антисоветской группы литераторов, в основном работающих в области детской литературы, куда помимо меня входили А. Введенский, Бахтерев, Разумовский, Владимиров (умер), а несколько ранее Заболоцкий и К. Вагинов». О творчестве он сказал, что это были «заумные, по существу, контрреволюционные, стихи, предназначенные нами для взрослых,

которые, в силу своего содержания и направленности, не могли быть отпечатаны в современных советских условиях и которые мы распространяли в антисоветски настроенной интеллигенции, с которой мы и связаны общностью политических убеждений». Касаемо произведений для детей, Хармс заметил, что они считали эти стихи не настоящими, а для заработка на существование. Последнее во многом было правдой, хотя дети — читатели его стихов — ни за что бы не согласились с Даниилом Ивановичем. Вот насчёт стишат Яши Миллера, вроде: «Солнышко, солнышко, золотые зайчики! / Вы с востока прибыли, с востока принесли! Дружно ли китайцы там бороться начали, Крепко ли индусы драться собрались?» — детишки, пожалуй бы, согласились: больно уж похожи на взрослые. Даниил Хармс на допросе ещё резче оценил подобные вирши своего друга: «Как халтурно-приспособленческое я могу квалифицировать и всё творчество для детей другого члена нашей группы Заболоцкого».

Александр Введенский сознался в том, что входил «совместно с писателями Хармсом, Бахтеревым, ранее Заболоцким и пр. в антисоветскую литературную группу, которая сочиняла и распространяла объективно контрреволюционные стихи». Со следователями он был ещё разговорчивее, чем Хармс, и припоминал всё в подробностях, не заботясь, как это может сказаться на чужих судьбах.

От Введенского добивались показаний на Маршака и Олейникова, и он показывал то, что нужно было обвинению. Про Олейникова даже сказал, что тот весьма интересовался Троцким.

Показания Введенского ненароком рисуют яркий портрет Олейникова: «Делясь с Хармсом впечатлениями об одном из докладов одного из руководителей семинара по диалектическому материализму, Олейников зло иронизировал над этим докладом, говоря, что с точки зрения сталинской философии понятие „пространства“ приравнивается к жилплощади, а понятие „времени“ к повышению производительности труда через соцсоревнование и ударничество». Олейникову, говорил Введенский на допросе, нравились их с Хармсом заумные контрреволюционные произведения для взрослых: «В беседах с нами он неоднократно подчёркивал всю важность этой стороны нашего творчества, одобряя наше стремление к культивированию и распространению контрреволюционной зауми. Лястя нашему авторскому самолюбию, он хвалил наши заумные стихи, находя в них большую художественность. Всё это, а также и то, что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял себя как человека оппозиционно настроенного к существующему партийному и советскому

режиму, убедило нас в том, что Олейникова нам не следует ни пугаться и ни стесняться, несмотря на его партийную принадлежность».

Старорежимную лексику своих произведений (по тогдашним советским понятиям уже одно это было контрреволюцией) Введенский объяснял «технологией», а именно тем, что новые советские слова, такие как «ударничество» или «соцсоревнование», просто не годятся для поэтической зауми: «В подавляющем большинстве наших заумных поэтических и прозаических произведений... сплошь и рядом встречаются слова, оставшиеся теперь лишь в белоэмигрантском обиходе и чрезвычайно чуждые современности. Это — „генерал“, „полковник“, „князь“, „бог“, „монастырь“, „казаки“, „рай“ и т. д. и т. п. Таким образом, ведущие идеи наших заумных произведений, обычно идущие от наших политических настроений, которые были одно время прямо монархическими, облекаясь различными художественными образами и словами из лексикона старого режима, принимали непосредственно контрреволюционный, антисоветский характер». Серьёзно ли сказано или же в издёвку — трудно разобрать; но не пародиен ли сам этот ответ в ДПЗ о поэтике зауми?..

Ещё более сложно Введенский толковал свой и друзей монархизм, выводя его из внутренних требований самой зауми:

«Царь мог быть дураком, человеком, не способным управлять страной, монархия... могла быть бессмысленной для страны, но именно это и привлекало нас к монархическому образу правления страной, поскольку здесь в наиболее яркой форме выражена созвучная нашему творческому интеллекту мистическая сущность власти. В наших заумных, бессмысленных произведениях мы ведь тоже искали высший, мистический смысл, складывающийся из кажущегося внешне бессмысленного сочетания слов».

В показаниях Введенского есть вполне правдивые подробности умонастроений обэриутов — о том, как Александр «информировал» Даниила, принципиально не читавшего газет, о политических событиях. И тому и другому не нравилось, что происходит в стране, «причём основным лейтмотивом наших политических бесед была наша обречённость в современных советских условиях».

Валерий Шубинский замечает по этому поводу: «Однако характерно, что и Заболоцкий — человек „красный“, отнюдь не ощущавший себя обречённым (это ещё вопрос. — В. М.), поминается в том же контексте: „Поэма ‘Торжество земледелия‘ Заболоцкого носит, например, понятный характер, и ведущая его идея, чётко и ясно выраженная, апологитирует деревню и кулачество. В моей последней поэме ‘Кругом возможно бог’

имеются также совершенно ясные места, вроде: ‘и князь, и граф, и комиссар, и красной армии боец’, или ‘глуп, как Карл Маркс’, носят совершенно антисоветский характер».

В одном абзаце соединены теза и антитеза: гротескная утопия Заболоцкого и мрачная мистерия Введенского. Было ли это инициативой Введенского? Возможно, он объединил две поэмы, чтобы продемонстрировать переход к более ясному слогу, к отказу от зауми, а следователь приделал политические ярлыки? Но любопытно, что поэма Заболоцкого именуется «кулацкой» за год до публикации её полного текста. Создаётся впечатление, что черновики рецензий-доносов, появившихся в 1933–1934 годах и сыгравших в жизни Заболоцкого роковую роль, были приготовлены заранее.

Кто бы сомневался!.. Ясно, что следователи по делу обэриутов подбирали материал, чтобы арестовать Маршака, Олейникова, Заболоцкого — и «замутить» по-настоящему крупное дело на ленинградских писателей.

Неспроста ведь они так тщательно допрашивали самого молодого и неустойчивого из арестованных — Ираклия Андроникова, в то время секретаря детского сектора Госиздата. Тот вовсе «сотрудничал со следствием». Александр Кобринский пишет по этому поводу: «Если все остальные арестованные прежде всего давали показания о себе, а уже потом вынужденно говорили о других, как членах одной с ними группы, то стиль показаний Андроникова — это стиль классического доноса. При этом Хармс, Введенский, Туфанов ссылаются чаще всего на материал, уже доступный следователю: либо на опубликованные произведения членов группы, либо на те, которые у них изъяли. Андроников выходит далеко за эти рамки, информируя следователя — помимо своего мнения об „антисоветских произведениях“ своих друзей — также и об обстоятельствах знакомства и личного общения, подавая их в нужном следствию ключе».

На первом же допросе Андроников собственноручно написал, что знал о существовании «группы Хармса — Введенского», перечислил имена всех писателей и художников, кто туда входил: «Существование образцов реакционного творчества (картины филоновской школы Порэт и Глебовой), любовь к старому строю, антисоветская сущность детских произведений Хармса и Введенского и личные беседы с ними, в которых они выявляли себя как убеждённые противники существующего строя, свидетельствовали об антисоветских убеждениях названной группы литераторов».

Впоследствии *показывая*, что группа Введенского — Хармса «опиралась на редакторов: Шварца, Заболоцкого, Олейникова и

Липавского-Савельева, помогавших ей протаскивать свою антисоветскую продукцию».

По наблюдениям Андроникова, идейная близость «группы» с редакторами выражалась в чтении друг другу своих новых стихов обычно в уединённой обстановке, в разговорах, носивших подчас интимный характер, в обмене впечатлениями и мнениями, «заставлявшими меня думать об общности интересов... этих лиц». Молодой редактор сообщал следствию: Хармс и Введенский приходили в издательство постоянно, «проводя почти всё время в обществе Шварца, Олейникова и Заболоцкого, к которым часто присоединялся Липавский, и оставались в нём по многу часов. Часто, желая поговорить о чём-либо серьёзном, уходили все вместе в пивную под предлогом использования обеденного перерыва». Встречая же их всех на симфонических концертах и на выставках картин Нико Пиросманишвили и Филонова, Андроников окончательно убедился в том, что «эти люди связаны между собой идейной общностью, выражавшейся в их взглядах и настроениях».

\*

Итак, следствие по делу обэриутов, целенаправленно расширяя круг подозреваемых и собирая на них обвинительный материал, явно хотело засадить под арест Олейникова, Маршака, Заболоцкого, Липавского и других. Но почему-то это не удалось. Возможно, самостоятельно *оформить* не могли — а столичное начальство не велело. Или в литературной политике намечалось — вместо карательных мер — некоторое послабление в связи с будущим объединением всех литераторов. Недаром вскоре власть распустила РАПП и создала Союз писателей, включив «попутчиков» на равных правах в общий строй литераторов.

Самый большой срок получил А. В. Туфанов — пять лет концлагеря. Д. И. Ювачёва (Хармса) приговорили к трём годам концлагеря. Столько же получил П. П. Калашников. Н. М. Воронича выслали в Казахстан на три года. И. В. Бахтерева — освободили, лишив права проживания в Московской и Ленинградской областях на три года. Освободили и А. И. Введенского — без права проживания в столичных областях и в крупных городах страны сроком на три года. На И. Л. Андроникова дело и вовсе было прекращено «за недоказанностью его вины».

Среди обвинений в антисоветской деятельности, предъявленных обэриутам, были весьма забавные. Как ни разъясняли Хармс с Введенским

суть их зауми, следователи не поддались. Хармс, оказывается, «путём использования „заумного“ творчества» зашифровывал контрреволюционное содержание «литературного творчества группы»; Введенский же — «культивировал и распространял поэтическую форму „зауми“, как способ зашифровки антисоветской агитации». Остаётся гадать: поняли ли этих шифровальщиков читатели?..

Иван Павлович Ювачёв, как только был оглашён приговор, отправился в Москву к Николаю Морозову, своему другу по революционной молодости и годам заключения при царе. Морозов был одним из самых авторитетных и влиятельных старых революционеров. Наверное, его ходатайство и позволило смягчить наказание Даниилу Хармсу — вместо концлагеря его отправили в ссылку.

Отец, сестра и тётка навестили Хармса в ДПЗ и нашли его — спустя полгода заключения — бледным, худеньким, слабым. Ивану Павловичу 27-летний сын и вовсе показался «библейским отроком» Исааком или Иосифом Прекрасным.

17 июня 1932 года Даниил вышел на свободу — и в тот же день отправился к Заболоцкому, Олейникову и Шварцу, а также побывал в гостях у Житкова.

Александр Введенский к тому времени уже отбывал свою ссылку в Курске, который он выбрал местом проживания. Узнав, что друг вышел на свободу, тут же отправил ему письмо:

«Здравствуй, Даниил Иванович, откуда ты взялся. Ты говорят, подлец, в тюрьме сидел. Да? Что ты говоришь? Говоришь, думаешь ко мне в Курск прокатиться, дело хорошее... Рад буду тебе страшно, завтра же начну подыскивать тебе комнату...»

Комнаты нашлись целых две, и в Курске друзья несколько месяцев провели под одной крышей. В дальнейшем Введенский отбывал ссылку в Вологде и Борисоглебске... Поскольку мысли его в основном были заняты загадкой *времени*, он и шуточки в письмах другу отпускал на тему этой философской категории: «Я уехал в Вологду. Тут зима. Сейчас иду обедать. Время тут такое же как в Ленинграде, то есть как две капли воды», или, из Борисоглебска: «Часто ли ты бреешь бороду? Между прочим, будь добр напиши, который у вас час»...

После дела обэриутов в Детгизе произошли изменения: Заболоцкому и Липавскому пришлось уволиться. Олейников и Маршак остались...

В курской ссылке Хармсу жилось худо, настроение было плохим, и в конце концов он возненавидел этот город. А вот полгода заключения в ленинградском ДПЗ, к удивлению друзей, вспоминал чуть ли не с

умилением.

Спрашивается: почему бы это? Объяснение Хармса:

«Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Совесть была спокойна, и я был счастлив».

Николай Олейников, наверное, только усмехался на такие слова. Он-то чувял лучше всех друзей, к чему дело идёт. Недаром через два года написал своего знаменитого «Таракана», предпослав ему эпиграф из лебядкинских стихов Достоевского: «Таракан попал в стакан»:

Таракан сидит в стакане,  
Ножку рыжую сосёт.  
Он попался. Он в капкане,  
И теперь он казни ждёт.

Он печальными глазами  
На диван бросает взгляд,  
Где с ножами, с топорами  
Вивисекторы сидят.

.....  
Таракан к стеклу прижался  
И глядит, едва дыша...  
Он бы смерти не боялся,  
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,  
Что душа не существует,  
Что печёнки, кости, сало —  
Вот что душу образует.

.....  
Против выводов науки  
Невозможно устоять.  
Таракан, сжимая руки,  
Приготовился страдать.

Вот палач к нему подходит,  
И, ощупав ему грудь,  
Он под рёбрами находит  
То, что следует проткнуть.



И, проткнувши, на бок валит  
Таракана, как свинью,  
Громко ржёт и зубы скалит,  
Уподобленный коню.

И тогда к нему толпою  
Вивисекторы спешат,  
Кто щипцами, кто рукою  
Таракана потрошат.

.....  
И стоит над ним лохматый  
Вивисектор удалой,  
Безобразный, волосатый,  
Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,  
Знай, что мёртвый таракан —  
Это мученик науки,  
А не просто таракан.

.....  
На затоптанной дорожке  
Возле самого крыльца  
Будет он, задравши ножки,  
Ждать печального конца.

Его косточки сухие  
Будет дождик поливать,  
Его глазки голубые  
Будет курица клевать.

Конечно, аллегория можно понимать по-всякому, на то она и аллегория. Но очень уж похож таракан в стакане на арестанта в ДПЗ, вивисекторы — на карательные органы, а наука — на то, самое передовое, учение, для которого душа не существует. Газеты Олейников читал и хорошо знал, что в стране происходит. Насчёт собственной участи у него тоже обольщений не было. В 1937 году написано простенькое стихотворение — уже безо всякой иронии:

Птичка безрассудная  
С беленькими перьями,  
Что ты всё хлопчешь,  
Для кого стараешься?  
Почему так жалобно  
Песенку поёшь?  
Почему не плачешь ты  
И не улыбаешься?  
Для чего страдаешь ты,  
Для чего живёшь?  
Ничего не знаешь ты, —  
Да и знать не надо.  
Всё равно погибнешь ты,  
Так же, как и я.

В том же году Николая Макаровича Олейникова арестовали и расстреляли. Обвинили в контрреволюционном троцкистском заговоре, — о его интересе к Троцкому ещё Андроников *показывая* пять лет назад. В ГПУ — НКВД — всё шло в *дело*. Как и материалы на Заболоцкого, которого «возьмут» в 1938-м.

Хармс и Введенский в 1937–1938 годах, по какому-то странному везению, уцелели (наверное, по своей аполитичности никому не были нужны, у НКВД и без них работы хватало). Но везения надолго не хватило: в начале войны они были арестованы и вскоре погибли...

## На перекрёстке утопий

После мрачных фантазмагорий «Столбцов» Николая Заболоцкого с новой силой потянуло к натурфилософии — как будто из промозглого, ненастного Питера ему вдруг сильно захотелось на залитую солнцем лесную поляну.

Уроки натурфилософии ему ещё в отрочестве преподавал отец-агроном — всей своей жизнью и работой. В юношестве Николай заворожил «Фауст»: неспроста своему другу, Михаилу Касьянову, он писал: «... божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него бога». Любопытное признание восемнадцатилетнего сочинителя: творения писателя оградили юношу от самого Творца — пеленой, размывающей Свет.

В 1933–1934 годах обэриуты, нуждаясь в обществе друг друга, постоянно собирались вместе: читали новое, вели беседы. Один из них, Леонид Липавский, записывал эти речи, стараясь быть предельно точным. Так появились его «Разговоры», изданные многие годы спустя.

Однажды Заболоцкий прочёл товарищам новую поэму «Облака», и завязался спор о жанре поэмы, о композиции, о сюжете. Очередь дошла до автора, и он высказал такую мысль:

«Когда-то у поэзии было всё. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно. В России поэзия жила один век — от Ломоносова до Пушкина. Быть может сейчас, после большого перерыва, пришёл новый поэтический век. Если и так, то сейчас только самое его начало. И от этого так трудно найти законы строения больших вещей».

Похоже, Заболоцкому втайне хотелось утвердить новый поэтический век именно своим творчеством. И заметим: первостепенное место в этом деле он отдавал науке.

Его самобытность шла от характера: он до всего стремился дойти своим умом. И ничего не брал на веру, всё обстоятельно обдумывал. Никита Заболоцкий писал, что определить, на какой базе сформировались взгляды поэта, весьма нелегко. Тут и общение с отцом, и собственные наблюдения (добавим — и отроческие опыты), и прочитанное в книгах. «Была характерная особенность в его работе с литературой, в восприятии искусства, в разговорах со знающими людьми — из всех этих источников он брал для себя только те сведения и идеи, которые подтверждали или могли подтвердить его собственные представления о мире. Он как будто

профильтровывал входящую в него информацию, но и то, что не мог использовать, не отбрасывал совсем, а прятал куда-то в глубины памяти и потом, порою, обнаруживал, казалось бы, далёкие от его интересов познания. В конечном счёте такая избирательность была подчинена интересам творчества. Из известных нам литературных источников, которыми поэт питал свою мысль, следует назвать работы Платона, Дарвина и Энгельса, Гёте и Хлебникова, Гр. Сковороды и Тимирязева, Вернадского и Циолковского. Но этот перечень, конечно, далеко не полный».

(Заметим: состав «источников» — довольно разношёрстный. Тут и поэты, и философы, и учёные, и, так сказать, полуучёные — такие как Энгельс и Дарвин. К примеру, «учение» Чарлза Дарвина больше гипотетического характера, чем строго научного. Слишком уж Дарвин был увлечён алхимической теорией трансмутации, считая её «могучим орудием исследования» и полагая, что «надо довериться ей, а она уж выведет нас куда-нибудь». Словом, эволюционный мечтатель! В дневнике писал: «Если мы позволим себе дать полную волю воображению, может оказаться, что животные — наши братья». В итоге, по Дарвину, человек произошёл от мира зверей, последним звеном которого была обезьяна. Ещё интереснее его рассуждение о том, как появились киты. Оказывается, их предки — бурые медведи: косолапый «часами плавает и, широко разинув пасть, не хуже кита ловит в воде насекомых».)

Смелые предсказания учёных о будущем человечества и жизни на земле, иначе говоря, научные утопии, перекликались в Заболоцком с его поэтическими утопиями и питали друг друга. Утопия учёного разума и высокое безумие поэта — *одного поля ягода*, пределом тому и другому — абсурд, любимое состояние обэриутства.

Когда Заболоцкому попала в руки брошюра Циолковского «Растение будущего. Животное Космоса. Самозарождение» (1929), он был настолько поражён прочитанным, что, обыскав книжные лавки и библиотеки Ленинграда и не найдя там работ *калужского мечтателя*, обратился с письмом прямо к нему, попросив, по возможности, прислать ему эти труды. «...мне кажется, что *искусство будущего так тесно сольётся с наукой* (курсив мой. — В. М.), что уже и теперь пришло для нас время узнать и полюбить лучших наших учёных — и Вас в первую очередь», — писал поэт Циолковскому 7 января 1932 года. То есть именно в слиянии с наукой видел Заболоцкий начало пути, по которому должна пойти поэзия, чтобы утвердить свою новую гармонию и всевладычество, утраченные в прошлом.

Уже через неделю Заболоцкий получил от Циолковского его печатные работы: «Монизм вселенной», «Причина Космоса», «Современное состояние Земли», «Прошедшее Земли», «Будущее Земли и человечества», «Воля Вселенной» и другие — всего 18 брошюр. Поэт жадно их прочитал, а затем переплёл в один том. 18 января 1932 года он написал учёному большое письмо, на редкость горячее и откровенное (в общем-то для него несвойственное), которое стоит того, чтобы привести его в главных подробностях:

«Дорогой Константин Эдуардович!

Ваши книги я получил. Благодарю Вас от всего сердца. Почти все я уже прочёл, но прочёл залпом. На меня надвинулось нечто до такой степени новое и огромное, что продумать его до конца я пока не в силах: слишком воспламенена голова.

Не могу не выразить своего восхищения перед Вашей жизнью и деятельностью. Я всегда знал, что жизнь выдающихся людей — великий бескорыстный подвиг. Но каждый раз, когда сталкиваешься с таким подвигом на деле, — снова и снова удивляешься: до какой степени может быть силён человек! И теперь, соприкоснувшись с Вами, я снова наполняюсь радостью — лучшей из всех земных *радостей*, — радостью за человека и человечество.

Ваши книги я буду изучать долго и внимательно. Некоторые вопросы для меня не ясны, несмотря на то что Вашу переписку с корреспондентами я прочёл внимательно.

Например, мне неясно, почему моя жизнь возникает после смерти. Если атомы, составляющие моё тело, разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совершенные организации, то ведь данная-то ассоциация их уже больше не возобновится и, следовательно, я уже не возникну снова.

Допускаю, что атом, попадая в организм извне, проникается жизнью этого организма и начинает думать, что он живёт в этом организме с самого зачатия. Но ведь эта же картина произойдёт с каждым из моих атомов: они войдут в состав различных организмов и проникнутся *их* жизнью, забыв о жизни в *моём теле*, — точно так же, как сейчас они не помнят о своих предыдущих существованиях».

О душе ни слова. Наука!.. атомы!..

*Душа* — появится в его стихах потом, после испытаний времени...

Но продолжим:

«Наконец, и самый атом не есть неделимая частица. Он — тоже организация более мелких частиц. Последние, надо думать, в свою очередь состоят из более мелких и т. д. Атом при известных условиях разрушается

точно так же, как разрушаюсь (умираю) я. С каждой из составляющих его частиц происходит то же, что и с моими атомами после моей смерти.

Чем совершеннее организация, тем лучше чувствует себя каждая составляющая её часть. Чем совершеннее атом — тем лучше электрону, чем совершеннее человек — тем лучше атому, чем совершеннее человеческое общество — тем лучше человеку. Личное бессмертие возможно только в одной организации. Не бессмертны ни человек, ни атом, ни электрон. Бессмертна и всё более блаженна лишь материя — тот таинственный материал, который мы никак не можем уловить в его окончательном и простейшем виде».

Не можем уловить — но это пока; уловим — приобщимся к бессмертию, к блаженности материи. Сделаемся с помощью ума — богами... Всё дело — в совершенствовании, в организации: электрона, атома, общества. И человеку, рано или поздно, это будет по силам... Материализм так или иначе приводит к человекобожии.

«Вот мне и кажется, что Вы говорите о блаженстве не нас самих, а о блаженстве нашего материала в других, более совершенных организациях будущего. Всё дело, очевидно, в том, как понимает и чувствует себя человек. Вы, очевидно, очень ясно и твёрдо чувствуете себя государством атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. Ведь одно дело — знать, а другое — чувствовать. Консервативное чувство, воспитанное в нас веками, цепляется за наше знание и мешает ему двигаться вперёд. А чувствование себя государством есть, очевидно, новое завоевание человеческого гения.

Это ощущение, столь ясно выраженное в Ваших работах, было знакомо гениальному поэту Хлебникову, умершему в 1922 году».

В доказательство Заболоцкий привёл стихотворение Хлебникова «Я и Россия». А затем переписал строки из своей поэмы «Торжество земледелия» и стихотворения «Школа жуков», показывая, как близки ему мысли Циолковского о будущем Земли, человечества, животных и растений. Эти мысли, заметил поэт, «глубоко волнуют меня. <...> В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их».

Завершая письмо, он сказал, что живёт «в кругу этих тем» давно:

«Сейчас мне 28 лет. В будущем надеюсь писать об этом ещё. <...>

Не могу ли я быть чем-нибудь полезен для Вас в Ленинграде? Правда, я не располагаю видным общественным положением, в литературе я пока почти одинок, но всё, что я в силах *сделать*, — я исполнил бы с величайшей готовностью».

Что ответил Циолковский, неизвестно: его письма Заболоцкому не

сохранились. Однако мысли Заболоцкого ему, несомненно, показались интересными: он процитировал часть письма поэта в своей брошюре «Стратоплан-полуреактивный» (1932) — в разделе «Отзывы», а саму книжечку прислал своему корреспонденту с дарственной надписью.

Заболоцкого восхищал в Циолковском полёт человеческой мысли, открывающей, как, наверное, казалось поэту, безграничные возможности для разумного устройства жизни. Однако монизм учёного он разделял до определённого рубежа: не мог принять того, что эволюция отсечёт «низших животных». Заболоцкий верил, что человеческий разум может и должен сохранить всё, что есть в природе — животных и растения. Сделать это нужно непременно, ведь в каждом живом существе, а быть может, и в неорганическом мире, есть сознание — в той или иной степени развития.

В поэме «Безумный волк» (1930), — по свидетельству Наталии Роскиной, Заболоцкий считал эту поэму высшим достижением своей поэтической и философской мысли, своим «Фаустом», — *медведь спрашивает волка: «...откуда появилось у зверя вверх желание глядеть? Не лучше ль слушаться природы — глядеть лишь под ноги да вбок», на что волк, говоря, что многих сам перекусал и «горизонтальный мой хребет с тех пор железным стал и твёрдым», вдруг признаётся:*

Меж тем вверху звезда сияет —  
Чигирь — волшебная звезда!  
Она мне душу вынимает,  
сжимает судорогой уста.

Безумный волк — существо, благодаря мысли и «опытам» растущее в высоту из своей горизонтальной звериной натуры, начинающее «сознавать» природу:

Однако  
услышать многое ещё способен ум.  
Бывало, ухом прислонюсь к берёзе  
и различаю тихий разговор.  
Берёза сообщает мне свои переживанья,  
учит управлению веток  
как шевелить корнями после бури  
и как расти из самого себя.

Волк свершает свой последний подвиг: умирая, делаясь землёй — улетает в небо:

Тому, кто видел, как сияют звёзды,  
тому, кто мог с растением говорить,  
кто понял страшное соединенье мысли —  
смерть не страшна, и не страшна земля.

Последние слова безумного волка в его «монолог в лесу» напоминают знаменитую формулу Державина из оды «Бог»: «Я царь — я раб — я червь — я Бог!»:

Ничтожный зверь, червяк в паршивой шкуре,  
лесной босьяк в дурацком колпаке —  
я — царь земли! Я — гладиатор духа!  
Я — Гарпагон, подъятый в небеса!

Я уйду. Берёзы, до свиданья.  
Я жил как бог и не видал страданья.

И звери в лесу следуют своему вождю, «Великому Летателю Книзу Головой» — строят «новый лес», в котором «горит как смерч великая наука», несут его «...вечное дело / туда — на звёзды — вперёд!».

...В августе 1953 года, по воспоминаниям сына, Заболоцкий читал «Безумного волка» Борису Леонидовичу Пастернаку, и тому поэма понравилась. Возможно, ему хотелось показать Пастернаку, что он не отказался, как тот, от своих ранних стихов, хотя возможно и другое — что сам ещё находился под обаянием своего натурфилософского творчества, оставшегося незнакомым читателю.

Тогда же, в начале 1930-х, молодого поэта поистине ужасало, как устроен мир, это взаимное пожирание одного живого существа другим. В стихах это запечатлено множество раз — и передаётся с возрастающей безжалостной зоркостью.

*Кот-отшельник* чует человеческое жильё как житейский ад:

...там от плиты и до сортира  
лишь бабьи туловища скачут;



там примус выстроен как дыба,  
на нём, от ужаса треща,  
чахоточная воеет рыба  
в зелёных масляных прыщах;  
там трупы вымытых животных  
лежат на противнях холодных  
и чугуны — купели слёз —  
венчают зла апофеоз. <...>  
(«На лестницах». 1928)

Сама природа мало чем отличается от человеческой кухни. *Лодейников* (в одноимённом стихотворении 1932 года) — глазами сердца — видит борьбу за существование, происходящую в мире растений:

...Трава пред ним предстала  
стеной сосудов. И любой сосуд  
светился жилками и плотью. Трепетала  
вся эта плоть и вверх росла, и гуд  
шёл по земле. Прищёлковая по суставам,  
пришлёмывающая, странно шевелясь,  
огромный лес травы вытягивался вправо —  
туда, где солнце падало, светясь.  
И то был бой травы, растений молчаливый бой.  
Одни, вытягиваясь жирною трубой  
и распустив листья, других собою мяли,  
и напряжённые их сочлененья выделяли  
густую слизь. Другие лезли в щель  
между чужих листов. А третьи как в постель  
ложились на соседа и тянули  
его назад, чтоб выбился из сил.

Невыносимая картина!.. Из оцепенения *Лодейникова* выводит лишь одно:

И в этот миг жук в дудку задудил.  
.....  
Природа пела. Лес, подняв лицо,

Пел вместе с лугом. Речка чистым телом  
звенела вся как звонкое кольцо.  
На луге белом  
кузнечики трясли сухими лапками,  
жуки стояли чёрными охапками —  
их голоса казались сучками...

Как совместить это всеобщее самопожирание природы с её пением?  
Уму Лодейникова это было невозможно.

...и он лежал в природе словно в кадке —  
совсем один — рассудку вопреки.

*Мужик* в «Осени» (1932) страшно мучится от такой несовершенной  
жизни и мечтает «разбить синонимы: природа и тюрьма»:

Мир должен быть иным. Мир должен быть круглей,  
величественней, чище, справедливей,  
мир должен быть разумней и счастливей,  
чем раньше был и чем он есть сейчас.

В трудах учёных Заболоцкий искал выход из этого, по его мнению,  
тупика эволюции.

В учении Вернадского ему по сердцу пришлась идея о том, что  
человечество будет использовать для питания солнечную энергию и даже  
неорганические вещества. В работах Циолковского ему нравится то, что  
вся материя по существу жива: «Вся сущность космоса (как и все его виды)  
в зачатке жива и, принимая органически сложные формы, способна  
чувствовать радость и страдание, способна мыслить, судить, представлять  
и действовать». Циолковский утверждал, что «чувствующие» атомы есть  
даже в камне, — и это было близко мироощущению Заболоцкого. В работе  
Тимирязева «Жизнь растений» поэту была дорога мысль о том, что  
«сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и  
только яркой искрой вспыхивает в разуме человека».

Однако как воплотить высшую справедливость в жизни, как сделать  
мир *круглей и чище*? Сочувствие к угнетённому человеком миру природы

порой доходит у Заболоцкого до такой крайности, за которой безумие и абсурд:

Каменщики  
Мы поставим на улице сто изваяний.  
Из алебаstra сделанные люди,  
у которых отпилены черепные крышки,  
мозг исчез,  
а в дыры стеклянных глазниц  
натекла дождевая вода,  
и в ней купаются голуби, —  
сто безголовых героев  
будут стоять перед миром,  
держа в руках окончанья своих черепов.  
Каменные шляпы они сняли со своих черепов,  
как бы приветствуя будущее!  
Сто наблюдателей жизни животных  
согласились отдать свои мозги  
и переложить их в черепные коробки ослов,  
чтобы сияло животных разумное царство.  
Вот добровольная расплата человечества  
со своими рабами!  
Лучшая жертва,  
которую видели звёзды! <...>

Оптимистическая картина!.. Кстати, спрошено ли согласие у самих ослов на избавление от их собственных мозгов, вдруг у животных другое мнение насчёт этого?..

«Рассудку вопреки» Николай Заболоцкий искал гармонию в природе — и не находил. Оставалось — «провидеть новый век». В поэме «Деревья» он записывает это провидение о человеке — «добром вожде» природы, о животных, которые наконец обретают сознание и сбрасывают свои вековые тюремные вериги. Вот уже скоты — «рогатые граждане» сами пишут книгу:

О том, как человек, их старший брат и друг,  
всю землю превратит в один огромный сад,  
где зверь, и птица, и растение

находят мирное своё соединение.

Но что это как не благодушная фантазия, записанная площадными стихами... На истинном художественном уровне поэта, автора «Столбцов», среди его натурфилософских стихов и поэм стоит лишь «Лодейников».

Заболоцкий чувствовал: эти провидения-благопожелания всё же неубедительны, чего-то им не хватает. Не потому ли он собирался снабдить поэму «Деревья» примечаниями? Среди них мысли биологов, в частности, цитата из книги «Биосфера» академика Вернадского, замечание биолога Н. И. Грековой о мясной пище, идущей на образование мозговой ткани. Но самое примечательное и необычное примечание — мысль Григория Сковороды, человека глубоко верующего, единственного верующего из тех выдающихся умов, у которых поэт черпал опору в своей натурфилософии:

«Враги твои собственные суть мнения, воцарившиеся в сердце твоём и всеминутно оное мучающие, шепотники, клеветники и противники Божии, хулящие непрестанно владычное в мире правление и древнейшие законы обновить покушающиеся, сами себя во тьме и согласников своих мучающие, видя, что правление природы во всём не по бесноватым их желаниям, не по омрачённым понятиям, но по высочайшим Отца нашего советам вчера и днесь и вовеки свято продолжается. Сии то неразумюще хулят распоряжение кругов небесных, охуждают качество земель, порочат изваяние премудрой Божьей десницы в зверях, деревьях, горах, реках и травах; ничем не довольны; по их несчастному и смешному понятию, не надобно в мире ни ночи, ни зимы, ни старости, ни труда, ни голоду, ни жажды, ни болезней, а паче всего смерти; к чему она? Ах, бедное наше знание и понятие!»

Не к себе ли — отчасти, а то и полностью — обращена эта цитата из православного мыслителя?..

В 1934–1936 годах Заболоцкий написал новое стихотворение из, видимо, намеченного им цикла — «Лодейников в саду». В художественном смысле оно сильнее прежнего — но «спокойствия», гармонии в природе и в этом новом творении поэт не нашёл. Природа божественно хороша только на вид — но она уже *не поёт*, как прежде, зато страшное в ней открывается Лодейникову с ещё большей очевидностью:

Лодейников склонился над листьями,  
и в этот миг привиделся ему  
огромный червь, железными зубами

схвативший лист и прянувший во тьму.  
Так вот она, гармония природы!  
Так вот они, ночные голоса!  
На безднах мук сияют наши воды,  
на безднах горя высятся леса!  
Лодейников прислушался. Над садом  
шёл смутный шорох тысячи смертей.  
Природа, обернувшаяся адом,  
свои дела вершила без затей.  
Жук ел траву, жука клевала птица,  
хорёк пил мозг из птичьей головы,  
и страшно перекошенные лица  
ночных существ глядели из травы.  
Природы вековая давящая  
соединяла смерть и бытие  
в единый клуб. Но мысль была бессильна  
соединить два таинства её.

Алексей Пурин в статье «Метаморфозы гармонии: Заболоцкий» пишет:

«Постмодернизм, мыслящий стилистическое развитие искусства закончившимся, — несомненное следствие мыслительного феномена нашего времени — смертобоязни, порождённой „сумерками кумиров“ и словами Ницше: „Бог умер“. Он — утопия вечной стилистической старости и стилистического равенства живого и мёртвого. Собственно говоря, в России постмодернизм берёт своё начало из „Философии общего дела“ Николая Фёдорова, из его утопической мечты о всеотчем воскрешении — то есть из направления всей деятельности живых на физическое воскрешение всех ранее живших мёртвых. Кажущаяся гуманистической, эта фёдоровская идея на самом деле представляет собой один из самых бесчеловечных вариантов соборной утопии, ибо выражает интерес мертвеца, в жертву которому приносится всё живое. (Ну, допустим, не совсем так: мертвец сам-то никакого интереса к своему воскрешению не проявлял. — В. М.) Философия уничтожения жизни — очевидно — вырастает из смертобоязни».

Пурин считает, что утопия Фёдорова оказала огромное воздействие на русскую культуру первой трети XX века — в частности, на формирование семантической утопии Хлебникова, космической утопии Циолковского,

«аналитического искусства» Филонова:

«Эти утопии в основе своей порождены всё той же отчаянной смертобоязнью человека, утратившего Бога и стремящегося заградиться от своего собственного страха — ракетами, цифровыми выкладками, словами.

Заболоцкий... оказался в начале 30-х годов на таком перекрёстке утопий. Его произведения той поры — стихотворения и поэмы „Подводный город“, „Школа жуков“, „Торжество земледелия“, „Безумный волк“, „Деревья“ — рисуют жуткую картину постоянно уничтожающей себя природы. <...>

Эту „вековечную давящую“ природы следует, по мысли Заболоцкого, прекратить вмешательством человека, — что в точности соответствует воззрениям Фёдорова: утопист призывал к поголовной мобилизации человечества на войну с природой. Правда, в отличие от библиотечного старца, чья ненависть к смертоносной реальности делала его утопию хотя бы целеустремлённой, Заболоцкий, осложняя мечту об изживании экзистенции своеобразным марксизмом и дарвинизмом, оставляет свою утопию безвыходно противоречивой.

Сказав „а“ и уничтожив эксплуатацию человека человеком, рассуждает он, нужно сказать „б“ и уничтожить эксплуатацию человеком природы — его, человека, насилие над животными и растениями, ибо они, животные и растения, суть потенциальные носители разума и уже, быть может, находятся на пути его обретения.

<...> ...сама утопия Заболоцкого уничтожается внутренним противоречием: благостная мечта о всеобщем вразумлении апеллирует к насилию, что всегда свойственно утопическому сознанию, предполагает выискабливание неразумных ослиных мозгов. Увы, и Заболоцкий не избежал страшных поветрий эпохи».

\*

Но вопрос ещё и в другом: удалась ли Николаю Заболоцкому попытка вернуть, как он того желал, поэзии науку? Несмотря на всю широту и формальное разнообразие его натурфилософского творчества, его стихи и поэмы этого направления нельзя признать в художественном плане лучшими из того, что написано им. Они уступают и *столбцам*, и поздней лирике.

Вряд ли вообще эта попытка могла получиться удачной. Век уже был другой. У Ломоносова и у Державина, наряду с ещё наивной тогдашней

наукой, в поэзии жил — и совершенно естественно — Бог; Творец одухотворял творения поэтов великой внутренней силой. У Заболоцкого же в «наличии» оказалась одна наука, пусть и достигшая определённых высот, но всё равно далеко не совершенная — человеческая, тварная.

В письме Циолковскому он сетовал на «консервативное чувство», воспитанное веками, которое мешает знанию двигаться вперёд. Однако это, иными словами, религиозное чувство никогда и никому из поистине великих учёных не только не мешало, но помогало в научной работе. (Кстати говоря, недовольство «консервативным чувством», которое с рождения воспитывалось и в нём самом, косвенно отразилось тогда же у Заболоцкого в «Ксениях» (1931) — шуточных экспромтах; в некоторых из них грубовато высмеиваются *попы*. «Монах Ермил в Великую Субботу / за всенощной ребёночка родил и пр.», «Священник раз напачкал на рубаху и пр.».)

И ещё одно: наука, в чистом виде, была на месте в поэзии Древнего мира и вполне естественно в своё время «отпочковалась» от поэзии, потому что ей потребовался свой язык. Потеряла ли от этого поэзия? Думается, нет. Поэзия — особый вид постижения мира, и «доказывается» она не опытом, как наука, а сама собой.

В статье Юрия Колкера о жизни и судьбе поэта по этому поводу сказано резко и коротко: «Сам Заболоцкий от своих ранних стихов не отказался — не мог отказаться, ибо он-то их прожил, выстрадал, они были его частью, на них покоилась его ранняя известность. Отказаться — значило уж точно сердце пополам разорвать. Лучшей своей вещью он иногда называл футурологическую поэму *Безумный волк* (1931), безумную и пустую по мысли, слабую по исполнению и — поддающуюся пересказу. Всё та же мысль: животные должны очеловечиться, „достигнув полного ума“. В качестве поэтического откровения является волк-вегетарианец, „пекущий хлеба“.

Такие вещи не жизнеспособны не потому, что нарисованная Заболоцким картина вздорна. Любой вздор может стать чудесной поэзией. Ошибка в другом: поэт вообще не должен и не может быть мыслителем (а оригинальный мыслитель — поэтом). Сфера мысли как таковой — философия и наука. (То, что мы в быту называем мыслью, к настоящей мысли — в троюродном родстве.) Поэтическая мысль неотделима от звука и ритма, без них не живёт. Вот этой-то мыслью бедна поэма — и беден весь ранний Заболоцкий».

## Воздух времени

Говорят, в революцию люди искусства вздохнули наконец полной грудью: кислородное голодание *годов реакции* сменилось-де животворной атмосферой творчества, *пьянящим воздухом свободы* — ну и прочее в таком же духе. (Хотя алхимическое превращение золотого века в Серебряный, с его авангардом, чрезвычайным разнообразием формальных поисков, свершилось несколько раньше — ещё до 1917 года.) Но вот в начале 1920-х годов самый одарённый и самый чуткий из тогдашних творцов, поэт Александр Блок сказал: «Нечем дышать...» И — погиб.

Что же тогда говорить о *воздухе* начала 1930-х?..

К 1933 году «чинарям» стукнуло уже по тридцать или около того лет. Недавних бунтарей и возмутителей спокойствия уже давно лишили возможности проводить крупные поэтические вечера; их книг никто не издавал (за исключением полухалтурных поделок для детей). Движение обэриутов почти окончательно заглохло. Едва ли не единственной приметой их присутствия в современной литературе стала обязательная, как чиновничья работа, ругань и травля в газетах и журналах, на писательских собраниях — как кого-то из них поодиночке, так и всех вместе. Однако они ещё были нужны самим себе — чтобы сообща думать, знакомить друг друга с новыми произведениями, обмениваться знаниями, острить да и просто собутыльничать.

Встречались чаще всего в доме Липавских. Кроме хозяев: Леонида Савельевича Липавского и его красавицы и умницы жены Тамары Александровны — основных гостей было ещё пятеро: Даниил Иванович Хармс, Александр Иванович Введенский, Николай Алексеевич Заболоцкий, Николай Макарович Олейников и Яков Семёнович Друскин; порой заходили и другие их общие знакомые. (В «Разговорах», составленных Липавским, эта семёрка обозначалась, соответственно, инициалами: Л. Л., Т. А., Д. Х., А. В., Н. А., Н. М. и Я. С.)

Эти встречи проходили как раз в то безвременье, которое наступило после разгрома различных литературных группировок и роспуска РАППа. Если воспользоваться языком того времени, под знаменем социалистического реализма создавался единый Союз писателей. Остатки прежнего *творческого кислорода* в литературной атмосфере были уже выкачаны — а потом все без исключения стали дышать совсем другой воздушной смесью.



Философ Леонид Липавский, записывавший дружеские беседы, которые впоследствии составили книгу «Разговоры», позволил себе в конце своих записей небольшой монолог. Вот он:

«На что похоже время? Самый этот вопрос кажется странным. Так привыкли мы к тому, что время единственно, всеобъемлюще, ничего подобного ему нет, мы находимся в нём, как в воздухе.

Его и не замечали сначала, как воздух. Но в воздухе есть свои законы сгущения, разряжения, есть его несовпадения с движением человека, ветер. Это позволило его исследовать. И время тоже не однообразно.

Если бы удалось, хотя бы мысленно, выкачать время, поняли [бы], как будет без него.

Мы ощутили [бы] неискоренимое удивление: как это может быть — было и нет. Или всё всегда существует или ничего и никогда не существует. Очевидно, есть какая-то коренная ошибка, от которой надо освободиться, чтобы понять время. И мы нащупываем среди обыденных вещей те, которые многозначительны, точки, под которыми спрятаны ходы внутрь. Мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает во времени, а состоит из него.

Время похоже на последовательность, на разность и на индивидуальность. Оно похоже на преобразование, которое кажется разным, но остаётся тождественным.

Мы хотим видеть уже сейчас так, как будто мы не ограничены телом, не живём».

И далее:

«На этом кончается запись разговоров. Разговоры происходили в 1933 и 1934 гг. В них участвовало семь человек.

Зачем я предпринял эту неблагодарную работу? И как хватило терпения её довести до конца?

Меня интересовало фотографирование разговоров, то, чего, кажется, никто не делал: я пробовал сохранить слова нескольких связанных друг с другом людей в период, когда связь их стала разрушаться; мне хотелось составить опись собственных мыслей, чтобы знать, что делать дальше».

Время — воздух времени, с его сгущениями и разряжениями, — ветер времени...

Нас, конечно, больше всех интересует в этой книге бесед «Н. А.» — Николай Алексеевич Заболоцкий.

Сначала друзья высказались о том, что кого интересует.

Заболоцкий ответил: «Архитектура; правила для больших сооружений. Символика; изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления — драка, обед, танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции. Северные народности. Уничтожение французи́ков. (Под *французиками* Заболоцкий, как поясняет его сын, понимал поверхностных, пустых людей, стремящихся к внешнему блеску, — тип грибоедовского „французика из Бордо“, особенно неприятный ему. — В. М.) Музыка, её архитектура, фуги. Строение картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы. Доброта — Красота — Истина. Фигуры и положения при военных действиях. Смерть. Книга, как её создать. Кимвалы. Корабли».

Очевиден его повышенный интерес к архитектуре — разумеется, в широком понимании слова. Это, с одной стороны, показывает тягу поэта к эпике, с особой силой проявившуюся в 1930-е годы, с другой — его устремление к владению секретами композиции: поэм и книг. Вообще, очень многое завязано у него на стихи: этим объясняется и влечение к символическому, к музыке, к буквам, знакам, цифрам...

Любопытный диалог у поэта произошёл с Липавским:

*«Л. Л.: Счастливы вы, что не прекращаете работы и знаете точно, над чем работать.»*

*Н. А.: Это кажется, что я знаю. А работать надо каждому, несмотря ни на какие обстоятельства.*

*Л. Л.: Да, на них следует смотреть, как на неизбежное, может быть, собственное отражение или тень. <...> Но есть другое, что препятствует: ошибка или непоправимое преступление, допущенное ранее. <...>*

*Н. А.: Вы во власти преувеличений и смотрите внутрь, куда смотреть не стоит. Начать по-новому можно в любой момент, это и будет искупление».*

То есть искупление — в постоянной работе. Так, собственно, он и прожил жизнь...

*«Удивительная легенда о поклонении волхвов, — сказал Н. А., — высшая мудрость — поклонение младенцу. Почему об этом не написана поэма?»*

Прошло более двадцати лет после этого разговора... В тот день, когда Николай Алексеевич умер, на его рабочем столе нашли листок бумаги с

наброском плана новой поэмы:

*«1. Пастухи, животные, ангелы...»*

Возможно, эту поэму о поклонении волхвов он вынашивал глубоко в себе все эти долгие и очень трудные для него годы, но не успел осуществить в слове...

Заговорили о планере, который, возможно, изобретали и в прежние эпохи, а потом забывали. Потом заговорили о плавании и полёте...

*«Н. А.: Я переплыл реку с поднятыми руками! (Он воздал похвалы плаванию: плывущий испытывает радость, недоступную другим. Он лежит над большой глубиной, тихо плывёт на спине, и не боится пропасти, парит над ней без опоры. Полёт — то же плавание. Но не аппаратный. Планер — предвестие естественного полёта, подобного искусству или полётам во сне, об этом мечтали всегда)».*

Речь поэта!..

*«3 августа Н. М. и Д. Х. Собрались у Н. А. в Эрмитаже. <...> Н. А. говорил: „Поэзия есть явление иератическое“».*

Картинка одной из встреч: друзья обсуждали одновременно несколько тем, а Заболоцкий «писал в это время шуточную оду и сам от удовольствия смеялся».

*«Н. А. прочёл: „Облака“».*

Текст этой поэмы не сохранился. Кто был тогда в доме Липавских и обсуждали ли поэму, неизвестно.

Далее следует лишь общее замечание Леонида Савельевича о сюжете как таковом. Философ считал, что время сюжетов прошло, что теперь ни причинная связь, ни переживания человека по этому поводу не интересны. «Сюжет — несерьёзная вещь. Недаром драматические произведения всегда кажутся написанными для детей или для юношества. Великие произведения всех времён имеют неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой, вроде — я вышел из дому и вернулся домой. Потому что настоящая связь вещей не видна в их причинной последовательности».

Заболоцкий на это возразил: «Но должна же вещь быть законченной, как-то кончаться». — «По-моему нет, — ответил Липавский. — Вещь должна быть бесконечной и прерываться лишь потому, что появляется ощущение: того, что сказано, довольно...»

Поэму «Облака», судя по письму жене от 26 мая 1933 года, Николай Алексеевич начал писать ещё весной. К осени он закончил — и 16 октября

прочёл, по-видимому, Даниилу Хармсу. Хармс писал своей знакомой, К. В. Пугачёвой:

«Мне всегда подозрительно всё благополучное.

Сегодня у меня был Заболоцкий. Он давно увлекается архитектурой и вот написал поэму, где много высказал замечательных мыслей об архитектуре и человеческой жизни. Я знаю, что этим будет восторгаться много людей. Но я так же знаю, что эта поэма плоха. Только в некоторых своих частях она, почти случайно, хороша. Это две категории.

Первая категория понятна и проста. Тут всё так ясно, что нужно делать. Понятно куда стремиться, чего достигать и как это осуществить. Тут виден путь. Об этом можно рассуждать; и, когда-нибудь, литературный критик напишет целый том по этому поводу, а комментатор шесть томов о том, что это значит. Тут всё обстоит вполне благополучно.

О второй категории никто не скажет ни слова, хотя именно она делает хорошей всю эту архитектуру и мысль о человеческой жизни. Она непонятна, непостижима и, в то же время, прекрасна, вторая категория! Но её нельзя достигнуть, к ней даже нелепо стремиться, к ней нет дорог. Именно эта вторая категория заставляет человека вдруг бросить всё и заняться математикой, а потом, бросив математику, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок.

Эта та самая неблагополучная категория, которая делает гения.

(Кстати, это я говорю уже не о Заболоцком, он ещё жену свою не убил и даже не увлёкся математикой.)».

Очевидно, под второй категорией Хармс подразумевает милую его сердцу иррациональность.

По заметкам Хармса в записных книжках того периода Никита Заболоцкий восстановил в общих чертах то, что было в поэме. Конечно, она примыкала к ряду натурфилософских стихов и поэм, что писал поэт в начале 1930-х. В «Облаках» был создан некий архитектурный ансамбль мироздания и в первую очередь — природы. «<...> ...действующими лицами были облака („нестройны, выпуклы, понуры“), речка, крестьяне, пастух и старик, животные, предки, Философ и строитель, вестники. В речке происходило купание, пастух умирал, вестники вели разговоры, открывалось „второго зрения окно“, Философ с кем-то сидел до самого утра...»

*Облака* рассеялись, так и не долетев до читателя (в 1948 году Заболоцкий уничтожил поэму, текст которой сберегла во время его заключения жена). Возможно, клочки их зацепились в отдельных

стихотворениях поэта...

Взволнованный и растерянный Заболоцкий...

«Н. А. видел сон, который взволновал его, сон о тяготении.

— Тяготения нет, все вещи летят и земля мешает их полёту, как экран на пути. Тяготение — прервавшееся движение, и то, что тяжелей, летит быстрее, нагоняет.

Д. Х.: Но ведь известно, что все вещи падают одинаково быстро. И потом, если земля препятствие на пути вещей, то непонятно, почему на другой стороне земли, в Америке, вещи тоже летят к земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас.

Н. А. сначала растерялся, но потом нашёл ответ:

— Те вещи, которые летят не по направлению к земле, их и нет на земле. Остались только подходящих направлений. <...>

Вселенная, это полый шар, лучи полёта идут по радиусам внутрь, к земле. Поэтому никто и не отрывается от земли.

Он пробовал ещё объяснить свой взгляд на тяготение на примере двух караваев хлеба. <...> Но не смог. И скоро прекратил разговор».

Вся честная компания вдруг «заваливается» в гости к Заболоцким — на пирог...

«Д. Х: Не хотите ли пойти к Н. А.? Там уже Н. М. и кроме того ещё пирог.

Л. Л.: Не совершить ли нам по пути преступления, иначе говоря предательства.

Д. Х.: Я уже совершил его однажды сегодня, но готов вторично.

И они зашли по дороге в пивную и выпили по кружке. У Н. А. прочёл Н. М. „Похвалу изобретателям“».

Хвала изобретателям, подумавшим о мелких  
и смешных приспособлениях:

О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,

Хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях,

Кто к чайнику приделал крышечку и нос.

.....

Бирюльки чудные, — идеи ваши — мне всего дороже!

Они томят мой ум, прельщают взор...

Хвала тому, кто сделал пуделя на льва похожим

И кто придумал должность — контролёр!

«Н. А.: Мне нравится. Чего-чего тут нет. Не знаю, хорошо ли „бирюльки“.

Н. М.: Не хочешь ли ты сказать, что много требухи?

Тут началась особая словесная игра, состоящая в преобразовании, подмене и перекидывании словами по неувловимому стилистическому признаку. Передать её невозможно; но очень большая часть разговоров сводилась к тому кругу людей и такой игре; победителем чаще всего оставался Н. М. На этот раз началось с требухи и кончилось головизной. <...>

Между тем ели пирог и Д. Х. бесстыдно накладывал в него шпроты, уверяя, что этим он исправляет оплошность хозяев, забывших начинить пирог. Потом он стал рассуждать о воспитании детей, поучая Н. А.

Д. Х.: Надо ребёнка с самого раннего возраста приучать к чистоте. И это совсем не так сложно. Поставьте, например, у печки железный лист с песком...

Младенец же спал в это время и не знал, что о нём так говорят. Но Н. А. эти шутки были неприятны».

Обсуждали книгу английского физика и астрофизика Джеймса Джинса, считавшего, что жизнь на Земле для космоса — ничтожная подробность, что громадная Вселенная равнодушна ко всякой жизни и даже враждебна ей.

«Н. А.: Книга Джинса мрачная, не дающая ни на что ответа. Поражает страшная пустота вселенной, исключительность материи, ещё большая исключительность планетных систем и почти полная невозможность жизни. Всё астрономическая случайность, притом невероятная. Чрезвычайно неудобная вселенная.

Л. Л.: Всё же она показывает, что вселенная имеет свой рост, рождение и гибель. Она драматичнее и индивидуальнее, чем считали прежде.

Н. А.: Конечно, звёзды нельзя сравнивать с машинами, это так же нелепо, как считать радиоактивное вещество машиной. Но посмотрите на один интересный чертёж в книге, распределение шаровых скоплений звёзд в плоскости Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую фигуру? И солнце не в центре её, а на половом органе, земля точно семя вселенной Млечного Пути».

Образный взгляд поэта!..

Изучая труды Вернадского и Циолковского, Заболоцкий находил подтверждение своим догадкам о том, что жизнь на Земле — не случайна, а результат эволюции материи, и Земля распространит разум по всей Вселенной и преобразит её существование.

*«Н. А. (входя): Я меняю фамилию на Попов-Попов. Фамилия двойная, несомненно аристократическая».*

Чтобы оценить эту шутку, вспомним, что́ за время на дворе. Пора богоборчества, взрывают храмы, в газетах «воинственные безбожники» глумятся над верой; а некоторые граждане предусмотрительно меняют свои старые, поповские фамилии на передовые, советские...

Уроки каллиграфии... (Потом, в заключении, они пригодились в чертёжной работе.)

Заболоцкий как-то копировал с энциклопедического словаря автографы, его товарищи беседовали о музыке — то и дело слышались имена великих композиторов.

*«Л. Л. это надоело. Он вспомнил строчки А. В. из автобиографии:*

*Гениальному мужчине  
Гёте, Пушкин и Шекспир,  
Костомаров и Пуччини  
Собрались устроить пир.*

Затем Н. А. играл как всегда в „трик-трак“ и напевал несложную песенку: „Один адъютант имел аксельбант, а другой адъютант не имел аксельбант“».

Безмятежность отдыха среди своих...

Липавский о Заболоцком, в ответ на вопрос Хармса:

*«Л. Л.: Его поэзия — усилие слепого человека, открывающего глаза. В этом его тема и величие. Когда же он делает вид, что глаза уже открыты, получается плохо».*

Самоирония...

*«Н. А.: Я заключил договор на переделку „Гаргантюа и Пантагрюэль“. Это, пожалуй, даже приятная работа. К тому же я чувствую сродство с Рабле. Он, например, хотя и был неверующим, а*

целовал при случае руку папе. И я тоже, когда нужно, целую ручку некоему папе».

«И. А.: Быть бы Я. С. еврейским начётчиком, а он сбился с пути и оттого тоскует».

Ирония?.. добродушная усмешка?.. — поди разбери.

Заболоцкий с Липавским составили таблицу возрастов — от десяти лет до ста пятидесяти.

«Т. А.: Но ведь нормальная длительность человеческой жизни семьдесят лет. Так, например, считают немцы.

Н. А. (возмущённо): Немцы! У них вообще сплошное безобразие. Так, например, Тельман сидит уже который месяц в тюрьме. Можно ли это представить у нас?.. А деревья живут очень долго. Баобаб — шесть тысяч лет. Говорят, есть даже такие деревья, которые помнят времена, когда на земле не было ещё деревьев.

Л. Л.: А щука? Почему ваши предки не завели себе щуки? У вас в аквариуме плавала бы фамильная щука, напоминая вам о всех живших до вас Агафонах. (Знал ли, нет о том, что деда Заболоцкого по отцу звали Агафоном?.. — В. М.)

Н. А. (взглянув себе на ноги и заметив на коленях заплаты): Когда богатым буду, заменю эти заплаты бархатными; а посередке ещё карбункулы нашью.

Т. А.: Много вам нужно в месяц, чтобы не нуждаться в деньгах?

Н. А.: Тысячу. Первые шесть месяцев жил бы на пятьсот, чтобы выплатить долги, а потом бы в своё удовольствие.

Т. А.: Вы ведь и сейчас живёте, не плачете.

Н. А.: Как сказать, иной раз и зарыдаешь, когда отовсюду разом поднажмут платежи, а платить нечем. Ну, впрочем, чего мы заговорили об этом...»

Разговорчики...

Заговорили о кончине Андрея Белого.

«Л. Л.: У него был талант, но дряни в нём ещё больше, чем таланта.

Н. А.: Единственная вещь, которую можно читать, это „Огненный ангел“. Да и то, она не его, а Брюсова».

«Н. А.: Некоторые находят, что у меня профиль и фас очень различны. Фасом я будто русский, а профилем будто немец.



Д. Х.: Что ты! У тебя профиль и фас так похожи, что их нетрудно спутать.

Н. А.: Чистые типы это основа; помеси, даже конституций, это дурное человечество».

Разговаривали о людях.

«Н. М.: Почему вы, Я. С., не любите Н. А.?

Я. С.: Люди делятся на жалких и самодовольных; в Н. А. нет жалкого, он важен, как генерал.

Н. М.: Это неверно. Разве не жалок он со всеми своими как будто твёрдыми взглядами, которые он так упрямо отстаивает и вдруг меняет на противоположные, со всей своей путаностью?»

Туманная запись:

«<...> ...спор о том, нужно ли считаться с направлением истории, спор длинный и бесплодный. Н. А. спорил бестолково и с обидами. Он сказал: „Я изложил эти мысли в Торжестве Земледелия и удивляюсь, что никто смысла поэмы не понял“. В словах его было нечто неприятное».

«За водкой.

Н. А.: Женитесь, Я. С., вы не знаете, как приятно быть женатым».

«Д. Х.: Я уважаю Н. М., а Н. А. и А. В. люблю. Так, за больным Н. М. я, наверное, не стал бы ухаживать, а за теми стал.

Т. А.: Бросьте, Д. Х., ни за кем вы не будете ухаживать; ведь вы, чуть кто заболевает, всегда бежите прочь».

О жизни...

«Н. А.: Я тут познакомился с одним человеком и он мне даже понравился, пока я не узнал, что его любимая картина „Какой простор!“ (картина Репина. — В. М.). В этой картине весь провинциализм, неопрятность и бездарность старого русского студенчества с его никчёмной жизнью и никчёмными песнями. А как оно было самодовольно! Осинový кол ему в могилу...

Знаете, мне кажется, что все люди, неудачники и даже удачники, в глубине души чувствуют себя всё-таки несчастными. Все знают, жизнь — что-то особенное, один раз и больше не повторится; и потому она должна бы быть изумительной. А на самом деле этого нет».

Сон — это состояние Заболоцкого интересовало всегда, ему посвящено не одно стихотворение...

«Н. М.: Я видел несколько раз во сне, что умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно, но когда кровь начинает вытекать из жил, уже совсем не страшно и умирать легко.

Н. А.: Мне кажется, я видел даже больше, момент, когда будто уже умер и растекаешься в воздухе. И это тоже легко и приятно... Вообще во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюблённость переживаются во сне.

Л. Л.: Бывают и тусклые, неотвязные сны. <...>

Н. А.: Когда среди ночи проснёшься под впечатлением сна, кажется, его невозможно забыть. А утром невозможно вспомнить. Но сам тон сна настолько отличается от жизни, что те вещи, которые во сне гениальны, кажутся увядшими и ненужными потом, как морские животные, вытащенные из воды. Поэтому я не верю, что можно во сне писать стихи, музыку и т. п., чтобы потом пригодилось».

Говорили о боли. Даниил Хармс хвалил мудрость йогов, нашедших-де, как правильно жить...

«Н. А.: Верно, и зубная боль чем-то ценна. Ваши йоги самодовольны; это противное занятие — прислушиваться к своим кишкам.

Д. Х.: Если ты будешь ругать йогов, я пририсую к Рабле усы и, проходя мимо монголобурятского общежития, сделаю неприличный жест...

Тут Н. А. вдруг порозовел; он встал и, махнув в воздухе рукой, ни с кем отдельно не попрощавшись, ушёл.

Н. М.: Глупо, глупо ведёт себя; и всегда так, когда с ним спорят. На что обиделся? На то, верно, что когда разговаривал по телефону, Д. Х. назвал его уткой.

Д. Х.: Нет, дело в том, что он сел за диваном, вне общего внимания, ну, ему и стало потом обидно.

(Тут они были неправы: Н. А. не выносил, когда разговор превращался в краснбайство; как раз это послужило когда-то толчком к его разрыву с А. В.)».

\*

Последние страницы записей Липавского говорят о закате их

дружеского сообщества. Встречи всем уже наскучили, противоречия между товарищами только увеличивались. Заболоцкий как-то сказал Липавскому, что они с Олейниковым и Хармсом накануне не беседовали, а только обличали друг друга. Липавский даже не спросил — в чём? Для Заболоцкого это было напрасной потерей времени, к тому же он понимал, что у всех свои интересы: Хармсу, например, «нужен журнал», а ему самому — всего-навсего две комнаты вместо одной, чтобы можно было удобнее работать. Липавский уверял, что жизнь поэта всё же легче, чем его с Друскиным, потому что талантлив и знает что делать, а вот они — подёнщики.

— Мы все живём как запертые в ящике, — сказал Заболоцкий. — Больше так жить невозможно, при ней нельзя писать.

Наверное, «при ней» — значило не только жизнь обособленной от мира компании, но и вообще жизнь — в обществе, в стране. Однако Липавский этого значения не услышал или же не захотел услышать.

— Я знаю всё это, — ответил он. — Но мы не директора фабрик, для которых одиночество прекращает возможность дела. Все великие волны поднимались всегда всего несколькими людьми. У нас, мне кажется, были данные, чтобы превратить наш ящик в лодку. Это не случилось, тут наша вина.

И перешёл на личности. Введенскому на всё плевать, кроме личных удовольствий; он не скучает лишь за картёжной игрой. Хармс, при всей своей деланой восторженности, глубоко ко всему равнодушен. Друскин деспотичен, «как манияк». А пуще всех виноват Олейников: мог всех сплотить, но от любого дела ускользает в сторону, хочет быть сам по себе.

— Напрасно вы вините их, — возразил Заболоцкий. — Просто люди разные и не было желания грести вместе. Свободы воли ведь нет. Это яснее в искусстве. Надо писать как можно чаще, потому что удача зависит не от тебя, пусть будет хоть больше шансов.

Выслушав слабое возражение собеседника, продолжил:

— К этому всё и сводится: создать условия, дать максимум в искусстве. Ящик оказался плохим помещением, значит, следует его разломать и выйти из него.

И добавил:

— Что ж, компания распадается. Когда у меня в гимназии были товарищи, тоже казалось, неужели я буду без них. Но жизнь всё время создаёт новое. Сейчас дело уже не в компании, сейчас — спасайся, кто может.

Он говорил — о личном творчестве. Скорее всего — о личном. Хотя

время было такое, что слова невольно задевали и другие, более глубокие смыслы. Спасать пришлось не только творца в себе, но и свою собственную жизнь — и далеко не каждому из них это удалось...

Своеобразной эпитафией этому распавшемуся сообществу (отдельные дружеские связи при этом не прервались) стало стихотворение Даниила Хармса, посвящённое Николаю Олейникову и написанное, что непривычно для Хармса, классическим размером:

Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,  
О чём задумался? Иль вновь порочишь мир?  
Гомер тебе пошляк, и Гёте глупый грешник,  
Тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир.

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,  
Порой печалит слух, иль вовсе не смешит,  
Он даже злит порой, и мало в нём искусства,  
И в бездну мелких дел он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой  
Летишь, забыв закон видений встречных толп?  
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?  
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столп?

Далее следовали ещё две строфы, вычеркнутые автором: они напрямую касались их «ящика», не ставшего «лодкой», — или, иначе говоря, их Ноевым ковчегом:

Вот сборище друзей, оставленных судьбою:  
Противно каждому другого слушать речь;  
Не прыгнуть больше вверх, не стать самим собою,  
Насмешкой колкою не скинуть скуки с плеч.

Давно оставлен спор, ненужная беседа  
Сама заглохла вдруг, и молча каждый взор  
Презреньем полн, копьём летит в соседа,  
Сбивая слово с уст. И молкнет разговор.  
*23 января 1935 года. Д. Х.*

И — смолкли их разговоры...

## **Глава четырнадцатая**

# **ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ**

## Новое превращение

Жизнь не останавливается, даже когда перестают появляться стихи.

Хотя какая это жизнь!.. Для поэта жизнь — в стихах. А без стихов — так, существование... литератора, что ли?.. Поэт живёт во Времени — литератор во времени. Первое — Нечто; оно никому не известно и не понятно; оно было до жизни и будет после жизни, всегда; оно вмещает в себя всё, что ни есть на Земле и в Небе. Второе — лишь малый отрезок, величиной в ту или иную эпоху (громкое слово, но, по сути, лишь частица Времени). Иными словами: Бытие — и обыденность, Сущее — и существование.

Поэт в человеке — живёт; человек в поэте — существует.

Не нами данный закон — и *ничего не напишешь*...

*Столбцы* и натурфилософские поэмы Заболоцкого достались большому Времени и небольшому кругу знатоков и ценителей поэзии; времени малому, или его эпохе, негодились.

Наверное, Заболоцкий долго не мог поверить, что стране он не нужен. Печать в лице литературных критиков всячески его вразумляла, а он всё не видел в себе никакого контрреволюционера. И, наконец, она таки его вразумила, показав свою действенность: набор второй книги был рассыпан.

Что и говорить, это по нему ударило сильно: как поэт он замолчал.

И потом, спустя довольно долгий срок, явился читателю с непохожими на прежние стихами.

Был ли Заболоцкий действительно *вразумлён* или, по советам друзей и собственному разумению, только сделал вид, что изменился, — вопрос не такой простой, как кажется. Ведь известно: с волками жить — по-волчьи выть, а коли не выть, так уж хотя бы *подвывать*. Он ведь и сам в своём кругу («Разговоры») усмехнулся над собой, что, как Рабле, *поцеловал руку некоему папе*. А ведь это было ещё до новых стихов, написанных, в отличие от прежних, в традициях поэтической классики. Так, значит, осознал простые истины — что плетью обуха не перешибёшь и насильно мил не будешь? Ну, что делать, если эпохе милы Жаровы и Безыменские. Не по хорошу мил, а по милу хорош. *Сердцу* — условного пролетария — *не прикажешь*.

...Отвлечёмся немного и вспомним, что власть всегда находит меры воспитания непослушных граждан. Хунвейбины в культурную революцию (Китай, 1960-е годы) поймали пианиста-виртуоза и просто переломали ему

пальцы, чтобы не оскорблял *музыку революции* своими буржуазными звуками. На изломе 1920–1930-х годов непослушных в советской России учили уму-разуму критика в печати и суды — для начала небольшими сроками заключения. Потом, к концу 1930-х, в полном соответствии с теорией нарастания классовой борьбы, суды перешли к более радикальным мерам — по принципу: «нэт человека — нэт и проблемы».

Николаю Алексеевичу досталось *всё* (подпиши он в 1938-м обвинения следствия, и нам остался бы только *ранний Заболоцкий, позднего* попросту бы не было)...

Этот сложный период поэтической судьбы Заболоцкого вмещает в себя несколько лет жизни. От 1933 года, когда была запрещена его вторая книга стихов, до 1938 года, когда поэт был арестован. Что же произошло в это время?

Обстоятельства его *внешней* жизни хорошо известны: редкие публикации, переводческая деятельность (с изданием книг), некоторое участие в делах Союза писателей (собрания, поездки в Грузию), постепенное возвращение как поэта к читателю и даже издание небольшой книжки оригинальных стихов, ну и личное — рождение дочери... А вот что происходило *внутри*, в душе — об этом прямых сведений в общем-то нет, лишь Косвенные, и то их очень немного.

К Заболоцкому волей-неволей присматривались внимательно, прежде всего собраты по литературному цеху: фигура!

Обратимся к их свидетельствам.

Евгений Львович Шварц в дневниках слегка подтрунивает над Николаем Алексеевичем, которого в Детгизе прозвали за методичность и степенность Яшей Миллером. (Псевдоним, выбранный Заболоцким для детских стишков, в переводе означает *мельник*: что-то ведь он и сам терпеливо перемалывал в своей жизни...) Однако тут же Шварц раскрывает причину забавного поведения поэта: «Он говорил о Гёте почтительно и, думаю, *единственный из всех нас имел поступки* (как-то не по-русски — *имел поступки*. — В. М.). *Поступал не так, как хотелось, а как он считал для поэта разумным* (курсив мой. — В. М.). Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала или как бы полушутя, бранил. <...> А кончилось дело тем, что он строго, разумно и твёрдо поступил: прекратил с ним знакомство».

И далее — в попытке уловить сущность своего друга — поэта и человека: «... Заболоцкий — сын агронома... вырос в огромной... и бедной семье, уж в такой русской среде, что не придумаешь гуще. Поэтому во всей его методичности и в любви к Гёте чувствовался тоже очень русский спор с



домашним беспорядком и распущенностью (странновато представляет себе Шварц кондовую русскую семью, где как раз таки был твёрдый порядок и строжайшие нравы. — В. М). И чудачество. И сектантский деспотизм. Но все, кто подсмеивался над ним и дразнил: „Яша Миллер“, — делали это за глаза. Он сумел создать вокруг себя дубовый частокол. Его не боялись, но ссориться с ним боялись. Не хотели. Не за важность, не за деревянные философские системы, не за методичность и строгость любили мы его и уважали. А за силу. За силу, которая нашла себе выражение в его стихах. И самый беспощадный из всех, Николай Макарович, признавал: „Ничего не скажешь, когда пишет стихи — силён. Это как мускулы. У одного есть, а у другого нет“. <...> При подчёркнуто волевой линии поведения жил он, в основном, как все. Хотел или не хотел, а принимал окраску среды, сам того не зная. И всё же был он методичен, разумен, строг и чист».

«Хотел или не хотел...» — не вопрос. Ну какому поэту захочется приспособливаться под «среду»!.. Поэт — вольная птица. И, если он принимает защитную окраску, то по крайней необходимости. Ему надо исполнить свой дар, вернуть сторицей — вот его главный долг. А до этого, кроме него, дела нет никому — ни людям, ни эпохе. Чем страшнее вековолкодав, тем безумнее поэт-волк. Другого не остаётся. Как Иван-дурак, летящий на сказочном Змее, он отрубает куски собственного мяса, чтобы скормить кровожадному чудищу: лишь бы долететь! А будет ли там живая вода, затягивающая раны и восстанавливающая изуродованное тело, кто ж знает?..

С повышенным вниманием следила за развитием Николая Заболоцкого ученица Бориса Эйхенбаума, филолог Лидия Яковлевна Гинзбург. В очерке «Заболоцкий двадцатых годов» (1973) она вспоминает, как Заболоцкий ответил в 1927 году на вопрос Александра Гитовича о своём отношении к Пастернаку: «Я, знаете, не читаю Пастернака. Боюсь, ещё начнёшь подражать». (Заметим, мог и пошутить: к тому времени Заболоцкий уже обрёл свой собственный стиль. Ещё: чтение штука тонкая, опытный читатель — а Заболоцкий был таковым — предчувствует, какая книга сейчас интересна, а какую лучше пока отложить. Ну, и наконец, эдак молодой поэт вообще не читал бы никого — из боязни подражательства...)

«Припоминаю и мой разговор с Заболоцким, но уже лет шесть спустя, в 1933-м, — пишет Лидия Гинзбург. — Заболоцкий не боялся уже за свою самобытность, и Пастернака он прочитал; прочитал, но не принял ни Пастернака, ни ряд других старших своих современников. Тогда я с Заболоцким спорила, а теперь понимаю, как неизбежна такая несправедливость, как невозможно требовать от писателя всеядности,

особенно от молодого, потому что писатель зрелый обычно шире, терпимее, беспристрастнее. Но писатель в процессе становления ищет и берёт то, что ему нужно, иногда совсем неожиданное, на посторонний взгляд неподходящее, и порой нетерпеливо отталкивает то, что не может ему сейчас пригодиться, особенно литературу недавнего прошлого, даже самую высокую. Так, в 1933 году Заболоцкий отвергал Пастернака, Мандельштама. Это бормотание, утверждал он, в искусстве надо говорить определённые вещи. Не нужен и Блок (этот петербургский интеллигент). В XX веке по-настоящему был один Хлебников. Есенин и тот переживёт Блока.

Тогда же мы заговорили о прозе, и Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды».

Гинзбург тонко подмечает: «мир антиценностей» в «Столбцах» Заболоцкого (гротеск, сатирическое обличение «идеалов» мещанства — в этом он сходил с Николаем Олейниковым) внутренне соотнесён с истинными ценностями. В его стихах «рядом с разоблачением живёт утверждение — природы, знания, творческой мысли»:

«И, утверждая, Заболоцкий, подобно Хлебникову, не боялся прекрасных слов, освящённых традицией».

В пример она приводит стихотворение «Лицо коня» (1926) и отрывок из «Торжества земледелия» (1929–1930), где описывается могила Хлебникова.

Лидия Гинзбург одна из первых заметила, что ранний Заболоцкий прятал своё авторское «я» в серьёзных стихах («Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру»), зато в шуточных экспромтах, как, например, в подаренном ей «Драматическом монологе» (1928), открыто и прямо говорил от первого лица. Она понимала этот приём как «способ освобождения от „стародавних культур“, от их носителей — всевозможных лирических героев, вообще от обычных форм выражения авторского сознания». Однако отсутствие лирической интонации у Заболоцкого иногда вызывало в ней сопротивление:

«Я сказала однажды Олейникову:

— У Заболоцкого появился какой-то холод...

— Ничего, — ответил Олейников как-то особенно серьёзно, — он имеет право пройти через это. Пушкин был холоден, когда писал „Бориса Годунова“. Заболоцкий — под влиянием „Бориса Годунова“.

Это замечание тогда меня поразило. Есть сопоставления ожидаемые,

напрашивающиеся. А есть неожиданные: они приоткрывают в писателе процессы, протекающие на большой глубине.

Разговор о „Борисе Годунове“ относится к 1933 году, то есть к моменту, когда для Заболоцкого период „Столбцов“ уходил в прошлое».

Разумеется, поэтика *позднего, классического* Заболоцкого возникла не на пустом месте. И вовсе не потому только, что он волевым усилием, в защитных целях решил разом перекраситься, принять цвета окружающей социальной и литературной среды. Поэтическое творчество — процесс чрезвычайно глубокий, таинственный, — это лишь недалёкие литературные критики решили, что под их воздействием поэт «перевоспитался» и стал писать в традиционной манере.

Да, в начале своего творческого пути Заболоцкий пытался, как он заявлял, взглянуть на предмет «голыми глазами». Отрицал музыку в слове и даже написал себе нечто вроде памятки — «Предостережение» (1932):

Где древней музыки фигуры,  
где с мёртвым бой клавиатуры,  
где битва нот с безмолвием пространства —  
там не ищи, поэт, души своей убранства.  
Соединив безумие с умом,  
среди пустынных смыслов мы построим дом  
и подопрём его могучею колонной  
страдания. Оно своей короной  
послужит нам.  
.....  
Будь центром мира. К лжи и безобразью  
будь нетерпим. И помни каждый миг:  
коль музыки коснёшься чутким ухом —  
разрушится твой дом и, ревностный к наукам,  
над нами посмеётся ученик. <...>

И ещё другое. В своём раннем периоде он как-то не очень различал людей:

я различаю только знаки. <...>  
(«Лодейников». 1932)

Но потом, к середине 1930-х, в поэте произошли перемены — и, повторим, отнюдь не только потому, что его наконец-таки проняла жестокая литературная критика. Просто Заболоцкий становился другим. К нему начала возвращаться *музыка*, а вместо *знаков* из поэтического тумана столбцов и натурфилософских утопий стали проступать человеческие лики.

Подчеркнём ещё одно, не слишком броское обстоятельство. Обычно все отмечают, как резко отличается *ранний* Заболоцкий от *позднего* — будто бы это два разных поэта; или же удивляются, как один и тот же человек смог вместить в себя фактически *двух* поэтов. Но всё происходило не совсем так. Заболоцкий *натурфилософских стихов и поэм* уже весьма непохож на Заболоцкого *столбцов*. Если разобраться, то и другое — совершенно разные поэтики... Заболоцкий рос и изменялся слишком стремительно — литературная критика за ним не поспевала (да, впрочем, все её заботы состояли совсем в ином — в отслеживании, насколько тот или другой автор лоялен власти).

«Для верного понимания культурной ситуации начала 30-х годов и состояния вдумчивого художника тех лет — а таков и был Заболоцкий — незаменимы записи молодого тогда историка литературы — Лидии Гинзбург, в которых, кстати сказать, неоднократно упоминается и автор „Столбцов“, — пишет Алексей Пурин. — „Из всего запрещённого и пресечённого за последнее время, — записывает она по поводу отвергнутого издательством сборника обэриутов ‘Ванна Архимеда’ (в нём первоначально предполагалось и участие филологов-младоформалистов), — мне жалко этот стиховой отдел. Жаль Заболоцкого. Если погибнет, ‘не вынесет’ этот, вероятно, большой и единственный возле нас поэт, то вот это и будет счёт; не знаю, насколько серьёзный в мировом масштабе, но для русской литературы вполне чувствительный“».

Пурин, кажется, жёстче всех остальных исследователей оценивает *позднего* Заболоцкого по сравнению с *ранним*. Тем внимательней следует приглядеться к его доводам.

Для начала приведём его рассуждение о «Столбцах»:

«В „Столбцах“... не декларируется... синонимичная искусству „мечта“, ежечасно воссоздающая первозданную гармонию мира. Но и Заболоцкий знает — воспользуемся мандельштамовским выражением — „есть музыка над нами“. Только музыка эта в значительной степени вынесена за скобки реальности, поднята на недостижимую высоту над макабрическими („бенедиктовскими“, пародийными) плясками дольного мира. <...>

Реальность... неустранимо дисгармонична».

Переход поэта к традиционному стиху Пурин объясняет обстоятельствами времени и общественной жизни: «А потом „жить стало лучше, жить стало веселей“. Я не иронизирую. Просто изменилась сама жизнь — и в общественном и в сугубо личном для Заболоцкого плане. В 1930 году поэт женился, вскоре у молодой четы появился ребёнок. Иные формы обретает в начале 30-х годов и окружающее эту семью общество: в нём идёт тотальное огосударствление всех структур. В том числе, разумеется, искусства. После „года великого перелома“ изменяются отношения между властью и так называемой „творческой интеллигенцией“; политические методы окончательно уступают здесь место администрированию, смертоносные идеологические заигрывания с писателями — не менее смертоносному требованию исполнения дисциплины.

Писатели становятся слоем госслужащих, причём достаточно привилегированным. Перед художниками как бы ставится выбор — самоотверженно служить государству, которое к тому же в силу устойчивых интеллигентских иллюзий кажется ещё инструментом возвышенной социальной справедливости и венцом общественного развития, или — быть исключённым из литературы, уйти в подполье самовыражения, художественно люмпенизироваться, стать дилетантом».

Всё так — но в общих чертах. В русской литературе диктат власти, идеологии ощущался и в предыдущие века, хотя, конечно, далеко не с такой навязчивой силой и беспощадностью. Но писатели всё же не государственные служащие, по крайней мере не столь дисциплинированы — ведь музы своевольны и капризны. У настоящего писателя не служба — но служение. *А служенье муз не терпит суеты* — как не терпит и насилия. Да ещё среди них во все времена бывали и такие, кто жил по пушкинскому завету: «Веленью Божию, о муза, будь послушна!..» — чем бы ни приходилось расплачиваться в жизни за своё неподневольное творчество. Они не то чтобы сознательно писали *в стол* — но так получалось, что их произведения, отвергнутые временем, поневоле оказывались *в столе*. Не потому ли некоторые из лучших писателей советского периода предстали перед читателем в своём полном, истинном виде лишь спустя десятилетия, в ту пору, когда сменился режим. Среди них, кстати говоря, был и Николай Заболоцкий...

Но продолжим цитату из статьи Алексея Пурина о поэте:

«Задача эта не имеет правильного решения. В своё время попытка разрешить аналогичную дилемму привела Пушкина к гибели. Найти средний путь, отыскать независимую „вакансию поэта“ не смогли и

умнейшие люди России первой трети XX века — Мандельштам и Пастернак, самоубийственно шарахавшиеся из стороны в сторону. Приходится, однако, признать, что только такое шараханье в безвыходной ситуации соответствует замыслу о человеке, а оба пути, предлагаемые тотальной властью, — художественно и этически паллиативны. И столь же губительны. Заболоцкий вышел из этой безвыходной ситуации вправо, его друзья — Введенский и Хармс — влево, но все они оказались на губительных и паллиативных путях».

А вот — о поэтической форме, вольно или невольно избранной Заболоцким:

«Диалектичность, наукообразие, „философичность“ поэзии Заболоцкого 30-х годов — совершенно того же происхождения; это своего рода Хлебников, загримированный под Фридриха Энгельса, — псевдорационализация одной утопии посредством другой. Перекрёсток утопий».

Ничего не скажешь: про Хлебникова в гриме Энгельса — метко и остроумно!.. Но насколько этот образ отвечает истине? Вынужденно ли обратился Заболоцкий к традиционному стиху или же, зрелым мастером на новом творческом этапе, заново открыл для себя его, традиционного стиха, возможности? Вряд ли кто-нибудь может верно ответить на этот вопрос.

И Алексей Пурин прекрасно понимает это:

«Вопрос о том, „вынес“ ли этот поэт, единственная надежда „потерянного поколения“, паллиативный путь государственного писателя, путь призрачного благополучия — с периодическими журнальными публикациями, после которых следуют критические проработки и авторские покаяния; с „общественной работой“ в Союзе писателей и литфондовой квартирой; с творческими командировками в Тавриду и на Кавказ — эти отдушины для русской лиры в имперские времена; с двусмысленными грузинскими переводами; наконец — со „Второй книгой“, всё-таки вышедшей в свет, но — как тогда часто случалось — едва ли не накануне ареста, — вопрос этот мы оставляем открытым...»

Вернёмся к этому «вопросу» чуть позже, а пока вспомним несколько подробней о том, как жил поэт на очередном переломе времён...

## В середине 1930-х

Товарищ Сталин в юности был поэтом, и порой, в переходные моменты истории, это сказывалось в нём; так, в 1924-м, на похоронах Ленина, он выдал нечто, напоминающее стихи: «Помните, любите, изучайте Ильича — нашего учителя, нашего вождя!»

Свою крылатую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей!» — Сталин произнёс в самой середине 1930-х годов, по завершении коллективизации на селе.

Народ тут же добавил: «Шея стала тоньше, но зато длинней».

Тридцатилетнему Николаю Заболоцкому, как и всем в те годы, приходилось нелегко. Но, вдрызг разруганный за «Торжество земледелия» литературной критикой, он отнюдь не унывал, а крепко, широко и основательно выстраивал свою поэзию и обустривал семейную жизнь. Конечно, он хорошо понимал и остро чувствовал, к чему могут повернуть события, происходящие в стране, да и звоночки уже были — аресты и ссылки друзей-обэриутов (которым, впрочем, вскоре смягчили наказание), однако сдаваться не желал, держал себя как ни в чём не бывало, не признавая за собой никаких грехов перед государством, тем более перед литературой.

Энергии в нём ещё было с избытком, и запас бодрости не иссяк. Об этом можно судить по настроению, в котором написано одно сохранившееся письмо лета 1933 года, приведённое Тамарой Липавской в её воспоминаниях о поэте:

«В начале 30-х годов мы с Леонидом Савельевичем жили на Гатчинской улице, летом я уехала в деревню и получила от Николая Алексеевича письмо с приклеенной к нему фотографией очень скромного Николая Алексеевича с гладко причёсанными волосами:

„12. VII. 33

Дорогая Тамара Александровна!

Я долго ждал... Так долго, что на моём месте будь кто другой — я не ручаюсь, что бы с ним стало! Да-с! Я ждал почти месяц! Многое прошло перед моим внутренним взором за этот месяц! С тайной надеждой я заходил несколько раз к Л. С., и едва лишь дверь открывалась передо мной, как я, расталкивая хозяев, зверем бросался в вашу комнату, направлял свой взор на стенку, или, вернее, — нацеливался глазом на стенку и тут же падал на диван, с криком отчаянья. Да-с! Мой портрет всё ещё висел там!!!

Тщетно расспрашивал я Л. С. — не было ли от вас спешной лепешки — выслать портрет с нарочным — нет, нет и нет! Не было такой лепешки!

Как я должен был отнестись к такому явлению? Как должен был его объяснить, истолковать, или, как говорят учёные, дезавуировать? Может быть, моя дикая испанская красота уже потеряла свою власть над вашим духом? Этому поверить не могу, ребёнок и тот поймёт, что этого не могло случиться. Может быть, какая-нибудь случайная интрижка на несколько мгновений покрыла флёром полузабвения мой образ? Нет, нет, нет! Не таковский я человек, чтобы из-за интрижки оказаться под флёром. Я ещё сам вполне могу покрыть флёром любого! Может быть, какое-нибудь случайное недомогание, — например, ухудшение слуха, или временное окривление, — (т. н. ячмень), или растяжение сухожилия, или, не дай бог, какая травма — на момент затушевали в вас память о дорогом лице? Нет, нет и нет! Во-первых, я ещё и сам могу кого угодно затушевывать, а во-вторых, по нашим сведениям, вы живы и здоровы и никакая травма вам не оказала неприятностей.

Таким образом всё обсудив и обдумав, я пришёл к твёрдому заключению, что всё это с вашей стороны не более как кокетство, свойственное женщинам с момента сотворения земли (учёные до сих пор ещё не установили, когда произошёл этот момент, — sic!) и до более поздних исторических времён. История даёт нам много примеров, как кокетничали древние римлянки, карфагенки, гречанки, галлки и германки, — но увы такого лютого, такого сногшибательного и упорного кокетства, как ваше, — ещё не бывало никогда! Возьмите Тита Ливия, возьмите Геродота — где вы его там найдёте? А вы? В течение целого месяца скучая по незабвенным чертам дорогой вам личности, вы о том даже не намекаете никому, как бы желая испытать меня — как я сам отнесусь к такому факту. О, я вполне раскусил вас! Вы принадлежите к тому типу женщин, которые по-французски назывались 'ploutovka'.

Но я, как видите, не таковский, и очень всё хорошо понимаю, что к чему, и поэтому далёк от всяких т. н. эксцессов, т. е. проявлений; я тонко разобрался в психической и индивидуальной игре вашего 'Я', а потому, желая привести ваше 'Я' в состояние гармонии, вторично посылаю вам свои незабвенные черты. Пусть они украсят собою скромную обстановку вашего дома, пусть лучи, льющиеся из моих очей, непринуждённо порхают над незатейливым убранством его, т. н. дома. Об одном молю — не показывайте мой портрет доверчивым поселянкам, — их неопытное сердце может быть жестоко разбито моими дорогими чертами. Вглядитесь, взгляните в них, т. е. в черты, дорогая Тамара Александровна! Какая



роскошная, чисто восточная нега разлилась тут от края до края! Подобно двум клинкам направляется этот взор прямо в сердце! Сколько грации и непринуждённой красоты в этой непокорной шевелюре небрежно отброшенных волос! А нос? Боже мой, что это за нос! Клянусь, сам Соломон не отказался бы от такого носа! Итак, дорогая Тамара Александровна, вглядываясь ещё и ещё раз в эти перечисленные черты, переживите ещё и ещё раз то чувство внутреннего психологического удовлетворения, которое очень поможет вашему 'Я', очень его обогатит и в незатейливом убранстве вашего дома может сослужить очень и очень хорошую службу, ибо это незатейливое убранство, заключая в себе такой дикий алмаз, само по себе окажется также драгоценным.

Карточек Тынянова и Грабаря не посылаю, да и к чему они, когда есть эта?

До свиданья, до свиданья!

Ваш *Н. Заболоцкий* «».

1933-й — последний год *раннего* Заболоцкого: натурфилософские стихи и поэмы, которым, казалось, не будет конца — так слитно, мощно и полно они вырывались наружу, рисуя воображаемую поэтом картину мира и жизни, вдруг иссякли в нём или же, скорее, он, в поисках новой формы самовыражения, запретил их себе. Весь 1934 год — без стихов, если не считать наброска к поэме «Лодейников» и «заказного» рифмованного отзыва на гибель Кирова. Но без стихов, вероятно, истаивало и то свойственное ему по молодости бодрое настроение...

Зато бытовая жизнь налаживается: молодая семья впервые обзавелась собственной квартирой. Небольшой — две комнаты да кухонька, но в центре Питера — на канале Грибоедова. Место красивейшее: рядом, весь словно бы в драгоценных каменных узорах, с разноцветными куполами храм Спаса на крови, в двух шагах Невский проспект, Казанский собор с просторной колоннадой, Дом книги, где располагался Детгиз.

Среди соседей семьи Заболоцких по кооперативному писательскому жилью в надстройке дома 9 ближайшие друзья: Каверины, Шварцы, Олейниковы, Гитовичи, тут же хорошие знакомые поэта: Зощенко, Эйхенбаум, Томашевский, Тагер и другие.

Домашнюю библиотеку Николай Алексеевич подобрал с редкой взыскательностью: Пушкин, Тютчев, Боратынский, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Бунин, Гёте, Байрон, Шекспир, Шиллер, Мольер, Библия, мировой эпос и «многое другое». Как видим, основой библиотеки «авангардиста» была — да и не могла не быть — классика. Малыша-сына отец частенько забавлял чтением стихов. Брал, к примеру,

том Алексея Константиновича Толстого и декламировал с выражением:

Ходит Спесь надуваючись,  
С боку на бок переваливаясь...

При этом Николай Алексеевич непременно с важностью изображал походку Спеси...

По вечерам поэт любил в кругу семьи напевать под гитару народные песни, стихотворение Есенина про «соловушку», слушать граммофонные записи Шаляпина, Собинова, Вяльцевой.

Как обычно, Заболоцкий много трудился: в работе он всегда видел своё *искупление*, какой бы ничтожной ни казалась очередная тема перед этим громким словом. Но всё же теперь это большей частью была работа не поэта — литератора. То бишь литературные поделки: переводы, переложения для детей зарубежной классики... Словом — заработок...

Никита Николаевич пишет о жизни семьи и о себе — в третьем лице:

«Переводческая работа приносила неплохие гонорары — в дом пришёл достаток. За обеденным столом в рабочей комнате нередко стали собираться друзья, благо многие из них жили в том же доме. Для ухода за часто болевшим сыном в семью взяли няню по имени Саша — добрую, тихую женщину, которая помогала Екатерине Васильевне. В то время многие сельские молодые женщины, спасаясь от тяжёлой, голодной жизни в деревне, приезжали в город в поисках работы, и домработницу найти было легко, их имели даже не очень обеспеченные семьи».

Он приводит обычную бытовую записку, которую написал отец матери, попавшей в больницу (конец 1934 года): «У нас всё благополучно. Вчера вечером с Никиткой играли (тихо), потом он гулял с Сашей один час, потом уложили спать. <...> Сегодня утром гулял полтора часа, кушал, смотрели с ним немецкую книгу, чем он очень увлечён. Сейчас пообедаем и пошлю его с Сашей гулять. <...> Заходила молочница, которой отдал 1 рубль. Всё поджидаю денег из Москвы, но не могу дожждаться. Вчера Олейников получил по моей просьбе пропуска, продуктовый и промтоварный. Пропуск — в ЗРК писателей (закрытый распределитель кооператива), одну карточку прикрепил там... Никитушка пришёл, спрашивает: „Ты пил лекарство?“».

Разумеется, воспоминания эти во многом ещё не свои собственные, а составлены по рассказам матери. По вечерам отец нередко навещался в гости к Шварцам и Олейниковым — там в застолье было шумно и весело:

приятели шутили, пели, слушали пластинки, даже танцевали. Но куда как больше поэт любил в пивной на Невском тихо беседовать за кружкой пива с художником Петром Ивановичем Соколовым. В квартире Гитовичей висела одна его картина, которая очень нравилась Заболоцкому, изображавшая мужичка с бородкой, едущего по лужайке на велосипеде.

Кто знает, может, вид этого безмятежного мужичка, что неслышно катит на колёсах по траве, под греющим солнцем, вдали от суеты, среди природы, и был настоящей мечтой, отрадой литератора, которому не давали возможности быть поэтом...

Ведь литературные враги никуда не делись, не перевелись, хотя Заболоцкий как поэт — молчал. Критики если и не клевали, как прежде, то не забывали, поклёвывали.

На Первом съезде советских писателей (август 1934 года) в основных докладах о Заболоцком не было ни слова. Но, выступая в прениях, Александр Безыменский не упустил возможности снова его «разоблачить»:

«В стихах типа Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим сплошное противопоставление „единой“ деревни городу, воспевание косности и рутины при охаивании всего городского — большевистского — словом, апологию „идиотизма деревенской жизни“.

Гораздо более опасна маска юродства, которую надевает враг. Этот тип творчества представляет поэзия Заболоцкого, недооценённого как враг и в докладе т. Тихонова.

Дело вовсе не в „буксовании жанра“. Под видом „инфантилизма“ и нарочитого юродства Заболоцкий издевается над нами, и жанр вполне соответствует содержанию его стихов, их мыслям, в то время как именно „царство эмоций“ замаскировано.

Стихи П. Васильева в большинстве своём поднимают и красочно живописуют образы кулаков, что особенно выделяется при явном худосочии образов людей из нашего лагеря. Неубедительная ругань по адресу кулака больше напоминает попрёк. И сами образы симпатичны из-за дикой силы, которой автор их наделяет.

И Заболоцкий, и Васильев не безнадёжны. Перевоспитывающая сила социализма беспредельна. Но не говорить совершенно о Заболоцком и ограничиваться почтительным упоминанием и восхищением талантливостью и „нутром“ Васильева невозможно. Тем более это невозможно, что влияние Заболоцкого сказывается на творчестве Смелякова и даже в некоторых стихах такого замечательного и родного нам поэта, как Прокофьев».

Итак, самые яркие поэты из молодых — Заболоцкий и Павел Васильев — *враги* (разумеется, Безыменский не забыл лишний раз кольнуть Павла Васильева цитатой из недавней статьи Максима Горького: «...от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа», которой основоположник соцреализма огульно заклеил того в печати).

Дмитрий Кедрин, послушавши эту речь столь же бездарного, сколь и «активного» рифмоплёта, сочинил эпиграмму:

У поэтов жребий странен,  
Слабый сильного теснит:  
Заболоцкий безымянен,  
Безыменский — именит.

Никак не мог успокоиться и другой *скверноподданный*, критик Ан. Тарасенков. В статье «Графоманское косноязычие» («Знамя», 1935, № 1) он, явно следуя речи Безыменского, ставил в вину Заболоцкому его влияние на поэтическую молодёжь.

Ну а под чьим же влиянием могли бы оказаться начинающие сочинители — Безыменского, что ли?.. Его художественные достоинства Маяковский в известном стихотворении, в отличие от настоящих поэтов («мы крепки, как спирт в полтавском штофе»), сравнил с «морковным кофе». Зато уж в *текущей политике* этот комсомольский поэт впереди паровоза бежал. Так, выступая на съезде Советов — после массового голода и гибели миллионов крестьян, говорил: «Товарищи, кулацкая Расеюшка-Русь не скоро сдастся, ибо успехи наши, успехи Союза ССР будут измеряться степенью ликвидации образа того врага, которого заключает в себе „Расеюшка-Русь“».

Мало того что крестьян — основу страны — физически уничтожали, так ещё надо было лишить их образа своей Родины — России.

Разумеется, и стихи свои прочитал:

Расеюшка-Русь, повторяю я снова,  
Чтоб слова такого не вымолвить ввек.  
Расеюшка-Русь, распроклятое слово  
Трёхпожья, болот и мертвеющих рек.

Заболоцкий хорошо понимал: уж кто-кто, а эти конвойные овчарки от

него не отстанут...

...В то время его однажды поразил вид замерзающей речки. Случилось это близ дачи, где жила жена с ребёнком. Вот как описывает это Никита Заболоцкий:

«Как-то поздней осенью накануне выходного дня Николай Алексеевич приехал на Сиверскую раньше, чем обычно. Екатерина Васильевна попросила его погулять с сыном. Он не любил гулять без цели, но с маленьким Никитой гулял с удовольствием. Взяв на руки мальчика, спустился с пригорка и через заднюю садовую калитку вышел к реке. Долго смотрел на тёмную воду, по которой уже плыли чешуйки прозрачного льда. Река замерзала, и ему показалось, что перед ним умирает разумное существо. Более того, он остро почувствовал, что уловил отобразившийся в замерзающей речке отблеск внечеловеческого сознания природы. Когда уже в сумерках он вернулся домой, жену поразило его просветлённое и торжественное лицо — он был полон ощущения причастности к великой тайне жизни. Впечатление было настолько сильным, что он долго помнил его и через три года описал в одном из самых любимых своих стихотворений — „Начало зимы“:

Зимы холодное и ясное начало  
Сегодня в дверь мою три раза простучало.  
Я встал и вышел. Острый, как металл,  
мне зимний воздух сердце спеленал,  
но я вздохнул, и, разогнувши спину,  
легко сбежал с пригорка на равнину, —  
сбежал и вздрогнул: речки страшный лик  
вдруг глянул на меня и в сердце мне проник...»

Однако в этом описании, сделанном со слов матери, на наш взгляд, особенно ценно другое: редкий миг запечатлённого вдохновения. Не часто он замечен посторонним, даже если они приходятся близкими поэту. Вполне возможно, что Заболоцкому тогда на прогулке действительно почудился в замерзающей реке отблеск какого-то сознания, и, вернувшись взволнованным, он рассказал об этом жене. Но видение трудно поддаётся пересказу. И вполне ли поняла молодая женщина глубину образа, из которого потом родилось стихотворение? Ведь «внечеловеческое сознание природы» словно бы приоткрыло тогда Заболоцкому и его будущую поэтическую судьбу. Об этом говорят слишком много подробностей:

«страшный лик» речки; то, что она чувствует свой «смертный час», «умирает», и вместе с холодеющей водой застывает само «сознание природы»:

И уходящий трепет размышленья  
я, кажется, прочёл в глухом её томленье,  
и в выражение волн предсмертные черты  
вдруг уловил, и если знаешь ты,  
как смотрят люди в день своей кончины, —  
ты взгляд реки поймёшь. Уже до середины  
смертельно почерневшая вода  
чешуйками подёргивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,  
ловил на ней последний отблеск дня.  
Огромные внимательные птицы  
смотрели с ёлки прямо на меня.  
И я ушёл. И ночь уже спустилась.  
Крутился ветер, падая в трубу.  
И речка, вероятно, еле билась,  
затвердевая в каменном гробу.

Написанное в 1935 году — во время его собственного безмолвия — это стихотворение, конечно же, в первую очередь о себе, о *реке его стихов*, загнанной стужей в каменный гроб молчания. И кто знает, надолго ли эта зима? Пока ясно одно:

...и ночь уже спустилась...

Хотя конца этой зимы не предвиделось, Заболоцкого всё же не покидала надежда на полноценную жизнь в литературе. Он понял: той свободы поэтической формы, что была прежде, ему уже в печати не дадут. Но как жить — не печатаясь, не издавая книг? Это всё равно что быть заживо погребённым... Ведь поэт печатает стихи отнюдь не только из желания славы, как обычно думают, или же в расчёте на гонорар («Не продаётся вдохновение, / Но можно рукопись продать...», как и в шутку и всерьёз заметил Пушкин). У поэта перед стихами особый долг. Стихи, как рождённые дети... Если стихи не напечатаны, не обнародованы, то они —

вроде незаконных детей... Какой же отец — враг своему ребёнку? По выходе в свет, то есть по напечатании, стихи начинают свою собственную жизнь и — освобождают поэта для его дальнейшей творческой жизни. Ну, и кроме всего прочего, вспомним формулу Боратынского: «Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех его скорбей...» — Понимание всего этого присуще поэту — и чувствуется без слов — постоянно, глубоко и остро...

И тут вторая по значимости газета страны — «Известия» — попросила у Заболоцкого новые стихи. Это было в ноябре 1934 года. Недавно прошёл Первый съезд советских писателей, на котором выступал с речью и редактор «Известий» Николай Иванович Бухарин, раскритиковавший там, кстати, комсомольских поэтов. В недавнем прошлом Бухарин был одним из вождей большевиков, — газета, пусть и центральная, после тех высот, конечно, была для него ссылкой. Он стал опальным из-за разногласий с политбюро и Сталиным по вопросам коллективизации. К художественной литературе «любимец партии» (как звали «Бухарчика» в 1920-е годы) вообще-то отношения не имел, но это, разумеется, ни прежде, ни теперь нисколько не мешало ему руководить писателями, поучать, направлять на большевистский путь. Впрочем, он баловался стихотворчеством, считал себя интеллектуалом, «покровителем искусства» и ещё недавно соперничал в этом с Троцким. Конечно, для каждого из них главным было одержать верх в партийной борьбе — литература являлась лишь одним из видов полемики. Троцкий в 1920-е годы «поддерживал» Есенина — в попытке извлечь из поэта пользу для партийного дела; Бухарин же, в противовес, облил Есенина и «есенинщину» самой непотребной грязью в своих «Злых заметках» — причём сделал это в 1927 году, через два года после гибели поэта. Поскольку к 1934 году «Иудушка Троцкий», он же «демон революции», был уже выслан из СССР, «любимец партии» стал снисходительней к творчеству Есенина и даже поставил его в своей речи рядом с Блоком и Брюсовым.

С чего бы это Бухарин решил поддержать Николая Заболоцкого? Ведь публикация в центральной газете значила, что молодой поэт, которого уже несколько лет склоняли в печати как *врага*, политически благонадёжен и, кроме того, имеет вес в литературе. Вряд ли это было обычным покровительством: слишком одиозную фигуру контрреволюционера, «кулацкого поэта» вылепила литературная критика из Николая Заболоцкого в предыдущие годы. Скорее всего, Бухарин выражал таким образом своё *особое мнение*, скрыто полемизировал с властью.

18 ноября 1934 года «Известия» напечатали стихотворение

Заболоцкого «Осенние приметы», написанное в 1932 году в классической манере.

Через две недели, 1 декабря, в Смольном был застрелен глава Ленинградской парторганизации Сергей Миронович Киров.

«Особенно тяжёлое впечатление это событие произвело на ленинградцев, — пишет Никита Заболоцкий. — Многим уже тогда было ясно, что всякое политическое убийство на руку тем, кто раздувает опасность якобы обостряющейся классовой борьбы, стремится навязать стране чрезвычайные меры и ещё более упрочить абсолютную власть Сталина. Подозревали, что в убийстве замешано ОГПУ, недавно преобразованное в НКВД, и в страхе ждали „ответных“ репрессивных мер. О том, что Киров убит по личному указанию Сталина, в то время вряд ли кто-нибудь осмеливался даже думать».

Может, кто-то и не осмеливался, но тогда же стала ходить в народе зловещая частушка:

Огурчики, помидорчики,  
Сталин Кирова убил в коридорчике.

По некоторым версиям, её сочинил и запустил в публику не кто иной, как Николай Иванович Бухарин. Да и само покушение на Кирова — дело такое тёмное, что в нём до конца ни тогда, ни позже не разобрались, а теперь уж тем более не разберутся. Сталин ли «заказывал» Кирова, происки ли это Троцкого или же всё произошло «на бытовой почве» — всё так и осталось невыясненным. Причина одна: убийца и все прямо или косвенно причастные к его задержанию и допросу — сразу или очень скоро поголовно погибли при странных обстоятельствах. Тотальная зачистка всех возможных свидетелей!.. Такого история политических убийств, кажется, даже и не знала. Американцы со своим убийством президента Джона Кеннеди — дети с их детскими тайнами, как прятать концы в воду, — в сравнении с тем, что произошло в Ленинграде в 1934 году...

Но продолжим цитату из книги биографа поэта: «Заболоцкий опасался, что ожидаемые репрессии могут задеть и его, — слишком часто он публично назывался „врагом“. И тут 2 декабря снова раздался телефонный звонок из „Известий“: ему предложили срочно написать стихотворение, посвящённое памяти Кирова. Николай Алексеевич воспринял этот заказ как заботу о нём главного редактора Бухарина, поскольку немедленный отклик в центральной газете на убийство в



определённой степени застраховывал от возможных неприятностей. Подобных стихов ему писать ещё не приходилось, а тут и срок был ограничен — материал следовало представить в ленинградское отделение газеты до 12 часов дня 3 декабря».

Сергей Миронович Киров (Костриков) приходился Заболоцкому земляком по Уржуму — вот и всё, что было общего у политика и поэта. Знакомы они не были, разве что Николай что-то слышал про Кирова (довольно одобрительное) из уст своего товарища, Владимира Павловича Матвеева. Со стихотворением, названным «Прощание», он кое-как к сроку справился, и 4 декабря оно появилось в «Известиях».

Сын пишет в своей книге, что поэт был «ободрен вниманием» центральной газеты и вновь принялся за поэму о Лодейникове. Так и было: «Лодейников в саду» — самое значительное из немногих стихотворений того времени — датировано декабрём 1934 года и мартом 1936 года. Но поэму о Лодейникове, в котором легко угадывается сам автор, Заболоцкий вскоре забросил, да так никогда и не закончил.

За целых пять лет — с 1934 года до ареста в 1938 году — Николай Алексеевич Заболоцкий написал всего-то десятка полтора-два стихотворений. *Река его поэзии* замерзала, как по осени речка на Сиверской, — и замёрзла потом в неволе на целых восемь лет.

...Сделаем небольшое отступление, чтобы лучше представить то время, его мертвеющие реки и безжизненный воздух.

Сорок лет спустя, в 1974 году, московское издательство «Художественная литература» напечатало «Избранное» Анны Ахматовой с её «Поэмой без героя». В конце второй части поэмы автором обозначено:

«3–5 января 1941

*Фонтанный Дом, и в Ташкенте, и после».*

Видимо, это дата окончания второй части. А писалась и дописывалась эта часть, вероятно, и в конце тридцатых годов в Ленинграде, и в ташкентской эвакуации. Но книга 1974 года оказалась изрядно отредактированной в издательстве. К примеру, строфа X второй части выглядела так:

X

.....  
.....  
.....

И проходят десятилетия:

Войны, смерти, рожденья — петь я,

Сами знаете, не могу.

Странновато для Ахматовой: уж кто-кто, а она — могла *петь!*..

На самом деле в этой строфе первые три строки были заменены точками, а вторые три строки — просто кем-то (явно не автором) переписаны. Эта строфа звучала так (курсивом выделено «бесследно отредактированное»):

X  
*Враг пытал: «А ну, расскажи-ка!»*  
*Но ни слова, ни стопа, ни крика*  
*Не услышать её врагу.*  
И проходят десятилетия:  
*Пытки, ссылки и смерти — петь я*  
*В этом ужасе не могу.*

Понятно, всё это — о 1937–1938 годах, годах репрессий, когда у Анны Андреевны арестовали сына, Льва Николаевича Гумилёва.

А далее за строфой X следовали ещё две строфы, вообще убранные редакторами и даже не обозначенные точками:

XI  
Ты спроси у моих современниц:  
Каторжанок, стоятниц, пленниц —  
И тебе порасскажем мы,  
Как в беспамятном жили страхе,  
Как растили детей для плахи,  
Для застенка и для тюрьмы.

XII  
Посинелые стиснув зубы,  
Обезумевшие Гекубы  
И Кассандры из Чухломы,  
Загремим мы безмолвным хором,  
Мы, увенчанные позором.  
По ту сторону ада мы.

Этим же воздухом дышал тогда и Николай Заболоцкий.

Он тоже — *в этом ужасе* — *не мог петь*, точнее — почти не мог...

Конечно, пытался писать — и даже рассчитывал напечатать новые стихи. Так, после «Начала зимы» сочинил ещё вдобавок «Весну в лесу» (1935) и «Засуху» (1936). «Осень» («Осенние приметы») — уже была написана ранее. Эдакие *Времена года* — с ушедшей на глубину и еле заметной натурфилософией. Но если «Весна в лесу» — безмятежная и светлая зарисовка, то в «Засухе» вновь появляются мотивы *замерзающей реки*, — только выжжена она уже не стужей, а жарой:

В смертельном обмороке бедная река,  
чуть шевелит засохшими устами. <...>

И тут напрямую — крайне редкое для него явление!.. — сказано о себе, о своей душе:

Но жизнь моя печальней во сто крат,  
когда болеет разум одинокий,  
и вымыслы как чудища сидят,  
поднявши морды над гнилой осокой.  
И в обмороке бедная душа,  
и как улитки движутся сомненья,  
и на песках, колеблясь и дрожа,  
встают как уголь чёрные растенья.

Должно быть, Заболоцкий, как и Ахматова и другие, писал в ту пору и что-то неподцензурное, однако до нашего времени не дошло ни строки. И до и после ареста ничего хранить в доме он не мог: найдут при обыске. Опасных рукописей никому не отдал бы на хранение — чтобы не подставить человека. Надёжного хранилища — тоже не нашлось. Никита Заболоцкий сообщает в биографии лишь об одном случае подобного опыта:

«Но хоть как-то выразить свой внутренний протест очень хотелось. В один из дней только что наступившего 1938 года Николай Алексеевич позвал жену к себе в комнату, плотно закрыл дверь и дал ей прочитать своё стихотворение, в котором говорилось об их страшном, гнетущем времени, о зловещем „Большом доме“ с башенкой на крыше, о его светящихся больших окнах и мрачных застенках, где томятся невинные люди. Обо всём

этом знали, но говорить и тем более писать не решались.

— Вот теперь слушай, — сказал Николай Алексеевич, когда жена кончила читать, — я тебе прочитаю другое стихотворение, в котором те же первые слова в строке и та же рифма, что в том.

И он прочитал невинное стихотворение о природе.

— По строчкам этого стихотворения я всегда смогу восстановить то, крамольное. Ведь настанут же когда-нибудь другие времена!

Сказав это, он взял из рук жены опасное стихотворение, отнёс его на кухню и бросил в огонь топящейся плиты.

— А теперь забудем о том, что там было написано».

Так и сгорело это стихотворение — и осталось никому никогда не известным.

\*

У друзей Заболоцкого тоже не сохранилось «опасных стихов», да, может, их и вовсе не было?..

Николай Олейников лучше всех понимал что к чему. Но молчал на эту тему.

Даниил Хармс как-то попытался написать, но не закончил...

Гнев Бога поразил наш мир.  
Гром с неба свет потряс. И трус  
Не смеет пить вина. Смолкает брачный пир,  
Чертог трещит, и потолочный брус  
Ломает пол. Хор плачет лир.  
Трус в трещину земли ползёт как червь.  
Дрожит земля. Бег волн срывает вервь.  
По водам прыгают разбитые суда.  
Мир празднует порока дань. Сюда  
Ждёт жалкий трус, укрыв свой взор  
От Божьих кар под корень гор, и стон,  
Вой псов из душ людей, как сор,  
Несёт к нему со всех сторон —  
Сюда ждёт жалкий трус удар,  
Судьбы злой рок, ход времени и пар,  
Томящий в жаркий день глаз, вид зовущий вновь  
Зимы хлад, стужами входящий в нашу кровь.

Терпеть никто не мог такой раскол небес  
Планет свирепый блеск, и звёздный вихрь чудес  
(Конец 1937— начало 1938)

Что-то апокалиптическое... но знаки препинания под конец забываются, и в конце точка вовсе не поставлена.

Александр Введенский — тот, кажется, и не раздумывал о такой мелочи, как политика, аресты и прочее. Его, как всегда, занимали только две вещи — *смерть* и *время*.

## Ах, грузинские переводы...

Чем суровее становилось время, тем больше и напряжённее трудился Заболоцкий. Будто хотел забыться в непрерывной деятельности... Если так — от чего? Не от собственных ли стихов, что по сравнению с недавними годами почти что не писались?..

О душевном состоянии поэта, возможно, лучше всего свидетельствует образ воздуха в тогдашних немногих его стихотворениях.

Я встал и вышел. Острый как металл,  
мне зимний воздух сердце спеленал...  
(«Начало зимы». 1935)

Острый металлический воздух может только ранить. Необычно: *спеленал* — ранами... *Спеленал* — значит, закутал, взял в полон, в плен; вторым планом тут словно бы речь о ребёнке, о заново родившемся человеке, которому жить и дышать в колющем воздухе.

А климат, в котором приходится жить, резко континентален: то леденящая стужа, то обжигающий зной:

О, солнце, раскалённое чрез меру,  
угасни, смилуйся над бедною землёй!  
Мир призраков колеблет атмосферу,  
дрожит весь воздух ярко-золотой.  
Над жёлтыми лохмотьями растений  
плывут прозрачные фигуры испарений.  
Как страшен ты, костлявый мир цветов,  
сожжённых венчиков, расколотых листов,  
обезображенных, обугленных головок,  
где бродит стадо божиих коровок!  
(«Засуха». 1936)

Не поэты ли это *бродят*, как изнемогающие *божи* коровки, среди *сожжённого* зноем, изуродованного пространства?..

Стихотворение «Засуха» связано с жарким июлем 1936 года, который Заболоцкий с семьёй провёл на Украине. Они сняли две комнатки в селе

Прохоровка, в доме юриста. В письме Тициану Табидзе от 1 июля Заболоцкий пишет, что устроил для жены и сына дачку на берегу Днепра, за Каневом, «в живописном благодатном местечке, которое описано у Гоголя в „Вие“».

Сын Никита запомнил это знойное лето, как отец водил его, малыша, купаться на днепровскую протоку, а по дороге вдруг останавливался и весьма заинтересованно разглядывал крупных чёрных жуков или рогатых улиток. Хотя улитки вползли потом и в стихотворение «Засуха», больше в нём, пожалуй, отразилось другое.

«На обед ели необыкновенно вкусный украинский борщ, который приносила хозяйская работница, деревенская женщина Марфа. Поставив миску с борщом и тарелки, Марфа присаживалась на перила веранды и начинала рассказывать о недавних страшных событиях, опустошивших украинские деревни, — пишет он в своей книге. — Из её рассказов Николай Алексеевич впервые во всех подробностях узнал, какими жестокими методами проводились коллективизация и раскулачивание и какой беспощадный голод обрушился на украинских крестьян в 1932–1933 годах. Хозяйства на Украине были крепкие, поэтому многих крестьян раскулачили, трудоспособных мужиков позабирали и куда-то увезли, в счёт поставок подчистую отобрали весь хлеб, так что даже яровые весной 1933 года сеять было нечем. Марфа рассказывала, как приезжали из города уполномоченные искать хлеб, как зимой съели всю картошку, порезали скот, выкапывали из-под снега и ели жёлуди. Весной поели отруби, кожи, мышей и даже червей. С нетерпением ждали первую зелень, потом первые колоски, но уже началось и самое страшное — людоедство. Марфа говорила, что и сейчас жива женщина из их деревни, у которой украли и съели дочь. А в город не пускали — у станции и вдоль дороги стояло оцепление из военных, да и сил у людей совсем не осталось. А самой Марфе всё-таки удалось уйти из вымирающей родной деревни, и она выжила».

Никита Николаевич пишет об отце, что тот, слушая эти трагические рассказы, думал о вековой давящей природе, что её звериные, хаотические проявления не обошли и человека и «он тоже нуждается в облагораживающем нравственном начале, которое, как и разум, свойственно всё той же природе».

Кто ж его знает, что думает в тот или иной миг человек, даже и родной?.. Тут и без слов ясно: *земледелию до торжества* — очень ещё далеко. И другое было понятно со всей очевидностью: эта власть ни перед какой жестокостью не остановится...

Лучше всего запомнил Никита, как отдыхали после обеда, постелив одеяло на траву. Он, малыш, ходил вокруг одеяла и шалил — плевал в траву. Отец ему тогда сказал:

— Не надо плевать, Никита, а то ты всего себя выплунешь и ничего от тебя не останется. Бывает так с некоторыми людьми...

Основным занятием Заболоцкого в те годы стали переводы грузинских поэтов. Он принялся за это дело со всей своей основательностью и, как видно, по долгом и зрелом размышлении. Переводил поначалу с подстрочников, но потом занялся языком и в дальнейшем, хотя по-грузински не говорил, читать научился. По свидетельству поэта Симона Чиковани, Заболоцкий прекрасно чувствовал музыкальное звучание грузинского стиха. Знал наизусть в оригинале целые строфы из Руставели, некоторые строки из Гурамишвили. Любил произносить по-грузински восклицание последнего: «Слава тебе, слава, солнцеликая!» — «и тут же замечал, что в переводе невозможно сохранить величавую простоту и музыкальность этого стиха». Переводы что полевые цветы: цветут и благоухают лишь на своей земле, на родном языке...

Симон Чиковани вспоминает в своём очерке о Заболоцком, что узнал его сначала по «Столбцам» и «Торжеству земледелия». Стихи Заболоцкого казались ему нарочито наивными и в то же время бунтарскими по существу. «Может быть, поэтому я представлял себе автора „Столбцов“ человеком с подчёркнуто поэтической внешностью и ярким, даже властным характером. Каково же было наше удивление, моё и Тициана Табидзе, когда один наш старый знакомый представил нам молодого полного блондина, среднего роста, в очках, со спокойным и серьёзным выражением лица и сказал: „Познакомьтесь, поэт Николай Заболоцкий“. Я, изумлённый, глядел на него, и мне казалось, что его внешности недостаёт поэтической убедительности. Он больше напоминал степенного учёного. Но сам Заболоцкий неожиданно опроверг наше заранее сложившееся представление о нём. Он вежливо приветствовал нас и любезно произнёс: „Я большой поклонник грузинской поэзии. Правда, я лишь недавно начал изучать её, но уже успел полюбить некоторых из грузинских поэтов“.

Эту коротенькую речь он произнёс с многозначительными паузами, сопровождая каждое слово движением указательного пальца. Тон беседы был сдержанный, почти официальный, но внутренний смысл его слов дружеский и даже предвещающий восторг. Говорил он спокойно, без излишнего красноречия, и казалось, что даже самые незначительные слова были заранее им подобраны, обдуманы и взвешены».

Первое впечатление — самое яркое. Симон Чиковани продолжает:



«Подобное несоответствие между его внешностью и творческой натурой заинтересовало меня, и я тут же попытался снять с моего нового знакомого этот панцирь кажущейся недосыгаемости. Оказалось, что это было не таким трудным делом. Н. Заболоцкий в то время переводил „Заздравный тост“ Гр. Орбелиани. Стоило мне затронуть эту тему, как лёд мгновенно тронулся, а вскоре и совсем растаял. Мне сразу открылась его тонкая, чуткая, благородная душа, и между нами завязалась непринуждённая дружеская беседа.

Взгляды его на поэзию, на искусство отличались научной точностью и чёткостью, и вместе с тем в душе его гнездились удивительные образы, поэзия проникла в его плоть и кровь, вдохновение навсегда завладело его твёрдым и по-своему упрямым характером».

Их знакомство, вскоре переросшее в дружбу, относится к концу 1935 года. 21 февраля 1936 года Заболоцкий пишет Чиковани:

«Дорогой Симон!

„Известия“ потребовали, чтобы я сдал перевод твоей „Кахетинской песни“ не позже сегодняшнего дня. Я приехал 19-го; следовательно, для работы мне оставалось менее двух суток. Ты понимаешь сам, что перевод, сделанный так быстро, не может быть безукоризненным. Поэтому, прочитав его в газете, не ругай меня: я сделал всё, что было возможно. В дальнейшем я его доработаю. <...>

Твоя „Кахетинская осень“ — прекрасное стихотворение. Мы с женой читали его и наслаждались даже по подстрочнику».

Отныне Заболоцкий загружен грузинскими переводами под завязку. Ленинградский Детиздат поручил ему переложить поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (старый перевод Константина Бальмонта малолетнему читателю не годится), — а это большая работа, не меньше чем на год, к тому же плановая: в 1937 году книга должна уже быть напечатана. Сознывая, насколько это трудное и ответственное дело, Заболоцкий просит помощи у известного грузинского поэта Тициана Табидзе в письме к нему из Ленинграда, от 1 июля 1936 года:

«...В сентябре месяце, в самом начале, я намерен приехать в Тифлис. Я должен буду связаться с Институтом Руставели и с людьми, подготовляющими его юбилей. Необходимо подышать воздухом Грузии и почувствовать Руставели на его родине. Тем более что русская литература не даёт даже элементарных сведений об этом великом поэте.

Моя обработка по своему объёму не будет превышать  $\frac{1}{3}$  подлинника. Тем более будет трудно, в этом сжатом виде, передать дух и поэтические особенности оригинала.

Если в сентябре месяце Вы, Тициан Иустинович, будете в Тифлисе, я буду просить Вас свести меня с нужными людьми и помочь мне в этом деле. К редактированию обработки мы думаем привлечь Н. С. Тихонова, хотя я с ним ещё не говорил об этом».

Он не скрывает, что пока очень занят ещё и переложениями зарубежных классиков для того же Детгиза:

«До самого последнего времени я был перегружен прозаическими обработками и только теперь заканчиваю их. Намерен тотчас же приняться за Важа Пшавела, но теперь в связи с этой срочной затеей перевод „Алуды Кетелаури“ (поэма Тициана Табидзе. — В. М.) несколько затягивается. Прошу Вас сообщить, к какому времени он Вам нужен. И что Вы находите нужным делать в первую голову».

Из Прохоровки Заболоцкий вновь пишет Табидзе, — это письмо показывает, как искренне и добросовестно он относился к переводам грузинских поэтов, некоторые из которых, как сам Табидзе, были по-настоящему близки ему по духу:

«Дорогой Тициан Иустинович!

Благодарю Вас за письмо, я получил его своевременно, и оно меня очень порадовало. Я, признаться, одно время думал, что переделка для детей не может заинтересовать публику: мы ещё не привыкли по-настоящему учитывать интересы массового читателя. Но ведь Руставели написал *народную вещь*, в Грузии она известна всему народу. Значит, и в русском переводе мы должны постараться донести её до широких масс читателей... После Вашего письма я спокоен. Если специалисты по Руставели мне помогут, я надеюсь справиться с работой в один год. <...>

„Алуду Кетелаури“ я буду переводить зимой, параллельно с Руставели. В Тифлисе мы поговорим об этом подробнее. У меня нет транскрипции этой вещи, кроме того, нужно устроиться с консультацией. Впрочем, это, вероятно, можно устроить и в Ленинграде с помощью С. В. Вирсаладзе, который помогал мне, когда я переводил поэму Орбелиани.

Ваши новые стихи очень хороши, это чувствуется и по подстрочнику. Я сразу стал переводить их и вот посылаю Вам два перевода: „В ущелье Арагвы“ и „Рождение слова“. Это — не окончательные тексты, тем более что некоторые строчки для меня и до сих пор темноваты, и я слишком свободно перевёл их. Вообще, как Вы видите, переводы довольно свободные. Я очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я допускаю искажение смысла. Я стараюсь только

интерпретировать смысл в том случае, когда это требуется для лёгкости и ясности стиха. В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость душевного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются в одно неразрывное целое — и это для нашего времени явление редчайшее. Среди современных русских поэтов природу любят и чувствуют лишь очень немногие... Такое гармоничное и естественное слияние душевного мира с природой, какое я вижу по Вашим стихам, есть результат долгой поэтической и душевной работы, — результат, о котором молодые поэты могут только мечтать».

В начале осени 1936 года Николай Заболоцкий приехал в Грузию. Это было впервые, и пышное грузинское гостеприимство, с его бесконечными застольями, витиеватыми тостами, обильным вином, благодушными разговорами, хоровым пением, если не поразило его, то немало развлекло. Ему устроили вечер в Союзе писателей; его как драгоценного гостя передавали из дома в дом; водили в театры, на выставки художников. Жене, оставшейся с приболевшим сыном на Украине, поэт хоть и шутливо, но не без удовольствия сообщал, что у него в Тифлисе *шумный успех*. «Знаменитые писатели, орденоносцы каждый день приглашают на пирушки, заставляют читать стихи и стонут от восторга. Если бы русские писатели относились ко мне так же, как грузины, я был бы знаменитостью».

Впрочем, он, возможно, ещё не вполне отличал древний ритуал встречи *дорогого гостя* от действительности, которая, разумеется, прозаичней видимости и замешена на желании заполучить в переводчики замечательного поэта. Приятное вовсе не исключает полезного, — но, собственно, полезного искал в Грузии и сам Заболоцкий.

«На пирушках каждый раз и по несколько раз пьют за твоё здоровье и за здоровье Никиты, и все хотят познакомиться с тобой. Я обязательно привезу тебя в Тифлис, — писал он жене. — Несмотря на пирушки, и весьма большие (позавчера у Тициана было человек 20 народу, выпили 2 ½ ведра кахетинского), я делаю свои дела и даже пишу. Перевёл детское стихотворение Квитко, и, кажется, удачно. Посылаю в „Чиж“ и в сборник Квитко. <...>

Очень хорошо и полезно для меня — что я сюда приехал. Познакомился со многими интересными людьми. Женщины здесь встречаются — писанные красавицы, но я для них стар и толст и, кроме того, не собираюсь доставлять неприятности моей милой жёнке. Да и здесь грузины, чего доброго, по шее дадут.

Природа прекрасная. Я буду писать о Грузии. Предполагается много

переводов».

Через несколько месяцев, в декабре, он признавался в письме Миколу Бажану, что в Грузии и после Грузии жизнь его «крутит»:

«В Грузии, сами понимаете, пробыл месяц, который, как известно, заключает в себе 30 дней. Из этих 30 дней — 24 дня был пьян, остальное время занимался делами. Удивляюсь себе, как успел сделать всё, что нужно. Причина тому — наш дорогой Симон. Он потратил на меня много времени и забот, дай бог ему здоровья. Конечно, всего того, что Вы видели в Грузии, я не видел, но всё же был в Кахетии, в Цинандалах, в Мцхете и иных местах. Очень сошёлся с грузинами, особенно с Симоном. Были с ним в Гори и дали друг другу обещание написать об этой поездке стихи».

В Гори, на родине Сталина, Симон Чиковани первым делом сводил Заболоцкого к приземистой ветхой хижине, где Сосо Джугашвили появился на свет и прожил первые годы своей жизни. Вскоре там откроют Дом-музей генсека — огромный дворец в «сталинском готическом стиле», и крохотная в сравнении с мемориалом родовая хижина обретёт над собой каменный купол. На лестнице, в пролёте между первым и вторым этажами музея встанет мраморная статуя товарища Сталина. *Вождь народов* одет по-военному, под мышкой книга, на которой выбито одно слово: «Ленин»...

Но тогда, в 1936-м, всей этой величественной гранитно-мраморно-бронзовой готики ещё не было. Друзья-поэты тут же отправились в давно облюбованный Симоном винный подвальчик. «<...> ...пили знаменитое атенское вино, которое настолько нежно, что выносит перевозку не далее чем из Атени в Гори, — сообщает Никита Заболоцкий. — Выйдя из духана, они поднялись на холм со старинной крепостью и оттуда долго смотрели на город, на окрестные поля, сады и виноградники, окаймлённые горными хребтами и залитые вечерним солнцем. После атенского вина и дружеской беседы всё в мире казалось прекрасным, острое чувство прелести существования переполняло их души. Тут же, у Горийской крепости, они пообещали друг другу, что непременно напишут стихи об этом вечере».

Заболоцкий, обязательный по натуре, первым выполнил обещание. Так появилась «Горийская симфония» — пышное и торжественное стихотворение, в чём-то зеркально повторяющее грузинский ритуал гостеприимства. Да не затем ли его и возили в Гори? Отзывчивость — свойство любого поэта. Отдавал ли Заболоцкий себе отчёт в том, что втянут в некую тонкую, но достаточно прозрачную игру? Ведь в стихах об этом городе нельзя было не писать о самом вожде. Симон Чиковани, как видно, не торопился со своими стихами, а вот Заболоцкого торопил.

«Ты настаиваешь, чтобы я написал стихи о Гори, — писал другу

Николай Алексеевич 14 ноября 1936 года. — Изволь, стихи готовы, посылаю тебе список. Они возникли благодаря тебе, — читай же и наслаждайся. Шутки в сторону — стихи, кажется, не очень плохие. Прошу тебя, прочти и сообщи мне — каковы они, нет ли каких грузинских неточностей и пр. Одновременно посылаю их Живову в „Известия“, с просьбой напечатать во время Съезда Советов. Напечатают ли — неизвестно.

Теперь, дорогой товарищ, очередь за вами! Жду твоих стихов о Гори — помни наш уговор!»

Одно дело, когда у поэта как бы сами собой пишутся стихи: это — явление поэтической стихии; и другое дело, когда поэт пишет стихи: тут воля, ум, мастерство, — но не более того. «Горийская симфония» похожа на пространный заздравный тост в честь Грузии и «великого картвела»: о его подвигах над миром «по-карталински медленно шумят» даже «тополя, поставленные в ряд». Как видим, натурфилософия тоже боком притулилась в этом карталинском шуме тополей. А поэзия — лишь намёком в нескольких строках:

Взойди на холм, прислушайся к дыханью  
камней и трав, и, сдерживая дрожь,  
из сердца вырвавшийся гимн существованью,  
счастливый, ты невольно запоешь.

Как широка, как сладостна долина,  
теченье рек как чисто и легко,  
как цепи гор, слагаясь воедино,  
преображённые, сияют далеко!

Всё это немного тонет в «готической» приветственной риторике — так «...гремит в стране отцов — / заздравный гимн — вождю народов мира». Апофеоз!., даже здравый смысл кое-где утрачивается...

И снова утро всходит над землёю.  
Прекрасен мир в начале октября!  
Скрипит арба, народ бежит толпою,  
и персики как нежная заря  
мерцают из раскинутых корзинок.  
О, двух миров могучий поединок!

О, крепость мёртвая на каменной горе!  
Пронзён (?) весь мир с подножья до вершины;  
исчез племён косноязычный быт,  
и план, начертанный рукою исполина,  
перед народами открыт.  
В общем, кашу маслом не испортишь...

«Горийская симфония» была напечатана в декабре 1936-го в «Известиях»; восторженные грузины засыпали Заболоцкого телеграммами. И — сдвинулось его литературство с мёртвой точки, будто «паровоз» (да так и звали между собой поэты подобные стихи) дёрнул и потянул за собой давно застывший состав: большой поэтический вечер в Ленинграде, «работищи по горло» с переводами, и с книжкой собственных стихов «начинает что-то такое получаться». Он и сам, пожалуй, рассчитывал на всё это: такие стихи даром не пишутся. Это угадывается по письму М. П. Бажану, написанному в конце 1936 года:

«Если Вы читали мою „Горийскую симфонию“ в „Известиях“, Вы, вероятно, поняли, что это стихотворение будет играть значительную роль в моей литературной судьбе. Признаки к тому уже налицо. 16-го ноября в Доме писателя состоится мой вечер — первый после 1929 года. Ряд журналов просят стихи. Что будет дальше — увидим».

Как Рабле, хоть и был *неверующим*, но *поцеловал руку некоему папе*.

## Удел литератора

Но таким ли уж неверующим — в дело социализма и в метод соцреализма — был тогда Николай Заболоцкий?..

В воспоминаниях литературоведа Николая Харджиева есть небольшой эпизод о том, как они с Хармсом и Заболоцким побывали в гостях у Казимира Малевича — незадолго до 15 мая 1935 года, когда художник скончался. Харджиев утверждает, что хорошую встречу испортил-де Заболоцкий, «который с оскорбительным благоразумием вздумал поучать Малевича, советуя тому приложить своё мастерство к общественно полезным сюжетам. Очевидно, Николай Алексеевич уже подумывал о собственной перестройке. Вскоре Хармс, коварно улыбаясь, мне сказал, что Заболоцкий собирается воспеть „челюскинцев“».

Заболоцкий и раньше стремился деятельно участвовать в жизни страны — об этом в особенности свидетельствует его поэма «Торжество земледелия». Да, собственно, и его натурфилософские утопии говорят о том же, — разве что заглядывал он в некое отдалённое будущее всего человечества, не слишком обращая внимание на сегодняшний день. Писать *по заказу* — для него не было зазорным, никакого соглашательства с поэтической совестью он тут не видел, ведь всё дело в том — *как* писать. Он пытался выбраться на дорогу с обочины, куда его некогда вытолкнули рапповцы, ныне оседлавшие соцреализм. В самом близком кругу Заболоцкого отнюдь не отрицали такого выбора для любого поэта. Так, Леонид Липавский рассуждал в «Разговорах»: «Говорят о плохих эпохах и хороших, но я знаю, единственное отличие хорошей — отношение к видимому небу. От него и зависит искусство. Остальное не важно. Нам, например, кажется, писать по заказу плохо. Но прежде великие художники писали по заказу, им это не мешало...» При всём этом Николай Алексеевич ни к каким должностям — ни официальным, ни общественным — не рвался и добродушно посмеивался над теми, кто стремился быть на виду. О Николае Тихонове, которого ценил как поэта и человека, сочинил шуточный стишок и напевал его под гитару:

Эх, ёлки, ёлки, ёлочки,  
Вершины, как иголочки.  
Был бы Тихоновым Колей,  
Излечился б от мозолей,

Всё ходил бы босиком  
То в Горком, то в Совнарком.

«Челюскинцев» Заболоцкий, как и говорил Хармс, *воспел* — точнее бы сказать, не их одних, а *всех людей Севера*, мужественных первопроходцев Арктики. Воспел по-настоящему — прекрасными, сильными стихами, в которых искренний пафос пронизан подлинным, не напоказ, трагизмом:

В воротах Азии, среди лесов дремучих,  
где сосны древние стоят, купая в тучах  
свои закованные холодом верхи;  
где волка валит с ног дыханием пурги;  
где холодом охваченная птица  
летит, летит и вдруг, затрепетав,  
повиснет в воздухе, и кровь у ней сгустится,  
и птица падает — умершая — стремглав;  
где в желобах своих гробообразных,  
составленных из каменного льда,  
едва течёт в глубинах рек прекрасных  
от наших взоров скрытая вода;  
где самый воздух, острый и блестящий,  
даёт нам счастье жизни настоящей,  
весь из кристаллов холода сложен;  
где солнца шар короной окружен;  
где люди с ледяными бородами,  
надев на голову конический треух,  
сидят в санях и длинными столбами  
пускают изо рта оледенелый дух;  
где лошади как мамонты в оглоблях  
бегут, урча; где дым стоит на кровлях  
как изваяние, пугающее глаз;  
где снег, сверкая, падает на нас,  
и каждая снежинка на ладони  
то звёздочку напомним, то кружок,  
то вдруг цилиндром блеснёт на небосклоне,  
то крестиком опустится у ног;  
в воротах Азии, в объятьях лютой стужи,  
где жёны в шубах и в тулупах мужи, —



несметные богатства затая,  
лежит в сугробах родина моя. <...>

Какое мощное, широкое дыхание!., какой простор пространства открывается уму и чувству!., как естественно и с каким достоинством звучит здесь *мы, наше!*..

Заболоцкий и сам был немного человеком Севера: Вятская земля граничит с Арктикой. Одно из ярчайших воспоминаний его детства — зимние поездки с отцом на санях из Уржума в Сернур... В начале 1936 года поэт близко сошёлся с писателем Соколовым-Микитовым и художником Пинегиным, заслушивался их рассказами о путешествиях, о Севере...

Скоро, скоро и сам он окажется в этих далёких вечных сугробах родины, где лежат «несметные богатства». И там будут ждать его подневольный тяжкий труд, ежедневная борьба за собственное существование на земле...

Корабль недвижим. Призрак величавый,  
что ты стоишь с твоею чудной славой?  
Ты — пар воображенья, ты — фантом,  
но подвиг твой — свидетельство о том,  
что здесь, на Севере, в середине льдов тяжёлых,  
разрезав моря каменную грудь,  
флотилии огромных ледоколов  
пробьют над миром небывалый путь.  
Как бронтозавры сказочного века,  
они пройдут — созданья человека,  
плавучие вместилища чудес,  
бия винтами, льдам наперерез.  
И вся природа мёртвыми руками  
обнимет их, но, брошенная вспять,  
горой отчаянья падёт над берегами  
и не посмеет головы поднять.  
(«Север». 1936)

Тему Севера и его отважных первопроходцев продолжило стихотворение «Седов» (1937). Эта тема навеяна «общегосударственной» задачей *покорения природы*, или, иначе говоря, навязчивой волей времени,

в основе которой — идея человекобожества.

Всё, всё отдать, но полюс победить! —

вот желание, которым, по Заболоцкому, одержим полярный исследователь Георгий Седов.

Но как это — *победить полюс*? Это же — географическое понятие, геомагнитный «пуп» планеты. Как он был, так и останется полюсом, хоть тысяча «победителей» на него ступи. Вот, к примеру, восходителей на высочайшую гору Земли называют «покорителями Эвереста», — но что же они на самом деле *покорили*? Разве что трудности восхождения. А гора как была, так и осталась на прежнем месте, она и не заметила, что кто-то, изнемогший от изнурительной дороги и кислородного голодания, недолго постоял на вершине, а потом пошёл обратно — и неизвестно, дойдёт ли ещё живым до своей палатки на склоне...

В «Седове» трагизм покорения пространства уже не скрыт за образами природы, как в стихотворении «Север», — а вполне конкретен:

Он умирал посреди дороги,  
болезнями и голодом томим,  
в цынготных пятнах ледяные ноги,  
как брёвна, мёртвые лежали перед ним.  
Но странно! — в этом полумёртвом теле  
ещё жила великая душа.  
Преодолевая боль, едва дыша,  
к лицу приблизив компас еле-еле,  
он проверял по стрелке свой маршрут  
и гнал вперёд свой поезд погребальный...  
О, край земли, угрюмый и печальный!  
Какие люди побывали тут!

...Если на миг позабыть про героя-полярника, то сказано словно бы о тысячах кулаков, сосланных в начале тридцатых на севера, или же о зэках конца десятилетия...

И здесь, и на дальнем Севере, могила...  
Никто не знает, где лежит она.

Один лишь ветер воет там уныло,  
и снега ровная блистает пелена.  
Два верных друга, чуть живые оба,  
среди камней героя погребли,  
и не было ему простого даже гроба,  
щепотки не было родной ему земли.  
И не было ему ни почестей военных,  
ни траурных салютов, ни венков,  
лишь два матроса, стоя на коленях,  
как дети, плакали, — одни среди снегов.

«Север» и «Седов» — советские, героические, в державинском духе, оды, — и это новая черта в творчестве Николая Заболоцкого.

Натурфилософский туман всё ещё окутывал его: возвышенная мысль о разумном устройстве жизни на земле порой сбивалась на *пользу* — на утилитарщину:

Природа чёрная, как кузница,  
Кто ты — богиня или узница?  
.....  
Отныне людям ты союзница,  
Тебя мы вылечим в больнице,  
Посадим в школу за букварь,  
Чтоб говорить умели птицы  
И знали волки календарь;  
Чтобы в лесу, саду и школе  
Уж по своей, не нашей воле  
Природа, полная ума,  
На нас работала сполна.  
(1936)

Поддержка центральной газеты немало помогла Заболоцкому, и он был от души признателен «Известиям», по возможности отвечая взаимностью. Но газета есть газета: она живёт злобой дня, то есть изменчивой политикой. Газета вовсе не занимается благотворительностью или же покровительством музам — и за свои услуги требует службы. Превратившись в «Известиях» на какое-то время чуть ли не в штатного

поэта, Заболоцкий как бы должен был воспевать и другое, не только подвиги людей Севера. В стихотворении «Великая книга» (1937) он уже славил новую Конституцию страны. Среди ярких поэтических строк замелькало обязательное: «сталинская могучая сила», «дыханье Октября», «владыка мира, счастья и труда!» и прочее. Сталинская Конституция 1936 года действительно приспустила поводья туго взнузданного советского народа, но не сказать, чтобы очень. Стало доступнее образование, где до того зверствовал классовый принцип; «лишенцы» были восстановлены в гражданских правах. Так что пафос Заболоцкого, как заметил Валерий Шубинский в книге о Хармсе, «до известной меры мог быть искренним, как пафос Пастернака, посвятившего новой Конституции и её „зодчему“ восторженную статью».

Дальше — больше.

27 января 1937 года «Известия» напечатали стихотворный отклик Заболоцкого о политическом процессе по делу «Параллельного троцкистского центра» — в антисоветской деятельности обвинялись Пятаков, Радек, Серебряков и Сокольников.

Как? Распродать свою страну?!  
Чтоб под сапог германский  
Всё то, что создано работою гигантской,  
Всем напряженьем сил, всей волею труда, —  
Колхозы, шахты, стройки, города, —  
Всё бросить, всё продать?!  
Чтоб на народном теле  
Опять они, как вороны сидели!

Запев одический, однако поэзия, конечно, здесь и не ночевала. Заболоцкий всё же избегает тех крайних требований, что звучали на митингах против *врагов народа*, ограничиваясь моральным осуждением и утверждением общих гражданских ценностей:

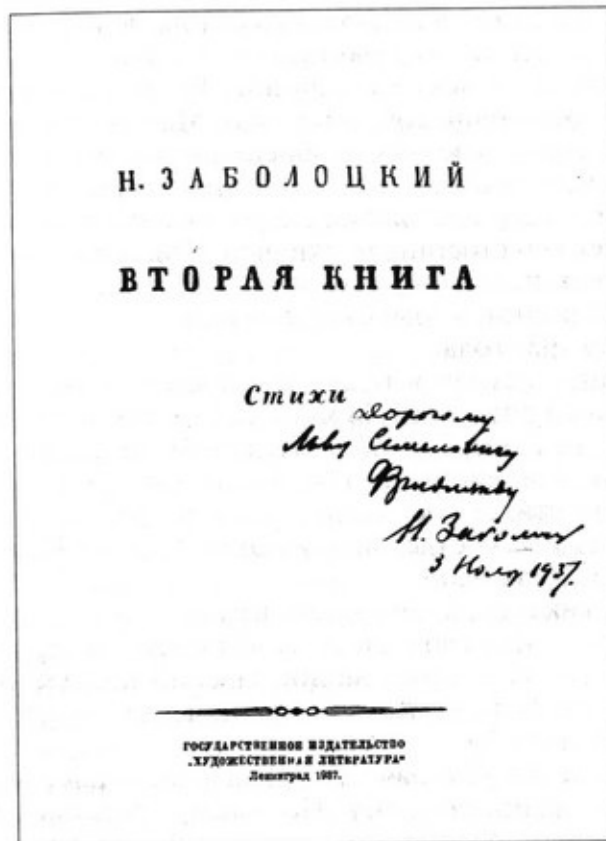
Сквозь бедствия войны, переполох умов,  
Сквозь горе человеческое, муку  
Мы пронесли великую науку —  
Науку побеждать, чтоб был у власти Труд,  
Науку строить так, как в песнях лишь поют,  
Науку веровать в людей и, если это надо, —

Уменье заклеить и уничтожить гада.  
(«Предатели». 1937)

Того же качества и пространное произведение «Война войне», написать которое его, по-видимому, тоже подвигли «Известия».

Невеликая честь — наскоро сочинять стихотворную публицистику — тем более поэту такого уровня, какой был у Заболоцкого. Однако отказаться от сотрудничества с центральным изданием он, наверное, не мог: на кону стояла его литературная судьба. В письме литератору Виктору Викторовичу Гольцеву от 12 января 1937 года Николай Алексеевич сообщал: «Сейчас я занят составлением книжки стихов, которая в основном принята к изданию Ленинградским Гихлом и утверждена Москвой. Если всё будет благополучно, к весне книга может уже выйти из печати. Я книги не имею с 1929 года, посему это событие для меня весьма серьёзного значения. Рад бы взять у Вас новые переводы, но над головой — Руставели, и поделаться сейчас ничего не могу. После Руставели я в Вашем распоряжении, но это случится не раньше осени».

Очевидно: пишет усталый человек, настроения никакого... Суета литераторства; тревожные предчувствия; ничего путного не предвидится. Всё это весьма заметно по письмам Симону Чиковани.



**Титульный лист сборника «Вторая книга» с дарственной надписью автора Льву Фридлянду. 1937 г.**

30 января 1937 года:

«Что у вас в Тбилиси нового? Тоже, вероятно, вроде меня, как в колесе крутишься. Что касается меня, то эта зима у меня особенно сложная. Вечера, выступления, статьи и стихи в журналах, книга стихов сдаётся в производство, статья и работа в „Известиях“, борьба на фронте детской литературы — это отнимает почти всё время, так что пишу очень мало и даже твоего стихотворения не перевёл ещё до сих пор. Читал ли ты мою статью в „Известиях“? И как её приняли грузинские товарищи? Вопросы поставлены, кажется, достаточно точно и резко. Моё положение в Ленинграде двусмысленно: одобренный рядом уважаемых и авторитетных

людей, — в среде поэтов чувствую глухое сопротивление. Это, вероятно, скоро проявится конкретно и вернее всего со стороны москвичей. Конечно, это меня не очень пугает, поскольку дело идёт не об отдельных людях, а о всём положении в советской поэзии».

6 марта 1937 года:

«Срочно пустили и пускаем в производство огромными тиражами ряд книг. Из моих обработок идут Рабле, де Костер и „Гулливер“ Свифта. Нужно было заново просмотреть 25 листов текста, сверить, выправить и пр.

Книжка стихов в производстве: жду гранок. В Московском Детиздате — отдельное издание „Алуды Кетелаури“. За всем смотреть надо.

Живу, как гусь, закопавшись в бумаги, и только изредка вытягиваю из них свою шею, чтобы посмотреть, что делается на свете. Предстоит ленинградский пленум: 3–4 дня с костей долой. Беда. Хоть бы ты приехал, честное слово. Повеселее было бы».

Наконец его «Вторая книга» вышла, однако много ли радости она принесла поэту? По объёму предельно малая — всего 17 стихотворений, состав сборника приходилось всё время «утраивать». Так, в последний момент вместо «Лодейникова в саду», ставшего вдруг *непроходным*, пришлось ставить стихотворение «Седов»...

Впрочем, Заболоцкий по-прежнему не терял надежды на лучшие времена. В письме Виктору Гольцеву от 12 ноября 1937 года он писал:

«Я очень рад, что моя книжка пришлась, кажется, Вам по душе. Она ещё не цельная: торчат концы старого, видны ростки нового. Буду надеяться, что к концу будущего года переиздам книжку в более цельном виде. На будущий год у меня большая работа: нужно переложить на русские стихи „Слово о полку Игореве“ — работа интересная и ответственная. Кроме того, думаю заняться переводом Важа Пшавела и своими стихами».

## Переход

Как ни желал Заболоцкий новой книги стихов, а выход её вряд ли его сильно порадовал: выпустить сборник в задуманном виде ему просто не дали.

После «Столбцов» и поэмы «Торжество земледелия» за поэтом бдительно присматривали и цензура, и литературные критики, и редакторы издательства. «Он уже был поэтом с именем, хорошо известным любителям поэзии, а кроме тоненькой книжечки, вышедшей семь лет назад, отдельного издания стихов у него не было, — пишет Никита Заболоцкий. — Он не мог забыть неудачи со сборником, набор которого был рассыпан в 1933 году, но упорно стремился выпустить книгу, охватывающую всё его творчество — от „Столбцов“ до последних стихотворений. Но вот, почувствовав себя немного свободнее от пресса критики, но ещё до поездки в Грузию, он снова собрал свои произведения, отредактировал их, перепечатал в трёх экземплярах и машинописные сборники заключил в тёмно-красные переплёты. Получилось такое собрание, которое Заболоцкому хотелось бы издать при достаточно благоприятных внешних обстоятельствах».

И далее, самое удивительное:

«Целиком его состав нам не известен, но знаем: поэма „Облака“ в него вошла».

То есть даже содержания второго сборника стихов — в его первоначальном виде — не сохранилось. Больше того, все три экземпляра переплетённой рукописи канули во времени. А между тем Заболоцкий, казалось бы, всё предусмотрел:

«Во избежание всяких случайностей по одному экземпляру Николай Алексеевич отдал на хранение наиболее близким, надёжным друзьям — Н. Л. Степанову и Е. Л. Шварцу. А третий экземпляр, преодолев сомнения и колебания, послал главному редактору „Известий“ Н. И. Бухарину с просьбой высказать своё мнение о сборнике и, если оно будет благоприятным, — рекомендовать книгу для издания. Николай Алексеевич знал о благосклонном отношении Бухарина к его творчеству и надеялся на его помощь. Вероятно, о ненадёжном положении самого Бухарина в то время не было широко известно, и Николай Алексеевич не думал об опасности, связанной с таким покровительством. Однако Бухарин не счёл возможным принять участие в судьбе книги и через некоторое время



возвратил её с вежливой запиской, в которой говорилось, что поэту он ничем помочь не может. Вскоре с должности главного редактора „Известий“ он был снят, а затем и арестован — уже назревал известный процесс по делу о „правотроцкистском“ блоке».

Николая Заболоцкого уже несколько лет публично *перевоспитывали* — жёсткой критикой в печати. А незадолго до «Второй книги» он подвергся проработке в ходе кампании против формализма в искусстве. В конце концов от него добились покаяния в «грехах» новаторских поисков. Больше того, поэт начисто отказался от необычной стилистики и стал писать стихи в традиционном духе.

Но всё это — видимая часть *айсберга*. Что же скрывалось *под водой*? В самом ли деле поэт перевоспитался или же естественным путём пришёл к *классике*, исчерпав возможности авангардистской манеры?

Форма сама по себе не определяет содержания — а вот содержание большей частью определяет и форму. У «Столбцов» — одна поэтика, у натурфилософских произведений — другая. Не исключено, что они в том и в другом случае были Заболоцким исчерпаны, — и он шёл дальше. Это были, так сказать, *одноразовые поэтики*, уместные каждая для своей темы, — что их нисколько не умаляет. Выработав их как золотиносные жилы, поэт устремился к чему-то универсальному: ему надо было выйти на простор всего русского языка. Но язык, в русском понимании, это ещё и *народ*. В уютных рамках признания поэтов-профессионалов ему уже становилось тесно — похоже, после «корпоративного» успеха Заболоцкому потребовалось и признание народа. Не об этом ли свидетельствует его постепенный переход к традиционному стиху? Про это же говорят и его статьи 1937 года о Пушкине и Лермонтове, и его идея переложить стихами родниковый источник всей русской поэзии — «Слово о полку Игореве».

В январе 1937 года страна *широко отмечала* столетие со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. (Звучит странно — торжество по случаю гибели, но такова была воля властей.) К этой дате в «Известиях» появилась большая статья Заболоцкого «Язык Пушкина и советская поэзия» с подзаголовком: «Заметки писателя». Уже в самом начале статьи он ясно выразил свою основную мысль:

«В результате своей творческой жизни Пушкин дал нам языковую систему, настолько крепкую и живучую, что и теперь, несмотря на свой вековой возраст, она ближе нам, понятней и дороже, чем многие другие системы, в том числе и позднейшие».

Итак, если раньше, в «Столбцах», его образному взору предстояла, так сказать, *система кошек*, то теперь он жил как поэт в *системе языка*.

Заболоцкий придирчиво и строго разбирает современную ему советскую поэзию. По его мнению, в сравнении с поэзией дореволюционной она «в общей своей массе» выросла неизмеримо. (Ну, это — количество, а качество?..) «Безвозвратно исчез язык замкнувшегося в своей комнате интеллигента. Исчезли мистические „откровения“ провидцев и кликуш. Всё меньше остаётся книжности, искусственности и архаической манерности поэзии прошлого. Пришёл новый поэт, поэт жизнерадостный, трезвый, любящий жизнь. Общественные интересы нашей родины — его кровные интересы. Всем своим творчеством он служит делу строящегося социализма».

Трудно судить, насколько искренни последние предложения с их «обязательными» для газет того времени оптимистическими посылами, но, несомненно, это новая позиция поэта — и заключена она, в согласии с пушкинской традицией, в стремлении к народности поэзии. Вглядываясь в творчество коллег по цеху поэзии, Заболоцкий ни в ком не видит должного совершенства, зато «болезни» налицо: «Алогическая, тёмная речь Пастернака; мужественная, комковатая речь Тихонова; развязная, на редкость многословная, путаная, лишённая вкуса и малейшего поэтического такта речь Сельвинского; подтанцовывающая и жонглирующая речь Кирсанова; утомительная, серая речь Безыменского; ладожский говор Прокофьева, соединяющего „фольклорные“ обороты с литературными; пошловато-сентиментальный язык Уткина и десятки других голосов и подголосков (в том числе и автора этой статьи с его ошибками), — какая перед нами пёстрая картина!»

(Заметим, почему-то отсутствуют на этой картине Ахматова и Мандельштам, П. Васильев и Корнилов, Луговской и Багрицкий. — В. М.)

«Бросается в глаза полное отсутствие общеобязательных языковых устоев, которые одни только и могут превратить это беспорядочное многообразие в стройное и величественное здание советской поэзии, где, конечно, голос каждого поэта должен и будет звучать по-своему.

Я далёк от мысли сравнивать силу наших способностей с огромным дарованием Пушкина; я хочу лишь сказать, что у нас до сих пор существует вредная тенденция не считаться с основными законами большого поэтического языка, завещанного нам Пушкиным. Наши стихи частенько малопонятны, сбивчивы; язык неряшлив, концы строк висят небрежно, рифмы выродились в едва заметные созвучия; целые моря лишней, ненужной, водянистой болтовни; песни наши если и поются, то тексты их исправляются певцами „на ходу“ и весьма часто от этого выигрывают; мысли наши нередко бледны и неотчётливы; думаем мы маловато, учимся

ещё того меньше и даже с тем, что происходит вокруг нас, часто знакомимся лишь по газетам да по рассказам знакомых.

А между тем как изменилось время! „У нас литература не есть потребность народная“, — писал Пушкин. У нас же литература воистину стала народной потребностью. „Класс читателей ограничен“, — жаловался Пушкин. У нас читателей — миллионы! Нужно только найти дорогу к человеческим душам, и уж тогда будет настоящая возможность стать инженером человеческой души».

В его предметном и резком обзоре особенно досталось Илье Сельвинскому — за стихотворение «Занимаюсь от злости немецким...», в котором тот, воспев себя и свой «роскошный язык», пушкинский стих пренебрежительно назвал «тепловатым»:

«Скажем честно, позорные стихи написал Сельвинский. <...> Какая самовлюблённость, какая слепота, какое непонимание нашего времени, какое отвратительное издевательство над Пушкиным, гордостью нашей литературы, отцом нашей поэзии! <...>

Илья Сельвинский — не Пушкин. Мало того что из года в год он заливает нас мутными потоками своих хаотических творений, — он благоговейно собрал свои детские стишки и в 1929 г. преподнёс их обрадованному читателю в виде здоровенной книжицы на 250 страниц под заглавием „Ранний Сельвинский“. Какая беспардонность! Вот уж поистине редкий пример неуважения к читателю.

Стишки „раннего“ Сельвинского — просто жалкие стихи, но Госиздат приветливо принял их и напечатал тиражом в 3000 экз. И ещё жалуется Сельвинский, что он нелюбим эпохой и „неосвоен“ ею. О, бедный, великий, непонятый Сельвинский!»

Илья Сельвинский, «гремевший» тогда, ныне почти забыт. А вот замечание о Пастернаке Заболоцкому просто так не сошло с рук. Валерий Шубинский в книге о Хармсе пишет:

«На рубеже 1936–1937 годов Заболоцкий совершил ещё несколько шагов, вызывающих сегодня огорчение и недоумение (ранее говорилось о стихотворении „Предатели“. — В. М.) — например, на собрании, посвящённом пушкинскому юбилею, он выступил с критикой „комнатного искусства“ Пастернака. Где кончалось общее для обэриутов неприятие пастернаковской „невнятицы“ и начиналось соперничество за статус „первого поэта“, носителя большого стиля эпохи? Где заканчивалось это соперничество и начинался обычный страх? Нам этого не понять — мы не жили в сталинскую эпоху».

Конечно, поэты всегда, сознательно или бессознательно, соперничают

друг с другом: это не только авторские притязания на первенство во времени и на место в вечности, но и свойство любого дара, завоёвывающего словом пространство душ и умов. Но в данном случае Николай Заболоцкий, вполне вероятно, не столько спорит с Пастернаком, сколько с самим собой, утверждая свою новую поэтику: недаром же в список критикуемых поэтов он включил и самого себя — прежнего. Что касается «обычного страха», то это не про Заболоцкого: ведь речь о поэзии, а поэзия для него превыше всего.

*Небожитель* Борис Пастернак, разумеется, публично никак не откликнулся на это замечание Заболоцкого, а вот таланты рангом ниже не отмолчались. «Говорят, Вишневский и Сельвинский ругали меня на пленуме за статью, — писал Заболоцкий Симону Чиковани 6 марта 1937 года. — Относительно Сельвинского — понятно, но что лезет Вишневский? Будто бы ссылался на мои стихи. Мои стихи — не пример. Я могу вовсе не писать стихов, но тем не менее заявить своё недовольство по поводу положения в совр[еменной] поэзии — моё право, и никакой Вишневский этого права у меня не отнимет».

Потеряв надежду на поддержку Бухарина, Заболоцкий сам пересмотрел состав своей новой книги стихов перед тем, как сдать рукопись в издательство. Заведомо «непроходные» произведения убрал и, конечно, включил в сборник свежие стихи 1936–1937 годов: «Вчера, о смерти размышляя...» и «Бессмертие» (впоследствии, отредактированное, оно стало называться «Метаморфозы»). По мысли, оба эти стихотворения — та же натурфилософия, но не в прихотливом ритме и в свободных рифмах прежних стихов, а закованная, как *Нева в гранит* (Пушкин), в классический строгий ямб.

\*

С выходом большой подборки стихов в «Литературном современнике» (1937, № 3) и «Второй книги» переход поэта к традиционному стилю стал очевиден для всех его читателей.

*Ранний* Заболоцкий остался за перевалом — начался *поздний*.

«Как мир меняется! И как я сам меняюсь!...» — воскликнул он тогда же, в стихотворении «Бессмертие». Возможно, в этой строке отразилось и это...

Читатель, наверное, консервативней писателя: далеко не всякий принимает такие резкие перемены и, привыкнув к старому, освоив его и

полюбив, сочувствует новому.

Крайние взгляды на этот переход дают понятие о разбросе мнений, как современных поэту, так и последующих.

Поэт Юрий Колкер пишет в статье «Заболоцкий: жизнь и судьба»:

«По сей день о Заболоцком спорят; решают, какой из двух лучше: поздний или ранний. Всегда будут те, кому в стихах всего дороже мальчишеская прыть и ветер перемен, и те, кто кратчайший (и кротчайший) путь к сердцу — и от сердца — видит в следовании традиции. В пользу первых можно сказать, что жестокость (непременная спутница революций) — сестра красоты. В пользу вторых есть два довода. В середине XX века философы произнесли, наконец, то, что в древности само собою разумелось: традиция умнее разума. (Аристотель вообще утверждал, что основа искусства — подражание.) И второе, тоже самоочевидное: отказ от традиции снимает вопрос о мастерстве, устраняет критерий; а что такое искусство без мастерства? Чем восхищаться будем? Удивление, на которое делают ставку теперешние стяжатели славы, — низшее из чувств, принимающих участие в восприятии искусства. На нём далеко не уедешь».

Совершенно по-другому осмысливает это явление поэт Алексей Пурин в статье «Метаморфозы гармонии: Заболоцкий»: «...жизнь Заболоцкого изменяется — авторское „я“ обрastaет значимыми и прочными связями с окружающим миром; мир ловил его — и поймал, сказал бы философ. О чём думает человек, пойманный миром, опутанный им по рукам и ногам? Известно о чём:

Вчера, о смерти размышляя,  
Ожесточилась вдруг душа моя.  
Печальный день! Природа вековая  
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединенья  
Пронзила сердце мне, и в этот миг  
Всё, всё услышал я — и трав вечерних пенье,  
И речь воды, и камня мёртвый крик.

Эти стилистически финальные строки (потом, до самой смерти, Заболоцкий будет лишь варьировать найденный им псевдоклассический стиль, обогащая его всей гаммой индивидуальных поэтических интонаций XIX столетия, от позднего Пушкина до Некрасова и Надсона) написаны в

1936 году. Изменяется жизнь — и сумма гармонии требует изменения второго слагаемого: ни на что не похожие столбцы становятся на всё похожими стихотворениями, проходя попутно стадию поэм. <...>

Но это „стихотворение“ как жанр коренным образом отличается от лирического стихотворения прошлого и начала нашего столетия. Оно — гипсовый слепок лирики, посмертная маска классики. Вместе с поздней Ахматовой (переломный пункт в её творчестве — „Реквием“), вместе с поздним Пастернаком (достаточно сравнить, например, стихи Заболоцкого „Не позволяй душе лениться“ с пастернаковскими — „Быть знаменитым некрасиво...“), вместе со своим почти ровесником Арсением Тарковским — Заболоцкий, начиная с середины 30-х годов, строит огромный постмодернистский музей лирических слепков. Музей, экспонаты которого не только пугающе напоминают шедевры сталинского ампира — живопись Самохвалова и Дейнеки, музыку Дунаевского, поэзию Исаковского, но по сути и представляют собой высшие достижения такого монументального искусства тоталитарной эпохи, вершины советской классики.

Искусство это — при всём его эстетическом подчас великолепии — не только мертвенное, но и мертвящее. <...>

Наступает обывательство, старость художественного стиля — то, о чём писал в своё время Тынянов: „Шероховатость, пещеристость — признак молодой ткани. Старость гладка, как бильярдный шар“. Но при всей своей гладкости и прохладе это умирание стиля способно приносить странные, вероятно — отравленные, но чем-то необычайно притягательные плоды. Особенно — в случае Заболоцкого, с его феноменальной версификационной выучкой, с его мастерством».

В этом стройном, утончённом эстетском суде над поэзией позднего Заболоцкого, как нам кажется, есть своя правда, но есть и своя неправда.

«Псевдоклассический» стиль?.. Почему же «псевдо»? — вполне классический. Что же предосудительного в том, что поэт вышел на торную дорогу? Не всё же шагать окольными тропами, которые сами по себе такой дорогой никогда не станут. Главное, с чем ты по ней идёшь. Заболоцкий остался сам собой и в традиционном стихе. Конечно, не таким ярким и самобытным, как в *столбцах*, но его поэзия явно ушла в глубину, а глубина не так бросается в глаза... (Кстати, *столбцы* — превратились в новую классику, — только она по оригинальности своей не может быть повторённой.)

«Лирические слепки»?.. «Сталинский ампир»?.. «Монументальное искусство»?.. Ну, разве подходят под эти определения такие шедевры позднего Заболоцкого, как «Слепой», «В этой роще берёзовой...»,

«Прощание с друзьями», «Сон», «Где-то в поле возле Магадана...», «Это было давно...» и другие стихотворения? В них никакого «обызвествления» и ничего монументального, — зато с избытком истинной сердечной теплоты, той высшей человеческой мудрости, которая даётся испытаниями всей жизни. Разве же это — «мертвенное», «мертвящее» искусство?..

В стихотворении «Город в степи» Алексей Пурин увидел чуть ли не образы руин Пальмиры и Вавилона и — более того — «даже кумир Молоха или Ваала», будто бы изображённых Заболоцким. Исследователь приводит в доказательство строки из этого стихотворения:

Кто выстроил пролёты колоннад,  
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,  
Кто средь степей разбил испепелённых  
Фонтанами взрывающийся сад?  
А ветер стонет, свищет и гудит,  
Рвёт вымпела, над башнями играя,  
И изваянье Ленина стоит,  
В седые степи руку простирая.

Речь здесь — о Караганде, куда поэт с семьёй попал в 1945-м.

...Автор этой книги — родом из Караганды и помнит, каким был степной город примерно в те же годы. Он возник совсем недавно, в начале 1930-х, в безлюдной, совершенно необжитой и негодной для обитания местности. До архитектурных ли красот было тем, кто поначалу ютился в вырытых ими самими землянках? Конечно, никакими *пролётами колоннад* там и не пахло. Не было ни гирлянд на фронтонах, ни тем более садов с фонтанами. А *изваянье Ленина*, которое критику чудится каким-то чудовищным Молохом или Ваалом, представляло собой типовой гипсовый памятник в человеческий рост на таком же дешёвом «дежурном» постаменте перед горисполкомом. Вот ветер — да, ветер был: это единственная достоверная деталь. Всё остальное — чистая фантазия Заболоцкого, горькая по своей сути. Гротеск ли это — но не тот броский, открытый, как в молодости, в «Столбцах», — а ушедший, как угольные шахты, на глубины человеческого страдания (и народного подвига одновременно)? А может, скорее, тайное трагедийное действо, в нарочитом гриме социалистического реализма?.. Об этом, вполне быть может, говорит как раз то сталинско-ампирное словечко *колоннады*. Сдаётся мне, в этом пышном слове Николай Заболоцкий, только что вернувшийся из

заклучения, зашифровал образ Караганды, построенной тяжким трудом подневольных людей в голой степи. Ведь он сам все годы заключения обретался — в колоннах, то есть в строительных подразделениях НКВД. (Его адреса на Дальнем Востоке так и назывались: «колонна комендантская», «колонна 51».) Без сомнения, оказавшись в Караганде, одном из центров ГУЛАГа, он сразу понял, что это, по сути, одна большая колонна. В образе «испепелённые степи» Заболоцкий намёком говорит об испепелённых судьбах тех, большей частью подневольных, людей, что в считанные годы перед войной построили *третью всесоюзную кочегарку*, так пригодившуюся стране во время оккупации Донбасса...

Но вернёмся к тому, как осмысливают исследователи переход Николая Заболоцкого на классическую стезю. Вот что пишет Ирина Роднянская:

«Так или иначе, в „Столбцах“ уже совершён прорыв сквозь частокол „нового искусства“ — и совершён (сколь ни условно такое разделение) не художником, а человеком. Там, где „художник“ пока ещё принимает правила игры, навязанные антидуховной эстетикой, и даже находит в этом удовольствие — от свободы рук, „человек“ неожиданно заявляет, что он куда как „восхищён“, но ему почему-то всё же нестерпимо тошно. Или, говоря начальными словами поэмы „Людейников“:

Как бомба в небе разрывается  
и сотрясает атмосферу, —  
так в человеке начинается  
тоска, нарушив жизни меру.

Тоска эта в Заболоцком была тоской по полноценному гнозису, недоумением перед загадкой смерти. Он чувствовал, что материя и стоящий перед нею „бедный воитель“ — человеческий разум, не имея духовного соединительного звена, обречены на взаимонепроницаемость и взаимные терзания, на „нестерпимую тоску разъединенья“. И эту связь, придающую вселенной „тройность“ и обеспечивающую соответствие между природой и сознанием, он искал в космологии Циолковского и Хлебникова, в эволюционных теориях. Иные ответы утешали его, иные оставляли при подавленных сомнениях. В „Лесном озере“, написанном в 1939 году в местах отдалённых, его поэтическая мысль классически воссоединяет Истину, Добро и Красоту, обнаруживая их в сущностной глубине мировой жизни. <...>

А к характеристике „Столбцов“ не мешает добавить своего рода



мораль. „Новое искусство“ ведёт в тупик, — взятое в самодостаточности своих рекомендаций, методов и представлений о мире. Но с тех пор, как оно пришло в культуру, на прежнее стремление к гармонии легла тень проблематичности и красота стала нуждаться в оправданиях. „Новое искусство“ как бы предложило альтернативу и лишило художника старой уверенности, что он — жрец „единого прекрасного“, посреди всех мировых ужасов, так или иначе свидетельствующий об идеале. „Единое прекрасное“ в наступившую эпоху не может само вытащить себя за волосы, не может собственной эстетической силой вернуть свою репутацию абсолюта. И всякий раз, когда художник, начинавший в границах „нового искусства“, покидает его территорию (непреренно возвращаясь к классическим понятиям), — это не „авангард“ находит в себе источник плодотворного саморазвития, — нет, это сквозь него прорывается человек, при условии значительности своего сердечного и умственного мира, и уводит за собой художника».

Зрелое и точное суждение... Собственно, оно — в духе самого Заболоцкого, сказавшего ещё в 1936 году в своём «покаянии» о «грехах» формализма следующее:

«Формалистическое искусство может достигнуть огромного совершенства, но в нём нет простой человеческой правды, которая и составляет самый секретный секрет всяческого искусства, которая делает искусство народным».

...Да, мир поймал его (а кого мир так или иначе не уловил в свои сети?!) — но всё равно его дух оставался свободным. И — в продолжение оборванного Алексеем Пуриным на первых строфах стихотворения «Вчера, о смерти размышляя...» — вспомним то, что было дальше:

И я — живой — скитался над полями,  
входил без страха в лес,  
и мысли мертвецов прозрачными столбами  
вокруг меня вставали до небес.  
И голос Пушкина был над листвою слышен,  
и птицы Хлебникова пели у воды.  
И встретил камень я. Был камень неподвижен.  
И проступал в нём лик Сковороды.  
И все существованья, все народы  
нетленное хранили бытиё,  
и сам я был не детище природы,  
но мысль её! Но зыбкий ум её!

В классике, в её тайнах, интуиции, мысли, в её поющей музыке (вспомним, в *столбцах* всё скрежетало, лязгало, гремело...) Николай Алексеевич Заболоцкий находит свою обновлённую душу и сердечную связь с миром и вечной жизнью.

## **Глава пятнадцатая**

# **АРЕСТ**

## Под неусыпным оком критики

Ни покаяние в формалистических «грехах», ни «Горийская симфония» с «Великой книгой», в которых славился товарищ Сталин, ни публицистические стихи и советские оды не избавили Николая Заболоцкого от пристрастного и подозрительного внимания литературной критики. Он получил короткую передышку, и только. Его зоилы затаились, приутихли, дожидаясь своего часа. Тем временем поэт напряжённо работал над переводом Шота Руставели.

5 апреля 1937 года в его семье был праздник: родилась дочка Наташа. Никита Заболоцкий пишет:

«Вечером Николай Алексеевич пришёл к Гитовичам и с гордостью заявил:

— Сегодня днём у меня родилась младшая дочь.

И, несмотря на то, что у него был один сын и одна дочь, он с тех пор часто говорил: „мой старший сын“ и „моя младшая дочь“. Конечно, у Гитовичей выпили по поводу такого торжества, и все вместе отправились в квартиру этажом ниже, как раз под Гитовичами, — к Шварцам. Сильва Гитович запомнила, что „Николай Алексеевич сидел за шварцевским столом довольный, умиротворённый, сдержанный и с горделивой важностью поднимал за бокалом бокал“».

В третьем номере «Литературного современника» у него вышла крупная подборка стихотворений. Её предваряла фундаментальная статья Николая Степанова. «...Последние произведения Н. Заболоцкого, — писал он, — представляют решительный перелом в его творчестве, начало нового этапа, знаменующего выход поэта на широкую дорогу современной советской тематики и реалистических принципов поэтического мастерства». Критик уверенно заявлял о том, что мастерство Заболоцкого, «освобождённое от пут формалистической искусственности и идейно возмужавшее», несомненно, будет расти и впредь. Не забыл упомянуть о глубоком интересе поэта к переводам грузинской классики и к народной поэзии.

Казалось бы, всё сделал Николай Леонидович Степанов, чтобы публично утвердить друга в глазах *общественности* в его новом статусе — поэта «на правильно найденном» творческом пути, и таким образом отвести от него политические нападки в тревожное время. Однако решающее мнение было не за литературными, а за партийными изданиями.

В «Ленинградской правде» тут же выступил некий П. Сидорчук. Кратко отметив «большой идейный и художественный рост» поэта в «Горийской симфонии» и «Седове», он обрушился на редакцию «Литературного современника» с обвинениями в том, что она «сочла возможным» напечатать и старые стихи, «повторяющие зады „Столбцов“ и „Торжества земледелия“»:

«Ясно, что эти стихи ничего общего не могут иметь с советской поэзией, что эти стихи не просто далеки от „Горийской симфонии“ того же автора, а враждебны ей по всему своему духу.

Почему же Заболоцкий, громко объявивший о своём „прощании с прошлым“, даёт в печать свои старые, осуждённые советским читателем стихи, почему печатает их „Литературный современник“? Получается не „прощанье с прошлым“, а амнистирование прошлого на том основании, что, мол, поэт написал несколько хороших стихов».

Вот что любопытно: в этой заметке приведены две цитаты, которые через год будут буквально повторены в политическом доносе на поэта, написанном недавним рапповцем Н. Лесючевским по заказу НКВД, — они станут основой обвинительного заключения. (Всё-таки бывших рапповцев не бывает!..) Если П. Сидорчук, приводя эти строки, лишь намекает, что «юродивая философия» Заболоцкого может иметь «тайный смысл», по духу враждебный, то Н. Лесючевский в своём доносе скажет прямо: «...под видом „естествоиспытателя“, наблюдающего природу, автор рисует полную ужаса, кошмарную, гнетущую картину мира советской страны.

У животных нет названья —  
Кто им зваться повелел?  
Равномерное страданье —  
Их невидимый удел.

За „животными“ без труда можно расшифровать людей, охваченных коллективизмом, людей социализма.

Или ещё более откровенные строки:

Вся природа улыбнулась,  
Как высокая тюрьма.

На безднах мук сияют наши воды,  
На безднах горя высятся леса!»

То ли Лесючевский просто позаимствовал цитаты из «Ленинградской правды», то ли он и никому не известный П. Сидорчук — одно и то же лицо (что вполне возможно, поскольку довольно многие литературно-критические статьи того времени ничем не отличаются от доносов, проходивших у следователей как неопровержимые доказательства).

Выступление «Ленинградской правды» вызвало краткую полемику в литературной печати — некоторые критики попытались отстоять *нового* Заболоцкого от обвинений, однако итог этому спору подвела «Литературная газета» в лице давнего гонителя поэта Ан. Тарасенкова. В одной из статей он усомнился в художественной полноценности таких стихотворений, как «Север», «Седов» и «Горийская симфония». Подчеркнув при этом, что «мудрое и неустанное сталинское руководство нашей литературы со стороны коммунистической партии» помогает разоблачать и «выкорчёвывать из литературы *агентуру врага*». (Курсив мой. Лексика литератора, как видим, вполне достойна оперативного работника НКВД, в лучшем случае — штатного, в худшем — внештатного. — В. М.) Затем во второй статье, целиком посвящённой новым стихам Заболоцкого в периодике и его «Второй книге», критик «ударил» по некоторым строкам из «Горийской симфонии» о «вожде народов великом Сталине»:

«Мне думается, что эти строки Заболоцкого глубоко ошибочны, — в них формирование гениальной личности Сталина рассматривается исключительно в одном плане — под влиянием условий первобытной кавказской природы. К сожалению, социальная обусловленность развития личности вождя народов начисто игнорируется Заболоцким, о ней он не говорит ни слова».

По тем временам — удар под дых.

Но это случилось 28 февраля 1938 года. А в 1937-м Заболоцкому жилось ещё относительно спокойно. То было его последнее вольное лето...

Молодая семья... дети под присмотром няни... озеро под Лугой, сосны... комната с верандой на даче... Поэт плотно сидел за переложением для детей знаменитой поэмы Руставели; изредка прогуливался по лесу или вдоль берега озера. По своему обыкновению, внимательно разглядывал старые деревья, коряги, муравьиные кучи, жуков. Порой к нему присоединялся Николай Степанов, тоже снявший неподалёку дачу, и они обменивались новостями, вели беседы. Бывало, поэт уезжал по делам в город: в тот год он то и дело заключал договоры на издание новых книг.

Ленинградцы жили тем летом в тревоге: кругом шли аресты. Дымок из печных труб и едкий запах никого не удивлял: кто-то жёг свои бумаги...

В начале июля поэт узнал об аресте Олейникова.

Никита Заболоцкий пишет: «Евгений Львович Шварц рассказал Николаю Алексеевичу о своей последней встрече с их общим другом. Незадолго до ареста только что вернувшийся с юга Олейников встретил Шварца и с мрачным видом говорил ему о всеобщей подозрительности, при которой становится трудно жить. Он рассказал, что комендант дома на канале Грибоедова Котов тайно собрал домработниц писателей и объявил им, что их наниматели представляют серьёзную опасность для советской власти. Тем, кто поможет разоблачить врагов народа, комендант обещал постоянную городскую прописку и комнату в освободившейся квартире. И эти несчастные деревенские женщины, нашедшие временное пристанище в городе, уже шептались друг другу о тех счастливицах, которые будто бы получили жилплощадь в награду за донос».

Все они — и Заболоцкий, и Шварц, и Олейников — были соседями по дому на канале Грибоедова.

Двоюродный брат Евгения Шварца, актёр и чтец Антон Шварц, был одним из последних, кто видел Олейникова. Он встретил его днём на улице и сначала не обратил внимания, что тот не один: по бокам двое незнакомцев. По привычке весело окликнул:

— Как дела, Коля?

— Жизнь, Тоня, прекрасна! — ответил поэт.

«И только тут я понял...» — впоследствии вспоминал Антон Шварц.

Олейникова обвинили в троцкистской деятельности и в шпионаже на Японию. (Ну, троцкизм — понятие расплывчатое, в троцкизме всякого подозревали. Но чтобы донской казак оказался японским шпионом? Удивительно! Это как Стеньку Разина обвинить в пособничестве самураям...) 24 ноября он был расстрелян.

Последние стихи его и строки из недописанного чуть-чуть невнятные, что ему ранее было совсем несвойственно, грустны...

Графин с ледяною водою.

Стакан из литого стекла.

Покрит пузырьками пузырь с головою,

И вьюга меня замела.

Но капля за каплею льётся —

Окно отсырело давно.

Водою пустого колодца  
Тебя напоить не дано.

Подставь свои губы под воду —  
Напейся воды из ведра.  
Садися в телегу, в подводу —  
Кати по полям до утра.

Душой беспредельно пустою  
Посметь ли туман отворотить  
И мерной водой ключевою  
Холодные камни пробить?  
(1937)

Будто бы он уже «взят» и на допросе, а душа рвётся на волю — зная,  
что воля навсегда заказана...

Неуловимы, глухи, неприметны  
Слова, плывущие во мне, —  
Проходят стороной — печальны, бледны, —  
Не наяву, а будто бы во сне.

.....  
Чужой рукой моя рука водила. <...>  
(1937)

Олейников увлекался — и всерьёз — математикой, о чём никому не  
говорил...

Я положил перед собой таблицу чисел  
И ничего не мог увидеть — и тогда  
Я трубку взял подзорную и глаз  
Направил свой туда, где по моим  
Предположениям должно было пройти  
Число неизречённого...  
(«Фрагменты». 1935–1937)



И ещё — был охотником...

Осенний тетерев-косач,  
Как бомба, вылетает из куста.  
За ним спешит глухарь-силач,  
Не в силах оторваться от листа.  
Цыплёнок летний кувыркается от маленькой дробинки  
И вниз летит, надвинув на глаза пластинки. <...>  
(«Фрагменты». 1935–1937)

*Дробинки — пластинки, надвинутые на глаза глухарёнка, — и пуля в уме...*

Тогда же, в ноябре, разогнали редакцию Детгиза, некоторых арестовали, а руководителя детского издательства Самуила Маршака на собрании обвинили в потворстве вредителям. Так чекисты принялись раскручивать большое дело на ленинградских писателей...

Заболоцкий про всё это узнал с опозданием: в начале ноября он уехал в Сочи на грязи — лечить сосуды ног: сказывалась перенесённая в молодости цинга. 12 ноября он писал Виктору Гольцеву:

«Погода здесь стоит отличная. Морские купанья мне запрещены, но купаются здесь уже только старые энтузиасты этого дела, т. к. в море холодновато. Солнце днём, однако, припекает порядочно, и немало народу разгуливает в белых костюмах.

Живу в санатории Наркомзема. Учреждение приличное, и любопытен состав отдыхающих: знатные комбайнёры, животноводы, колхозники, которым есть что порассказать и у которых есть чему поучиться. Интернационал полный: казах отдыхает рядом с дагестанцем, чеченец — с русским и пр.

Думаю пробыть здесь до 7-го декабря, после чего двинусь в Ленинград или Тбилиси, смотря по обстоятельствам».

Вышло иначе: из Сочи он отправился в Махачкалу, где в составе писательской делегации присутствовал на прощании с Сулейманом Стальским. В конце декабря приехал в Тбилиси для участия в руставелевских торжествах. Как переводчик великого грузинского поэта выступил с речью на юбилейном пленуме правления Союза писателей; получил почётную грамоту ЦИК Грузии.

В начале 1938 года поэта вновь призвали в армию на двухнедельную переподготовку. Сыну Никите запомнилось, какую замысловатую игрушку

отец привёз ему после учений. Это были разноцветные кувыркающиеся клоуны с чашками. «В верхнюю чашку нужно было положить шарик, под его тяжестью клоуны наклонялись, передавая шарик друг другу, а затем он катился и попадал в одну из лунок. Счастье игрока зависело от того, в какую лунку попадёт шарик». Оба вовсю забавлялись, осваивая игру...

Между тем шарик судьбы Николая Заболоцкого, прыгая, катился по каким-то неведомым желобам.

В общем коридоре, куда выходила их дверь, квартиры пустели одна за другой: соседей-писателей забирали в зловещее здание на Литейном, прозванное ленинградцами «Большим домом». Не прошло и месяца после статьи Ан. Тарасенкова в «Литературной газете», как настала очередь Заболоцкого.

## «Вот до чего мы дожили...»

«Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами, — сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому, — сказал он. В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чём дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер».

Так начинается мемуарный очерк Заболоцкого «История моего заключения», написанный 18 лет спустя, в 1956 году. Николай Алексеевич решил записать свои воспоминания вскоре после того, как прошёл XX съезд партии, осудивший политические репрессии конца 1930-х годов. Накануне он на собрании писателей вместе с другими услышал полузакрытое письмо ЦК КПСС о культе личности Сталина, пришёл домой взволнованный...

А перед арестом поэт работал в Доме творчества в Елизаветино под Ленинградом — оттуда его и вызвали в город телеграммой. Тогда он только начал работу над стихотворным переложением «Слова о полку Игореве» и попутно сочинял поэму «Осада Козельска». Несколько строф этой поэмы уцелели — сохранила жена Екатерина Васильевна. Как ни укрывался Заболоцкий от страшных новостей, чтобы все силы отдать работе, тяжкое настроение отразилось в тех строках:

Собор, как древний каземат,  
Стоит, подняв главу из меди.  
Его вершина и фасад  
Слепыми окнами сверлят  
Даль непроглядную столетий.

Войны седые облака  
Летят над куполом, и, воя,

С высот свергается река,  
Сменив движенье на кривое,  
А тут внутри — почти темно.  
Из окон падающий косо  
Квадратный луч летит в окно,  
И божья мать кривоноса  
И криволица — в алтаре  
Стоит, как столп, подняв горе  
Подобье маленького бога.  
Из алебаstra он. Убого  
И грубо высечен. Но в нём  
Мысль трёх веков горит огнём. <...>

Мрачная картина. *Кривое* — свергается сверху, искривляя зрение и Божественные образы...

«Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьёй. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал её, она впервые пролепетала: „Папа!“ Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались».

Никита Заболоцкий, ему было тогда шесть лет, запомнил, как забирали отца. Как перетрясали книги (в библиотеке было около двух тысяч томов), как изъяли тупой кинжал, подаренный грузинами. От матери он потом узнал, что она всё время сидела рядом с отцом, а под ними, в ящике кушетки, лежала «страшная улика» — переплетённая книга стихов Заболоцкого, куда была вложена записка Бухарина с отказом в помощи в издании рукописи. Бывший «любимец партии» был только что, в марте, осуждён и расстрелян, и кто знает, как могли истолковать следователи переписку с главой правотроцкистского блока.

Вернёмся к выдержкам из «Истории моего заключения»:

«Начался допрос, который продолжался около четырёх суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос вёлся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Ивановича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами, ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь. — Их уничтожают!

— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылаясь на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.

— Действие Конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь».

Поначалу его не били — изматывали морально и физически. Слепящий свет электролампы в глаза, требования сознаться под вопли истязуемых за стенами... Следователи сменялись, и он уже не слишком различал, кто сидит перед ним в темноте. На третьи сутки отекли ноги, и Заболоцкий от боли разорвал ботинки. Голова плыла, как в тумане. Все силы уходили на одно — никого из товарищей ненароком не оговорить... По вопросам следователей он понял: те решили, что писатели тайно создали контрреволюционную организацию или же пытаются сколотить дело таким образом. Во главе — Николай Тихонов, остальные участники — ранее арестованные Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, Борис Корнилов. Но дознавателям этого мало: нужны и другие враги, чтобы процесс получился крупным. У Заболоцкого добивались показаний на его друзей: Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского, расспрашивали про Тициана Табидзе. Ему зачитывали «изобличающие» слова из протоколов допросов Лившица и Тагер — он не верил и требовал очной ставки...

«На четвёртые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой её странице я видел всё новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям

содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить моё тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество своё перед этими людьми, которым не удаётся сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, ещё теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушённый ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар, в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлёбываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришёл в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моею беззащитностью. Они втоптали меня в камеру с железной решётчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжёлая железная койка. Я подтащил её к решётчатой двери и подпёр её спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил её к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут своими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся, насколько мог, и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струёй в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности, — настолько велики были следы истязаний».

Он очнулся от сильной боли, прикрученный к перекладинам койки. Ему чудилось, что камеру заливают вода и скоро он утонет в потоке. Он кричал, требуя, чтобы «какой-то губернатор» освободил его. Сознание то и дело пропадало... Едва запомнилось, как потом его волокли по двору... Очнулся — в больнице для умалишённых.

«Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние моё было тяжёлое: я был потрясён и доведён до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания ещё теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у неё тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаянья я торопился рассказать врачам обо всём, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: „Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом“. Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи, если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя её Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишённый, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моём изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях».

...В одном фантастическом романе на героя обрушивается мощная психическая атака, которая грозит смять его внутренний мир, — но человек защищается, выставив как щит простенькую песенку. У Заболоцкого это получилось само собой — задолго до игры воображения фантаста. Через год, в письме из лагеря, он поведал жене, как «в самые тяжёлые минуты» загородился от страшного мира с помощью колыбельной, которую Екатерина Васильевна когда-то напевала их дочери Наташе. Эта песня на слова из его стихотворения «Искушение» постоянно звучала в голове:

Баю, баюшки, баю,  
Баю девочку мою!  
Ветер в поле улетел,  
Месяц в небе побелел.  
Мужики по избам спят,  
У них много есть котят.  
А у каждого кота  
Были красны ворота,  
Шубки синеньки у них,  
Все в сапожках золотых,

Все в сапожках золотых,  
Очень, очень дорогих...

В тюремной больнице он укрывался одеялом с головой — думая, что только так можно спасти их маленькую дочь...

Врачи отделения судебно-медицинской экспертизы установили у «испытуемого» анамнез Морби: раздвоение сознания («переживал счастье, поглощённый домашними сценами, с другой стороны, понимал, „что видимое — подобие сна, а явь ужаснее“»).

Эксперты пришли к выводу, что он «перенёс острое психотическое состояние по типу реакции с перемежающимся сумеречным изменением сознания». После лечения с 23 марта по 2 апреля 1938 года врачи признали: душевно здоров и вменяем. Отметили: проявляет черты невропатии. И заключили: «В период правонарушения Заболоцкий Н. А. был также душевно здоров и вменяем».

Никита Заболоцкий пишет в биографии отца про одну санитарку, которая жалела больного и молча клала ему на тумбочку лишние куски сахара, и он съедал их...

Потом Заболоцкого вернули в ДПЗ и на время оставили в покое. Впрочем, какой покой? Поэт оказался в тесной камере, до отказа набитой людьми. Облака человеческих испарений и невыносимое зловоние поначалу поразили его. Заключённые, узнав, что новичок — писатель, привели к нему двух других литераторов — Павла Медведева и Давида Выгодского. «Увидев меня в жалком моём положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова».



## Уроки тюрьмы

По ночам Заболоцкий ждал: вот-вот за ним придут. Опять допрос, брань, пытки. Каждого ожидал свой черёд...

Что вспоминал он о тюрьме два десятка лет спустя? То, с чем он столкнулся, казалось ему на первых порах чем-то фантастическим, — но уроки испытанного были жуткими. «Средний человек», попав под арест, униженный, ошеломлённый, чаще всего скоро превращался в затравленное существо, испуганное и болезненно подозрительное, и обнаруживал в себе такие низменные свойства, о которых раньше не имел ни малейшего представления. «Через несколько дней тюремной обработки, — вспоминал Заболоцкий, — черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведённая на него, начинала пускать корни в его смятенную и дрожащую душу».

Поэт невольно наблюдал процесс духовного растрепывания людей и все виды человеческого отчаяния. И, если на следствии он не дал никаких показаний, то через годы наконец выступил как свидетель деяний тех «ничтожных выродков», которые мучили его и других, доводя некоторых заключённых до полной потери человеческого достоинства: «Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере, царапал грудь каким-то гвоздём и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключённых, быстро нашёл со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий своё человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были маленькими скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду».

В камере, рассчитанной максимум на полтора десятка человек, порой набивалось до сотни заключённых. Всё на виду у всех — не спрятаться. И, как признавался Заболоцкий, эта жизнь на людях была добавочной пыткой,

но в то же время она помогала многим перенести их невыносимые мучения.

Днём текла вялая жизнь — допросы начинались ночью. В темноте загорался огнями весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте. Сотни офицеров и сержантов госбезопасности приступали к работе. Раскрытые окна кабинетов следователей выходили в огромный двор, и вскоре он весь оглашался стонами и душераздирающими криками допрашиваемых. Порой во двор загоняли мощные грузовики и заводили на всю мощность моторы, чтобы глушить эти вопли. «Вся камера, — вспоминал Заболоцкий, — вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробежал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключённых... <...> за треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неопишечное, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени».

Заклечённых по одному выдёргивали на допросы. А возвращались они порой без чувств — и падали на руки сокамерников. Иногда и вовсе не приходили обратно — входил тюремщик и молча забирает вещи...

«Издевательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, то есть попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником.

Д. И. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью (фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды, на дороге на допрос, меня по ошибке втокнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в чёрном платье ударила следователя по лицу и тот схватил её за волосы, повалил на пол и стал пинать её сапогами. Меня тотчас же выволокли из комнаты, и я слышал за спиной её ужасные вопли».

Заклечённые не могли понять: чем объясняются эти бесчеловечные методы следствия? Им казалось, что следователи принимают их за каких-то страшных преступников. Заболоцкого поразила рассказ соседей по камере про одного несчастного, который во время избиений на допросах всё время принимался кричать: «Да здравствует Сталин!» — желая «доказать свою правоту». Конечно, это ему несколько не помогало. «В моей голове, — признавался поэт, — созрела странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской

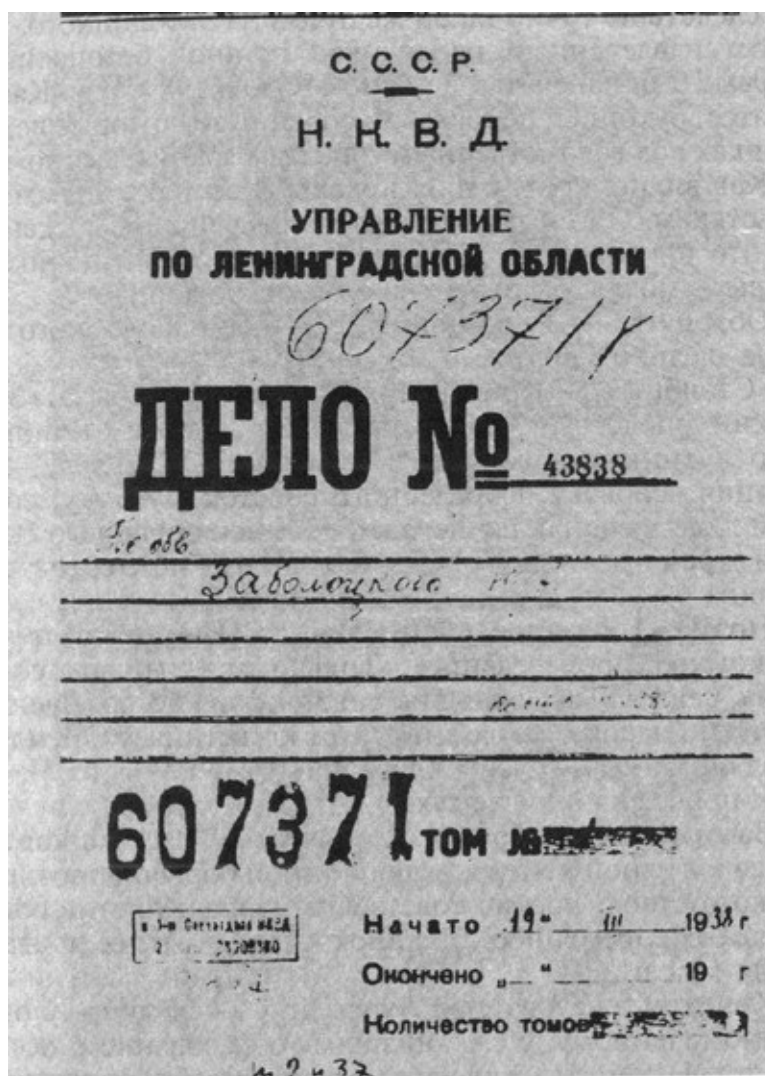
карательной системы. Свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. <...> Только теперь, восемнадцать лет спустя, жизнь, наконец, показала мне, в чём мы были правы и в чём заблуждались...»

В чём именно сам он был прав, а в чём заблуждался, поэт не пояснил.

Понял ли он, что было самым фантастическим в той мясорубке под названием «борьба с врагами народа», куда тогда угодил? Органы безопасности, как и все другие в стране, были плановым «предприятием», а планы советская власть намечала всегда и во всём. Дано задание: разоблачить столько-то «врагов народа» — выполняй. Редактор Детгиза Александра Любарская, арестованная в 1937 году, вспоминала позже, что случайно подслушала перед допросом, как какой-то начальник распекал следователя. «К концу недели, — приказал он подчинённому, — у меня на столе должны лежать: 8 показаний финских, 12 — немецких, 7 — латышских, 9 — японских. От кого — не важно».

В Доме предварительного заключения Заболоцкий провёл несколько месяцев. После больницы довольно долго его не вызывали на допросы. Следствие по каким-то причинам затормозилось. Скорее всего, чекисты не получили отмашки на арест Николая Тихонова, — а без главы ленинградских литераторов какой же настоящий писательский процесс?!.. Но Тихонова они не смогли *оформить*: серьёзных доказательств не имелось, к тому же — любимец Сталина. Одних показаний Лившица и Тагер о том, что Тихонов «протаскивал» в печать «вредителей»: Заболоцкого, Ахматову, Вагинова, Корнилова и других, — было маловато. Тайная контрреволюционная организация — это нечто большее, нежели печатание «враждебных» стихов.

Заболоцкого допрашивали ещё несколько раз. Теперь допросы проходили без побоев и мучений, — поэт по-прежнему отрицал все обвинения следствия. Как ни расспрашивали его о Федине, Маршаке, Олейникове, Хармсе, Введенском, Тициане Табидзе и других, он ничего *не показал*, что бы подтвердило, будто они «вредители». В его деле сохранился протокол последнего допроса от 22 июня 1938 года. На все наводящие вопросы о якобы «антисоветской деятельности», «антисоветской группе писателей», «контрреволюционной организации» ответ один: «отрицаю», «не признаю», «не знаю», «общение с Тихоновым было чисто деловым» и т. д.



Обложка дела № 43 838 по обвинению Николая Заболоцкого. 1938 г.

Чтобы как-то завершить его дело, следователи призвали на помощь консультанта НКДВ Н. В. Лесючевского, который на гражданке работал заместителем редактора журнала «Звезда». Опыт у недавнего рапповца имелся: в мае 1937-го он написал рецензию-донос на поэта Бориса Корнилова, которого вскоре расстреляли. 3 июля 1938 года он представил следствию точно такой же отзыв на Заболоцкого. Этот донос, извлечённый из архивов органов безопасности, впервые был напечатан в полном виде в 1989 году. Как говорится, рукописи не горят — особенно те, которые лежали в папках под ведомственным грифом «Хранить вечно».

Как видно, критик писал свою рецензию с явным удовольствием. Оно

и понятно, стеснять себя в выражениях, как это приходилось делать в открытой печати, никакой нужды — можно было быть вполне откровенным.

Обэриуты? — Реакционная группка; Заболоцкого объявила «великим поэтом».

«Столбцы»? — Кривое зеркало советского быта. «Заболоцкий юродствует, кривляется, пытаясь этим прикрыть свою истинную позицию. Но позиция эта ясна — это позиция человека, враждебного советскому быту, советским людям, ненавидящего их, т. е. ненавидящего советский строй и активно борющегося против него средствами поэзии».

Поэма «Торжество земледелия»? — Наглое контрреволюционное «произведение». «Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ, мог написать этот клеветнический, контрреволюционный, гнусный пасквиль».

И прочее в таком же духе.

Вывод: «таким образом, „творчество“ Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма». (Непременное «сталинское» трёхкратное вбивание гвоздя-мысли.)

Конечно, следователю Лупандину — обычному оперуполномоченному, с его «низшим» образованием, оставалось только верить на слово этому маститому литературному консультанту органов безопасности.



**Выписки из протокола о приговоре к заключению Николая Заболоцкого в исправтрудлагерь. 1938 г.**

«Ни Олейникову, ни Табидзе, ни Владимиру Матвееву, чье имя также, судя по последующим ходатайствам Заболоцкого, часто звучало на следствии, уже было не помочь, — пишет Валерий Шубинский, — но тех, кто ещё не был на тот момент арестован, молчание Николая Алексеевича спасло. В том числе и Хармса, и Введенского. В 1936-м и в начале 1937 года Заболоцкий временами проявлял слабость перед соблазнами успеха и карьеры (какие уж там „соблазны“!.. — выживал под гнѐтом критики, чтобы совсем не затоптали. — В. М.), но, столкнувшись с явным и

беспощадным насилием, он оказался сильнее многих. Сами Хармс и особенно Введенский в 1932 году подобной стойкости не проявили, а ведь их не пытали и особо не мучили... Спас Заболоцкий, конечно, и самого себя, не от лагеря, но от немедленной смерти. Уступчивость тех, кто, как Стенич, послушно подписывали всё, что требовалось (за избавление от побоев, за пачку папирос), обернулась против них самих: и Стенич, и Лившиц, также не выдержавший издевательств и давший все требовавшиеся от него показания, были расстреляны».

## Этап

В августе прозвучала команда: «С вещами на выход!» — Заболоцкого переводили из ДПЗ в пересылочную тюрьму «Кресты».

Через многие годы он вспоминал:

«Я помню этот жаркий день, когда одетый в драповое пальто, со свёртком белья под мышкой, я был приведён в маленькую камеру Крестов, рассчитанную на двух заключённых. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счёту. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в Крестах.

В камере стояла одна железная койка и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен, как ребёнок».

К этому времени было уже подписано обвинительное заключение. В нём говорилось о ликвидации антисоветской «троцкистско-правой» организации среди писателей Ленинграда. Утверждалось, будто бы она была создана в 1935 году по заданию враждебного центра в Париже и оттуда же руководилась. Про Заболоцкого «установили», что он входил в одну из групп этой организации с 1931 года — то есть ещё за четыре года до её создания. И не только «являлся» автором антисоветских произведений, которые использовались для контрреволюционной агитации, но и по заданию троцкистской организации «осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими буржуазными националистами».

Суда не было — так называемое Особое совещание «впаяло» поэту пять лет исправтрудлагеря.

С приговором его ознакомили только в начале октября — перед этапированием в исправительно-трудовой лагерь. Объявили: разрешено свидание с родными. Николай Алексеевич тут же написал жене письмо (от 5 октября):

«Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой Наташечка,

здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа моя всегда с вами.



Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя! Трудно тебе будет, но нужно сохранить и себя и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье потом вернётся к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на свидание. Может быть, успеешь. <...>».

Он просил принести самое необходимое: вещевой мешок «на толстых лямках», пару мешочков для продуктов, бурки, ботинки с галошами, старые брюки, портянки, немного из белья.

«Не забудь захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда буду твёрд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, может быть, успеешь. <...> Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой возможности. У меня пропали все старые болезни, и я здоров вполне. Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке, сегодня 1 ½ года. Мой дорогой праздник. Никитушка, будь умным. Целую дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа *Н. Заболоцкий*.

Арсенальская набережная, д. 5».

Свидание с женой состоялось в конце октября. Екатерина Васильевна, по его словам, держалась «благоразумно». Семью высылали из Ленинграда, — жена избрала местом ссылки город детства мужа — Уржум.

В «Истории моего заключения» Заболоцкий написал: «Я получил от неё мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная, увидимся ли ещё когда-нибудь...»

5 ноября он успел отправить жене ещё одно письмо из «Крестов». Знал, семья пока в Ленинграде. «Душа болит за вас. <...> Постоянно думаю о вас». Сетовал, что в Уржуме, по слухам, нет белого хлеба, а это плохо для детей.

Для шестилетнего Никиты прибавил в письме крупными печатными буквами:

«Родной мой мальчик, любимый мой Никитушка!

Теперь ты стал настоящим путешественником. Нравится ли тебе Уржум? Зимой ты будешь кататься там на санках. Не простужайся, родной. Люби нашу милую мамочку и помогай ей, чем можешь. Люби и береги сестрёночку — она ещё такая маленькая. Папа крепко-крепко любит тебя. Жди папу, он вернётся. Только будь, милый, умненьким и терпеливым.

*Твой папа».*

Это было первое письмо сыну — потом, из мест заключения, их будет

ещё много...

7 ноября — жена с детьми отправилась в Уржум...

А 8 ноября его этап тронулся на восток. Через два дня они добрались до Свердловска, и там почти месяц Заболоцкий провёл в пересыльной тюрьме. Однажды к нему подошёл средних лет седой человек. Представился: Гурген Татосов, юрист из Грозного, здесь уже месяц. Рассказал: по тюремной глухонемой азбуке узнал, что к ним прибыл поэт Заболоцкий, которого на воле он читал и любил. После долгой беседы они условились держаться вместе на этапе. Однако не вышло: попали в разные вагоны...

Никаких сведений о своей семье поэт не имел — и писал жене в Уржум до востребования. 24 ноября сообщал ей, что готовится в дальний путь. Куда — не знал, «очевидно, на восток». Советовал Екатерине Васильевне: продавай, что можно — «книги, мои костюмы, только бы дети были сыты. Это самое главное». Просил быть благоразумной и не отчаиваться. Заверял: «...все решения твои я одобрю и буду всегда верным тебе».

Письма в тюрьме № 1 позволяли писать три раза в месяц, а с воли можно было получать без ограничения. 4 декабря Заболоцкий отправил в Уржум новое письмо. Предупредил: ожидает этапа, и дорога — «вероятно, на восток» — может продлиться долго. Сообщал, что духом не падает и надеется на пересмотр дела и на освобождение.

Между тем Екатерина Васильевна добралась до Уржума. Переезд был нелёгким, благо помог муж её сестры — скульптор Аполлон Николаевич Шишкин. Он взялся сопровождать родственников до самого Уржума. Друг юности Заболоцкого, Николай Георгиевич Сбоев, дал им адрес матери своей жены, чтобы было где найти приют по приезду. Впоследствии, четверть века спустя, Екатерина Васильевна писала в своих коротких воспоминаниях:

«Дорога была трудная, в Котельниче предстояло ехать с железнодорожного вокзала на пристань. Грузились в пароходик ночью и потом плыли по реке Вятке до пристани Цепочкино, что за 12 километров от Уржума. Не знаю, как бы я с полуторагодовалой дочерью и с шестилетним сыном осилила дорогу, если бы не наш провожатый Аполлон Николаевич. Везде он находил место, где можно приткнуться с детьми. В Цепочкине ему удалось нанять попутный грузовик, который повёз нас в Уржум.

Было начало зимы — мягкий мороз и яркий солнечный день. После всего, что мы перенесли в Ленинграде и в дороге, город показался таким

уютным. Невысокие домики, впереди колокольня, земля присыпана пуховым, блестящим на солнце снежком. И сознание, что я въезжаю в город, где жил, ходил по этим улицам молодой Коля Заболоцкий, как-то ласково успокаивало меня. Мы подъехали к дому 22 на улице Чернышевского, где снимала комнату мать жены Сбоева — Елена Андреевна Польшер — учительница музыки. Она приветливо встретила нас. Хозяйка домика Евдокия Алексеевна была строга, молчаливо-замкнута, но в глазах её светилось сочувствие. Скоро выяснилось, что она может сдать нам комнату, и мы оказались с крышей над головой, да ещё с людьми, доброжелательно к нам расположенными. Так началась наша ссылка в Уржуме, как потом оказалось, посланная провидением, чтобы облегчить нам жизнь в тяжёлые годы эвакуации из блокированного Ленинграда».

Через несколько дней Екатерина Васильевна написала мужу в свердловскую тюрьму. Её письмо (единственное из сохранившихся до 1944 года) вернулось обратно в Уржум — с отметкой «Убыл на этап»:

«Дорогой мой Коля!

Вот уже шестидневку как в Уржуме. Устроились довольно удачно. <...>

Со службой пока не вышло. Здесь педагогов по литературе избыток даже. Но и все сразу не устраивались, а со временем устроились и живут теперь неплохо. Детишки здоровы. Спасибо попутчику, который помог мне во всех дорожных хлопотах. Успели на последний пароход. <...> От Цепочкина на грузовике ехали четверо суток. За дорогу детишек не простудили. Никитушка немного огорчён. А Натальюшка весела. Говорит всё больше слов, хотя ещё плохо. Шалуныня большая и баловень. Требуется, чтобы всё было по её, а не то поднимает крик. Очень мила, и все её очень любят.

Здесь сытная жизнь. Цены дешевле ленинградских. Молоко такое вкусное, что Никита с восторгом пьёт. Цена 3 р. 50 четверть. <...>

Завтра моё рождение, и я рада, что ты помнишь об этом.<...>

В Уржуме зима. <...> Гуляю с ребятами. Никитка положил начало: съехал с горы. <...> Твои карточки в рамке, где была моя фотография, и висят у Натальюшки над кроватью.

Целую, милый. Ребятишки уже спят, и мне пора.

Родной мой, ждём тебя.

*Твоя Катя и детишки».*

А его «великий сибирский этап» начался «с 5 декабря, Дня советской Конституции». Как потом он определил в своих воспоминаниях, это была

целая одиссея фантастических переживаний.

«Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там, на крышах и площадках торчали пулемёты, было великое множество охраны, на остановках выпускались собаки-овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег, завёртывали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул, и сзади, наседавая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

— Шаг в сторону — открываю огонь! — было обычное предупреждение».

Шестьдесят с лишним дней они тащились на восток по Сибирской магистрали. Никто не знал, куда едут. По слухам, на Колыму, но потом оказалось не так... Сутками торчали на запасных путях без движения. За два месяца из вагона выпустили всего три раза — в Новосибирске, Иркутске и Чите. Стояла лютая зима, а вагон кое-как обогревала лишь маленькая печурка. В вагоне были двухъярусные нары. Холод загнал всех на высокие нары — в одну сбившуюся кучу. «Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замёрзнуть и не быть застреленным, подобно зачумлённой собаке...»

Кормили предельно скудно, да и то не всегда: слишком много таких эшелонов шло тогда по Сибири, и на станциях не справлялись со снабжением. «Однажды мы около трёх суток почти не получали воды и, встречая новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать чёрные закоптелые сосульки, выросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни».

Во время следствия уголовников было мало, а тут в вагоне Заболоцкий вплотную столкнулся с ними. «Исконные жители тюрем и лагерей, они искренне и глубоко презирали нас — разнокалиберную, пёструю, сбитуую с

толку толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и подлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства». Но в вагоне политических и уголовных было примерно поровну, и они разбились на две враждебные стороны. Однажды поэта чуть не прибили поленом без всякого повода — лишь в последний момент припадочного уголовника остановили дружки...

«От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счёт. Как сейчас вижу эту картину: чёрные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползём друг за другом на четвереньках по доске, освещаемой тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведёнными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудрёной цифири.

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят. Счастливец чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было».

Весь путь прошёл почти в полной темноте: два заледенелых оконца под потолком с трудом пропускали свет. Лишь по утрам кому-то удавалось глянуть наружу, где лежала бесконечная, занесённая снегом тайга...

В первых числах февраля прибыли в Хабаровск. Долго стояли там. Потом вдруг повернули обратно на Волочаевку, а за нею на север. Теперь по сторонам замелькали караульные вышки, одинаково выстроенные посёлки лагерей: «Царство БАМа встречало нас, новых своих поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный мороз, окружённый видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берёз.

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре».

## Источник правды

Лишь под одним-единственным стихотворением Заболоцкого стоит дата — 1938 год.

Она поставлена самим автором. Это — «Лесное озеро».

По мнению Никиты Заболоцкого, стихотворение было навеяно прогулкой на Глухое озеро близ Луги: там неподалёку осенью 1937 года поэт жил в Доме творчества в Елизаветине. Однако это лишь предположение. Могло быть совсем не так. Вспомним, какое было время: за людьми всё чаще приезжали чёрные «эмки», и арестованные пропадали. Многие, и уж конечно Заболоцкий, которого столько травили в печати, жили в предчувствии ареста. В такую пору поэт невольно вспоминал самое дорогое: детство, родителей, свою семью.

1938-й — год его ареста (в марте), следствия в Доме предварительного заключения с побоями, издевательствами, временной потерей рассудка, а дальше «Кресты», свердловская тюрьма № 1, сибирский этап. Почти весь год — в страшных условиях, в жутком человеческом скопище. Тут не до стихов... Между тем в бумагах Заболоцкого сохранился вариант первых двух строк этого стихотворения. Где же и когда написал Заболоцкий этот свой лирический шедевр?

Сын-биограф пишет в своей книге: «Приходится сделать почти невероятное предположение: „Лесное озеро“ было сложено либо в ленинградской тюрьме, либо во время этапа на Дальний Восток». То есть именно в то время, когда счастливые воспоминания жизни сделались для поэта единственным убежищем... Глухое озеро под Ленинградом могло напомнить Николаю Алексеевичу заветное, дивное в своей целомудренной красоте, Шайтан-озеро — оно расположено в 39 километрах от Уржума. Вполне возможно, что юношей он побывал там, ведь это единственное озеро в Уржумском районе. Глубокое настолько, что его вода казалась чёрной, а наберёшь в ладони — прозрачна и чиста. Вот уж куда надо было пробираться (как в стихотворении) «сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья»!..

(Точно так же могло быть и со стихотворением «В этой роще берёзовой»: Заболоцкий, оказавшись в 1946 году в подмосковном Переделкине, не мог не вспомнить и родные места. Поэт Светлана Сырнева, землячка Заболоцкого по Уржуму, вспоминает берёзовую рощу возле Реального училища. По Яранскому тракту на север, сразу за

Уржумом, слева были заросли камыша на заболоченной земле («где чернеет камыш»), а справа когда-то стояли ветряные мельницы («как безумные мельницы, / машут войны крылами вокруг»). В Переделкине, на сухой почве, камыша не встретишь, да и ветряных мельниц там не водилось. Впрочем, и это — лишь предполагаемый «адрес стиха». На самом же деле, поэт в своём воображении видит разом всё, что прежде было замечено его зрением и отложилось в памяти.)

Как бы то ни было, очевидно одно: поэт сложил стихотворение «Лесное озеро» в уме, а записал на бумаге лишь в 1944 году, когда его частично освободили по директиве НКВД.

То есть шесть лет заключения, когда он не имел никакой возможности писать да и по существу отказался от стихов, Николай Заболоцкий жил, храня это стихотворение в памяти и, быть может, порой уточняя какие-то образы и слова.

Неволя, горький взгляд на историю и на человеческое существование, конечно, отразились в этом произведении (хотя оно и продолжает его прежние, натурфилософские мысли и наблюдения):

Опять мне блеснула, окована сном,  
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,  
Где пьют насекомые сок из растенья,  
Где буйствуют стебли и стонут цветы,  
Где хищными тварями правит природа,  
Пробрался к тебе я и замер у входа,  
Раздвинув руками сухие кусты.

В венце из кувшинок, в уборе осок,  
В сухом ожерелье растительных дудок  
Лежал целомудренной влаги кусок,  
Убежище рыб и пристанище уток.  
Но странно, как тихо и важно кругом!  
Откуда в трущобах такое величье?  
Зачем не беснуется полчище птичье,  
Но спит, убаюкано сладостным сном?  
Один лишь кулик на судьбу негодует  
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне  
Лежит в глубине, неподвижно сияя,  
И сосны, как свечи, стоят в вышине,  
Смыкаясь рядами от края до края.  
Бездонная чаша прозрачной воды  
Сияла и мыслила мыслью отдельной,  
Так око больного в тоске беспредельной  
При первом сиянье вечерней звезды,  
Уже не сочувствуя телу больному,  
Горит, устремлённое к небу ночному.  
И толпы животных и диких зверей,  
Просунув сквозь ёлки рогатые лица,  
К источнику правды, к купели своей  
Склонились воды животворной напиться.

Мрак — и сияющий свет; *трущобы* — и целомудренная чистота;  
больная природа — и животворная вода.

Стихотворение религиозно в лучшем смысле этого слова: в нём словно бы дышит и тайна Рождества («При первом сиянье вечерней звезды»), и тайна Крещения и Причастия («К источнику правды, к купели своей / Склонились воды животворной напиться»). И свой мимолётный портрет рисует автор, набрасывая тогдашнее состояние души и даже сам процесс сочинительства: «Один лишь кулик *на судьбу негодует* / И в дудку растенья бессмысленно дует»).

Поэт и филолог Светлана Кекова назвала это стихотворение подлинным шедевром, жемчужиной лирики Заболоцкого. В своём анализе произведения она пишет, что «экспозиция стихотворения даёт нам возможность увидеть мир природы, в которой царствует закон взаимного уничтожения, войны всех со всеми». И подмечает — поэт переводит природное в человеческое: «...перед читателем последовательно разворачивается сравнение озера с оком больного человека. <...> (А человек, заметим, конечно же, символ человеческого общества. — В. М.)

Если вдуматься в это сравнение, то первое, на что мы обращаем внимание, — это скрытое отождествление больного чела человека с „больным телом“ природы, и только око, несущее в себе духовное начало, предчувствует иную жизнь, жизнь, соединённую не с землёй, а с небом. Это око и есть озеро. Следовательно, закон жизни „лесного озера“ иной, чем закон жизни окружающей его „больной“ природы, и этот закон —



духовен по своей природе, которая жаждет исцеления. Последняя строфа стихотворения... даёт нам надежду на то, что зло, лежащее в глубине природы, может быть преодолено и исцелено. Потрясающая по своей силе и метафорической дерзости строка о животных, которые, „просунув сквозь ёлки рогатые лица“, склоняются к животворной воде, тоже показывает нам, что между озером и остальной природой — некая метафизическая преграда, которую нужно преодолеть. Эта преграда существует потому, что два пространства — пространство природы, коснеющей во зле, и пространство озера, соединяющего в себе Истину, Добро и Красоту, так отличаются друг от друга, что их разделяет частокол ёлок. Сквозь него нужно прорваться, преодолеть эту преграду».

Вспоминая стихотворение «Соловей» 1939 года (второе — и последнее из двух, написанных в неволе), а также первые стихи на вновь обрётённой свободе — «Бетховен», «Гроза», «В этой роще берёзовой...» и другие, Светлана Кекова делает обобщающий вывод: «...неукротимый поток света льётся на читателя из самых разных стихов позднего Заболоцкого. <...> Произошло возвращение Заболоцкого к традиционной метафизике света, который преображает, просветляет, оживляет материю. Поэтическая мысль Заболоцкого в стихотворении „Лесное озеро“ близка богословскому пониманию Крещения. Крещение — новое рождение человека, рождение духовное. Природа, которая припадает к озеру, как к купели, тоже должна родиться заново».

Вот каким потаённым желанием жил Николай Алексеевич Заболоцкий во все свои годы неволи, вот что дало ему силы перенести испытания и исполнить обещание, данное жене в письме из тюрьмы, — «буду твёрд».

## **Глава шестнадцатая**

# **ДАЛЬНИЙ ВОСТОК**

## На общих работах

Из Хабаровска на север до Комсомольской пересылки Заболоцкий ехал по железной дороге под местным названием ВОЛК (Волочаевка — Комсомольск). «Царство БАМа» вообще-то лежало по соседству — на востоке и на западе от пересыльного лагеря. Неизвестный природный мир открылся ему. Не сразу поэт познал его и почувствовал. Через пять лет, отбыв срок заключения и уже перебравшись на Алтай, он, по просьбе своего друга Николая Степанова, набросал ему в письме воспоминания о природе края — «Картины Дальнего Востока», а потом переписал этот текст жене (21 апреля 1944 года) со словами: «Мне хотелось бы, чтобы и ты их прочла...» Природа природой, но в коротком очерке воссоздан, так сказать, психологический портрет того дикого земного пространства, в котором ему пришлось жить и, более того, которое довелось поневоле *осваивать*:

«Это — особая страна, не похожая на наши места; мир, к которому надо привыкнуть. Прежде всего, это не равнина, не долина, — это необозримое море каменистых холмов и гор-сопок, поросших тайгой. Природа ещё девственна здесь, и хлябь ещё не отделилась от суши вполне, как это бывает в местности, освоенной человеком. Во всей своей торжественной дикости и жестокости предстаёт здесь природа. Не будешь ты тут разгуливать по удобным дорогам, восторгаться красотой мощных дубов и живописным расположением рощ и речек, — придётся тебе перескакивать с кочки на кочку, утопать в ржавой воде, страдать от комаров и мошек, которые тучами носятся в воздухе, представляя собой настоящее бедствие для человека и животных. Поднимаясь на сопку, напрасно будешь ты надеяться, что наконец-то твоя нога ступит на твёрдую сухую почву, — нет, и на сопке та же хлябь, те же кочки.

И тайга — это вовсе не величественный лес огромных деревьев. Горько разочаруешься ты с первого взгляда, встретив здесь главным образом малорослые, довольно тонкие в обхвате хвойные породы, которые беспорядочными зарослями тянутся в бесконечные дали, то поднимаясь на сопки, то спускаясь вниз. Есть тут, конечно, и величественные красноватые лиственницы, и дубы, и бархат, но не они представляют общий фон, но именно эта неказистая, переплетённая глухая тайга, — и страшная, и привлекательная в одно и то же время».

И жизнь его там была — *хлябь*: зыбкость, ненадёжность, испытание,

бедствие...

27 февраля 1939 года Заболоцкий сообщил жене, что здоров и две недели назад отправил ей первое письмо с нового адреса: г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна:

«Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но всё норму начал давать. Просил послать у тебя, если ты в силах, 50 р. и посылку — сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Ещё, дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продаётся в виде таблеток. <...> Также хорошо бы луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую. Я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в м[еся]ц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего ещё не знаю. Пошли бумаги, марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело моё будет пересмотрено. Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление наркому.

Надейся и ты, родная. Как бы ни было трудно, буду стараться терпеливо ожидать ответа наркома. Родная моя, целую тебя крепко, крепко. Ласкаю и целую родного Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы и что с вами.

Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.

Любящий вас папа *Н. Заболоцкий*.

Очки бы мне нужно от близорукости — 1,75 D

Пошли, если можно заказать, в футляре».

Лишь увидевшись с мужем в 1944 году, Екатерина Васильевна узнала от него в подробностях об этих «общих работах». Всей правды в письме он говорить не хотел, чтобы не тревожить её, да и не мог: письма подавались в открытых конвертах и перед отправкой досматривались.

Много позже, в 1972-м, Гурген Георгиевич Татосов, солагерник Заболоцкого (они держались вместе до 1943 года, пока пути их не разошлись), ответил на вопросы сына поэта, Никиты Николаевича, о жизни в лагере.

Поселили их в огромном длинном бараке: холодное, сырое помещение, нары в два этажа, с жердями вместо досок, тусклый свет керосиновых фонарей. «Уголовники и политические были вместе, и это порождало для нас адово состояние. Где-то в одном из углов насильно раздевали человека, так как без его ведома на его одежду шла азартная карточная игра. В другом углу лилась кровь в бессмысленной драке, очень часто возникающей по пустякам. Ругань — циничная, непристойная,

кощунственная, висела в воздухе. И было ещё много и много такого, чего не опишешь в небольшом письме и о чём лучше всего поведать словами.

Вот в такой обстановке жили мы недели три. Нас сортировали, проверяли и готовили к дальнейшему этапу. В один нехороший день у Николая Алексеевича украли все вещи. Он, огорчённый и растерянный, ходил по бараку и наивно спрашивал, кто взял его вещи. В ответ слышались едкие и злые слова, где-то отвечали, что вещи взял Яшка, а когда Николай Алексеевич спрашивал, какой Яшка, слышалась гнусная, грязная похабная рифма. <...>

Я сказал Николаю Алексеевичу, что о вещах думать уже нечего, — они давно вынесены из барака и проданы, что нам надо держаться друг друга, чтобы было меньше обид от нечисти, нас окружающей. Мы рядом поселились на жердях, и началась наша лагерная жизнь».

Оба попали в посёлок Старт — пригород Комсомольска, посреди глухой тайги. Заболоцкому выдали что-то из лагерной одежды, иначе до весны он бы просто не продержался. И там жили в таком же бараке. С темна до темна — лесоповал, 12-часовой рабочий день. С Татосовым работали на пару, но навыка никакого. Приглядывались, как ловко орудуют топором и пилой заключённые финны, прирождённые лесорубы. Не дашь нормы — на обед лишь 300 граммов хлеба и черпак баланды. С такой едой на морозе долго не выдержишься, несколько недель — и дистрофия. Тех же, кто задание выполнял, кормили значительно лучше. Как ни напрягались двое товарищей, а справиться с нормой не могли. Однажды случилось невероятное: заметив их старательность, охранник велел учётчику записать норму. Подкормились — прибавилось сил; постепенно и навык пришёл.

«Далеко не все стрелки по-человечески относились к заключённым, — читаем в книге сына поэта. — Чаше от них слышались грубые окрики, ругань, издевательства. Однажды, уже весной, Заболоцкого и Татосова без охраны послали копать ямы для столбов где-то за пределами зоны. Грунт был тяжёлый, весенняя вода быстро заполняла вырытую яму, и работать приходилось, стоя в холодной воде. Вдруг из соседнего лесочка вышел охранник с овчаркой. То ли работники сели передохнуть, то ли и причины никакой не было, но он дал соответствующую команду, указал на двух заключённых и спустил собаку с поводка. Николай Алексеевич, отшатнувшись от бросившейся на него овчарки, упал в яму с водой. Гурген Георгиевич ударил собаку бывшим в руках ломиком, и та с визгом покатила по земле. Подбежал охранник, на ходу щёлкнув затвором винтовки, и закричал на Татосова:

— Ты что сделал с собакой, гнида! — Не обошлось тут и без увесистой зуботычины.

Лет через десять один знакомый спросил Заболоцкого, тяжело ли ему было в заключении.

— Бывало трудно, — лаконично ответил Николай Алексеевич.

— Ну, как трудно? Расскажите.

— А как бывает трудно, когда работаешь до изнеможения, а стоит присесть на минуту, тут же на тебя спускают овчарку? — Заболоцкий нахмурился и перевёл разговор на другую тему».

Потом, после лесоповала, был каменный карьер. Однажды при подготовке к взрывам породы Заболоцкий чуть не сорвался со скал; в другой раз на ледяном морозе он упал в незамерзающую горную речку, а обсушиться у костра пришлось далеко не сразу, — и, как ни странно, даже не простудился...

С каменным карьером, несомненно, связаны строки из «Картин Дальнего Востока»:

«Но почва камениста. Я не знаю тех геологических бурь, которые сотворили здесь всю эту каменную кутерьму, но стоит только снять растительный слой, как лопата натывается на глину и камень. В карьере мы обнажаем и взламываем вековые пласты каменных пород, и странно видеть их матовую поверхность, впервые от сотворения мира обнажённую и увидавшую солнечный свет.

Когда-нибудь, проезжая к берегам Охотского моря и наблюдая природу из окна вагона, путешественник будет изумлён величественным зрелищем, которое откроется перед его глазами. С вершин сопков он увидит вздыбленное каменное море, как бы застывшее в момент крайнего напряжения бури. Каменное море, поросшее лесом, изрезанное горными речками, то мелководными, то бурными и широкими — в период таяния снегов, и что ни поворот, то новые изменчивые картины в новом аспекте света и теней будут внезапно появляться перед его глазами. Но это будет потом. Сейчас здесь суровый, нелёгкий человеческий труд».

В 1947 году Заболоцкий написал стихотворение «Начало стройки» — оно появилось в печати лишь после его кончины, в 1972 году.

Перед лицом лесов и косогоров,  
Там, где повсюду камень и вода, —  
Самой природы своевольный нор  
Препятствует усилиям труда.  
Но в день, когда построятся палатки

И, сгоряча наткнувшись на ружьё,  
Косматый зверь несётся без оглядки  
В дремучее убежище своё;  
Когда в трущобах кедры вековые,  
Под топором треща наперебой,  
Вдруг накроят свои седые выи, —  
Я не владею в этот день собой!  
В какое-то короткое мгновенье  
Я наполняюсь тем избытком сил,  
Той благодатной жаждою творенья,  
Что поднимает мёртвых из могил.  
Сквозь дикий мир нетронутой природы  
Мне чуждаются над толпами людей  
Грядущих зданий мраморные своды  
И колоннады новых площадей. <...>

Тяжкий пафос ээка звучит в этих и дальнейших строках, утверждающих смысл того, что когда-то было сделано в тайге, *на общих работах* своими руками, — и та упрямая воля мечты, что когда-то всё-таки, «управляя миром», восторжествует не подневольный, а «свободный, стройный, вдохновенный труд».

Быть может, перед целою вселенной  
Когда-нибудь на этих площадях,  
Изваяны из бронзы драгоценной,  
Предстанем мы с кирками на плечах.  
И будут наши маленькие внуки  
Играть у ног строителей земли  
И трогать эти бронзовые руки,  
Которые всё знали, всё могли.

## «Я — чертёжник»

Ни к какой «троцкистско-правой» или «троцкистско-левой» организации в Ленинграде Николай Заболоцкий, разумеется, не принадлежал. Такие натуры, как он, не делятся на части и не дробятся, — Заболоцкий целиком принадлежал поэзии. Однако на Дальнем Востоке он всё же сделался *троцкистом* — в том смысле, что стал субъектом — точнее, жертвой — воплощения одной из главных идей Троцкого.

На IX съезде партии (1920 год) один из вождей большевиков, Л. Д. Троцкий, поставил задачу милитаризации трудовой силы: крестьянство — бесформенный, по его определению, обломок Средневековья в современном обществе — надо было срочно преобразовать. Этим «бесформенным обломком» был не иначе как *народ*, потому что страна в подавляющем большинстве была крестьянской. Троцкий говорил:

«Поскольку мы перешли теперь к широкой мобилизации крестьянских масс во имя задач, требующих массового применения, постольку милитаризация крестьянства является безусловно необходимой. Мы мобилизуем крестьянскую силу и формируем из этой рабочей силы трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям... В военной области имеется аппарат, который пускается в ход для принуждения солдат к исполнению своих обязанностей. Рабочая масса должна быть перебрасываема, назначаемая, командуема точно так же, как и солдаты... Мобилизованный чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если не выполнит — он будет дезертиром, которого карают».

Задачами, требующими «массового применения», были тогда для большевиков — задачи мировой революции. У народа, однако, не спросили: нужна ли ему эта мировая коммуна?..

Идею Троцкого целиком и полностью разделял другой большевистский вождь — Н. И. Бухарин:

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Смысл этих и подобных высказываний был один — свободных тружеников надо превратить в рабов коммунизма.



Эти идеи начали осуществляться сразу же после революции, но их «звёздный час» пришёлся на годы насильственной коллективизации. (Троцкий к тому времени был уже «врагом» — однако дело его жило.) Миллионы опозоренных, ограбленных и выкинутых из домов крестьян были превращены в солдат труда, осваивающих природные богатства в самых диких и необжитых районах страны. Всё это делалось с помощью «аппарата» для принуждения, которым стали войска НКВД — Народного комиссариата внутренних дел. К концу 1930-х годов «человеческого материала» на *стройках пятилетки* стало не хватать — этим во многом и объясняются массовые аресты 1937–1938 годов. Попросту, нужна была дешёвая рабочая сила, а дешевле арестантской — не бывает. С людскими потерями не считались — по принципу: «бабы ещё нарожают». НКВД превратился в поставщика и распорядителя этой бесправной, «мобилизованной» — с помощью арестов — рабсилы.

Коротко говоря, сталинская политика осуществлялась троцкистскими методами — и безвинно осуждённые люди попадали под этот государственный каток. Вот таким образом и поэт Заболоцкий, который смолоду сторонился политики, «причастился» троцкизму...

Его эшелон вроде бы направлялся из Свердловска на Колыму, но в конце концов прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Причина могла быть только одна — на Дальнем Востоке неожиданно потребовалось рабсилы больше, чем на Колыме. Так поэт и оказался в Востлаге — Восточном железнодорожном лагере. Его вместе с другими бросили на прокладку ветки Комсомольск — Усть-Ниман, которая являлась частью БАМа — Байкало-Амурской магистрали. По ходу возводилось множество других объектов: подъездные пути, посёлки, предприятия строительных материалов и т. д.

На Дальнем Востоке создавалась единая хозяйственная система добычи и переработки полезных ископаемых, и, безусловно, этой системе требовался огромный штат инженерно-технического персонала. Далеко не все кадры были в наличии. Заключённых частенько строили в ряд и выкликали, нет ли среди них того или иного специалиста.

Однажды запросили чертёжника — и Николай Заболоцкий вдруг выступил вперёд: «Я — чертёжник».

К тому времени он уже два месяца был — в голоде и холоде — на общих работах и, как ни напрягался, чувствовал: *доходит*. То есть ещё немного — и превратится в лагерного доходягу. А это конец, гибель... Не спасали ни зрелый мужской возраст — 36 лет, ни природная крепость, ни закалка на военных учениях.

Решение выйти из строя, рискнуть — пришло мгновенно: с детства он хорошо рисовал, в Уржумском реальном училище прошёл уроки черчения. Конечно, специальностью он не владел, но надеялся: обучусь.

«Проверить сразу его способности было невозможно, так как его руки были распухшими и израненными, — пишет в биографии отца Никита Заболоцкий. — Держать рейсфедер или циркуль он не мог. Пока руки отходили, Николай Алексеевич освоил специальность чертёжника. Помогли добрые люди. Работники проектного бюро понимали, что их новый товарищ не очень сведущ в чертёжном деле, но не выдавали его и всячески помогали овладеть новой профессией. В первые дни, когда руки ещё не слушались, а вши падали с одежды на кальку, его взяла под своё покровительство одна вольнонаёмная чертёжница, показавшая ему различные приёмы копировальной работы».

Биограф подметил, что в письме жене от 14 апреля 1939 года отец написал одну фразу — явно для лагерной цензуры: «Я тоже вспомнил здесь свою старую чертёжную работу, и через несколько дней дело пошло».

Это письмо заметно пространней и бодрей, чем предыдущие:

«Бесконечно рад, что вы здоровы и живёте относительно сносно. Из контекста письма вижу, что средства твои, Катя, на исходе. Подумай о том, что можно продать. В первую очередь ликвидируй мою библиотеку и мои костюмы. Если будешь работать — хорошо, а эти деньги будешь добавлять к своей зарплате, чтобы дети были сыты. Милая моя, в первых письмах я просил денег и посылок. Напрасно я об этом писал тебе. Не могу я отрывать у детей последнее, тем более, что я сыт, не голодаю. Правда, небольшая посылка здесь далеко не лишнее дело, но деньги — их можно не посылать. Я работаю чертёжником, и мне положено вознаграждение 30 р. в месяц. Это вполне достаточная по нашему положению сумма — её хватит на сахар, на махорку. Питание получаю улучшенное, и теперь чувствую себя значительно лучше, чем в первые дни. Нет никаких оснований сильно беспокоиться обо мне, родная. Нужно думать о детях, о самой себе. Я знаю, какая ты у меня самозабвенная, — не поешь, не попьёшь вовремя, не поспишь. Родная, издалека прошу тебя — ради детей, ради меня не забывай о себе. Подумай, что будет с детьми, если ты не выдержишь. Заботься о себе, прошу тебя. Забота о себе — всё равно что забота о детях».

Вскоре он хорошо освоил копировальную работу и даже признавался жене, что любит это чертёжное дело и охотно занимается им.

Но однажды, как вспоминал Гурген Татосов, Заболоцкого снова перевели на общие работы. Начальницей колонны, которой подчинялось и проектное бюро, была тогда молодая и весьма вольного поведения

женщина, бывшая воровка. Она славилась в лагере вызывающей красотой и умением изощрённо материться. Не боясь мужа, почти открыто выбирала себе любовников. И надо же ей было «положить глаз» на розовощёкого скромного зэка из недавних доходяг. Заболоцкому она была отвратительна, о чём он ей тут же и заявил. Месть начальницы была незамедлительной — в каменный карьер! Спасло вмешательство руководителя бюро, который настоял на возвращении чертёжника: заменить некем.

## Пригвождённый к молчанию

Кроме «Лесного озера» (1938) Заболоцкий написал в заключении ещё одно лирическое стихотворение — «Соловей» (1939). Потом — долгое молчание, продлившееся до 1946 года. Восемь лет без стихов!.. Может быть, это была кара не меньшая, чем физические и моральные страдания, которые ему пришлось перенести во всё время своей неволи.

Сам он никогда не говорил об этом молчании. Никому так и не признался, каково ему пришлось... Редко-редко в письмах вырывалось что-то, да и то лишь намёком. Что выскажешь в посланиях на волю, которые предварительно читает какой-то неведомый лагерный цензор? Даже конверты заключённым не велено было клеивать, чтобы проверяльщик ненароком не перетруился.

Грустный вздох — вот и всё, что, наверное, можно было себе позволить.

«Больше всего хотелось бы быть вместе с вами и снова заниматься литературой», — писал поэт жене, Екатерине Васильевне 14 сентября 1939 года.

«Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, но внутренне я чувствую себя, несмотря на утомление, на всю душевную усталость, на всю бесконечную тягость постоянного ожидания, — чувствую себя целостным человеком, который ещё мог бы жить и работать» (из письма от 3 августа 1940 года).

«Ничего не читаю и не пишу — совершенно нет времени» (30 марта 1939 года).

Времени и сил действительно хватало лишь на работу и на сон. Кроме того, писать стихи в лагере запрещалось. Тут все на глазах у всех — если одни не *стукнут*, так другие найдут при обыске. Хранить написанное можно было только в памяти.

«Горько становится: не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос — неужели один я теряю от этого? Я чувствую, что я мог бы сделать ещё немало и мог бы писать лучше, чем раньше» (6 апреля 1941 года).

Это тяжкое признание, конечно, было направлено не одной жене и немногим его товарищам, что на воле добивались пересмотра его дела, — оно было адресовано и тем посторонним людям, кто досматривал письма и докладывал о них *куда следует*.

Что о последних — наивный укор!.. Слона дробинкой не прошибёшь (тем более что само слово *слон* из басен Крылова уже перекочевало тогда в лагерную аббревиатуру, переводящуюся: Соловецкий лагерь особого назначения. СЛОН — лагерь... ВОЛК — железная дорога, по которой путешествуют в основном зэки... Не басни — явь...)

«Если бы я мог теперь писать — я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной, как огромная тема, и всё то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме» (19 апреля 1941 года).

Невысказанное уже переполняет его — а пересмотр дела всё затягивается...

Прошло ещё три года:

«Умудряюсь немного читать — случайные книжки. Я бесконечно далёк от всякой литературы, и искусство стало для меня атрибутом далёкого светлого существования, о котором можно только вспоминать» (6 августа 1944 года).

Однако жажда творить, вопреки сказанному, в том же 1944 году прорвалась в письме другу, Николаю Степанову, и обернулась очерком «Картины Дальнего Востока». Этот небольшой текст похож отчасти на стихотворение в прозе. У него есть не только первый — чисто природный — план, но и образный, метафорический, философский. И читать его нужно отнюдь не только как заметки натуралиста.

«Особая страна» (с этих слов начинается очерк) — конечно, и *подневольная страна*, где очутился поэт. Чего стоит описание лесных пожаров в тайге — разве же не виден в этой картине образ народного бедствия! (Это не значит, что он сознательно нечто зашифровывал — могло получиться само собой: творческое воображение избирало те природные явления, в которых невольно выражались история страны и судьба автора.)

«Приходилось мне бывать на тушении лесных пожаров. Тайга летом горит часто, и бороться с пожарами трудно. Ночью можно видеть, как огненные струи бегут по склонам сопок, как понемногу пламя овладевает вершиной и начинает гулять по ней, заливая небо багровым заревом, видимым за десятки километров. В тайге страшно. Пламя летит где-то вверху по листве. Ещё где-то далеко бушует пожар, но треск его всё ближе и ближе. Ещё не горит ничего вокруг, но вот вверху вспыхнула ветка, другая, — не заметишь, как и когда загорелась она, и вот уже понеслись во все стороны искры, и скоро целые охапки пламени вспыхивают над головой, и побежали по стволу огненные струи. Уже давно, гонимые

жаром, улетели птицы; волки, зайцы и всё зверьё, позабыв о вражде, не чуя человека, ломаются прочь, не разбирая дороги. И вся эта первобытная хлябь полетела, начала карабкаться во все стороны, потревоженная близостью огня. Вся тварь насекомая, которую и не видишь никогда, полубесформенная, многоногая, слепая, одурелая, — мечется в воздухе, лезет в нос, в глотку, ползёт по ногам — воистину — страшное зрелище».

Как это похоже на песню, что пели в народе с Гражданской войны, если не ранее:

Горит село, горит родное,  
Горит вся родина моя!..

Или описание дальневосточной зимы: «Зимние холода суровы — до 40 и 50 градусов, но температура эта переносится сравнительно легче, чем такая же в России. По ночам чёрное-чёрное небо, усеянное блистательным скопищем ярких звёзд, висит над белоснежным миром. Лютый мороз. Над посёлком, где печи топят круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая чёрное небо. Совсем-совсем низко, упиравшись хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут у жилья в превеликом множестве.

Утром, когда в морозном тумане поднимается из-за горизонта смутно-багровое солнце, можно нередко видеть на небе примечательные огненные столбы, которые в силу каких-то атмосферных причин образуют вокруг солнца нечто вроде скрещенных прожекторных лучей. И ещё любопытно: вдруг вспыхивает яркая радуга и так висит над снегом, точно нарисованная, удивляя собой непривычных людей».

Дым, застилающий чёрное небо... эта полярная сова над бараками... видения зимней радуги...

Заболоцкий, в обэриутской молодости, весьма интересовался оккультизмом, в котором сова — не только символ мудрости, но и мрака и смерти. Она видит ночью и всё вокруг себя — как круглосуточные стрелки на сторожевых лагерных вышках.

Колоннады дымов можно расшифровать как дымы от лагерных подразделений-колонн; окрещённые прожекторные лучи (весьма

необычное сочетание слов для описания рассвета) — очень похожи на ещё не выключенные прожектора, освещавшие ночью зону.

И, наконец, *радуга* — символ завета между Богом и землёй, людьми (Быт. 9: 13): Книгу Бытия поэт знал с детства...

\*

Очевидно одно — Заболоцкий не мог творить в лагере и потому просто терпел муку молчания, дожидаясь — и добиваясь — свободы.

Но на пространстве ГУЛАГа, как впоследствии стало известно, находились поэты, которые порой сочиняли стихи даже в этих условиях.

Александр Александрович Солодовников... Десятью годами старше Заболоцкого; впервые попал в тюрьму ещё в 1920 году; в 1939-м снова арестован и осуждён на восемь лет. Его отвезли на колымские молибденовые рудники. Заболоцкого поначалу тоже распределяли на Колыму, — так что могли бы и встретиться.

#### В ЛАГЕРЕ. 1938 ГОД

Здесь страданье, и преступления,  
И насилие гноятся всечасно,  
Здесь тайна грехопаденья  
Для ума открывается ясно.  
Здесь подвижник, вор и убийца  
Вместе заперты палачами.  
Здесь одно спасенье — молиться  
И о детстве думать ночами.  
(1938–1956)

Всё в точности, как было и в лагерях Дальнего Востока. Заболоцкий тоже вспоминал там своё детство, и тоже молился — но не Богу, а *на семью*: на жену и детей.

Солодовников был глубоко верующим человеком — потому и писал несколько другие — *религиозные* — стихи. Заболоцкому как поэту — было даровано куда как больше, но и Солодовников замечательно хорош:

#### НОЧЬ ПОД ЗВЁЗДАМИ

Свершает ночь своё богослуженье,

Мерцая, движется созвездий крестный ход.  
По храму неба стройное движенье  
Одной струёй торжественной течёт.

Едва свилась закатная завеса,  
Пошли огни без меры и числа:  
Крест Лебедя, светильник Геркулеса,  
Тройной огонь созвездия Орла.

Прекрасной Веги нежная лампада,  
Кассиопеи знак, а вслед за ней  
Снопом свечей горящие Плеяды,  
Пегас, и Андромеда, и Персей.

Кастор и Поллукс друг за другом близко  
Идут вдвоём. Капеллы хор поёт,  
И Орион — небес архиепископ —  
Великолепный совершает ход.

Обходят все вокруг чаши драгоценной  
Медведицы... Таинственно она  
В глубинах неба, в алтаре вселенной  
Века веков Творцом утверждена.

Но вот прошли небесные светила,  
Исполнен чин, творимый бездны лет,  
И вспыхнуло зари паникадило.  
Хвала Тебе,  
явившему  
нам  
свет!

(1940)

*Колыма. Зима.*

*Ночная смена*

Как отличен образ рассвета в этом стихотворении от того описания восхода, что набросано в «Картинах Дальнего Востока»!..

Но если сопоставить «Ночь под звёздами» Солодовникова со



стихотворением Заболоцкого «Соловей» (1939), то сразу же видишь глубокое их сходство в восприятии мира:

Чем больше я гнал вас, коварные страсти,  
Тем меньше я мог насмехаться над вами.  
В твоей ли, пичужка ничтожная, власти  
Безмолвствовать в этом сияющем храме?

Вот где Николай Заболоцкий сказал в первый и последний раз о кресте поэтического молчания, который он нёс в лагере:

А ты, соловей, пригвождённый к искусству,  
В свою Клеопатру влюблённый Антоний,  
Как мог ты довериться, бешеный, чувству,  
Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи,  
Ты сердце моё разрываешь на части?  
Я болен тобою, а было бы проще  
Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери,  
Родители первых пустынных симфоний,  
Твои восклицанья услышав в пещере,  
Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

Понятно, *Клеопатра* тут — Муза, а влюблённый в неё *Антоний* — Поэт.

Сама первооснова искусства — природа — мучительно вызывает к подневольному, молчащему Поэту, случайно услышавшему в тайге на лесоповале невидимого вольного соловья...

Николай Алексеевич Заболоцкий вряд ли даже слышал про Солодовникова, хотя оба жили одно время в Москве: его старший собрат по несчастью при жизни никогда не печатался (а умер он в 1974 году).

## Сто писем

Поначалу у очерка о природе Дальнего Востока названия не было: Заболоцкий представил его в виде обыкновенного письма и даже прибавил в конце — конечно, для лагерного соглядатая посланий на волю — несколько слов: письмо-де — беспорядочный набросок, да и обо всём нет времени писать.

Не имея разрешения в стихах, душа его искала выхода в письмах. На протяжении всей разлуки с женой он писал к ней постоянно — два раза в месяц: чаще не позволялось. Кажется, не пропустил ни одного из этих, назовём так, эпистолярных свиданий. И от Екатерины Васильевны всё время получал письма и телеграммы. Как трудно ей ни приходилось одной с двумя малолетними детьми, порой без постоянной службы, она регулярно посылала мужу посылки с продуктами, кое-какой одеждой, — всё это помогло Николаю Алексеевичу в лагере, особенное началом войны, когда питание заключённых резко ухудшилось.

Но вернёмся к письмам.

В 1956 году Заболоцкий пересмотрел папку со своими посланиями к семье из мест заключения. Он отобрал ровно сто писем 1938–1944 годов, так и озаглавив эту папку из архива. Филолог И. Е. Лоцилов, подготовивший письма к печати (они впервые полностью вышли во Владивостоке, в альманахе «Рубеж» в 2012 году), пишет в комментарии:

«Материалы носят следы систематизации, тщательно пронумерованы красным карандашом. Публикация является реконструкцией нереализованного при жизни автора замысла художественно-документального произведения; отбор и нумерация (порядок следования) писем принадлежит самому Заболоцкому».

Остаётся сожалеть, что этот замысел не был осуществлён, хотя и в таком виде мы находим немало подробностей лагерной судьбы Заболоцкого.

Письма, даже подцензурные или даже те, что написаны на скорую руку, в короткие мгновения досуга, тем и хороши, что без обиняков выражают чувства. Что же характерно для писем Заболоцкого?

Самые простые сердечные слова.

Самая искренняя любовь к жене и детям; всепоглощающая забота о семье и её устройстве; постоянные думы и сны о родных.

Самые неприхотливые просьбы о том, что ему нужно в лагере. И те с

оговорками: если возможно, если не скажется на достатке семьи, живущей без отца.

Никаких жалоб на собственные заключения и лагерный быт.

Неустанные пожелания жене: быть стойкой, благоразумной, бодрой, не терять веры в будущее, надеяться на скорую встречу.

Конечно, с годами тон писем немного меняется — становится грустнее, но видно: Заболоцкий остаётся твёрд, не падает духом и не устаёт бороться за справедливое решение своей участи.

Приведём некоторые выдержки из его писем — они говорят сами за себя...

### **1939 ГОД**

«Каждый день думаю о вас; и встаю и ложусь спать с мыслями о вас, мои дорогие. Ваши образы стали моей мечтой, и я храню их глубоко в душе, как самое святое в моей жизни» (4 мая).

Жена, по его просьбе, прислала ему фотографии...

«Не мог удержаться от слёз, увидев лица моих детей. Никитушка такой милый, и личико такое осмысленное. Наташенькино личико для меня совсем новое. В нём есть и твои, и мои черты. Теперь я каждый день заочно вижу с моими родными далёкими детьми, и только тебя, моя родная жена, нет у меня. <...> Пошли свою фотографию, но только мне лучше посылать фотографии совсем маленького формата. <...>

На днях подаю жалобу на имя Верховного Прокурора СССР. На прежние жалобы ответа ещё пока не пришло» (30 мая).

«Ты пишешь, что не продала классиков из моей библиотеки, — продай прежде всего 20 томов в картонных крышках библиотеки Брокгауза и Эфрона — Шекспира, Шиллера, Мольера, Байрона. Эта библиотека стоила мне 1700 р. Вероятно, она и сейчас стоит не дешевле. <...> Вообще, хотелось бы, чтобы из моей библиотеки сохранились бы лишь немногие книги: Пушкина однотомник, Тютчева томик, Баратынского два тома, Гоголь, Сковорода, Лермонтов, Достоевский, книги, относящиеся к „Слову о Полку Игореве“. <...> Остальные книги продавай, когда придётся туго. Так же можешь поступить и с моими костюмами, не в них счастье. Были бы сыты, обуты и одеты детишки» (14 июня).

«Поправились ли моя доченька, напиши скорее, Катя. На карточке она выглядит настоящей красавицей, и я не налюбуюсь на неё. Подрос Никитка. А ты, моя родная, похудела, конечно, и много затаённого горя в твоих глазах. Как бы я хотел быть около тебя, помочь тебе, утешить тебя. Вспоминаю я, как раньше болели дети, как мы вместе ухаживали за ними. Теперь всё легло на твои плечи. Держись, не унывай, жёнка. Нужно ждать, надеяться, хлопотать. <...> Моя душа вместе с вами, и только для вас я и храню мою жизнь» (14 июля).

«Милая Катя, я чувствую, что у тебя с деньгами плохо. Не посылай больше посылок. Если очень туго будет, тогда попрошу сам. <...>

Как мои детки живут и помнят ли папу?

Уже стали такими печальными мои воспоминания о них, точно я на другом свете живу.

Но будем надеяться, что дело пересмотрят.

Хотелось бы передать в письме всю печаль и сознание своей беспомощности — при воспоминании о воле, — всю мою нежную любовь к вам — единственным, — что меня ещё привлекает к жизни. Но словами не перескажешь всего, и, вероятно, лишь в воображении своём, милая Катя, ты это представляешь себе» (15 декабря).

## 1940 ГОД

Ещё одно письмо сыну...

«Мой милый мальчик!

Поздравляю тебя с днём твоего рождения, крепко целую и обнимаю тебя. Будь здоров, мой родной, расти большой и умный, помогай, чем можешь, мамочке, береги Наташеньку. Папа всё время помнит о тебе и очень по тебе соскучился.

Теперь, мой милый, ты уж совсем большой мальчик: тебе 8 лет. Недавно я получил твоё письмо, ты уже начинаешь хорошо писать. <...>

Я, мой милый, живу далеко-далеко от тебя. Здесь на севере ещё совсем недавно был один сплошной лес-тайга, да стояли невысокие горы-сопки. Людей почти совсем не было. Одни дикие звери бродили кругом. Теперь в этот дикий и безлюдный край пришли люди. <...>

Летом здесь очень интересно. На горах-сопках растут большие яркие цветы, вроде пионов. Они совсем дикие. В воздухе летают жуки и мухи, каких у нас в Ленинграде нет. Очень много жуков-усачей с длинными-

длинными усами. Сам жук ростом сантиметра 4, а усы сантиметров 12. У этого жука такая сила, что когда он вцепится лапами в кепку, а его самого поднимают за спинку, то он тащит кепку вместе с собой.

Осенью мы поймали бурундука — вроде маленькой белочки, и посадили его в клетку. Он несколько месяцев жил с нами и совсем было привык к нам. Недавно он сбежал. Это очень милый, приятный зверушка.

[Рисунок, изображающий бурундука]

Он рыжевато-серый с полосками. Особенно приятен он, когда сидит на задних лапках, а передними достаёт из коробки горох и отправляет в рот.

Здесь много дятлов. Недавно один дятел прожил у нас в клетке несколько дней. Питаются дятлы гусеницами, которых достают из деревьев. У дятла очень крепкий клюв, он стучит им и легко разрушает древесину. В течение дня наш дятел перебил клювом толстую палку. Дятла мы выпустили.

Ловили мы и синиц, это — весёлые, приятные птицы, но, к сожалению, в бараке они жить не могут — для них здесь жарко и душно» (10 января).

И бурундук, и дятел, и синицы быстро оказались на воле — а люди так и остались в лагерном бараке...

«Каждый день засыпаю и просыпаюсь утром — с мыслью о вас... <...> иной раз, когда особенно ярко представишь себе ваше безвыходное положение и горе — тогда невольно мучительно становится на душе» (30 января).

«Помнишь, Катя, — в тюрьме на свидании ты спрашивала — брать с собой детей в Уржум или оставить. Я посоветовал тебе брать с собой. <...> Мне всегда казалось, что хотя в трудные минуты жизни дети, с одной стороны, и отягощают нас, но с другой — они укрепляют нашу волю и любовь, и заботы о них отвлекают нас от собственного горя» (29 февраля).

«Я никогда не думал раньше, что так можно любить детей».

«Вчера я был очень удивлён. Как всегда, склонившись над столом, я работал. В другом конце барака говорило радио. Транслировалась Москва. Вдруг слышу — артист читает что-то знакомое. Со второй строчки узнаю — мой перевод Руставели! Битву Автандила с пиратами. Актёр читал неважно — но всё сердце моё затрепетало от этих полубылых, но близких строк, и голос московского чтеца прозвучал, как голос с того света» (13 марта).

«Заключённые поют в своей песне „Не для меня придёт весна...“ А я всё жду и надеюсь, что и для меня придёт весна...» (15 апреля)

«Почти каждую ночь вижу во сне детей; тогда, пользуясь этим минутным счастьем, стараюсь глубоко-глубоко заглянуть в Никитушкины глаза, чтобы почувствовать его маленькую, родную душу, и всё прошу его: „Смотри ещё, смотри на папу, сынок“. У него такие мягкие, чистые волосики, по-детски душистые, пахнут птичками (так написано где-то). Во сне вижу себя свободным, и это даёт счастье. Счастье во сне» (30 апреля).

«Спасибо тебе за то, что ты сохранила и сберегла детей. <...> Чего не выдержишь ради детей. Порой жизнь кажется такой нестерпимой, но как только вспомнишь детей, — чувствуешь — надо жить, надо добиваться правды; веришь — что минуют беды, и жизнь снова вступит в своё нормальное течение».



**Письма Николая Заболоцкого детям Никите и Наташе. 1940 г.**

«Недавно удалось прочитать „Войну и мир“ Толстого. Эта книга доставила мне столько счастливых минут, и мне так было жаль, что не было тебя вместе со мной, чтобы поделиться впечатлениями. Как я люблю Толстого! Какой он умный наблюдатель жизни и какой большой художник!» (25 июня).

Заболоцкий очень хорошо понимал, что такое клеймо заключённого и как не просто будет жить с таким клеймом, и потому продуманно и настойчиво пытался восстановить справедливость...

«Но как ни долго тянется дело, всё же надо иметь в виду, что только одна полная реабилитация моя может вернуть нам старую жизнь. Если я останусь нереабилитированным, если буду продолжать жить с этим незаслуженным клеймом — наша жизнь прежней не станет никогда; и всё в ней будет условно. Этого забывать нельзя, и потому нельзя прекращать своих усилий добиться справедливости. Пусть это будет не сейчас, пусть это будет позже — но добиваться нужно».

«Через четыре дня — половина моего срока. Будет ли вторая половина легче первой? Один заключённый-крестьянин говорил: „Когда идёшь домой с тяжёлой ношей, то до полдороги ещё ничего, — а там, чем ближе к дому, — всё тяжелее и тяжелее“. А там, если и вернусь, — то где позволят жить, где и как работать и прочее. Но загадывать ещё рано. Времени впереди ещё достаточно» (15 сентября).

«Ввиду того, что абсолютно всё время занято, — некогда скучать и тосковать. Кончишь работу, засыпаешь, как убитый, и, если просыпаешься, — то только от холода. Так идут день за днём — одинаковые, без переживаний, без мысли. Очень рад, что стал теперь заниматься техникой, чем заполняю пустоту в голове, с которой никогда жить ещё не приходилось.

Что мне нужно? Штаны. Какие-нибудь старые, что ли, только чтобы были прочные и потеплее. Вид их безразличен, и кто носил раньше — тоже. Если подвернётся случай — вышли, пожалуйста. А то эти синие уже носятся, не снимая, 2 года, и уже разваливаются, не говоря уже о том, что вид имеют самый фантастический. И если будешь их высылать, пожалуйста, не забудь махорки или табаку, хотя самого дешёвого, но побольше. Пропадаю без табаку, и достать негде. Впрочем, и штаны, и табак не важны, ибо можно обойтись и без них» (28 сентября).

По получении фотографий из дома...

«Из карточек особенно приятны те, что с дедом. Там и ты хорошо вышла, и ребятки выглядят довольно живо. Натальюшка, должно быть, очень забавная и милая девочка, и мне очень горько, что детство её отнято у меня. <...>

Ты просишь сообщить — как выгляжу я. Каким я был в тюрьме — ты помнишь — без особых перемен. В январе-феврале — марте того же года я был совсем не похож на себя; сейчас же снова вернулся в норму. <...> Правда, говорят, у меня уже пробиваются кое-где седые волосы, что



неудивительно, и спереди и на макушке причёска стала редеть. Но признаки этого были и на воле.

Конечно, мой внешний вид сильно отличается от прежнего по платью и по положению, которое я занимаю. Но я стараюсь быть аккуратным. Рваной одежды у меня нет, всё подшито; нет ни одной оторванной пуговицы. Правда, ленюсь штопать носки, но их у меня много, и я ношу аккуратно. Всё делаю себе сам. Из посылочного ящика (который был новенький и аккуратный) я сделал себе чемоданчик — немного похожий на настоящие фанерные — с крышкой и ручкой» (20 октября).

В конце октября 1940 года проектно-сметный отдел, где работал чертёжником Заболоцкий, перебросили из посёлка Старт в Комсомольск. Он сообщил жене свой новый почтовый адрес: 99-я колонна, Штабная колонна. В управлении, куда влился их отдел, было много вольнонаёмных. Начальник управления считал себя человеком просвещённым, поскольку интересовался искусством, и он был осведомлён о том, что у него работает поэт Заболоцкий. Этот начальник, по рассказам, как-то услышал от одного заключенного почтительные слова: «Все остальные просто палачи, вы же — культурный палач», которые, по-видимому, воспринял как робкую лесть: быть *палачом врагов народа* отнюдь не считалось зазорным. Вокруг города было множество эков, живущих в страшных условиях и гибнущих от недоедания, болезней и рабского труда, — но это, по рассуждению лагерного начальства, были *необходимые жертвы*. Никита Заболоцкий предполагает, что именно тогда и произошёл случай, болезненно поразивший его отца. При обходе строя заключённых один высокий начальник вдруг спросил о поэте: не пишет ли он стихов? Рапортующий доложил: заключённый Заболоцкий работает исправно, замечаний в быту не имеет и стихов, как говорит, никогда писать не будет. На что начальник заметил: «Ну, то-то». Пожалуй, «культурный палач» мог быть вполне доволен: лагерь-то — *исправительно-трудовой*...

Работали в Комсомольске, а барак, где спали, был за городом. Заболоцкий писал жене о новом месте:

«Ходить приходится в день в общей сложности километров по 12 — до места работы и обратно. Это отчасти и хорошо, т. к. это время проводим на свежем воздухе и в движении, что представляет хороший контраст моей неподвижной работе. Плохая сторона хождений — время отдыха сокращается вдвое, и в результате значительно больше устаёшь. Зато работаю теперь в настоящем большом каменном здании. Я так отвык за эти годы от настоящих домов, что вначале даже странно было видеть себя в

обстановке городского дома» (11 ноября).

В том письме Заболоцкий сообщил жене, что ему случайно попала в руки книга Руставели в его переложении для юношества. Но на заглавном листе было только — «Перевод с грузинского. И всё». Своего имени он не увидел — вычеркнули. «...Утешительно было узнать, что работа даром не пропала и не опорочена по существу».

И ещё: в одном из редко встречающихся тут литературных журналов он с грустью прочёл «Санины стихи» — стихотворение Александра Гитовича, посвящённое ему самому, томящемуся в неволе:

Давным-давно, не знаю почему,  
Я потерял товарища. И эти  
Мгновенья камнем канули во тьму:  
Я многое с тех пор забыл на свете,  
Я только помню, что не пил вино,  
Не думал о судьбе, о смертном ложе,  
И было это всё давным-давно:  
На целый год я был тогда моложе.  
(1939)

Жена Гитовича, Сильва Соломоновна, в своих воспоминаниях называет этот случай чудом. Как попал именно этот номер «Литературного современника» из Ленинграда в Комсомольск-на-Амуре да ещё и в руки «з/к Заболоцкого»? «<...> ...конечно, никакого посвящения не стояло. <...> Он читает печальное Санино стихотворение... <...> и сразу понимает всё. Обострённая интуиция не вызывает у него ни малейшего сомнения, кому адресованы эти строки, и грустно отзывается в сердце эта далёкая весточка друга... <...> много лет спустя, сидя на краешке ванны у себя на Беговой, куда они вдвоём ходили курить, он рассказывал Сане, сколько надежды, силы и бодрости вселил в него тогда сдвоенный номер „Литературного современника“ за 1940 год».

Снова строки из писем жене...

«Может быть, мы и будем вместе, и отдохнём, и детей вырастим, — но душа моя так незаслуженно, так ужасно ужалена на веки веков. Неужели во всём этом есть какой-то смысл, который нам непонятен?»

Непонятный смысл...

Что сказал бы Заболоцкий, если бы когда-нибудь вдруг прочитал стихи Солодовникова из цикла «Тюрьма»?..

4

Лён, голубой цветочек,  
Сколько муки тебе суждено.  
Мнут тебя, трепят и мочат,  
Из травинки творя полотно.

Всё в тебе обrekli умирањью,  
Только часть уцелеть должна,  
Чтобы стать драгоценной тканью,  
Что бела, и тонка, и прочна.

Трепи, трепи меня, Боже!  
Разминай, как зелёный лён.  
Чтобы стал я судьбой своей тоже  
В полотно из травы превращён.  
(1938–1956)

6

НАПАСТИ 1938 ГОДА  
Разбитая жизнь и погибшая доля —  
Не есть ли святая беда?  
Ведь так скорлупа погибает всегда,  
Как только птенец появился на волю  
И выглянул выше гнезда.

Ведь по судьбе — всё это было очень близко ему...

## 1941 ГОД

«Моя милая Катя!

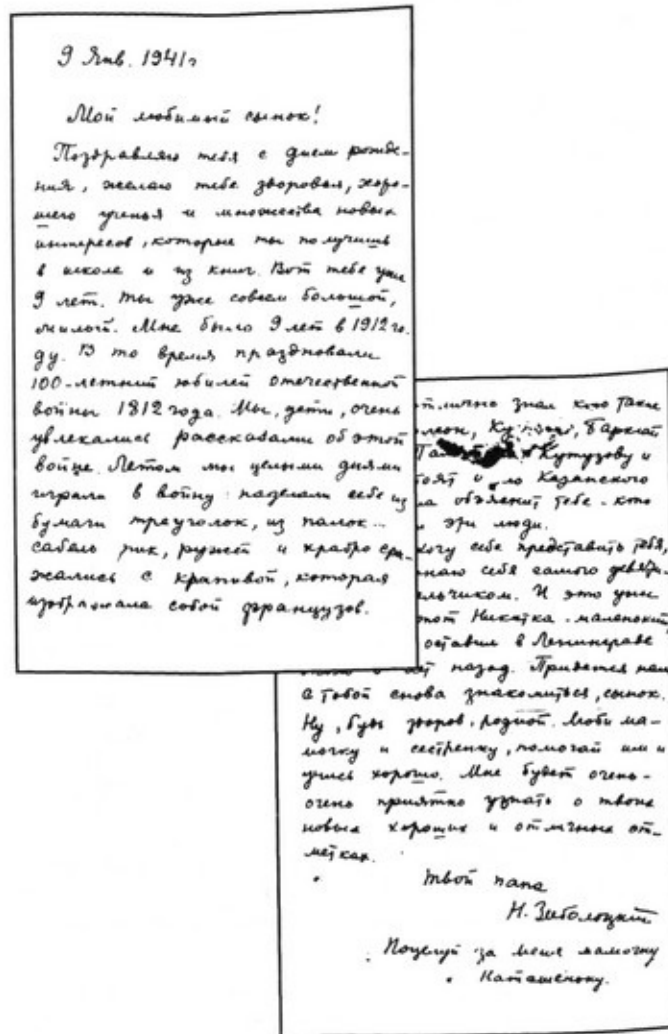
Вот и 41-й год. До трёх лет остаётся немного больше двух месяцев.

31-го пришёл с работы, пью свою кружку чаю — слышу: по радио из Москвы поздравляют с Новым годом. Слышатся тосты и звон новогодних бокалов. Моя кружка с кипятком мало напоминала бокал, барак же совсем не походил на праздничную залу. Вдруг приносят бандероль. Открываю: два тома Пушкина. Повеяло таким теплом дружбы и участия. Спасибо. Так с Пушкиным я и встретил мой Новый год, мысленно поздравляя всех

вас, мои дорогие, и всех друзей и знакомых. <...>

Теперь иногда я читаю Пушкина. И по временам он представляется гениальным молодым человеком. Молодым — потому что по годам я представляю себе себя самого значительно более старым, чем Пушкин» (4 января).

«Спасибо за милое письмо и книги. Книжечка Баратынского доставляет мне много радости. Перед сном и в перерывы я успеваю прочесть несколько стихотворений и ношу эту книжечку всегда с собой. Мировоззрение Баратынского, конечно, не совпадает с моим, но его темы и то, что он поэт думающий, мыслящий, — приближает его ко мне, и мне часто приходит в голову, что Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии XIX века то, чего так недоставало Пушкину и что с такой чудесной силой проявилось в Гёте. Но Баратынский нравится мне не только как мыслящий человек, но и как поэт; в стихах его позднего периода (которые написаны им примерно в моём возрасте и старше) у него много поэтической смелости, не в пример молодым его стихам, французистым по манере, — в духе того времени» (6 апреля).



### Письмо Николая Заболоцкого сыну Никите. 1941 г.

Пять книг русских классиков подобрали Заболоцкому в Ленинграде Николай Леонидович Степанов и Ирина Николаевна Томашевская. Однако во время «шмона» в бараке четыре книги охранники отобрали: *исправляли* заключённых исключительно с помощью советской литературы. Томик Боратынского (так правильно; в своих письмах поэт пишет его фамилию — Боратынский) Заболоцкому, однако, удалось отстоять: он догадался обратить взор охранника на название издательства — «Советский писатель», и тот благожелательно кивнул: наш автор!..

«Не мне одному тяжело в заключении, но мне тяжелее, чем многим другим, потому, что природа одарила меня умом и талантом» (19 апреля).

«Часто вспоминаю я Никиткино детство — как он на Сиверской впервые встал на ножки, как лазил под стол за мячом, и, разогнувшись там — ушибся, что послужило ему уроком, как играли в прятки, как он наблюдал за моим бритьём, а я строил ему невероятные рожи, что доставляло ему столько удовольствия; как дочку укачивал; как она тихонько сказала „папа“ — тогда, — прощаясь со мной. Или это только почудилось мне? Пиши, Катя, о ребятках. Судьба оторвала меня от дочки; детство её проходит без меня» (8 мая).

Екатерина Васильевна сообщила мужу, что по его доверенностям получила деньги за переиздания его переводных книг, — в то время она жила с детьми уже в Ленинграде...

«Ты не можешь представить себе, сколько радости доставили мне твои письма. <...> Теперь, когда я знаю, что ты получила эти деньги, а также получишь в Детиздате 5 т.[ысяч], мне стало куда спокойнее за вас, мои родные. Я благодарю судьбу за то, что старые мои работы ещё полезны для вас. Не каждому выпадает такое счастье, и я особенно ценю и дорожу им — милая, любящая, терпеливая, благоразумная, и наши милые дети, которые дороже всего для нас с тобой, — а через вас и я счастлив. Волей и весной повеяло от твоих писем — и я опять полон надежды на будущее».

«<...> ...если же найдутся какие-нибудь портативные издания Тютчева — то я очень хотел бы его получить, причём меня интересуют исключительно философские и лирические его стихи — все же остальные не нужно» (30 мая).

«Мои дорогие детки, Никитушка и Наташенька!

Ваши карточки в письме и конфетки в посылке я получил. Карточки очень даже неплохие, и я каждый день их рассматриваю. Конфетки — прекрасные. Как только я съедаю конфетку, я говорю: — Вот я поцеловал маленький Наташенькин пальчик. Съедаю другую и говорю: — Вот я поцеловал Никиткино ухо. А как только посмотрю на карточку и увижу — какой большой вырос Никита, я думаю: наверное, ухо у него теперь с целую тарелку — что же я его целую, это уж даже неприлично. <...>

Никиту Николаевича поздравляю с переходом во 2-й класс и с

отличными отметками» (30 мая)

## Добиваясь справедливости...

Это произошло ещё на лесоповале, в самом начале его лагерной жизни...

Как-то Заболоцкий спросил у соседа по бараку бумаги на самокрутку. Тот оторвал клочок газеты, в которую была завёрнута только что полученная из дома посылка. И тут перед поэтом, расправляющим газетку, мелькнуло знакомое имя. На обрывке он прочёл указ о награждении писателей: Николай Тихонов получил орден Ленина. А он-то думал, что его товарищ тоже загремел в лагерь — ведь следствие копало под главу ленинградских писателей... Раз Тихонов на свободе, более того — в почёте, значит, никакой контрреволюционной организации и не было. Тогда в чём же виновен он, Заболоцкий?..

Вскоре поэт стал писать по инстанциям письма протеста. Обратился к наркому внутренних дел, в Президиум Верховного Совета. Ответов не получил.

На воле ему давно пытались помочь друзья и товарищи. Его учитель по институту Василий Алексеевич Десницкий написал прошение к Сталину — причём обращался к вождю по старой подпольной привычке — как Лопата к Кобе. Михаил Михайлович Зощенко дважды сообщал Екатерине Васильевне Заболоцкой о том, что товарищи отнюдь не позабыли Николая Алексеевича и обещают помочь, а сам он уже обратился в Москву с просьбой пересмотреть дело и облегчить участь поэта.

Время вроде бы благоприятствовало переменам: разгул ежовщины ненадолго сменился показным «либерализмом» нового наркома — им стал Лаврентий Берия. Он *убрал* самых кровавых палачей; кое-какие дела «политических» были пересмотрены, и кто-то даже вышел на свободу. Берия действовал согласно сталинской репрессивной тактике, опробованной ещё в коллективизацию: «успехи» — «головокружение от успехов» — «новые успехи», — но, как говорится, хрен редьки не слаще. Заключённый поэт, конечно, понимал: политика переменчива, действовать надо как можно быстрее.

«23 июля 1939 года Заболоцкий написал большое заявление на имя Верховного прокурора СССР и, минуя обычную процедуру направления жалоб, переслал его жене, — пишет Никита Заболоцкий. — Екатерина Васильевна получила заявление в Уржуме и поняла, что ей нужно сделать всё возможное, чтобы этот документ дошёл до прокурора СССР. Она



воспользовалась изменившейся ситуацией, послала телеграмму на имя Берия и получила разрешение временно приехать из ссылки в Ленинград для лечения детей. Из Ленинграда она вместе с Н. Л. Степановым отправилась в Москву, чтобы организовать авторитетную поддержку заявлению. В незавершённых своих воспоминаниях Степанов написал: „Приехали к В. Б. Шкловскому. Он жил тогда ещё на Лаврушинском. Шкловский сказал, что надо ехать к Фадееву в Переделкино. Поехали втроём. В то время дача Фадеева ещё не была обнесена высоким забором, который построили вскоре после войны, и всякий мог легко пройти к нему. Фадеев принял нас дружелюбно и просто. Выслушал, обещал узнать, ознакомиться с делом. В те годы это было на удивление хорошо — ведь обычно каждый, как мог, отпихивался, отстранялся от таких дел...“».

Глава Союза советских писателей самолично передал заявление Заболоцкого Верховному прокурору страны М. И. Панкратьеву.

Только из этого заявления товарищи Заболоцкого и узнали, в чём обвинялся поэт. В прокуратуру пошли письма известных писателей о том, что следствие неверно истолковало суть произведений Заболоцкого: никакой контрреволюционности там нет. Положительные отзывы о его творчестве дали Гитович, Зощенко, Каверин, Тихонов, Степанов, Антокольский, Чуковский. Дело принялись разбирать в Ленинградской областной прокуратуре...

Тем временем Николай Заболоцкий отправил заявление в правление Союза советских писателей о том, что никакой подрывной деятельностью никогда не занимался — а критики огульно объявили его литературные произведения «троцкистскими» Да, в грехах формализма он повинен, но ответил за них, добровольно покаявшись во время дискуссии о формализме в искусстве.

«Моё положение таково, — писал он 18 августа 1939 года. — В заключении я нахожусь около 1 ½ лет, постепенно теряя не только свои литературные способности, но и вообще качества культурного человека. Ни о какой литературной работе в данных условиях не может быть и речи. Моя семья — жена с двумя маленькими детьми 7 и 2 лет — без средств к существованию высланы в глушь Кировской области (г. Уржум). <...>

Перед партией, правительством и народом — моя совесть чиста: никакого преступления перед ними я не совершал. То, что случилось с моей поэмой („Торжество земледелия“. — В. М.) — результат моих постоянных литературных поисков, где ошибки неизбежны. Одна из моих невольных ошибок стала роковой для меня и моей несчастной семьи.

Как быв.[ший] член ССП, прошу правление Союза обратиться по

моему делу в ЦК ВКП(б). Прошу дать компетентный отзыв о моей литературной работе, о её художественном и политическом значении. Дело моё должно быть заново пересмотрено. Предварительное обвинение меня в принадлежности к контррев. [олюционной] писательской организации, которая, во главе с Н. С. Тихоновым, будто бы печатала в ленингр. [адской] прессе свои контррев.[олюционные] литературные произведения, — должно быть окончательно и полностью снято, и писатели Лившиц Б. К. и Тагер Е. М., давшие „показания“ по этому делу, должны быть изоблечены как лжесвидетели.

Правление должно учесть, что дело идёт о физической и литературной жизни советского поэта, который на благо советской культуры готов отдать все свои силы и способности».

Впоследствии он обратился с письмом и к Сталину...

Следователь Ленинградской прокуратуры Ручкин, принявший к разбирательству дело Заболоцкого, по очереди вызывал писателей и дотошно расспрашивал их. Среди других были вызваны секретарь писательской парторганизации Григорий Мирошниченко, рецензент-консультант НКВД Лесючевский и даже комендант дома на канале Грибоедова Котов. Ни парторг, ни комендант худого слова о Заболоцком — поэте и человеке — не сказали. Лишь доносчик Лесючевский твердил своё: антисоветчик.

По предложению прокуратуры была создана представительная комиссия Ленинградского отделения Союза писателей, и она заключила:

«Работа Заболоцкого в советской литературе, протекавшая на глазах у литературной общественности Ленинграда, его творческая деятельность, его участие в общественной жизни Союза писателей, его облик как человека и гражданина не давали никаких оснований для сомнений в том, что он является подлинным советским писателем, прямым и искренним человеком, заслуживающим уважения всех знавших его».

Следователь Ручкин оказался честным и смелым: обстоятельно разобравшись в деле поэта, он пришёл к выводу, что Заболоцкий осуждён необоснованно. «В январе 1940 года следствие было закончено и дело вновь переслано в Москву с благоприятным заключением Ленинградской прокуратуры». Верховному прокурору было предложено «возбудить вопрос об отмене постановления Особого Совещания при Наркоме внутренних дел СССР от 2. IX—38 г.».

Казалось бы, ещё немного — и справедливость будет восстановлена... но вдруг дело застопорилось. Мало того что канцелярская карательно-судебная машина, заваленная прошениями, работала медленно и неверно,

так ещё ей помешал НКВД. «Органы» неожиданно влезли в дело и затребовали у Александра Фадеева характеристику на Заболоцкого. Хотя Фадеев дал положительный отзыв, к его словам не прислушались. Чекисты считали, что они работают без ошибок. В деле появился новый донос Лесючевского — на этот раз он обвинял следователя Ручкина, что тот покрывает антисоветчика. Скорее всего, это было игрой двух силовых систем, из которых одна — НКВД — была куда как мощнее, чем пытающаяся соблюсти объективность прокуратура. К тому же пора чекистской «оттепели» подошла к концу — и страну снова *подморозило*... В июне 1940 года прокуратура сообщила Е. В. Заболоцкой, что в пересмотре дела её супруга отказано.

Екатерина Васильевна долго скрывала этот ответ от мужа, опасаясь, что это сомнёт его волю. Но со временем он сам всё понял. И не сломился, продолжил борьбу. Как и жена его, которая не оставила свои почти безнадёжные хлопоты.

В октябре 1940 года Е. В. Заболоцкая обратилась с письмом к секретарю Сталина Поскрёбышеву. А в ноябре — написала самому вождю: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Посылаю Вам тоненькую книжечку стихов Н. Заболоцкого. Отдельные строчки из этих стихотворений даже сейчас, когда Заболоцкий больше двух с половиной лет в заключении, читаются по радио, — так близки они нашей жизни.

Я умоляю Вас о внимании к делу поэта Заболоцкого. Больше года я ходатайствую о пересмотре дела Н. А. Заболоцкого и добиться пересмотра не могу. Материалы по делу переданы мною на имя т. Поскрёбышева, но никакого ответа я не имею.

Зная Вашу любовь и внимание ко всем людям, я решаюсь тревожить Вас и просить Вашей помощи.

Помогите мне вернуть сыну и маленькой дочери отца и снять с советского поэта позорное клеймо врага народа.

С глубоким уважением и любовью:

*Е. Заболоцкая».*

Вряд ли Сталин читал её письмо — это же не «Горькая симфония» (хотя, вполне возможно, он и этого стихотворения не читал, доподлинно неизвестно, — город детства он не любил и никогда туда не возвращался...).

ЦК ВКП (б) направил письмо в НКВД. Понятно, что ответили *органы*: для пересмотра дела нет оснований.

Этот ответ Екатерина Васильевна получила уже перед самой войной.

## Война

С началом войны Дальний Восток стал похож на прифронтовую зону: на рубеже стоял враг — японцы. Куда пойдёт огромная армия самураев? Ещё недавно, в конце 1930-х, советские войска дважды схватывались с японскими — на озере Хасан и на Халкин-Голе. А если японцы снова нападут, пользуясь тем, что фашистская Германия наступает на западе?..

На случай войны существовала секретная инструкция о том, что делать с лагерями заключённых. Никто не знал её содержания, но уже на второй день после начала войны в проектно-отделе, где работал Заболоцкий, стало известно: лагерь срочно перебрасывают из города на общие работы.

Сборы были торопливыми; Заболоцкий успел написать домой короткую записку: «24 июня 1941.

Родная Катенька, милые детки!

С этой колонны уезжаю. Я вполне здоров. По прибытии на новое место и при первой возможности напишу и сообщу адрес. Не волнуйся очень, если письмо придёт не скоро. Любимая моя! Целую твои ручки. Сколько можно, береги детей и себя.

*Твой Коля».*

Следующая, столь же короткая весточка от него датирована 14 ноября 1941 года. Долгие месяцы они почти ничего не знали друг о друге...

Этот период — самый «тёмный» в жизни поэта. О том, где он был с конца июня по середину ноября, достоверно мало что известно. В карточке заключённого, заведённой на него как на всякого, лишь отмечено, что в июле Заболоцкий работал на стройке № 3 Нижне-Амурского лагеря. Но где была эта стройка, там не указано.

В письмах поэт не рассказывал о своих злоключениях. Лишь в 1944 году, когда жена с детьми приехала к нему на Алтай, вдали от соглядатаев, он мог поведать Екатерине Васильевне об этом времени. Но всё осталось между ними; сын-подросток до таких разговоров, конечно, не допускался...

Десятилетия спустя Никита Николаевич, собирая материалы для жизнеописания отца, узнал некоторые подробности этого периода от товарища Заболоцкого по лагерю Гургена Георгиевича Татосова. Вот что Н. Н. Заболоцкий пишет в своей книге о начале войны: «...начались срочные преобразования лагеря. Ужесточился режим, ухудшилось питание. В бараках прошёл слух, что в случае вторжения японских войск на советский

Дальний Восток все заключённые будут уничтожены. На второй день... Заболоцкий уже знал, что заключённых из проектного отдела отправляют на самые тяжёлые работы в тайгу. Он подал заявление с просьбой послать его, обученного командира взвода, на фронт, но оперуполномоченный, хмуро взглянув в бумагу, проворчал: „У Советской страны достаточно более достойных защитников. Без вас обойдёмся“».

Заболоцкий вскоре ещё раз просился на фронт — с тем же результатом.

В феврале 1944 года в своём письме в Особое совещание НКВД он вновь выразит готовность с оружием в руках бороться против фашистов — и вновь окажется «недостойным»...

«Заключённых с вещами под усиленным конвоем привели на пристань и начали распределять по баржам для переправы через Амур в Пивань. Начальником проектно-сметного отдела был тогда вольнонаёмный Воронцов, человек отнюдь не сочувствующий „контрикам“, но понимавший, что порученное ему дело невозможно выполнять без заключённых-специалистов. Возможно, он что-то знал о чёрных замыслах начальства и подозревал, что после переправы может остаться без работников. Приехав на пристань, он ринулся к строю заключённых и с дикой руганью стал вытаскивать за шиворот своих сотрудников и толкать их в отдельную группу. Втащил он туда и Заболоцкого. Начальство и охрана не стали противодействовать этому решительному и властному человеку.

Этап погрузили на баржи и, несмотря на штормовую погоду — сильный ветер и большие волны, стали переправлять через Амур. Баржа с партией, из которой Воронцов вытащил своих работников, утонула вместе со всеми заключёнными. Заболоцкий был уверен, что её потопили специально, и считал, что он, как и весь отдел, обязан Воронцову жизнью. Это хладнокровное жестокое уничтожение людей Николай Алексеевич помнил до конца своих дней».

После этого тягостного происшествия надо было переправляться самим. Ждали самого худшего — но обошлось.

Их, проектировщиков, было 25 человек; держались вместе. Грузовиком группу повезли в глушь на восток, к предгорьям Сихотэ-Алиня. Была ночёвка в какой-то зоне, где среди ночи пришлось драться с местными уголовниками за собственную одежду, без неё в тайге не выжить, — Заболоцкий бился вместе со всеми: грабёж был предотвращён. Наутро путь продолжился.

«Кругом простиралась бесконечная тайга, среди которой попадались

опустевшие лагерные зоны, окружённые колючей проволокой, с неизменными сторожевыми вышками. Прибыли наконец к месту назначения под названием Лысая гора, расположенному на берегу красивейшей таёжной речки Хунгари (правый приток Амура). Но не до любования красотами природы было заключённым. Вновь их ждала зона с уголовниками, вновь — длинные грязные бараки с общими нарами, вновь — строгий режим и тяжёлая физическая работа. Отвыкли они уже от всего этого за время работы в проектное бюро и особенно за время жизни в Комсомольске. Таких ужасных условий, как в зоне на Хунгари, не было, пожалуй, и в худшие времена общих работ в посёлке Старт».

Строили железную дорогу на Советскую гавань. Ломом и киркой дробили скалу, камень грузили в тачку и сбрасывали под откос. И так от рассвета до темна. Царил закон: пока не дашь норму — не имеешь права покинуть карьер, работай хоть всю ночь. В их группе было двое пожилых людей, до ареста не державших в руках лопаты: выполнить задания никак не могли, как ни старались. Гурген Татосов вспоминал: «...тогда мы все сговорились, чтобы оставаться со стариками и за них доделывать работу. Мы все — означает наша группа — человек 12. Охрана пошла на это с удовольствием, так как ей тоже не хотелось торчать всю ночь в карьере, и делала нам скидку на норму. Первым о помощи несчастным людям заговорил Николай Алексеевич, и мы приняли его предложение, так как нельзя было оставить людей на гибель».

Стариков спасли...

Кормёжка на Хунгари была крайне скудной: 300 граммов хлеба и черпак жидкой баланды; передовикам добавляли 100 граммов хлеба и что-то вроде каши. На такой изнурительной работе, в тайге, где заедали гнус и комары, никто бы долго не протянул, — да, вполне возможно, на это всё и было рассчитано.

...Что виделось поэту — через десять с лишним лет — карьер ли на реке Хунгари, Лысая гора, посёлок Старт или какое-нибудь другое место, — когда у него складывались строки стихотворения «Воспоминание»? Может быть, просто перед ним маячил некий зыбкий, потусторонний, одновременно мёртвый и живой, врезанный в сердце, образ *его Дальнего Востока*, — и лучше всего было бы насовсем позабыть про него, да только вот невозможно...

Наступили месяцы дремоты...

То ли жизнь действительно прошла,  
То ль она, закончив все работы,

Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить — не нравятся ей вина,  
Хочет есть — кусок не лезет в рот.  
Слушает, как шепчется рябина,  
Как щегол за окнами поёт.

Он поёт о той стране далёкой,  
Где едва заметен сквозь пургу  
Бугорок могилы одинокой  
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется берёза,  
Корневищем вправленная в лёд.  
Там над нею в обруче мороза  
Месяц окровавленный плывёт.  
(1952)

Проектировщикам снова повезло: через два месяца о них вспомнили. Краю был нужен нефтепровод — было решено восстановить проектный отдел. Напоследок измученным, отощавшим людям пришлось одолеть под вооружённым конвоем с собаками 120-километровый переход по тайге.

«Прибыли на Лесную биржу, поселились в общем бараке, и всех послали на лесоповал, на погрузку брёвен. Осенний холод, вода по колено, и голод, и нет курева, и нет сил... — пишет Никита Заболоцкий. — На Лесной бирже вновь образовалось проектное бюро, и это принесло облегчение. Но жили по-прежнему вместе с уголовниками, питались крайне плохо, часто по авралу выходили на общие работы — валили лес, грузили его в вагоны. Голод усиливался. Заключение поели всех кошек и собак, были случаи людоедства. Многие, возвратясь в зону с работы, бросались к выгребным ямам у барака — столовой и рылись там в надежде найти что-нибудь съестное. Даже среди работников проектного бюро возникали ссоры из-за лучшего куска, из-за очередности на горбушку хлеба.

Однажды Заболоцкому и Татосову повезло — их послали на разгрузку машины с кочными капусты. Такого рода работы поручали только политическим заключённым — уголовники слишком много съедали или похищали. В награду за работу получили по кочну капусты, которые тут же

съели.

Так на Лесной бирже прошло ещё около двух месяцев».

И только в ноябре проектировщиков перевели в уже знакомый им посёлок Старт близ Комсомольска.

Пять месяцев Заболоцкий не мог переписываться с женой; по доходящим до него слухам он знал, что Ленинград взят в кольцо, и с тревогой думал о судьбе семьи.

14 ноября 1941 года поэт наконец смог отправить Екатерине Васильевне короткую весть о себе:

«Милая Катя!

Я здоров и на старой работе. Мой адрес: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99, пос. Старт, Колонна 51 (Ширпотреб), мне. Жду твоего письма. Последнее было от 5 июля».

Чудо! — почта доставлялась и в заблокированный немцами город. Эта почтовая карточка добралась до дома на канале Грибоедова. «В самое трудное, жестокое время, в рождественский день 7 января 1942 года, — пишет Никита Заболоцкий, — опухшая и обессиленная от голода Екатерина Васильевна увидела эту открытку в почтовом ящике ленинградской квартиры. Как же весть от мужа обрадовала и поддержала её и детей!»

Сыну Заболоцкого тогда было девять лет, дочери — пять.

«Через месяц, — продолжает он, — семья Заболоцкого эвакуировалась из блокадного города по ледовой Дороге жизни через Ладожское озеро и попала в специальный медицинский стационар при ткацком льнокомбинате в Костроме. Там в течение месяца страдающих дистрофией ленинградцев лечили и постепенно вводили в нормальный режим питания и человеческой жизни».

Только через два года, из письма жены, Заболоцкий узнал, что пережила его семья в блокадном Ленинграде и как была спасена. Тогда же он получил в письме стихотворение сына, написанное его детским неуклюжим почерком:

#### БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Свищут снаряды, бомбы летят,  
По улицам города люди спешат.  
Они спотыкаются, падают замертво.  
По гладкому снегу санки скользят,  
В санках трупы голодных ребят.  
В квартире люди с коптилкой сидят



И горькие отруби ложкой едят...

Поэт сохранил письмо сына; под его стихотворением приписал: «Эти стихи 10-летний Никита сочинил в квартире Шварца (во время блокады)». Продолжение было:

И говорят всё о том и о том,  
Когда же нам хлеба прибавят.

Незадолго до эвакуации в квартиру Евгения Львовича Шварца угодил во время обстрела снаряд — и взорвался в комнате, где никого не было. Семья Заболоцких ютилась на кухне (своей квартиры они уже были лишены) — и не пострадала...

Переписка с женой понемногу восстанавливалась, хотя уже не была регулярной. В письмах Заболоцкого появилось новое слово — «сносно». О себе писал коротко и одно и то же: сыт, одет, обут, «живу сносно». На самом деле было не совсем так, как он сообщал жене, точнее — совсем не так. Однако он не хотел ничем беспокоить Екатерину Васильевну, ей и без этого хватало...

*Снести, перенести, вынести* — можно многое: он и сносил, переносил, выносил — не жалуясь на невыносимое.

...Через два года, в феврале 1944-го, отбыв полный срок наказания и ещё дополнительно год заключения, поэт обратился с письмом в Особое совещание НКВД СССР. С потусторонним достоинством и запредельной точностью, суровой и страшной словесной формулой Заболоцкий тогда определил своё существование в тюрьме и лагере: «Я нашёл в себе силу остаться в живых после всего того, что случилось со мною».

Некоторые историки сталинизма утверждают, что в первые годы войны наши потери на Западе (в войсках) и на Востоке (в лагерях) были примерно равны. Так оно или не так, вряд ли возможно в точности узнать. Одно известно: с началом войны рабочий день эков возрос, а паёк, и ранее голодный, был до предела урезан, — и смертность в зонах резко увеличилась.

«В одну из мобилизаций на общие работы в тайгу Заболоцкий с товарищами попал на место, куда свозили и где потом сжигали погибших заключённых, — пишет его сын. — Был морозный зимний день, и Николай Алексеевич некоторое время смотрел на груды трупов, запорошенных

снегом. То там, то здесь из-под снега торчала замёрзшая скрюченная рука или нога. Видно, эта картина глубоко запала в его память, если он в последний год своей жизни вспомнил о ней, когда писал о давних странствиях по Сибири французского монаха Рубрука:

Ещё на выжженных полянах,  
Вблизи низинных родников  
Виднелись груды трупов странных  
Из-под сугробов и снегов.

Рубрук слезал с коня и часто  
Рассматривал издалека,  
Как, скрючив пальцы, из-под наста  
Торчала мёртвая рука».

Эти две строфы взяты из главы «Дорога Чингисхана». Очень похоже, что у этой главы имеется не только прямое значение, но и потаённое — символическое, ведь *по Сибири*, испытавшей в первой половине XX века новое *чингис-ханство*, шесть лет путешествовал и новый Рубрук — сам автор:

Он гнал коня от яма к яму,  
И жизнь от яма к яму шла  
И раскрывала панораму  
Земель, обугленных дотла.

В глуши восточных территорий,  
Где ветер бил в лицо и грудь,  
Как первобытный крематорий,  
Ещё пылал Чингисов путь.

.....

С утра не пивши и не евши,  
Прислушивался, как вверху  
Визгливо вскрикивали векши  
В своём серебряном меху.

Как птиц тяжёлых эскадрильи,

Справляя смертную кадрили,  
Кругами в воздухе кружили  
И простирались на сто миль.

Но, невзирая на молебен  
В крови купающихся птиц,  
Как был досель великолепен  
Тот край, не знающий границ!

.....  
Так вот она, страна уныний,  
Гиперборейский интернат,  
В котором видел древний Плиний  
Жерло, простёршееся в ад!

Так вот он, дом чужих народов  
Без прозвищ, кличек и имён,  
Стрелков, бродяг и скотоводов,  
Владык без тронов и корон!

Попарно связанные лыком,  
Под караулом там и тут  
До сей поры в смятенье диком  
Они в Монголию бредут.

Широкоскулы, низки ростом,  
Они бредут из этих стран,  
И кровь течёт по их коростам,  
И слёзы падают в туман.

На четвёртый год заключения у Заболоцкого вдруг на миг прорвалась глубоко запрятанная страсть к сочинительству. Правда, он позволил себе лишь стишки — шуточные строки. Они были обращены к верному товарищу по испытаниям Татосову — и впоследствии Гурген Георгиевич весьма сожалел, что послание Заболоцкого не удалось сберечь.

Началось с того, что лагерное начальство решило использовать юриста Татосова в своих арбитражных разборках. На суд в арестантском бушлате не придёшь, и ему позволили выписать с воли приличный костюм. Потом услуги эка уже не понадобились — и он выменял за своё парадное

одеяние 25 пачек махорки, вмиг став настоящим богачом. Курева заключённым всегда не хватало. Тогда-то Заболоцкий и написал к приятелю шутовское обращение в стихах. «Больше всего жалею, — вспоминал Татосов в 1972 году, — что у меня украли на раскурку лист бумаги, где был рисунок Николая Алексеевича и его стихи — 16 чеканных строк. <...> Как-то, когда я собирался лечь спать и откинул одеяло, увидел, что к подушке был пришпилен лист, на котором изображён я огромного роста с нимбом вокруг головы, а внизу у моих ног на коленях стоял маленький Николай Алексеевич, простирая ко мне руки. Сверху был заголовок: „Моление о махорке“. Я был приравнен ко всем скупцам мира, наиболее порядочным из которых был Гарпагон, и мне категорически предлагалось выдать махорку. Стихи были великолепными, рисунок тоже, и я до сих пор не могу забыть об этой потере».

Через год, в 1943-м, заканчивался его срок, и Заболоцкий стал подумывать о том, чем бы можно зарабатывать на воле. У Татосова появился новый знакомый — соплеменник, лагерный парикмахер Рубен Мхитчрян, в отличие от Гургена Георгиевича хорошо говорящий по-армянски. Заболоцкий тоже сдружился с ним и начал учиться у него армянскому языку — наверное, для будущих литературных переводов. Из отработанной чертёжной бумаги сшил себе книжку для записей, озаглавив её: «Армянский язык. Словарь. 1942», — и первым делом начертил в ней армянский алфавит. Потом он вписывал в неё слова по тематическим разделам: человек, дом, природа, деревня и т. д., записывал народные песни и стихи в оригинале и дословном переводе. Через какое-то время поэт настолько продвинулся в учёбе, что мог поддерживать простой разговор с товарищами по-армянски.

7 августа 1942 года он писал жене:

«...Милая Катя, это после годового перерыва — первое твоё письмо, которое я получаю, до сих пор были одни телеграммы. Из Никитушкиного письма я узнал отчасти о тех мытарствах, которые вам пришлось испытать. Друг мой, как хотел бы я помочь тебе и утешить тебя... Я знаю, и без письма я чувствовал, как тяжело тебе. Не падай духом, моя родная. Сама знаешь — всем сейчас нелегко. Надо собраться с силами и уж как-нибудь до конца вытерпеть эти беды. Иного выхода нет. Не век же они будут продолжаться.

Весной кончится мой срок, и мы как-нибудь будем налаживать нашу жизнь. <...>

Пиши только правду о здоровье и жизни. Уже одно то, что я по временам буду слышать тебя, — будет для меня счастьем, — многие не

имеют этого счастья».

Екатерина Васильевна с детьми к тому времени перебралась в Уржум. Кое-как устроилась с жильём, нашла работу — воспитательницей в интернате для эвакуированных детей. Муж стремился хоть чем-то помочь им — и добивался в управлении, чтобы его небольшие деньги были перечислены жене.

О себе по-прежнему в основном молчал:

«Никаких особенных новостей у меня нет. Жизнь, конечно, стала сложнее, поэтому стали примитивнее желания, и больше уходит времени на то, что раньше делалось само собой. Не всегда бывает махорка, которую я стал курить значительно меньше, но бросить которую всё ещё не могу. Да, признаться, и не слишком хочется — ведь это последняя забава, которая ещё более или менее доступна мне. А, кроме того, — бросишь курить — увеличится аппетит, что тоже не устраивает» (30 августа 1942 года).

29 Октября 1942г.

Милая Катя!

Я всё в здравии. Мой новый  
адрес: г. Комсомольск-на-Амуре,  
п/я 215/17, мне. Адрес мой,  
а место работы: всё с тем же  
новым в том же месте.  
Работа по-прежнему, и живу  
спокойно. Всё надежды на другие  
и бытовые дела.  
Письма твои были: откровенные и  
теплые, на что мне отдалось.  
Иду всё в том же направлении  
всё.

Твой

Получила ли ты  
передачу в том же  
направлении?

29 Октября 1942г.

Милая Катя! Вспомни от меня  
давным-давно нет. Живи и в  
здоровии ли вы?

Я всё в здравии, и как уже  
сообщал, мой адрес теперь мой:  
Комсомольск-на-Амуре, почтовый  
ящик 215/17. Я на своей  
работе.

Писать тебе не о чем. Всё хорошо.  
В надежде на будущее, когда снова  
буду вместе, всё будет. Кроме  
здоровья и хорошего сна и детей,  
и буду так.

Твой Н. Заболоцкий.

### Письма Николая Заболоцкого жене из лагеря. 1942 г.

Порой, за неимением махорки, эки раскуривали мох, сухие листья, — о настоящем табаке даже и мечтать не приходилось. Каково же было однажды изумление Заболоцкого, развернувшего в посылке жены объёмистый пакет с двумя курительными трубками, кисетом и ящичком трубочного табака! Потом на воле он вспоминал, что это было из области чудесных неожиданностей. Это был подарок от известного переводчика классики Михаила Леонидовича Лозинского, с которым в Ленинграде у Заболоцкого и знакомство-то было отдалённым...

Однажды поэт попросил Екатерину Васильевну узнать про судьбу его

брата Алексея; потом повторил просьбу. Неясно, ответила ли ему жена: письма ходили плохо. Жена Алексея и сёстры Заболоцкого тогда знали только одно: пропал без вести. До войны Алёша был гидробиологом в Петергофе; в начале военных действий записался в ополчение и в сентябре 1941 года попал в плен. Как потом он сам вспоминал, первые месяцы плена были ужасны, и, лишь попав на работу к латвийским крестьянам, сумел выжить. Затем, в 1943 году, его вместе с другими пленными угнали в Германию. «На мою долю выпало работать на „классических“ каторжных работах — в каменоломнях Гарца, где люди „доходили“ от непосильного труда, непрерывного голода и зверского отношения со стороны немцев. Последние полгода плена я не выходил из лазаретов. <...> Нас освободили американцы 14 апреля 1945 г.». Так что в 1942–1943 годах, когда Николай Заболоцкий хотел узнать о судьбе младшего брата, никто ему ничего толком ответить не мог...

Прерывисто, как пересыхающая река, в коротких письмах и телеграммах шла переписка Заболоцкого с женой. Лишь 19 марта 1943 года он смог написать ей подробнее: «Моя милая Катя!

Открытку твою и письма от 30/XII, 19 и 21 янв. я получил, и посылку от 30 окт. получил тоже уже давно, о чём уже писал тебе. Спасибо за всё.

Я здоров и на днях, очевидно, уезжаю отсюда на Алтай. Я оставлен здесь до конца войны, но, если уеду, буду жить значительно ближе к тебе, и письма будут ходить, вероятно, быстрее. Там, куда мы едем, говорят, значительно дешевле, чем здесь, и климатические условия мягче. Впрочем, как только я приеду на новое место (и это будет, вероятно, в начале мая), я тебе сразу напишу и сообщу новый адрес.

Так, мой друг, я вступаю в новый период своей жизни, который не радует меня и не огорчает, так как чувства уже притупились, и продолжение несчастья не кажется более ужасным, чем то, которое случилось 5 лет назад. Я знаю, что мои дети нуждаются в моей жизни, остаток которой ещё может быть полезен для них. Поэтому будем жить и работать добросовестно, как и до сих пор.

Невесёлую жизнь устроил я тебе, помимо желания, но крепись, моя Катя. Может быть, когда-нибудь мы с тобой — старые старикашки — будем сидеть около печечки, рука в руку, вспоминая горькое прошлое, а наши большие умные дети с любовью и заботливостью будут оберегать наш покой и украшать нашу старость. Целую твои ручки, моя хорошая, только будь здорова и не теряй ровность характера. <...> Может быть, приехав на место, я попрошу тебя через Евг. Льв. (Евгения Львовича Шварца. — В. М.), чтобы он послал мне какие-нибудь куртку и брюки, хотя старые. Но об

этом потом.

До свидания, милая, будь здорова.

Твой Н. Заболоцкий».

В тот же день он написал письма детям — каждому отдельное письмо.

Никитушку благодарил за его письмо, говорил, что рад — сын хорошо учится и делает уже меньше ошибок, наставлял — нужно работать каждый день, терпеливо и настойчиво, тогда и самому и людям будет когда-то польза. «И ещё я рад, что с сестрёнкой ты живёшь дружно. Береги её, мальчик. Она у нас самая маленькая, как цветочек. Мама на работе. А ты, сколько можешь, смотри за цветочком, чтобы он хорошо рос и чтобы никто его не обижал. <...>

Когда я вернусь к вам, мы с тобой познакомимся по-настоящему, а теперь будем пока переписываться».

Дочь Наташеньку тоже благодарил за «письмецо и картинки». Писал, как носил её на руках, убаюкивая и напевая колыбельную:

«Ты слушаешь меня и заснёшь, глупенькая. А Никитка спал в своей кроватке рядом с тобой. Однажды вечером мама ушла куда-то, а я работал в своей комнате. Прихожу посмотреть, вижу — Никитка свалился с кровати вместе с одеялом и спит на ковре, даже не проснулся. Маленькие ещё вы были.

А теперь тебе уже скоро будет шесть лет, ты уж и буквы знаешь и писать немножко умеешь.

Расти, доченька, большая и умная. <...>

Папа любит тебя и всегда о тебе помнит».

\*

Тогдашним товарищам своим — свидетелств совсем немного — Заболоцкий запомнился человеком внешне замкнутым, немногословным, погружённым в свои мысли. Лагерь отнюдь не располагал к откровенным разговорам: среди заключённых были осведомители, которые сообщали о «настроениях» начальству, — и все, конечно, об этом хорошо знали.

Гургена Георгиевича Татосова поражало, что и в страшных условиях Николай Алексеевич не менялся характером, оставаясь «таким же чистым, мягким, добрым». Он признавался, что поэт был для него примером: «Всегда успокаивал меня и говорил: только не опуститься, не потерять своего сокровенного».

Инженеру Ивану Семёновичу Сусанину (Заболоцкий делил потом с



ним жильё в алтайском селе) запомнился случай на авральных работах: однажды в минуту отдыха на сопке Заболоцкий сорвал большой красный цветок и задумчиво разглядывал его, потом вдруг сказал товарищам: «Станем мы после смерти такими вот цветами и будем жить совсем другой, непонятной нам сейчас жизнью».

...И дочь свою он видел — маленьким цветочком...

«Пройдёт несколько лет после того разговора о цветке, — пишет сын в биографии отца, — и Заболоцкий напишет в известном стихотворении „Завещание“:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов  
Себя я в этом мире обнаружу».

## **Глава семнадцатая**

# **АЛТАЙ — КАРАГАНДА**

## Костёр на пересылке

Свой сороковой день рождения Николай Заболоцкий встречал ещё на Дальнем Востоке, в ожидании нового путешествия — на этот раз в сторону обратную.

Каково было ему узнать, что заключение его продлевается на неопределённый срок, что в качестве невольника он *оставлен до конца войны?*

Несмотря на все усилия, его дело так и не было пересмотрено, и он отбыл весь пятилетний срок — *от звонка до звонка*, — и вот, вместо свободы, — новая неволя. Сколько ещё ждать?.. Конечно, хребет фашистской орде был уже переломлен — в 1942-м в Сталинграде — и немца уже теснят на запад, но сколько ещё продлится война? Этого никто не ведал, — даже чуть позже, после победы на Курской дуге, враг был ещё силен...

В мае 1943 года Нижамурлаг, постоянно кочующий лагерь строителей железных дорог, начал переезд из Комсомольска на Алтай. Впрочем, *переезд* — слово слишком мирное, гражданское; для заключённых это, конечно, — *этап*. Со всеми его прелестями: долгой дорогой, грязными теплушками, конвоем с собаками, бесконечными пересчётами-поверками, пересыльными зонами. И что там ещё их всех ждёт, после изнурительного пути, на новом месте?..

На одной из лесных пересылок с поэтом случайно познакомился инженер М. М. Гиндилис, впоследствии оставивший воспоминания: «...я увидел человека, разжигавшего костёр, чтобы дымом защититься от комаров и мошек. Я подошёл и стал помогать поддерживать огонь, а потом мы вместе сидели у костра и после довольно продолжительной раскочки у нас завязался разговор. Мы посетовали, что труд, затраченный на строительство железнодорожных подходов к БАМу, в основном пропал зря. Но шла жестокая война — фронту требовались демонтированные рельсы и пролёты мостов. Утешало, что во время эксплуатации уже построенных веток из глубинной тайги на фронт было вывезено много брёвен лиственницы для блиндажей, лежневых дорог и других надобностей. Кроме того, после снятия рельсов сохранились просеки, полотно дорог, устои мостов и другие сооружения, которые смогут быть использованы для будущих работ на БАМе. Незаметно мы перешли к другим темам. Обстоятельства лагерной жизни нас не занимали. У каждого за плечами

было несколько лет заключения, и первые переживания и впечатления уже приглохли. Но нас волновало, какой выйдет страна из тяжёлых испытаний и невиданных бедствий войны... Сигнал на поверку прервал беседу.

Я сразу почувствовал, что судьба столкнула меня с человеком большой глубины, высоких моральных устоев и твёрдых принципов. На следующий день мы снова встретились и представились друг другу. Оказалось, мой вчерашний собеседник — Николай Заболоцкий, поэт. Такое неожиданное знакомство! Мы поговорили немного о литературе. <...> Больше на Алтае мы не встречались, так как были направлены в разные подразделения Алтайского лагеря НКВД».

Таёжная пересылка, зуд комаров, молчаливый поэт у костра... О чём он думал тогда? Наверное, осмысливал свою сорокалетнюю жизнь... свой новый приговор к подневольному труду, к творческой немоте.

Ровно через десять лет, в 1953-м, Заболоцкий, достигший полувекового рубежа, написал один из своих шедевров — стихотворение «Сон»: теперь он смотрел на пройденный путь словно с какой-то высоты, которая казалась потусторонней и самой жизни, отстранённой от неё в запредельные дали. И жизнь, с её тяготами в лагерях, страданием, когда снова и снова ему приходилось находить в себе силу, чтобы не сломиться, уцелеть, представлялась ему сном, растворившим в своей призрачной сущности тот потаённый смысл, который был ей задан и являлся её назначением:

Жилец земли, пятидесяти лет,  
Подобно всем счастливый и несчастный,  
Однажды я покинул этот свет  
И очутился в местности безгласной.  
Там человек едва существовал  
Последними остатками привычек,  
Но ничего уж больше не желал  
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.  
Участник удивительной игры,  
Не вглядываясь в скученные лица,  
Я там ложился в дымные костры  
И поднимался, чтобы вновь ложиться.  
Я уплывал, я странствовал вдали,  
Безвольный, равнодушный, молчаливый,  
И тонкий свет исчезнувшей земли  
Отталкивал рукой неторопливой.

Какой-то отголосок бытия  
Ещё имел я для существованья,  
Но уж стремилась вся душа моя  
Стать не душой, но частью мирозданья.  
Там по пространству двигались ко мне  
Сплетения каких-то матерьялов,  
Мосты в необозримой вышине  
Висели над ущельями провалов.  
Я хорошо запомнил внешний вид  
Всех этих тел, плывущих из пространства:  
Сплетенье ферм, и выпуклости плит,  
И дикость первобытного убранства.  
Там тонкостей не видно и следа,  
Искусство форм там явно не в почёте,  
И не заметно тягостей труда,  
Хотя весь мир в движение и работе.  
И в поведенье тамошних властей  
Не видел я малейшего насилья,  
И сам, лишённый воли и страстей,  
Всё то, что нужно, делал без усилья.  
Мне не было причины не хотеть,  
Как не было желания стремиться,  
И был готов я странствовать и впредь,  
Коль то могло на что-то пригодиться.  
Со мной бродил какой-то мальчуган,  
Болтал со мной о массе пустяковин.  
И даже он, похожий на туман,  
Был больше матерьялен, чем духовен.  
Мы с мальчиком на озеро пошли,  
Он удочку куда-то вниз закинул  
И нечто, долетевшее с земли,  
Не торопясь, рукою отодвинул.

Помолчим...

Поэзия не нуждается в толковании, — не растолкуешь. Поэзия надеется на одно — на *сочувствие* и на великое безмолвие, в котором душа созерцает душу.

Но треск сучьев в костре, вспыхи искр, языки пламени, всякий раз

неповторимые, неуловимые, которые можно лишь следить глазами, что-то невыразимое при этом понимая, ей не мешают.

## В Кулундинских степях

По прибытии на Алтай Заболоцкий отправил жене телеграмму. Всего пять слов: «Здоров вышлите костюм немного белья».

Костюм — видимо, в расчёте на будущую работу в проектно-монтажном отделе, так как поначалу его определили в разнорабочие на содовом заводе, расположенном близ степного озера.

Кулундинская степь, село Михайловское...

В селе лишних домов, конечно, не было; бараков же тут не успели или же попросту не посчитали нужным построить. Заключённые поселились в землянках.

Строили железнодорожную ветку от станции Кулунда до содового завода.

«Каждый день в сопровождении конвоя группа заключённых проделывала восьмидесятикилометровый путь через степь, сосновый лесок и болотце — к заводу на озере, — пишет Н. Н. Заболоцкий. — Здесь, под палящими лучами уже летнего солнца, по колено в насыщенном растворе углекислого натрия вычерпывал Заболоцкий содовую жижу. Много он уже испытал в лагерях — и карьеры, и лесоповал, и земляные работы, и голод, и морозы, но до сих пор его крепкий организм со всем этим справлялся. А тут не выдержал — подвело сердце. Не склонный жаловаться, он тем не менее написал жене из Алтайского края: „В начале лета мне было чрезвычайно трудно“».

В письме от 9 ноября он пишет, что чувствует себя удовлетворительно, «хотя сердце начинает гулять».

Всего две фразы — подробности остались за кадром.

«Тяжёлая работа на содовом заводе продолжалась месяца два, после чего Заболоцкого пришлось отправить в лазарет, — сообщает биограф. — Перечитывая в 1956 году свои старые лагерные письма жене, он сделал пометку: „Тогда, после летних работ на содовых озёрах, врач находил у меня декомпенсацию. Я весь распух и болел долгое время“. Врач лазарета, жена инженера Архангельского, рассказывала потом, что она старалась возможно дольше поддержать в лазарете истощённого, обессилившего и опухшего Заболоцкого, исцеляя его в основном отдыхом и больничным питанием. Её муж способствовал определению ещё слабого Николая Алексеевича на чертёжную работу в управление Алтайлага. Снова умение делать технические чертежи спасло Заболоцкого от непосильного

физического труда, а возможно, и гибели».

А в письмах ничего — про истощение и долгий лазарет, зато много о вкусных и дешёвых огурцах, арбузах, помидорах, о молоке — о всей этой «волшебной-приятной пище», от чего он давно отвык и к которой не сразу «приспособился желудок».

Екатерине Васильевне очень хотелось увидеть мужа, Алтай не Дальний Восток — теперь они были ближе друг к другу, и свидание вроде бы возможно, но Заболоцкий отговаривает жену:

«Относительно твоей поездки — рискованное это дело. Я не знаю, дадут ли свидание. Денег потратишь много. В дороге мученья. Да и мы можем отсюда уехать обратно. Как ни тяжело, а не советую, Катя. И рад бы всей душой увидеться, но разум подсказывает другое. И ни к кому не ездят. И детей как оставить?»

Надо ждать. Может быть, уж не так долго осталось» (29 ноября 1943 года).

Из письма жены он наконец узнал, что брат Алексей с 1941 года числится пропавшим без вести.

Тогда же, в ноябре, он получил первое письмо от Николая Степанова и узнал о судьбе своих старых друзей — Даниила Хармса и Александра Введенского. Оба поэта умерли, сообщил Степанов, но о подробностях промолчал: поостерёгся... Лишь потом, на свободе, Заболоцкому стало известно, что Хармс скончался в ленинградской тюремной больнице в феврале 1942 года, а Введенский погиб ещё раньше — на этапе заключённых, арестованных в Харькове, в конце 1941 года.

В «Прощании с друзьями» (1952) ему мнилась та новая страна безвременно сгинувших товарищей молодости, где «вместо неба — лишь могильный холм», однако от его друзей даже могил на земле не осталось. Около полувека многие их стихи и поэмы дожидались света (напечатаны лишь в конце 1980-х годов), — и Заболоцкий вряд ли сумел увидеть хоть что-то из рукописей. Если бы прочёл — наверняка бы по достоинству оценил последние, гениальные поэмы Александра Введенского, которого как поэта он когда-то в молодости недолюбливал и который в них вдруг распрощался напоследок со своей вечной «звездой бессмыслицы». Какая-то земная и, одновременно, неземная, запредельная музыка звучит в них — может быть, в предвидении — которое даётся не столько поэту, сколько самим его стихам — скорого прощания с жизнью:

Осматривая гор вершины  
их бесконечные аршины



вином налитые кувшины  
весь мир, как снег прекрасный  
я видел тёмные потоки  
я видел бури взор жестокий  
и ветер мирный и высокий  
и смерти час напрасный.

Вот воин плавая навагой  
наполнен важною отвагой  
с морской волнующейся влагой  
вступает в бой неравный.  
Вот конь в волшебные ладони  
кладёт огонь лихой погони  
и пляшут сумрачные кони  
в руке травы державной.

Вот лес глядит в полей просторы  
в ночей несложные уборы  
а мы глядим в окно без шторы  
на свет звезды бездушной.  
В пустом смущенье чувства прячем  
а в ночь не спим томимся плачем,  
мы ничего почти не значим  
мы жизни ждём послушной

.....  
Летят божественные птицы  
их развиваются косицы  
халаты их блестят как спицы  
в полёте нет пощады  
они отсчитывают время  
они испытывают бремя  
пускай бренчит пустое стремя  
сходить с ума не надо.

Пусть мчится в путь ручей хрустальный  
пусть рысью конь спешит зеркальный  
вдыхая воздух музыкальный  
вдыхаешь ты и тленье.  
Возница хилый и сварливый

в вечерний час зари сонливой  
гони гони возок ленивый  
лети без промедленья.

Не плещут лебеди крылами  
над пиршественными столами  
совместно с медными орлами  
в рог не трубят победный.  
Исчезнувшее вдохновенье  
теперь приходит на мгновенье  
На смерть! На смерть! держи равненье  
поэт и всадник бедный.  
(«Элегия» [1940].  
Орфография сохранена)

В поэме «[Где. Когда]» [1941] Александр Введенский прощается уже  
со всем на свете:

прощайте тёмные деревья  
прощайте чёрные леса  
небесных звёзд круговращенье  
и птиц беспечных голоса.  
.....  
прощай цветок. Прощай вода  
.....  
Спи. Прощай. Пришёл конец  
за тобой пришёл гонец  
он пришёл последний час  
Господи помилуй нас.  
Господи помилуй нас  
Господи помилуй нас.  
.....  
Прощай тетрадь  
Неприятно и нелегко умирать.  
Прощай мир. Прощай рай  
ты очень далёк человеческий край. <...>  
(Орфография сохранена)

Так они и исчезли, его друзья, — лёгкие, как тени, с тетрадями своих стихотворений...

## «Баллада о баланде»

Чем ближе продвигались наши войска к западной границе, тем лучше становилось настроение в тылу. Люди слушали радио и в газетах первым делом читали сводки информбюро, на работе или дома по карте отмечая линию фронта. Заболоцкий, конечно, был внимательнее многих: победа — это ещё и его свобода. В одном из писем он признавался жене, что голос Левитана стал для него дороже всех других голосов.

В канун Нового, 1944 года он поздравил жену и детей — и высказал свою заветную надежду — что этот год «...принесёт нам победу и приблизит час нашей встречи». Он окреп после болезни и духом стал бодрее:

«Здесь установилась настоящая русская зима, знакомая мне с детства. Она мягче и солнечнее, чем в Комсомольске; много снега, и мне доставляет удовольствие ходить на работу и обратно — по настоящему сосновому перелеску, занесённому снегом. Я тепло одет и не страдаю от холода. Куртка очень хороша на работе — тёплая и лёгкая» (23 декабря 1943 года).

Янтарные стволы сосен в лучах восходящего солнца, тёмно-зелёные хвойные лапы, искрящийся снег — радость! — тут и про конвой забудешь...

Николай Степанов к тому времени вернулся с семьёй из эвакуации в Москву и попытался вновь помочь Заболоцкому. Он пришёл к Фадееву в Союз писателей. Фадеев уверил Степанова, что ознакомился с ранее переданными ему бумагами и пришёл к выводу, что Заболоцкий не виновен. Получив от Степанова новое ходатайство, подписанное известными писателями, Фадеев пообещал содействовать освобождению поэта.

В начале января 1944 года Заболоцкого вызвали в посёлок Благовещенку близ Кулунды для встречи с каким-то начальником из органов безопасности, прибывшим с инспекцией на Алтай.

В камере пересыльной тюрьмы судьба, как нарочно, свела Николая Алексеевича с четырьмя молодыми людьми, так или иначе связанными с литературой. Общество было таким: два студента из Свердловска, получившие по «червонцу» за издание рукописного журнала, девятнадцатилетний поэт Тедди Вительс и молодой стихотворец Асир Сандлер. Они оживлённо беседовали в камере о литературе, читали друг другу стихи, спорили, смеялись. Новый арестант молчал и казался

необщительным. Табачком, однако, поделился, но на вопрос, кто он такой: зэк, ссыльный или спецпоселенец — ответил неопределённо, что и сам толком уже не поймёт. О своей работе выразился тоже непонятно: «Чертим разные бумажки». На допросы вызывали по номерам, и до поры до времени никто его имени не знал.

Впоследствии, в письме Никите Николаевичу Заболоцкому от 22 апреля 1978 года, Асир Семёнович Сандлер вспоминал:

«Меньше всего я думал, что передо мной один из крупнейших поэтов России. На следующую ночь его вызвали. Пришёл уже под утро. Проснулся перед обедом в отличном настроении.

— Ну что ж, живём, мальчики?! — Помолчав, протёр очки. — Подслушал я краем уха, как вы стишата почитываете. Может, прочтёте мне что-нибудь нехрестоматийное?»

Асир Сандлер было начал, но незнакомец остановил его:

— Да ну, ребята, я же просил вас не Велимира Хлебникова, а что-нибудь своё.

Однажды двое свердловчан устроили в камере спиритический сеанс. Вызвали дух Льва Толстого, задавали ему вопросы. Дух отвечал. Заболоцкий поначалу не хотел участвовать в балагане, но в конце концов поддался на уговоры и спросил:

— Когда я буду дома, Лев Николаевич?

Блюдце вертелось вокруг начерченных букв и наконец выдало мудрёный ответ:

— После империалистической буффонады.

В другой день, когда у юношей сводило от голода в желудке, Тедди и Асир додумались до того, что решили вместе сочинить балладу о баланде. И тут их старший годами товарищ, сдержанный и молчаливый, неожиданно оживился и сказал, что готов присоединиться. Но на одном условии — если сначала будет выработан твёрдый, строгий план, — «чем нас очень удивил».

Вскоре баллада, которая потом стала широко известна в ГУЛАГе, сделавшись частью лагерного фольклора, была готова. Вот она (курсивом выделены строки, принадлежавшие Николаю Заболоцкому):

*В Шервудском лесу догорает костёр,  
К закату склоняется день.  
Охотничий нож и жесток, и остёр —  
Сражён благородный олень.*

*Кровавое мясо соками шипит  
И кроется ровным загаром...  
И фляга гуляет, и ляжка хрустит —  
Охотились день мы не даром.*

*Хрустальные люстры сияние льют,  
Джаз-бандом гремит казино:  
Здесь ломится стол от серебряных блюд  
И кубков с янтарным вином.*

*Изящный француз распекает слугу,  
От виски хмельны офицеры...  
Слегка золотится фазанье рагу  
Под соусом старой мадеры.*

*Чалмою завился узорчатый плов,  
Пируют Востока сыны, —  
Здесь время не тратят для суетных слов,  
Молчанию нет здесь цены.*

*И вкрадчиво пальцы вплетаются в рис,  
А жир ароматен и прян!  
И красные бороды клонятся вниз,  
Туда, где имбирь и шафран.*

*Огромная ложка зажата в руке,  
Кушак распустил белорус:  
Горшок со сметаной и щи в чугушке,  
И жирной говядины кус.*

*И тонет пшено в белизне молока,  
И плавает в сале картошка!..  
Проходит минута — и дно чугушка  
Скребёт деревянная ложка.*

*Но сочный олень и фазанье рагу,  
И нежный, рассыпчатый плов,  
И каша, что тонет в молочном снегу,  
И вкус симментальских быков...*

*Ах, всех этих яств несравненных гирлянда  
Ничто, по сравнению с тобой, о баланда!*

В тебе драгоценная кость судака  
И сочная гниль помидора,  
Омыты тобой кулинара рука  
И грязные пальцы надзора!

Клянусь Магометом, я вам не солгу,  
Хоть это покажется странным,  
Но кость судака — благодатней рагу,  
Крапива — приятней шафрана.

Пусть венгры смакуют проклятый гуляш,  
Пусть бигосом давятся в Польше,  
А нам в утешенье — чудесный мираж,  
Тебя, ненаглядной, побольше.

Вот окончание этого письма Асира Сандлера, по форме — изящной новеллы:

«Наступил час, когда мы должны были расстаться. За день до этого на вечерней поверке дежурный сказал:

— Заболоцкий! Готовься, завтра уйдёшь!

Вечером все долго молчали. И вдруг Тедди взорвался:

— Как вам не стыдно, Николай Алексеевич! Я думал, вы бухгалтер, а вы ведь поэт Заболоцкий?! Почему же вы об этом не сказали раньше?

— А что бы это изменило?

— Я считаю себя поэтом совсем молодым и неопытным, но поэтом. Сколько же я вам прочёл бы и узнал от вас! Это же академия!

Николай Алексеевич, отчески улыбнувшись, ответил:

— Литературой и поэзией будем заниматься после „империалистической буффонады“. Кажется, так нам обещал Лев Толстой? Работай всё время, всюду и каждый день. Первую книжку пришлешь мне на рецензию. А ты, — это уже ко мне, — версификатор, отличный версификатор на уровне многих. Но — не надо. Ты по призванию журналист, найди свой стиль, себя и — с богом!

Он ушёл, оставив нам весь свой запас табаку. И перед уходом:

— Так, значит, в Москве, после буффонады...

Сказано совершенно будничным, ровным, тихим голосом, без малейшей аффектации.

Прошло тринадцать лет. В 1957 году писатель Натан Забара после реабилитации уезжал в Киев. В списке лиц, с которыми он хотел встретиться, был и Н. Заболоцкий. Я передал с ним записку. В ней был мой магаданский адрес и сообщение, что месяцев через десять буду на материке, увидимся. А подпись была такая: „В Шервудском лесу костёр догорел. Асир“.

Через месяц получил открытку, крайне лаконичную: „Поторопись. ‘К закату склоняется день’. Н. З.“.

В ноябре 1958 года я прибыл в Москву... С опозданием».

...Молодой же поэт Тедди Вительс не дожил до своей первой книги — погиб в заключении.



## Поминальная милостыня

Таким и запомнился в пересыльной тюрьме близ Кулунды сорокалетний Николай Заболоцкий ранее незнакомым с ним молодым людям. Поначалу он показался им необщительным, молчаливым, серьёзным, целиком занятым какими-то своими мыслями, притом, по повадкам, это был уже опытный, уверенный в себе зэк. А затем поняли: перед ними человек чрезвычайно умный, внутренне свободный, острый на слово — чеканно чёткий в определениях и совершенно естественный, без малейшей позы. Его голос звучал ровно и тихо — и точно так же жил и дышал в нём сильный и ничем не поколебимый дух.

Судя по его письмам начала и середины 1944 года, в Заболоцком в то время происходили важные перемены. Если говорить коротко: он обретал мудрость. (Хотя, разумеется, это довольно условное и не полное определение совершающихся в его мировоззрении и характере изменений.) Творческая сила не перегорала в нём, а переплавлялась в некое новое качество; он будто бы предчувствовал, что рано или поздно, по выходе на свободу, ему предстоит осуществить то, что прежде совершать ещё не приходилось, — и собирался в единое целое, мужал, крепнул.

Впервые за годы заключения он вспомнил о своих стихах — в письме от 11 января 1944 года спросил жену: сохранились ли черновики «Осады Козельска»? Эту поэму (первые две части) Заболоцкий писал как раз перед арестом в 1938 году, одновременно работая и над переводом «Слова о полку Игореве». Екатерина Васильевна все черновики сохранила. Очевидно, что поэт намеревался в скором времени вернуться к незавершённым вещам...

Настроение его резко менялось, что говорит о переоценке былых ценностей в результате напряжённой работы духа.

11 января он пишет жене, как его взволновало её сообщение об отзыве Фадеева (речь шла о пересмотре приговора Особого совещания), а не прошло и двух недель, как замечает в новом письме (от 23 января): «Но теперь я думаю, что всё это — старые дела. Ведь всё на свете забывается. Может быть, 2–3 человека ещё и помнят обо мне. Но что значит их слабый голос в грохоте и потрясениях наших дней! От судьбы не уйдёшь — как говорит народ».

В том же письме Заболоцкий — внешне отстранённо, но, несомненно, с чувством глубокого внутреннего потрясения — формулирует открытие,

сделанное им за пять лет лагерей (ранее мы его уже цитировали, но оно настолько важно, что не грех и повторить — теперь уже в контексте времени):

«Как это ни странно, но после того как мы расстались, я почти не встречал людей, серьёзно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир — это только маленький остров — в океане равнодушных к искусству людей».

Не менее значимым кажется нам и признание, сделанное в письме Н. Л. Степанову (4 февраля 1944 года):

«Несколько лет путешествовала со мной твоя книжечка Баратынского, и я полюбил его и вместе с ним разлюбил многое, что любил когда-то так сильно».

Разумеется, здесь в первую очередь речь — о поэзии.

В этом же письме он благодарит верного друга за всё, походя весьма и весьма скромно отзываясь о собственной персоне, — и это отнюдь не пресловутая ложная скромность (которая на поверку — самолюбование), но истинное отношение к самому себе:

«Я рад, мой дорогой, что ты до сих пор ещё помнишь обо мне, и я крепко жму твою руку и душевно благодарю тебя за твоё неизменное внимание к моим близким. Катя — хороший человек, она заслуживает доброго отношения к ней; что касается меня — то всё твоё внимание ко мне я отношу только за счёт твоих качеств; я же, право, не заслужил ничем ни твоего, ни других людей расположения».

Ещё одно признание звучит в следующем письме Степанову (29 марта 1944 года):

«Как-нибудь соберусь с духом и напишу тебе особое письмо — о *природе*, которую я видел на Дальнем Востоке и здесь. Она на меня производит такое впечатление, что *иной раз я весь перерождаюсь*, оставаясь с ней наедине.

Эта могучая и мудрая сила таким животворным потоком льётся в душу, что сам я в эти минуты делаюсь другим человеком.

*О, Судьба знает, что она делает.*

Я хотел бы остаток моей жизни, если он будет мне предоставлен, жить не в большом городе (курсив мой. — В. М.)».

Но самое поразительное письмо обращено к сыну, которому было тогда 12 лет:

*«6 июня 1944. [Михайловское, Алтайского края].*

*Милый Никита!*

*Я получил твоё письмо, твои отметки хороши, я рад, что ты хорошо*

учишься. Стихи твои (речь идёт о ранее приводившемся стихотворении про ленинградскую блокаду. — В. М.) мне тоже понравились, и главным образом тем понравились, что в них почти нет лишних слов; всё описано кратко, сжато, даже сурово как-то, и мне кажется, у тебя так получилось именно потому, что ты сам испытал на себе всю ту жизнь, которую ты изображаешь. Мне было бы интересно прочесть всё твоё стихотворение целиком; жаль, если ты его не вспомнишь.

Я живу лучше, чем раньше, и всё больше надеюсь, что мы довольно скоро встретимся. И я очень бы хотел, чтобы все вы — и ты, и мамочка, и Наташенька — были живы-здоровы и мужественно перенесли все те трудности, которые ещё осталось вам перенести.

Недавно произошёл со мной любопытный случай, о котором я хочу тебе написать.

Я шёл на работу, один, мимо кладбища. Задумался и мало замечал, что творится вокруг. Вдруг слышу — сзади меня кто-то окликает. Оглянулся, вижу — с кладбища идёт ко мне какая-то старушка и зовёт меня. Я подошёл к ней. Протягивает мне пару бубликов и яичко варёное.

— Не откажите, примите.

Сначала я даже не понял, в чём дело, но потом сообразил.

— Похоронили кого-нибудь? — спрашиваю.

Она объяснила, что один сын у неё убит на войне, второго похоронила здесь две недели тому назад и теперь осталась одна на свете. Заплакала и пошла.

Я взял её бублики, поклонился ей, поблагодарил и пошёл дальше.

Видишь, сколько горя на свете у людей. И всё-таки они живут и даже как-то умеют другим помогать. Есть чему поучиться нам у этой старушки, которая, соблюдая старый русский обычай, подала свою поминальную милостыню мне. <...>

Весь день я ходил, вспоминая эту старушку, и, вероятно, долго её не забуду».

Отметим, ни жене, ни другу поэт об этом случае не рассказал — только сыну-подростку.

Милостыня осиротевшей старушки стала, несомненно, одним из самых сокровенных воспоминаний Заболоцкого. Через 13 лет, за год до кончины, оно разрешилось стихотворением «Это было давно», где сюжетом — тот самый «любопытный случай» у сельского степного кладбища на Алтае:

Это было давно.

Исхудавший от голода, злой,  
Шёл по кладбищу он  
И уже выходил за ворота.  
Вдруг за свежим крестом,  
С невысокой могилы сырой  
Заприметил его  
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка  
В заношенном старом платке  
Поднялась от земли,  
Молчалива, печальна, сутула,  
И творя поминанье,  
В морщинистой тёмной руке  
Две лепёшки ему  
И яичко, крестясь, протянула.

И как громом ударило  
В душу его, и тотчас  
Сотни труб закричали  
И звёзды посыпались с неба.  
И, смятенный и жалкий,  
В сиянье страдальческих глаз,  
Принял он подаянье,  
Поел поминального хлеба.

Это было давно.  
И теперь он, известный поэт,  
Хоть не всеми любимый,  
И понятый также не всеми, —  
Как бы снова живёт  
Обаянием прожитых лет  
В этой грустной своей  
И возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка,  
Как добрая старая мать,  
Обнимает его...  
И, бросая перо, в кабинете

Всё он бродит один  
И пытается сердцем понять  
То, что могут понять  
Только старые люди и дети.

## В селе Михайловском

Селений с названием Михайловка, Михайловское — в честь архистратига Михаила — несчитано на Руси.

Первым приходит на ум пушкинское Михайловское на Псковщине: его знают все. А вот про одноимённое село в Кулундинской степи не знает никто.

И в том и в другом селе, в разные эпохи, томились два поэта: Пушкин и Заболоцкий, — и оба они были там невольниками.

Пушкин, сосланный в родовое гнездо, терпел царскую опалу; Заболоцкий — и вовсе был заключённым. Пушкин сочинял в Михайловском стихи, «Бориса Годунова» — Заболоцкий, через сто с лишним лет, — если что и писал, то лишь письма домой да заявления в НКВД. Пушкин спешил верхом к милым барышням в Тригорское — Заболоцкий ежедневно пешком шёл на работу: сначала на содовый завод, который его едва не угробил, потом в чертёжное бюро.

Этим и отличаются — в отношении к поэзии — тёмные дореволюционные времена (как пропаганда ещё недавно представляла царскую Россию) и светлые послереволюционные времена (как она же отзывалась о советской власти).

«Милая Катя, вчера я сдал большое заявление о пересмотре моего дела — на имя Наркома Вн.[утренних] Дел для передачи в Особое совещание», — сообщал Николай Алексеевич жене 18 февраля 1944 года.

Из двух писем Екатерины Васильевны он только что узнал в подробностях, что же произошло с его семьёй до эвакуации из блокадного Ленинграда. «Сама судьба сберегла вас, мои родные, и уж не хочу я больше роптать на неё, раз приключилось это чудо. Ах вы, мои маленькие герои, сколько вам пришлось вынести и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам, и что-то ещё впереди будет...»

Сдать письмо в НКВД — отнюдь не значило, что его тут же отправят в Москву к наркому. Через полтора месяца, 30 марта, Заболоцкий пишет, что его заявление наконец ушло по адресу, но скорого ответа он не ждёт и надеется его получить летом или к осени.

Печальным было это его весеннее письмо жене.

Он узнал из газеты о смерти Юрия Тынянова и скорбит: «Несколько дней хожу под тяжёлым впечатлением этой утраты. Юрий Н[иколаевич] был всегда так внимателен ко мне, с первых шагов моей лит.[ературной]

работы, и я был ему во многом обязан», — писал он жене. (А другу, Николаю Степанову, про Тынянова — даже подробнее: «Конечно, имя его будет крепко связано с новым периодом развития русского исторического романа и он мог бы, очевидно, ещё много сделать, если бы не болезнь. Взыскательность учёного боролась в нём с полётом художника — и это едва ли не первый прецедент во всей истории нашей литературы. Я отстал от жизни и не знаю — в каком состоянии оставил он своего „Пушкина“».)

Вздыхает о своей неволе: «Не знаю уж, друг мой, когда и как окончатся наши приключения. После твоего письма как-то особенно мучительно стало жаль детей. Им нужен отец, особенно Никите. Я очень это чувствую, и с каждым годом всё больше. Мне кажется, мы сошлись бы с мальчуганом. Нехорошо, что эта мысль об отце будет такой болезненной в его сердце».

Пишет о своём настроении: «Здесь весна, и я давным-давно хожу в одной телогрейке. Когда после работы выходишь из этих прокуренных комнат и когда сладкий воздух весны пахнёт в лицо, — так захочется жить, работать, писать, общаться с культурными людьми. И уж ничего не страшно — у ног природы и счастье, и покой, и мысль».

Зато его пространное письмо-заявление в НКВД совсем другое по духу: чеканное, полное достоинства, гордости, безупречно логичное — и в словах дышит твёрдость, стойкость и духовная сила:

«1. Как могло случиться, что в передовой стране мира человек, не совершивший никакого преступления, отсидел в лагерях положенные ему 5 лет и оставлен в заключении до конца войны? Ошибки судебных органов 1937–1938 гг. памятны всем. Частично они уже исправлены. Но всё ли исправлено, что было необходимо исправить? Прошло уже 6 лет. Не пора ли заново пересмотреть некоторые дела, и в том числе ленинградского поэта Заболоцкого? Он всё ещё жив и всё ещё не утерял веры в советское правосудие».

Кратко обрисовав путь в литературе, поэт назвал критику «Правды» в свой адрес извращением сути его творчества:

«Должен признаться, что смысл происшедшего далеко не сразу был осознан мной. Я был твёрдо уверен, что нашёл новое слово в искусстве. Уже многие мне подражали; на меня смотрели как на зачинателя новой школы. Большие писатели, авторитетные люди читали наизусть мои стихи. Менее всего я считал себя антисоветским человеком. Я осознавал свою работу как обогащение молодой советской поэзии. И, несмотря на это, центральный орган партии отверг меня. <...>

В расцвете творческих сил, преодолев формалистические тенденции

прошлого, получив литературный опыт, я был полон новых больших замыслов. Начал стихотворный перевод „Слова о полку Игореве“. Довёл до половины историческую поэму из времён монгольского нашествия. Предстояла огромная работа по первому полному переводу Фирдоуси „Шахнаме“.

Неожиданный арест разрушил мои замыслы и оборвал литературную жизнь».

Далее Заболоцкий в пух и прах разбил все обвинения, выдвинутые против него, не забыв упомянуть о чудовищных методах следствия, которые довели его до временной невменяемости:

«Помню, что все остатки сил духовных я собрал на то, чтобы не подписать лжи, не наклеветать на себя и людей. И под угрозой смерти я не отступал от истины в своих показаниях, пока мой разум хотя в малой степени подчинялся мне.

Но разве я могу быть уверенным, что злонамеренно-преступное следствие не воспользовалось моей невменяемостью и не использовало его для фабрикаций нужных ему „документов“?»

Он вновь назвал клеветой те показания свидетелей, которые легли в основу его приговора.

В последних, девятом и десятом, пунктах заявления Заболоцкий пишет:

«Если бы я был убийцей, бандитом, вором, если бы меня обвиняли в каком-либо конкретном преступлении, — я бы имел возможность конкретно и точно отвечать на любой из пунктов обвинения. Моё обвинение не конкретно, — судите сами, могу ли я с исчерпывающей конкретностью отвечать на него?

Меня обвиняют в троцкизме, — но в чём именно заключается мой троцкизм — умалчивают. Меня обвиняют в бухаринских настроениях, но в чём они проявились — эти бухаринские настроения, — мне не говорят. Происходит какая-то чудовищная игра в прятки, и в результате — загубленная жизнь, опороченное имя, опороченное искусство, обречённые на нищету и сиротство семья и маленькие дети. <...>

Я прошу внимания к себе. Я нашёл в себе силу остаться в живых после всего того, что случилось со мною. Все шесть лет заключения я безропотно повиновался всем требованиям, выносил все тягости лагеря и безотказно, добросовестно работал. Вера в конечное торжество правосудия не покидала меня. Мне кажется, я заслужил право на внимание. (Заметим: *торжество правосудия* оказалось такой же утопией, как *торжество земледелия*. — В. М.) <...>



Сейчас я ещё морально здоров и все свои силы готов отдать на служение советской культуре. Несмотря на болезнь (у меня порок сердца), я готов выполнить свой долг советского гражданина в борьбе с немецкими захватчиками. У меня нет и не было причин считать себя врагом Советского государства.

Я прошу Особое совещание снять с меня клеймо контрреволюционера, троцкиста, ибо не заслужил я такой кары, — совесть моя спокойна, когда я утверждаю это. Я мог допустить литературную ошибку, я мог быть не всегда разборчивым и достаточно осмотрительным по части знакомств, — но быть контрреволюционером, нет, им я не был никогда!

Верните мне мою свободу, моё искусство, моё доброе имя, мою жену и моих детей».

Что же ему в конце концов ответили на всё это? —

*Осуждён правильно.*

*Жалобу оставить без удовлетворения.*

\*

Сын агронома припомнил вдруг по весне уржумский огород и отцовы делянки, — впрочем, не только крестьянская кровь проснулась, надо было и подкрепиться от земли. Без разрешения начальства и куст картошки не посадишь, но начальство было не против. Вместе с товарищем по лагерю инженером Иваном Семёновичем Сусаниным Заболоцкий разбил небольшой огород. Клочок земли на окраине села обнесли колючей проволокой, вскопали землю, унавозили. Посадили они несколько десятков кустов картофеля, морковь, огурцы, потом, добыв рассады, и помидоры. «Если доживём до осени, — писал он жене, — то думаем подкормиться на овощах. — И прибавил: — Рядом с нашим огородом уже появился другой, и ещё совсем маленький — третий. Пример заразителен».

Про свой огород он сообщал ещё не раз — в подробностях и чуть ли не любовно: так нравилось возиться на земле, наблюдать, как вырастают овощи, проверять, не пора ли копать молодую картошку. Раздобыв семена, посадили ещё тыкву и дыни. Уже в середине июля они с напарником снимали с грядок свои огурцы. Радовались частым дождям: поливать лишний раз не надо.

Екатерине Васильевне было не до этих маленьких радостей подневольного существования. В то время она писала ему:

«20 апреля 1944.

Дорогой мой, милый Коля!

Близится день твоего рождения. Боже мой, седьмой год уходит из жизни. И где след, оставленный этими годами? В нашем сердце, а жизнь так и прошла мимо. <...>

На день твоего рождения я желаю тебе дожить до старости тихой, уютной. Молодости больше нет, её не вернёшь. Годы зрелой жизни исковерканы, задавлены. Дети у нас подрастают. Может быть, в них мы увидим то, что упустили в своей жизни. Сейчас, за тяжестью жизни, я и их не вижу. Видишь, я даже в Никите не могу поддерживать интерес к переписке с тобой. Он не знает, что тебе писать. Я должна бы его направлять. А я никуда не гожусь».

Николай Алексеевич успокаивал жену:

«Получил ещё письмо твоё от 20 апр. Оно такое печальное. Моя милая, ты твёрдо помни, теперь одно: самое тяжёлое уже за плечами, оно уже прожито. Теперь очень важно не сдать эти последние тяжёлые месяцы. Я очень надеюсь, и имею на это основания, что судьба моя может скоро измениться, и, может быть, час нашей встречи даже ближе, чем мы думаем.

Ты пишешь — „жизнь прошла мимо“. Нет, это неверно. Для всего народа эти годы были очень тяжёлыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнёшься, отдохнёшь, разберёшься в своих мыслях и чувствах, — ты поймёшь, что недаром прошли эти годы; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу, — и она, хотя и израненная, — будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде».

Далее — очень важное — о самом себе:

«Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чём не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми её радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».

Заболоцкий ещё внимательнее, чем раньше, следил теперь за сводками с фронтов, радуясь наступлению наших войск. Ему казалось, что конец войны уже близок, и это заряжало его бодростью.

В конце мая он получил письмо от Вениамина Александровича Каверина. Старый товарищ напомнил поэту про его работу над переводом «Слова о полку Игореве»: дескать, хорошо бы довести это дело до конца. Каверин убеждённо утверждал: перевод Заболоцкого займёт достойное место в современной литературе... Без сомнения, Николай Алексеевич и сам уже подумывал вернуться к «Слову», однако ему хотелось приступить

к работе — свободным. Судя по всему, ждать оставалось недолго: знакомые в управлении шепнули, что начальство, учитывая добросовестный труд заключённого Заболоцкого, отправило в центр ходатайство о его досрочном освобождении.

## Снова вместе

18 августа 1944 года Николай Заболоцкий наконец обрёл свободу, хотя ещё далеко не полную. Из заключённого лагерника он сделался *директивником* — как называли тех, кого освобождали по специальной директиве органов безопасности: то есть стал вольнонаёмным в системе лагерей до окончания войны. Самостоятельно выбирать работу и место проживания он не имел права, а любая провинность могла тут же обернуться для него зоной. Поводок вместо цепи, который в любое мгновение готов сделаться цепью. Но всё-таки по сравнению с прежней жизнью это была почти что воля.

«Моя милая Катя!

Уже 10 дней прошло после моего освобождения, и я только теперь могу написать тебе письмо. Сразу на голову свалилось столько дел и хлопот, что едва хватило времени, чтобы послать тебе телеграмму. Получила ли ты её?» — писал он жене 29 августа. И далее подробно рассказывал, что да как:

«Не исключена возможность, что в дальнейшем я попаду в Армию, но пока оставлен здесь и оформлен в должности техника-чертёжника с окладом 600–700 руб. в м[еся]ц и снабжением, которое следует по должности. Оно вкратце сводится к следующему: хлеба 700 гр., обеды и завтраки в столовой, ну, и ещё какие-то блага, в курс которых я ещё не вошёл. Всё это не бог весть как жирно, но по нашему времени, в особенности — по сравнению с тем, что было у меня недавно, — это очень хорошо. Жизнь значительно изменилась, я питаюсь сытно и вкусно.

Вместе со мной освободились два инженера, и мы трое усиленно ищем квартиру, т. е. комнату в крестьянской избе. Несмотря на то, что мы на это затратили много времени и хлопот, — пока ещё ничего твёрдого не получили, но надеемся в скором времени всё же найти пристанище. Пока же ютимся на краю села в грязноватой избушке, но это — временно.

Таким образом, милая Катя, хотя моя жизнь коренным образом изменилась, но это не совсем то, что ты ждала. По всей видимости, я имею право выписать к себе семью, но т. к. мы здесь кончаем свои дела и через месяц-полтора выезжаем отсюда по новому назначению (ещё неизвестно куда), то делать это пока бессмысленно, и нужно, по крайней мере, ждать того времени, когда мы приедем на новое место и оседем там. Трудно сказать — где это будет. <...>

Пока же ты должна порадоваться за меня, успокоиться и ещё набраться немного терпения.

Теперь поговорим с тобой о мелочах житейских. Вышел я одетый во всё лагерное, но мне оставили кое-что из казённых вещей. На мне рабочие ботинки — грубые, но крепкие, старенькие защитного цвета штаны и куртка, есть две смены старого казённого белья, матрацный тюфяк, наволочка, полотенца 2, моё старое зелёное одеяло (уже с дырками), та меховая куртка, которую когда-то ты мне послала, шапка, дырявые валенки. Железный котелок и деревянная ложка довершают моё богатое имущество. Всё остальное сорвала с меня жизнь и развеяла во все стороны во время моих злоключений.

Через несколько дней начальство обещает одеть меня в новый бумажный костюм и выдать новое одеяло — по казённой цене. Это уже хорошо, т. к. это даёт мне возможность принять более или менее человеческий вид.

Физически я чувствую себя отлично, выгляжу хорошо и, говорят, — моложе своих лет. Сейчас уже поспели арбузы, они очень дешёвы, и все мы едим их очень помногу, и я всё вспоминаю вас, как бы я вас покормил арбузами, если бы вы были со мною!»

Его семья всё ещё жила в Уржуме. Екатерина Васильевна рвалась в родной Ленинград, но муж сомневался в необходимости да и возможности переезда туда: жене вчерашнего заключённого вряд ли разрешили бы поселиться в Северной столице. Заболоцкого беспокоили даже сами поезда: «Вот ещё что: если придётся тебе ездить: ради бога, будь осторожна и не попадись под поезд. У нас тут вчера был несчастный случай, и я очень боюсь за тебя». Тревожило и другое: вдруг жена приедет, а их уже увезли в другое место: «Мы — люди странствующие; живём на месте, пока идёт стройка, закончится она — мы едем дальше, куда назначат. Это может быть и Крайний Север, и Дальний Восток, и Средняя Азия и т. д.».

Заболоцкий предостерегал жену от поспешных решений, считая, что поездка к нему ещё невозможна, да и детям не стоит пропускать занятия в школе. Вновь объяснял жене, что он всего лишь *директивник* и не пользуется всеми гражданскими правами: по любому поводу надо обращаться с рапортом к начальству.

Однако его доводы Екатерину Васильевну не убедили. В своих воспоминаниях она писала о тогдашнем своём настроении:

«Теперь, когда не разделяет нас ни тюремная решётка, ни лагерная проволока, почему я с детьми не должна стремиться к нему, почему я не могу преодолеть нас разделяющее расстояние? Ждать? Чего ждать? Ведь

столько раз за эти годы и Николай Алексеевич и я с детьми подвергались смертельным опасностям, но судьба сохранила нас. И тем более, если его могут отправить на фронт, я должна спешить, чтобы он смог до фронта увидеть семью. Ведь он столько лет мечтал об этом! И не могла понять, почему он десять дней не мог сообщить нам о своём освобождении. Поняла потом: он сохранился таким, каким был — обстоятельным, разумным, сдержанным, без эмоциональных порывов, которые были свойственны мне. Хотел разъяснить, что означает освобождение по директиве, какие его права, что ждёт нас, когда мы приедем к нему, искал комнату. Готовился взять на себя ответственность и заботы обременённого семьёй человека».

Жена забрасывала его письмами, и наконец Николай Алексеевич решился подать рапорт о воссоединении семьи.

«И вот в начале ноября все наши документы на выезд в порядке и мы готовы к отъезду, — вспоминала Екатерина Васильевна. — С собой мы старались взять побольше продуктов (овощей с огорода), насушили чёрных сухарей, даже водка у нас оказалась — её выдали к Октябрьским праздникам. Но с нами едут и рукопись начатого перед арестом перевода „Слова о полку Игореве“, и частично сохранившиеся материалы, нужные для продолжения работы. <...>

Все оставляемые вещи и немногие рукописи я уложила в корзину и снова отдала на попечение хозяйки — Евдокии Алексеевне. <...>

Не помню, сколько длилась дорога, как и что мы ели, как пересаживались на другой поезд в Татарской... Мысли стремились только вперёд... Но приезд в Михайловку 17 ноября 1944 г. запомнила на всю жизнь.

В Кулунде у нас снова была пересадка. По недавно построенной заключёнными ветке железной дороги мы доехали до станции Михайловка. Здесь около путей стоял маленький домик, где дежурил диспетчер. Железнодорожная ветка ещё не была сдана и находилась в ведении лагеря. Дежурный был предупреждён, что к бывшему заключённому едет семья. Он должен был по телефону (по селектору) сообщить в управление о нашем приезде, чтобы за нами выслали лошадь. Николай Алексеевич был не уверен, что сможет сам приехать за нами. Расписания регулярного не было, мы не знали, когда точно приедем, он мог быть на работе. Вблизи „станции“ не было ни одного дома — посёлок был километра за три.

Дежурный, молодой паренёк, был внимателен, рассматривал нас с интересом. Стал звонить в управление и вдруг предложил: „Хотите, я сейчас позову его к телефону?“ Это было совсем неожиданно. Все годы

меня преследовал страх — каким я его увижу...».

В последний раз они виделись ровно шесть лет назад, в «Крестах». То было их единственное тюремное свидание. Екатерине Васильевне было известно, что Заболоцкий целых две недели провёл в больнице для сумасшедших. Она вглядывалась тогда через разделявшую их решётку в лицо мужа, но следов болезни не заметила. Вид, конечно, был у него бледный, какой-то затравленный. И слова её вроде бы не все хорошо слышал... Но между ними был барьер в метр шириной, по которому ходил охранник, и рядом стояли другие люди, пришедшие на свидание с арестантами, и все вокруг кричали...

«Все эти годы вставали передо мной это лицо, решётка. Каким он стал теперь? И вот в телефонной трубке его голос — радостный, бодрый. Нет, человек не сломлен!

Поверить, что пройдёт совсем немного времени, не годы, не день, совсем немного, и я увижу его, — невероятно. Но это будет!

Дежурный устроил нас на прямоугольном деревянном диване направо от двери. Комнатка совсем маленькая, с большой печью. Вот уже стемнело. Дети дремлют, сидя на диване, а я всё выхожу посмотреть, не едут ли. Но нет, не едут. Уже совсем темно. Небо в звёздах. Степь, тишина. Казалось, я не могу при свете с ним встретиться, можно не вынести счастья. Всё нет, всё нет. Я сижу подольше. И наконец выскакиваю и сталкиваюсь в дверях.

Папа, который не терпел никакой аффектации, опустил перед детьми на колени, смотрел, смотрел...

И вдруг конюх, приехавший с Николаем Алексеевичем, приглушённым голосом:

— Начальство!

Конюх, Николай Алексеевич, диспетчер — все вытягиваются в струночку, руки по швам, молча приветствуют начальство. Начальство приехало по своим делам, на нас не обратило внимания, но мне стало жутко».

Вот тебе и вся свобода!..

Скорее бы от неё подальше...

«Мы погрузились в запряжённые деревенские сани-кресло: папа и я на сиденье, дети в ногах на вещах. Чтобы после тёплого помещения дети не простудились, я с головами накрыла их пледом, и они радостно стали ворковать: „Папунчики, Колюнчики, лапунчики“. Над нами купол звёздного неба, сани поскрипывают по снежной равнине, и хочется, чтобы этот путь был подлиннее, но мы быстро доехали.

Радужно нас встретила пожилая хозяйка. Вскипятила самовар,

поставила на стол хлеб, солёный арбуз. Жила она в избе с дочерью Нюрой, но дочь редко бывала дома — с обозом возила зерно в город за много километров. Изба была общая. Хозяйка спала на печи. В нашем распоряжении были две кровати. Под одной из них жили чесоточные бараны. По избам их раздал колхоз, чтобы они были в тепле и не заражали стадо.

Никакие неудобства нас не огорчали: ведь мы были, вся семья, вместе. Трудная зима в Михайловском была, пожалуй, самой уютной для нашей семьи. Ещё не ушло, ещё осязалось, стояло за спиной всё пережитое. Чудо нашего соединения освещало жизнь радостью, питало нежность и доброту в наших отношениях».

И сыну-подростку запомнился день встречи с отцом — похудевшим, быстрым в движениях, весёлым и словно помолодевшим. Запомнились пироги с паслёном, которыми потчевала их, детей, в избе старушка-хозяйка, и невиданное лакомство — солёный арбуз. На столе горела керосиновая лампа без стекла, и в её свете мерцали иконы в красном углу, а к тёплым бокам русской печи молча жались бараны...

Теперь по вечерам вся семья собиралась вместе. Родители рассказывали друг другу о том, что пережили в разлуке, и под эти тихие разговоры отца с матерью дети мирно засыпали. Потом оба ребёнка заболели корью; отец ходил за ними и каждый вечер приносил издалека, с работы, большой бидон чистой воды, потому что в хозяйском колодце вода была солоновата и Никита не мог её пить.

Мальчика поражало, что его отец всё умел делать своими руками — и хорошо: чертить и рисовать, колоть дрова и чинить что ни сломается. Из старых конторских папок он склеивал замечательные коробки, в которых хранил разные вещицы. В одной из таких коробок, оклеенной гранитолем, лежали его курительные принадлежности — табак, папиросная бумага, мундштук и кустарная зажигалка. Эта коробка, приятно пропахшая табаком, казалась особенно уютной. Вообще, самые простые вещи, побывавшие в руках отца, становились по-домашнему уютными и привлекательными: они будто бы обретали своё необходимое место в том ладе и порядке, который всюду он создавал вокруг себя.

Отцовские уроки иногда были совершенно неожиданными. Однажды он очень рассердился на сына и дочь. Гуляя как-то зимой на пустыре у дороги возле дома, они протоптали, немало потрудившись, на только что выпавшем снегу крупными буквами полушутливую надпись: «Никита и Наташа глупые, мама умная, папа — самый умный». Родители, вернувшись с рынка, конечно, всё увидели. Отец вдруг отругал детей, мать



расстроилась. Никита с Наташей не могли понять, в чём они провинились. Пришлось детям снова лезть в снег и затапывать своё изречение. Дома Николай Алексеевич наконец объяснил сыну, что для него это надпись была опасной: «...о бывшем заключённом, о „враге народа“ нельзя говорить, что он самый умный. Такое заявление кто-нибудь может истолковать как несмирение, как детское восприятие более серьёзных разговоров в семье». Для тринадцатилетнего мальчика, признавался впоследствии Никита Заболоцкий, это был очередной полезный урок, который он понял и запомнил. Мир не без добрых людей, но ведь и не без злых...

Вот ещё одно удивительное воспоминание сына: «Как-то вечером в полутьме избы отец запел „Выхожу один я на дорогу...“. Пел он очень хорошо и очень грустно, потом остановился. Мама попросила петь дальше. И отец запел дальше: „Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть“. С тех пор я не помню, чтобы отец пел серьёзно. Вообще откровенные душевные проявления не были свойственны сдержанному его характеру».

Те несколько месяцев в степном алтайском селе Михайловском так и остались навсегда в его памяти как счастливое время, несмотря на то, что жильё было тесным, и питались они скудно, и частенько были нездоровы:

«Мы снова были вместе, а радио приносило радостные известия о победоносном продвижении нашей армии на запад. Все понимали, что близится победа, что конец войны не за горами, что скоро можно будет заняться мирным трудом...»

## В Караганде

В начале 1945 года лагерь строителей готовился к передислокации на новое место. Куда — никто из вольнонаёмных инженеров и техников толком не знал.

Заболоцкий, в глубине души, готовился совсем к другому. Он перечитал своё, шестилетней давности, начало перевода «Слова о полку Игореве» и не мог уже противиться воображению. Собственных стихов он будто бы не подпускал к себе и не раз заявлял жене: писать их больше не буду. На свободе решил заниматься лишь литературными переводами. Но древнейший памятник русской литературы был для него, разумеется, больше, чем обычный перевод. Слово неведомого поэта являлось изначальным *Словом* всей русской литературы, перед силой, яркостью и обаянием которого невозможно было устоять никаким внутренним запретам.

В январе Заболоцкий отправил Николаю Степанову телеграмму с просьбой прислать ему текст древнерусской поэмы.

20 января 1945 года он писал другу:

«Я очень сомневаюсь, что мне удастся поработать над окончанием перевода, но, во всяком случае, я хочу возобновить в голове памятник и припомнить ту концепцию, которая у меня сложилась в старые времена. То, что сделано, нуждается в большой обработке и переработке, и для окончания всей работы нужно ещё немало времени и подходящая обстановка, которой, конечно, нет».

Немного рассказал и о своём житье-бытье на Алтае — по его словам, скудном существовании:

«Семейные дела меня не очень радуют, хотя мы живём дружной семьёй. Кате, конечно, очень трудно в этих условиях. <...> Никита — способный, но малограмотный мальчик — следствие ненормальных занятий, пропусков, переездов, болезни и пр. Кстати, я был бы тебе очень благодарен, если бы ты как-нибудь выслал мне бандеролью для Никиты учебник истории древнего мира для 5 класса и для того же класса учебный географический атлас. Я знаю, что это хлопотливое дело — искать книги, специально этим и заниматься не надо, но при случае ты эти книжонки поймей в виду.

Грандиозное наступление наших войск в центре внимания каждого из нас; каждое утро мы отмечаем по картам новые победы, и под знаком их

проходит весь день».

В студёные мартовские дни 1945 года эшелон строителей отправился к новому месту назначения — в Караганду. Как обычно, поезд подолгу держали на станциях: в первую очередь шли составы на фронт. Заболоцкие ехали с семьёй вольнонаёмного инженера Г. М. Зотова, товарища Николая Алексеевича по работе. Чугунную печку в теплушке топили круглые сутки, но без особого толку: стоял сильный мороз. Однажды загорелся деревянный пол под печкой, и пламя вместе с очагом пришлось заливать водой. Теплушка окончательно промёрзла...

Под Карагандой состав загнали на запасные пути. Жилья для новоприбывших ещё не было, и поначалу вольнонаёмные так и обитали в вагонах. Утром приезжал грузовик и забирал работников в управление, детей отвозили в школу на розвальнях. «Вскоре кончились выданные перед отъездом продукты, и семьи остались без еды, — пишет в своей книге Никита Заболоцкий. — Только на третий день Заболоцкий и Зотов получили в городе продовольствие, но разразился сильный снежный буран, занесло дорогу, машина проехать не могла, и к эшелону пришлось идти пешком. Зотов пишет: „Буран был настолько силён, что снег проник в карманы костюмов, несмотря на то, что верхняя одежда была застёгнута на все пуговицы. И вот, когда пришли в свой вагон, расположились на нарах, Николай Алексеевич сказал: „Да, человек — самое выносливое животное. Какой зверь в такой буран может делать такие переходы?““».

Вскоре семье Заболоцких отвели комнату в саманном домике в пригородном посёлке Большая Михайловка. Из нескольких широких досок и чурбачков Николай Алексеевич соорудил нечто вроде кровати, а из ящичков — подобие мебели. Печь топили местным углём. В этой комнатухе они и жили до осени, пока не получили комнату в коммуналке каменного дома на улице Ленина в центральной части Караганды — Новом городе.

Близ «третьей всесоюзной кочегарки» срочно возводился новый шахтёрский город Сарань. Там и работал Заболоцкий: поначалу техником-чертёжником, потом — исполняющим обязанности инженера, а осенью — уже начальником административно-хозяйственного отдела и, одновременно, начальником канцелярии управления. Его служебные нагрузки только возрастали: руководство ценило в нём аккуратность и добросовестность. Весь день поэт мечтал лишь об одном — добраться до дому и снова засесть за перевод. Сыну запомнилось, как усталый отец, на скорую руку перекусив, усаживался на самодельном лежбище, отгибал край одеяла и раскладывал на досках свои бумаги.

...В 1984 году карагандинский краевед Юрий Григорьевич Попов спрашивал у вдовы поэта, не был ли Заболоцкий знаком в шахтёрском городе со знаменитым учёным Александром Леонидовичем Чижевским и литературоведом Генрихом Леопольдовичем Эйхлером, на что Екатерина Васильевна ответила: «День он был на работе, возвращался домой, садился за перевод „Слова о полку Игореве“ и работал до глубокой ночи. По воскресеньям, если отрывался от перевода, то по необходимости ехал в Сарань, где была посажена картошка. И там он встречал только сотрудников».

Хотелось Заболоцкому что-то заработать для семьи помимо жалованья. И он обратился с письмом на имя председателя Союза писателей Казахстана, предлагая свои силы для переводов из казахской поэзии. Как вспоминала Екатерина Васильевна в одном из писем Ю. Г. Попову (от 9 ноября 1983 года), «ответ на это письмо получен не был, что Николай Алексеевич воспринял болезненно».

Лучше всего об этом времени рассказал сам поэт — в письме другу, Николаю Леонидовичу Степанову (20 июня 1945 года):

«Дорогой Коля!

На днях я закончил черновую редакцию перевода „Слова о полку Игореве“. Теперь, когда переписанная рукопись лежит передо мной, я понимаю, что я ещё только что вступил в преддверие большой и сложной работы. Я знаю, что я в силах проделать эту работу. Состояние моей рукописи убедило меня в этом. Но я сомневаюсь, что у меня хватит сил довести её до конца, если обстоятельства жизни моей не изменятся к лучшему. Можно ли урывками и по ночам, после утомительного дневного труда, сделать это большое дело? Не грех ли только последние остатки своих сил тратить на этот перевод — которому можно было бы и целую жизнь посвятить и все свои интересы подчинить? А я даже стола не имею, где я мог бы разложить свои бумаги, и даже лампочки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь.

Сидишь целый день на работе, копируешь чертежи и страстно ждёшь той минуты, когда сможешь вернуться домой и взяться за перо. Но вот приходит она — эта минута. Пройдёшь по жаре 3 километра, с книгой в руках поешь, берёшь перо и чувствуешь, что ты уже слаб, что отдых нужен, нет свежести в голове, мысль сонная, перо не идёт. А ты знаешь — какая это работа. Можно написать десяток вариантов на одно место — и ни один вариант не подойдёт. Так иногда доходишь до самоиступления, и, проклиная всё, засыпаешь. И на завтра — та же картина. Только по воскресеньям дело меняется, но сколько же нужно этих воскресений, боже

мой?!»

Впрочем, никакие житейские препятствия уже не способны были его остановить. Как тьма до свету, так и проза до поэзии:

*«Сейчас, когда я вошёл в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, — стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нём знакомые пропорции, золотые сечения наших привычных мировых памятников. Напрасен труд! Нет в нём этих сечений, всё в нём полно особой нежной дикости, иной, не нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались углы, сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит — это загадочное здание, не зная равных себе, и будет стоять вовеки, доколе будет жива культура русская.*

*Есть в классической латыни литые, звенящие, как металл, строки; но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: — Какое счастье, боже мой, быть русским человеком! (Здесь и далее курсив мой. — В. М.)*

Мой перевод — дело, конечно, спорное, так как, будучи рифмованным и тоническим, он не может быть точным и, конечно, внесёт некоторую модернизацию. Здесь чутьё и мера должны сыграть свою роль. Я счёл бы задачу решённой, если бы привнесённые мной черты не противоречили общему стилю, а современный стих звучал достаточно крепко, без „переводной“ вялости и жвачки.

Это сделать тяжело.

Всё, мой дорогой».

Через две недели, 4 июля, Заболоцкий сообщил Степанову, что перевод в основном готов. Поэт почти заново переписал то, что было сделано семь лет назад, оставив нетронутыми чуть более трети из трёх сотен строк, и перевёл остальную часть текста поэмы. Теперь он подробно раскрыл свой замысел:

«Моей первой целью было: дать полноценную поэму, которая, сохраняя в себе всю силу подлинника, звучала как поэма сегодняшнего дня — без всяких скидок, предоставляемых переводу. И часто, читая самому себе свою поэму, я мысленно говорю вам, мои друзья: „Дайте мне на пару часов Колонный Зал, и я покажу вам, как может сегодня звучать ‘Слово о

полку Игореве’!“

Вторая моя цель была: как можно меньше отступлений от оригинала. Я сделал всё, что было в моих силах, поскольку это можно было сделать для тонического рифмованного стиха. Сейчас ещё есть ряд недоработанных мест, но они доработаются к концу лета.

Итак — я пошёл по наиболее скомпрометированному пути: по пути Минаева-отца и Гербея, и пошёл по этому пути потому, что, несмотря на их неудачи, всё же их путь был правилен. Надо было решить основной вопрос: стихи это или не стихи? Для XII века это было тем, что для нас является стихами. Это несомненно. <...> Наша поэзия целиком подчинена тоническому принципу, и никакая разрушительная работа поэтов нашего века не могла поколебать тоническую стихию. Может быть, она и умрёт когда-нибудь (когда изменятся основы прекрасного в музыке), но сейчас она полна сил, имеет все возможности развиваться далее и будет жить долго. Поэтому я, не колеблясь, встал на точку зрения целесообразности тонического перевода, а встав на этот путь, без колебания принял и рифму, так как точки над *i* необходимы. И не раскаиваюсь. Работа была очень трудной, но я считаю её в основном удачной. <...>

*Но я люблю „Слово“ и, ложась спать, вижу его во сне. Я рад, что на 43-м году жизни мне удалось пережить его в себе самом, и я с нетерпением ожидаю отпуска, чтобы ещё раз как можно глубже погрузиться в него — на прощанье».*

Получив в середине июля отпуск в управлении, Заболоцкий в доме отдыха на станции Аккуль завершил отделку перевода.

\*

С весны 1945 года возобновились хлопоты друзей поэта о его возвращении в литературу.

22 марта Николай Тихонов, Илья Эренбург и Самуил Маршак обратились с письмом к Лаврентию Берию. Они писали, что талантливый поэт Николай Алексеевич Заболоцкий отбыл пятилетний срок заключения, освобождён по директиве Особого совещания и оставлен по вольному найму для работы в лагере до конца войны. Далее в письме следовало:

«Автор широко известных, глубоко патриотических произведений, посвящённых величию нашей родины („Горийская симфония“, „Север“ и др.), Н. А. Заболоцкий является также талантливым переводчиком Руставели. Его перевод „Витязя в тигровой шкуре“ был удостоен почётной

грамоты и премии ЦИК Грузинской ССР. Государственное издательство привлекает его в настоящее время к работе в качестве переводчика.

Однако условия жизни и работы Н. А. Заболоцкого лишают его возможности заниматься литературным трудом. До сих пор Н. А. Заболоцкий работал чертёжником в Алтайском крае, а теперь вместе со строительством переброшен в Караганду. Климат Караганды противопоказан его здоровью и может оказаться губительным для его 12-летнего туберкулёзного сына (жена и двое детей, эвакуированные из Ленинграда в 1942 году, переехали к Н. А. Заболоцкому полгода назад). Кроме того, для работы поэта-переводчика необходима постоянная связь с издательством, возможность пользоваться библиотеками и т. д.

Мы просим Вас разрешить Н. А. Заболоцкому переехать с семьёй в Ленинград (или Сиверскую под Ленинградом, где у его жены имеется дача). Это даст возможность талантливому поэту принять участие в важной работе. Вместе с тем мы не сомневаемся в том, что большой талант Н. Заболоцкого принесёт ещё много пользы делу нашей литературы».

Вслед за ними к всесильному Берии обратился замдиректора Гослитиздата Пётр Чагин (в начале 1920-х годов хороший знакомый Сергея Есенина по Баку и Москве). Он тоже просил вернуть к переводческой работе «одного из наших лучших поэтов-переводчиков».

Вряд ли «дорогого Лаврентия Павловича» можно было разжалобить доводами о плохом климате и болезнях детей. Ещё меньше ему было дело до «пользы литературы». Сам Берия, конечно, не ответил на эти письма. Однако, судя по справке органов безопасности, о деле Заболоцкого он всё же осведомился. Вероятнее всего, велел своим подчинённым не торопиться с разрешением на переезд поэта в центр...

Тем временем Заболоцкий явно утомился от этих бесконечных и бесплодных ожиданий. 4 июля он написал Николаю Степанову несколько горьких строк:

«Итак, мой дорогой Николай Леонидович, уже кончился июнь, и июль на полном ходу. Утешительные твои сообщения очень мне напоминают те, которые я имел в 40–41 годах и которые так жестоко обманули меня. По опыту знаю, что если дело затягивается, то и добра ждать не приходится. Очевидно, никто из крупных людей не хочет серьёзно взяться за это дело. И мой злой рок продолжает тяготеть надо мной. Одного жаль: годы уходят, уходит искусство».

Немного ранее Заболоцкий писал Александру Фадееву — с горьким сарказмом, предельной откровенностью, не скрывая боли:

«Мои обязанности заключаются в механической копировке чертежей.

Этой полезной деятельностью я занимаюсь семь лет и благодарю судьбу за то, что в руках моих рейсфедер, а не лопата... <...> пять лет я за что-то отбывал наказание. <...> За семь лет я прочитал с десятков случайных книг и не написал ни одной строчки. Но я физически здоров, и в душе у меня, кроме тяжкого недоумения — неистребимая любовь к моему искусству, которая только тогда умрёт, когда погибну я сам. Ко мне приехала семья, пережившая Ленинградскую блокаду. 12-летний сын болен туберкулёзом, но у меня нет средств, чтобы лечить его. <...>

Мне нужно как-то помочь. Нужно, чтобы я имел физическую возможность заниматься литературой и чтобы семья моя имела кусок хлеба. Я знаю, что я сделал в литературе немного. Но я чувствую, что могу сделать больше. Поэтому я ещё и хочу жить. Ведь не ради моего личного удовольствия судьба сделала меня писателем».

В начале октября 1945 года Николай Заболоцкий впервые прочёл свой перевод «Слова о полку Игореве» на публике. Сначала это произошло в собственном строительном управлении. Затем в городе — в карагандинском Доме партийного просвещения. Хотя на чтение пришло совсем немного народу — человек пятнадцать, — этот вечер стал событием в культурной жизни Караганды. В областной партийной газете «Социалистическая Караганда» появилась благожелательная заметка о вечере, которая весьма порадовала поэта. Перевод древнерусской поэмы был его надеждой, и любой положительный отзыв мог хоть немного, но повлиять на дальнейшую творческую судьбу. Автором заметки была преподаватель Карагандинского педагогического института Нонна Меделец. Похоже, она хорошо запомнила тост Сталина за русский народ, поднятый на торжествах по поводу победы в Великой Отечественной войне. «Особенно отрадно, — писала она в конце, — что перевод появился в 1945 году, в год торжества русского народа над самым заклятым его врагом, отчего яркие и звучные стихи перевода, рассказывающие о героической борьбе русского народа за независимость земли русской, звучат особенно близко и волнующе».

Заболоцкий, конечно, надеялся, что его перевод пройдёт в центральной печати — и просил Николая Степанова как-то устроить эту публикацию. Тогда бы, пожалуй, можно было бы восстановиться в Союзе писателей и переехать в Москву или Ленинград. Однако друг молчал, как видно, мало преуспев в этом деле...

Помощь пришла совершенно неожиданно — и откуда он никак не ожидал.

Начальник Особого Саранского строительного управления треста



«Карагандашахтострой» Д. И. Чечельницкий и начальник проектного отдела управления П. М. Цишевский, прочтя перевод «Слова», первыми поняли, что с ними работает по-настоящему большой поэт. Они пришли к начальнику Саранского лагеря, и тот не только ознакомился с переводом, но и по достоинству его оценил.

6 сентября 1945 года в Союз писателей СССР, на имя председателя правления Н. С. Тихонова, было отправлено официальное письмо, подписанное начальником Управления Саранского исправительно-трудового лагеря НКВД майором Кучиным и начальником политотдела лагеря старшим лейтенантом Родивиловым:

«...За время пребывания в лагерях тов. ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. проявил себя как добросовестный и исполнительный работник, не имел замечаний и взысканий ни в быту, ни на производстве, деятельно участвовал в общественной жизни и зарекомендовал себя в качестве гражданина, безусловно достойного освобождения из-под стражи и возвращения в трудовую семью нашего народа. За хорошую работу по ходатайству Управления Алтайского ИТЛ НКВД в 1944 г. тов. ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. был освобождён из-под стражи и в настоящее время является полноправным гражданином, имея лишь ограничение права на местожительство (ст. 39 Положения о паспортах).

По характеру своей деятельности Саранское Строительство не может использовать тов. ЗАБОЛОЦКОГО по его основной специальности писателя, и потому тов. ЗАБОЛОЦКИЙ работает в качестве технического работника — на работе, не соответствующей ни его образованию, ни его профессии.

Между тем в течение последнего года тов. ЗАБОЛОЦКИЙ в свободное от занятий время выполнил большую литературную работу — стихотворный перевод „Слова о полку Игореве“, рассчитанный на широкого читателя. Партийная и профсоюзная общественность Саранского Строительства, детально ознакомившись с трудом тов. ЗАБОЛОЦКОГО, признала его произведением большого художественного мастерства, способствующим широкой популяризации великого памятника древнерусского патриотизма в широких слоях советского народа.

Общественность Саранского Строительства, придавая большое политическое и художественное значение труду тов. ЗАБОЛОЦКОГО, нашла необходимым обратиться в Правление Союза Советских писателей со следующим:

1) Так как ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. своей хорошей работой в лагерях зарекомендовал себя как гражданин, достойный возвращения к своему

свободному труду, он должен в силу своих литературных способностей и знаний возвратиться к своей литературной работе.

2) Управление Саранстроя НКВД просит Правление Союза Советских писателей восстановить тов. ЗАБОЛОЦКОГО в правах члена Союза Советских писателей и оказать ему всемерную помощь и поддержку как при опубликовании его труда в печати, так и в предоставлении права на жительство в одном из центральных городов Советского Союза».

Чрезвычайно милый документ! Рядовые, в общем, энкавэдэшники одного из бесчисленных подразделений ГУЛАГа отстаивают право бывшего зэка-писателя заниматься литературой, печататься и жить там, где делается литература, — в то самое время, пока его коллеги по литературному цеху всё мешкают и согласовывают...

Как пишет Никита Заболоцкий, поэт, прочитав копию этого письма, лишь горько усмехнулся её удивительной парадоксальности: лагерное начальство рекомендует его литературный труд Союзу писателей, сотрудники НКВД просят создать ему, недавнему заключённому, условия для литературной работы!..

И снова долгое, томительное ожидание ответа из Москвы. Когда надежда, казалось, была уже потеряна, вдруг пришла телеграмма от председателя правления Союза писателей Николая Тихонова: «В Особсаранстрой, копия Заболоцкому. Прошу командировать Заболоцкого Николая Алексеевича город Москву сроком на два месяца». Это случилось в последний день уходящего 1945 года.

«Лучшего новогоднего подарка Николай Алексеевич никогда не получал», — свидетельствовал его сын.

Начальник Особсаранстроя Чечельницкий сразу же после Нового года издал приказ: командировать начальника канцелярии Заболоцкого в Москву с 8 января по 8 марта 1946 года, предоставив ему отпуск без содержания.

Поэт сдал дела и получил три тысячи рублей командировочных.

Прощание с женой и детьми — и поезд...

\*

Каким было это прощание?.. Что его ожидало в Москве?..

Год спустя, когда он вновь дописывал «Лодейникова», там появились строки о том, как взглянул его Лодейников на любимую «из глубины безмолвного вагона»:

И поезд тронулся. <...>

А небольшая поэма «Город в степи» (1947) начинается с карагандинского — колючего, степного, индустриального — пейзажа:

Степным ветрам неписаны законы.  
Пирамидальный склон воспламени,  
Всю ночь над нами тлеют терриконы —  
Живые горы дыма и огня.  
Куда ни глянь, от края и до края  
На пьедесталах каменных пород  
Стальные краны, в воздухе ныряя,  
Свой медленный свершают оборот.  
И вьётся дым в искусственном ущелье,  
И за составом движется состав,  
И свищет ветер в бешеном веселье,  
Над Казахстаном крылья распластав.

Дым и огонь... терриконы, ветер...  
Беспредельная степь — и колёса стучат на стыках: — Караганда...  
Кара — годна...

## **Глава восемнадцатая**

# **ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ**

## На птичьих правах

В один из январских дней Николай Леонидович Степанов вернулся к себе домой на Моховую раньше обычного, в обеденное время. Он обитал тогда в «тылах» литературного музея напротив Ленинской библиотеки, занимая с семьёй бывшую барскую кухню и комнатку для повара при ней. У лестницы на поленнице дров сидел какой-то человек в каком-то мешковатом одеянии. Мужчина обернулся на шаги — и Степанов сразу же узнал его — Коля Заболоцкий!

«Это был он. Похудевший, но сохранивший свой детский румянец. В очках, в какой-то куртке наподобие бушлата, тёплой ушанке, он показался усталым, чуть стесняющимся своего вида. Мы не виделись восемь лет».

Воспоминания Степанова лаконичны и скупы:

«Николай Алексеевич никогда не жаловался на безвинно перенесённые им тяжёлые испытания и лишения. Он почти никогда не говорил о них, даже в разговорах со мной избегал упоминать о пережитом в заключении. <...> Он лишь несколько раз говорил мне, что если бы остался на общих работах в тайге, а не попал чертёжником в контору, то, без сомнения, погиб бы».

Подробности в мемуарном очерке в основном бытовые — о том, что спать поэту приходилось на обеденном столе (на полу холодно), что аккуратист Заболоцкий педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда. Степанов заметил, что друга мучают припадки стенокардии — впоследствии они обернулись инфарктом... Но главное — настроением он был бодр и неопределённость положения отнюдь не угнетала его: «...мы жили очень интенсивной, даже весёлой жизнью».

На Моховую заглядывали друзья — повидать Заболоцкого, и сам он ходил на встречи к старым товарищам. Одним из первых пришёл давний приятель по ленинградскому Детгизу Ираклий Андроников с женой Вивой (Вивианой Абелевной). Перевидался со всеми — с Каверинными, Шварцами, Чиковани. А сами два Николая не раз ходили через Каменный мост в Дом на набережной — в гости к Тихоновым. В радушном и шумном доме Николая Семёновича и Марии Константиновны кто только не собирался по вечерам: «альпинисты, приезжие грузины, полярные лётчики, иногда люди непонятных профессий и склонностей».

Друзья выхлопотали Заболоцкому разрешение, позволяющее обедать в

ресторане Клуба писателей. Однажды в зале, где свободных мест было с избытком, к его столу подошёл холёный, полноватый человек с подносом и попросил позволения отобедать рядом. Заболоцкий сразу же его узнал, хотя видел много лет назад, да и знакомство-то было случайным: Лесючевский. Рецензент НКВД, отправивший на расстрел Бориса Корнилова и упёкший в лагерь Заболоцкого (кто знает, сколько было на его счету подобных рецензий), уселся напротив и с аппетитом принялся за обед, бесцеремонно разглядывая при этом своего соседа. Поэту, конечно, стало не по себе. Благо, тут в зал вошла чета Гитовичей — Александр и Сильва, которые специально приехали из Ленинграда в Москву, чтобы встретиться с другом. Они были поражены: доносчик и его жертва — за одним столом!.. «Какая-то бессмыслица, абсурд, дичь! — писала потом в воспоминаниях С. С. Гитович. — <...> Сочетание Заболоцкого с Лесючевским повергает нас в полнейший столбняк. Но, быстро придя в себя, мы радостно бросаемся к Николаю Алексеевичу, нам уже нет дела ни до кого на свете».

Конечно, чуть позже, когда они остались втроём, Гитовичи стали расспрашивать Заболоцкого: как же такое случилось?

«Заболоцкий сказал:

— Вот и решайте сами психологическую задачу, зачем ему понадобилось подсаживаться ко мне. По-видимому, ему хотелось убедиться воочию, что я не призрак и даже настолько реален, что ем суп.

Встреча с Лесючевским была зловещим, символическим напоминанием о том, что вернувшийся из заключения поэт будет отныне находиться под постоянной слежкой и что жизнь его отнюдь не станет свободной, лёгкой и безмятежной» (Н. Н. Заболоцкий «Жизнь Н. А. Заболоцкого»).

В принципе поэт всё правильно понял — да и прежде прекрасно понимал: для *органов* «враг народа» не бывает бывшим. Не потому ли в компаниях он был всегда насторожен и молчалив и даже наедине с друзьями ничего лишнего не говорил: и стены слышат!..

Органы госбезопасности как раз тогда наконец отреагировали на ходатайство Тихонова, Оренбурга, Маршака и Чагина, отправленное на имя Л. П. Берии. 9 февраля 1945 года заместитель наркома госбезопасности генерал-лейтенант С. И. Огольцов утвердил решение касавшее поэта Заболоцкого. Наркомат, как сказано в документе,

«ПОЛАГАЛ БЫ:

Разрешить Заболоцкому и его семье проживание в г. Ленинграде, и одновременно ориентировать УНКГБ по г. Ленинграду о взятии Заболоцкого под агентурное наблюдение».

За поэтом в Москве, конечно же, с самого начала следили.

По-видимому, его ознакомили — скорее всего, в общих чертах — с решением властей. Но к тому времени он понял: возвращаться в Ленинград нет смысла: вся литературная и издательская жизнь уже переместилась в столицу. 16 февраля Заболоцкий обратился с письмом-заявлением на имя заместителя наркома госбезопасности Огольцова:

«Прошу Вас разрешить мне и моей семье проживание в гор. Москве, а не в Ленинграде, ввиду того, что у меня есть возможность поселиться в черте гор. Москвы, в то время как в Ленинграде в настоящее время жилплощади не имею.

Моя семья из трёх человек: жена Заболоцкая Екатерина Васильевна (рожд. 1906 г.), сын Никита (рожд. 1932 г.), дочь Наталья (рожд. 1937 г.) — и проживает в настоящее время в г. Караганде».

Резолюция на этом заявлении была такой:

«...Можно согласиться. Мы ему разрешили жить в Ленинграде, куда он ехать не желает. Договориться с НКВД по этому вопросу.

Огольцов».

\*

Писатель Николай Чуковский познакомился с Николаем Заболоцким ещё в конце 1920-х годов в Ленинграде, но это знакомство было поверхностным. Узнав, что поэт вернулся из лагерей и живёт теперь у Степанова «без прописки на каких-то птичьих и очень опасных правах», он захотел навестить его.

«В то время человек, объявленный „врагом народа“, а потом всё-таки вернувшийся из лагеря, был странной, страшной, диковинной редкостью, и мне таких ещё не случалось видеть. Я понимал, что многие остерегались возобновления знакомства с таким человеком, и это меня ещё подзадоривало. Ведь не испугался же Степанов приютить у себя. Мне показалось, что стыдно не пойти, — впоследствии вспоминал Николай Чуковский. — Появлением Заболоцкого в Москве был очень взволнован мой тогдашний хороший знакомый, поэт-переводчик Семён Израилевич Липкин. Он никогда не видел Заболоцкого, но был поклонником его стихов и очень хотел с ним познакомиться. И мы решили пойти с ним вдвоём.

Липкин недавно перед тем демобилизовался, но ещё носил флотскую шинель. Был декабрьский (точнее, январский или февральский. — В. М.) день с мокрым снегом на улицах. Степановы жили тогда на Моховой, в

доме Литературного музея. Они занимали крохотную чуланообразную квартирку, вход в которую был прямо со двора. Мы постучали. Дверь открыл Заболоцкий. Увидев нас, он вышел на крыльцо и осторожно прикрыл дверь у себя за спиной.

Меня он узнал не сразу. Вид двух мужчин в военной форме, по-видимому, смутил его, о чём я догадался гораздо позже. На нём была вылинявшая цветная рубашка поверх брюк, и на дворе ему было холодно; однако впустить нас он медлил. Я не видел его восемь лет, но он показался мне мало изменившимся. В молодости благодаря полноте и солидности его принимали за человека средних лет; теперь он был человеком средних лет. Он, может быть, похудел, но не очень. Узнав меня, он поздоровался сдержанно. Я представил ему Липкина. Липкин объяснил, что знает и любит его стихи. Поколебавшись, Заболоцкий пригласил нас войти.

Из Степановых дома была только старушка-мать. Разговор в комнате продолжался так же принуждённо, как на дворе. Заболоцкий задал мне несколько вопросов о моей жизни, о моей семье. Его жена и дети были ещё в Караганде, — они приехали туда к нему, когда его выпустили из лагеря и разрешили жить в Казахстане. Он прожил в Караганде год, работая в какой-то канцелярии. И вот приехал один в Москву. Останется ли он здесь — неизвестно. Я его спросил, не собирается ли он вернуться в Ленинград. Он ответил, внезапно покраснев:

— Нет! В Ленинград — никогда!

Больше никаких вопросов мы ему не задавали. Помню, выяснилось, что он спал у Степановых на обеденном столе. Николай Алексеевич немного оттаял, благодарил нас за посещение, но мы продолжали чувствовать себя неловко и поспешили уйти. <...>

После Степанова приютил его у себя Ираклий Андроников — тоже его старый друг по Ленинграду. Житьё по чужим комнатёнкам не давало ему возможности выписать из Караганды семью и делало его положение безвыходным».

Командировка Заболоцкого подходила к концу, а дела никак не двигались. Лишь в начале марта его товарищам удалось устроить чтение перевода «Слова о полку Игореве». Сначала, 4 марта, оно прошло в Клубе писателей, а затем, 17 марта — в Литературном музее.

На вечер в писательский клуб собрались и поклонники «Столбцов», и учёные — знатоки древнерусской письменности; были и те, кто просто хотел взглянуть на человека, вернувшегося оттуда, откуда мало кто возвращается. В кратком вступительном слове Заболоцкий сказал, что он прежде всего художник и стремился к одному, чтобы «Слово» было



понятно всем, хорошо читалось и запоминалось; тем не менее его перевод — отнюдь не вольное переложение памятника, а предельно приближенное к точному значению оригинала. Почти все выступавшие на обсуждении: академик Николай Гудзий, филологи Григорий Гуковский, Валентина Дынник, писатели Павел Антокольский, Виктор Шкловский — одобрили работу Заболоцкого. Лишь Алексей Кузьмич Югов, автор собственного перевода «Слова», выступил с резкой критикой, которая, впрочем, прозвучала не слишком убедительно. Историк литературы Ирина Николаевна Томашевская, поздравляя Заболоцкого, принародно обняла и расцеловала его — приветствуя, как написал в биографии отца его сын, не только его перевод, но и возвращение поэта к нормальной жизни. «Какое-то официальное лицо потом заметило ей, что такие чувства, да ещё выраженные в общественном месте, совсем даже неуместны по отношению к недавнему заключённому „врагу народа“».

В печати — в «Литературной газете» и «Вечерней Москве» — появились небольшие заметки о чтении нового перевода «Слова о полку Игореве». Они были благожелательными, но, конечно же, такое крупное событие в литературной жизни требовало куда как большего отклика.

Впоследствии Вениамин Каверин писал в своём очерке «Счастье таланта» о том, что гениальный памятник древнерусской словесности, в сущности, никогда не читался. Его только изучали любители или же студенты-филологи перед экзаменом по древнерусской литературе. В переложении Заболоцкого «Слово» сделалось увлекательным чтением:

«Здесь дело не только в том, что Заболоцкому удалось передать с исчерпывающей точностью смысл каждого слова — в этом легко убедиться, положив рядом оригинал и перевод. И не в том, что ему удалось передать трагедию Руси, потерпевшей одно из тяжких своих поражений, и даже не в том, что он понял „Слово“ как интересное чтение и сумел передать читателю это ощущение. Заболоцкий сделал то, что до него не удавалось другим переводчикам, среди которых были великие поэты. Он перевёл „Слово“ на язык современной поэзии.

Это могло быть сделано только в наше время, хотя бы потому, что внутренне перевод „Слова“ связан не только с поэтической деятельностью самого Заболоцкого. Он входит как неотъемлемое целое в ту работу, которой лучшие наши поэты отдали годы.

И подумать только, что, когда в 1946 году появился перевод „Слова о полку Игореве“, нигде — ни в газетах, ни в журналах — не появилось ни строки! Можно было, пожалуй, вообразить, что в нашей поэзии подвиги совершаются едва ли не ежедневно!»

Очень точно определил место этого перевода в творческой судьбе самого Николая Заболоцкого поэт Лев Озеров:

«После „Слова“ всё окажется поэту по силу: и проникновенная лирическая нота, и высокие своды народного эпоса. Творчество обретает богатырский размах — не зря мечтой последних лет поэта было создание свода русских былин, именно свода, то есть единого эпического сказания (успел выковать только одно звено — „Исцеление Ильи Муромца“»).

В конце марта — начале апреля Заболоцкому пришлось покинуть своё пристанище на Моховой. Пришёл дворник, предупредил: дом по соседству с Кремлём, посторонним тут жить нельзя, тем более людям без прописки. Потом заявила милиция, потребовала документы. Поэт объяснил: разрешение на прописку получено, все бумаги на оформлении. Служебные люди позвонили в паспортный отдел: всё верно. Лишь благодаря телефонному звонку Заболоцкого не задержали. Но велели покинуть город в течение суток. А Степанова как хозяина квартиры, предоставившего кров «нежелательному элементу», оштрафовали.

Николай Заболоцкий срочно сменил адрес — переехал к Ираклию Андроникову. Впоследствии тот вспоминал, как они с женой перевезли к себе в Спасопесковский переулок своего товарища, ожидающего московской прописки:

«Время шло. Каждый день ответ обещали дать завтра. Жили мы тогда в одной комнате с десятилетней дочкой и няней. Николай Алексеевич гостил у нас, если меня не подводит память, с середины марта 1946 года до Майского праздника. На Майские дни его „взяли“ к себе Мария Константиновна и Николай Семёнович Тихоновы. От них он снова вернулся к нам.

Это были для нас хорошие дни. <...> У нас часто бывали гости. Ещё чаще мы уходили в гости сами. А Заболоцкий садился решать задачки для нашей дочери. Только однажды, я помню, мы были все вместе у Бориса Леонидовича Пастернака, и Заболоцкий читал ему стихи последнего времени. Наконец — это было уже в начале второй половины мая — Николай Алексеевич поселился в городке писателей Переделкино, к нему приехала семья. И нас разделило пространство в двадцать пять километров».

## Переделкино

Лев Озеров вспоминает:

«Дело было в 1946 году, в журнале „Октябрь“, где я в ту пору ведал отделом поэзии.

Седой, худощавый, тщательно скрывающий свою болезненность, Василий Павлович Ильенков — член редколлегии журнала, неизменно внимательный и чуткий, — без слов положил однажды на мой стол рукопись, аккуратную и разборчивую. Выделялось название: „Слово о полку Игореве“. Это была именно не машинопись, а рукопись. Повеяло какой-то старомодностью. Я перелистал рукопись и посмотрел на последнюю страницу.

— Заболоцкий?! — удивился я.

— Он здесь, живёт в моей переделкинской даче, — тихо произнёс Ильенков и закашлялся.

Пока хриплый звук его кашля выталкивался из глубин лёгких, я ещё раз успел перелистать рукопись.

— Поглядите внимательно. Я лично читал несколько раз. Поэзия! О ней надо иногда вспоминать, печатая стихи, — иронично сказал взыскательный Василий Павлович. До этого Заболоцкий и Ильенков в моём сознании не сочетались. Любопытно!

Через несколько дней Ильенков появился в редакции вместе с Заболоцким. Николай Алексеевич сразу же показался мне человеком внятным и ясным в общении, таким же, как и его рукопись».

Озеров принялся читать Заболоцкому его строки, «с их мощной живописью», то из «Горийской симфонии», то из «Столбцов». Ему запомнилось, как быстро менялось в ответ бледное лицо поэта: сначала оно осветилось улыбкой, потом там попеременно мелькнули недоумение, понимание, ирония, благодарность. Наконец Озеров перестал декламировать и просто сказал:

«— „Слово“ — прекрасно. Постараюсь убедить начальство, что надо немедленно печатать. <...>

Заболоцкий поблагодарил, затем молча встал и вышел».

Редактор «Октября» Фёдор Панфёров, прослушав перевод в чтении сотрудника, думал недолго:

«— <...> „Слово“ печатаем. <...>

На редколлегии всё повторилось сначала. Успех „Слова“ был

несомненным, голосования не потребовалось».

...Что касается писателя Ильенкова, то он ныне забыт, — если про него иной раз вспоминают, то лишь как об отце известного философа 1960–1970-х годов Эвальда Ильенкова. А в своё время Василий Павлович был довольно известным прозаиком, автором искренних и простых рассказов, нескольких романов, лауреатом Сталинской премии. Он был родом из семьи священника, получил неплохое по тем временам духовное и светское образование. После революции вступил в партию, работал журналистом, служил в РАППе; в годы войны — корреспондент главной армейской газеты «Красная звезда».

С Николаем Заболоцким Ильенкова познакомила Ирина Николаевна Томашевская. Как видно, писатели быстро сошлись: прозаик часто приезжал к поэту в Переделкино, где они подолгу беседовали. Содержание их разговоров осталось неизвестным: ни тот ни другой об этом никогда не говорили. Понятно, им было, что рассказать друг другу: Ильенков, семью годами старше Заболоцкого, прошёл войну, а Заболоцкий имел за плечами лагерь...

Многих писателей Ильенков тогда изумил тем, что предоставил кров в общем-то незнакомому человеку, — но для самого Василия Павловича это было делом естественным.

Николай Корнеевич Чуковский вряд ли знал о том, что московская милиция приказала Заболоцкому в 24 часа убраться из города, однако хорошо понимал: долго скитаться по чужим углам поэт просто не мог, а никакого выхода не предвиделось...

«И вдруг весной 1946 года я узнал, — пишет он, — что писатель Ильенков разрешил ему поселиться в своей просторной даче в Переделкино.

Это был отважный и удивительный поступок, тем более удивительный, что Ильенков не только не принадлежал к числу старых друзей Заболоцкого, но не был с ним даже знаком».

Они оказались соседями по дачам.

Николай Корнеевич и Марина Николаевна Чуковские тоже сделали для поэта доброе дело: нашли одну пожилую москвичку и уговорили её прописать Заболоцкого в своей квартире, чтобы избавить его от превратностей нелегальной жизни в столице.

Марина Чуковская оставила небольшие воспоминания о Заболоцком. Её особенно поразил один случай, произошедший в начале 1946 года, когда поэт появился в Москве. «<...> ...он как-то пришёл к нам. Степенно пил чай, степенно закусывал бог знает какой послевоенной едой. А ведь сытым

вряд ли был... Рассказывал о семье, оставленной в Караганде. В Николае Алексеевиче прежде всего бросалось в глаза его наружное спокойствие, неторопливость, полное отсутствие какой бы то ни было экзальтации. Казалось, ровное и спокойное состояние духа не покидает его. А что было внутри — не знаю... Близко к своей душе он не очень-то подпускал.

Мой двухлетний сынишка во все глаза глядел на незнакомого дядю. И вдруг протянул Николаю Алексеевичу сухарь:

— Дядя, на...

Николай Алексеевич улыбнулся. Блеснула золотая короночка на переднем зубе.

— Спасибо! — как взрослого, поблагодарил он ребёнка и, встав, крепко пожал ему ручку».

Когда годы спустя Марина Николаевна прочла стихотворение «Это было давно», она сразу же припомнила этот сухарь, протянутый младенцем-сыном поэту: не этот ли «ничтожный случай запал ему в душу»?.. Разумеется, она не могла тогда знать о письме Заболоцкого сыну Никите 1944 года, где говорилось о поминальной милостыне на сельском кладбище, что подала ему крестьянка.

Стихотворение «Это было давно» написано в 1957 году. Вполне возможно, что Заболоцкий помнил и этот детский сухарик, когда писал строки:

...И, бросая перо, в кабинете  
Всё он бродит один  
И пытается сердцем понять,  
То, что могут понять  
Только старые люди и дети.

По закону парных случаев ему дважды подали милостыню — рукой старухи и рукой ребёнка...

«Поселившись в чужой пустой даче, Николай Алексеевич начал вить гнездо. Прежде всего он нанял человека и вместе с ним вскопал в саду участок под огород и посадил картошку. Эта работа продолжалась несколько дней, в течение которых Николай Алексеевич трудился от зари до зари, переворачивая землю лопатой. Помню, меня это несколько удивило, — вспоминал Николай Чуковский. — Я и сам, как и он, не имел в Москве жилья и жил с женой и детьми в пустой отцовской даче. Как и у него тогда, мои литературные заработки носили случайный характер и

были крайне скудны. И всё-таки я рассчитывал только на литературные заработки и огорода не заводил. Я сказал ему об этом.

— Нет, — ответил он, — положиться можно только на свою картошку.

Я понял, до какой степени он, выйдя из лагеря, чувствовал себя неустойчиво. Он знал, какая тень продолжала лежать на нём, что эта тень будет долго мешать ему вернуться к профессиональной литературной работе, не обольщался тем, что ему удалось получить кое-какую переводную работу, и готовился ко всему».

Николаю Леонидовичу Степанову запомнилось, как в самом начале своей переделкинской жизни они с Заболоцким пошли в гости к Борису Пастернаку. В разные годы Заболоцкий по-разному относился к его поэзии. Несомненно одно: стихи Пастернака военного и послевоенного времени он очень ценил, — недаром уже в конце жизни советовал молодому поэту Андрею Сергееву читать его последние стихи: «...это, конечно, лучшее из всего, что он написал; пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался, — подумайте об этом, это пример поучительный». Вполне возможно, что об этой самой перемене Заболоцкий и хотел поговорить с Борисом Леонидовичем. Однако серьёзного разговора наедине не получилось. У Пастернака были гости: Константин Федин и Николай Погодин. Жёны ещё не переехали на дачи, и застолье было чисто мужским, с обильной выпивкой. Говорили о какой-то пьесе Погодина. «Федин был строгий, красный. Пастернак был весёлый, смеялся добродушно и заразительно. <... > Пили они, каждый, дай Бог, — пишет Степанов, которого удивило количество напитков, поданных к ужину. — Лишь Погодин понемногу мрачнел и становился молчаливее. Пастернак и Федин сохраняли оживлённость и несколько кокетливое изящество. Николай Алексеевич довольно быстро пьянел и тоже постепенно мрачнел». Словом, ожидаемой беседы с поэтом у него не получилось... Степанов рано покинул застолье, а Заболоцкий пришёл только к утру, «разрумяненный и не вполне твёрдо стоящий на ногах».

По убеждению Степанова, это был случайный и исключительный эпизод из переделкинской жизни его друга, который обычно не позволял себе такого времяпрепровождения — «и по причине отсутствия средств, и по соображению самодисциплины».

На даче Ильенкова Заболоцкий значительно переработал карагандинский текст перевода «Слова о полку Игореве» — основательно изучив в столичных библиотеках те научные материалы, которые были ему недоступны в Караганде. К тому же он учёл замечания специалистов по древнерусской литературе, которые были ему сделаны на обсуждениях.

Спустя несколько лет Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал о переводе Заболоцкого, что он — «...несомненно, лучший из существующих, лучший своей поэтической силой».

\*

В Переделкине Заболоцкий отдыхал душой — может, впервые после долгих лет испытаний и лишений. Лесная тишина, янтарные корабельные сосны, родниковой чистоты воздух. Была весна; с высоких ветвей лилось пение невидимых птиц и радостное их щебетание...

Тут был другой мир, бесконечно далёкий от московской сутолоки, напоённый покоем и вечной жизнью земли и небес. Он начинался сразу же с крохотной загородной станции, где Заболоцкий высаживался из пригородного поезда, идущего с Киевского вокзала. Поэт, с наслаждением вдыхая запахи хвойной свежести, шагал по тропе мимо сосен вдоль железнодорожного полотна, потом сворачивал в глубину лесного массива, огибая сельский погост. Справа на пригорке золотился куполами старинный храм, слева — нежно зеленели заросли лиственного леса: молодых берёзок, осинки, ольхи, тополей. Тропа немного спускалась, и он по деревянному мостику переходил неслышную реку Сетунь, в заводях которой важно плавали сизо-золотистые селезни и неприметные, цвета палой листвы утки. По давней привычке, Николай Алексеевич приглядывался к окружающей природе, подмечая белёсые цветы придорожной крапивы, выводок утят на речной глади, ведомый довольной матерью-уткой, белоснежные черёмухи, в гуще которых щёлкал соловей. Подходя к своей даче, поэт уже сбрасывал с плеч утомление, что наваливалось за день в городе...

В три-четыре месяца московской жизни ему удалось добиться почти невозможного — того, что недавно он и представить себе не мог...

28 апреля 1946 года он писал жене:

«Милая моя Катя!

Вчера мне сообщили, что документы о проживании нашем в Москве подписаны и в Караганду отправлена телеграмма о выдаче тебе и детям пропуска на въезд в Москву. Что касается меня, то сейчас я буду заниматься переменой своих документов на московские и пропиской здесь. Это уже технические дела, — самое главное сделано всё. В членах Союза я также восстановлен. Нечего и говорить, что я вполне доволен: не зря прошло то время, которое я здесь провёл.

Так как мои издательские дела совсем ещё не оформлены и я по-настоящему ещё и не занимался ими, то мне приходится делать долги. На днях тебе отправлена телеграфом вторая тысяча рублей. К середине мая вышлю деньги на выезд, так как самому мне, видимо, не придётся ехать за вами. От Союза будет телеграмма в Карагандинский Обком партии, и вам устроят проезд в прямом вагоне. <...>

Здесь меня знают, любят и ценят. Мне в ожидании пришлось вести очень сложную жизнь, но мне очень помогли друзья, и теперь очень всё хорошо. В частности, М. К. Тихонова, которая очень любит и ценит тебя, сделала для нас немало. Меня знают и любят самые неожиданные люди, и это очень приятно. Действительно, это не преувеличивали, когда писали нам в письмах, что меня знают. Ну, обо всё этом поговорим потом. Как я рад, Катя, что скоро тебе будет полегче, что ты успокоишься за меня, что мы будем получше жить! Конечно, не всё сразу наладится, но всё будет постепенно. Ты много заслужила, и, может быть, теперь судьба хотя отчасти тебя вознаградит. <...>

Тебя все так ждут и все тебя так любят! И я втайне горжусь тобой, когда меня спрашивают:

— Где вы её такую достали? <...> Крепко целую тебя и детей. <...>

*Твой Коля».*

В июне семья была уже с ним в Переделкине...



## Светает — пора!

Среди всей этой, в общем-то большей частью бытовой, суеты по обустройству какого-никакого московского гнезда, по возобновлении своей переводческой деятельности, которая приносила бы устойчивый заработок, у Заболоцкого — быть может, неожиданно для него самого — стали проклёвываться, как почки по весне на оттаявшей ветке, собственные стихи.

Чуть ли не восемь лет молчания — лагерная немота — ежедневный труд выживания — обуза чертёжной рутины... Он и сам уже зарекался писать стихи, что принесли ему и семье больше горя, чем радости. Правда, о последнем — знала только жена. Конечно, это говорено было в сердцах, — да и кому не известно, что зарекаются как раз тогда, когда мучительно и больше всего на свете желают именно этого...

Первым его стихотворением после многолетнего молчания было «Утро», помеченное сначала 16 апреля 1946 года, а затем в Своде стихотворений 1948 года — 3 мая.

Петух запеваёт, светает, пора!  
В лесу под ногами гора серебра. <...>

Образ рассвета — и нового этапа его поэтического творчества.

Тут всё пронизано символикой, чуть ли не каждая строка. Поэт — воин, чудом уцелевший в сражении; он прислушивается и к природе — и к своей собственной душе:

Там чёрных деревьев стоят батальоны,  
Там ёлки как пики, как выстрелы — клёны,  
Их корни как шкворни, сучки как стропила,  
Их ветры ласкают, им светят светила.  
Там дятлы, качаясь на дубе сыром,  
С утра вырубает своим топором  
Угрюмые ноты из книги дубрав,  
Короткие головы в плечи вобрав. <...>

Если в «Столбцах» *прямые лысые мужья* сидели как выстрел из

*ружья*, то теперь как *выстрел* — *клёны*: вечная природа-жизнь побеждает игру воображения. Жизнь — не озорство, не сатира: жизнь — это всерьёз.

Стук дятла отнюдь не угрюм, он весел, деловит, — *угрюмы же* — воспоминания о прошлом... Одновременно дятел — метроном, он отстукивает время...

Рождённый пустыней,  
Колеблется звук. <...>

Пустыня недавней неволи наконец-то ожила звуком — стихами, песней.

Колеблется синий  
На нитке паук. <...>

Кто он, этот паук — соглядатай утра? Так ли он страшен?..

Колеблется воздух,  
Прозрачен и чист,  
В сияющих звёздах  
Колеблется лист.

*Лист* — это само, новое, живое и свежее, его стихотворение. *Звёзды* в лучах рассвета, конечно, гаснут и глазу не видны — но поэзия всегда купается в их сиянии.

И, разумеется, давние спутницы его стихов — *птицы* — тоже тут:

И птицы, одетые в светлые шлемы.  
Сидят на воротах забытой поэмы. <...>

Наступает день — и вот показывается муза, обновлённая, юная, радостная, — она в образе безымянной и, пожалуй что, незнакомой девочки, словно бы только что проснувшейся от сна:

И девочка в речке играет нагая  
И смотрит на небо, смеясь и мигая. <...>

И рефреном:

Петух запекает, светает, пора!  
В лесу под ногами гора серебра.

Жизнь — драгоценна. *Пора* — снова жить, творить, любить!..

...Кто-то, возможно, спросит: а почему *паук* — *синий*, синих пауков-де не бывает?

*Синий* — потому что на ярком солнце чёрное отликает синевой.

*Синий* — могло быть написано и бессознательно: по толчку-импульсу гениальной интуиции: слишком резкий эпитет — и единственно тут верный.

## Весна послевоенная

Долго наступало это *утро* — но пришло; и звук, рождённый пустыней, запечатлелся в слове.

Пафос первого, после вынужденной немоты, стихотворения Заболоцкого сдержан, трезв, прозрачен, чист и вполне отчётлив: он предвещает новое слово. И в последующих стихах весны 1946 года это слово появляется на свет — живёт, поёт, пророчит, радуется, торжествует:

И, играя громами, в белом облаке катится слово,  
И сияющий дождь на счастливые рвётся цветы.

(«Гроза»)

В рогах быка опять запела лира.  
Пастушьей флейтой стала кость орла,  
И понял ты живую прелесть мира  
И отделил добро его от зла.

И сквозь покой пространства мирового,  
До самых звёзд прошёл девятый вал...  
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,  
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!

(«Бетховен»)

Начинай серенаду, скворец!  
Сквозь литавры и бубны истории,  
Ты — наш первый весенний певец  
Из берёзовой консерватории.

Открывай представление, свистун!  
Запрокинься головкою розовой,  
Разрывая сияние струн  
В самом горле у рощи берёзовой.

Я и сам бы стараться горазд,  
Да шепнула мне бабочка-странница:  
— Кто бывает весною горласт,  
Тот без голоса к лету останется.  
(«Уступи мне, скворец, уголок»)

С безоглядной откровенностью и невиданной прежде у него щедростью Заболоцкий выплёскивает изнутри своё лирическое начало, которое он столько лет таил в душе, не давая ему ходу:

С опрокинутым в небо лицом,  
С головой непокрытой,  
Он торчит у ворот,  
Этот проклятый богом старик.  
Целый день он поёт,  
И напев его грустно-сердитый,  
Ударяя в сердца,  
Поражает прохожих на миг.

.....  
И боюсь я подумать,  
Что где-то у края природы  
Я такой же слепец  
С опрокинутым в небо лицом.  
Лишь во мраке души  
Наблюдаю я вешние воды,  
Собеседую с ними  
Только в горестном сердце моём.

О, с каким я трудом  
Наблюдаю земные предметы,  
Весь в тумане привычек,  
Невнимательный, суетный, злой!  
Эти песни мои —  
Сколько раз они в мире пропеты!  
Где найти мне слова  
Для возвышенной песни живой?

И куда ты влечёшь меня,  
Тёмная грозная муза,  
По великим дорогам  
Необъятной отчизны моей?  
Никогда, никогда  
Не искал я с тобою союза,

Никогда не хотел  
Подчиниться я власти твоей, —

Ты сама меня выбрала,  
И сама ты мне душу пронзила,  
Ты сама указала мне  
На великое чудо земли...  
Пой же, старый слепец!  
Ночь подходит. Ночные светила,  
Повторяя тебя,  
Равнодушно сияют вдали.  
(«Слепой»)

Заболоцкий снова, как в натурфилософской молодости, вспоминает великое единство всех живых существ на земле и учительское первенство человека в его взаимосвязи с природой:

Вы слышите, как перед зеркалом речек,  
Под листьями ивы, под лапами ели,  
Как маленький Гамлет, рыдает кузнечик,  
Не в силах от вашей уйти канители?  
Опять ты, природа, меня обманула,  
Опять повела меня за нос, как сводня!  
Во имя чего среди ливня и гула  
Опять, как безумный, брожу я сегодня?  
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,  
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,  
Не место бессмертным иллюзиям духа,  
Что жизнь продолжается только мгновенье!  
Вот так я тебе и поверил! Покуда  
Не вытряхнут душу из этого тела,  
Едва ли иного достоин я чуда,  
Чем то, от которого сердце запело.  
Мы, люди, — хозяева этого мира.  
Его мудрецы и его педагоги,  
Затем и поёт Оссианова лира  
Над чащею леса, у края берлоги.  
От моря до моря, от края до края

Мы учим и пестуем младшего брата.  
И бабочки, в солнечном свете играя,  
Садятся на лысое темя Сократа.  
(«*Читайте, деревья, стихи Гезиода*»)

В первую послевоенную весну Николай Заболоцкий как поэт заново возродился. В его стихах открыто зазвучала музыка, поразительная по своей искренности и красоте. Музыка у него была и раньше — в «Столбцах» и поэмах 1930-х годов, — но прежде она была другая — изломанная игрой воображения, настроенного на гротеск, перегруженная мыслью и оттого суховатая, резкая; в ней почти не было природного естества, гармонии, мелодии. Теперь всё стало не так: стихи Заболоцкого словно бы запели, и музыка полилась в слове свободно, самозабвенно. Лучшим среди шедевров, что созданы весной 1946 года, да, наверное, и вершиной всей его лирики стало стихотворение «В этой роще берёзовой».

Наталия Роскина вспоминает в своём очерке о Заболоцком: он с гордостью обратил её внимание на то, что стихотворение «Иволга» (как оно первоначально называлось) «написано таким размером, как ни одно стихотворение в русской поэзии». Разумеется, дело совсем не в этом, хотя размер действительно очень хорош. Дело в другом, гораздо более важном: это произведение, во всей его лирической полноте, говорит нечто сокровенно-истинное как о душе и о судьбе самого Николая Заболоцкого, так и о судьбе мира и жизни на земле:

В этой роще берёзовой,  
Вдалеке от страданий и бед,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,  
Где прозрачной лавиною  
Льются листья с высоких ветвей, —  
Спой мне, иволга, песню пустынную,  
Песню жизни моей.

Пролетев над поляною  
И людей увидав с высоты,  
Избрала деревянную  
Неприметную дудочку ты,  
Чтобы в свежести утренней,

Посетив человеческое жильё,  
Целомудренно бедной заутреней  
Встретить утро моё.

Но ведь в жизни солдаты мы,  
И уже на пределах ума  
Содрогаются атомы,  
Белым вихрем взметая дома.  
Как безумные мельницы,  
Машут войны крылами вокруг.  
Где ж ты, иволга, леса отшельница?  
Что ты смолкла, мой друг?

Окружённая взрывами,  
Над рекой, где чернеет камыш,  
Ты летишь над обрывами,  
Над руинами смерти летишь.  
Молчаливая странница,  
Ты меня провожаешь на бой,  
И смертельное облако тянется  
Над твоей головой.

За великими реками  
Встанет солнце, и в утренней мгле  
С опалёнными веками  
Припаду я, убитый, к земле.  
Крикнув бешеным вороном,  
Весь дрожа, замолчит пулемёт.  
И тогда в моём сердце разорванном  
Голос твой запоёт.

И над рощей берёзовой,  
Над берёзовой рощей моей,  
Где лавиною розовой  
Льются листья с высоких ветвей,  
Где под каплей божественной  
Холодеет кусочек цветка, —  
Встанет утро победы торжественной  
На века.



Николай Корнеевич Чуковский, сосед Заболоцкого по даче, хорошо запомнил, каким был поэт в ту весну 1946 года. Приведём самый яркий отрывок из его мемуарного очерка:

«Он в то время был ещё очень силен физически и замечательно умело орудовал лопатой и топором. Помню, достал он дрова — метровые берёзовые чурбаки страшной толщины. Он расставил их, как солдат — целое войско, — и стал показывать мне, как их надо колоть, чтобы они разваливались с одного удара. Это искусство было не совсем безызвестно и мне, я выклянчил у него колун и постарался доказать, что и я не лыком шит. Мы оба вошли в азарт и хвастались друг перед другом. Каждый чурбан, прежде чем бить, нужно было понять, потому что успех удара зависит от расположения суков. В этом понимании он превосходил меня — у меня был опыт войны, а у него опыт лагерей, и я видел, что его опыт крепче моего. Я стал отставать, и он был очень доволен. С каждым ударом румянец у него на щеках разрастался, и скоро лицо его пылало, как солнце. Он улыбался и впервые показался мне почти счастливым. Тот гнёт, который лежал у него на душе, как бы слегка поддался, оттаял.

Вообще в нём в то время жило страстное желание уюта, покоя, мира, счастья. Он не знал, кончились ли уже его испытания, и не позволял себе в это верить. Он не смел надеяться, но надежда на счастье росла в нём бурно, неудержимо. Жил он на втором этаже, в самой маленькой комнате дачи, почти чулане, где ничего не было, кроме стола, кровати и стула. Чистота и аккуратность царствовали в этой комнатке — кровать постелена по-девичьи, книги и бумаги разложены на столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в молодую листву берёз. Берёзовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова. Николай Алексеевич бесконечно любовался этой рощей, улыбался, когда смотрел на неё. Однажды, когда я зашёл к нему в комнатку, он усадил меня на кровать, сам сел на стул и прочитал мне своё новое стихотворение, которое начиналось так:

*В этой роще берёзовой... <...>*

Это стихотворение, щемящее, нежное, поразило меня тем, чего не было в прежних стихах Заболоцкого, — музыкальностью. В Переделкине он стал писать много — после восьмилетнего перерыва. Его новые стихи резко отличались от старых; они ничего не потеряли, кроме разве юношеского озорства, но приобрели пронзительность боли, и нежность, и, главное, необычайную музыкальность. Написав стихотворение, он шёл ко мне, потому что я был ближайший сосед, которому можно было его прочитать. Меня его стихи восхищали, и я тут же с горячностью высказывал своё восхищение. Но сам он восхищался далеко не всеми своими стихотворениями и многие из них выбрасывал. Я никак не мог понять, чем он руководствуется при отборе, да, признаться, не понимаю и сейчас».

В тогдашней литературе эти лирические шедевры Николая Заболоцкого оказались «непроходимыми» — большинство из них пришли к читателю лишь десятилетие спустя.

## «Живая людская душа...»

Ежедневная жизнь Николая Алексеевича Заболоцкого в подмосковном писательском посёлке меньше всего походила на дачный отдых. Житейские хлопоты, упорный труд в комнатке-кабинете — одна работа сменялась другой. Среди степенно прогуливающихся по тенистым улочкам Переделкина маститых мастеров слова: Федина и Каверина, Всеволода Иванова и Катаева, равно как и других, — Заболоцкого невозможно было бы встретить. Гулять попусту он не любил, да и вообще не понимал: к чему это? Дела частенько выдёргивали Заболоцкого из его дачной келейки под чердаком, и он тогда шагал на станцию, ехал на пригородном паровичке в столицу, а вечером, измотанный московской сутолокой, возвращался тем же путём домой, порой опрокинув «с устатку» рюмку-другую в пристанционном буфете. Проходя мимо кладбища на сосновом взгорке, он всякий раз видел у дороги недавнюю могилу лётчика, защищавшего в 1941-м Москву: потемневший деревянный пропеллер на постаменте, в обрывках траурных лент с неразличимыми уже словами. Кто он был, тот погибший воин? Наверняка молодой парень, толком и не успевший пожить...

Много людских судеб прошло за минувшие годы перед глазами поэта: далеко не одной трагедии он был свидетель и на Дальнем Востоке, и в алтайской степи, и в Караганде. Прежде — в дерзкой питерской молодости — Николай не очень-то различал предметы и живые существа, смотрел будто бы сквозь них — о чём прямо говорит его *alter ego* Лодейников: «я различаю только знаки». И сам поэт видел не столько конкретных людей, с их неповторимыми чертами, сколько некие *знаки*, условные выразители человеческих характеров. Ни в *столбцах*, ни в натурфилософских поэмах по-настоящему живых персонажей в общем-то нет — их заменяют яркие шаржированные маски, условные фигуры, обобщённые функции «человеков». Возможно, лишь близкие товарищи и друзья были для молодого Заболоцкого вполне полнокровными живыми людьми, не затронутыми бурной игрой воображения, да ещё любимые поэты, заново воплощённые в его сознании животворной силой своих стихов.

Годы неволи изменили Заболоцкого — он стал внимательнее к живому человеку, даже к случайному встречному. Как бы это прямолинейно ни прозвучало, но, если говорить коротко, суть происшедших с Заболоцким перемен очевидна: начиная с послевоенного времени, его поэзия *очеловечивается*. Сами стихи тому свидетели: «Поэт» (1953), «Неудачник»

(1953), «В кино» (1954), «Бегство в Египет» (1955), «Некрасивая девочка» (1955), «Старая актриса» (1956), «Где в поле возле Магадана» (1956) — и ещё многие другие можно было бы назвать. Но началось всё со стихотворения «Прохожий» 1948 года, сюжет которого, конечно же, подсказан частыми переходами по тропе мимо сельского переделкинского погоста:

Исполнен душевной тревоги,  
В треухе, с солдатским мешком,  
По шпалам железной дороги  
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара  
Ушёл предпоследний состав.  
Луна из-за края амбара  
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,  
Он входит в весеннюю глушь,  
Где сосны, склоняясь к погосту,  
Стоят, словно скопища душ.

Тут лётчик у края аллеи  
Покоится в ворохе лент,  
И мёртвый пропеллер, белея,  
Венчает его монумент.

И в тёмном чертоге вселенной,  
Над сонною этой листвой  
Встаёт тот нежданно мгновенный,  
Пронзающий душу покой,

Тот дивный покой, пред которым,  
Волнуясь и вечно спеша,  
Смолкает с опущенным взором  
Живая людская душа.

И в лёгком шуршании почек,  
И в медленном шуме ветвей

Невидимый юноша-лётчик  
О чём-то беседует с ней.

А тело бредёт по дороге,  
Шагая сквозь тысячи бед,  
И горе его, и тревоги  
Бегут, как собаки вослед.

Вот так же однажды по осени Заболоцкий возвращался домой со станции Переделкино. В тот раз его ждали с особым нетерпением — и не только домашние. Дело было в начале сентября 1946 года. В город его и многих других писателей вызвали по чрезвычайно важному государственному делу: в Союзе писателей должно было состояться обсуждение — вернее бы сказать, осуждение — Зощенко и Ахматовой, творчество которых ЦК партии подверг резкой критике в своём постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград». Всем уже хорошо было известно, что двух живых классиков литературы с позором исключат из рядов Союза советских писателей. Понятно, мало кому из литераторов хотелось марать руки, голосуя за это исключение. Заболоцкому было куда как сложнее, чем другим: он и сам-то недавно ходил во «врагах народа» и только-только был восстановлен в рядах союза. Он очень хорошо понимал: малейший проступок — и власть запросто упечёт его за решётку или в лагерь. Времена были строгие: за опоздание на работу сажали под арест и давали срок, а уж идти против *линии партии* было и вовсе самоубийственно.

Но участвовать в показательном шельмовании двух писателей, один из которых, Михаил Михайлович Зощенко, в своё время не раз поддерживал его самого?!..

О дальнейшем рассказал впоследствии в своей мемуарной книге «Эпилог» Вениамин Каверин: «...друзья Николая Алексеевича (и я в том числе) уговорили его пойти на общее собрание. <...> Вопрос идти или нет — касался и меня. Но я мог „храбро спрятаться“ (как писал Шварц в „Красной шапочке“), а Заболоцкий не мог. <...> Итак, мы уговорили его пойти на собрание; это, разумеется, значило, что он должен был проголосовать за исключение Зощенко. Мрачноватый, но спокойный, приодевшийся, чисто выбритый, он ушёл, а мы — Катя Заболоцкая, Степанов и я, — проводив его, остались (это было в Переделкине, на наёмной даче), — остались и долго разговаривали о том, как важно, что нам

удалось его уломать. Не пойти, не проголосовать — это было более чем рискованно, опасно. <...> Однако рано мы радовались. Прошло два часа, когда я увидел вдалеке, на дорожке, которая вела от станции, знакомую фигуру в чёрных брюках и белой просторной куртке. Слегка пошатываясь, Николай Алексеевич брёл домой. Все ахнули, переглянулись. Екатерина Васильевна всплеснула руками. Улыбаясь слабо, но с хитрецей, Заболоцкий приближался, и чем медленнее он подходил, тем яснее становилось, что он в Москву не поехал. Войдя, он сел на стул и удовлетворённо вздохнул. Все два часа он провёл на станции, в шалманчике, основательно выпил, разговорился с местными рабочими и, по его словам, провёл время интересно и с пользой. Несколько дней мы тревожились, не отразится ли на его судьбе подобный, неслыханно смелый поступок. К счастью, сошло. Поступок не отразился».

...Невидимый юноша-лётчик, конечно же, по-доброму улыбался в тот вечер с небес при виде этого прохожего, весьма пьяного и ещё больше — счастливого.

## На перепутье

То весеннее вдохновение 1946 года прошло — а вместе с ним и стихи.

Осталось несколько прекрасных лирических творений, но кто их знал, кто читал?., разве только близкие товарищи и друзья. Даже и они не заикались о том, чтобы предложить стихи в альманахи или журналы: слишком непривычны, что ли, для массы стихотворной продукции, которая выходила в свет. Все, да и сам Заболоцкий, понимали: такое не пройдёт. Слишком долго раньше били его по рукам и клеймили позорными кличками, и тень от прошлого никуда не делась, так же стоит тяжёлой тучей в безветрии, готовой рухнуть с высоты.

Вернулась семья, и надо было обеспечивать её — это Николай Алексеевич всегда считал своей обязанностью, тем более теперь, после стольких испытаний и лишений, что перенесли жена и дети в блокаде, в ссылке, на Алтае и в Казахстане. Между тем никаких других способов заработать на жизнь, кроме литературных переводов, не было. Летом 1946 года в Москву приехали старые друзья Симон Чиковани и Георгий Леонидзе: у них были большие и вполне конкретные планы на будущее Заболоцкого-переводчика. Николай Тихонов познакомил своего давнего товарища с венгерским поэтом Анталом Гидашем, и Заболоцкий начал переводить его стихи.

В ту пору к поэту обратилась известная пианистка Мария Вениаминовна Юдина с предложением перевести несколько стихотворений немецких поэтов для сборника песен Шуберта, который она редактировала. Когда-то в Ленинграде она была дружна с Хармсом, читала и любила стихи молодого Заболоцкого. Они познакомились лично в марте 1946 года в Клубе писателей, где поэт читал свой перевод «Слова о полку Игореве». Юдина была под сильнейшим впечатлением от этой работы, которую она позже называла и «переложением», и «пересочинением», и даже (не очень удачно) «перепоезией» — и считала гениальной.

8 августа 1946 года Николай Алексеевич отвечал ей:

«Я очень рад, что мои стихи пришлись Вам по душе, тем более что Вы — читательница взыскательная. Но Вы, конечно, преувеличиваете значение моих стихов, слабые стороны которых мне хорошо известны. <...>

Я ещё не приступал к переводам, но обещание своё исполню, и как только что-нибудь будет готово, мы с Вами встретимся и обсудим, что к чему. Буду очень рад, если Вы навестите меня в Переделкине — при

случае».

По её признанию, «с трепетом» направилась она к поэту, не зная, как он её встретит. «Но получилось легко и отрадно: Николай Алексеевич был перед домом, во дворе колол дрова, около него были и симпатичные дети. „Вот Никита, вот Наташа“, — представил он их мне; дети были среднего школьного возраста, Николай Алексеевич рассказал, как далеко — по другую сторону железной дороги — находится школа, как трудно порою, в любую непогоду, путешествовать им туда и обратно; но ведь общеизвестно, что Николай Алексеевич никогда ни на что не жаловался, то была лишь констатация. Я посидела на пенёчке, пока убрали дрова, мы пошли в его рабочую комнату, наверх, я рассказала ему подробнее о своём предложении, он охотно согласился. Николай Алексеевич любил музыку, особенно симфоническую и ораториальную. Но конструктивно, теоретически мало её знал, и на некоторое время пришлось взять на себя роль „учителя“; обоим нам было весело: мне — объяснять, ему — познавать».

Итогом их совместной работы стал так называемый эквиритмический перевод восьми стихотворений Шиллера, Гёте, Рюккерта и других поэтов, положенных на музыку Шубертом. Заболоцкий не раз приезжал к Юдиной домой, причём неизменно был точен, и они прилежно преодолевали тонкости технически сложного перевода песенного текста. В перерывах пианистка играла поэту Бетховена, реже — Баха. (Известное его стихотворение 1946 года «Бетховен» отчасти связано с этими домашними музыкальными концертами.) «Я имела счастье тогда, — впоследствии вспоминала она, — многократно слушать чтение Заболоцкого своих стихов... <...> читал он мне тогда и „Лодейникова“, и многое другое, и „Слепого“; говорил о своём любимом Сковороде». Во вкусах они сходились: оба любили Тютчева и Хлебникова, оба прохладно относились к Маяковскому. Юдина подарила Заболоцкому несколько томов Пушкина и Хлебникова — «...всё это его радовало, а радостью так долго судьба его не баловала...».

У Марии Вениаминовны были и дальнейшие планы совместной работы, они были связаны с переложением на русский кантат Баха, романсов и песен Брамса, современных композиторов. Но поэта всё это не увлекло: эквиритмический перевод стал раздражать его своими тесными и требовательными рамками. «Видимо, нечто чуждое было как во мне, так и в самой работе — для Заболоцкого непреодолимое, — вспоминала М. В. Юдина. — И хотя, повторяю, ничего негативного ни разу не было Николаем Алексеевичем высказано и, учитывая его прямоту и правдолюбие



— и не подумано, при первом ярком ином зове — он нас, сиречь меня, Шуберта, музыку, „старых немцев“, и покинул. Его похитили у нас грузины».

Вскоре он действительно с головой ушёл в переводы грузинской поэзии...

Как такую ежедневную многочасовую нагрузку можно было совмещать с собственными стихами? Муза требовательна и капризна — поэзии нужна полная свобода.

В письме Николая Заболоцкого Ирине Томашевской от 8 августа 1946 года есть важные признания. Наверное, Ирина Николаевна попросила у Николая Алексеевича тексты его стихов — возможно, за неимением у себя его сборника или же зная, что в его прежних тонких книжках напечатано далеко не всё. Отказать ей поэт, конечно, не мог — но с ответом тянул:

«Вы, вероятно, решили, что я не исполню своего обещания и не напишу Вам. *Действительно, переписывать свои стихи — занятие для меня не из приятных, тем более что я не нахожу в них того, что хотел бы сказать в стихах* (здесь и далее курсив мой. — В. М.). Это обстоятельство задержало письмо. Но стихи кое-как перепечатали на машинке — не посетуйте за это на меня и простите за лень и невнимательность».

Старые стихи — Заболоцкого уже не устраивают. (Впрочем, отношение к собственным стихам у поэтов может быть весьма и весьма изменчивым: сегодня нравятся, а завтра нет.) Заболоцкому явно неприятно даже упоминать о своих стихах — и он тут же сворачивает разговор на переводы. Подробно отчитывается, что «довольно порядочно поработал» в Переделкине и перевёл с грузинского и узбекского, ещё и поэму Антала Гидаша с венгерского, да ещё — закончил работу над «Словом о полку Игореве», которое пойдёт в десятой книжке «Октября».

Но вот, словно бы вскользь, — о главном:

*«Своих стихов не пишу и не знаю, как их нужно писать».*

Что такое — не знаю?

Это он-то не знает, у кого во главе угла — ум, разум, сознание (то есть сопричастность знанию вообще — планетарному, космическому знанию жизни, которое всё постигает без слов, до слов, которому слова — только ключи, иероглифы смысла, знаки, определяющие суть явлений)?!

Уж кто-кто, а Заболоцкий всегда знал, как нужно писать стихи, коль скоро даже для шутивого экспромта в пересыльной тюрьме — «Балладе о баланде» — потребовал от соавторов сначала твёрдого плана, а уж потом согласился на совместное сочинительство.

Стало быть, признание Заболоцкого значит что-то иное — и, скорее

всего, то, что отныне, если и не главенствует, то на равных правах наличествует в его творчестве, вместе с логикой, разумом, сознанием, некая поэтическая стихия, которая и определяет всё остальное. Эта стихия отнюдь не отменяет сознания — она направляет его в поисках новой формы выражения, то есть в конце концов расширяет сознание.

Больше в письме Ирине Томашевской ни слова о стихах. Так, кое-что о быте, о настроении. Семья живёт благополучно. Переделкино — очень по душе. «Здесь хорошо работается, и милая московская природа так успокаивает душу. В город я стараюсь ездить как можно реже, что, впрочем, не всегда удаётся».

Одно неясно: переписал ли поэт для Томашевской те несколько стихотворений, что появились у него весной 1946 года?

*«Своих стихов не пишу...»*

Между своей лирикой и читателем он, вероятно, стал всё больше ощущать некую преграду. Густое, непроглядное, тяготеющее облако, — условно говоря, это была цензура. Волна весеннего вдохновения, вызванная возвращением к поэзии, очень скоро натолкнулась на это невидимое и тяжкое препятствие, — и теперь, после многолетней неволи, он чувствовал его с обострённой и болезненной остротой.

«...Забываясь о будущем поэта, друзья, и в первую очередь Н. Л. Степанов, стали ему настоятельно советовать написать что-нибудь такое, что можно было бы сразу напечатать и тем самым упрочить своё официальное положение в литературе, — пишет Никита Заболоцкий. — <...> Симон Чиковани, прекрасный грузинский поэт, тогда ли или позднее, ссылаясь на свой опыт, говорил, что у каждого поэта должны быть „стихи-паровозики“, с помощью которых можно было бы проталкивать в книжку или журнальную подборку свои лучшие стихотворения.

Вопрос о приспособлении своих литературных интересов к официальным требованиям был для Заболоцкого мучителен. Он понимал, что в создавшихся условиях друзья были правы, и, конечно, мог без особого напряжения написать такое стихотворение, которое принял бы к печати любой журнал. Но если писать с заранее заданной себе конъюнктурной целью, можно ли написать подлинное произведение и не будет ли это изменой самому ценному, что у него есть, — поэтическому призванию? В своё время в Ленинграде он написал два-три стихотворения специально для публикации в газетах и тогда уже понял, что они получились чужими, слабыми».

Как и тогда, действительность требовала от поэта отдать поклоны невидимому божку. Однако после вдохновенных стихов, что появились

весной 1946 года, сделать это было совершенно невозможно.

Поэту Семёну Липкину запомнилось, как однажды Николай Заболоцкий сказал ему: «Не буду предлагать редакциям оригинальные стихи, буду публиковать только переводы». Липкин повествует:

«Эти слова он сказал после одного эпизода, о котором я ещё расскажу, но всё же я полагаю, что то была минутная вспышка, я убеждён, что Заболоцкий не только сознавал истинность своего призвания, но и упорно верил в то, что его поэзия нужна людям, нужна для того, чтобы их радовать и учить. В этом смысле он достойный продолжатель великой русской поэзии, чей учительский, проповеднический характер общеизвестен.

Вскоре после того как Заболоцкий вернулся из Казахстана и получил вместе с семьёй временное пристанище в Подмоскovie, я познакомил его с одним поэтом, весьма искусным и тонким мастером. Заболоцкий выслушал его стихи, а потом сказал мне: „Он работает как слепой“.

Я не раз мысленно возвращался к этой фразе. Хотел ли Заболоцкий сказать, что поэт должен мыслить рационально, знать наперёд свои возможности, видеть ясно предметы, подлежащие описанию? Нет, понял я, Николай Алексеевич хотел от этого поэта ясного понимания своей художнической цели, хотел, чтобы тот с помощью слов создавал существо жизни, а не умножал литературные образцы, хотя и безупречного вкуса».

Несомненно, после возвращения в литературу, которое началось с обнародования перевода «Слова о полку Игореве», Заболоцкий и перед самим собой как поэтом поставил задачу ясного понимания своей новой художнической цели и до полного её решения не хотел являться со своими стихами к читателю. Тем более что и стихи его опять явно выбивались из ряда отобюролизированных рифмованных шеренг.

## Проверки на дачах

Одним из оргвыводов, последовавших за постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», стала смена руководства в Союзе советских писателей: вместо Николая Тихонова генеральным секретарём союза был избран Александр Фадеев.

Начинал Фадеев как даровитый прозаик, написал два романа. Но постепенно, заняв руководящие посты в РАППе, а затем в Союзе писателей, сделался больше *начальником*, чем *художником слова*, — говоря словами Ильи Ильфа («Я не художник слова, я начальник»). При этом по-настоящему знал и любил литературу. Личная писательская трагедия Фадеева состояла в том, что он, так сказать, бросил свой талант на алтарь общественного служения (если, конечно, оное можно назвать алтарём). По долгу службы Александру Александровичу порой приходилось десницей карать изрядного (вышедшего из ряда) писателя, а шуйцей — идущей от сердца — ему же помогать. Ведала ли его правая рука, что творит левая? Пожалуй, что — да.

Про судьбу Николая Заболоцкого Фадеев знал: ему уже приходилось помогать жене заключённого поэта; стихи его — ценил. К тому же Заболоцкий отбывал наказание на Дальнем Востоке — а это был край детства и юности Фадеева, там в молодости он сражался в рядах красных партизан на Гражданской войне...

Когда Николай Алексеевич оказался в одном с ним писательском посёлке Переделкино, Александр Александрович потянулся к нему: ему хотелось узнать о дальневосточных новостях, послушать стихи, понять, что Заболоцкий за человек. Соседи-писатели свидетельствуют, что генеральный секретарь Союза советских писателей в то время не раз заходил на дачу Ильенкова, чтобы побеседовать с Николаем Заболоцким. Вообще говоря, Фадеев имел привычку *совершать обход писательских дач* (как это его свойство определял Николай Чуковский) и при этом обходе порой где-нибудь «надолго застревал»...

Одну из таких встреч двух писателей красочно описал в своих литературных воспоминаниях Николай Корнеевич Чуковский:

«Однажды, во вторую половину дня, уже поздней осенью, у меня на даче сидели Заболоцкий и Липкин. Они сошлись у меня случайно и уже собирались уходить, как вдруг на крыльце загремело и в комнату вошёл Фадеев. <...>

На нашу дачу заходил он и в летние месяцы, когда в ней жили мои родители, и в осенние, в зимние, когда в ней оставался только я со своей семьёй. Отец мой, непьющий, всегда на случай этих посещений держал в буфете поллитровку. Фадеев заходил невзначай, по-соседски, без делового повода, держал себя непринуждённо, со всеми наравне, и мы любили его, хотя ни он сам, ни мы ни на минуту не забывали, что он — начальство.

Общество тридцатых и сороковых годов было прежде всего иерархично, и в этой строжайше соблюдаемой иерархии он стоял несравненно выше и нас, и подавляющего большинства остальных людей. К этому времени я уже хорошо знал его. Он был человек редкой красоты и обаяния, в каждом слове которого поблёскивали и ум, и талантливость; так и хотелось довериться ему, до конца отдаться его очарованию, и я отдавался бы, если бы меня не смущали жёсткие нотки, иногда проскальзывавшие в его речах и смехе. Да и кроме того мы все слишком зависели от него, чтобы любить его чистой, беспримесной любовью. От него зависели пайки, которые мы получали тоже по строго иерархическому принципу, от него зависело распределение жилья, которого у нас не было, и возможность печататься, которая была столь узка, и Сталинские премии, и строго нормированная газетная слава, и вообще вся та оценка твоей личности, от которой полностью зависели и ты сам, и твоя семья. Поэтому даже против воли эти добродушнейшие соседские посещения имели привкус начальнического надзора.

Когда он вошёл на этот раз, мне подумалось, что он явился ради Заболоцкого. Так и оказалось, — он объяснил, что заходил на дачу к Заболоцкому и, узнав, что Николай Алексеевич у меня, зашёл ко мне. Мы все уселись вокруг стола, жена поставила на стол поллитровку и пошла жарить мясо на закуску. Я уже хорошо знал обыкновения Фадеева и сразу послал сына за второй поллитровкой. Заболоцкий принял тот степенный и важный вид, который у него всегда бывал при посторонних. Фадеев был шутлив, весел, говорлив, но говорил всё о незначительном, случайном, как бы нащупывая почву. После двух-трёх первых рюмок он попросил Заболоцкого почитать стихи.

Николай Алексеевич всегда охотно читал свои стихи, если его просили. На этот раз он читал обдуманно, с выбором. Лицо его несколько оживилось, он всегда интересовался тем, какое впечатление производят его стихи на слушателя. Фадеев слушал внимательно, поворачивая великолепную седую голову, великолепно сидевшую на великолепной шее. Свои чувства он выражал, похохатывая высоким голосом. Стихи ему нравились, он похвалил их, но, в сущности, сдержанно. После стихов он

стал спрашивать Заболоцкого о его жизни. Николай Алексеевич отвечал скупой, ни на что не жалуясь и ничего не прося.

Потом произошло то, что происходило обычно, когда Фадеев приходил и засиживался. Сын мой снова был отправлен за бутылкой. Речь Фадеева превратилась в монолог, который невозможно ни запомнить, ни передать. Он говорил о Тургеневе, вспоминал сцены из его рассказов. Он читал стихи Баратынского, некоторые пел. Он пел сибирские партизанские песни. Он рассказывал о писателях — соседях по переделкинским дачам. И пил водку большими стопками. Я помню, он сказал однажды кому-то:

— У него нормальное отношение к еде: как к закуске.

Но сам он пил, почти не закусывая. Было страшно смотреть, сколько водки он в состоянии поглотить. Пьянел он медленно, лишь лицо его постепенно краснело и от этого становилось ещё красивее под седыми волосами. Речи его не делались сбивчивыми, но в них появлялись трагические и даже жалобные нотки. На что он жалуется, нельзя было понять, он, казалось, хотел сказать нам: я не такой, как вы думаете, я такой же, как вы. И оставалось ощущение исполинских бесцельно растрачиваемых сил, и становилось жалко его. Мы-то думали, что он человек, творящий законы времени, а он ещё больше раб этих законов, чем мы.

Между тем шли часы, и давно уже была глухая ночь. Сыночек мой, ещё два раза бегавший за водкой — к соседям, — давно уже спал. Мы с женой попеременно засыпали на стуле, — то она заснёт, то я. Заболоцкий два раза уходил домой и возвращался. Липкин тоже полулежал часа два на диване, потом вернулся к столу. Один только Фадеев не проявлял ни малейших признаков утомления. Монолог его не прекращался, напротив, становился ещё более воодушевлённым. Он читал наизусть стихи Некрасова, восхищаясь до слёз. Потом стал рассказывать, как арестовали одну женщину, близкого его друга, и как он старался спасти её и ничего не мог сделать. <...> Рассказывая о своих бесплодных попытках отстоять её, он вдруг зарыдал, опустив седую голову на стол, на руки.

Наконец, в пятом часу чёрной декабрьской ночи, он поднялся, чтобы уйти. Его качало, и стало страшно, что он свалится на дороге и никуда не дойдёт. Мы с Липкиным решили пойти с ним и довести его до его дачи... <...> едва свернули за угол на дорогу, ведущую к его даче, как он вдруг ожил. Ноги его окрепли, он вырвал руки и объявил, что дальше пойдёт один. Мы ни за что не хотели бросать его на полдороге в таком состоянии и настаивали, что доведём его до дверей. Но он остановился и упорно, даже с ожесточением гнал нас. Мы не привыкли спорить с начальством, да, кроме

того, и сами были пьяны и очень устали. Попрощавшись, мы разошлись.

Прошло два дня, мы сидели с женой и детьми за ужином, как вдруг к нам постучали. Я вышел на крыльцо и увидел жену Фадеева А. И. Степанову и её сестру. С величайшим изумлением я узнал от них, что Фадеев до сих пор домой не вернулся. <...>

Через несколько дней как-то утром я встретил Фадеева на одной из переделкинских тропинок. Он был свеж, статен, подтянут, весел, высоко нёс гордую голову. Остановив меня, он стал расспрашивать о романе, который я тогда писал.

— Какая радость — писать роман! — сказал он. — Месяцами, годами живёшь с одними и теми же героями, ждёшь, что они сделают дальше, а делают они всегда неожиданное.

В разговорах со мной — и со многими другими — он часто жаловался, что должность генерального секретаря Союза писателей и члена ЦК партии мешает ему писать. <...> Я знал, что жалуется он совершенно искренне, но знал также, что отраву власти, могущества, первенства сидит в нём настолько сильно, что у него никогда не хватит духа от неё отказаться. Знал я и то, что власть его иллюзорна, что для того, чтобы не потерять её, он должен беспрестанно угадывать волю вышестоящих и выполнять её наперекор всему, не останавливаясь перед любой несправедливостью.

— Какой твёрдый и ясный человек Заболоцкий, — сказал он мне. — Он не развалился, не озлобился. На него можно положиться.

И тут я понял, что Николай Алексеевич прошёл проверку благополучно».

...Когда, за несколько лет до этого, Екатерина Васильевна Заболоцкая приходила к Фадееву просить за мужа, он изучил его дело и решил: не виновен. Но вот заключённый вышел на свободу — и Фадеев снова его проверял. По принципу: доверяй, однако проверяй. И проверял он теперь не только Заболоцкого, но и себя: а вдруг в первый раз ошибся и поэт действительно враг? Универсальный принцип! *Семь раз отмерь...* Стихи стихами, литература литературой... — но, может, и затем, чтобы *верно отмерить*, не ошибиться, писательский генсек и заходил несколько раз в гости к недавнему официальному врагу народа.

Вот какую проверку на самом деле прошёл Николай Заболоцкий, а вместе с ним и сам Александр Фадеев. Отныне, после личного знакомства, он всегда решительно помогал поэту: в печатании стихов, в быту — и поддерживал его в литературной борьбе, где завистники и церберы-критики готовы были снова и снова топтать Заболоцкого.

## **Глава девятнадцатая**

# **НОВАЯ СТАРАЯ КОЛЕЯ**



## Творец дорог

О встречах Заболоцкого с Фадеевым, кроме Николая Чуковского, кратко повествует Николай Степанов. Он оговаривается: сам при этом не присутствовал, но Николай Алексеевич не раз ему рассказывал о них. Его друг, свидетельствует Николай Леонидович, всегда относился к Фадееву с благодарным уважением:

«Из этих рассказов мне запомнился рассказ об одном из первых посещений Фадеева, ещё на даче Ильенкова.

Фадеев пришёл невзначай и попросил Ник. Ал. прочесть стихи. Он с большим вниманием слушал их, но особенно поразило его стихотворение „Слепой“. Прослушав его, Фадеев расплакался...»

Никита Заболоцкий в раннем очерке об отце (1973) писал: хотя Фадееву понравилось прочтённое Заболоцким, он сказал, что такие стихи, как «Слепой», несвоевременны. Конечно, биограф поэта, будучи в 1946 году ещё подростком, вряд ли был прямым свидетелем разговора взрослых, тем не менее он мог позже узнать от родителей подробности. В книге «Жизнь Н. А. Заболоцкого» этот эпизод значительно развёрнут:

«Фадеев поинтересовался, чем сейчас занимается Николай Алексеевич, что пишет. И тот стал читать свои новые стихотворения и переводы. Александр Александрович слушал внимательно, стихи ему явно нравились. Когда уже в конце чтения он услышал „Слепого“, на его непроницаемом, волевом лице показались слёзы. Он долго молчал, как будто перебарывая что-то в самом себе, и потом сказал тоном, который совсем не соответствовал доверительному характеру всей беседы:

— Такие стихи мы сейчас печатать не будем. Может быть — когда-нибудь в будущем, через много-много лет.

После паузы спросил:

— А почему вы, собственно, пишете „я такой же слепец с опрокинутым в небо лицом“? Как вы можете в нашем обществе и в наше время сравнивать себя со слепым?

Заболоцкий не стал объяснять, что все мы бываем слепы в предвидении своей судьбы и в проникновении в великие тайны природы. Он помрачнел, на вопросы Фадеева не ответил и заговорил о другом».

Вполне вероятно, всё так и было. Ведь *при Фадееве* те прекрасные стихи Заболоцкого, которые он написал весной 1946 года, действительно не вышли. «Утро», «Бетховен», «Уступи мне, скворец, уголок» появились в

печати только в 1956 году, «Слепой» — в 1957-м. Стихотворения «Читайте, деревья, стихи Гезиода» и «В этой роще берёзовой» поэт при жизни не увидел напечатанными — одно было опубликовано лишь в 1960-м, другое — в 1959 году...

В начале зимы 1946 года вышла очередная книжка журнала «Октябрь» с переводом «Слова о полку Игореве», — и Николай Заболоцкий — спустя девять лет вынужденного молчания — снова вернулся к читателю. Но только — как переводчик. Для полного возвращения в литературу надо было появиться с оригинальными стихами.

На лирике, понятно, был поставлен крест: генеральный секретарь Союза советских писателей добросовестно исполнял установки партии, тем более после идеологического разгрома двух ленинградских литературных журналов и исключения *из рядов* Ахматовой и Зощенко. При всём желании быстрее вернуть своё писательское имя Николай Заболоцкий всё же не мог заставить себя угодливо ремесленничать и наскоро мастерить *стишки-паровозики* для проталкивания настоящих произведений. Поэт решил вновь обратиться к жанру героических од, которые он писал в канун своего ареста десять лет назад. Так и появились в 1947 году поэма «Творцы дорог», многоплановое стихотворение «Город в степи», а также короткие стихи «Начало стройки» и «В тайге». К ним тематически примыкает начало поэмы «Урал», оставшейся недописанной.

Как обычно у Заболоцкого, всё сделано крепко — но произведениям этим всё же далеко до его поэтических вершин. Стихи предназначались для публикации, — а значит, заранее были обречены. Полной правды не скажешь: в тогдашней советской печати не было и намёка на подневольный труд заключённых. А что без правды стихи! — так... рифмы. Никакое мастерство не в силах подменить собой художественную истину. Иносказания и недомолвки превращают действительность в её призрак; правдивые детали, при всём своём обилии, тонут в риторике, искажающей суть явлений:

Есть в совокупном действии людей  
Дыханье мысли вечной и нетленной:  
Народ — строитель, маг и чародей —  
Здесь встал, как вождь, перед лицом вселенной.  
Тот, кто познал на опыте своём  
Многообразно-сложный мир природы,  
Кого в горах калечил бурелом,  
Кого болот засасывали воды,

Чья грудь была потрясена судьбой  
Томящегося празднo мирoзданья,  
Кто днём и ночью слышал за собой  
Речь Сталина и мощное дыханье  
Огромных толп народных, — тот не мог  
Забыть о вас, строители дорог.  
(«Творцы дорог». 1947)

Сколько тут всего намешано: и риторики, и правдивого, и натурфилософии!.. Но стихи-то — в целом слабые, рассудочные. Поэзия в них и не просверкнула...

Эти *огромные толпы народные* — проще говоря, сотни тысяч эков — и вправду трудились «далеко от родимого края», но народный ли приказ они исполняли? Они в самом деле шагали «через тундры и горы», «...сквозь топи болот, / Сквозь глухие лесные просторы», но разве они шли — «не ведая страха»?

К чему эти «высокие» слова:

Чтобы в царстве снегов и туманов  
До последних пределов земли  
Мы подобно шеренге титанов  
По дороге бессмертия шли!

Да, шеренга действительно была — но лагерная, и *титаны* шли — под конвоем; *дорога бессмертия* же была устлана павшими от непосильного труда, недоедания и болезней...

Вениамин Каверин потом заметил в своём «Эпилоге», что Заболоцкий написал «произведение о доблести труда, не упомянув ни словом о том, что это был рабский, подневольный труд. Не думаю, что ему легко далось стихотворение „Творцы дорог“».

Всё правильно: изначально предполагая пройти цензуру и напечатать свою поэму, Заболоцкий — как поэт, от которого всё-таки ждут поэзии, — пытался исполнить неисполнимое, решить задачу, решения которой нет.

Однако заметим одно обстоятельство: Заболоцкий не столько воспеваeт *доблесть труда*, не столько героизирует безымянных тружеников, сколько — с небывалым упорством — пытается отстоять от забвения *достоинство работы*, проделанной заключёнными, которых в

тогдашней жизни страны вроде бы и не существовало, которые были превращены в общественном сознании в людей-призраков. То есть он, верный своей совести, а также и своей натурфилософии, пытается *очеловечить природу несправедливости*, распространившую свои дикие законы на людей.

Несмотря на все цензурные препоны времени, пропагандистские установки и многопудовую ложь полного умолчания о судьбе безгласных подневольных тружеников, поэт всё же отстаивал их достоинство и немалую роль в общем труде страны. Недаром окончание поэмы звучит с такой силой, искренностью и торжеством:

Рожок гудел, и сопка клокотала,  
Узкоколейка пела у реки.  
Подобье циклопического вала  
Пересекало древний мир тайги.  
Здесь, в первобытном капище природы,  
В необозримом вареве болот,  
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,  
Срываясь с круч, мы двигались вперёд.  
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,  
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,  
Но всё, что здесь до нас лежало втуне,  
Мы подняли и вынесли на свет.  
В стране, где кедрам светят метеоры,  
Где молится берёзам бурундук,  
Мы отворили заступами горы  
И на восток пробились и на юг.  
Охотский вал ударил в наши ноги,  
Морские птицы прянули из трав,  
И мы стояли на краю дороги,  
Сверкающие заступы подняв.

## Уроки правописания

Этого-то достоинства и не могли простить Заболоцкому идеологический конвой и его сторожевая литературная критика, натасканная на авторов, выбивающихся из строя.

Вскоре после выхода журнала «Новый мир» (1947, № 1) с первой после 1938 года публикацией стихов поэта «Литературная газета» в лице критика А. Макарова обрушилась на поэму «Творцы дорог»:

«Не будем останавливаться на интересной, идейно значительной поэме А. Недогонова „Флаг над сельсоветом“ (№ 1), уже получившей положительную оценку в нашей печати.

Поэма „Творцы дорог“ Николая Заболоцкого (№ 1) тоже посвящена ответственной теме труда — строительству дороги через тайгу и горы к океану. Но тема эта не нашла в поэме художественно верного выражения. Тех пламенных порывов чувств и воображения, которые составляют главную прелесть поэмы А. Недогонова, здесь нет и в помине. Поэма Н. Заболоцкого лишь претендует на изображение трудового подвига советских людей.

При всей внешней красивости и метафорическом богатстве поэма холодна. Говоря о людях, поэт впадает в риторику. Там же, где он изображает действие аммонала, „сверкающий во прахе, подземный мир блистательных камней“, или насекомых, он восторженно патетичен».

Тут многое передёрнуто — ибо никто, по мнению критика, не смеет «помещать» в стихи вровень с советским человеком всякие там камни и насекомых.

Приведя короткий лирический отрывок о звёздной ночи, А. Макаров, с высокомерной брюзгливостью в тоне, заключает: «В этом отрывке с неприятной наглядностью обнаруживаются недостатки поэмы: её манерность и сугубая литературность (гётевское „пенье сфер“, извлечённые из ветхозаветного поэтического словаря „Лилеи“, „сонные гитары“, „хор цветов“), наконец, декадентская поэтизация „твари земной“».

И всё — разговор окончен: серьёзного разбора поэмы Заболоцкий, не по своей воле молчавший целое десятилетие, оказался недостоин.

Никита Заболоцкий в своей книге пишет, с каким волнением ждали Николай Алексеевич и его друзья откликов на эту публикацию. И вот чего они дождались...

«Читая статью дальше, Заболоцкий вновь увидел своё имя и, уже не

ожидая ничего хорошего, пробежал глазами разбор стихотворения П. Семынина „Окраина“. Разбор, как разгром, завершился словами: „Да это же приёмы прежнего Н. Заболоцкого, выпустившего когда-то юродствующую книжку, где, изображая новый быт, он всячески снижал его приёмами смешения высокого и низкого. Стихи П. Семынина — это уже вредное эпигонство, пасквиль на нашу действительность“.

В этих словах Николаю Алексеевичу почудились нешуточная угроза и зловещее предупреждение, которые охладили душу, так живо напоминая критические проработки начала 30-х годов. Теперь-то поэт знал, к чему они могут привести».

Заболоцкого поддержал Фадеев. Выступая с докладом на XI пленуме правления ССП СССР (1947), он отметил стихи Николая Заболоцкого в «Новом мире», «посвящённые нашему строительству, основной теме дня».

Но в «Литературной газете» потом ещё раз прошлись по поэме «Творцы дорог». Критик Д. Данин пенял автору, что он не раскрыл живых человеческих характеров строителей:

«В торжественной картинности и холодном риторическом пафосе „Творцов дорог“ Николая Заболоцкого нельзя обнаружить ни тени живого интереса к человеку. Человек — не функция, а живая душа — только подразумевается в этой выпренной поэме, построенной с безукоризненной точностью и рассчитанными эффектами».

Наверное, Д. Данин был осведомлён о недавнем прошлом Николая Заболоцкого и хорошо понимал, какие «живые души» подразумеваются в поэме. Знал и о негласном запрете на любые упоминания о заключённых в печати. Тем не менее — поучал...

Так советская печать одёргивала тех, кто пытался хотя бы косвенно упомянуть о судьбах изгоев, о «лагерной пыли», которую надлежало развеять без всякой памяти о ней.

## Верный человек

Прозаики — народ въедливый, дотошный: их мёдом не корми — дай влезть в чужую душу, выведать её тайны, понять подноготную. Это у них — профессиональное. Тем любопытнее итоги их наблюдений и догадок.

При всей своей любви и уважении к Заболоцкому, человеку и поэту, Николай Чуковский, конечно же, ещё и изучал его — вольно или невольно. Что-то, без сомнения, ему удалось понять, почувствовать. В Переделкине Чуковский поначалу посмеивался над соседом: никак не желает «ходить гулять», и даже стыдил его за то, что тот ни разу не побывал в лесу, не прошёлся по берегу речки.

«— Вы как Фет, — сказал я ему однажды. — Он тоже, как вы, был страстный изобразитель природы и не любил на неё смотреть.

И я рассказал ему, что когда Фет приехал в Неаполь, друзья сняли ему комнату с великолепным видом на Неаполитанский залив и Везувий, думая, что поэту, изобразителю природы, этот вид доставит особенное удовольствие. Но Фет завесил своё окно плотной шторой и так ни разу и не отодвинул её.

Заболоцкий выслушал мой рассказ угрюмо. Он сказал, что Фет был плохой поэт, хотя и не любил Неаполитанского залива.

Николай Алексеевич терпеть не мог Фета, как и многих других поэтов, с детства меня восхищавших. От этого между нами возникали постоянные ссоры, доходившие до настоящей ярости. Я отстаивал Фета с бешенством. Я читал ему фетовское описание бабочки:

Ты прав: одним воздушным очертаньем  
Я так мила,  
Весь бархат мой с его живым миганьем —  
Лишь два крыла.

Выслушав, он спросил:

— Вы рассматривали когда-нибудь бабочку внимательно, вблизи? Неужели вы не заметили, какая у неё страшная морда и какое отвратительное тело.

Нет, обольстить его Фетом было невозможно. Ни Фетом, ни Яковом Полонским, ни Некрасовым, ни Сологубом, ни Ходасевичем, ни

Ахматовой, ни Маяковским. Отношение его к Блоку до такой степени раздражало меня, что мы годами не упоминали в наших разговорах этого имени. Зато и обожаемого им Хлебникова я поносил, как мог. Я утверждал, что Хлебников — унылый бормотальщик, юродивый на грани идиотизма, зелёная скука, претенциозный гений без гениальности, услада глухих к стиху формалистов и снобов, что сквозь стихи его невозможно продаться, и так далее в том же роде. Он слушал меня терпеливо, ни в чём не соглашаясь. Наши симпатии сходились на Тютчеве и Мандельштаме.

Во вторую половину жизни — после лагерей — он выше всех других русских поэтов ставил Тютчева. Он знал его всего наизусть и считал единственным недосыгаемым образцом. Огромное воздействие Тютчева на стихи Заболоцкого последнего десятилетия его жизни неоспоримо.

В творчестве Заболоцкого за его жизнь произошла огромная эволюция. Литературные же вкусы его, симпатии и антипатии, эволюционировали гораздо медленнее. В стихах Заболоцкого, написанных за последние пятнадцать лет его жизни, самое пристальное исследование не обнаружит ни малейшего влияния Хлебникова. Однако до конца дней своих он продолжал утверждать, что Хлебников — величайший поэт двадцатого века. Я часто приписывал это его упрямству. Пожалуй, упрямство — не то слово. *Он был на редкость верный человек — верный во всех своих приятнях и неприятнях* (курсив здесь и далее мой. — В. М.). Заставить его изменить сложившееся мнение было нелегко. Иногда в наших спорах мне начинало казаться, что в глубине души он со мною согласен, но не хочет, чтобы я об этом догадался. Впрочем, может быть, я ошибался».

И чуть далее, после столь же подробных наблюдений:

«Ожесточённые мои споры с Николаем Алексеевичем никогда не отражались на наших личных отношениях. *Этот добрый, справедливый, верный человек был терпим к любому мнению. Он был прекрасным другом своих друзей, хотя душевное целомудрие никогда не допускало его до дружеских излияний. Привязавшись к кому-нибудь, он привязывался навсегда, до конца.* Такими вечными привязанностями его были и Хармс, и Введенский, и Олейников, и Евгений Шварц, и Каверин, и Степанов, и Ираклий Андроников, и Симон Чиковани, и Антал Гидаш, и в последние годы Эммануил Казакевич, Борис Слуцкий. С Тихоновым он расходился во вкусах и мнениях, но питал к нему глубокую признательность, которую не могло поколебать ничто».

Самые близкие друзья Заболоцкого, друзья молодости, погибли; лишь с ними он когда-то мог говорить с полной свободой выражения и натуры, с вольной шуткой, издевательски-парадоксально — на той высокой ноте



воображения, что одновременно граничит и с безумием, и с откровением. Последним собеседником, в чём-то ему равным и родственным по духу, был Евгений Шварц. Он остался в Ленинграде. Встречи с Евгением Львовичем были для Заболоцкого особым праздником. Оба одинаково любили побалагурить, поточить язычок, что-то сочинить на ходу в рифму; обоим было что вспомнить о прошлом.

Никита Заболоцкий вспоминает, как 24 ноября 1946 года к ним в Переделкино приехали Шварцы: Евгений Львович с женой Екатериной Ивановной. «Шварцы привезли невиданное для той поры лакомство — огромного гуся. В тот день сначала у Заболоцких, потом у Н. К. и М. Н. Чуковских ели и пили, вспоминая давние довоенные времена, говорили о нынешних событиях, радовались новым стихам Николая Алексеевича». Но праздник общения скоро закончился; оставался обмен письмами. Многие ли скажешь в письме — почте не очень-то доверяли... Но вот одно из посланий, написанное Заболоцким через год, 14 декабря 1947 года, и, как видно, в предновогоднем настроении, — Шварцы бережно сохранили его, и вполне понятно почему. (Кстати, это письмо Заболоцкий не доверил почте — его передала Шварцам жена поэта, ездившая тогда в Ленинград.) «Милые друзья Евгений Львович и Катерина Ивановна!

И обнимаю Вас, и целую Вас, и куда Вы девались, и почему о Вас ничего не слышно? И что нам теперь делать, если Вы нас больше не любите, и куда нам теперь деваться, если Вы нас больше не уважаете? И с кем я теперь выпью свою горькую рюмочку, когда нет коло меня милого друга Женички, когда не сидит супротив меня милый друг Катенька? А пойду-ка я, старый сивый чёрт, во тёмный лес, а кликну-ка я, старый сивый чёрт, зычным голосом: — Вы идите ко мне, звери лютые, звери лютые членистоногие, членистоногие да двоякодышущие, да поглядите-ка вы, звери, в ленинградскую сторонушку, да заешьте-ка вы, звери, милого друга Женичку, милого друга Женичку со его любезной Катенькой!

Тот Женька-плут  
Умком востёр,  
Умком востёр  
Да блудить мастёр!

Всё с актёрками Женька путается,  
Со скоморохами Женька потешается,  
Со гудошниками Женька водку пьёт,  
Водку пьёт да в долони бьёт!

А уж время ему, старому мерину,  
От той забавушки очухаться,  
Очухаться, да раскумекаться,  
Да сказать ему, Женьке, таково слово:  
— Пойду-ка я, Женька, старый плут,  
Старый плут, горемычный сын,  
Во почтовое да отделение,  
Во советское наше заведение!  
Да возьму-ка я во резвы рученьки  
Золото пёрышко гусиное,  
Да напишу-ка, Женька, писулечку  
Своему другу Николаю Алексеичу  
Да тому ли господину Заболоцкому!  
Господин-то Заболоцкий во палатах, чать, сидит,  
Во палатах, чать, сидит да не ест, не пьёт,  
Обо мне, чать, Женьке, думу думает,  
Бородой трясёт да сокрушается.  
А подам-ка я, Женька, свою весточку,  
Уж как вскочит он на резвы ноженьки  
Да зачнёт он тую весточку прочитывать,  
Резвой ноженькой притоптывать, да приговаривать:  
— Знать, и впрямь я, сударик, Заболоцкий сын,  
Не дубовая колода, не еловый сук,  
Коли Женичка-дружок ко мне пописывает,  
Коли Катенька сахарную ручку прикладывает.

Да! Жди от вас! Напишите, когда рак свистнет.  
Целую Вас, беспутные друзья мои.  
*Ваш Н. Заболоцкий».*

То же самое горячее дружеское чувство видим мы и в других письмах Николая Алексеевича к чете Шварцев. Вот ещё одно послание, которое нельзя не привести (приуроченное к посылке только что вышедшей третьей книжки стихов):

*«12 сент. 1948. Москва.*

Милые Екатерина Ивановна и Евгений Львович!

Посылаю Вам с В. А. Кавериным мою *книжечку*, — читайте, не гуляйте, нехороших слов не говорите, автора худом не вспоминайте.

Написал бы лучше, да овёс дорог, животишки поослабли, в головке трясение. <...>

Прошёл тут слух, что в сентябре вы собираетесь в Москву, вот бы уж мы рады были, не вздумайте останавливаться где-либо, кроме нас: Беговая, д. 1а, корпус 29, кв. 1.

Но Вы народ северный, скажете и надуете.

Приезжайте, дорогие, вы знаете, как мы вас любим. Ножки будем мыть, воду будем пить, а уж доставим полное уледовлетворение. (Когда я был реалистом и объяснился в любви одной барышне, она мне ответила запиской: „Я не намерена уледовлетворять ваши низкие потребности“.)

Милые Шварцы, обнимаем и целуем вас и ждём в Москву. Катя целует.  
*Ваш Н. Заболоцкий.*

Детишки кланяются до боли в мозжечках».

Таких писем Заболоцкий не писал больше никому.

Шварцам он сочинял также в юбилеи дружеские шуточные стихи...

\*

Точно так же Заболоцкий был верен и тем, с кем прошёл испытания в неволе. И с той же верностью чтит память о тех безвинно осуждённых, кто не дожил до свободы: о крестьянах — жертвах насильственной коллективизации, о жертвах репрессий 1937–1938 годов. Именно этой памяти мы обязаны появлению одного из самых проникновенных и сильных его стихотворений — «Где-то в поле возле Магадана».

Как памятник Неизвестному Солдату — это памятник Неизвестному мученику лагерей.

Где-то в поле возле Магадана,  
Посреди опасностей и бед,  
В испареньях мёрзлого тумана  
Шли они за розвальнями вслед.  
От солдат, от их лужёных глоток,  
От бандитов шайки воровской  
Здесь спасали только околодок  
Да наряды в город за мукой.  
Вот они и шли в своих бушлатах —  
Два несчастных русских старика,  
Вспоминая о родимых хатах

И томясь о них издалека.  
Вся душа у них перегорела  
Вдалеке от близких и родных,  
И усталость, сгорбившая тело,  
В эту ночь снедала души их.  
Жизнь над ними в образах природы  
Чередой двигалась своей.  
Только звёзды, символы свободы,  
Не смотрели больше на людей.  
Дивная мистерия вселенной  
Шла в театре северных светил,  
Но огонь её проникновенный  
До людей уже не доходил.  
Вкруг людей посвистывала вьюга,  
Заметая мёрзлые пеньки.  
И на них, не глядя друг на друга,  
Замерзая, сели старики.  
Стали кони, кончилась работа,  
Смертные доделались дела...  
Обняла их сладкая дремота,  
В дальний край, рыдая, повела.  
Не нагонит больше их охрана,  
Не настигнет лагерный конвой,  
Лишь одни созвездья Магадана  
Засверкают, встав над головой.  
(1956)

Теперь, по общему признанию, это стихотворение — в первом ряду вершин русской классики.

Приведём лишь один отзыв о нём — автора, в общем-то далёкого от Заболоцкого.

Как-то, беседуя с историком современной культуры Соломоном Волковым, поэт Иосиф Бродский заметил:

— Я думаю, самые потрясающие русские стихи о лагерях, о лагерном опыте принадлежат перу Заболоцкого. А именно «Где-то в поле возле Магадана...».

Собеседник согласился:

— Да, это очень трогательные стихи.

— Трогательные — не то слово, — возразил Бродский. — Там есть строчка, которая побивает всё, что можно себе в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза: «Вот они и шли в своих бушлатах — два несчастных русских старика». Это потрясающие слова. Это та простота, о которой говорил Борис Пастернак и на которую он — за исключением четырёх стихотворений из романа и двух из «Когда разгуляется» — был всё-таки неспособен. И посмотрите, как в этом стихотворении Заболоцкого использован опыт тех же «Столбцов», их сюрреалистической поэтики:

Вкруг людей посвистывала вьюга,  
Заметая мёрзлые пеньки.  
И на них, не глядя друг на друга,  
Замерзая, сели старики.

Не глядя друг на друга! Это то, к чему весь модернизм стремится, да никогда не добивается...

На наш взгляд, Бродский совершенно точно восхищается тем, что достойно особенного восхищения. Только «Столбцы» и модернизм здесь ни при чём. Старики знают, что не дойдут, и понимают: если сядут на пеньки — очень скоро замёрзнут. Отчасти это — самоубийство... хотя какое там самоубийство, если никакого выхода уже нет. Просто позволили себе чуть передохнуть напоследок. Но ведь всё равно они стыдятся — будто бы какого-то греха, потому и не глядят друг на друга. Это — в крови, это — народное...

## Снова в Грузии

И вот самолёт — первый в его жизни самолёт.

Весна 1947 года, яркий и свежий московский май, аэропорт Внуково, рейс Москва — Тбилиси.

Восторг первого в жизни полёта в небе:

В крылатом домике, высоко над землёй,  
Двумя ревущими моторами влекомый,  
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,  
И облака, скользя, толпились подо мной.

Два бешеных винта, два трепета земли,  
Два грозных грохота, две ярости, две бури,  
Сливая лопасти с блистанием лазури,  
Влекли меня вперёд. Гремели и влекли. <...>

Павел Антокольский, один из спутников Николая Заболоцкого в той писательской поездке, потом точно заметил, насколько «первозданно и остро» выразил поэт свои новые ощущения в этом замечательном стихотворении, названном «Воздушное путешествие». Однако, чтобы понять Заболоцкого по-настоящему, надо вспомнить и то, что его переполняли сам *воздух свободы*, сам *отрыв* в высоту от земли. Ещё недавно, в течение семи лет, земля распластывала его в камерах за тюремной решёткой, на этапах, в тайге, в Кулундинской степи, среди угольных терриконов Караганды, — а теперь он летит над этой землёй и свободен!.. И ещё одно — самолёт был для него в этот момент олицетворением разумного устройства человеком природы и жизни в ней, — недаром именно в этом же 1947 году Заболоцким написано его программное стихотворение «Я не ищу гармонии в природе».

Лентообразных рек я видел перелив,  
Я различал полей зеленоватых призму,  
Туманно-синий лес, прижатый к организму  
Моей живой земли, гнезвился между нив.

Я к музыке винтов прислушивался, я  
Согласный хор винтов распределял на части,  
Я изучал их песнь, я понимал их страсти,  
Я сам изнемогал от счастья бытия. <...>

Он, пожалуй, и не замечал этих не самых музыкальных звуков —  
грохота, рёва и гудения моторов, — в нём всё пело, и звуки двигателей  
казались самой прекрасной музыкой.

Я посмотрел в окно, и сквозь прозрачный дым  
Блистательных хребтов суровые вершины,  
Торжественно скользя под грозный рёв машины,  
Дохнули мне в лицо дыханьем ледяным.

И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!  
И солнечный поток, прорезав тело тучи,  
Упал, дымясь, на кристаллические кучи  
Огромных ледников, и вспыхнул, и погас. <...>

Неспроста он ощутил себя тогда частицей вечного бытия, всей  
человеческой истории, запечатлённой поначалу легендами и мифами:

И далеко внизу, расправив два крыла,  
Скользило подо мной подобье самолёта.  
Казалось, из долин за нами гнался кто-то,  
Похитив свой наряд и перья у орла.

Быть может, это был неистовый Икар,  
Который вырвался из пропасти вселенной,  
Когда напев винтов с их тяжестью мгновенной  
Нанёс по воздуху стремительный удар.

И вот он гонится над пропастью земли,  
Как привидение летающего грека,  
И славит хор винтов победу человека,  
И Грузия моя встречает нас вдали.  
(1947)

Грузия была его любовью и его работой — здесь он начинал строить свою новую жизнь и отдыхать от прошлой. Ещё в феврале — марте Заболоцкий списался с Чиковани и договорился о ближайшем будущем своей переводческой деятельности. Он хотел «сделать всего Орбелиани», то есть подготовить книгу его переводов на русский. Старая книжечка переводов Рюрика Ивнева — весьма слаба, писал он, нужна новая: «Тогда русский читатель, наряду с Бараташвили в переводе Пастернака, имел бы ещё одного романтика, переведённого не случайно, но последовательно и с любовью». И сообщал: его идею одобрили в Гослитиздате. Но необходима поддержка и грузинских друзей. Николай Алексеевич напомнил, что тем самым он «двигает» и свою большую книгу переводов с грузинского, которую желал бы издать в Тбилиси, «если это дело у вас не заглохло».

Он прямо сказал, что от издательства «Заря Востока» ему нужен договор и аванс: «Пока же я работаю без договора, платонически, но усердно. <...> Но я должен сказать, дорогой Симон, что так работать мне трудно, если принять во внимание мою неустроенную жизнь. Несмотря на то, что перевод „Слова“ имеет хорошие отзывы, что стихи мои идут в „Новом мире“ и пр. — материально это меня мало устраивает и, если я не завяжу деловых связей с вами, мне будет трудно вести дело так, как надо».

Симон Чиковани в ту пору избирался в Верховный Совет страны. Как один из самых влиятельных деятелей грузинской литературы и как автор он был очень заинтересован в Заболоцком-переводчике. Не всё, что было намечено другом, ему удалось осуществить, но кое-что он сделал. В том же году в Тбилиси вышла книга Григола Орбелиани в переводах Заболоцкого — она стала его первой книгой после освобождения (через два года её переиздали в Москве). А сам Заболоцкий в 1947 году дважды побывал в Грузии: первый раз весной, в составе делегации московских писателей, второй раз — летом, когда вместе со всей семьёй около двух месяцев жил и работал в Доме творчества писателей «Сагурамо».

Той весной Николай Заболоцкий переживал душевный подъём — и такой, что его накала хватило на весь 1947 год.

Это особенно заметно по стихам.

Заболоцкий наскоро отделался от «обязаловки» — стихов *во славу социализма*, которых требовательно ждали от всех членов делегации московских поэтов: написал «Храмгэс» и «Пир в колхозе „Шрома“» — и принялся за настоящее, заветное, навеянное весенней поездкой.



Я твой родничок, Сагурамо,  
Наверно, вовек не забуду.  
Здесь каменных гор панорама  
Вставала, подобная чуду. <...>

Чудом была жизнь, и эта благословенная земля: горы, поросшие курчавым лесом, старинный храм на вершине, оленьи тропы, пение родника. И всё в его стихах — запело:

Здесь птицы, как малые дети,  
Смотрели в глаза человечьи  
И пели мне песню о лете  
На птичьем блаженном наречье.

И в нише из древнего камня,  
Где ласточек плакала стая,  
Звучала струя родника мне,  
Дугою в бассейн упадая.

И днём, над работой склоняясь,  
И ночью, проснувшись в постели,  
Я слышал, как, в окна врываясь,  
Холодные струи звенели.

И мир превращался в огромный  
Певучий источник величья,  
И, песней его удивлённый,  
Хотел его тайну постичь я. <...>

Симон Чиковани, хорошо знавший русского друга, считал, что из грузинских поэтов тот больше всех любил Давида Гурамишвили и Важа Пшавелу. Заболоцкий, по его мнению, любил грузинскую поэзию в единстве, в целом, восхищаясь её мудростью, простотой, богатством ритмов и интонаций и яркой живописностью образов. Прежде всех природных красот, именно поэзия сроднила Заболоцкого с землёй Грузии.

Всем запомнилось, как по дороге к Дому творчества поэт попросил водителя остановить машину у могилы Ильи Чавчавадзе, как он стоял в

молчании у обелиска из белого мрамора. Не потому ли дальше в стихотворении «Сагурамо» (1947) идут такие строки:

И спутники Гурамишвили,  
Вставая из бездны столетий,  
К постели моей подходили,  
Рыдая, как малые дети.

И туч поднимались волокна,  
И дождь барабанил по крыше,  
И с шумом в открытые окна  
Врывались летучие мыши.

И сердце Ильи Чавчавадзе  
Гремело так громко и близко,  
Что молнией стала казаться  
Вершина его обелиска.

.....

И каменный храм Зедазени  
Пылал над блистательным Мцхетом,  
И небо тропинки оленье  
Своим заливало рассветом.

Семье Заболоцких отвели в «Сагурамо» две комнаты на втором этаже. Всякий день Николай Алексеевич подолгу просиживал над переводами в своём кабинете, а дети с матерью просто наслаждались отдыхом — первым за трудные последние годы. По вечерам обитатели Дома творчества собирались на открытой террасе, откуда виднелась долина Арагви в дымке тумана. Далеко-далеко на горизонте она замыкалась синеватой цепочкой гор, её венчал двуглавый Казбек — в солнечную погоду он посверкивал вечным снегом на своих вершинах.

Одним из соседей Заболоцкого был киносценарист Сергей Ермолинский, заочно знавший поэта по «Столбцам». Они познакомились и по-товарищески сошлись; выяснилось, что и Ермолинский побывал в заключении. Может, поэтому он лучше других понимал Заболоцкого:

«А вначале было удивление. Я знал, что до появления в Сагурамо он прошёл нелёгкий путь — были тяжёлые годы, но как будто их не было! Передо мной стоял среднего роста, спокойный, благополучный человек,

аккуратно одетый в стандартный мужской костюм, кругловатое лицо, роговые очки в негрубой оправе, гладкие волосы, причёсанные чуть вбок. Прозаическая внешность, никаких катастроф позади! И казалось, ничто не нарушало и не нарушает его внутреннего равновесия... Когда я вспоминаю своё первое впечатление, я вижу, что это была не маска, не желание спрятаться за неё, а естественное поведение».

Ермолинский вскоре почувал тот радостный душевный настрой, который исходил от поэта весной 1947 года, а впоследствии ярко определил свои впечатления:

«Никогда раньше не был он так уверен в себе, как в пору нашего знакомства.

Это был пример могучий.

Он мог быть разорванным надвое — между страданиями своего времени и его высокими идеалами. Он мог быть придавлен трудностями жизни (и не только своей собственной). Он мог ожесточиться и возненавидеть. Он мог замкнуться и ощериться. Он мог оробеть, чуя выжидательно-изучающие взгляды на себе. И, наконец, он мог просто устать, безнадежно устать. Этого не случилось. Напротив! Он не устал, не оробел и не ожесточился. Вопреки всему он возвращался, обретая гармонию! Широко распахнулся миру, природе, людям, их сокровенным чувствам, поэзии, лишённой пустой красоты!.. И Сагурамо стало для него той немаловажной вехой, откуда начиналась другая, новая жизнь. Война кончилась. А для него мирный день загорался вдвойне. Любимая профессия, единственная из всех возможных, возвращалась к нему!»

Сергей Ермолинский нашёл точную формулу, составлявшую тогда основу жизни и духа Заболоцкого: *энергия возвращения*.

После «урока» — установленной самим себе нормы — они, бывало, уходили бродить по горам и порой добирались по тропам до скалистой вершины Зедазени, где стоял древний монастырь. Там обитал единственный монах; по совместительству он был и служащим — присматривал за памятником старины. (Удивительно — домосед Заболоцкий отправлялся в такие путешествия!..) «С этой вершины, — вспоминал Ермолинский, — простиралась и вовсе широкая панорама — далеко внизу Мцхета, со своими серыми куполами, и Арагва сливалась с Курой, а чуть выше (но так далеко внизу от нас) — Джвари. Иногда, закрывая эту панораму, под нами плыли облака...

Высоко забрались мы! Упоительно было пробираться по заоблачным склонам, в чащобах, по нехоженным тропам, на которых виднелись вмятины лёгких оленьих следов. Только лесника Глахуну можно было встретить

здесь. Бродили мы обычно, не докучая друг другу болтовнёй. Мы оба любили помолчать, и в этом были очень одинаковы.

Так вот и гуляли — молча. Набредли однажды на развалины какой-то церкви или часовни, не старой, по-видимому, и неведомо почему и как здесь возникшей. Встревоженные летучие мыши, висевшие вниз головой, взметнулись над нами. Раза два побывали в гостях у монаха, чернобрового, с жгучими озорными глазами, угостили его вином. Он говорил по-русски с сильным кавказским акцентом и в ответах костра казался огнепоклонником... <...> помню ночь, когда мы спускались домой. Вокруг было полно таинственных шорохов и немного жутко...»

Конечно, эти дальние прогулки были редки. Чаще, поработав, приятели отправлялись к Военно-Грузинской дороге, где стоял духан. Попивали дешёвое, чуть терпкое розовое вино. Народу там почти не было. Духанщик подносил кувшин за кувшином. «Выпивалось иногда порядочно, закусывали овечьим сыром не первой свежести. Разговор оживлялся, но я не представляю себе, чтобы у нас могла получиться пьяная беседа „по душам“ с взаимными излияниями, после которых наутро стыдно и за себя, и за друга. Это исключалось».

Однажды Ермолинский рассказал Заболоцкому про роман Булгакова «Мастер и Маргарита», о котором тогда мало кто знал.

«— Как вы думаете, Булгаков был житейски приспособленный человек? — спрашивал Заболоцкий.

— Думаю, да. <...> А иначе как бы он выжил?

— Верно, верно. И неизбежная литературная подёнщина не сломила его? То есть, я хочу сказать, не унизила его писательство?

— Нисколько.

— И то, что он писал либретто для опер, сценарии, инсценировки, редактировал чужие пьесы?

— Это никак не отразилось на его главном романе, о котором я вам только что рассказывал.

— И он продолжал выправлять его чуть ли не накануне смерти, хотя знал, что не увидит его напечатанным?

— Да.

— Так всегда бывает, иначе копейка тебе цена! — воскликнул он, и какие-то сомнения словно отлетели от него. — Природа обязательно находит защитную форму для любого живого ростка, — говорил он. — Заметьте — живого! Характер наш формируется до пяти лет, в этом я убеждён, а потом, смотря по жизни, вырабатывается и защитная форма. Понимаете? Было бы что защищать, и тогда сочетается приспособляемость

и рядом — удивительно упорное самосохранение. У каждого по-своему, но для нашего брата обязательное. Вы не согласны?

— Я согласен.

— Однако приспособляемость эта, — засмеялся он, — должна находиться в строгих рамках, иначе всё полетит к чертям!»

Рамки рамками — а время?.. Если изо дня в день сидеть большей частью за переводами, где то время, та полная — якобы праздная, а на самом деле вся во власти творческой интуиции и, разумеется, плодотворная — свобода? Как бы ни был интересен перевод с грузинского или с какого иного языка, он ещё и *перевод времени*, которое можно было бы отдать собственным стихам и вольным думам. Всё усугублялось тем, что по характеру Заболоцкий был на редкость честным и добросовестным тружеником, халтурить, чтобы сберечь время для *своего*, он не мог. Симон Чиковани, знавший его долгие годы, свидетельствовал: «...из-под пера Заболоцкого не могла появиться неотточенная, необструганная строка или вялая поэтическая фраза. От его слуха не могла ускользнуть глухая или недостаточно звучащая строчка; языковая ткань его переводов прозрачна, тонка и благозвучна». Даже случайные знакомые, тем более домашние, видели, как кропотливо трудится Заболоцкий над переводами. Да и сам он признавался в статье об этой работе, что переводчик сочетает в своём лице черты писателя и учёного, да ещё надо сделать так, чтобы черты учёного были бы скрыты в глубине, а черты писателя явно проступали наружу. Понятно, такая взыскательность требовала времени и времени.

И когда теперь видишь перед собой результат — объёмистый трёхтомник переводов с грузинского (а ведь были ещё переводы с других языков), невольно думаешь: сколько же труда положено на это!.. А если бы затраченное время и силы он отдал собственным стихам?.. Конечно же, на самом деле всё куда как сложнее: переводы прежде всего требуют труда, доброго ремесленничества, а стихи — вдохновения и приходят сами по себе, — но всё же, всё же...

Было в этой изнурительной работе и своё благо: грузинские поэты, земля Грузии дарили его душу и мысль свежими красками, необычной музыкой, новыми темами для размышлений. Одни только стихи, так или иначе связанные с Грузией, чего стоят! Удивительно — по свежести и силе ощущений — стихотворение «Ночь в Пасанаури»:

Сияла ночь, играя на пандури,  
Луна плыла в убежище любви,  
И снова мне в садах Пасанаури

На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,  
Где в мае снег и каменистый лёд,  
Я так устал, что не желал нимало  
Ни соловьёв, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева  
Я взял фонарь, разделся догола,  
И вот река, как бешеная дева,  
Моё большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за каменья,  
И надо мной, сверкая, был поток,  
И камни шевелились в исступленье  
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,  
Который колебался вдалеке,  
И с берега огромная овчарка  
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,  
Холодный, чистый, сильный и земной,  
И гордый пёс, как божество спокоен,  
Узнав меня, улёгся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,  
Изведав холод первобытных струй,  
Я принял в сердце первый звук пандури,  
Как в отрочестве — первый поцелуй.  
(1947)

Сергей Ермолинский верно заметил, что тогда, в Сагурамо, *энергия возвращения* была в Заболоцком «так велика и так жадна, что всё сочеталось: и стихи, и переводы, и не опускались руки».

Вспоминая Сагурамо и думая о всём пути Заболоцкого, Ермолинский подводил итог:

«Он писал, как думал и как чувствовал. <...> Если Блок жил как в стеклянном доме, и по его стихотворениям можно проследить почти весь его жизненный путь, то Заболоцкий словно твердил себе: не надо разбазаривать тему своей биографии, надо увидеть мир шире — объективный мир, — а любое самокопание отбросить. Личные беды, особенно несправедливые беды, если пойти у них на поводу, превратятся в желчное разочарование, нет, хуже — человеконенавистничество. Тогда — конец, бесплодие, смерть. И нельзя откровенничать чересчур. Это постыдно, это лишит защищённости. Надо быть суровее, строже.

Сигурамское лето окончательно сформировало нового Заболоцкого. И это было счастливое для него время. Я в этом уверен. Собранность, внутренняя энергия не покидали его».

...Тот гордый пёс, что запечатлён в стихотворении «Ночь в Пасанаури», принадлежал директору Дома творчества Ираклию. Это была огромная овчарка, охранявшая овец в загоне. Её хозяин утверждал, что она как-то в одиночку справилась с волком, который пробирался в овчарню. Её щенки, виляя хвостами, по пятам таскались за писателями и за их детишками. Одного из щенков по кличке Басар, к которому особенно привязался его сын, Заболоцкий забрал с собой в Москву. Басар жил потом на даче Кавериных, первый этаж которой Вениамин Александрович зимой 1947 года отдал в распоряжение семье Заболоцких. Щенок вырос в огромного пса, одним своим видом пугал гостей поэта и, кажется, признавал одного подростка Никиту...

## Третья книга

Осенью 1947 года, уже в Подмоскowie, Николай Алексеевич Заболоцкий всё продолжал жить той полнотой ощущений и чувств, что он испытал в Сагурамо. Это нашло выход в слове — в двух стихотворениях той поры, где выражены его заветные мысли о вечной жизни и месте поэзии в ней.

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя  
И, погасив свечу, опять отправлюсь я  
В необозримый мир туманных превращений,  
Когда миллионы новых поколений  
Наполнят этот мир сверканием чудес  
И довершат строение природы, —  
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,  
Пусть приютит меня зелёный этот лес.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов  
Себя я в этом мире обнаружу.  
Многовековый дуб мою живую душу  
Корнями обовьёт, печален и суров.  
В его больших листах я дам приют уму,  
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,  
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли  
И ты причастен был к сознанию моему. <...>

Смерти нет — есть вечные превращения того, что называется сознанием — *со-знанием* изначального и бесконечного бытия, к которому, являясь его частицей, в краткой земной жизни становится раз и навсегда причастен человек. Вот итог давних дум поэта о единстве природного и человеческого, выношенных в глубине души.

Это стихотворение поначалу называлось «На склоне лет», потом «Напоминание» и уж затем — «Завещание». *Завещание* — заветное, завет, прощание и встреча, передача потомкам самого сокровенного...

Над головой твоей, далёкий правнук мой,



Я в небо пролечу, как медленная птица,  
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,  
Как летний дождь прольюсь, сверкая  
над травой.  
Нет в мире ничего прекрасней бытия.  
Безмолвный мрак могил — томление пустое.  
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:  
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

О, я не даром в этом мире жил!  
И сладко мне стремиться из потёмок,  
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний  
мой потомок,  
Доделал то, что я не довершил.  
(1947)

Второе стихотворение — «Кузнечик» — близко по духу «Завещанию», но тут Заболоцкий говорит уже не вообще о сокровенном содержании человеческой жизни — а о своём в ней назначении — о поэзии:

Настанет день, и мой забвенный прах  
Вернётся в лоно зарослей и речек,  
Заснёт мой ум, но в квантовых мирах  
Откроет крылья маленький кузнечик.

Над ним, пересекая небосвод,  
Мельчайших звёзд возникнут очертанья,  
И он, расправив крылья, запоёт  
Свой первый гимн во славу мирозданья.

Довольствуясь осколком бытия,  
Он не поймёт, что мир его чудесный  
Построила живая мысль моя,  
Мгновенно затвердевшая над бездной.

Кузнечик — дурень! Если б ты узнал.  
Что все его волшебные светила  
Давным-давно подобием зеркал

Поэзия в пространствах отразила!  
(1947)

...Почти десять лет у него самого не выходила книга собственных стихов. Помочь в издании сборника обещал Фадеев, — свежие стихи уже прошли «обкатку» в двух номерах журнала «Новый мир». Вероятно, Заболоцкий, по возвращении из Сагурамо, снова обратился к руководителю Союза писателей. И Александр Александрович сдержал слово: договорился с главным редактором издательства «Советский писатель» Анатолием Тарасенковым о книге Заболоцкого. Он даже обещал быть рецензентом и неофициальным редактором книги. Столь авторитетное ручательство и решило дело.

«Эту радостную новость Заболоцкому сообщил Николай Корнеевич Чуковский. Он рассказал, что Тарасенков высказался за издание, что он просил представить рукопись и что это тот самый Тарасенков, который собирает знаменитую коллекцию изданий русских поэтов двадцатого века, — повествует Никита Заболоцкий. — Николай Алексеевич в свою очередь напомнил, что это и тот критик, который в своё время написал статьи „Похвала Заболоцкому“ (1933), „Графоманское косноязычие“ (1935), „Новые стихи Н. Заболоцкого“ (1938), приняв таким образом участие в разное его „Столбцов“, „Торжества земледелия“ и более поздних произведений.

— Ну, теперь он загладит свою вину перед вами, — засмеялся Николай Корнеевич. — А заодно и пополнит свою коллекцию вашей новой книжкой.

— Всё это прекрасно, — серьёзно ответил Заболоцкий. — Но мне хотелось бы, чтобы издательство обратилось ко мне официально».

Тарасенков не замедлил написать такое письмо: на бланке издательства он черкнул несколько приветственных слов, обещая поставить книгу в план 1948 года.

Вскоре рукопись будущего сборника поступила к Фадееву. Тому книга понравилась, правда, по поводу двух-трёх стихотворений у него возникли возражения. Александр Александрович пригласил Заболоцкого к себе на дачу — поговорить о рукописи, и после разговора снял свои замечания.

В рецензии А. А. Фадеева издательству говорилось:

«Книга состоит из двух частей, внутренне связанных единством творческого отношения к миру.

Первая часть объединяет стихи, уже отмеченные нашей печатью, передающие большой пафос созидания нового мира, — они тематически

связаны со строительством новой сталинской пятилетки. Вторая часть может быть условно названа „философией природы“, но своим деятельным отношением к природе она, как сказано, перекликается с первой и философски и эмоционально.

Наконец, в книгу входит поэтический перевод „Слова о полку Игореве“, высокое поэтическое мастерство которого общепризнано.

Рекомендую книгу к изданию.

А. Фадеев 26/X — 47 г.».

Договор с издательством подписан, книга в наборе — казалось бы, всё хорошо. Но к весне, когда поступила вёрстка, положение в культурной политике страны изменилось. ЦК партии резко раскритиковал в своём постановлении оперу Вано Мурадели «Великая дружба». Оперу признали порочной и антихудожественной. Пункт первый постановления гласил: «Осудить формалистическое направление в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки». Разумеется, указания партии касались всех творческих союзов — и эти союзы стали ещё бдительней к тому, что могло быть признано антинародным. Фадеев, как писательский вождь, хорошо это понимал. Кроме того, он, наверное, помнил и другое: ещё не так давно Заболоцкого склоняли и в хвост и в гриву за такие же формалистические прегрешения. Фадеев решил подстраховаться да, возможно, заодно и уберечь Заболоцкого от новых гонений. Затребовал вёрстку и после чтения обратился с письмом в издательство, к «тов. Тарасенкову»: «Дорогой Толя!

Когда-то я читал этот сборник и в целом принял его. Но теперь, просматривая его более строгими глазами, учитывая особенно то, что произошло в музыкальной области, и то, что сборник Заболоцкого буквально будут рассматривать сквозь лупу, — я нахожу, что он, сборник, должен быть сильно преобразован.

1. Всюду надо или изъять, или попросить автора переделать места, где зверям, насекомым и пр. отводится место, равное человеку, главным образом потому, что это уже не соответствует реальности: в Арктике больше людей, чем моржей и медведей. В таком виде это идти не может, это снижает то большое, что вложено в эти произведения.

2. Из сборника абсолютно должны быть изъятые следующие стихотворения: Утро, Начало зимы, Метаморфозы, Засуха, Ночной сад, Лесное озеро, Уступь мне, скворец, уголок, Ночь в Пасанаури.

Некоторые из этих стихов при другом окружении могли бы существовать в сборнике, но в данном контексте они перекашивают весь сборник в ненужном направлении.

Пусть Николай Алексеевич не смущается тем, что без этих стихов сборник покажется „маленьким“. Зато он будет цельным. Надо, конечно, отбросить всякие разделы и дать подряд стихи, а потом „Слово“.

Покажи это письмо Николаю Алексеевичу и посоветуй ему согласиться со мной. В силу болезни я не могу поговорить с ним лично. Скажи ему также, что о квартирных делах его я помню.

С приветом А. Фадеев.

5. IV.48.».

В итоге из двадцати пяти стихотворений осталось лишь семнадцать, — как и десять лет назад, книга стихов Заболоцкого вышла в урезанном виде. Благо что вообще вышла, — если бы не Фадеев с его могучей поддержкой, вряд ли это издание состоялось бы. Ведь Заболоцкий только недавно отбыл срок заключения и судимость с него ещё не была снята...

Литературные критики будто бы и не заметили появления этой книги. Ни одной рецензии, на малейшего отзыва в печати!.. Лишь по прошествии времени журнал «Звезда» (1949, № 3) напечатал обзор поэта Михаила Луконина под названием «Проблемы советской поэзии (итоги 1948 года)», в котором упоминался сборник Заболоцкого. Но как упоминался!.. Тут следует вспомнить, что в прежние времена именно журнал «Звезда» охотно печатал новые стихи Николая Заболоцкого. Теперь же, после разноса, устроенного в 1946 году постановлением ЦК ВКП(б), то же самое издание уже громило своего бывшего автора. Поначалу литературный обозреватель, не удостоив вниманием сами стихи, долго выговаривал главному редактору издательства «Советский писатель» Тарасенкову за его прошлые и настоящие ошибки:

«Тарасенков вполне мог бы поубавить в книге Заболоцкого „Стихотворения“ гимны слепым животным инстинктам, весь этот „сумрак восторга“, как пишет Заболоцкий. <...> Тарасенкову надо ещё и ещё подумать о своей деятельности. Не может существовать в нашей среде критик с двойным мнением, с двойным счётом. Надо, чтобы Тарасенков высказался о своих ошибках, высказался бы о деятельности критиков-космополитов и эстетов, помог бы нам яснее разглядеть врагов в нашей поэзии и сам проявил непримиримое отношение к ним».

Мир однолик, но двойственна природа,  
И познать отраженья спеша,  
В противоречьях зреет год от года  
Свободная и радная душа.

Не странно ли, что в мировом просторе,  
В живой цепи созвездий и планет  
Любовь уравнивает горы  
И тьму всегда пронизывает свет?

Надаром, совершившись от века,  
Разумная природа в свой черед  
Самы себя руками человека  
Из векового праха создает.

1948

**Автограф стихотворения Николая Заболоцкого «Мир однолик, но двойственна природа...». 1948 г.**

РАППа вроде бы давно нет — но дух его никуда не делся: Луконин топорным языком, с рапповской беззастенчивостью (пролетарий как гегемон всегда прав) клеймил критика:

«...Я не могу умолчать тут об одном обстоятельстве, которое

относится к прошлому году. В своём докладе об итогах поэзии 1947 года Анатолий Тарасенков с хорошим намерением отметить движение наших поэтов к темам послевоенного строительства незаслуженно, на мой взгляд, объявил положительным явлением стихи Н. Заболоцкого „Творцы дорог“. В этих стихах как раз есть отношение к труду, тот подход к изображению рабочих, который мы должны решительно отместить».

Лишь после этих пассажей М. Луконин, наконец, перешёл к стихам Заболоцкого, — но не к сборнику, вышедшему в 1948 году (что, собственно, было бы в согласии с темой его обзора), а к поэме «Творцы дорог», вышедшей в «Новом мире» годом раньше. В запеве поэмы ему, вероятно, не понравилось то, что рожок, созывающий на работу, поёт «протяжно и уныло», а в строфе о взрыве породы в карьере («Из недр вселенной ад поднялся Дантов») — церковное слово «ад» да ещё, видно, и само имя автора, написавшего сомнительную для *самого передового класса* «Божественную комедию»:

«...Да не Дантов же ад, не ад и не Дантов и ничего подобного, а просто взрывом отброшенные камни увидел поэт, а надумал, накнижничал, сам испугался и решил напугать своих читателей. <...>

Автора обуревают какая-то душевная паника, и он плохо разбирается в происходящем. Тема труда советских рабочих требует от поэзии любовного, внимательного отношения к человеку, к его устремлениям, к его идее. „Человек — это звучит гордо“, — сказано с пониманием величия людей труда. Заболоцкий заменил всё это каким-то неведомым „светлым умом“. <...>

Я уже не говорю о том, что в поэме нет никакой цели: неизвестно, что за дорога строится в таком космическом борении стихий, ради чего, что движет людей.

Нет в этих стихах ни наших устремлений, ни нашего отношения к труду, к человеку труда. Никому не нужно это иконописное мастерство, рассуждения о стихиях и толпах, о мирозданиях и прочей символике. Нам нужен советский человек во весь рост, умный и гордый человек, знающий, чему он посвящает свой труд.

Я подробно остановился на поэме Заболоцкого потому, что порочность обойдена молчанием критики, поддержана „Новым миром“, и это может повредить дальнейшей нашей работе».

Понимал ли стихотворец Луконин вообще, что в поэме шла речь о заключённых и что «двигало» этими подневольными людьми желание выжить, получить жалкую пайку, продержаться на земле ещё один день? И что работали они тем не менее не хуже всех других «гордых и умных

людей труда»...

Одно ясно из его обзора: «дальнейшую работу» советской поэзии М. Луконин никоим образом не связывал с Николаем Заболоцким.

## **Глава двадцатая**

# **БЕГОВАЯ ДЕРЕВНЯ**



## Своя квартира

В конце 1940-х годов на одном из окраинных пустырей на западе столицы, где Беговая улица сходится с Хорошёвским шоссе, вырос необычный жилой массив. Его построили пленные немцы. Это были внушительных размеров двухэтажные каменные особняки, снаружи, в духе времени, слегка подампиренные: с лепниной на фасадах и двумя белыми колоннами. Дома стояли просторно, окружённые палисадниками в молодой зелени, с опрятными асфальтовыми дорожками. По окраске — чуть веселее серых громад Москвы: зелёные, жёлтые, голубые. И всё это огорожено узорной чугунной решёткой, — попасть сюда можно было лишь через въездные ворота. Рядом суетливо шумела улица Беговая, грохотало грузовиками Хорошёвское шоссе, а тут покой и почти что сельская тишина. Словом, не то город, не то пригородный дачный посёлок, — даже почтовый адрес один на всех: Беговая, 1-а.

В этом уютном городке и получили Заболоцкие квартиру — Александр Александрович Фадеев умел выполнять обещания.

Первой новостью узнала Марина Николаевна Чуковская, — ей сообщил по телефону Виктор Викторович Гольцев. Сам он в тот раз квартиры не получил, но радовался за бездомного Заболоцкого. Чуковские — Марина и Николай — к тому времени уже обзавелись жильём в Москве и Переделкино покинули. Николай Алексеевич, бывая в городе, частенько заглядывал к ним, а если задерживался в гостях, то оставался ночевать. Марина Николаевна сумела прикрепить Заболоцких к своему закрытому распределителю и сама отоваривала их продкарточки. Екатерине Васильевне после утомительной дороги в Москву не надо было выстаивать очереди — она просто заезжала к Чуковским и забирала нагруженные сумки. В тот день как раз должна была забрать полученные накануне продукты...

«Потом потянулся день, полный забот-хлопот, — вспоминала впоследствии Марина Чуковская, — потом приехала Екатерина Васильевна, мы начали волнующий разговор о продуктах, потом она рассказала, как, возвращаясь поздно вечером со станции, Николай Алексеевич в талом снегу утопил калошу, а где взять ордер на калоши? На рынке покупать очень дорого. И мы долго говорили о калоше, а потом в городе у неё были дела, она быстро убежала, а я... я забыла сказать ей о квартире! В ужасе вспомнила, когда она уже ушла. Но дело можно было

поправить — она должна была вернуться и забрать тяжёлые сумки. С нетерпением поджидала я звонка, на чём свет кляня свою забывчивость. И сразу выпалила ей радостную новость. Что тут было! Как девочка, запрыгала Екатерина Васильевна в передней и заявила, пусть Николай Алексеевич и дети думают что хотят, пусть не спят от беспокойства за неё хоть всю ночь, но она не уедет, пока не удостоверится, что эта новость не пустые слухи. И уехала уже ночью, последним поездом».

Квартира — две комнаты, одна побольше, другая поменьше, с крохотной кухней — была на первом этаже. В большой комнате устроили рабочий кабинет поэта, одновременно это была ещё и гостиная, и спальня родителей; вторая комната стала детской. Николай Алексеевич самолично обходил мебельные комиссионки, подбирая что-нибудь по душе. Благо появились деньги: жена съездила в Ленинград и продала дачу на Сиверской, оставленную ей в наследство дядей. Так в скромной квартире на Беговой появилось несколько старых предметов красного дерева: буфет («Ну, прямо университет!» — шутил Заболоцкий), секретер, письменный стол, книжный шкаф. Отныне поэт стал заглядывать в Книжную лавку писателей и подбирать себе библиотеку. Она оказалась гораздо меньше той, что прежде была у него в Ленинграде. В основном это была классика — русская и мировая, справочная литература, мировой народный эпос, — одних русских былин десятка два томов, из философских сочинений — Платон, Сковорода и другие. «Представлены были и Брюсов, Клюев, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Мартынов, Слуцкий, ещё несколько интересовавших его авторов. Но сознательно не были включены в библиотеку произведения Маяковского, Ахматовой, Исаковского, Твардовского, Сельвинского и целого ряда других советских поэтов», — сообщает Никита Заболоцкий. И прибавляет: когда Николай Леонидович Степанов подарил ему, школьнику, для уроков по литературе собрание Маяковского, отец отнёсся к этому «очень неодобрительно» и чуть ли не обиделся на своего старого друга. Но на самом видном месте в книжном шкафу стояли (до 1956 года, подчёркивает сын-биограф) сочинения Ленина и Сталина: поэт не сомневался, что за ним, вчерашним заключённым, продолжается догляд *органов* и наверняка кого-то из гостей и уж тем более домработницу подробно выпрашивают о настроении и разговорах в доме.

Соседями Заболоцких на площадке четырёхквартирного особняка оказались Казакевичи; неподалёку жили Степановы, Каверины, Гольцевы, Андрониковы, Либединские, Гроссманы и другие писательские семьи. А вообще «Беговая деревня» (как вскоре прозвали местные остроумцы свой городок) была заселена как людьми искусства, так и военными, рабочими,

служащими.

Вспоминая то время, Лидия Борисовна Либединская писала: «В памяти всех ещё живы были трудные военные годы, и люди особенно остро ощущали радость мирных будней. Жили на Беговой, несмотря на все различия, дружной и слаженной жизнью. Принимали близко к сердцу все события в жизни соседей, радовались удачам, старались облегчить невзгоды. Здесь всех детей знали по именам. А по вечерам, когда позади оставался день, исполненный трудов, забот, заседаний, ходили друг к другу в гости. Короче говоря, жители этого посёлка хорошо знали друг друга».

Ей особенно запомнилось знакомство с Николаем Заболоцким:

«Но вот однажды я увидела в окно незнакомого человека. Он шёл по гладкой асфальтированной дорожке размеренной степенной походкой, держа в руках тяжёлую палку. Вот он встретил кого-то, вежливо, с достоинством поклонился, задержался на несколько мгновений и снова, так же спокойно, продолжал свой путь. Одет он был тщательно и даже подчёркнуто аккуратно, но без особой элегантности. Тёмное летнее пальто застёгнуто на все пуговицы до самого подбородка, добротная фетровая шляпа жила на голове сама по себе, сохраняя магазинную первозданность.

А через несколько дней, придя вечером к профессору Н. Л. Степанову, я увидела за столом этого человека.

— Заболоцкий».

Она с юности любила «Столбцы», с огромным удовольствием читала в журналах «Чиж» и «Ёж» его и других обэриутов:

«Я смотрела на него с робким благоговением и вместе с тем не могла скрыть своего любопытства и откровенно разглядывала его. В его наружности и одежде не было и следа той артистической небрежности и свободы, которая подчас отличает людей искусства. Он был чисто выбрит, светлые волосы аккуратно расчёсаны на косой пробор. Движения точные и немного скованные. Он никогда не жестикулировал и не повышал голоса. Взгляд больших серо-голубых глаз из-под очков с толстыми стёклами казался строгим и неподпускающим. Но вот в разговоре Заболоцкий неожиданно снял очки — и сразу всё изменилось: на меня взглянули ласково-заинтересованные и усталые глаза человека, много и незаслуженно перестрадавшего, но не потерявшего доброго отношения к миру. Эта непроходящая, годами накопленная усталость во взгляде плохо сочеталась с его округлым, ровно румяным, без единой морщинки лицом.

В тот вечер Заболоцкий был весел и оживлён. Ему выдали ордер на получение квартиры в одном из вновь отстроенных особнячков. Как он радовался, что после стольких лет лишений получил наконец возможность

спокойно жить и трудиться...»

По свидетельству Лидии Либединской, вскоре в «Беговой деревне» дом Заболоцких стал одним из самых притягательных для посиделок. «По вечерам за гостеприимным столом собирались друзья. И, благо, не надо было торопиться на городской транспорт, засиживались далеко за полночь, слушая рассказы Ираклия Андроникова, острые шутки Эммануила Казакевича, фронтовые истории Виктора Гольцева, нередко звучали здесь голоса грузинских поэтов. Долго не гас свет в маленьких комнатках Заболоцкого, и робкая зелень тоненьких, как прутики, только высаженных деревьев казалась неестественно яркой в электрическом освещении».

Николай Алексеевич обстоятельно готовился к очередному застолью: посылал в центр за хорошим коньяком, водкой и своим любимым вином «Телиани», обсуждал с женой, что будет на закуску и горячее: хорошо угостить друзей у себя дома было для него явным удовольствием. Он сам обзванивал всех приглашаемых, сам встречал гостей у порога и сам же провожал их по окончании застолья, важно повторяя при этом свою излюбленную шутку: «В борьбе гостя со своим пальто хозяин должен быть на стороне гостя».

Никита Заболоцкий пишет в своей книге: «Вообще говоря, Заболоцкий любил дружеское общение, но судьба и время слишком редко посылали ему единомышленников. В московской квартире стали собираться близкие ему люди. Определились стиль дома и негласные требования к посетителям. Следовало проявлять уважение, но без чрезмерных душеизлияний и восторгов, следовало быть искренним, но не фамильярным, нельзя было насильно навязывать своё общество, своё мнение. Существовали дозволенные рамки в разговорах, некоторые темы были нежелательны: нельзя было критически обсуждать политические новости, расспрашивать о молодости Николая Алексеевича, о годах его заключения, читать и хвалить его ранние стихи. Заболоцкий ревностно охранял свой внутренний мир и не хотел напрасно беречь едва зажившие душевные раны.

Сам он был неизменно вежлив и сдержанно-радушен. Основательностью, надёжностью и цельностью своей он привлекал к себе людей, будь то писатель, шофёр такси или слесарь-водопроводчик. Он никогда не позволял себе грубой или запанибратской формы разговора, а лишь временами — иронический или шутливый тон по отношению к близким людям. Ему нравилась грузинская манера общения — через некоторую условность и ритуальность, застольный разговор и дружеские тосты, в которых любовь и уважение выражались не прямо, а как обряд,

часто с помощью вспомогательных образов».

В доме, кроме близких по духу писателей-соседей, бывали и грузинские поэты с жёнами: Чиковани, Леонидзе, Жгенти, ленинградские друзья Шварцы и Гитовичи, Бажаны из Киева. Порой заходили и случайные посетители — в основном молодые московские поэты, желавшие побеседовать с именитым мастером. С некоторыми из них — Петром Семёниным, А. Сергеевым, Юнной Мориц Заболоцкий беседовал охотно, но обычно таких незапланированных встреч сторонился...

Дружеское застолье на Беговой не обходилось без чтения стихов: гостям Заболоцкого хотелось узнать, что нового написал поэт. Николай Алексеевич читал по настроению — то что-нибудь шутливое, то из лирики. Доставал папку со своего рабочего стола, перебирал листы — читать наизусть он не любил.

Никита Николаевич вспоминал, что у Заболоцкого была особая манера чтения стихов:

«Он характерно подчёркивал голосом определённые звуки, часто согласные, и звуковые повторы. Конец строки читался без растягивания гласных, твёрдо, даже отрывисто. Каждое слово произносилось чётко. И вместе с тем в чтении была своеобразная смысловая музыкальность.

Гости слушали, делились впечатлениями, просили прочесть что-нибудь ещё. Николай Алексеевич читал другое стихотворение, иногда особенно удавшийся ему перевод, либо решительно закрывал папку и убирал её».

Эти домашние чтения, разумеется, не могли заменить поэту печатного общения с читателем. В конце 1940-х — первой половине 1950-х годов Заболоцкий крайне редко появлялся со своими стихами в журналах. Как и всякому автору, читательский отклик был ему необходим. Тем внимательнее он выслушивал мнения товарищей. Друзья ставили его рядом с Пастернаком, говорили, что рано или поздно всё это напечатают — и тогда Заболоцкий станет широко известен. Но когда это случится — никто сказать не мог. Тем временем прежняя известность поэта, на целых десять лет отлучённого от литературы, изрядно поблёкла, имя его почти забылось. В общем-то вся его теперешняя слава почти не выходила за пределы весьма узкого товарищеского круга, и выход третьей, сильно урезанной книжки не исправил положения.

## Слова-светляки

Ещё в декабре 1947 года, поздравляя своего ленинградского наставника по институту Василия Алексеевича Десницкого с юбилеем, Заболоцкий говорил, что пишет трудно, с напряжением, многое в своих стихах ему самому не нравится и что с годами он утратил детскую свою самоуверенность. Было в письме и куда более важное признание — в том, что он «...вероятно, немножко научился присматриваться к людям и стал любить их больше, чем раньше».

Приложил к письму несколько свежих стихотворений, среди которых было одно весьма необычное — «Жена» (1948). Сюжет прост: важный, самовлюблённый и требовательный сочинитель, который с утра всё пишет и пишет, — и робкая, послушная, преданная ему жена, с пристально-нежным светом глаз, боящаяся и половицей скрипнуть, чтобы не помешать творческому процессу.

Так кто же ты, гений вселенной?  
Подумай: ни Гёте, ни Дант  
Не знали любви столь смиренной,  
Столь трепетной веры в талант.

О чём ты скребёшь на бумаге?  
Зачем ты так вечно сердит?  
Что ищешь, копаясь во мраке  
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопчешь на деле  
О благе, о счастье людей,  
Как мог ты не видеть доселе  
Сокровища жизни своей?

Десницкий, прочитав, тут же сказал Екатерине Васильевне: это о тебе. Но его бывшая студентка возразила: есть-де в Переделкине такая супружеская чета, с которой и «списано». «Всё равно о тебе!» — не согласился Десницкий.

«И в определённой степени был прав», — подтверждает Никита

Заболоцкий в своей книге слова старого педагога. Потому как поэт уже далеко не впервые соединил в этом стихотворении «своё личное, почти автобиографическое с общечеловеческим и даже общесущим».

*Личное* — было в недавнем стихотворении «В новогоднюю ночь» (1947), напрямую обращённом к подруге жизни:

Вспомни, как, бывало, в Ленинграде  
С маленьким ребёнком на груди  
Ты спешила, бедствуя в блокаде,  
Сквозь огонь, что рвался впереди.

Смертную испытывая муку,  
Сын стремглав бежал перед тобой.  
Но взяла ты мальчика за руку,  
И пошли вы рядом за толпой.

.....  
Как давно всё это пережито...  
Новый год стучится у крыльца.  
Пусть войдёт он, дверь у нас открыта,  
Пусть войдёт и длится без конца.

Только б нам не потерять друг друга,  
Только б нам не ослабеть в пути...  
С Новым годом, милая подруга!  
Жизнь прожить — не поле перейти.

Без изысков, просто и сердечно. И — по Боратынскому: как бы ни мудрствовал человек, в конце концов всё укладывается в *точный смысл народной поговорки*.

...Впрочем, это стихотворение написано, так сказать, для домашнего пользования — только для жены, — вряд ли Заболоцкий собирался его печатать. Несомненно: уж он-то хорошо знал и ценил *сокровище жизни своей*, — да это хорошо видно и по письмам Екатерине Васильевне из неволи.

Однако друзья и товарищи подмечали: Заболоцкий в домашнем быту порой проявлял крутой нрав. В воспоминаниях — про всё это скупое, без подробностей, но намёки есть. Пожалуй, откровенней всех свидетельство Марины Николаевны Чуковской:

«В своей семье Николай Алексеевич был властелином. Несмотря на изысканную вежливость и корректность, в нём иногда проступала не только твёрдость, а даже жёсткость и беспощадность. А уж прощать Николай Алексеевич совсем не любил. И не прощал».

Но это взгляд со стороны. А вот изнутри. Дочь поэта, Наталья Николаевна, в канун столетия со дня рождения отца, вспоминая жизнь на Беговой, писала:

«Провинности детей его глубоко расстраивали. Брату при малейших его школьных неудачах он торжественно объявлял, что тот будет милиционером. Рассердившись на меня за то, возможно, что я вечно была недовольна жизнью, или за грубость, безнадежно горько говорил: „Мне ясно, что ты похожа на моих сестёр, и ничего хорошего из тебя не выйдет. Трудно будет тебе жить...“ Почему-то это было очень обидно.

С другой стороны, я была склонна к скоропалительной критике, едва только, как мне казалось, папа отклонялся от моего идеала. На такие выпады ответом был лишь внимательный взгляд, и никакого гнева. Если мною высказывались „премудрые мысли“, строго говорил: „Надо карандашиком записывать в тетрадку“. Я была склонна обижаться, подозревая иронию.

Мне часто советовал не разбрасываться и не торопиться. „Главное, чтобы капелька за капелькой падала в одну точку. Тогда и маленькая капелька горы разрушит“.

Если задавался вопрос по поводу непонятных слов или явлений, строго отсылал к словарю».

Ну и где тут *беспощадный властелин!*..

Можно, конечно, предположить, что в стихотворении «Жена» поэт по касательной задевает и себя, критично высказываясь об издержках собственного характера. Стало быть, он внимательнее присматривался не только к людям, но и к себе самому.

И, наверное, поэтому в эту пору его особенно занимает тема поэтического творчества. В стихотворении «Жена» она поставлена со всей остротой:

О чём ты скребёшь на бумаге?..

Этот вопрос — ко всем сочинителям, но в первую очередь он направлен к себе самому.

Разговоры о «Столбцах» и «Торжестве земледелия» негласно



запрещены в его доме. Опасная и болезненная тема, если вспомнить, как травил его за книгу и поэму литературная критика и чем закончилась эта травля. В культурной политике всё по-прежнему — как и в конце 1930-х годов, и память о *враге народа и его юродствующем творчестве* никуда не делась...

С другой стороны, та перемена стиля и языка, что произошла в Заболоцком после первой книги, тема слишком сложная, чтобы можно было походя задевать её в застольных беседах. *Столбцы*, может быть, и гениальны, но их поэтика не универсальна. Жизнь — в изменениях, превращениях, метаморфозах. Точно так же меняется и отношение к средству выражения мыслей и чувств — к языку.

С предельной взыскательностью и строгостью зрелое отношение Николая Заболоцкого к языку определено в стихотворении «Читая стихи» (1948):

Любопытно, забавно и тонко:  
Стих, почти не похожий на стих.  
Бормотанье сверчка и ребёнка  
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи  
Изошрённость известная есть.  
Но возможно ль мечты человечьи  
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово  
Превратить в щебетанье щегла,  
Чтобы смысла живая основа  
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды  
Нашим выдумкам, ибо она  
Не для тех, кто играет в шарады,  
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живёт настоящей,  
Кто к поэзии с детства привык,  
Вечно верует в животворящий,  
Полный разума русский язык.

Кто-то относил это произведение к скрытой полемике с Борисом Пастернаком (хотя, по нашему мнению, «прототип» всё-таки больше похож на Осипа Мандельштама), — сам же Заболоцкий решительно отвергал подобное мнение. Тут как раз таки — *общесущее*; тут — отрицание поэтической игры ради игры и утверждение *неслыханной простоты* настоящего искусства, а не искусных его поделок. И, конечно же, всё это обращено и к самому себе, к своему творчеству, прошлому и нынешнему.

Поэт, наверное, потому так и серьёзен, что уверен: *словом* пронизана вся жизнь, всё мироздание.

В ночной чёрной мгле, под небом, что играет «как колоссальный движущийся атом», ему чудится, будто «в другом углу вселенной» в этот же самый миг какой-нибудь поэт тоже, как он, стоит в саду и думает,

Зачем его я на исходе лет  
Своей мечтой туманной беспокою.  
(«Когда вдали угаснет свет земной». 1948)

Мотив творчества возникает и в ещё одном стихотворении этой поры — «Приближался апрель к середине» (1948). Казалось бы, оно о весне, о природе — но вот появляется в нём незнакомец, с ковригой хлеба в одной руке и старой книгой в другой (показательное соседство хлеба и слова):

Лоб его бороздила забота,  
И здоровьем не выдалось тело,  
Но упорная мысли работа  
Глубиной его сердца владела.

Пробежав за страницей страницу,  
Он вздымал удивлённое око,  
Наблюдая ручьёв вереницу,  
Устремлённую в пену потока.

В этот миг перед ним открывалось  
То, что было незримо доселе,  
И душа его в мир поднималась,  
Как дитя из своей колыбели.

А грачи так безумно кричали,  
И так яростно вётры шумели,  
Что казалось, остатки печали  
Отнимать у него не хотели.

Кто он, этот странный человек? Не самого ли себя встретил поэт?..

Никита Заболоцкий вспоминает, как в начале июля 1949 года они всей семьёй отправились в Крым. Неделю отдыхали в Гурзуфе у Томашевских, в домике на берегу моря. Потом поехали в Сочи к сестре Екатерины Васильевны — Ольге Васильевне, которая там жила с мужем и сыном. «В один из вечеров был устроен поход в открытый кинотеатр прибрежного санатория на опереточный фильм „Цыганский барон“. Возвращаясь домой, недовольный плохой кинокартиной и сожалея о напрасно потерянном времени, Заболоцкий остановился передохнуть на обрывистом берегу моря. В том году он начал полнеть, и сердце его не справлялось с повышенными нагрузками. Пока дети ловили светлячков, выющихся около кустов олеандра и самшита, он стоял поодаль, у обрыва, под которым шумело море, и вдруг стал торопить детей идти домой, так как с моря надвигалась гроза. Казалось, он тяготился прогулкой и был погружён в какие-то свои мысли, а между тем запечатлел в сознании и рой светлячков, и шум моря, и громоухание далёкой грозы. В светящихся точках насекомых он „звёздное чуял дыханье“ и по какой-то аналогии вспомнил рассуждения обэриутов о смысловом многообразии слов, рассуждения, уже в 50-х годах обобщённые им в двух черновых строчках: „Под поверхностью каждого слова шевелится бездонная тьма“. <...> Прошло несколько дней, и Заболоцкий прочитал стихотворение „Светляки“».

Слова — как светляки с большими фонарями.  
Пока рассеян ты и не всмотрелся в мрак,  
Ничтожно и темно их девственное пламя  
И неприметен их одушевлённый прах.

Но ты взгляни на них весною в южном Сочи,  
Где олеандры спят в торжественном цвету,  
Где море светляков горит над бездной ночи  
И волны в берег бьют, рыдая на лету.

Сливая целый мир в единственном дыханье,  
Там из-под ног твоих земной уходит шар,  
И уж не их огни твердят о мирозданье,  
Но отдалённых гроз колеблется пожар.

Дыхание фанфар и бубнов незнакомых  
Там медленно гудит и бродит в вышине.  
Что жалкие слова? Подобье насекомых!  
И всё же эта тварь была послушна мне.  
(1949)

Да, *эта тварь* была ему послушна.  
Но светляки-слова — лишь частицы Света, излучаемого Словом; они  
прилетают будто сами по себе и так же вдруг могут исчезнуть — надолго  
или навсегда.  
В последующие три года стихи у Заболоцкого не появлялись...

## «Агентурно характеризуется положительно...»

А может, Заболоцкий сам отгонял от себя эту назойливую мошкарку — слова-светляки?..

Сын-биограф, размышляя об этих трёх годах, пишет про отца-поэта:

«Он сознательно до отказа загружал себя переводами, чтобы истратить на них всю свою творческую энергию. Потом он не раз говорил, что грузины должны были бы поставить ему памятник, имея в виду не только высокое качество своих переводов, но и труд, и годы, затраченные на эту работу и потерянные для собственного творчества. Однако обстановка в стране была такова, что писать свои стихи он всё равно не мог и не хотел.

Время было тревожное. В газетах и на собраниях громили „безродных космополитов“, „идеологических диверсантов“, „пособников мирового империализма“. <...> Усиливались репрессии... Статья в „Правде“ или в „Культуре и жизни“ могла чуть ли не физически уничтожить любого писателя, невзирая на его заслуги и известность. По утрам Заболоцкий доставал из почтового ящика газету и ещё посреди комнаты торопливо разворачивал её. Пробежав глазами „подвальную“ статью, посвящённую очередной жертве, он негромко говорил жене:

— Вот. Опять!»

Вспомним Ахматову, её признание о временах гонений:

...петь я

В этом ужасе не могу.

Но ведь всё равно — *пели!*..

Не всё так просто, и, конечно, не всё напрямую связано с политической атмосферой. Ещё меньше вдохновение зависело от воли и желания писать или же молчать. Творчество — штука прихотливая: то приливы — то отливы, то взлёты — то падения. Даже переводы... казалось бы, обыденный ремесленный труд, но и те порой, непонятным образом, *не шли*:

«Дорогой Симон!

10-го числа я получил твой подстрочник и два дня просидел над ним. И веришь ли? — у меня ничего не получилось! То ли полоса такая нашла, то ли подстрочник в самом деле труден с его чёткими формулировками, —

вернее, и то другое *вместе*, — но факт тот, что перевод не удался. <...>

Всё это весьма печально, но я добросовестно приложил все усилия к тому, чтобы исполнить твою просьбу, и в этом отношении моя совесть перед тобой чиста. Постарайся на меня не очень сердиться: знаешь сам, что ремесло наше капризное и не всегда можно сделать то, что хочется» (из письма к С. И. Чиковани от 16 января 1949 года).

Волна поэтического вдохновения, что нахлынула на поэта в Сагурамо, постепенно ослабла, сошла на нет. Одним из последних её всплесков стало стихотворение «Тбилисские ночи» — возвышенно-романтическое признание в любви к земле Грузии в лице и образе некоей грузинской красавицы:

Отчего, как восточное диво,  
Черноока, печальна, бледна,  
Ты сегодня всю ночь молчаливо  
До рассвета сидишь у окна? <...>

Хочешь, завтра под звуки пандури,  
Сквозь вина золотую струю  
Я умчу тебя в громе и буре  
В ледяную отчизну мою?

Вскрикнул кони, разломится время,  
И по руслу реки до зари  
Полетим мы, забытые всеми,  
Разрывая лучей янтари.

.....  
Ты наутро поднимешь ресницы:  
Пред тобой, как лесные царьки,  
Золотые песцы и куницы  
Запоют, прибежав из тайги.

Поднимая мохнатые лапки,  
Чтоб тебя не обидел мороз,  
Принесут они в лапках охапки  
Перламутровых северных роз.

Гордый лось с голубыми рогами  
На своей величавой трубе,

Окружённый седыми снегами,  
Песню свадьбы сыграет тебе. <...>

Это написано в конце 1948 года. А вскоре — лирическая немота, из стихов — только иронические или шутливые строки *на случай*. Такие вот, например, — куда как далёкие от поэтических красот, зато близкие к новому месту проживания — Беговой деревне:

#### СЧАСТЛИВЕЦ

Есть за Пресней Ваганьково кладбище,  
Есть на кладбище маленький скит,  
Там жена моя, жирная бабища,  
За могильной решёткою спит.  
Целый день я сижу в канцелярии,  
По ночам не тушу я огня,  
И не встретишь на всём полушарии  
Человека счастливей меня!  
(1950)

Или же домашняя эпиграмма:

Не стало в доме мне житья,  
Исколото всё тело:  
На курсах кройки и шитья  
Жена осатанела.  
(Зима 1949–1950)

Эту эпиграммку поясняет письмо Заболоцкого Шварцам от 15 июля 1950 года, написанное *советским газетным штилем*:

«Моё семейство *ознаменовало* (курсив мой. — В. М.) лето *рядом крупных достижений*: а) Наталья сдала экзамены на пятёрки и перешла в 7-й кл. в) Никита, сдав экзамены, получил аттестат зрелости с пятью четвёрками, остальные — 5. с) Моя законная жена с *отличными показателями* закончила всемирно известные Курсы Кройки и Шитья и получила *соответствующий* диплом, вызывающий удивление во всей округе. Что касается меня, то я закончил свой труд (Важа Пшавела, том

поэм) и 15-го еду доделать его на месте и сдать в Тбилиси в изд-во». Очередная шутка адресована самому себе:

Мне жена подарила пижаму,  
И с тех пор, дорогие друзья,  
Представляю собой панораму  
Исключительно сложную я.  
Полосатый, как тигр зоосада,  
Я стою, леопарда сильней,  
И пасётся детёнышей стадо  
У ноги колоссальной моей.  
У другой же ноги, в отдаленье,  
Шевелится супруга моя...  
Сорок семь мне годков, тем не мене —  
Тем не мене — да здравствую я!  
(1950)

Вот, по существу, и всё, что за три года написано в стихах, не считая, конечно, переводов. Впрочем, был ещё короткий стишок — дарственная надпись Семёну Липкину на книге Важа Пшавела:

Семён, напрасно люди врут,  
Что Цезарь — я, а Липкин — Брут,  
А потому, хоть я и крут,  
Дарю тебе сей дивный труд.

Но вернёмся к *воздуху времени* — столь предгрозовому, душному, что его вполне можно бы назвать — удушающим: по крайней мере таким он стал для лирики Заболоцкого.

Знал или нет Николай Заболоцкий о принятом 21 февраля 1948 года законе, согласно которому все бывшие *контрики* — отсидевшие по 58-й статье — подлежали высылке из столичных городов в отдалённые районы страны или же новому заключению? Если и не знал, наверняка догадывался о том, что висит на волоске. Домашние запомнили, с каким недоверием изучал он свою новую *краснокожую паспортину*, выданную по отсидке срока. Может, вначале он только подозревал, но потом уже твёрдо знал: в серии паспорта зашифрована его судимость. *Социализм есть учёт*, и этот



основополагающий постулат первым делом касался *врагов народа*. При виде милиционера Заболоцкий старался любым способом избежать прямой встречи, опасаясь проверки документов. Да и с другими служебными людьми старался быть осторожнее. Екатерина Васильевна вспоминала: «Очень давила эта паспортная серия. Передвигаться по стране самостоятельно Николай Алексеевич не решался. В гостинице, где он должен был остановиться, он просил Союз писателей забронировать номер заранее главным образом потому, что боялся придинок к его паспорту».

Семён Липкин в рифму, но с документальной точностью описал случай, приключившийся однажды в начале зимы 1948 года с Николаем Алексеевичем в пригородном поезде:

Он у Кавериных нашёл покой и дом,  
Но помнил лагерь Казахстана,  
А я квартировал вблизи, и мы вдвоём  
Садилась в поезд постоянно,

И возвращались мы в вечернем феврале,  
Сходясь на Киевском вокзале.  
Вольготно водочкой с икоркой на столе  
При корифее торговали.

С подначкой, с шуточкой, у каждого портфель,  
Откушали — я сто, он двести —  
И в пригородный! Пусть шумит себе метель,  
Мы будем через час на месте.

Но что с ним? Оборвал свой смех. Взгляд напряжён.  
Смотрю туда же: грязь, окурки,  
Две тётки на скамье, а третий — кто же он?  
Очки. Треух. Тулупчик. Бурки.

«А в тамбуре — второй. Сейчас меня возьмут».  
Застывший взгляд и drobный шёпот.  
О, долгий ужас тех мистических минут,  
О, их бессмысленность и опыт!

Мы в Переделкине сошли. Сошёл и тот.  
А некто в форменной тужурке:

«Где будет Лукино?» — «Вон там». — И поворот.  
И я оглядываюсь: бурки!

Оставили шоссе. Свернули в Лукино.  
Проулками до дачи.  
Безлюдно и черно. Чуть светится окно.  
Есть водка. Будет чай горячий.

Волнуются жена и дети. Впятером  
Ждём час и два. Ну, слава Богу,  
Ошибка: не пришли! И он, дыша теплом,  
В себя приходит понемногу

И улыбается: «Начальника признать  
Легко, а бурки — признак первый».  
А Катя: «Коленька, могу тебя понять,  
В вагоне разыгрались нервы».

Я знаю, что собрат зверей, растений, птиц,  
Боялся он до дней конечных  
Волков-опричников, волков-самоубийц,  
Волчиных мастеров заплечных...  
(Из поэмы «Вячеславу. Жизнь Переделкинская»)

В этом добросовестном изложении есть неточность: в Караганде Заболоцкий был уже не лагерником, а полусвободным. И ещё: боялся ли он «до дней конечных»?.. Совершенно очевидно: до 1956 года, до XX съезда партии, поэт весьма опасался угодить в *повторники* — то есть снова стать зэком. Эта угроза была вполне реальна. Недаром, принимая в Переделкине старого друга И. С. Сусанина, Заболоцкий условился с ним больше не встречаться: зачем дразнить гусей? Ведь за обоими наверняка следят. А вот как зададутся важным вопросом: о чём это там шушукаются два бывших «врага народа», что замышляют? Да что товарищ по лагерю!.. Даже с родным братом Алексеем не захотел личной встречи. Помогать помогал младшему брату, попавшему к немцам в плен, а потом, уже на родине, отмотавшему за это десять лет лагерей, — а принимать у себя дома в Переделкине отказался. Бережёного Бог-то поберёт — но братья-то ведь больше так и не увиделись...

Есть свидетельства, что приступы даже не страха — но ужаса — порой охватывали Заболоцкого помимо воли и самообладания. Так, Наталия Роскина вспоминает, как ужаснулся поэт, когда она в декабре 1956 года в Доме творчества при посторонних раздражённо ответила одной даме: «Я человек не простой и не советский». По этому поводу Заболоцкий закатил ей целую сцену: так-де выражаться ни в коем случае нельзя. Роскина уточняет: она вовсе не считала Николая Алексеевича мелким трусом: «Напротив, я думаю, что весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что боятся трусы, а в том, что боятся храбрые».

А Николай Леонидович Степанов, много позже, рассказывал писателю Михаилу Синельникову (сыну товарища Заболоцкого по его питерской молодости Исаака Синельникова) про одно признание Заболоцкого, касаясь его дальневосточного лагеря: в зоне, под окном конторы, где он работал, всегда стоял дежурный гроб, в нём часто хоронили кого-нибудь из заключённых, «...чьё-нибудь скрюченное, истощённое тело», и гроб постоянно возвращался на своё место. «И Николаю Алексеевичу этот гроб снился»...

Заболоцкий, как оказалось, не ошибался: за ним действительно следили. Об этом чуть позже, а пока — про случай, произошедший в старинном украинском городке Богуславе, где Заболоцкие всей семьёй отдыхали летом 1951 года по приглашению Миколы Бажана.

«Неожиданно в середине августа, — пишет Никита Заболоцкий, — в Богуслав пришла телеграмма с известием о том, что в московскую квартиру доставлена повестка, предписывавшая Заболоцкому срочно явиться в милицию. Что было делать? Чувствовал Николай Алексеевич, что снова сгущаются тучи над его головой, и приготовился к самому худшему. Решил ехать один. Оставил семью в Богуславе и срочно вылетел в Москву, благо Бажан был в Киеве и помог достать билет на ближайший рейс.

В московском отделении милиции у Заболоцкого отобрали паспорт и, как человеку, имеющему судимость по 58-й статье, предложили в десятидневный срок покинуть город. Неужели снова изгнание? Нетрудно представить, что чувствовал в эти дни умудрённый жизнью поэт, слишком хорошо знавший, какие последствия сулит ему высылка из столицы. Телеграммой-молнией вызвал он жену, чтобы вместе срочно готовиться к отъезду.

Но куда же ехать? Николай Алексеевич написал письмо Э. Г. Казакевичу, который жил тогда в деревне Глубоково на востоке Владимирской области, и просил срочно сообщить, нельзя ли приехать к нему пожить некоторое время.

Эммануил Григорьевич сразу же догадался о причине просьбы и тут же ответил приглашением приехать в их деревенский домик. Сыну Николай Алексеевич велел подать заявку на место в студенческом общежитии, опасаясь, что после его высылки из Москвы квартиру отберут.

Семья готовилась к отъезду, а влиятельные писатели начали хлопоты, надеясь добиться хотя бы отсрочки репрессивного предписания властей. По настоянию В. В. Гольцева Н. С. Тихонов связался с генеральным секретарём Союза писателей А. А. Фадеевым и попросил его вмешаться в ход событий».

28 июля 1951 года Фадеев и Тихонов обратились с письмом к заместителю министра государственной безопасности С. И. Огольцову с просьбой отменить решение московской милиции о высылке Заболоцкого из Москвы, дав поэту наилучшую характеристику.

25 августа А. А. Фадеев написал большое письмо на имя министра госбезопасности СССР, выдвинув от имени секретариата Союза советских писателей ходатайство о снятии судимости с Н. А. Заболоцкого. К письму были приложены документы: справки из лагерей, характеристика главы Союза писателей Грузии на творческую и общественную работу поэта, справка о его литературном труде в последние пять лет и даже «книги с произведениями Заболоцкого в количестве 14-ти экз.».

Фадеев высказал твёрдое убеждение в том, что Заболоцкий заслужил снятие судимости:

«Учитывая, что Н. А. Заболоцкий — поэт высокой квалификации и продолжает расти, Секретариат Союза Советских Писателей СССР считает возможным и необходимым снять с него судимость, чтобы и это последнее обстоятельство уже не мешало Н. А. Заболоцкому войти в строй советской поэзии в качестве её равноправного участника и создателя».

Огольцов передал документ на рассмотрение Особого совещания. Началась проверка. Была вновь допрошена Н. М. Тагер, когда-то давшая показания на Заболоцкого. Теперь, через десять лет, она отрицала свои обвинения в адрес поэта.

Сохранился ещё один документ, по-видимому, обязательный в таких случаях:

«Совершенно секретно

СПРАВКА на ЗАБОЛОЦКОГО Николая Алексеевича

На ЗАБОЛОЦКОГО Н. А. после его освобождения из лагерей компрометирующих материалов не получено, агентурно характеризуется положительно.

Начальник 1 отдела 5 управления МГБ СССР

Полковник Агаянц 21 сентября 1951 г.».

Тогда же заместитель министра госбезопасности СССР генерал-полковник Гоглидзе утвердил Заключение о снятии судимости, с которым согласились целый ряд начальников управлений МГБ.

И, наконец, постановлением Особого совещания при министре ГБ СССР от 6 октября 1951 года судимость с Николая Алексеевича Заболоцкого была снята.

В ноябре поэт получил из органов официальную справку об этом. Он тут же написал письмо Фадееву:

«Дорогой Александр Александрович!

Сообщаю Вам, что судимость с меня снята и справка об этом мне выдана. Ещё раз сердечно Вас благодарю за возбуждение ходатайства по этому делу. В моей жизни — это большое и важное событие.

Уважающий Вас *Н. Заболоцкий*».

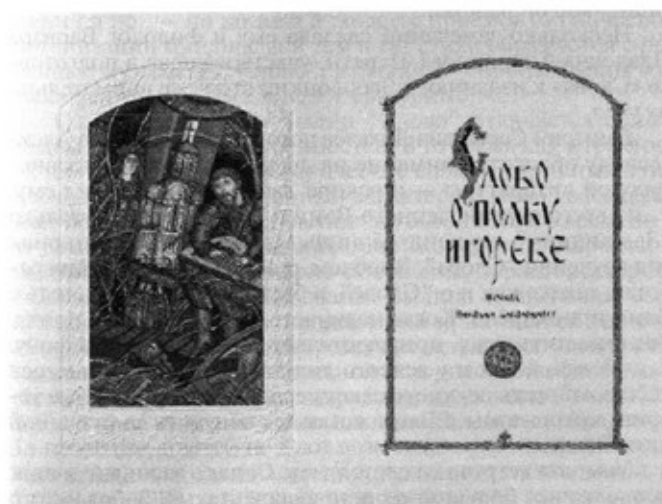
\*

Снятие судимости — это ещё не реабилитация. До реабилитации Заболоцкий так и не дожил. Лишь 24 апреля 1963 года по заявлению вдовы он был посмертно реабилитирован.

А тогда, в год снятия судимости, и позже, до конца жизни, близкие поэта знали: у отца всё готово, всё под рукой на самый непредвиденный случай: поясные ремни, валенки, тяжёлые сапоги и надёжный бушлат, а также «прекрасная рихтеровская чертёжная готовальня». Мало ли что?..

## Купель древнерусского эпоса

Судя по выбору книг для домашней библиотеки на Беговой, Заболоцкого основательно занимал русский и мировой народный эпос. Впрочем, этот интерес у него возник ещё в 1930-е годы, когда он взялся за переложение «Слова о полку Игореве». А шутивное письмо Шварцам (декабрь 1947 года), стилизованное под русскую былинку, говорит о том, что он уже плотно «вошёл» в дух древних сказителей. Как истинный художник слова, Заболоцкий осваивал всё необозримое пространство родного языка, — хотя и овладевал им весьма своеобразно, проделав в собственном творчестве как бы обратный путь — от авангарда до истоков, от изощрённой стилистической сложности *столбцов* до предельно скупых и точных красок поздних стихов и даже до простонародного слога. (Впрочем, заметим, и авангард его — хлебниковского закваса — изначально был фольклорным по существу.)



***Наиболее известные переводы Николая Заболоцкого разных лет***

Когда в феврале 1950 года знаток древнерусской словесности Дмитрий Сергеевич Лихачёв обратился к нему с предложением подготовить перевод «Слова о полку Игоре» для «Школьной библиотеки» и для серии «Литературные памятники», поэт с радостью согласился.

«Ваш перевод я ценю как современное поэтическое восприятие поэзии прошлого, — писал Лихачёв. — Поэтический перевод в данном случае и может быть только таким: переводом поэтической системы прошлого в

поэтическую систему настоящего».

Ознакомившись с замечаниями Лихачёва, Заболоцкий убедился в «просвещённом понимании» учёного тех сугубо поэтических задач, что стояли перед ним как переводчиком. Он сделал исправления там, где посчитал нужным, и попросил филолога сообщить его соображения по этому поводу. «На некоторые отдельные строфы перевода у меня имеется более сотни вариантов, — поведал Заболоцкий Лихачёву, — но всё же перевод, видимо, не созрел ещё окончательно даже в пределах того замысла, который я имел в виду». Любопытное признание, показывающее, насколько тщательно он работал.

Несколько замечаний сделала ему и филолог Варвара Павловна Андрианова-Перетц, участвовавшая в подготовке «Слова» к изданию, и Заболоцкий столь же внимательно их учёл.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв посоветовал Николаю Алексеевичу обратить внимание на другие памятники древнерусской литературы — и вскоре Заболоцкий ответил ему: «...из всего перечисленного Вами я прилично знаю только „Задонщину“, но ценю её лишь как подсобный материал для изучения „Слова“. Впрочем, о возможных будущих работах, так же как и о „Слове“, я был бы рад побеседовать с Вами при встрече. Когда надумаете быть в Москве, прошу Вас навестить меня, предварительно позвонив по телефону. <...> У меня, как и у всякого дилетанта, интересующегося „Словом“, есть всякие касающиеся его доморощенные теории, которые мы с Вами могли бы обсудить за бутылкой цинандали».

Увы, эта встреча не состоялась. Однако заочный диалог продолжился большой теоретической статьёй Заболоцкого «К вопросу о ритмической структуре „Слова о полку Игореве“», которую он написал в 1951 году. В ней поэт высказал свои представления о великом предшественнике безымянного автора «Слова» — Бояне, о «чудодейственной силе его таланта», об отношении создателя «Слова» к своему учителю.

Эта статья свидетельствует о том, что Заболоцкий глубоко проникся духом древнерусского эпоса и тонко понимал его поэтическую и песенную основу:

«И „Слово о полку Игореве“, и русские былины родились в одной купели древнерусского эпического песнотворчества. „Слово“, вероятно, долгое время только пелось и лишь впоследствии было „словесно“ записано в память потомству. Былины эмигрировали вместе с крестьянством на север, передавались из уст в уста, видоизменялись, но дошли до нас в живом исполнении крестьян-сказителей.



Потому ли, что былины Киевского цикла порождены иной социальной средой, потому ли, что на них лежит сильный отпечаток позднейшего бытования, — они представляются нам продуктом культуры не столь богатой, как культура, породившая „Слово“. И тем не менее не случайны те элементы сходства, которые были отмечены исследователями в „Слове“ и в былинах. Эти элементы сходства заключаются не только в близости речевых оборотов, интонационных рисунков, не только в сходстве эпитетов, сравнений и пр., — но также и в сходстве приёмов ритмической организации материала: и там и тут стихи образуются с помощью музыки. И „Слово“, и былины — произведения музыкально-вокальные, а не литературные. <...>

Однако от этих же былин „Слово“ отличается целым рядом характерных особенностей. В то время как в трактовке киевской былины историческое событие принимает отвлечённый и даже сказочный характер, „Слово“ рассказывает об историческом событии „по былинам сего времени“, т. е. исторически правдоподобно, конкретно. Характеры былинных героев суммарно обобщены, характеры героев „Слова“ индивидуализированы. Былина воспитывает своего слушателя в общем направлении присущей ей идеологии, „Слово“ же является средством актуального политического воздействия в конкретной исторической обстановке. <...> Былина — продукт творчества коллективного, „Слово“ — произведение одного автора. Все эти соображения (а также ряд других) не дают возможности считать „Слово“ произведением фольклора. Но, принимая во внимание те черты сходства, о которых речь была выше, следует предполагать, что и ранняя былина, и „Слово“ восходят к некоторым общим истокам древнерусского песнотворчества».

Заболоцкий вынашивал заветную мысль — составить Свод русских былин. Огромная по замыслу работа!.. У себя дома на Беговой он собрал основные издания былин: начитывался, с карандашом в руках изучал статьи учёных-фольклористов. Для пробы сам обработал былинный сюжет об исцелении Ильи Муромца. Вот его окончание:

Тут взнуздал коня Илья Муромец,  
Сам облатился, обкольчужился,  
Взял он в руки булатную палицу,  
Опоясался дорогим мечом.  
То не дуб сырой к земле клонится,  
К земле клонится, расстилается —  
Расстилается сын перед батюшкой,

Просит отчего благословения:  
«Уж ты гой еси, родный батюшка,  
Государыня родная матушка,  
Отпустите меня в стольный Киев-град,  
Послужить Руси верой-правдою,  
Постоять в бою за крестьянский люд!»

28 марта 1951 года Заболоцкий составил продуманную докладную записку на имя главы Союза писателей А. А. Фадеева. «Многие культурные народы» уже имеют систематические своды своих эпосов, говорилось в ней. Есть, к примеру, Песни Оссиана, «получившие всеобщее признание», — а ведь «часть научной критики» в своё время скептически отнеслась к составлению такого свода.

«Собиратели русских былин не посчитали себя вправе систематизировать свои записи и печатали их в том виде, в каком они были сделаны со слов народных сказителей, — замечает Заболоцкий. — Для наших собирателей было характерно высокое чувство ответственности перед наукой. Гильфердинг, например, писал: „Я считаю эпические песни, сохранившиеся в народе нашем, настолько ценными для науки, что они заслуживают все издания“. Но вместе с тем все сделанные им записи былин Гильфердинг считал „сырым материалом“, он считал, что для „полного, окончательного издания“ былин ещё не наступило время; он мечтал об „очищенном издании“ избранных былин.

Все наши собиратели, начиная с Кириши Данилова и кончая советскими собирателями, проделали огромную работу накопления сырого материала. <...>

Всеобщий интерес к народному эпосу, проявленный русским обществом прошлого века, а также нужды школьного преподавания настоятельно потребовали удобочитаемого свода былин. На протяжении столетия было сделано несколько попыток выполнить эту работу. Среди этих попыток следует особо отметить сводную работу Л. Н. Толстого о четырёх старших богатырях, Острогорского — об Илье Муромце, книгу Авенариуса для школьного и домашнего чтения... <...> и др. Однако большинство этих книг выполнено авторами без достаточной научной подготовки и при весьма невысоких поэтических данных.

В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка *дело организации народного эпоса в единое стройное целое следовало бы считать делом общенародного и*

государственного значения... (курсив мой. — В. М.)».

Далее Заболоцкий определил принципы и методологию составления подобного свода, убедительно обосновав, что этим делом должны заниматься «поэты-составители».

Однако свою докладную записку Фадееву он так и не отправил.

Кардинально переделав её и заострив, в следующем, 1952 году Заболоцкий написал статью «О необходимости обработки русских былин». Основная мысль статьи в том, что народ, владея богатейшим фольклорным материалом, по существу не знает своих древних былин. Это странное положение, подчёркивает Заболоцкий, хорошо определил профессор Н. В. Водовозов: «Получается совершенно недопустимое положение, когда даже высококультурный Читатель в нашей стране, отлично знающий „Илиаду“, „Одиссею“, „Песнь о Роланде“, „Калевалу“ и другие народные эпосы, почти не знает великолепного эпоса русского народа».

Заболоцкий разобрал суть деятельности Водовозова по своду былин и пришёл к выводу, что эта работа выполнена робко, половинчато и методологически неправильно:

«Мне кажется, работу над былинами должен выполнить художник слова, поэт, имеющий достаточную научную подготовку и хорошо знающий язык своего народа. В основу его работы должны лечь следующие соображения:

1. Наши былины не представляют собой единого композиционно цельного произведения, хотя многие из них сюжетно связаны между собой. С этим обстоятельством надо считаться. На основе былин можно написать самостоятельное единое произведение, но превратить народные былины в целостный единый свод нельзя. Былины должны оставаться былинами. <...>».

Он предложил обрабатывать каждую былинку, отбирая и сличая все подобные сюжетные записи; очищать былины от диалектизмов, сохраняя их первоначальную народность; сделать стих тоническим, легко читаемым, — и здесь, разумеется, потребуется «смелая и сложная работа художника-поэта»:

«Воссозданные таким образом былины могут стать действительным достоянием народа, но уже не как произведение вокального творчества, а как произведение книжной общенародной литературы. Особое значение они будут иметь для школ и для воспитания советской молодёжи».

Статья явно предназначалась для печати, но не была опубликована и увидела свет лишь спустя 30 лет в собрании сочинений поэта.

Д. С. Лихачёв, узнав о намерении Заболоцкого обработать былины для

детей, поддержал идею: «От всей души желаю Вам успеха в этом деле. Я искренне люблю былины, народные лирические песни и плачи. В них необыкновенные красоты, но красоты эти часто перемежаются с длиннотами, с бледными местами. Здесь надо выбирать, отбрасывать лишнее, иногда соединять из разных мест. <...> Итак, желаю Вам полного успеха в вашем большом, патриотическом замысле. Пусть Ваши „Былины“ будут самыми русскими, самыми народными, сохранят в себе всю свежесть полей и пашен Руси, пусть их любят дети и взрослые. Я уверен, что Вам удастся эта книга».

Переводчик Лев Озеров, встретившись с Заболоцким в начале 1950-х годов, впервые услышал от поэта не то чтобы жалобу, но вздох касаясь самочувствия:

«— Раньше с утра до вечера мог сидеть над строфой. Сейчас быстро устаю, не могу долго сидеть. — И после паузы: — Ведь я сверхсрочник. Врачи давно меня списали. Жаль, у меня планов много...

Одним из таких планов он поделился со мной:

— Хочу дать свод былин как некую героическую песнь, слитную и связную. <...> У нас нет ещё своего большого эпоса, а он был, как у многих народов, был, но не сохранился целиком. У других — „Илиада“, „Нибелунги“, „Калевала“. А у нас что?.. Обломки храма. Надо, надо восстановить весь храм».

Несколько лет Заболоцкого не оставляла эта идея. Весной 1953 года в письме Томашевским он сообщал, что осенью собирается взяться за былины. Но приступить к их обработке ему так и не пришлось. Его заявка в Детгиз получила отрицательные рецензии фольклористов и практически была отклонена. А без договора браться за многотрудное дело он не мог.

Как ни хотел *послужить Руси верой-правдою, постоять за крестьянский люд* — не довелось.

## «Вечно светит лишь сердце поэта...»

*Внешняя жизнь* Заболоцкого в начале 1950-х — накатанная колея. Кроме происшествия с паспортным режимом, ничего особенного: постоянная работа над переводами, поездки в Грузию, Крым, деловые встречи в Москве, общение с друзьями.

Жена, Екатерина Васильевна, вспоминала, как осенью 1950 года Симон Чиковани свозил их в Кахетию. Остановка на Гомборском перевале, прогулка. «По ярко-синему небу ползли лиловые тучи, серые стволы платанов поднимали к небу лимонно-жёлтую листву, а внизу переплетался кустарник, пылая всеми оттенками красного и жёлтого. Шли мы не больше получаса, наверное, меньше. Николая Алексеевича не тяготила, как обычно, эта прогулка. Лицо его светилось чистотой, выражало восторг, и он без обычной замкнутости делился своими впечатлениями».

Да и сам поэт черкнул после Грузии несколько строк Миколу Бажану: «Съездили мы в Кахетию — побывали в Кварели, Гурджаани, осмотрели Грими, где я чуть не помер от страха, карабкаясь на башню и особенно спускаясь вниз».

Гомборский лес он припомнил через несколько лет, когда переживал очень непростое для себя время и отыскивал в душе опоры:

Здесь осень сумела такие пассажи  
Наляпать из охры, огня и белил,  
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,  
А клён, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лёг на поляне, украшенной дубом,  
Я весь растворился в пыланье огня.  
Подобно бесчисленным арфам и трубам,  
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,  
Я стал размышлением каменных скал  
И опыт осенних моих наблюдений  
Отдать человечеству вновь пожелал. <...>

В марте 1951 года он снова в Грузии — с Павлом Григорьевичем Антокольским ведёт всесоюзный семинар молодых поэтов. Антокольский вспоминал: «Он был критиком благожелательным, по-своему строгим, но не придиричивым. Он легко схватывал главное — не в молодом поэте как таковом, не в его личности, а в самих стихах, в их тексте, в смысловой нагрузке, а не в формальных, внешних особенностях. Ум у него был аналитический и в то же время склонный к обобщению чужого опыта (или неопытности — всё равно)».

Молодые семинаристы в большинстве не знали Заболоцкого-поэта: «Столбцы» недоступны, публикации редки. Однако слушали его внимательно, чувствуя, насколько важны его суждения. Антокольский признавался: в этой шумной, непринуждённой и, «если угодно, беззастенчивой» обстановке Заболоцкий, семью годами младше его, казался самым старшим и наиболее умудрённым в тайнах искусства.

«В дни семинара несколько раз нам пришлось сидеть вдвоём за ресторанным столиком. И это были случаи, когда Николая Алексеевича покидала его скованная сдержанность. Он любил хорошо поесть, любил ресторанный быт, его обрядность, ожидание заказа, явление официанта. Любил разглядывать посетителей; правда, он молчал, не делился своими наблюдениями, но явно был доволен, где-то регистрировал про себя — благодушно и беспристрастно».

Поэт ещё не достиг полувека, а его здоровье, подорванное лагерями, начало сдавать. На рубеже 1951–1952 годов он оказался в глазной клинике и долго (как всегда, аккуратно) лечился. Начались проблемы с сердцем...

Закончив книгу Важа Пшавела, над которой он увлечённо работал полтора года, Заболоцкий принялся за Давида Гурамишвили. В августе 1952 года Грузия отмечала 160-летие со дня смерти Гурамишвили, и Заболоцкий слетал на несколько дней в Тбилиси. По возвращении уехал с женой на съёмную дачу в подмосковную Апрелевку, но, как пишет сын Никита, прожил там недолго. «На даче окотилась привезённая из города трёхцветная кошка Фроська, котята пищали и мешали спать. Николай Алексеевич рассердился и уехал в город. В городской квартире жить было трудно из-за жары, он взял путёвку и отправился в Дом творчества в Дубулты на Рижском взморье».

Прежде посторонний шум ему не досаждал: поэт умел так погрузиться в работу, что не замечал ничего. Инженер-геолог Борис Абрамович Петрушевский, новый сосед Заболоцких по лестничной площадке, запомнил случай, когда обычно вежливый, учтивый и сдержанный Заболоцкий вдруг вышел из себя: «На площадке перед нашим домом

весьма великовозрастные школьники играли в футбол, адресуя мяч больше в наши садики, чем друг другу. Просьбы перестать не имели, конечно, успеха. И вот Заболоцкий выскочил из подъезда, почти побежал к играющим и начал кричать и грозить». Конечно, это было исключение из правил...

О *внутренней жизни* Заболоцкого начала 1950-х известно мало, — судить о ней можно лишь по стихам и редким свидетельствам близких к нему людей.

Стихи его, после трёхлетнего молчания, изменились по тону: в них нет ни романтического напора, ни возвышенных слов, поубавилась жизненная энергия, — они стали проще, задумчивее, грустнее.

В этом мире, где наша особа  
Выполняет неясную роль,  
Мы с тобою состаримся оба,  
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,  
Наша жизнь в заповедном краю,  
И встречаем мы здесь молчаливо  
Неизбежную участь свою.

Но когда серебристые пряди  
Над твоим засверкают виском,  
Разорву пополам я тетради  
И с последним расстанусь стихом.

Пусть душа, словно озеро, плещет  
У порога подземных ворот  
И багровые листья трепещут,  
Не касаясь поверхности вод.  
(«Старая сказка». 1952)

В последней строфе — предчувствие смерти, — и даже сам миг её словно бы легко набросан трепетом осенних листьев, невесомо замерших в воздухе...

Перед земным концом слышнее совесть — *совесть* — врождённый голос свыше:

Жизнь растений теперь затаилась  
В этих странных обрубках ветвей,  
Ну а что же с тобой приключилось,  
Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,  
Драгоценную душу твою,  
Отпустить, чтоб скиталась по свету,  
Чтоб погибла в далёком краю?

Пусть непрочны домашние стены,  
Пусть дорога уводит во тьму, —  
Нет на свете печальней измены,  
Чем измена себе самому.  
(«Облетают последние маки». 1952)

К кому он обращался, кого укорял?.. Думал ли и о себе?..  
Вершины той лирической волны осени 1952 года — стихотворения  
«Воспоминание» и «Прощание с друзьями»: думы о гибельном лагерном  
прошлом и память о друзьях молодости — поэтах.

Нет сведений о том, с какими из поздних стихов погибших товарищей  
удалось познакомиться Заболоцкому — и удалось ли вообще, но очевидно  
— он был уверен: и Хармс, и Введенский, и Олейников — остались самими  
собой, не изменили себе. А вот сам он изменился — по крайней мере в  
поэтике. Было ли это *изменой себе самому*? Никому не ответить на этот  
вопрос, — и, похоже, он и сам не знал ясного и твёрдого ответа. Но тоска  
по дерзкой молодости, когда был найден ярко выраженный собственный  
стиль, всё же, кажется, присутствует в последних строках стихотворения.  
Или это недовольство собой за какое-то соглашательство с  
действительностью, обернувшееся ущербом для творчества?..

В ту пору у его товарищей начались полувековые юбилеи, и словно бы  
для передышки от сомнений и тяжёлых дум поэт насочинял кучу шуточных  
стишков. В Каверине он добродушно высмеивает писательскую  
дотошность («Пустячок, и тот опишет Сбоку, в профиль и в анфас») и  
добродетель *вино-не-пития, органично сочетаемую с питием лекарств*  
 («Где ты, девка Аграфена? Чтобы справить юбилей, Хоть бы раз без  
миграфена Нам шампанского налей!»). А уж Степанову досталось по  
сверхполной программе!.. Тут и «Похвальное слово о Колином



телосложении» («Наконец, в середине чрева, *Если скинешь ты тулуп,*  
Обнаружить может дева / Колоссально мощный пуп»), и целая серия коротких басен: «Невоздержанный едок», «Коля и муравей» и пр. — явно связанных с одним из главных предметов исследовательских работ Николая Леонидовича — великим баснописцем Крыловым. Забавы и предмета ради Заболоцкий слегка воспроизводил старинный басенный стиль:

Однажды Колю блошка покусала.  
— Ахти, проклятая! — сказал он. — Вижу я,  
По возрасту ты мне годишься в сыновья.  
Однако ж уважать не думаешь нимало.  
— Неправда, — блошенька в ответ, —  
Тебя я слишком уважаю,  
А ежели и обижаю,  
То лишь затем, что пищи лучшей нет.  
(«Коля и блоха»)

Или:

Прелестна курочка, попавши Коле в щи,  
Сказала из горшка ему: — Тащи,  
Тащи меня за крылышко, философ,  
Затем, что курица питательна для россов.  
(«Догадливая курица»)

Но вот прошли юбилеи друзей — и на свои собственные полвека Заболоцкий пишет горькое, странное, мистическое стихотворение — «Сон» (1953).

В этом же году создан цикл восьмистиший «Весна в Мисхоре». В нём дышит недавняя история, и весь цикл так или иначе связан с переломной вехой в жизни страны — кончиной И. В. Сталина. Первое стихотворение — про *кривое деревце Иуды*: известно, Сталин, почти окончив духовную семинарию, вместо служения Богу принялся служить революции. Что будет в стране после его смерти?

Весна блуждает где-то рядом,  
А из долин уже глядят

Цветы, напитанные ядом  
Коварства, горя и утрат.  
(«Иудино дерево»)

На смерть вождя Заболоцкий не откликнулся ни строкой, хотя официальная пресса требовала стихов от поэтов, в том числе и от него. Перевёл лишь одно стихотворение — Миколы Бажана, «приличное» (впрочем, пока оно проходило, что-то сдвинулось в политике, и стихотворение не напечатали). А от перевода посмертных стихов Иосифа Нонешвили отказался: слишком льстиво и угодливо.

Но вернёмся к циклу «Весна в Мисхоре». Во втором восьмистишии «Птичьи песни» — хвала свободному творчеству:

.....  
Величайшие наши рапсоды  
Происходят из общества птиц.  
Пусть не слушает их современник,  
Путешествуя в этом краю, —  
Им не нужно ни славы, ни денег  
За бессмертную песню свою.

И, наконец, четвёртое стихотворение — уже за гранью общественных событий — о вечной жизни Земли и о приближающемся конце земной человеческой жизни:

Посмотри, как весною в Мисхоре,  
Где серебряный пенится вал,  
Непрерывно работает море,  
Разрушая окраины скал.  
Час настанет, и в сердце поэта,  
Разрушая последние сны,  
Вместо жизни останется эта  
Роковая работа волны.

Лидия Борисовна Либединская вспоминает, как в середине марта 1953 года (то есть через неделю-полторы после смерти Сталина) они с мужем

приехали в Мисхор и поселились в санатории «Сосновая роща». А вскоре туда же прибыла чета Заболоцких.

«Ярко светило солнце, деревья одевались в белые и розовые пенистые одежды, билось о берега по-весеннему синее море. Природа невольно вовлекала нас в свой каждодневный праздник. Мы много ездили по Крыму на машине. Поднимались на Ай-Петри, гуляли по узким улочкам Гурзуфа и Алупки, бродили по тенистым аллеям Никитского сада. Заболоцкий охотно принимал участие в прогулках и поездках. Но вдруг среди самого оживлённого и весёлого разговора становился серьезен и взволнованно говорил о том, что тогда волновало всех, о том, что началась новая страница истории России, а следовательно, и советской литературы.

— Я уверен, — сказал он однажды, — что у каждого настоящего поэта лежат в столе стихи, написанные за много лет. Теперь их можно будет опубликовать, и тогда станет ясно, что наша поэзия всегда была богата и разнообразна!»

Разумеется, он говорил и о себе, о своих стихах и поэмах — самых лучших, — которым столько лет не было ходу.

Как-то Либединская заметила, что поэт сам не свой: мрачен и раздражён. И так — несколько дней подряд. Они с мужем забеспокоились, стали расспрашивать Екатерину Васильевну. И были поражены, когда та ответила, что Николай Алексеевич хочет писать стихи, но не позволяет себе это делать. Однажды женщина набралась храбрости и напрямую спросила Заболоцкого, правда ли это.

«— Лидия Борисовна, — сказал он вежливо (даже слишком вежливо!) и немного назидательно, — стихи надо писать, когда не можешь их не написать. Тогда читатель не сможет их не прочитать. А если писать обо всём... то получатся стихи вроде тех, что я на ходу сочиняю во время наших поездок, — и он прочёл пару смешных миниатюр.

Я пыталась возразить: под этими строчками не отказался бы подписаться Козьма Прутков.

— Нет, нет... — Николай Алексеевич поморщился и досадливо отмахнулся. — Стихи писать легко, поэтом быть трудно».

Мужество художника — в ответственности: за свой дар он отвечает по самому высшему счёту. Этим настроением пронизаны почти все стихи той поры. И Заболоцкий вдруг словно бы даёт читателю ключ к своему творческому характеру, возмужавшему на родной земле и обязанному ей своей силой:

Я воспитан природой суровой,

Мне довольно увидеть у ног  
Одуванчика шарик пуховый,  
Подорожника твёрдый клинок.

Чем обычной простое растение,  
Тем живее волнует меня  
Первых листьев его появление  
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,  
Где ручей, задыхаясь, поёт,  
Пролежал бы всю ночь до утра я,  
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли  
Всё текла бы, текла сквозь листья,  
И туманные звёзды светили,  
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму,  
Посреди очарованных трав,  
Всё лежал бы и думал я думу  
Беспредельных полей и дубрав.  
(1953)

И вновь — про *измену себе самому*: стихотворение «Неудачник» (1953). Оно о тоскующем человеке, который когда-то повстречался с настоящим в жизни, но отвернулся от него.

Ты бы вспомнил, как в ночи походные  
Жизнь твоя, загораясь в борьбе,  
Руки девичьи, крылья холодные,  
Положила на плечи тебе. <...>

Любовь ли это была или муза?.. Но человек, по трезвому и тщательному размышлению, предпочёл свою наезженную колею, свой суетливый и глухой путь.

Поистратил ты разум недюжинный  
Для каких-то бессмысленных дел.  
Образ той, что сияла жемчужиной,  
Потускнел, побледнел, отлетел.

Вот теперь и ходи и рассчитывай,  
Сумасшедшие мысли тая,  
Да смотри, как под тенью раковой  
Усмехается старость твоя.

Не дорогой ты шёл, а обочиной,  
Не нашёл ты пути своего,  
Осторожный, всю жизнь озабоченный,  
Неизвестно, во имя чего!

Рядом и другое стихотворение — «Ночное гулянье» (1953). Оно вроде бы откровенно назидательно и весьма далеко от художественного совершенства. Заболоцкий в нём противопоставляет свету искусственному, показной игре: пиротехническим ухищрениям, «фантастическим выстрелам ночи», — свет истинный:

Улетит и погаснет ракета,  
Потускнеют огней вороха...  
Вечно светит лишь сердце поэта  
В целомудренной бездне стиха.

Что и говорить — формула. Прекрасная, чистая, вечная!

Кому-то она может показаться чересчур высокопарной. Да, Заболоцкий тут идёт, словно по канату, но он доверяет читателю. Нужно отдать должное его простодушной прямоте: в её основе некрасовская полнота чувства: *я не люблю иронии твоей...* И речь ведь о самом для него святом — о поэзии.

# **Глава двадцать первая**

## **ВОИН В ПОЛЕ**

## Голос иволги

*Целомудренная бездна стиха — та же целомудренно бедная заутреня, которой лесная иволга встретила Заболоцкого после немоты неволи.*

*Иволга* и есть его поэзия, от которой он, бывало, зарекался, как от беды, и отгораживался, — но она была его единственным настоящим счастьем и спасением и не оставила его.

Послевоенное стихотворение «В этой роще берёзовой» (первоначально — «Иволга») — пожалуй, самое открытое, самое обнажённое его стихотворение о своей душе и судьбе.

Спой мне, иволга, песню пустынную.  
Песню жизни моей.

Недаром чуть раньше, на Алтае, ненароком, на пороге избушки, в предчувствии возвращения к поэзии, и сам он запел — может быть, в единственный раз по-настоящему серьёзно — самую *пустынную* из всех земных песен: «Выхожу один я на дорогу...».

Но ведь в жизни солдаты мы... —

признаётся, словно бы вспоминает, он в стихах про иволгу.

Войны — прошедшие, будущие... взрывы — обычные и чуть ли не ядерные... руины смерти...

Молчаливая странница,  
Ты меня провожаешь на бой...

Он знает: *солдату*, воину — суждено погибнуть в бою. Но и по смерти *в сердце разорванном*

...голос твой запоёт.

Уверен: поэзия и тогда не оставит его.

Людям, видевшим его в жизни, Николай Алексеевич Заболоцкий казался похожим то ли на бухгалтера, то ли на другого конторского служащего. Многие думали: такая внешность — обманка, защитная маска. Лишь самые внимательные понимали: да нет тут никакой личины, всё естественно. Но взгляды в ленинградскую фотографию Заболоцкого 1932 года: строгие, чёткие, чеканные черты лица, суровый, углублённый в нечто и в себя взор. И — минуя кучу домашних любительских снимков, с лысинками, парусиновыми костюмами, полосатыми пижамами, — посмотрим на московский фотопортрет 1958 года, на котором поэт, в светлом костюме, с гордой, полной достоинства осанкой, сидит в кресле: те же, как в молодости, чеканные черты, тот же твёрдый, сильный, серьёзный взгляд. Только выражение лица другое: на молодом снимке в глазах скрытый вопрос: что там в будущем? — а четверть века спустя виден уверенный ответ: игра сыграна, дело сделано, и сам он в полной силе ума и дарования.

Первое впечатление от Заболоцкого обмануло почти всех — и понятно почему. Говоря простодушным афоризмом Леонида Ильича Брежнева, экономика должна быть экономной, культура — культурной, а живопись, само собой, — живописной. Поэт, соответственно, должен быть — поэтичным.

Давид Самойлов пишет в мемуарном очерке 1973 года:

«По Дубовому залу старого Дома литераторов шёл человек степенный и респектабельный, с большим портфелем. Шёл Павел Иванович Чичиков с аккуратным пробором, с редкими волосами, зачёсанными набок до блеска. Мне сказали, что это Заболоцкий.

Первое впечатление от него было неожиданно — такой он был степенный, респектабельный и аккуратный. Какой-нибудь главбух солидного учреждения, неизвестно почему затесавшийся в ресторан Дома литераторов. Но всё же это был Заболоцкий, и к нему хотелось присмотреться, хотелось отделить от него Павла Ивановича и главбуха, потому что были стихи не главбуха, не Павла Ивановича, и значит, внешность была загадкой, или причудой, или хитростью.

Заболоцкий сидел, поставив на пол рядом с собой громадный портфель, и слушал кого-то из секции переводчиков. И вдруг понималось: ничего сладостного и умильного в лице. *Черты его правильны и строги. Поздний римлянин сидел перед нами и был отрешён, отчуждён от всего, что происходит вокруг. Нет, тут не было позы, ничего задуманного, ничего для внешнего эффекта* (курсив мой. — В. М.)».

Самойлов чуть неточен в одном, — хотя по духу почти угадано: не



«поздний римлянин» — *воин*.

Разве вся жизнь Заболоцкого не была вечным сражением?

По молодости изрядно поголодал в обеих столицах, чтобы получить образование; и тогда же в творчестве сражался за самобытность, пока не преодолел чужое влияние и не обрёл неповторимый стиль. Зрелым мастером в борьбе с ордой критиков отстаивал своё слово. В лагерях сумел выстоять в смертельной схватке за собственную жизнь. Вспомним тюрьму, физические и моральные пытки во время следствия — какую стойкость он проявил! И победил извергов: никого не выдал, ни на кого не дал «показаний». В долгом заключении до конца бился за справедливость с всемогущей карательной системой, так и не признав своей вины. А по освобождении заново отвоевал своё место в литературе, причём враги-то оставались прежние: критик Тарасенков — главный редактор издательства «Советский писатель», — там шла третья книга стихов; доносчик Лесючевский, позже — директор того же издательства, куда пришлось нести рукопись четвёртой книги. Каково же было Заболоцкому прямо или косвенно общаться с этими людьми, что столько крови выпили и чуть не погубили... Или, скажем, Юрий Либединский, бывший рапповец, партиец — он оказался в соседях по Беговой деревне и потом чуть ли не в приятелях. А ведь прежде был противником, клеймил поэзию Заболоцкого, учил его пролетарскому уму-разуму. В 1950-х годах Либединского *прикрепили* к беспартийному поэту, дабы нёс несознательному автору свет марксизма-ленинизма и истории ВКП(б). Когда Либединский ни с того ни с сего вдруг начинал на людях декламировать наизусть что-нибудь из «Столбцов», Заболоцкий был вне себя, не понимая, что это: телячий восторг или же скрытая провокация на предмет разоблачения затаившегося *врага народа*?

Сам Заболоцкий напрямую никогда не называл себя воином. Оно и так понятно: настоящий поэт — воин духа. Но порой, крайне редко, это прорывалось в стихах — в виде образов, сравнений. Вот стихотворение «Ночь в Пасанаури», где рассказ — о купании в горной реке:

И вышел я на берег, словно воин,  
Холодный, чистый, сильный и земной...

Наверное, это излучение ощущали и его товарищи. Недаром Александр Гитович, участник войны, в посмертном стихотворении набросал:

Он, может, более всего  
Любил своих гостей, —  
Не то чтоб жаждал ум его  
Особых новостей,

Но мил ему смущённый взгляд  
Тех, кто ночной порой  
Хоть пьют, а помнят: он — солдат,  
Ему наутро в бой.  
(1961)

Понятно, что это за бой будет наутро: переводы, переводы... а может, сначала и собственные стихи. Ведь первой в его *воинском служении* — была поэзия.

Вот, пожалуй, чуть ли не единственное признание Заболоцкого о себе самом — человеке и творце, сделанное на закате жизни, в очень трудные для него годы:

Дурная почва: слишком узловат  
И этот дуб, и нет великолепия  
В его ветвях. Какие-то отрепья  
Торчат на нём и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы  
Он так развил, что, кажется, ударь —  
И запоёт он колоколом славы,  
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен  
Среди своих безжизненных равнин.  
Кто говорит, что в поле он не воин?  
Он в поле воин, даже и один.  
(«Одинокий дуб». 1957)

Тут и о творчестве, и о судьбе, и о личном — ведь всё это неразъединимо. Как неразъединима жизнь: что бы в ней ни случилось, она одна. И *столбцы*, и *классические* стихи написаны одним и тем же

человеком (кстати, уверенным в том, что характер складывается в первые пять лет жизни). Так что принципиальный вопрос о Заболоцком, поставленный Ириной Роднянской в статье «Единый текст»: «А ещё и того больше: менялся ли поэт вообще?» — подразумевает вполне определённый ответ. Тем более что Роднянская исходит из совершенно справедливого постулата: «Развёртывание художником своего дара во времени — всегда единый текст».

Между тем мнения толкователей его творчества, как уже и прежде говорилось, сильно расходятся.

Литератор-эмигрант Вячеслав Завалишин вскоре после смерти поэта писал: «Переход Заболоцкого от футуризма к классицизму представляется мне в какой-то мере вынужденным, навязанным поэту извне. И совсем не случайно, что этот переход последовал после злостных выпадов официальной критики».

Это взгляд со стороны, взгляд человека, лично не знакомого с поэтом. Но примерно так же, хотя несравненно глубже и развёрнутее, объясняла себе этот переход хорошо знавшая Заболоцкого в последние его годы Наталия Роскина (впрочем, её размышления на эту тему несколько противоречивы):

«Трудно, на мой взгляд, нанести большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его или похвалить его за отказ от поэтических исканий молодости. Именно эти искания, эти годы провозглашения его поэтической личности остались в его памяти лучшими. Именно ими он безгранично дорожил, и, отказываясь судить о „политике“, всячески устранившись от неё, он сознательно строил свой духовный мир на верности и твёрдости своих поэтических идеалов. <...> Как-то он мне сказал, что понял: и в тех классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко индивидуальных. Эта идея, видимо, поддерживала его. Помогала ему и его страстная и давняя любовь к классической поэзии. Всё это, как мне кажется, были лишь самоутешения в той беспрецедентной в истории мировой поэзии эпохе, когда партия и правительство диктовали поэту все формы существования, в том числе и поэтические».

Но не преувеличивает ли роль *политики* на художественное творчество такая точка зрения?

Чувствуя это, Вениамин Каверин высказывается о переходе Заболоцкого на новый стиль несколько иначе, однако его мнение половинчато. Согласно Каверину, тема хоть и навязана «необходимостью», но искусство рождается вопреки «социальному заказу».

Лев Озеров, не сомневаясь, отрубил: «Нет двух Заболоцких, есть мастер в развитии от своего „штурм унд дранг“ [буря и натиск] до своей классики».

Поэт Владимир Корнилов вспоминает, что долго не понимал, как мог Заболоцкий, «последователь Хлебникова», прийти к классическому, «даже несколько архаичному стиху», сближающему его с Боратынским и Тютчевым. Признётся: забывая, что поэт — явление естественное, беспримесное, со своей органической сущностью и пророческой задачей, «больше думал о том, что он живёт *у времени в плену*. Я даже написал в одной статье (которой нынче стыжусь), что в Ленинграде 30-х годов запросто могли заставить писать не только классическим ямбом, но даже гекзаметром; что пастернаковское *Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту* в случае с Заболоцким было ускорено; что восстал из пепла совсем другой Заболоцкий, поэт замечательный, но с перегоревшей душой...».

Потом Корнилов осознал: поэта заставить писать нельзя, душа Заболоцкого вовсе не перегорела, и он писал всё лучше и лучше. «И если он ушёл от Хлебникова к Тютчеву или даже к Баратынскому, так на то была его воля, а ещё вернее, внутренняя поэтическая сила повернула его в ту сторону. Но, скорее всего, он просто шёл своей дорогой, никуда не сворачивая».

Чрезвычайно интересны мысли Иосифа Бродского о Николае Заболоцком, высказанные в беседе с Соломоном Волковым:

«Я думаю, что поздний Заболоцкий куда более значителен, чем ранний. <...> Вообще Заболоцкий — фигура недооценённая. Это гениальный поэт».

Бродский считал, что «Столбцы» и поэма «Торжество земледелия» — это прекрасно, это интересно, «но если говорить всерьёз, это интересно как этап в развитии поэзии. Этап, а не результат. Этот этап невероятно важен, особенно для пишущих. Когда вы такое прочитываете, то понимаете, как надо работать дальше. <...> И когда я увидел, что сделал поздний Заболоцкий, это потрясло меня куда сильнее, чем „Столбцы“».

Конечно, советская политическая система так или иначе пыталась подмять под себя, дабы использовать в своих целях, каждого самостоятельного поэта. Открытых противников идеологии она просто уничтожала, других «воспитывала» кнутом и пряником — лагерными сроками и различного вида подачками. Сами по себе художественные ценности, или, иначе, эстетические достижения, не особо интересовали политиков. Будь Николай Заболоцкий слабее духом и телом, он бы

неминуемо погиб — как погибли его друзья молодости и другие поэты, известные и неизвестные. Но он выстоял в этом сражении, как тот *одиноким дуб на дурной почве среди своих безжизненных равнин*. Выстоял — пожертвовав многим, очень многим...

Откликаясь на книгу «Огонь, мерцающий в сосуде...» (1995) — книгу Заболоцкого и о Заболоцком, Ирина Роднянская пишет в статье «Единый текст»:

«Перед нами высокая трагедия — греков ли, Шекспира, но именно этого масштаба и роста. Трагедия, в которой герой падает, „побеждённый лишь роком“, как сказано у любимого Заболоцким русского поэта. В этом её катарсис. <...>

Без обиняков обозначу её коллизию: сражение творческой силы с силой зла. А особенность этой коллизии в том, что смысл и цель поступков её героя — не „духовная победа“ вообще, не духовное сопротивление в социальном или абстрактно-философском плане, а победа собственно художественная, поэтическая, литературная, если угодно, — победа над насилием, враждебным возвышающей человека творческой игре. <...>

Дар Заболоцкого был так велик, что на руках у него, можно сказать, имелись сплошь козырные карты. Нам, знающим лишь о том, что уцелело на поле сражения, остаётся только догадываться, как огромен он был, этот дар. М. В. Юдина, понимавшая поэта так, как гению свойственно понимать собрата — „когда пред ним гремит и блещет иного гения полёт“, говорит о „величественной партитуре творчества Заболоцкого“. Действительно, ему изначально дано было потенциальное многозвучие, многоголосие при чёткой очерченности творческих задач. И когда грубая идеологическая сила выбивала из рук очередной козырь, перекрывала очередной регистр звучания, в ход пускалась новая победительная карта, вступал новый полнозвучный регистр. Так — до самой смерти. „Рубрук в Монголии“, предсмертная поэма, созданная столько же дерзкой мускульной силой, сколько просветлённым умом и воображением, свидетельствует против всех, искавших в позднем Заболоцком следы усталости и творческой капитуляции. Но никогда мы не узнаем, не услышим, не прочтём Заболоцкого, работающего во всю мощь своего Богом дарованного полифонического инструмента. „Я нашёл в себе силу остаться в живых“, — напишет он поразительную фразу в заявлении, адресованном 17 февраля 1944 года Особому совещанию НКВД СССР. <...> „Остался в живых“ — и как поэт, как звезда в великом поэтическом созвездии века. Однако — не как равный себе возможному, себе, замысленному Богом искусства... быть может... страшно сказать... „вторым Пушкиным“».

И далее: «Конечно, идея изменения, развития, метаморфозы — сквозная мысль Заболоцкого, и представление о его неизменяемости, стоянии на уровне „Столбцов“, было б ему это позволено, — такое представление в корне ложно. Мемуаристы единодушно отмечают, что в послелагерные годы к лицам, восторгавшимся „Столбцами“ и пытавшимся при встрече с поэтом прочитывать оттуда что-нибудь наизусть, он относился с подозрением и раздражением. (По этому поводу Слуцкий остроумно заметил: к тем, кто хвалил „Столбцы“, Н. А. относился подозрительно, к тем же, кому они не нравились, — плохо.) Тут нельзя исключить и боязнь провокации — ведь именно стихи, только стихи уже стали причиной всех его бед, не исключена реакция на чудящийся упрёк в „измене себе самому“ (измене, которой всё-таки не было). Но, полагаю, есть ещё и третье: ведь обидно, когда хвалят семя, не замечая выросшего из него дерева. <...>

Так где же правда — если говорить о метаморфозах Заболоцкого-поэта: в потребностях внутреннего развития или в творческих, но и приспособительных реакциях на пытку и нажим? Конечно, правда и в том, и в этом. Одно уже никакими ухищрениями не отделить от другого. Каждый наш великий поэт в этом веке — израненный и павший победитель».

## Середина века

Пятидесятилетие поэта Николая Заболоцкого страна, разумеется, не отметила никак, *литературная же общественность* — более чем скромно. В начале июня 1953 года в одной из комнат Дома литераторов собралось немного его почитателей. Николай Леонидович Степанов сделал доклад; после этого Заболоцкий читал стихи. Рядовое мероприятие...

Лидия Либединская вспоминала:

«Но зато среди собравшихся — ни одного человека, который пришёл бы сюда из каких-либо иных побуждений, кроме как любви и уважения к юбиляру и его удивительному таланту. <...> Грузинские поэты прислали на самолёте из Тбилиси огромный букет свежих роз. В заключение вечера Николай Алексеевич поблагодарил всех, кто пришёл поздравить его, но в словах его чувствовалась обида. Приехав через несколько дней в Переделкино, он сказал с горечью:

— Почти никто из поэтов не пришёл на мой вечер...»

Не пришёл, по-видимому, и никто из писательских начальников.

Павлу Антокольскому довелось быть на юбилейном застолье в тесной квартире на Беговой. По его словам, всё было «сердечно и многословно, но, по сравнению с грузинскими сборищами, сдержанно и, так сказать, семейно замкнуто, без шумных тостов и прикосновений к „мировым“ пространствам».

Сохранились любительские снимки двадцатилетнего сына Никиты с этого домашнего праздника: Николай Алексеевич и Павел Григорьевич, серьёзные, трезвые, в рабочем кабинете на фоне книжного стеллажа; Николай Алексеевич за столом, с блюдом в руке, угощает гостей (похоже, жареным гусем), а Николай Леонидович Степанов, рядом, уже принялся за гусиную лапку, — всё чинно, степенно...

6 июня Заболоцкий писал Симону Чиковани: «У меня был творческий вечер, связанный с 50-летием, прошёл хорошо, читал свои стихи, и читал много, и они были очень хорошо встречены — правда, народу было немного — человек 40–50».

А месяц спустя почтенный юбиляр, кажется, уже позабыл про свои негромкие торжества. Дочь пристала: напиши хоть пару слов брату — студенту, ему небось скучно на своей сельхозпрактике в сталинградских степях. Николай Алексеевич чуть-чуть оторвался от переводов и набросал на листке письма карикатуру на сына; тут же присочинил экспромт:

Однажды некий агроном  
В штанишки сделал как ком.  
И этот ком, упав на луг,  
Всеобщий сделал там испуг.  
Сказали пастуху коровы:  
— Пастух, мы, верно, не здоровы.  
Увидев эту каку, мы  
Ввели в смятение умы.  
— Дурашки! — им пастух в ответ. —  
Что это кака — спору нет,  
Но кто её здесь обронил?  
Агроном, окончивший  
Академию имени Тимирязева.

О мыслях Заболоцкого той поры невольно свидетельствует его тогдашняя настольная книга — «Дневник» Эжена Делакура. Некоторые мысли художника, жившего век назад, Заболоцкий помечал на полях книги, а кое-что даже выписывал. Стало быть, это совпадало с его собственными чувствами и настроениями. Блез Паскаль точно определил: «Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится всё, что я в них вычитал». Большей частью это были мысли о природе творчества.

*«Нужно обладать большой смелостью, чтобы решиться быть самим собой; это качество особенно редко встречается в такие эпохи упадка, как наша».*

Давно сказано — а годится на все времена.

*«Вера в себя является наиболее редким даром, а между тем только она способна породить шедевры».*

Не этой ли верой спасался Заболоцкий!.. Ведь, кажется, именно с ней кровно связана вся глубина творческой интуиции и энергии созидания.

*«Нужно действительное отречение от тщеславия, чтобы сметь быть простым, если, конечно, под силу быть таким; доказательством даже у больших мастеров служит то, что они почти всегда начинают с излишеств! <...> В молодости, когда все их возможности душат их, они отдают предпочтение напыщенности, остроумию... Они хотят больше блистать, чем трогать, они хотят, чтобы в изображённых ими лицах*



*восхищались автором; они считают себя плоскими, когда на самом деле трогательны и ясны».*

Камешек в собственный огород, — кого, как не молодого Заболоцкого душили его возможности. Но в зрелости он обуздал воображение и нашёл в себе силы прийти к простоте. Высочайшее мастерство — то, в котором не заметно никакого мастерства.

*«Манера есть то, что нравится пресыщенной и, следовательно, жадной до новизны публике; но именно манера ведёт к тому, что произведения этих артистов, вдохновенных, но обманутых ложной новизной, которую, по их мнению, они ввели в искусство, необыкновенно быстро стареют».*

Одни художники, сознательно или бессознательно, угождают публике — другие служат правде искусства. Временное — и вечное. Пряности щекочут гортань — но вечны только хлеб с водой.

*«Он никогда не доволен достигнутым; он испортил свои лучшие вещи излишней отделкой; весь блеск первого порыва пропал. Относительно поэм это так же верно, как и относительно картин; они не должны быть чересчур законченными...»*

Это тонкое замечание точь-в-точь для самого Заболоцкого: друзья не раз замечали, что, увлекаясь отделкой или вовсе переделывая что-то, он порой портил стихи.

*«Человек, перечитывающий рукопись с пером в руках, вносящий в неё поправки, является уже в известной мере другим человеком, не тем, каким он был в минуту излияний. Опыт учит нас двум вещам: первая — надо много поправлять; вторая — не следует поправлять слишком много...»*

Остроумное воспитание у себя чувства меры.

В первом предложении сформулировано чрезвычайно точное наблюдение: переписывающий — уже не тот, кто писал, — он изменился. Кошь исправляешь, надо заново влезть в прежнюю собственную шкуру, ведь она успела стать немного другой; надо войти в прежнее состояние души. Иначе поправки испортят, а не уточнят образ задуманного.

*«Проявлять смелость, когда рискуешь скомпрометировать своё прошлое, — это признак величайшей силы».*

Тут выражен закон движения, развития дара, его постоянного обновления, которое и должно быть единственно неизменным свойством в

постоянно изменяющемся художнике. По стилевым *переходам* Заболоцкого — в течение всей его творческой жизни, а также по замыслам, которые он хотел осуществить после поэмы «Рубрук в Монголии», видно: поэт в полной мере обладал этой *величайшей силой*.

\*

Художественное совершенство само по себе манило его, но мало в ком из современников он это видел, разве что в *позднем* Пастернаке. *Раннего* — отрицал: «алогичная тёмная речь Пастернака» (определение из статьи 1937 года). Молодому поэту Андрею Сергееву советовал присмотреться к военным и послевоенным стихам Бориса Пастернака, где уже нет «нарочитости».

«Суммируя разговоры, могу сказать, — вспоминал позже Сергеев, — что из современных поэтов Заболоцкий ценил некоторые стихи Мартынова и даже читал их вслух. Хорошо отзывался он и о Слуцком. Зато Ахматову отрицал: по утверждениям ленинградских приятелей, он как-то в застолье отказался поднять за неё бокал, якобы пробормотав при этом: „Баба хорошо не напишет!“ Видимо, острые язычки потом довели это ворчание до логического конца, приписывая Заболоцкому уже иронический афоризм: „Курица не птица, баба не поэт“. Впрочем, к стихам поэтесс он действительно был холоден... Ахматовой, конечно, пересказали слова Заболоцкого, и она платила ему ответным непризнанием. О стихах Пастернака 1940–1950-х годов Заболоцкий говорил не то с восхищением, не то с уважением. Из личного общения у них вряд ли что могло получиться. Помню слова Николая Алексеевича:

— Шкловский и Пастернак всегда говорят так сумбурно, что хочется попросить их повторить сказанное.

Сам Николай Алексеевич говорил как по писаному».

К словам Андрея Сергеева, для полноты картины, следует добавить, что из современников нравились Заболоцкому стихи Петра Семьинова, Арсения Тарковского и «немногих других» — как сообщает Никита Заболоцкий, добавляя насчёт Пастернака, что отец «в своих честолобивых мечтах только ему готов был уступить первенство в современной поэзии».

Юрий Колкер начинает свою статью о Заболоцком с утверждения, что тот «считал себя „вторым поэтом XX века“ (после Пастернака; без оглядки на то, что век ещё не закончен)» и что «с этим мало кто сейчас согласится». Из контекста этой цитаты следует, что забранные в кавычки слова о

«втором поэте XX века» принадлежат самому Заболоцкому, — однако где, когда Николай Алексеевич это писал или же говорил? Ни сын поэта, ни Колкер *источника* не указывают, — мне же, например, нигде не встретилось даже намёка на такое.

Наталия Роскина пишет, что к Пастернаку Заболоцкий относился *благоговейно, как к самой поэзии*. «Помню, как он осторожно раскрыл книжку, подаренную ему Пастернаком, любовным движением вынул из неё записочку и показал мне из своих рук. Пастернак приглашал обедать и просил захватить „Безумного волка“».

За годы знакомства Николай Чуковский отметил, как менялось отношение его товарища к стихам Пастернака. Поначалу Заболоцкий их не любил и первыми оценил переводы. «Я помню, как в конце сороковых годов мы были с ним у Пастернака в гостях. Пастернак прочёл нам несколько глав из „Доктора Живаго“ и несколько стихотворений, приписанных его герою. Заболоцкий был добр, внимателен, любопытен, но я видел, что всё это произвело на него не слишком большое впечатление. <...> В последние годы своей жизни он относился к Пастернаку с благоговением — и к его личности, и ко всему, что Пастернак писал».

*Благоговейно* — это вполне понятно. Но вот насчёт *первенства в поэзии XX века* (разумеется, русской поэзии)? Та же Роскина, которой, полагаю, можно доверять, пишет:

«...что касается поэзии — тут он *никогда не признавал ничего превосходства даже в самых частных вопросах* (курсив мой. — В. М.). Уступить, вернее сделать вид, что уступил, он мог только из вежливости. Если он спрашивал моё мнение о каком-нибудь своём стихотворении и я позволяла себе высказать отрицательное суждение об одной строчке или слове, он хмурился и возражал: „Почему тебе не приходит в голову, что это недостаток твоего воспринимающего аппарата?“».

Никита Заболоцкий свидетельствует, что отец «против обыкновения» сохранил записку Пастернака и хранил её в подаренной ему книге, которая стояла на почётном месте в книжном шкафу. Стихи из «Доктора Живаго» (позже он прочёл и весь роман в рукописи) Заболоцкий переписывал себе в тетрадь и особенно восхищался «Рождественской звездой», относя её к вершинам мировой лирики.

12 августа 1953 года чета Заболоцких обедала у Пастернаков, другим гостем был Симон Чиковани. Николай Алексеевич прочёл хозяину дома «Безумного волка» и несколько новых стихотворений, заслужив его похвалу.

Впоследствии Борис Пастернак на редкость образно отозвался о

стихах Заболоцкого: «Когда он читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть...»

Очень скоро появилась ещё одна *картина* — точнее сказать, *медальон* с поразительно точным портретом.

Чёрен бор за этим старым домом,  
Перед домом — поле да овсы.  
В нежном небе серебристым комом  
Облако невиданной красы.  
По бокам туманно-лиловато,  
Посредине грозно и светло, —  
Медленно плывущее куда-то  
Раненого лебедя крыло.  
А внизу на стареньком балконе —  
Юноша с седою головой,  
*Как портрет в старинном медальоне*  
Из цветов ромашки полевой.  
Щурит он глаза свои косые,  
Подмосковным солнышком согрет, —  
Выкованный грозами России  
Собеседник сердца и поэт.  
А леса, как ночь, стоят за домом,  
А овсы, как бешеные, прут...  
То, что было раньше незнакомым,  
Близко сердцу делается тут.  
(«Поэт». 1953)

Новой большой работой Заболоцкого в эти годы стал полный перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Изучение подстрочника, консультации с грузинскими филологами, переговоры с издательством — всё это потребовало поездок в Грузию, — а тем временем здоровье поэта ухудшалось: болело сердце, сдавало зрение. График же его огромного по объёму труда был весьма напряжённым...

В середине сентября 1954 года Заболоцкого свалил тяжёлый инфаркт. Два месяца в постели, без движения...

18 ноября он писал Симону Чиковани, который стал редактором его перевода:

«Я уже третий месяц валяюсь больной. Теперь начинаю вставать и немного ходить. Работать ещё не позволяют и, наверное, не позволят ещё долго. <...>

Извини за неряшливое письмо — пишу лёжа».

Восстановление от хвори шло медленно, про что говорят короткие письма к Чиковани.

19 июля 1955 года:

«Я нынче на даче под Москвой, где работаю и понемногу поправляюсь. Всё ещё не могу поправиться как следует, чему, впрочем, вредит работа. Работаю больше, чем следует. А без работы мне скучно».

30 августа 1955 года:

«Дорогой Симон!

Я стал хуже себя чувствовать, и поэтому пришлось поехать в санаторий до 25 сентября. Очень жалею, что так получилось; без меня тебе будет труднее договариваться о Руставели. <...>

Я пока ехать в Грузию не могу. Ты, очевидно, много времени провести в Москве со мною тоже не сможешь. Может быть, тебе сейчас лучше взять из Гослитиздата мою рукопись с собою, дома, в Грузии, сличить её с оригиналом, сделать свои заметки и замечания, а затем, когда у тебя будет время (через месяц-два), приехать в Москву и поработать здесь со мной. <...>

Моя рукопись вполне рабочая: там надо ещё порядочно поработать, так как есть много неточностей перевода. Но самое сложное заключается в том, что может врать подстрочник — и вот тут-то я без твоей помощи бессилен».

В начале 1956 года эта большая работа была закончена, и в следующем году поэма Шота Руставели, в роскошном издании, с прекрасными иллюстрациями, вышла в свет.

## Семейная драма

Пришла очередь обратиться к тому, в чём разобраться в принципе невозможно.

Есенин когда-то сказал о любовных чувствах:

Если тронуть страсти в человеке,  
То, конечно, правды не найдёшь.

Просто и верно. Этой *правды*, похоже, не знают даже сами *страстотерпцы*, не то что люди со стороны.

Никите Заболоцкому, как биографу, пришлось сказать несколько слов о том, что произошло с его родителями в середине 1950-х годов. Наверное, нелегко ему это было сделать... Он вспоминает осень 1956 года, когда вместе с отцом и матерью был в Гурзуфе: можжевельник в Никитском саду, прогулку на глассере вдоль крымских берегов к «Пушкинскому гроту» — всё это вскоре вошло в образы отцовских стихов:

«В Москву муж и жена Заболоцкие отправились порознь, 18 и 19 октября. В их семье наступило трагическое время разлада. Странная это была размолвка — оба тосковали друг без друга, но упрямо пытались создать себе какую-то другую жизнь, соединившись с другими людьми. Очень скоро оба поняли, что из этого ничего не может получиться: слишком многое их связывало, слишком тяжёлые испытания выдержала их любовь в прошлом, слишком они были немолоды и любили друг друга».

И далее Никита Николаевич, стараясь быть отстранённо-объективным, излагает то, что завязалось в Беговой деревне запутанным узлом.

Сдружились по-соседски — домами — две писательские семьи: Заболоцких и Гроссманов. Но вскоре прошёл лёгкий радостный хмель первого знакомства, отношения осложнились. «Разговоры с Гроссманом неизбежно обращались к тому предмету, который растревлял старые душевные раны Заболоцкого и нарушал с трудом установившееся равновесие, необходимое для жизни и работы поэта. И он отказывался продолжать подобного рода беседы».

Что это значит в переводе с объективного языка на предметный? Василий Семёнович расспрашивал Николая Алексеевича не просто так, а мягко говоря, из писательской корысти: он работал над романом, и ему

нужен был *материал* для образа одного из главных персонажей — бывшего заключённого. Сам Гроссман *не сидел*, а тут Заболоцкий — кладёзь, так сказать, лагерного опыта. Но поэт чем дальше, тем больше замыкался. Мало, что такие беседы травили ему душу, — он всерьёз опасался за себя и за семью: политический режим ведь никуда не делся, он лишь поотпустил вожжи... (Кстати, то, что Заболоцкий не рассказал о своей лагерной судьбе Гроссману, поведала ему чуть позже, во время совместной жизни, Екатерина Васильевна, которой муж рассказывал всё, — и это затем благополучно вошло в роман «Жизнь и судьба» — задолго до того, как вышли в свет воспоминания самого Заболоцкого о заключении.) Потом всё усугубилось тем, что Екатерина Васильевна не смогла остаться «равнодушной к силе ума, таланту и мужскому обаянию Гроссмана». Того же «...особенно трогали душевная чуткость и расположение Екатерины Васильевны, её готовность прийти на помощь всякий раз, когда он нуждался в моральной поддержке».

На смену встречам во время семейных застолий пришли прогулки вдвоём «где-нибудь в Нескучном саду» или просто по городским улицам.

«Николай Алексеевич видел, что дружеские отношения его жены и Гроссмана перерастают в более глубокое чувство. Сначала, уверенный в преданности жены, он не очень беспокоился, но, вероятно, в первые месяцы 1956 года понял, что опасность надвигается на него с той стороны, с которой он менее всего её ждал. Жена призналась ему, что влюблена в Гроссмана. Заболоцкий потребовал от неё прекратить всякие встречи с Василием Семёновичем, но выполнить это требование оказалось нелегко. Всегда послушная воле мужа, Екатерина Васильевна проявила твёрдость и сказала, что в её отношениях с Гроссманом нет ничего предосудительного и порвать их она не может.

Возникшая какая-то двойственная, неопределённая ситуация была для Заболоцкого невыносима. В конце концов, после тяжёлых объяснений с женой в Крыму и сразу после возвращения в Москву, он объявил, что так жить не может и что им нужно расстаться. Пусть Екатерина Васильевна уходит к Гроссману, а он найдёт себе другую жену».

Всё это — сюжет, пересказ, иначе говоря — проза. А на самом деле и муж и жена испытали глубокое внутреннее потрясение.

Арсений Тарковский говорил: «Проснулась женщина в пятьдесят лет!» Юрий Колкер глядит глубже: «Но что же случилось с Екатериной Васильевной? Уйти от мужа, едва оправившегося от инфаркта? От человека, которому вся жизнь была посвящена? Что же, она в одночасье перестала быть „лучшей из женщин“, „ангелом-хранителем“? Нет, конечно.

Просто в сердечных делах она была ещё бóльшим младенцем, чем Заболоцкий, и попалась в первую же ловушку. Не ведала, что творит».

До разрыва с Екатериной Васильевной Заболоцкий не писал любовных стихов, — правда, в молодости он сочинял некие послания к «предметам» своих увлечений, но вряд ли это были полноценные художественные произведения, потому что поэт вскоре затребовал их назад и сам же уничтожил. Николай Чуковский называл характер Заболоцкого «целомудренно-скрытным»: его друг никогда не говорил о *личном*. И заметил: «Нужна была трагедия, нужна была нестерпимая боль, чтобы преодолеть эту скрытность, чтобы вынудить его нарушить стоном это принудительное молчание». Страдание вернее всего высекает поэзию...

Принесли букет чертополоха  
И на стол поставили, и вот  
Предо мной пожар и суматоха  
И огней багровых хоровод.  
Эти звёзды с острыми концами,  
Эти брызги северной зари  
И гремят и стонут бубенцами,  
Фонарями вспыхнув изнутри.  
Это тоже образ мироздания,  
Организм, сплетённый из лучей,  
Битвы неоконченной пыланье,  
Полыханье поднятых мечей.  
Это башня ярости и славы,  
Где к копьё приставлено копьё,  
Где пучки цветов, кровавоглавы,  
Прямо в сердце врезаны моё.  
Снилась мне высокая темница  
И решётка, чёрная, как ночь,  
За решёткой — сказочная птица,  
Та, которой некому помочь.  
Но и я живу, как видно, плохо,  
Ибо я помочь не в силах ей.  
И встаёт стена чертополоха  
Между мной и радостью моей.  
И простёрся шип клинообразный  
В грудь мою, и уж в последний раз  
Светит мне печальный и прекрасный



Взор её неугасимых глаз.  
(«Чертополох». 1956)

Никто, конечно, не «приносил» и не ставил на стол букет из колючего сорняка. Можно представить крымскую осень, горные тропы, заросшие по обочинам кустами пылающего чертополоха. Бредущему по тропе поэту он казался образом разрыва, режущей сердце разлуки...

Так начал складываться *первый и последний* у Заболоцкого цикл любовной лирики «Последняя любовь».

Ещё в Крыму, объясняясь с женой, ему повсюду чудились образы расставания.

На сверкающем глассере белом  
Мы заехали в каменный грот,  
И скала опрокинутым телом  
Заслонила от нас небосвод.

.....

Под великой одеждою моря,  
Подражая движеньям людей,  
Целый мир ликования и горя  
Жил диковинной жизнью своей.  
Что-то там и рвалось, и кипело,  
И сплеталось, и снова рвалось,  
И скалы опрокинутой тело  
Пробивало над нами насквозь. <...>  
(«Морская прогулка». 1956)

...Тут надо бы вернуться на два года назад, чтобы лучше понять то состояние, в котором находился Заболоцкий. Страшные испытания лагеря (эти муки так и не оставили его до конца) и непомерный упорный труд по восстановлению благополучной жизни семьи не прошли даром. Евгений Львович Шварц, конечно, любил друга, но и видел издержки его характера. Говорил ли ему прямо об этом? Вряд ли, скорее молчал. Иначе не появились бы в его «Дневнике» такие записи: «...А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужичок на возу, не отвечающий, что привёз на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не

одолеет бы он ни „Слово“, ни Руставели и не написал бы множества великолепных стихотворений.

Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что „женщины не могут любить цветы“, испытывал я чувство неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И всё шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехала „неотложная помощь“. Вспрыснули камфару. А через полчаса или час — новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и что не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт».

Имея в виду Заболоцкого, Шварц признаётся:

«Угловатость гениальных людей стала меня отталкивать. Он может и чудачествовать, и проповедовать даже методично, упорно своевольничать: жизнь его и гениальность его снимают с него вину. Страдания его снимают с него вину».

Врачи спасли поэта; жена самоотверженно выхаживала больного мужа. *Ангел, дней моих хранитель* — назвал он её в замечательном стихотворении «Бегство в Египет» (1955). Так оно и было. Евгений Шварц в том же «Дневнике» оставил чудесный портрет её души; столь же высоко отзывались о Екатерине Васильевне и многие другие. Так, Николай Чуковский писал, что она была готова ради мужа на любые лишения, на любой подвиг. «По крайней мере, такова была её репутация в нашем кругу, и в течение многих-многих лет она подтверждала эту репутацию всеми своими поступками».

Он также заметил: «...в преданности Катерины Васильевны было даже что-то чрезмерное. Николай Алексеевич всегда оставался абсолютным хозяином и господином у себя в доме. Все вопросы, связанные с жизнью семьи, кроме мельчайших, решались им единолично. <...> Катерина Васильевна никогда не протестовала и, вероятно, даже не давала советов. Когда её спрашивали о чём-нибудь, заведённом в её хозяйстве, она отвечала тихим голосом, опустив глаза: „Так желает Коленька“ или „Так сказал Николай Алексеевич“. Она никогда не спорила с ним, не упрекала его — даже когда он выпивал лишнее, что с ним порой случалось. Спорить с ним было нелегко, — я, постоянно с ним споривший, знал это по собственному опыту. Он до всего доходил своим умом и за всё, до чего дошёл, держался крепко. И она не спорила.

Он платил ей за покорность самой нежной, бесспорной любовью. <...>  
И вдруг она ушла от него к другому.

Нельзя передать его удивления, обиды и горя. Эти три душевных состояния обрушились на него не сразу, а по очереди, именно в таком порядке. Сначала он был удивлён — до остолбенения — и не верил даже очевидности. Он был ошарашен тем, что так мало знал её, прожив с ней три десятилетия в такой близости. Он не верил, потому что она вдруг выскочила из своего собственного образа, в реальности которого он никогда не сомневался. Он знал все поступки, которые она могла совершить, и вдруг в сорок девять лет она совершила поступок, абсолютно им непредвиденный. Он удивился бы меньше, если бы она проглотила автобус или стала изрыгать пламя, как дракон.

Но когда очевидность сделалась несомненной, удивление сменилось обидой. Впрочем, обида — слишком слабое слово. Он был предан, оскорблён и унижен. А человек он был самолюбивый и гордый. Бедствия, которые он претерпевал до тех пор, — нищета, заключение, не задевали его гордости, потому что были проявлением сил, совершенно ему посторонних. Но то, что жена, с которой он прожил тридцать лет, могла предпочесть ему другого, унизило его, а унижения он вынести не мог».

За полгода до этого Заболоцкому позвонила незнакомая женщина: званная однажды в гости, где он должен был читать стихи, она не сумела приехать и очень жалела об этом; просила при случае дать ей возможность побывать на его чтении. Поэт ответил, что сейчас чувствует себя плохо после инфаркта, но обещал позвонить, как поправится. Любительница поэзии вовсе не была уверена, что продиктованный ею телефон вообще был записан. И вдруг звонок: «С вами говорит Заболоцкий. Разрешите мне к вам приехать». Она подумала: чей-то глупый розыгрыш. Оказалось — нет.

Уже во вторую встречу, за ресторанным столиком, снова не очень трезвый, — он то и дело пил вино, — Заболоцкий вдруг написал ей на листке бумаги: «Я п. В. б. м. ж.». Конечно, она читала «Анну Каренину» и легко поняла, что речь о просьбе быть его женой. Вот что пишет Наталия Александровна Роскина в мемуарном очерке: «„Простите, — сказала я, — насколько я знаю, у вас есть жена“. — „Она уходит от меня, — ответил он, и на его глазах показались слёзы. — Она полюбила другого“. — „А кто он?“ — „Он тоже писатель“. — „Хороший?“ — глупо спросила я. „Хороший. Ну, не очень хороший, но всё-таки хороший. Если бы вы знали, как я одинок!“ Я молчала. „Подумайте. Прошу вас, подумайте“.

Времени „думать“ у меня оказалось мало. Каждый день он приезжал

за мной, ему уже казалось, что он влюблён безумно.

Я была измучена этими вечерами в ресторанах, после работы, его настойчивостью, вдохновлена его клятвами, его стихами».

Первым стихотворением, которое Заболоцкий ей посвятил, было «Письмо» — сумбурное и пылкое объяснение в чувствах, в художественном смысле — слабое. Поэт, конечно, это понимал и печатать не собирался. Позже сказал: «Я его хранить не буду, а ты — сохрани».

Там есть строка, совершенно обнажённая, незащищённая, растерянная, что ли...

Я — забытый ребёнок, забытый судьбой,  
позабывший в осеннем саду...

С большими странностями столкнулась молодая женщина: Заболоцкий как-то ей поведал, что советовался с женой, собиравшейся вот-вот от него уйти, жениться ему на Роскиной или нет. По словам поэта, «Екатерина Васильевна была сначала в ужасе от его решения, но потом, когда он дал ей прочесть одно моё сочинение (автобиографическую повесть о детстве, о смерти матери и гибели отца), она поверила, что я по крайней мере не какая-нибудь авантюристка».

Роскина жила с восьмилетней дочерью в перенаселённой коммуналке и не могла представить, как житейски устроятся в дальнейшем «столь разные существования» всех, кто угодил в эту историю.

«Тут он мне сказал, к кому уходит от него жена. Это имя было мне хорошо знакомо. Василий Семёнович Гроссман — близкий друг моего отца. Когда мой отец пропал без вести (и было ясно уже, что это означает), Василий Семёнович отыскал мой адрес и прислал мне, тогда незнакомой ему четырнадцатилетней девочке, письмо, в котором спрашивался, не может ли он мне чем-нибудь помочь — деньгами, книгами. Так не поступил ни один из друзей моего отца, хотя их было много. После войны я бывала у Гроссмана и относилась к нему с глубочайшим уважением и любовью. И Екатерина Васильевна заочно стала мне симпатична — это чувство сохранилось навсегда.

Пока всё кипело в сердцах пятерых людей (Василию Семёновичу предстояло оставить жену Ольгу Михайловну), пока всё ещё по существу оставалось неопределённым, Николай Алексеевич стал всем говорить, что он женат на мне».

Кроме «кипения сердец» у них начались бытовые мытарства:

бездомье, временные пристанища, хлопоты по устройству и налаживанию жизни и работы. Порой доходило до анекдота: в декабре 1956 года, оформляя путёвки в Дом творчества в Малеевке, Заболоцкий забыл фамилию новой жены. «Он позвонил по телефону из Литфонда мне на работу и спросил: „Наташа, прости, как твоя фамилия?“ Я спокойно ответила: „Моя фамилия Роскина“. — „Да, правда. Я чувствовал, что что-то не так. Я написал — Соркина“. Все присутствовавшие, конечно, хохотали, я в том числе. Не смеялся только С. А. Макашин. Он сказал: „На фронте так женились“. Фронт — близость гибели, какая-то неистовая спешность радости, какое-то безумное смещение горя и счастья — это и была душа Заболоцкого».

Поэт Арсений Тарковский добродушно посмеивался над Заболоцким (впрочем, за глаза — чтобы не обидеть товарища): «Нашёл себе иудейскую девицу, она оказалась премиленькой, и решил отвлечься». Понятно, всё было далеко не так просто. Заболоцкий пытался как-то спастись — и не мог. После Малеевки у них с Роскиной начались ссоры и примирения, съезды и разъезды. Поэт то клятвенно обещал бросить пить, то следом заявлял: это сделать для него никак невозможно. Во время разрыва отношений — и *из разрыва*, как признавалась сама Наталия Александровна, появилось знаменитое стихотворение «Признание» («Зацелована, околдована...», 1957), тут же им отосланное Роскиной по почте. (Впоследствии эти стихи — сами по себе готовый романс — положили на музыку, и «Признание» с упоением — а больше с самоупоем — распевал с эстрады один разбитной шансонье с ну-очень-красивым псевдонимом, перед исполнением непременно объявляя: «Моя песня!» — и при этом почему-то всегда забывая назвать имя поэта, сочинившего слова этой *его песни*. Впрочем, обычная практика для теперешней эстрады. Кто бы в прежние времена смел сказать о ставших романсами стихах «Я помню чудное мгновенье...» или «Я встретил вас, и всё былое...» — *моя песня?*..)

Заболоцкий и Роскина пожили понемногу и в её коммуналке на Мещанской, и у него в квартире на Беговой...

«Я поверила, что мы можем начать сначала, мне было страшно оставлять его одного, — вспоминала она. — Я всё-таки была к нему сильно привязана, и чувствовала какую-то ответственность за него, и очень хотела, чтобы он не пил и чтобы всё было хорошо. Без его ведома я советовалась с одним опытным врачом, который сказал мне: „Ему нельзя пить никогда, ни капли. Если он будет пить, то проживёт — ну, года полтора“. Прогноз этого врача оправдался с точностью до одного месяца».

Вполне возможно, и Заболоцкий чувствовал это, но ни разлука с Наталией Александровной, ни опасность для здоровья не остановили его:

«Однажды утром он сказал мне, что сегодня собирается начать пить. Он дал домработнице денег, чтобы она ехала за вином, а мне сказал, чтобы я ехала на Мещанскую. Это был февраль, студенческие каникулы, и его дети Наташа и Никита были в Ленинграде. С их разрешения я на это время поселила свою дочку Иру в их комнате. Ире было там очень хорошо, так как её мыли в человеческой ванне, да и вообще. Она предполагала, что будет здесь ещё несколько дней, но кротко стала натягивать шубку. Я сказала Николаю Алексеевичу, что этот случай в нашей жизни — последний».

Цикл «Последняя любовь» (из десяти стихотворений) по названию прямо соотносится с известным стихотворением Фёдора Ивановича Тютчева:

О, как на склоне наших дней  
Нежней мы любим и суеверней...  
Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней! <...>

Шедевр Тютчева посвящён одной женщине — Елене Денисьевой, а у шедевра Заболоцкого не так всё определённо: одни стихотворения связаны с Наталией Роскиной, другие — с женой, Екатериной Васильевной. Точнее бы сказать, в лирической героине этого цикла слились воедино черты обеих женщин — так распорядилось воображение поэта. До сей поры литературоведы не пришли к единому мнению, кому посвящены те или иные стихи. Казалось бы, «Признание» обращено к Наталии Александровне. Однако единственную в пятистрофном стихотворении *портретную* строфу («Отвори мне лицо полуночное, *Дай войти в эти очи тяжёлые*, В эти чёрные брови восточные, / В эти руки твои полуголые») можно отнести и к Екатерине Васильевне, в облике которой, по общему впечатлению видевших её, было что-то *восточное*.

Или стихотворение «Можжевеловый куст» (1957).

Кому оно посвящено? Конечно, большей частью — жене. Однако...

Я увидел во сне можжевеловый куст,  
Я услышал вдали металлический хруст,  
Аметистовых ягод услышал я звон,

И во сне, в тишине, мне понравился он. <...>

*Можжевельник* рос у крымской тропы, где гулял поэт с женой в канун разрыва. А ожерелье из *аметистов* он подарил Роскиной перед Малеевкой: после расставания она «постаралась избавиться» от этих аметистов, «которые, по системе суеверий, связанных с камнями, приносят несчастье».

Я почуял сквозь сон лёгкий запах смолы.  
Отогнув невысокие эти стволы,  
Я заметил во мраке древесных ветвей  
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,  
Остывающий лепет изменчивых уст,  
Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,  
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим  
Облака проплывают одно за другим,  
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...  
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

То же самое можно увидеть и в стихотворениях «Последняя любовь» (1957), «Клялась ты — до гроба / Быть милой моей...» (1957) и в других. Лишь последние стихотворения цикла: «Встреча» и «Старость» (1956) полностью обращены к жене.

Чрезвычайно характерно, заметил Юрий Колкер, что в этом лирическом цикле, одном из самых щемящих и мучительных в русской поэзии, героиня едина в двух лицах и большей частью стихи посвящены жене. «Он именно полюбил её с новой силой; переживал за неё; понял, что и на него ложится доля ответственности за постигшую его катастрофу. Точнее, за катастрофу, постигшую их обоих».

Да и Наталия Александровна Роскина однажды поведала взрослому сыну поэта Никите, что не может ничего сделать для Заболоцкого: «...он всё время думает только о Екатерине Васильевне».

Семён Липкин в книге о Василии Гроссмане зарекается писать о последней любви своего героя, «принёсшей ему много счастья и *страдания*

и оказавшейся *мучительной* (курсив мой. — В. М.) для четырёх чистых, хороших людей»: дескать, ещё рано, да и трудно об этом писать. Почему-то он не вспоминает при этом про *пятого* человека в этой истории — Наталию Роскину. И почему-то ни словом не оговаривается о *страданиях* Заболоцкого, уж никак не меньших, чем Гроссмана.

Юрий Колкер несравненно объективнее смотрит на происшедшее:

«Когда вглядываешься во всё это, за Екатерину Васильевну становится страшно не меньше, чем за поэта. Винить её не в чем. Гроссман, опытный сердцеед, мог не понимать, что делает. Для Роскиной эта история была всё же приключением, пусть и мучительным. Для Клыковой, как и для Заболоцкого, произошло землетрясение, разлом тектонической плиты. Екатерина Васильевна прожила ещё долгие годы — и, надо полагать, в оцепенении от случившегося».

\*

После полного разрыва с Наталией Роскиной товарищи и приятели, навещавшие Заболоцкого, долгое время заставляли одну и ту же картину: поэт в одиночестве сидел за бутылкой вина и без конца слушал одну и ту же пластинку — «Болеро» Равеля. Кончалась — тут же заводил снова, несчётное количество раз, не участвуя в разговорах и ни на что другое не обращая внимания. Он словно был под каким-то музыкальным, ритмическим гипнозом. Однажды Заболоцкий попытался выразить своё сомнамбулическое состояние в одноимённом стихотворении — «Болеро» (1957), но вряд ли высказался в нём полностью. Строки «Есть в этом мире праздник изначальный — *Напев волюнки скудный и печальный* И эта пляска медленных крестьян...» на первый взгляд ничего не проясняют и ни о чём не говорят, — но в них чудится отдалённый намёк на разгадку. Лишь в последней строке стихотворения эта разгадка выходит наружу, явственно заявляется:

О, болеро, священный танец боя!

Ведь болеро — действительно боевой танец: скудный и печальный напев всё более и более усиливается, ритм возрастает до небывалого напряжения и наконец разрешается сокрушительным взрывом барабанов и тарелок — *железа*, на жаргоне музыкантов.



Не свою ли жизнь невольно созерцал в помутнённом сознании  
Заболоцкий?..

## В городе Тарусе

Он осознал: другая жена невозможна.

А та, единственная?.. Ну, уж как будет, как получится.

И успокоился. Пить вино — почти перестал, взялся за работу.

Очень похоже, что Николай Чуковский точно уловил суть того, что произошло в душе Заболоцкого. (Позже, незадолго до его кончины, Чуковский был не столь чуток и пытался неудачно, если не глумливо, пошутить над своим товарищем, «самодеятельным мудрецом», по поводу его отношения к смерти и бессмертию, — это закончилось разрывом отношений; но тогда, в острую пору личной трагедии поэта, он разделил его боль и всё понял верно.)

«И удивление, и обида — всё прошло, осталось только горе, — пишет Николай Чуковский. — Он никого не любил, кроме Катерины Васильевны, и никогда больше не мог полюбить. С новой женой он не сжился не потому, что она была чем-нибудь нехороша, а потому, что она была не той единственной, которую он любил. Оставшись один, в тоске и несчастье, он никому не жаловался. Он продолжал так же упорно и систематично работать над переводами, как всегда, он внимательно заботился о детях. Все свои муки он выразил только в стихах, — может быть, самых прекрасных из всех, написанных им за всю жизнь. <...>

Теперь он уже не её одну винил в разрыве. Он считал, что оба они виноваты, — значит, винил и себя. <...>

Он думал о ней постоянно. Видел её всюду. Нежное, точное, необычайное изображение того, как она явилась ему во сне, мы находим в его стихотворении „Можжевельный куст“. <...>

Как отличается нежность и изящная мягкость этих печальных стихов от весёлой грубости „Столбцов“, с которых он начинал свой путь! <...>

Он уже хорошо понимал, что с ним случилось несчастье, которого не поправишь. Несчастье смягчило его, открыло в его душе те стороны — доброту, сочувствие к людям, — которые всегда были в ней, но в молодые годы заслонялись насмешливой суровостью. Несчастье смягчило его, но не сломило. Он нёс его как сильный и гордый человек. Он очень много работал, но жадно интересовался литературой, жизнью, политикой, историей. Он писал стихи, проникнутые удивительной нежностью к людям, — „Некрасивая девочка“, „Старая актриса“... „Это было давно“, „Казбек“».

Время от времени Екатерина Васильевна навещала детей на Беговой; часто приходил Арсений Тарковский, пытавшийся примирить мужа и жену; заходили в опустевшую квартиру поэты-переводчики Александр Межиров, Евгений Винокуров и другие. Они чувствовали: Заболоцкий уже не тот, он замкнулся, стал отстранённым...

Даже к выходу четвёртой книги стихов, самой полной из всех прижизненных (май 1957 года), он отнёсся довольно безучастно, хотя, конечно, был рад этому событию.

Сначала рукопись долго лежала в издательстве «Советский писатель» (директором тогда был доносчик Лесючевский); потом поэт пересмотрел её и отдал в Гослитиздат. После долгих мытарств, согласований и сокращений от восьмидесяти оригинальных стихотворений 1930–1950-х годов осталось шестьдесят девять. В сборник вошли также избранные переводы с грузинского и немецкого, перевод «Слова о полку Игореве». Книгу сразу же заметили и читатели, и критики: для любителей поэзии это был долгожданный подарок.

Ещё после подборки новых стихов в сборнике «Литературная Москва» (1956) о Заболоцком оживлённо заговорили в литературных обзорах, — теперь же о нём стали писать ещё чаще. Молодой критик Алла Марченко назвала его «одним из наиболее значительных и тонких современных лириков»; другие отмечали взыскательность мастера поэтического слова, глубину и своеобразие его поэзии. Разумеется, некоторые обозреватели по-прежнему с настороженностью высказывались о новых публикациях поэта, но всё же, по сравнению с недавними временами, тон критической мысли заметно изменился к лучшему.

Марина Чуковская писала:

«Помню, в 1957 году он приехал в Переделкино к Корнею Ивановичу, непроницаемый, замкнутый, весь в чёрном, и церемонно вручил Корнею Ивановичу только что вышедшую книжечку стихов. Церемонно просидел, сколько положено, и уехал. А мы стали читать — и не могли оторваться... Когда прочитали „Журавли“, Корней Иванович заплакал».

\*

В городок Тарусу на Оке Заболоцкого звали Гидаши: Антал и Агнесса. Ещё как-то в Дубултах они рассказывали об этом тихом калужском уголке, а потом в Москве уговорили поэта наскоро собраться и увезли на своей машине туда. Да он и сам понимал: пора сменить

обстановку.

Несуемый, милый, живописный русский городок; плавная широкая Ока в кудрявой зелени лесов; вольные заросли сирени; мальвы и ромашки в палисадниках. Товарищи быстро подыскивали съёмное жильё на улице Карла Либкнехта — две комнатки с террасой, выходящей во двор, полный домашней птичьей живности.

Следом за отцом — своим ходом, поездом и автобусом — приехала двадцатилетняя дочь Наташа. Отыскала по адресу Гидашей, навстречу вышел хозяин семьи. Наташа, забыв его имя, просто сказала: «Здравствуйте, куда вы дели моего папу?» Антал рассмеялся.

Полвека спустя она вспоминала:

«Папа жил в небольшом домике совсем недалеко, на тихой соседней улице с множеством тропинок в зарослях спорыша и аптечной ромашки. Дважды в день тихонько проходило стадо (козы, овцы, две-три коровы), людей не видно, а появление машины было событием. Большую часть дня он проводил в комнате перед окном на эту улицу. Там он работал за небольшим столом с пишущей машинкой „Continental“. Как всегда вокруг папы, там уже образовалось особое упорядоченное пространство. Это абсолютный порядок, и чисто внешний — на письменном столе, в рукописях и в печатном тексте, в одежде. И внутри — он собран и сосредоточен, внимателен и доброжелателен. Обитатели дома отвечают деликатной почтительностью. Вокруг него каким-то образом исключается суэта, грубость, навязчивость, капризы. Это знали всегда мы, дети, и в присутствии папы вели себя по мере сил достойно. Чувствуют это и обитатели дома на улице Карла Либкнехта».

Подробности тарусской жизни и природы девушка узнавала в отцовских стихах, которые, бывало, он ей первой и читал.

Скачет, свищет и бормочет  
Многоликий птичий двор.  
То могучий грянет кочет,  
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,  
В писке маленьких цыплят  
Гуси толстыми ногами  
Землю важно шевелят.

И шатаясь с боку на бок,

Через двор наискосок,  
Перепонки красных лапок  
Ставят утки на песок.

Будь бы я такая птица, —  
Весь пылая, весь дрожа,  
Поспешил бы в небо взвиться,  
Ускользнув из-под ножа!

А они, не веря в чудо,  
Вечной заняты едой,  
Ждут, безумные, покуда  
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,  
Вечно глупый, важный вид.  
Им, как видно, жизни опыт  
Ни о чём не говорит.

Их сердца послушно бьются  
По желанию людей,  
И в душе не отдаются  
Крики вольных лебедей.  
(«Птичий двор». 1957)

Владелец дома, по имени Фёдор Дмитриевич, день-деньской занят по хозяйству или же приторговывает с сада-огорода у ворот пионерского лагеря; он, пожалуй что, и выпивоха, но не буян. А хозяйка, Мария Дмитриевна, молчалива и работаща; ходит в церковь, что в соседнем селе. Не ханжа, — отмечает про неё дочь поэта. Оба они, и соседская девочка, и даже домашняя собачонка по кличке Дружок, особенно полюбившая Заболоцкого, — все, как на картине, в таком неприятельном, грустноватом его стихотворении «Городок» (1958):

Целый день стирает прачка,  
Муж пошёл за водкой.  
На крыльце сидит собачка  
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит  
Умные глазёнки,  
Если дома кто заплачет —  
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать  
В городе Тарусе?  
Есть кому в Тарусе плакать —  
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе  
Петухи да гуси.  
Сколько ходит их в Тарусе,  
Господи Исусе!

«Вот бы мне такие перья  
Да такие крылья!  
Улетела б прямо в дверь я,  
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете  
Больше не глядели,  
Петухи да гуси эти  
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе  
В городе Тарусе!  
Петухи одни да гуси,  
Господи Исусе!

Никогда прежде Заболоцкий так пристально не всматривался в обычную жизнь обычных людей, — а теперь они как свои его сердцу...

По воспоминаниям дочери, Николай Алексеевич не выглядел тогда здоровым человеком: огрузнел, малоподвижен. Но по-прежнему он ни на что и никогда не жаловался. Наташа подмечала: «По утрам у него всегда светлое, сосредоточенное выражение. Чувствую в нём ранимость и беззащитность и в то же время строгую дисциплину, ответственность за

рабочее состояние. <...> Когда возникали стихи? Мне кажется, что складывались они постепенно, а записывались часто тоже по утрам, однако основную массу работы составляли переводы. Впоследствии я часто узнавала черты и моменты нашей жизни, послужившие толчком к возникновению стихов или отдельных строк».

На прогулки поэт выбирался редко. Как-то пошли они с четой Гидашей к деревеньке Сутормино через колосющееся поле, где открывалась глазу долина реки Таруски. Агнесса восторгалась красотами пейзажа — Заболоцкий слегка трунил над ней. На обратном пути Заболоцкий долго в задумчивости смотрел на женщин, полоскавших в запруде бельё. Позже, когда он прочёл стихотворение «Стирка белья», дочь вспомнила ту прогулку.

.....  
Я сегодня в сообществе прачек,  
Благодетельниц здешних мужей.  
Эти люди не давят лежащих  
И голодных не гонят взащей.  
Натрудив вековые мозоли,  
Побелевшие в мыльной воде,  
Здесь не думают о хлебосолье,  
Но зато не бросают в беде.  
Благо тем, кто смятенную душу  
Здесь омоет до самого дна,  
Чтобы вновь из корыта на сушу  
Афродитою вышла она!  
(1957)

По вечерам они всей компанией спускались к реке, где у причала покачивалась лодка, взятая Гидашами напрокат. На ней катались по Оке. Однажды уговорили сесть в лодку Заболоцкого. Неожиданно в днище обнаружилась течь, и он, побледнев, тут же велел грести к берегу. Должно быть, припомнилась поэту переправа на барже через Амур, когда все заключённые погибли — и он с ними должен был утонуть, если бы в последний момент его не выдернул из покорной толпы чертёжный начальник...

Наташа Заболоцкая не раз потом мысленно благодарила мужа и жену Гидашей за то, что они познакомили отца с Тарусой и подарили ему два

лета счастливой размеренной жизни. Последние его два чудесных лета...

«Однажды, в приближении сумерек, невыносимый восторг переполнил меня и, добравшись до папы, как всегда сидевшего на скамейке, я, потрясённая, спросила: „О, ты видишь это, ты чувствуешь?“ И позже узнала картину, меня потрясшую, в стихотворении „Вечер на Оке“.

Горит весь мир, прозрачен и духовен,  
Теперь-то он поистине хорош,  
И ты, ликуя, множество диковин  
В его живых чертах распознаёшь».

Несколько раз они бывали в гостях у Паустовского, прочно обосновавшегося в Тарусе. Заболоцкий читал ему стихи, и Константин Георгиевич был явно растроган. «Видно было, что их связывало чувство взаимной нежной почтительности», — вспоминала дочь. Сохранилось письмо Паустовского Вениамину Каверину: «Здесь летом жил Заболоцкий. Чудесный, удивительный человек. На днях приходил, читал свои новые стихи — очень горькие, совершенно пушкинские по блеску, силе поэтического напряжения и глубине». Но чаще всего отец с дочерью проводили вечера в доме Гидашей: пили чай, вино, что-нибудь читали друг другу или же играли в домино.

Ещё в годы неволи Заболоцкий мечтал провести остаток жизни не в большом столичном городе, а в каком-нибудь захолустном тихом городке — вдали от суеты, от человеческого сутолпища. Таруса напомнила ему это сокровенное желание. Она чем-то походила на уездный Уржум, город детства. Заболоцкому здесь хорошо жилось и работалось, и он захотел последовать примеру Паустовского и жить в Тарусе не наездами, а круглый год. Присмотрел новый рубленый дом на одной из улочек и уже по-хозяйски беседовал с владельцем о цене, о том, чего бы следовало пристроить и как уберечься от «жуков-точильщиков». Даже план своей будущей тарусской усадьбы набросал на листе бумаги.

Дворовые крикливые кочеты, которые в стихах его прежде совсем не беспокоились о своей участи и досаждали «девочке Марусе», теперь запели совсем по-другому:

На сараях, на банях и гумнах  
Свежий ветер вздувает верхи.  
Изливаются в возгласах трубных



Звездочёты ночей — петухи.

Нет, не бьют эти птицы баклуши,  
Начиная торжественный зов!  
Я сравнил бы их тёмные души  
С циферблатами древних часов.

.....

Ярко светит над миром усталым  
Семизвездье Большого Ковша,  
На земле ему фокусом малым  
Петушина служит душа.

Изменяется угол паденья,  
Напрягаются зренье и слух,  
И, взметнув до небес оперенье,  
Как ужаленный, кличет петух.

И теперь, на границе историй,  
Поднимая свой гребень к луне,  
Он, как некогда витязь Егорий,  
Кличет песню надзвёздную мне!  
(«Петухи поют». 1958)

*Безумный волк из одноимённой поэмы вывёртывал себе шею, чтобы видеть небо; звёзды, символы свободы, безмолвно сияли над двумя замерзающими стариками-крестьянами где-то в поле возле Магадана; и ныне тарусский безумный кочет пел в ночи поэту надзвёздную песню.*

Всё сходилось — и было понятно почему...

\*

Осенью 1957 года Николай Алексеевич Заболоцкий впервые попал за границу, в Италию. Это была поездка группы советских писателей по приглашению итальянских коллег. Литературное начальство обычно подбирало для таких визитов людей проверенных, и Заболоцкого вряд ли бы включили в состав делегации, если бы не настойчивость итальянцев. Они хорошо помнили и ценили поэта ещё по «Столбцам».

Группу советских писателей возглавил Алексей Сурков; в неё вошли Микола Бажан, Вера Инбер, Михаил Исаковский, Леонид Мартынов, Александр Прокофьев, Борис Слуцкий, Сергей Смирнов, Александр Твардовский. «Это вообще была очень забавная делегация, если это сколько-нибудь забавно... — замечает Михаил Синельников. — Там были люди взаимоисключающие. <...> Например, в общей команде оказались Леонид Мартынов и лет за десять до этой поездки чуть не погубившая его Вера Инбер. И пришлось их „мирить“ специально для этой экспедиции».

У Заболоцкого тоже не со всеми в делегации были хорошие отношения. Незадолго до этого редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский при сотрудниках своего журнала довольно зло и нетактично высмеял одно из его стихотворений («Лебедь в зоопарке») за строку, где эта прекрасная птица была названа — «животное, полное грёз». Подчинённые хихикали вслед за хохочущим поэтом-редактором, который, будучи младше Заболоцкого на семь лет, свысока, как старший, укорял Николая Алексеевича: дескать, разве же можно так писать, «ведь не маленький уже»... Доведённый до слёз, Заболоцкий чувствовал себя оскорблённым...

В Рим вылетали самолётом, но Заболоцкому, больному сердцем, врачи порекомендовали поезд. Борис Слуцкий, верный по характеру, вызвался ехать с ним. Потом он вспоминал, как в Союзе писателей они дожидались машину на вокзал. Заболоцкому хотелось курить, а папиросы он забыл дома. Слуцкий пишет: «В комнату вошёл невысокий обезьяновидный человек. Не вошёл, собственно, а только сунулся — искал кого-то. Николай Алексеевич так и кинулся к нему — попросил папиросу, и вошедший с радостной готовностью сказал:

— Пожалуйста, Николай Алексеевич — и ушёл.

Николай Алексеевич сел, затянулся раз и другой, а потом, блаженствуя, спросил:

— Интересно, кто же это был — с папиросами?

Я ответил:

— Ермилов.

Николай Алексеевич бросил папиросу на пол, растоптал и нахмурился».

Никита Заболоцкий сопровождал этот случай такими словами:

«До конца жизни не прощал он прямых и косвенных виновников своих бед. Помнил и помещённую в „Правде“ грязную статью Ермилова, сильно повредившую его положению в литературе и обществе».

В Рим Заболоцкий и Слуцкий добрались 11 октября, опоздав на первую встречу с итальянскими писателями. Потом была Флоренция; там

Заболоцкий выступил со своими мыслями о поэзии. Возгласив в заключение здравицу миру, радости, творчеству, он закончил словами: «Вот почему я не пессимист». Итальянцы не слишком поверили насчёт его оптимизма, посчитав это данью советской пропаганде. Поэт Анджело Мария Рипеллино, с которым он сошёлся ближе других, позже навестил его в Москве на Беговой. Снова зашла речь об оптимизме.

— Но ваша поздняя лирика пронизана тоской, — сказал Рипеллино. — Оптимизм — пустое слово, устаревший шаблон.

— Во всяком случае, моё искусство — утверждение жизни, — возразил Заболоцкий.

По мнению сына поэта, итальянцам трудно было понять, что оптимизм Заболоцкого «надсоциален» и основан на его собственных натурфилософских представлениях, а не на пропагандистском требовании. «В социальном плане он не был оптимистом и в те годы, уже не всегда сдерживая свои скрытые мысли, говорил, бывало, о жандармской сущности сталинского социализма».

Это подтверждает и дочь Наталья в коротких воспоминаниях об отце:

«В 50-х годах я, случалось, высказывала свои сомнения по поводу официальной пропаганды или по текущим событиям. Папа никогда не пускался в объяснения. Но бывал заметно доволен моим критическим настроением и повторял весело: „Это всё для дурачков“. И весело проходил по комнате, потирая руки».

Наталия Роскина вспоминала, что на её резкие критические высказывания о политике Заболоцкий отвечал спокойно и твёрдо: «Для меня политика — это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике и не хочу об этом думать».

А однажды дома сжал её лицо ладонями и, «заставляя смотреть в глаза, с какой-то жестокой торжественностью сказал: „Наташа! Я прошу тебя дать мне честное слово, что ты не занимаешься химией. Ты не занимаешься тем, что я называю химией. Честное слово“. Я охотно дала ему это слово».

Что же касается *оптимизма*, то и Роскина прекрасно понимала: Заболоцкий, зная, какой за ним догляд, был вынужден так говорить с иностранцем:

«Вот какой он был оптимист. Заговорили о возможной войне — с какой-то страшной реальностью он стал представлять мне её масштаб, а о себе сказал: „У меня тут погребок (он указал на нижние ящики большого павловского буфета), я буду пить не переставая“. Я сказала: „Неужели у мужчины во время войны другого дела не найдётся? И потом, что же будет

со мной?“ Он ответил: „Ты молодая, может, ещё и удерёшь“. Никого он не обнадёживал, ни себя, ни близких, никакой пощады не ждал ни от истории, ни от своей судьбы».

В Италии Николай Алексеевич был потрясён живописцами: в галерее Уффици вглядывался в картины Боттичелли (и оставил потом запись у себя в книжке о «виноградных лицах у Боттичелли», о глазах «дивной чистоты»). Из поездки привёз альбомы Брейгеля, Матисса, Боттичелли, Сезанна, Моне, Шагала.

Советская делегация побывала в Болонье, Равенне, Триесте, Модене, Венеции; Слуцкому запомнилась добрая улыбка Заболоцкого, сидящего в гондоле. Когда венецианские власти вдруг решили почему-то выслать «русских коммунистов» из города и все ужасно расстроились, один Заболоцкий не утратил хорошего расположения духа, невозмутимо заметив: «Подумайте, куда нас высылают? В Рим!» — и всех развеселил.

Михаил Синельников однажды услышал от Екатерины Васильевны Заболоцкой *изумительную историю* про итальянскую поездку мужа, случившуюся на обратном пути в Москву:

«Все погрузились в поезд. Заболоцкий, уже смертельно больной и очень усталый, сразу лёг на верхнюю полку и заснул.

Точнее, он не заснул, а прикрыл глаза, но его попутчики думали, что он спит. А в купе вошли Твардовский и Слуцкий. Твардовский указал на спящего, как казалось, Заболоцкого и тихо сказал Слуцкому: „Ведь каким хорошим человеком оказался, а какую ерунду всю жизнь писал!“ Разумеется, Заболоцкий услышал эту фразу, но не позволил себе даже улыбнуться в своём мнимом сне. <...>

Да, Твардовский и Заболоцкий большую часть жизни не ладили».

Синельников утверждает, что Александр Трифонович «презирал» Николая Алексеевича, а тот, в свою очередь, заявлял жене, что такие поэмы, как «Василий Тёркин», мог бы «строгать» каждые два месяца, если бы вдруг захотел халтурить.

Большие художники редко сходятся: известно, Льва Толстого раздражал Шекспир. Резкие высказывания наверняка были, однако, по нашему мнению, суть противоречий между Заболоцким и Твардовским в другом: тут *поэт* спорил с *прозаиком* (Твардовский однажды сказал о себе: да я, в сущности, прозаик).

Борис Слуцкий, спустя полтора десятка лет по кончине товарища, написал о нём стихотворение — «Заболоцкий спит в итальянской гостинице». Там есть поистине сердечные строки:

Я всматривался в сладостный покой,  
усталостью, и возрастом, и ночью  
подаренный. Я наблюдал воочью,  
как закрывался он от звёзд рукой,  
как он как бы невольно отстранял  
и шёпоты гостиничного зданья,  
и грохоты коллизий мирозданья,  
как будто утверждал: не сочинял  
я этого! За это — не в ответе!  
Оставьте же меня в концов конце!  
И ночью, и тем паче на рассвете  
невинность выступала на лице.  
Что выдержка и дисциплина днём  
стесняли и заковывали в латы,  
освобождалось, проступало в нём  
раскованно, безудержно, крылато.  
Как будто атом ямба разложив,  
поэзия рванулась к благодати!  
Спал Заболоцкий, руку подложив  
под щёку, розовую, как у дитяти,  
под толстую и детскую. Она  
покоилась на трудовой ладони  
удобно, как покоится луна  
в космической и облачной ледыни.  
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,  
вдыхая тибуртинские миазмы,  
и содрогался, будто бы от астмы,  
и вновь сопел, как будто что-то пел  
в неслыханной, особой, новой гамме.  
Понятно было: не сопит — поёт.  
И упирался сильными ногами  
в гостиничной кровати переплёт.

Путешествие по Италии утомило поэта — но и взбодрило, зарядило его новой энергией. Он обратился к переводам с итальянского, перевёл несколько стихотворений Рипеллино и Умберто Сабо. Одному из своих заочных почитателей, А. К. Крутецкому, потом черкнул в письме:

«Что с Вашим сердцем? Я тоже старый сердечник, так как здоровье

моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера. <...> Но я и моё сердце — мы понимаем друг друга. Оно знает, что пощады ему от меня не будет, а я надеюсь, что его мужицкая порода ещё потерпит некоторое время» (6 марта 1958 года).

Терпеть оставалось уже недолго...

## Последняя жизнь

Говорят, Арсений Тарковский гордился тем, что примирил чету Заболоцких. Однако что бы у него вышло, если бы у них самих не было к этому взаимного стремления?..

Одно из самых поразительных стихотворений цикла «Последняя любовь» — «Встреча» (1957). Ему предпослан эпиграф из романа Льва Толстого «Война и мир»: «И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как открывается заржавевшая дверь, — улыбнулось...» Н-да, сравнение...

Как открывается заржавевшая дверь,  
С трудом, с усилием, — забыв о том, что было,  
Она, моя нежданная, теперь  
Своё лицо навстречу мне открыла.  
И хлынул свет — не свет, но целый сноп  
Живых лучей, — не сноп, но целый ворох  
Весны и радости, и, вечный мизантроп,  
Смешался я... И в наших разговорах,  
В улыбках, в восклицаньях, — впрочем, нет,  
Не в них совсем, но где-то там, за ними,  
Теперь горел неугасимый свет,  
Овладевая мыслями моими.  
Открыв окно, мы посмотрели в сад,  
И мотыльки бесчисленные сдуру,  
Как многоцветный лёгкий водопад,  
К блестящему помчались абажуру.  
Один из них уселся на плечо,  
Он был прозрачен, трепетен и розов.  
Моих вопросов не было ещё,  
Да и не нужно было их — вопросов.

Очевидно, что разлука с женой была неестественным состоянием для Заболоцкого: в мыслях и чувствах он всегда был с ней рядом.

В последнем стихотворении цикла — «Старость» (1957) воображение рисует ему желанную картину единства родных душ:

Простые, тихие, седые,  
Он с палкой, с зонтиком она, —  
Они на листья золотые  
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,  
Без слов понятен каждый взгляд,  
Но души их светло и ровно  
Об очень многом говорят. <...>

Тут и о животворном свете страданий, испытанных в жизни, и о том, что:

Изнемогая, как калеки,  
Под гнётом слабостей своих,  
В одно единое навеки  
Слились живые души их.

Счастье чудится промельком зарницы: оно «такого требует труда!» — зато потухает быстро и исчезает уже навсегда.

В последних строках стихотворения — и всего цикла — мечтание о том, что так необходимо двум не уберёгшим своего счастья людям:

Теперь уж им, наверно, легче,  
Теперь всё страшное ушло,  
И только души их, как свечи,  
Струят последнее тепло.

В те два последних лета в Тарусе Заболоцкого не покидали эти его постоянные мысли, воплощаясь в стихах:

Кто мне откликнулся в чаще лесной?  
Ты ли, которая снова весной  
Вспомнила наши прошедшие годы,  
Наши заботы и наши невзгоды,  
Наши скитанья в далёком краю, —



Ты, опалившая душу мою?  
(«Вечер на Оке». 1957)

Надежда на новую — прежнюю — жизнь, которую он не мыслил без жены, не оставляла его:

Луч, подобный изумруду,  
Золотого счастья ключ —  
Я его ещё добуду,  
Мой зелёный слабый луч.  
(«Зелёный луч». 1958)

Эта надежда то воспаряла в его душе, то вновь слабела и пропадала почти насовсем:

Славно ласточка щебечет,  
Ловко крыльями стрижёт,  
Всем ветрам она перечит,  
Но и силы бережёт.  
Реет верхом, реет низом,  
Догоняет комара  
И в избушке под карнизом  
Отдыхает до утра.

Удивлён её повадкой,  
Устремляюсь я в зенит,  
И душа моя касаткой  
В отдалённый край летит.  
Реет, плачет, словно птица,  
В заколдованном краю,  
Слабым клювиком стучится  
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,  
На дверях висит замок.  
Догорело в лампе масло,  
И не светит фитилёк.

Горько ласточка рыдает  
И не знает, как помочь,  
И с кладбища улетает  
В заколдованную ночь.  
(«Ласточка». 1958)

В январе 1958 года пришло известие о кончине Евгения Львовича Шварца.

Екатерина Васильевна выехала в Ленинград к Екатерине Ивановне, вдове Шварца, чтобы какое-то время пожить с ней, облегчить горе. Николай Алексеевич знал об этом. 20 января он написал жене письмо:

«Милая Катя.

С тех пор, как я принял моё решение, мне стало спокойно на душе. Дай бог, чтобы и впредь было так же спокойно, как теперь. Ты будешь жить там, где захочешь, и так, как ты захочешь. Если ты будешь жить не у нас и лишь по временам нас навещать, мы будем рады и этому. Если случится так, что ты захочешь возвратиться к нам, мы с радостью встретим тебя. Если же не захочешь, мы будем знать, что тебе хорошо, и я не буду огорчать тебя своими упрёками. Дай бог тебе счастья, и прости меня за все мои несправедливые безумства.

Многие мои стихотворения, по существу, как ты знаешь, мы писали с тобою вместе. Часто один твой намёк, одно замечание — меняли суть дела, и я всё делал по-новому. А за теми стихами, что писал я один, всегда стояла ты, и я писал их, чувствуя тебя рядом с собою. Спасибо тебе за это. Ты ведь знаешь, что ради моего искусства я всем прочим в жизни пренебрёг, и ты мне в этом помогла. Ты слишком долго помогала мне и устала. Но я не имею права уставать. Я целую твои руки, мой милый друг. Моё сердце полно благодарности и любви к нашему прошлому.

Ты дала мне очень много, и я благодарю судьбу за то, что ты была со мною. Я один виноват во всём, я беру на себя всю вину, и буду носить её на себе, и никогда и ни в чём не упрекну тебя. Прости же и ты меня, и дай тебе боже долгих дней и светлого счастья!

Теперь я спокоен и твёрд, и ты не должна беспокоиться обо мне. Я постоянно работаю, думаю, наши дети живут хорошо. *Теперь настала моя новая, тихая, последняя жизнь* (курсив мой. — В. М.). Мне спокойно. Спокойной ночи, мой друг!

К.».

В марте в Москве прошла декада грузинской литературы и искусства. В канун декады в Тбилиси вышла первая книга двухтомника «Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого».

«22 марта в Колонном зале, — пишет Никита Заболоцкий, — он торжественно читал отрывок из своего полного перевода поэмы Руставели:

Есть ли кто презренней труса, удручённого борьбой,  
Кто теряется и медлит, смерть увидев пред собой?  
Чем он лучше слабой пряжи, этот воин удалой?  
Лучше нам гордиться славой, чем добычею иной.

Смерть сквозь горы и ущелья прилетит в одно мгновенье,  
Храбрецов она и трусов — всех возьмёт без промедленья.  
И детей и престарелых ожидает погребенье.  
Лучше славная кончина, чем постыдное спасенье!

Хроникальный фильм о грузинской эстраде сохранил для нас голос Заболоцкого, декламировавшего приведённые строки. Знаменательно, что это единственная оставшаяся звукозапись чтения поэтом стихов — и именно тех, в которых он, вторя Руставели, выразил своё отношение к достойным человека жизни и смерти. Вряд ли многие из сидящих в зале поняли, что поэт произнёс перед ними нечто вроде надгробного слова на приближающихся собственных похоронах».

По случаю грузинской декады Заболоцкий за заслуги в переводческой деятельности был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Разумеется, он был этому рад, как и любому другому знаку официального признания: это укрепляло и его положение как поэта, и положение семьи. Дома на Беговой это событие отметили с друзьями. Забрехала возможность издать новую книгу стихов — наконец со *столбцами*, но потом всё заглохло. «Они дурачки, что не признают меня, — говорил поэт сыну про власть имущих, — им выгодно было бы печатать мои стихи». А потом как-то добавил: «Меня уже не будет, но ты увидишь: лет через восемь меня начнут широко печатать...» — и почти не ошибся.

Для его поэзии 1957 год был необыкновенно плодотворен — по подсчётам сына-биографа, Заболоцкий написал 33 стихотворения. Да и в 1958 году, последнем в его жизни, прибавил к этому 15 новых стихов и пять тысяч строк переводов с сербского. Нет, так и не дал передышки своему мужицкому сердцу Николай Алексеевич!..

Маргарита Алигер вспоминала, как в знойном июле 1958 года она побывала в Тарусе в гостях у Заболоцкого. Поехали они вместе с Либединскими. Накупили в Москве гостинцев, отыскивали любимое вино Заболоцкого «Телиани»:

«Он оказался дома один и ужасно нам обрадовался. Жил он дачником в небольшом старом тарусском домике с милым деревенским садом и охотно показывал нам невеликие свои временные владения, — видимо, он любил это место и ему тут было хорошо и покойно. Либединских было двое, и я была с дочкой, и водитель был за рулём машины, но мы всё-таки втиснули ещё и Заболоцкого туда же и поехали все вместе на другой берег Оки, в известное Поленово, посмотрели сохранившиеся там картины, знаменитых „Христа и блудницу“, которые именно тут, в Поленово, и писались. Потом долго и весело купались в Оке, потом вернулись к Заболоцкому и с удовольствием обедали на небольшой застеклённой терраске. <...>

Помню, я прочитала Заболоцкому ходившие тогда в литературной среде иронические стихи неизвестного поэта Холина, очевидно очень позабавившие его:

.....  
Вот я... Уж дома не был сутки.  
А где я был? У Нюрки спал.  
А что жене своей сказал?  
Сказал, чтоб не было скандала:  
„Дела! Начальство задержало“.

Николай Алексеевич долго веселился и на разные лады, лукаво и с видимым удовольствием всё повторял одну строчку: „А где я был? У Нюрки спал“. Очень ему пришлась по душе её интонация».

В бедах и хворях Заболоцкий отнюдь не утратил любви к шутке. По всей видимости, общение с докторами подвигло его в те годы к сочинению забавного цикла лёгких стишков под названием «Из записок старого аптекаря». Там были такие, к примеру, экспромты:

Как хорошо, что дырочку для клизмы  
Имеют все живые организмы!

Или:

Дай хоть йоду идиоту —  
Не поможет ни на йоту.

Ещё:

Весьма возможно, что в солёном огурце  
Довольно много витамина С.

Чувство юмора у Заболоцкого было весьма своеобразным. Писатели в большинстве народ в быту злоязычный, любящий поточить язык по любому поводу, никого не щадя. Заболоцкий был иным. Он шутил — над житейским, над безобидными слабостями людей. По мнению Наталии Роскиной, он обладал «совершенно очаровательным чувством юмора — наивным и в то же время изысканным». Роскина вспоминает, как хорошо всегда было Заболоцкому с детьми: у них было почти одинаковое чувство юмора. «Он постоянно цитировал стишок одной девочки:

Умру. И в русскую землю зарюют меня.  
Французский не буду учить никогда.  
В немецкую книгу не буду смотреть.  
Скорее, скорее, скорей умереть!

И каждый раз охотно смеялся».

Удивительно и другое: в отличие от многих русских классиков Заболоцкий не написал ни одной злой эпиграммы — ни на политиков, ни на писателей и литературных критиков, — хотя, казалось бы, поводов было больше чем достаточно...

Но вернёмся в летнюю Тарусу 1958 года.

Лидии Либединой тоже хорошо запомнилась эта поездка. Она вспоминает, как Заболоцкий, попивая любимое грузинское вино, с удовольствием декламировал Мандельштама:

В каждом маленьком духане  
Ты товарища найдёшь,  
Только спросишь Телиани —

Поплывёт Тифлис в тумане,  
Ты в тумане поплывёшь...

Он поведал гостям о своём желании провести всю зиму в Тарусе, увлечённо рассказывал о своей новой большой работе — переводе эпоса о нибелунгах.

Тогда же, в июле, к семье Гидашей приехал поэт Давид Самойлов. Наутро к ним в дом заглянул Николай Алексеевич. Самойлов вспоминал:

«Он был в сером полотняном костюме, в летней соломенной шляпе. Опрятный, сдержанный, как всегда. Уже не главбух, а милый чеховский, очень российский интеллигент. Добрый, шутливый».

Все вместе спустились к Оке. Пока Гидаши катались по реке в лодке, два поэта сидели на скамейке, созерцая округу.

«Потом поглядел на меня и сказал:

— Отчего у вас лицо такое... впечатлительное? Сразу видно, что кукуетесь. А вам работать надо. Работать, и всё.

Он, наверное, и о себе так думал всю жизнь: работать — и всё. <...>

А потом он ещё раз глянул на меня и добродушно произнёс:

— Вы — чудак. — Помолчал и добавил: — А я — нет.

Он, видимо, гордился тем, что не чудак, и думал, что это отличает его от других поэтов.

Одна литературная дама там же, в Тарусе, сказала мне с раздражением и с некоторым недоумением:

— Какой-то он странный. Говорит одни банальности, вроде того, что ему нравится Пушкин.

Бедная дама привыкла к тому, что поэты стараются говорить не то, что другие, и вести себя как-то особенно.

А ему самоутверждаться не нужно было. Он был гордый, и если и суетный, то не в этом, не в том, что он называл — работа».

Не слова Заболоцкого — а своё состояние запомнил Самойлов:

«И помню тогдашнее ощущение *тайного восторга* (курсив мой. — В. М.), когда мы сидели с ним на лавочке над Окой несколько часов и переговаривались неторопливо».

Имя этому «тайному восторгу» — *поэзия*.

Корней Чуковский однажды, после рядового визита Заболоцкого, сказал родственникам нечто вроде того: а вот представьте, к нам сейчас заходил человек, сопоставимый с Тютчевым или Боратынским...

Юрий Колкер задаётся вопросом о славе и приходит к выводу, что

рядом с «большой четвёркой» Заболоцкому не стоять. «Столетие со дня его рождения не стало национальным праздником, не сопровождалось пышными игрищами, вакханалией славословия, как дни Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой. И это — к лучшему. Тех, возведённых на пьедестал, в юбилейные годы просто жалко становилось — так густо шла вместе с чествованием профанация. Заболоцкого в значительной степени забыли — и тем пощадили. К счастью для него и тех, кто любит его стихи».

Строгий критик позднего Заболоцкого Алексей Пурин в конце своих заметок пишет, что, несмотря на все претензии к его творчеству, поэт остаётся «и, вероятно, останется» в числе немногих, без которых непредставим «русский XX век». Столько имён, стоявших, казалось бы, в одном ряду с ним, потускнело, стёрлось — а звезда Заболоцкого стала «ещё заметней на очистившемся от ложных светил небосводе». И заключает: «Без Заболоцкого, без его мучительных метаморфоз гармония невозможна».

Всех короче высказался Андрей Битов: «Баратынский стал крупнейшим поэтом XIX века в XX, Заболоцкий станет крупнейшим поэтом XX в XXI».

Но мы отвлеклись, — пора вернуться в год 1958-й.

Самое удивительное, пожалуй, тогдашнее стихотворение Заболоцкого — об угасании жизни и новых состояниях души — «На закате» (1958):

Когда, измученный работой,  
Огонь души моей иссяк,  
Вчера я вышел с неохотой  
В опустошённый березняк.

На гладкой шёлковой площадке,  
Чей тон был зелен и лилов,  
Стояли в стройном беспорядке  
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья  
Между стволами, сквозь листву,  
Небес вечернее сиянье  
Кидало тени на траву.

Был тот усталый час заката,

Час умирания, когда  
Всего печальней нам утрата  
Незавершённого труда.

Два мира есть у человека:  
Один, который нас творил,  
Другой, который мы от века  
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,  
И, несмотря на интерес,  
Лесок берёзовый Коломны  
Не повторял моих чудес.

Душа в невидимом блуждала,  
Своими сказками полна,  
Незрячим взором провожала  
Природу внешнюю она.

Так, вероятно, мысль нагая,  
Когда-то брошена в глуши,  
Сама в себе изнемогая,  
Моей не чувствует души.

По-настоящему трагичны строки об утрате незавершённого труда и об этой нагой мысли, ещё не почувствовавшей души поэта.

Он ощущал приближение неотвратимого в полном осознании того, как велики и совершенны его творческие возможности, как послушно слово, как дерзки ещё формирующиеся замыслы.

Он только что отправил в путешествие по необъятному азиатскому материку своего странника Рубрука, в котором, конечно же, содержалась немалая часть его собственной души, и французский монах глазами Заболоцкого созерцал «амфитеатр восточных звёзд»:

В садах Прованса и Луары  
Едва ли видели когда,  
Какие звёздные отары  
Вращает в небе Кол-звезда.



.....  
Там тот же бой и стужа та же,  
Там тот же общий интерес.  
Земля — лишь клочок небес и даже,  
Быть может, лучший клочок небес.

.....  
Идут небесные Бараны,  
Плывут астральные Ковши,  
Пылают реки, горы, страны,  
Дворцы, кибитки, шалаши.

Ревёт медведь в своей берлоге,  
Кричит стервятница-лиса,  
Приходят боги, гибнут боги,  
Но вечно светят небеса!

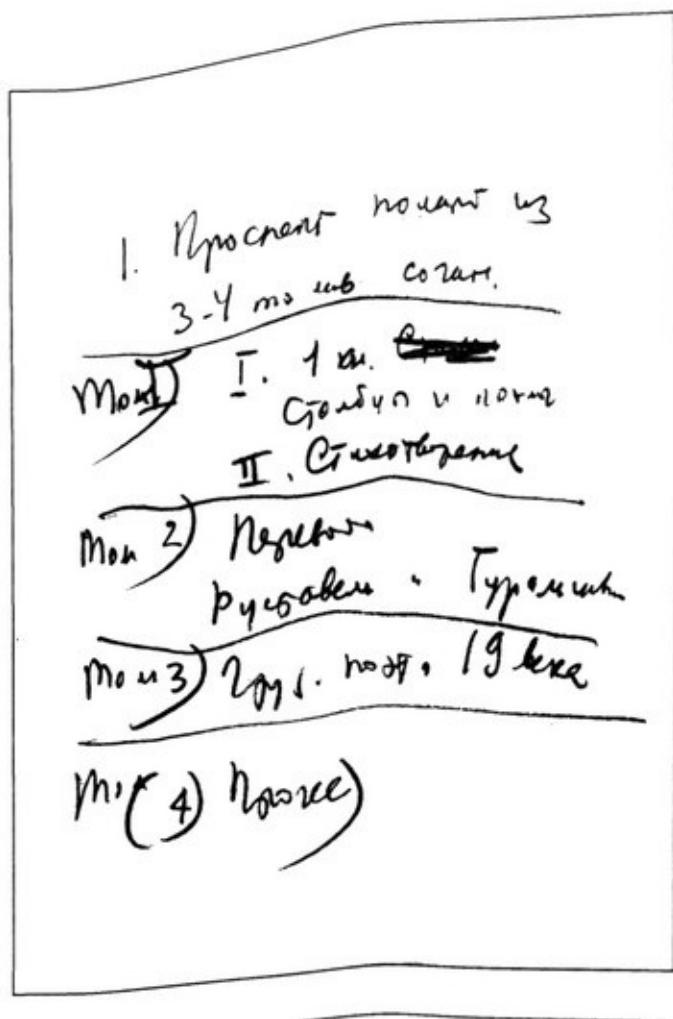
\*

В начале сентября 1958 года, когда Заболоцкий приехал из Тарусы, Екатерина Васильевна уже снова жила на Беговой.

В это время в Москву прибыла с ответным визитом делегация итальянских писателей. Поэт Яков Хелемский запомнил дискуссию в Дубовом зале Дома литераторов. Он был удивлён: Заболоцкий, участник итальянской поездки, сидел не в центре, за круглым столом, а в сторонке, у стены. Николай Алексеевич выглядел неважно, и Хелемский догадался: потому и расположился ближе к выходу. Тут объявили: знаменитый поэт Сальваторе Квазимодо занемог с сердцем и потому отсутствует. К нему решили отрядить небольшую делегацию, чтобы поприветствовать и пожелать выздоровления. Назвали имена Алигер и Заболоцкого. «Николай Алексеевич встал и слегка поклонился, давая понять, что считает для себя честью эту миссию, — пишет Хелемский. — Между тем он явно побледнел. Очевидно, самочувствие Заболоцкого было таково, что направлять к больному, да ещё сердечнику, его не стоило. <...> Но Заболоцкий поехал к захворавшему гостю. Чувству самосохранения он предпочёл чувство долга и человеческое участие».

Приехав в гостиницу «Москва», Маргарита Алигер и Николай Заболоцкий увидели, как из дверей санитары выносят на носилках

Сальваторе Квазимодо. У него обнаружили тяжёлый инфаркт. Заболоцкий почувствовал сильную боль в сердце и отправился домой. Вызвали врача, и тот прописал ему постельный режим.



План будущего собрания сочинений Заболоцкого на листке перекидного календаря от 12 февраля 1957 года

### Личный Архив

1. Рукопись "~~Стихотворения и поэмы~~ <sup>Стихотворения и поэмы</sup> "Степана Нариса Стихотворения", в переплете.  
~~Ночное собрание стихов~~ 1926 - 1958 г.г., отобранные  
и обработанные для печати, в переплете.
2. Рукопись "Степана" в венецианском кт. переплете,  
обработанная в 1957 году.
3. "Степана" издание 1929 года в кт. переплете.
4. "Моя звезда 1933" № 1, 2 с поэмой "Зориско Замедлену".
5. Корректура кт. издания книги "Стихотворения 1933 г.
6. "Вторая книга" издание 1937 года в 2-х экз., в пер.
7. Корректура книги "Стихотворения" № 1948 г. до сокращения.
8. "Стихотворения" издание 1948 года, в пер.
9. "Стихотворения" издание 1957 года, в пер.

### **Рукописный листок Заболоцкого с наброском будущего литературного архива. 1958 г.**

Сын вспоминал, что отец лежал у себя на тахте, читал, думал.

Однажды он попросил Екатерину Васильевну подать в постель снимки, сделанные после церемонии недавнего награждения. Никита Заболоцкий пишет: отец аккуратно подрезал фотографии ножницами «...и отрезанные полоски с изображением ордена велел выкинуть в помойное ведро». Конечно, это был чисто символический жест, посланный не столько историческому времени, сколько вечно светящим небесам, перед которыми все рано или поздно предстают. «По иронии судьбы, — продолжает сын, — на рекламной доске фотоателье парадная фотография с орденом красовалась ещё долго после смерти поэта. А вот этого-то он и боялся. Он хотел предстать перед потомками таким, каким, в сущности, и был: без житейской суетности и мелкого тщеславия. Несмотря на „дурную“ социальную почву, на которой ему приходилось взращивать свою поэзию,

он верил, что в ней-то, в поэзии, он сумел постоять за себя. И это сознание творческой победы было для него лучшей наградой». ...Да и орден-то, вспомним, дали за переводы, а не за собственные стихи; за стихи же дали — срок.

В первых числах октября его состояние ухудшилось, с постели он не вставал.

6 октября, лёжа, Заболоцкий составил своё *Литературное завещание*, определив состав стихотворений и поэм, предназначенных к своему «полному собранию».

Жене, дежурившей возле него, рассказывал о том, что ему хотелось бы ещё успеть. В записках Екатерины Васильевны это осталось: «Он говорил, что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию из поэм „Смерть Сократа“, „Поклонение волхвов“, „Сталин“. Меня удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне объяснять, что Сталин сложная фигура на стыке двух эпох. Разделаться со старой этикой, моралью, культурой было ему нелегко, так как он сам из неё вырос. Его воспитала Грузия, где правители были лицемерны, коварны, часто кровожадны. Николай Алексеевич говорил, что Хрущёву легче расправиться со старой культурой, потому что в нём её нет».

Если идеи о Сократе и Сталине были новыми, то о *поклонении волхвов* Заболоцкий задумывался ещё в обэриутской молодости. Леонид Липавский записал тогда за ним его слова: «Удивительная легенда о поклонении волхвов, высшая мудрость — поклонение младенцу. Почему об этом не написана поэма?» Потрясающий по размаху замысел! Он охватывает время от греческой золотой античности до XX века, а в сердцевине его — младенец Иисус, зарождение христианства.

Вечер 13 октября, вспоминает сын, семья провела вместе. «По телевизору смотрели фильм „Летят журавли“. Николай Алексеевич лежал на тахте, чувствовал себя неплохо и был в хорошем настроении».

Утром 14 октября Заболоцкий нарушил запрет врачей и поднялся с постели — пошёл в ванную комнату, побрился. Ему стало плохо, сам дойти до кровати он уже не мог. Вызвали врача — укол оказался бесполезен.

Последние слова, которые он произнёс, были:

— Я теряю сознание...

На рабочем столе Николая Алексеевича Заболоцкого остался чистый лист бумаги. На нём всего три слова:

«1. Пастухи, животные, ангелы.

2.»

Это были последние слова, которые написал поэт.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



*Лидия Андреевна и Алексей Агафонович Заболотские с сыном Колей.  
1904 г.*



*Коля Заболотский. Казань. 1908 г.*



*Начальная школа, в которой учился Коля Заболотский. Село Сернур.  
Современный вид*



*Мост через овраг, по которому он ходил в школу. Село Сернур.  
Современный вид*





*Уржумский реалист Коля Заболотский. 1913 г.*



*Здание бывшего Реального училища, ныне Гимназия города Уржума.  
Современный вид*



*Урок химии в Уржумском реальном училище. Начало XX в.*



*Мемориальный класс Н. А. Заболоцкого в Гимназии города Уржума с «гипсами» из кабинета рисования Реального училища*



*Заслуженный врач Михаил Иванович Касьянов, автор воспоминаний о юности Заболоцкого. 1980-е гг.*



*Вид старого Уржума. 1910-е гг.*



*Николай Заболоцкий в Уржуме. 1919 г.*



*Дом в Уржуме, где жил реалист Заболоцкий. Улица Чернышевского, 9.  
Современный вид*





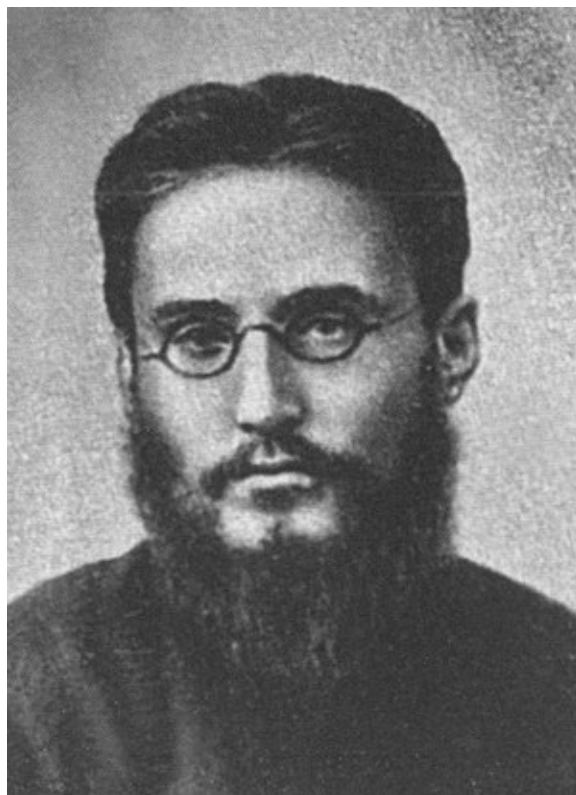
*Фото восемнадцатилетнего Заболоцкого, присланное из Петрограда родителям с надписью: «От сына Коли — студента Петроградского института имени Герцена». 1921 г.*



*Петроградский педагогический институт им. А. И. Герцена  
располагался в здании Сиротского института императора Николая I  
на набережной Мойки. Открытка. Начало XX в.*



*Студентка Пединститута Катя Клыкова. 1920-е гг.*



*Профессор Василий Алексеевич Десницкий — декан факультета  
русского языка и литературы Педагогического института им. А. И.  
Герцена*



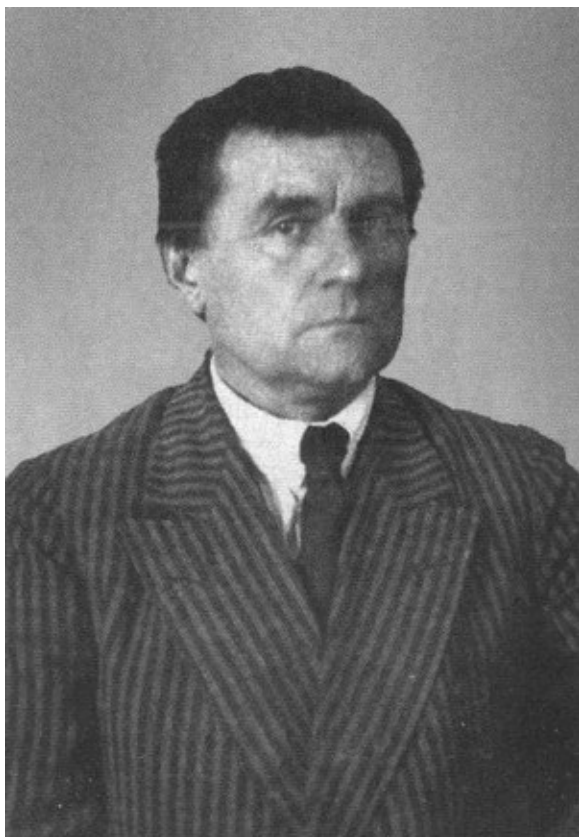
*Николай Заболоцкий. 1925 г. Автопортрет. Ленинград*



*Даниил Хармс. 1930-е гг.*



*Даниил Хармс. 1920-е гг. Шарж Н. Заболоцкого*



*Казимир Малевич. 1924 г.*





*Александр Введенский. 1922 г.*



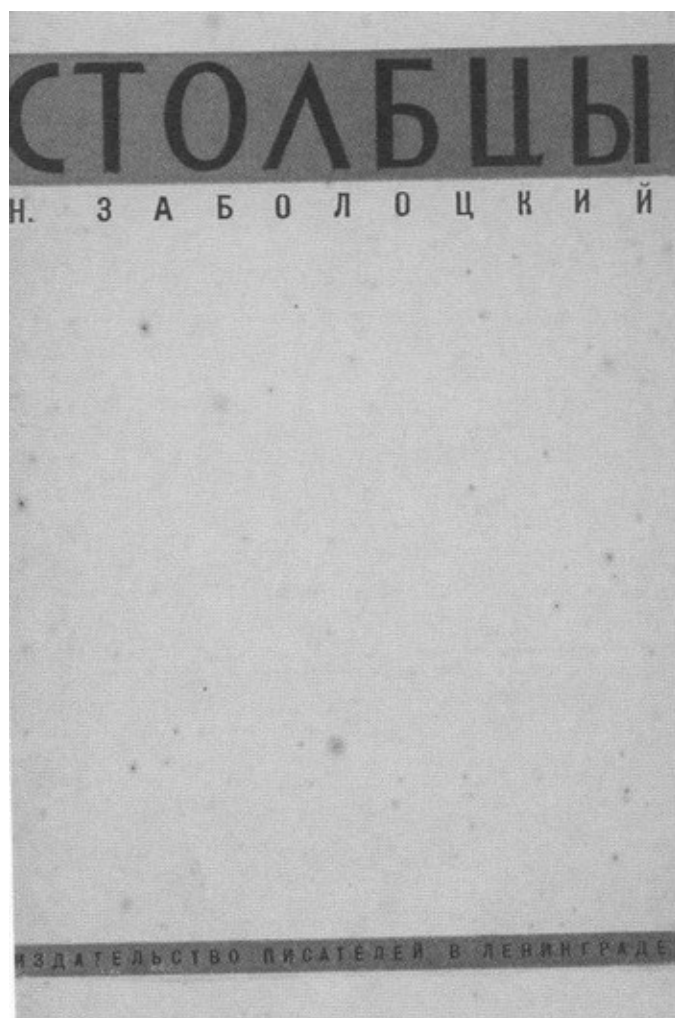
*Павел Филонов. 1925 г. Автопортрет*



*Николай Олейников. 1928 г.*



*Игорь Бахтерев. 1927 г.*



*Обложка сборника Николая Заболоцкого «Столбцы». По рисунку М. Кирнарского. 1929 г.*



*Николай Заболоцкий. 1929 г.*



*Николай Заболоцкий. Ленинград. 1933 г.*



*Заболоцкий с женой Екатериной и сыном Никитой. Сестрорецк. 1935*  
г.



*Похороны Кирова. Ленинград. Декабрь 1934 г.*





*Застолье у Липавских: Галина Викторовна, Леонид и Тамара Липавские, Александр Введенский. Ленинград. 1938 г.*



*Николай Заболоцкий и Симон Чиковани. Тбилиси. 1936 г.*



*Николай Заболоцкий в Ленинграде. 1937 г.*



*Николай Заболоцкий. 1958 г.*



*Николай Заболоцкий. Ленинград. 1937 г.*



*Один из исправительных трудовых лагерей Дальнего Востока. 1930-е гг.*



*Жена Екатерина Васильевна с детьми Наташей и Никитой во время ссылки. Уржум. 1939 г.*



*Заключённые на общих работах в тайге. 1930-е гг.*



*Николай Заболоцкий. Москва. 1946 г.*



перенесен 53100

Форма № 2 П/Д № 201699 Н. Амурской  
Разм. 13,5×9 см. Арх. № 3 08080944

1. Фамилия Заболоцкий  
2. Имя и отчество Николай Алексеевич  
3. Год и место рождения 1903. Урючий? Козань

4. Соц. происхождение Служащий  
5. Национальность русский инородчество  
6. Образование  
7. Бывшая партийность беспартийный  
8. Местожительство Ленинград Канал Гривоев  
9. Профессия  
10. Специальность педагог

Специальные указания  
" 2/9 194/ г. Заполнял. т. архив  
(должность и фамилия)

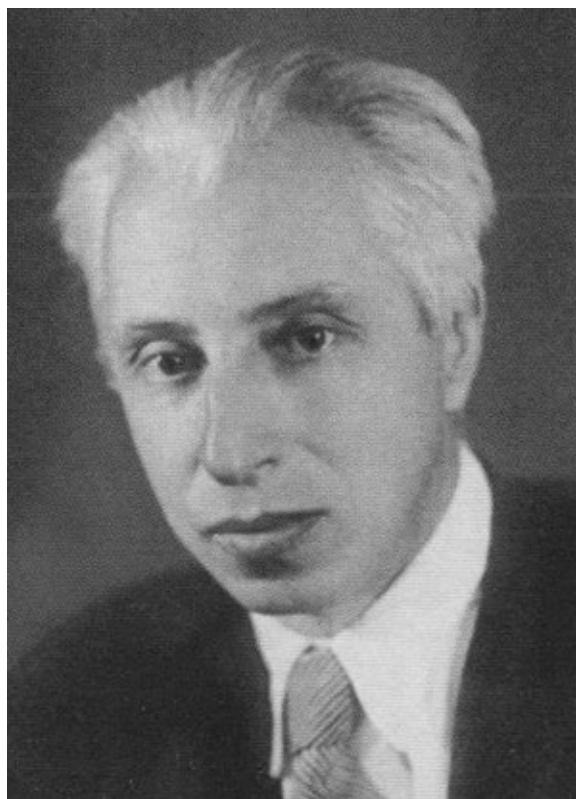
Карточка формы № 2 заключённого Н. А. Заболоцкого



*Вениамин Каверин. 1945 г.*



*Евгений Шварц. 1940-е гг.*



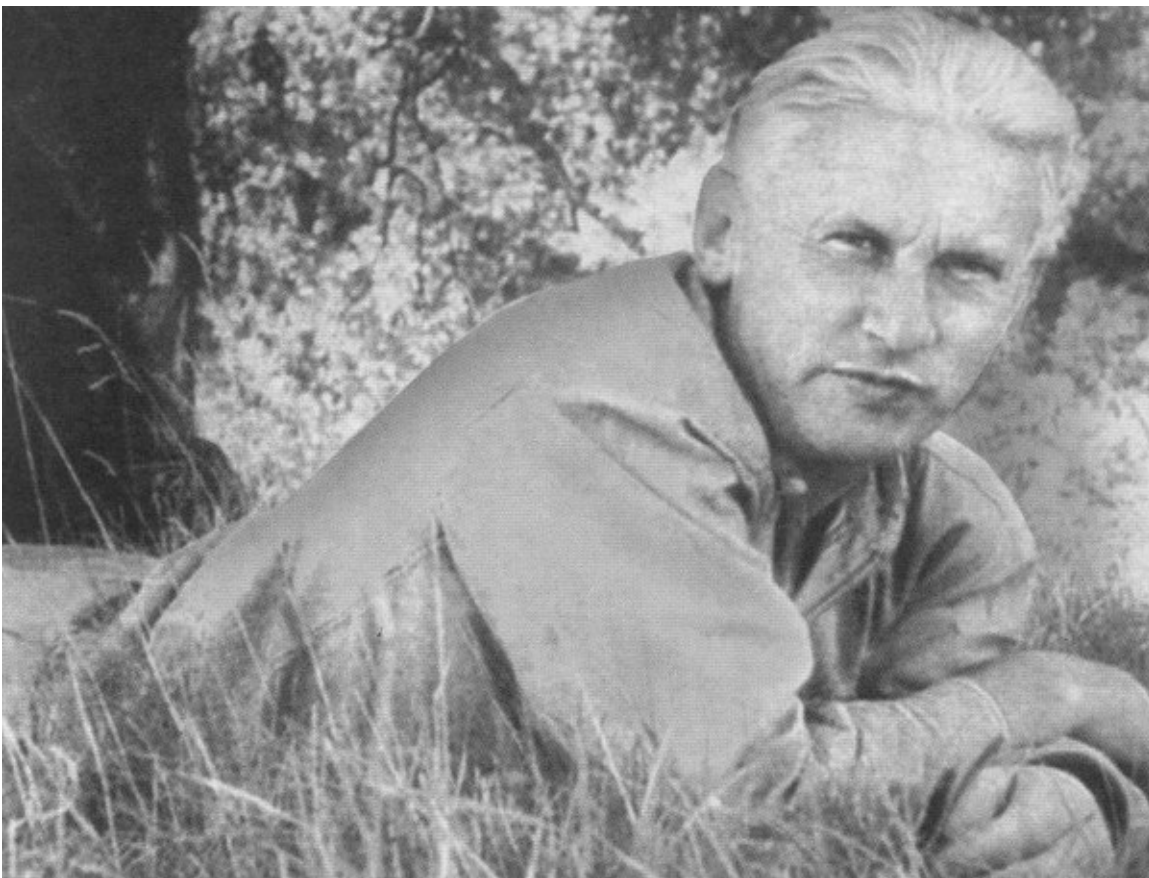
*Николай Степанов. 1940-е гг.*



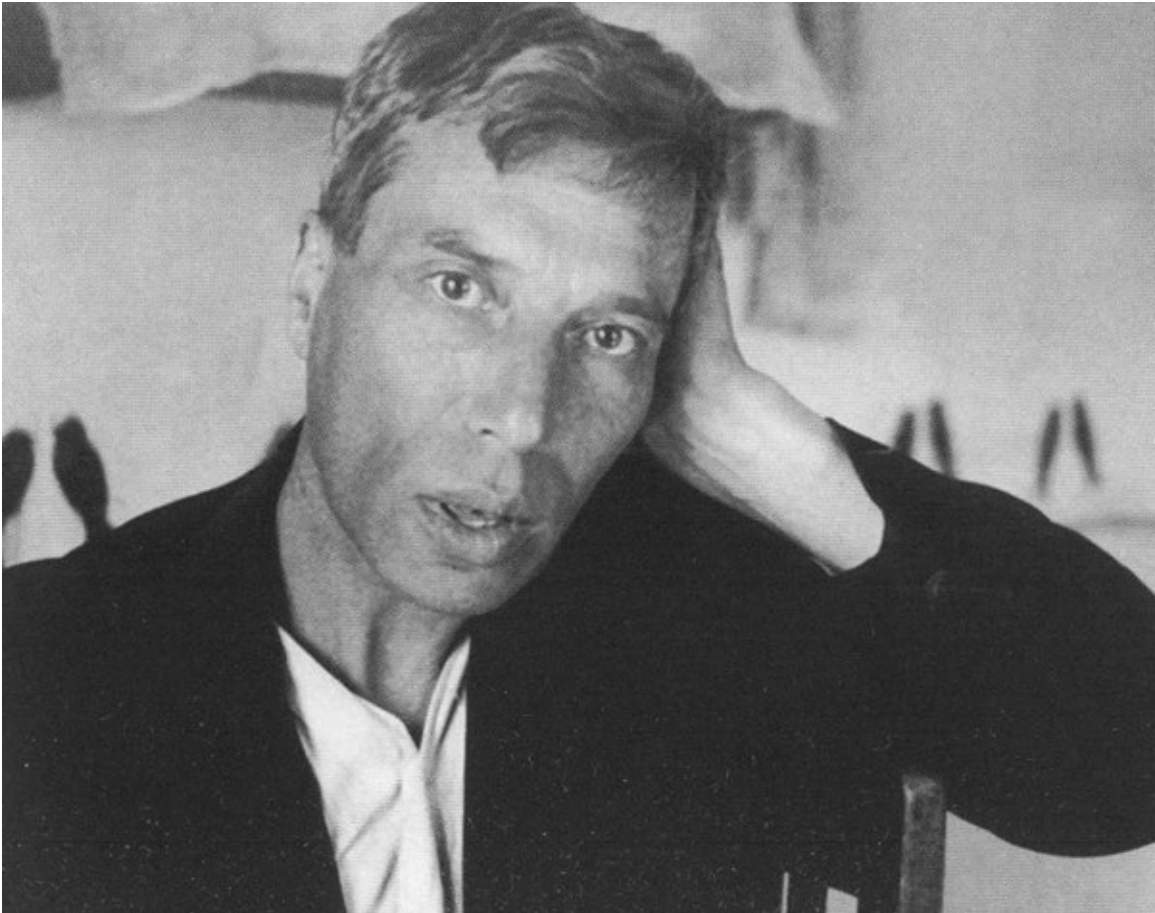
*Писатель Василий Ильенков с женой на даче в Перedelкине. 1950-е гг.*



*Николай Заболоцкий в Переделкине. Конец 1940-х гг.*



*Александр Фадеев. 1950-е гг.*



*Борис Пастернак. 1943 г.*

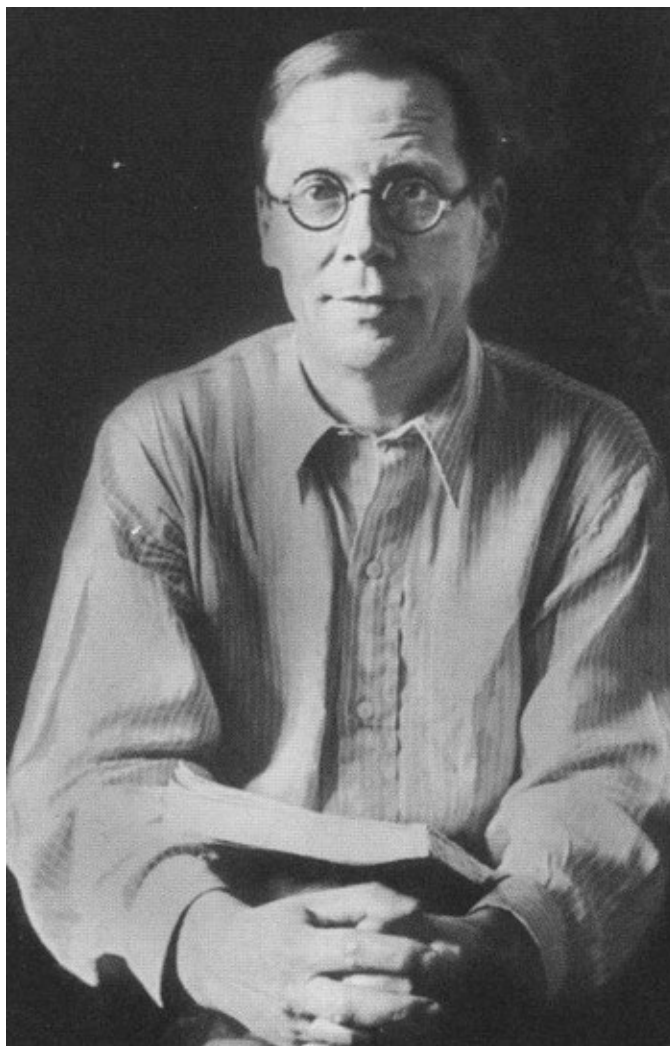




*Дача Вениамина Каверина в Переделкине*



*Поэт с женой и дочерью Наташей. Переделкино. 1946 г.*



*Николай Заболоцкий. Москва. Лето 1948 г.*



*В писательском посёлке на Беговой: дочь Заболоцкого Наташа с подругой Женей Казакевич. Москва. 1949 г.*



*Николай Заболоцкий. 1953 г.*



*С женой после болезни. 1954 г.*



*С сыном Никитой. 1955 г.*



*Николай и Екатерина Заболоцкие. Москва. 1955 г.*





*Николай Заболоцкий с дочерью Наташей. Переделкино. 1956 г.*



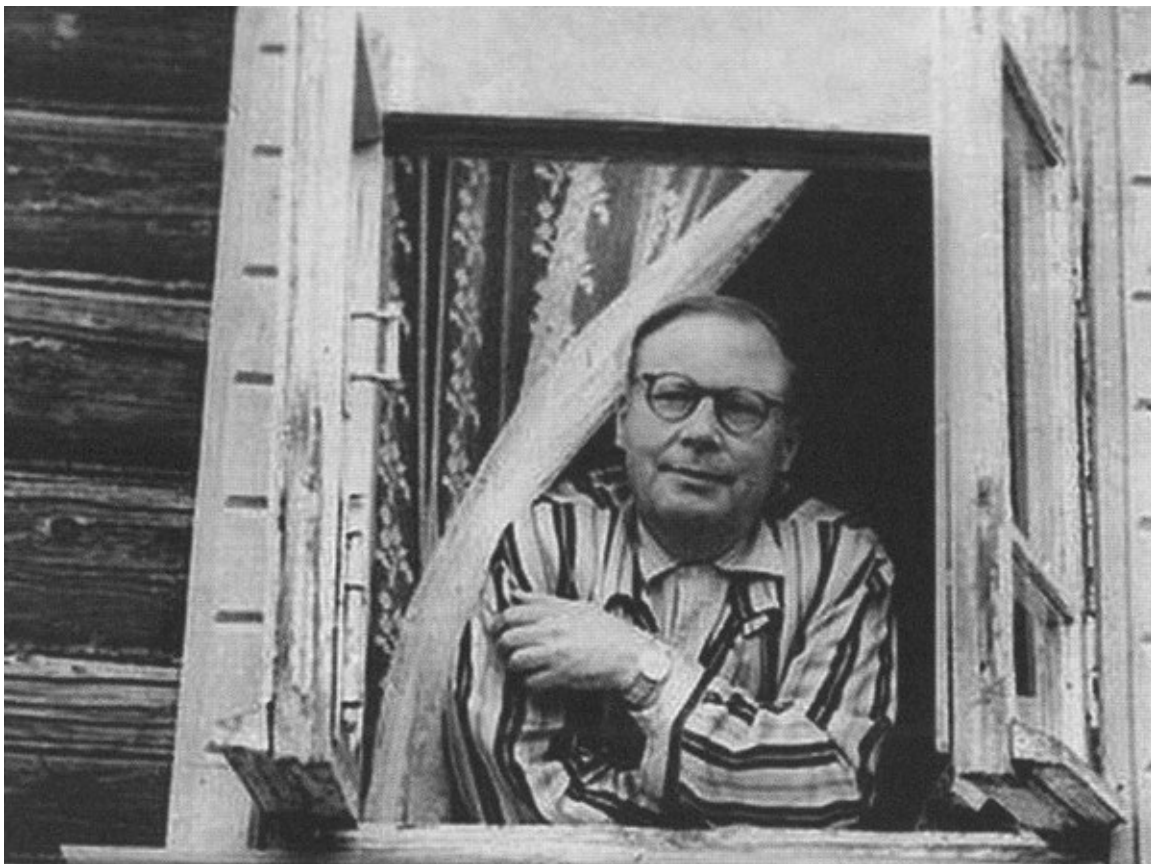
*Николай Заболоцкий (в центре) в составе делегации советских поэтов в Триесте. Италия. 1957 г.*



*С Николаем Степановым. Таруса. 1958 г.*



*Заболоцкий за год до рокового инфаркта. Москва. 1957 г.*



*Заболоцкий в Тарусе. 1958 г.*



*Дом, где жил Заболоцкий. Таруса. Современный вид*



*На прогулке в берёзовой роще. Таруса. 1957 г.*



*Единственный памятник поэту Заболоцкому. Таруса*





*Никита Николаевич Заболоцкий, автор биографических произведений об отце, составитель нескольких собраний его произведений. Дни Николая Заболоцкого на Уржумской земле. 1998 г.*



*Могила Николая Алексеевича, Екатерины Васильевны и Никиты Николаевича Заболоцких на Новодевичьем кладбище. Москва*

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

1903, 7 мая (по новому стилю) — на ферме Казанского губернского земства близ Казани родился Николай Алексеевич Заболоцкий.

1909 — семья Заболотских переезжает в село Кукмор Казанской губернии.

1910, лето или осень — Заболотские переезжают в село Сернур Уржумского уезда Вятской губернии.

1911, январь — отец, Алексей Агафонович, зачислен агрономом Епифаниевской фермы (село Сернур).

Сентябрь — Коля Заболотский начинает учиться в начальной школе в селе Сернур. Сочиняет первые стихи.

1913, лето — сдаёт вступительные экзамены и поступает в Реальное училище города Уржума.

1914, лето — начало Первой мировой войны.

1914 или 1915 — первые дошедшие до нас стихи Коли Заболотского.

1916 — начало дружбы учеников Реального училища Коли Заболотского и Миши Касьянова.

1917, лето — Коля затеял детский шуточный журнал «Жулик».

Осень — семья Заболотских переезжает из Сернура в Уржум.

1918, лето — Николай работает секретарём сельсовета в одном из сёл близ Уржума.

Сочиняет полушутливую поэму «Уржумиада» (не сохранилась).

1919 — переписывает и переплетает свои стихотворения в самодельную книжку под названием «Уржум».

1920, весна — Николай Заболотский оканчивает Среднюю трудовую школу города Уржума (бывшее Реальное училище).

Середина лета — Николай с товарищами Михаилом Касьяновым и Аркадием Жмакиным едет в Москву поступать в университет.

Лето — Заболотский и Касьянов одновременно приняты на историко-филологический факультет Первого Московского университета и на медицинский факультет Второго университета.

1921, февраль или март — Николай, не окончив первого курса, из-за голода возвращается в Уржум.

Начало августа — едет в Петроград и поступает на отделение языка и

литературы общественно-экономического факультета Педагогического института им. А. И. Герцена.

*1925, лето или осень* — изменяет фамилию на Заболоцкий. Читает стихи в Ленинградском союзе поэтов. Знакомство с молодыми поэтами Даниилом Хармсом (Ювачёвым) и Александром Введенским.

*Декабрь* — окончил полный курс обучения в Педагогическом институте.

*1926* — смерть матери, Лидии Андреевны Заболотской.

*Весна* — знакомство со студенткой Педагогического института Катей Клыковой, будущей женой.

*Май* — принят в Ленинградский союз поэтов.

*Лето* — участвует в репетициях театральной группы «Радикс». Знакомство с художниками Казимиром Малевичем и Павлом Филоновым.

*Сентябрь* — Хармс, Введенский, Заболоцкий и Игорь Бахтерев основали литературную группу «Левый фланг». Окончание периода поэтического ученичества. Написаны первые *столбцы*. «Белая ночь», «Красная Бавария».

*1927, осень* — *конец года* — первые публикации в ленинградской печати стихотворений из будущей книги «Столбцы». *Декабрь* — начало сотрудничества с детской редакцией Госиздата.

*1928, 24 января* — участвует в театрализованном вечере «Три левых часа» в Доме печати Ленинграда. Знакомство с Николаем Степановым.

*Осень* — «левофланговцы» создают ОБЭРИУ — Объединение реального искусства. Знакомство с поэтами Николаем Олейниковым и Евгением Шварцем.

*1929, февраль* — тиражом 1200 экземпляров выходит первая книга стихов Николая Заболоцкого «Столбцы».

*Осень* — в журнале «Звезда» (№ 10) печатают пролог и последнюю главу поэмы «Торжество земледелия». Смерть отца, Алексея Агафоновича Заболотского.

*1930, 25 января* — бракосочетание с Екатериной Васильевной Клыковой.

*Июнь* — закончена поэма «Торжество земледелия».

*Июль* — Заболоцкие впервые едут на юг — в Крым. Заболоцкий работает в детских журналах «Ёж» и «Чиж» (*по 1932 год*).

*1931, декабрь* — арест группы ленинградских писателей и художников, среди которых Хармс, Введенский, Бахтерев, Туфанов, Андроников.

*1932, начало года* — переписка Заболоцкого с К. Э. Циолковским. По

просьбе поэта учёный высылает ему свои печатные работы.

25 января — в семье Николая и Екатерины Заболоцких родился сын Никита.

1933 — Заболоцкий пишет три натурфилософские поэмы: «Деревья», «Птицы», «Облака».

21 июля — «Правда» публикует погромную статью о творчестве Заболоцкого (В. Ермилов «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов»).

1933–1934 — встречи и беседы с самыми близкими товарищами в доме Липавских. Леонид Липавский записывает эти беседы, которые впоследствии составили его книгу «Разговоры».

1934, весна — Заболоцкие переезжают в собственную двухкомнатную квартиру на канале Грибоедова.

1 декабря — в Смольном убит С. М. Киров.

4 декабря — в «Известиях» напечатано стихотворение Заболоцкого «Прощание» — памяти Кирова.

1935 — почти полное поэтическое молчание Заболоцкого (за год написано всего два стихотворения).

Конец года — знакомство с Симоном Чиковани.

1936, март — участвует в дискуссии о формализме в Ленинградском доме писателей. В «Литературном Ленинграде» напечатано его «покаяние».

Июль — по приглашению Миколы Бажана гостит с семьёй на Украине в селе Прохоровка близ Канева.

Сентябрь — первая поездка в Грузию. Начало работы над переводом для детей поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

1937, 5 апреля — рождение дочери Натальи.

Осень — вышла «Вторая книга».

Ноябрь — Заболоцкий едет в Сочи на лечение.

24 ноября — расстрелян поэт Николай Макарович Олейников.

Декабрь — заявка в Детгиз на перевод «Слова о полку Игореве».

1938, 19 марта — арест Заболоцкого. Допросы в Доме предварительного заключения НКВД.

23 марта — 2 апреля — «испытание» подследственного Заболоцкого в отделении судебно-психиатрической экспертизы.

2 сентября — Особое совещание при Народном комиссариате внутренних дел СССР приговорило Н. А. Заболоцкого за контрреволюционную троцкистскую деятельность к пяти годам исправительного трудового лагеря.

Конец октября — свидание с женой в тюрьме.

7 ноября — Екатерина Заболоцкая с детьми выслана в Уржум.

8 ноября — Заболоцкий этапирован в лагерь.

1939, начало февраля — этап достиг конечной точки — лагеря в Комсомольске-на-Амуре.

Февраль — март — заключённый Заболоцкий на общих работах в тайге и в карьерах.

Начало весны — перевод в проектное бюро чертёжником.

1943, март — перевод из лагерей Дальнего Востока в Алтайлаг, в село Михайловское близ станции Кулунда.

1944, 18 августа — освобождён из заключения, но оставлен в системе лагерей без права выбора работы.

17 ноября — Екатерина Заболоцкая с детьми переезжает на жительство к мужу в село Михайловское Алтайского края.

1945, март — вольнонаёмный Заболоцкий с семьёй переведён из Алтайского края в Караганду. Возобновление работы над переводом «Слова о полку Игореве».

1946, январь — командирован в Москву сроком на два месяца по вызову Союза советских писателей.

Март — читает перевод «Слова» в Клубе писателей (4 марта) и в зале Литературного музея (17 марта).

Весна — писатель Василий Ильенков поселяет Заболоцкого на своей даче в Переделкине. Встречи поэта с Борисом Пастернаком, Александром Фадеевым.

Июнь — переезд жены с детьми из Караганды в Переделкино.

1947, весна — Заболоцкий едет в Грузию в составе делегации московских поэтов.

Июль — август — поэт с семьёй живёт в грузинском Доме творчества «Сагурамо».

1947, конец года — 1948 — в Переделкине Заболоцкие переселяются в домик Вениамина Каверина.

1948, конец апреля — Заболоцкие получают двухкомнатную квартиру в Москве на улице Беговой.

Конец лета — выходит в свет третья книга стихов.

1949, лето — семья Заболоцких отдыхает в Крыму, затем в Грузии.

1951, 6 октября — Особое совещание при министре госбезопасности СССР сняло с Н. А. Заболоцкого судимость.

1953, 3 июня — творческий вечер Заболоцкого в связи с его пятидесятилетием в Московском Доме литераторов.

1954, 14 сентября — у поэта тяжёлый инфаркт.

1956, октябрь — начало разлада в семейной жизни Николая и

Екатерины Заболоцких.

1956–1957 — цикл стихов «Последняя любовь».

1957, май — выход четвёртой, последней при жизни, книги стихов.

Октябрь — Заболоцкий в составе делегации советских поэтов посещает Италию.

1957–1958 — летние месяцы поэт проводит в городе Тарусе.

1958, март — декада грузинской литературы и искусства в Москве. Заболоцкий награждён орденом Трудового Красного Знамени за переводческую деятельность.

Начало сентября — Екатерина Заболоцкая возвращается в семью.

2–3 октября — самочувствие поэта ухудшилось.

14 октября, утро — кончина Николая Алексеевича Заболоцкого. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

1963, 24 апреля — по заявлению жены Н. А. Заболоцкий посмертно реабилитирован.

## ЛИТЕРАТУРА

*Заболоцкий Н. А.* Стихотворения и поэмы. М.; Л.: Советский писатель, 1965 (Библиотека поэта).

*Заболоцкий Н. А.* Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1983–1984.

*Заболоцкий Н. А.* «Огонь, мерцающий в сосуде...»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. М.: Педагогика-Пресс, 1995.

*Заболоцкий Н. А.* Поэтические переводы: В 3 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2004 (Мастера перевода).

*Заболоцкий Н. А.* Я воспитан природой суровой. М.: Эксмо, 2008.

*Заболоцкий Н. А.* Метаморфозы. М.: ОГИ, 2014.

*Введенский А. И.* Всё: [Полное собрание сочинений.] М.: ОГИ, 2013.

Век Даниила Хармса. М.: Зебра Е, 2006.

Воспоминания о Заболоцком. М.: Советский писатель, 1977.

Воспоминания о Н. Заболоцком. 2-е изд., доп. М.: Советский писатель, 1984.

*Дьяконов Л. В.* Вятские годы Николая Заболоцкого. Киров, 2003.

*Заболоцкий Н. А.*: Pro et contra. Личность и творчество Н. А. Заболоцкого в оценке писателей, критиков, исследователей. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2010.

*Заболоцкий Н. Н.* Жизнь Н. А. Заболоцкого. СПб.: Logos, 2003.

*Кекова С. В.* Мироощущение Николая Заболоцкого: Опыт реконструкции и интерпретации. Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2007.

*Кобринский А. А.* Даниил Хармс. М.: Молодая гвардия, 2008 («ЖЗЛ»).

*Колкер Ю.* Заболоцкий: жизнь и судьба // Новое русское слово. Нью-Йорк, 2003. № 17.

*Лощилов И. Е.* Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki: Institute for Russian and East European Studies, 1997.

*Македонов А. В.* Николай Заболоцкий: Жизнь, творчество, метаморфозы. Л.: Советский писатель, 1987.

*Попов Ю. Г.* Их помнит Сарыарка: Летопись дружбы. Алма-Ата: Казахстан, 1989.

*Пурин А. А.* Метаморфозы гармонии: Заболоцкий // *Пурин А. А.* Воспоминания о Евтерпе: [Статьи и эссе.] Urbi: Литературный альманах.



Вып. 9. СПб.: Журнал «Звезда», 1996.

*Роскина Н. А. Николай Заболоцкий // Роскина Н. А. Четыре главы: Из литературных воспоминаний. Paris: YMCA-PRESS, 1980.*

*Савченко Т. Т. Заболоцкий: Караганда в судьбе поэта. Караганда: Болашак-Баспа, 2012.*

*Шварц Е. Л. Живу беспокойно...: Из дневников. Л.: Советский писатель, 1990.*

*Шубинский В. И. Жизнь человека на ветру. М.: АСТ; Corpus, 2015.*

# СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит сотрудников Кировской государственной универсальной научной библиотеки им. А. И. Герцена за предоставленные редкие книги, а также администрацию Уржумского района Кировской области за помощь в сборе документов и фотоматериалов.

---

**notes**

## Примечания

Стихи здесь и далее приводятся по изданию: *Заболоцкий Н. А.* *Метаморфозы*. М.: ОГИ, 2014.